**ХРЕСТОМАТИЯ**

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«ЛИТЕРАТУРНАЯ СИБИРЬ»

**9 класс**

**Второе полугодие**

**К урокам 16-17.**

**Александр Вампилов. «Провинциальные анекдоты».**

**Александр ВАМПИЛОВ**

**ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ**

*Анекдот первый*

**ИСТОРИЯ С МЕТРАНПАЖЕМ**

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

КАЛОШИН – администратор гостиницы «Тайга».

ПОТАПОВ – командированный, по профессии метранпаж.

РУКОСУЕВ – врач, приятель Калошина.

КАМАЕВ – молодой человек, преподаватель физкультуры.

МАРИНА – жена Калошина, официантка ресторана «Тайга».

ВИКТОРИЯ – девушка, устраивающаяся на работу.

*Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, – редко, но бывают.*

*Н. В. Гоголь*

*Одиночный номер провинциальной гостиницы. Кровать, стол, шкаф, два кресла, тумбочка, на тумбочке репродуктор и телефон. Дальняя стена закрыта яркими дешевыми портьерами.*

*Щелкает дверной замок, и в комнате появляется Виктория, миловидная девушка лет двадцати. На ходу она снимает плащ и туфли, открывает шкаф и, невидимая за дверцей шкафа, мгновенно переодевается. Теперь на ней легкий халат и домашние туфли.*

*Она подходит к стене и раздвигает портьеры. За ними оказывается окно, в которое видны светящиеся окна на противоположной стороне улицы, а рядом, прямо под окном, горит обратная сторона неоновой вывески «Гостиница «Тайга». Мгновение Виктория смотрит в окно, потом оборачивается, идет по комнате, закрывает дверь на ключ, берет со стола книгу, открывает ее. Не отрываясь от книги, приближается к кровати, сдергивает с нее покрывало, сбрасывает с ног туфли. Прилегла на кровать.*

*В это время раздается нетерпеливый стук в дверь. Виктория вскакивает, надевает туфли, набрасывает на кровать покрывало, поправляет прическу.*

*Стук повторяется. Виктория открывает дверь. В дверях появляется Потапов, небольшой сухощавый мужчина лет сорока. На нем серые брюки, светлая рубаха, галстук и дешевый вельветовый пиджак. Этот скромного вида человек сейчас явно раздосадован.*

ПОТАПОВ. Здравствуйте! У вас радио работает?

ВИКТОРИЯ. Радио?

ПОТАПОВ *(нетерпеливо).* Радио!

ВИКТОРИЯ. А что такое?

ПОТАПОВ. Работает или нет?

*Виктория включает радиоприемник, раздается голос комментатора, ведущего футбольный репортаж. Потапов входит в комнату и крадется к радиоприемнику.*

ГОЛОС КОММЕНТАТОРА. ...у Хусаинова, он передает его Янкину, Янкин переходит на правую половину поля...

*Потапов останавливается рядом с радиоприемником. Слушает.*

...его атакуют, он передает... но нет, пас неточен, и вот уже атаку начинает Шалимов... Шалимов передает мяч... но нет, снова неточно, и мяч снова у Хусаинова...

ВИКТОРИЯ. Футбол, а я-то думала...

ПОТАПОВ. Тише!

ГОЛОС КОММЕНТАТОРА. Хусаинов обыгрывает Шалимова...

ВИКТОРИЯ. Вы меня напугали...

ПОТАПОВ *(строго).* Тихо!

ГОЛОС КОММЕНТАТОРА. ...его атакуют два защитника...

ВИКТОРИЯ. Да вы присаживайтесь...

ГОЛОС КОММЕНТАТОРА. Хусаинов посылает мяч на штрафную площадку, а там...

ВИКТОРИЯ. Садитесь...

ПОТАПОВ *(свирепо).* Вы можете помолчать?

ГОЛОС КОММЕНТАТОРА. ...там никого не оказалось, увы, никого, кроме защитника команды «Торпедо»... А вот и свисток судьи... Итак, первая половина игры закончилась безрезультатно... Ноль-ноль... Ноль-ноль. Команды отправляются на отдых, отдохнем, товарищи радиослушатели, и мы... Отдохнем, а через пятнадцать минут встретимся снова, чтобы узнать, кто же победит в этом увлекательном, напряженном поединке.

ГОЛОС ДИКТОРА. Передаем легкую музыку. Музыка.

ПОТАПОВ *(опускается в кресло).* Если в этот раз они проиграют, – я... Я за себя не отвечаю!

*Небольшая пауза.*

ВИКТОРИЯ *(осторожно).* Можно мне что-нибудь сказать?

ПОТАПОВ. Что?.. *(Вдруг очень вежливо.)* Извините меня! Я, это самое, сам не знаю как... Футбол, сами понимаете...

ВИКТОРИЯ. Не понимаю. Смотреть на него – еще туда-сюда, а так – не понимаю.

ПОТАПОВ. Простите за беспокойство.

ВИКТОРИЯ. Да ладно уж, ничего...

ПОТАПОВ. Видите ли, я сосед ваш, мой номер рядом, сидел у себя, слушал, и раз – радио испортилось, на самом интересном. Я – в коридор, туда-сюда. Двенадцатый час – у всех уже темно, а у вас свет. Как я сюда ворвался, и сам не заметил. *(Пятится к двери.)* Еще раз извините.

ВИКТОРИЯ. Подождите.

*Потапов останавливается.*

Куда же вы? Где же вы дальше будете слушать?

ПОТАПОВ. Не знаю. Поищу где-нибудь...

ВИКТОРИЯ. А то забирайте мой приемник, утром вернете.

ПОТАПОВ. Разрешаете?

ВИКТОРИЯ. Забирайте.

ПОТАПОВ. Большое вам спасибо. *(Взял радиоприемник.)* Извините еще раз, спокойной ночи.

*Потапов уходит, но, как только Виктория снова приготовилась, лечь, опять раздается стук в дверь – на этот раз деликатный. Виктория открывает дверь. Входит Потапов. При этом дверь в коридор остается открытой.*

ПОТАПОВ. Простите, но в моем номере он не работает. *(Передает Виктории радиоприемник.)*

ВИКТОРИЯ. Вот беда-то.

ПОТАПОВ. Очевидно, испортилась проводка.

ВИКТОРИЯ. Ну и что теперь?

ПОТАПОВ. Ума не приложу. Большое вам спасибо... *(Мнется.)* Пойду искать кого-нибудь...

ВИКТОРИЯ. Ладно уж. *(Включила радиоприемник.)* Садитесь, слушайте.

ПОТАПОВ. В самом деле?

ВИКТОРИЯ. Ну а что? Будете рыскать по всей гостинице.

ПОТАПОВ. Но ведь вам спать надо.

ВИКТОРИЯ. Да ничего. Я ложусь поздно. *(Придвинула кресло к радиоприемнику).* Устраивайтесь поближе.

ПОТАПОВ. Ну, спасибо, девушка. *(Усаживается.)* За вашу доброту дай вам бог хорошего жениха.

ВИКТОРИЯ. Благодарю.

*В дверях появляется Семен Николаевич Калошин. Ему около шестидесяти, он лыс, кругл и вальяжен. Он невысок ростом, но держится очень прямо. При этом голова его почти постоянно откинута чуть назад, брови, чаще всего сдвинуты, а глаза обычно слегка прищурены. Благодаря всему этому общий вид его довольно внушителен, а людей выше его ростом для него не существует. Одет он в хороший темный костюм, который сидит па нем, впрочем, довольно мешковато. Прежде чем заговорить, он критически осматривает присутствующих.*

КАЛОШИН. Товарищи, одиннадцать часов. Посторонних прошу покинуть помещение.

*Небольшая пауза.*

ВИКТОРИЯ. Здесь посторонних нет, здесь все свои. Товарищ живет рядом.

ПОТАПОВ. Да, мой номер за стеной.

КАЛОШИН. Не имеет значения. Согласно распорядку, после одиннадцати все расходятся по своим номерам.

ВИКТОРИЯ. Да, но тут такое дело...

КАЛОШИН *(перебивает).* Дела, товарищи, будете обделывать завтра. А сегодня прошу вас по своим номерам.

ПОТАПОВ. Послушайте...

КАЛОШИН *(перебивает).* Не знаю, товарищи...

ВИКТОРИЯ *(перебивает).* Хорошо, хорошо. Он уйдет.

КАЛОШИН. Давайте, товарищи, давайте.

ВИКТОРИЯ. Уйдет, сейчас уйдет.

КАЛОШИН. Предупреждаю, я проверю. *(Уходит.)*

ВИКТОРИЯ. Лучше с ним не спорить.

ПОТАПОВ. Да, придется уходить.

ВИКТОРИЯ. Нет, вы меня не поняли. Закройте свой номер на ключ и возвращайтесь.

ПОТАПОВ. Знаете, лучше с ним не связываться.

ВИКТОРИЯ. Закроемся, радио сделаем потише – обойдется. Идите, закрывайте номер.

ПОТАПОВ. Ну что ж... *(Выходит и тотчас возвращается.)* Закрыл.

ВИКТОРИЯ. А все почему? У нас двери были открыты. *(Убавляет звук радиоприемника.)* Дерут такие деньги, да еще им на цыпочках ходи.

ПОТАПОВ. Вы в командировке?

ВИКТОРИЯ. Я – нет. Я здесь одну ночь, завтра в общежитие уйду. Я на строительство приехала, на работу. А вы?

ПОТАПОВ. Я здесь в командировке. *(Усаживается.)*

ВИКТОРИЯ. Откуда вы?

ПОТАПОВ. Из Москвы.

ВИКТОРИЯ. Ладно, вы слушайте, а я буду читать. А дверь мы... *(Подошла к двери, хотела ее запереть.)*

*Но дверь внезапно раскрылась, и на пороге возник Калошин.*

КАЛОШИН *(миролюбиво).* Так. Хотели закрыться...

ВИКТОРИЯ. У него радио испортилось...

КАЛОШИН *(многозначительно).* Я понимаю...

ВИКТОРИЯ. Он футбол послушает и уйдет.

КАЛОШИН *(игриво).* Футбол, говорите?

ПОТАПОВ. Футбол, совершенно верно.

КАЛОШИН *(весело).* Футбол?

ВИКТОРИЯ. Ну конечно.

КАЛОШИН. Так, так. Значит, футбол?

ПОТАПОВ. Да футбол же. Неужели вы не понимаете?

КАЛОШИН. Я понимаю. Я все понимаю. Я, товарищи, уже не маленький.

ПОТАПОВ. То есть? Что вы этим хотите сказать?

КАЛОШИН. Да то. Сами понимаете что.

ПОТАПОВ. Да что именно?

КАЛОШИН. Да то, товарищи, что дураков вы здесь не ищите.

ПОТАПОВ. То есть?

ВИКТОРИЯ. Ну?.. Ну что скажете?

КАЛОШИН. А вы что скажете?.. Футбол?

ПОТАПОВ. Да, футбол.

КАЛОШИН. Ну вот, опять футбол... А закрываться для чего, разрешите вас спросить? Если футбол, то для чего тогда двери на ключ закрывать?

ВИКТОРИЯ. Я не могу... Да от вас закрылись, от вас! Чтоб не лезли здесь, не мешались...

КАЛОШИН *(перебивает).* «Не мешали»? Вот и я так думаю, чтоб не мешали. Кому же нравится, когда мешают?

ПОТАПОВ. Да вы... Да с вами просто нельзя разговаривать!

КАЛОШИН. Разговаривать со мной можно. Но вы, товарищи, разговаривать не умеете. К сожалению. *(Официально.)* Поэтому прошу вас в свой номер.

ПОТАПОВ. Хорошо. Я уйду, но...

ВИКТОРИЯ *(перебивает).* А вы не уходите. *(Калошину.)* Вы уходите. *(Открывает дверь.)* Пусть он уходит.

КАЛОШИН. То есть как?

ВИКТОРИЯ. Вот так. Уходите, и все. Как-нибудь без вас обойдемся. Здесь я хозяйка.

КАЛОШИН. Что?

ВИКТОРИЯ. Да ничего. Никто вас сюда не звал с вашими разговорчиками.

КАЛОШИН. Да вы что? Вы что, уважаемая, законов не знаете?

ВИКТОРИЯ. Не знаю.

КАЛОШИН. Не знаете? Так могу вам разъяснить.

ПОТАПОВ. Послушайте...

КАЛОШИН *(перебивает).* И вы не знаете? И вам могу разъяснить.

ВИКТОРИЯ. Ну?

КАЛОШИН. Вы зарегистрируйтесь сначала, а потом уж закрывайтесь. Потом – пожалуйста. Милости просим. Не знали? Допустим, что не знали. Будете знать. А сейчас прошу вас из женского номера.

ВИКТОРИЯ. Нет! Я не могу...

ПОТАПОВ. Хорошо. Я уйду. Но вы... вы извинитесь. Перед девушкой извинитесь.

КАЛОШИН. Это за что, интересно?

ПОТАПОВ. За оскорбление. Неужели вы не понимаете, что вы ее оскорбили?

КАЛОШИН *(сердится).* Во-первых, извиняться буду не я, во-вторых, извиняться будете вы и притом не перед ней, а перед вашей законной супругой. А пока прошу вас пройти в свой номер. По-хорошему.

*Музыка в радиоприемнике умолкает. Включается стадион. Шум стадиона.*

ПОТАПОВ. Нет, хватит! Теперь я отсюда не уйду.

ВИКТОРИЯ. Правильно.

КАЛОШИН. Уйдете.

ПОТАПОВ. Нет, не уйду. *(Усаживается в кресло рядом с радиоприемником.)*

ГОЛОС КОММЕНТАТОРА. Итак, наш микрофон установлен, на стадионе «Динамо», где на кубок страны встречаются две столичные команды – «Спартак» и «Торпедо»...

КАЛОШИН. Это вы так думаете, что не уйдете, а на самом деле вы не только уйдете, но вполне еще и выскочить можете.

*Шум стадиона.*

ПОТАПОВ. Нет, не уйду. Делайте что хотите, зовите милицию, а я... Я буду слушать репортаж.

ГОЛОС КОММЕНТАТОРА. Первая половина матча, как вам известно, закончилась ничейным результатом и...

КАЛОШИН *(подошел, выключил радиоприемник).* Все.

ПОТАПОВ. Не мешайте, я вам не советую. *(Включил радиоприемник.)*

ГОЛОС КОММЕНТАТОРА. ...нападение и защита...

*Калошин выключил радиоприемник. Потапов включил. Калошин выключил радиоприемник и схватил Потапова за руку.*

ПОТАПОВ. Не трогайте!

КАЛОШИН *(тащит Потапова к двери).* Добром не хотите... Слов не понимаете...

ПОТАПОВ. Не смейте. *(Упирается.)*

ВИКТОРИЯ *(помогает Потапову).* Не имеете права!

ПОТАПОВ. Отпустите!

*Возня у двери, в результате которой Калошин взашей выталкивает Потапова за дверь. Стоят друг против друга, один по ту сторону порога, другой – по эту. Оба тяжело дышат.*

КАЛОШИН. Предупреждал?.. Предупреждал...

ПОТАПОВ. Вы мне за это ответите!

ВИКТОРИЯ. Вы ответите!

ПОТАПОВ. Даю вам слово, так я это не оставлю.

КАЛОШИН. Давай, давай...

ПОТАПОВ. Вы меня попомните...

ВИКТОРИЯ. Попомните!

ПОТАПОВ. Я вам обещаю. *(Уходит.)*

КАЛОШИН. Давай, давай... Видали мы таких... донжуанов.

ВИКТОРИЯ. Уходите.

КАЛОШИН. Да погоди ты... *(Идет к креслу, уселся.)* Уф...

ВИКТОРИЯ *(с презрением).* Что, притомились?

КАЛОШИН. А ты думала...

ВИКТОРИЯ. Довольны?.. Эх, вы, пожилой, можно сказать, человек...

КАЛОШИН. Так вот и зарабатываешь свой хлеб...

ВИКТОРИЯ. Как только не стыдно...

КАЛОШИН. Досталась мне работенка. Вот уж действительно – наградили меня должностью. С этажа на этаж – целый день, целый день! Да еще со скандалами... Нет, ты скажи мне, скажи, ну как с вашим братом, с приезжим, работать? Как? С вами по-хорошему – вы не понимаете, начинаешь с вами по закону – вы в бутылку. Ведь он мне руку чуть не выставил.

ВИКТОРИЯ. А вы? Как вы его толкнули?

КАЛОШИН. Пусть знает.

ВИКТОРИЯ. А если бы он об стенку ударился?

КАЛОШИН. Ничего бы ему не сделалось. Почесался бы, и дальше. Невелик барин.

ВИКТОРИЯ. Откуда вы знаете?

КАЛОШИН. Вижу. Тут вашего брата пятьсот человек, если каждый будет свою амбицию показывать, что же такое получится?.. Ну чего он взъерепенился? Разве нельзя было по-хорошему? Он что, не знает, как это делается?

ВИКТОРИЯ. Что делается?

КАЛОШИН. Ну тебе еще, скажем, простительно, по малолетству, а он-то о чем думал?

ВИКТОРИЯ. Вы сами виноваты. Чушь всякую стали городить. Он вас не трогал. Он только что болельщик, а так человек воспитанный, из Москвы приехал...

КАЛОШИН *(живо).* Откуда?

ВИКТОРИЯ. Из Москвы.

КАЛОШИН *(тень сомнения).* То есть как – из Москвы?

ВИКТОРИЯ. Да так, что из Москвы... А что? Струсили?

КАЛОШИН. Ерунда... Подумаешь, из Москвы. И в Москве шантрапы хватает.

ВИКТОРИЯ. А если он начальник, тогда как?

КАЛОШИН. Да ты что, не знаешь его, что ли?

ВИКТОРИЯ. Конечно, нет.

КАЛОШИН. Не врешь?

ВИКТОРИЯ. Говорю вам, не знаю. *(Злорадно.)* А вдруг начальник?

КАЛОШИН. Он?.. Ерунда. Учителишка или около того.

ВИКТОРИЯ. А вдруг?

КАЛОШИН *(забеспокоился).* Чего «вдруг»? Какое «вдруг»? Вельветовый пиджачок, галстучек барахольный – видать птицу по полету.

ВИКТОРИЯ. По одежке, значит, встречаете?

КАЛОШИН. А ты думала? На этой работе глаз – первое дело. Если бегать каждому в анкету заглядывать – без ног останешься.

ВИКТОРИЯ. А что – одежда? Есть большие люди, а одеваются скромно, и мне кажется...

КАЛОШИН *(поднялся).* Крестись, если кажется. А мне олову не морочь. *(Подходит к телефону, набирает номер.)* Я устал, меня там, поди, уже жена ищет... Кажется ей... *(Положил трубку, набирает номер снова.)* Нет, не в добрый час я связался с гостиницей, не в добрый час. Предлагали же мне спокойную работу, так нет же, погнался я за дурными деньгами... *(В трубку.)* Регистратура?.. Администратор говорит... Посмотрите там, кто у нас проживает в двести одиннадцатом номере... Двести одиннадцать. Потапов?.. Кто он такой, откуда?.. Из Москвы?.. А кто таков?.. Как, как?.. Метранпаж?.. Это что такое?.. *(Отвлекся от телефона, Виктории.)* Что такое метранпаж?

ВИКТОРИЯ *(искренне).* Не знаю.

КАЛОШИН *(в трубку).* Выясните, кто такой метранпаж... Срочно... Он как вселился – по брони или... По командировке?.. А куда прибыл? В какую организацию?.. Не записано?.. Сколько раз вам указывалось, чтобы анкеты заполняясь от корки до корки... Безобразие... Он когда вселился?.. Сегодня?.. Кто же он такой?.. Я спрашиваю, что это обозначает? Что такое метранпаж?.. Что? Никто не знает?.. Как же так?.. Срочно выясняйте... У него?.. Нет-нет, у него не спрашивать... Если он к вам подойдет – разговаривайте вежливо... *(Бросил трубку.)* Метранпаж... Что это?

ВИКТОРИЯ *(не без коварства).* Метранпаж... По-моему, это из ОБХСС.

КАЛОШИН *(испуганно).* Но-но! Скажешь тоже... Метранпаж... Слово-то какое-то... Черт знает, что за слово!.. Может, по профсоюзу?

ВИКТОРИЯ. А вдруг он депутат?

КАЛОШИН. Но-но-но! Поосторожнее... В «люксе» бы поселился, и это... предупредили бы нас. Всегда предупреждают.

ВИКТОРИЯ. Ну и что, что всегда. А он взял и так приехал, без предупреждения. Посмотреть, что вы тут вытворяете.

КАЛОШИН. Но-но-но-но-но! Ты, знаешь, говори, да не заговаривайся!.. Метранпаж... паж... Паж? В царское время при дворе чего-то такое было, а? Было?

ВИКТОРИЯ. Да вроде было.

КАЛОШИН. Черт его знает... *(Набирает номер по телефону; в трубку.)* Ресторан?.. Музу Ханановну... А кто это? Слушай, друг, не знаешь тыслучайно, что такое метранпаж?.. Ну да, откуда тебе... где тебе, говорю...Калошин... Погоди... Там жена моя еще не ушла?.. Работает?.. Да нет, не надо. Уж она-то подавно не знает... Ладно... (Бросил трубку.) Никто не знает! И что за учреждение такое? Темнота, невежество... Вот же предлагали мне кинохронику, ведь вполне же культурное предприятие, так нет же... *(Набирает другой номер.)* Андрей Васильевич?.. Добрый вечер... Калошин...Извините, что так поздно, но... Да по делу, то есть нет, не по делу... По делу, Андрей Васильевич... Андрей Васильевич, будьте так любезны, объясните вы мне, неучу, кто такой метранпаж... Ме-тран-паж... Не встречали?.. Да вот тут случай небольшой... Нет-нет, ничего особенного. Извините... Извините... Спокойной ночи. *(Опустил трубку.)* В двух институтах обучался. Невежа! Вот ведь! На кинохронике так там наверняка каждый гардеробщик скажет, а тут? *(Набирает номер; в трубку.)* Регистратура?.. Ну что? Выяснили?.. Кто такойметранпаж?.. Что? Из газеты?.. Кажется? А точно вы не могли узнать?.. Тамредактор есть, корреспонденты, а это, это кто?.. Не узнали, так какого жечерта... Выясняйте... Немедленно! *(Бросил трубку.)* Кажется, из газеты.

ВИКТОРИЯ. Из газеты?

КАЛОШИН *(трусит и не скрывает, что трусит).* А из какой газеты?.. Из «Труда»? Или из «Известий», чего доброго?.. А вдруг он над всеми газетами сразу? Что же тогда будет, а? Что же он тогда со мной сделает? Ведь тогда он... Ведь он что захочет, то и сделает... Посадит на ладошку, дунет – и полетишь. Да еще, может, так полетишь, что нигде и не сядешь, не приземлишься никогда, а так и будешь вечно летать по воздуху!

ВИКТОРИЯ. Ага, запрыгали.

КАЛОШИН. Где он?.. Извинюсь! Сию минуту извинюсь! *(Быстро выходит.)*

*Из коридора слышен стук в соседнюю дверь и голос Калошина: Товарищ Потапов...». Стучит он очень деликатно. «Товарищ Потапов... Товарищ... э-э... метранпаж...».*

КАЛОШИН *(появляясь в комнате).* Где он? Куда ушел? Куда?

ВИКТОРИЯ. Я не знаю. Может, в милицию.

КАЛОШИН. Что же делать?

ВИКТОРИЯ. Вот уж не знаю. Вы кашу заварили, вы и расхлебывайте.

КАЛОШИН. Так что же это выходит?.. Если он... да еще и в милицию...

ВИКТОРИЯ. Так вам и надо. Лично мне вас ни капли не жалко.

КАЛОШИН. А за что? Что я ему сделал?.. Почему он молчал? Почему не назвался? Разве так можно? Я ведь тоже человек – не овца какая-нибудь. Покрутись-ка здесь целый день, побегай-ка. У меня склероз, гипертония, мне до пенсии три года. Я вообще немного нервный. Я, может... *(Остановился, как* *бы ухватывая идею, заговорил решительно.)* Ну нет! Всякое со мной бывало, но до суда еще никогда не доходило. И не дойдет! *(Энергично, но просительным* *тоном.)* Дочка! Будь добра, беги-ка ты, разыщи его!.. Слышишь?

ВИКТОРИЯ. С чего ради я побегу?

КАЛОШИН. Найди его! Поговори с ним! Скажи, что кается, мол, администратор, землю, скажи, грызет, дрожит, мол, на глаза попадаться и вообще, скажи, что-то, мол, не в себе... Ну! Не в службу, а в дружбу!

ВИКТОРИЯ. Какая это у нас с вами дружба? Бегите сами, а мне спать пора.

КАЛОШИН. Дочка! Мне позвонить надо, иди, я тебя очень прошу! Ведь я по-хорошему хочу. Я извиняться буду. Перед ним... и перед тобой! Перед тобой хоть сейчас!

ВИКТОРИЯ. А! Нужны мне ваши извинения.

КАЛОШИН. Отблагодарю, дочка!.. Скорей, а? Моя судьба сейчас, может, от секунды зависит! *(Хватается за телефон.)*

ВИКТОРИЯ. Ладно. Да не думайте, что ради вас. Звоните и уходите отсюда. Я спать хочу. *(Уходит.)*

КАЛОШИН *(набирает номер).* Врешь... врешь... врешь... Голыми руками меня не возьмешь! *(В трубку.)* Катя? Это Калошин... Супруг дома?.. На дежурстве?.. Все, Катя, потом, потом! *(Нажимает на рычаг, набирает две* *цифры; в трубку.)* «Скорая помощь»?.. Мне Рукосуева!.. Да, да! Бориса Петровича! *(Ждет.)* Врешь – не возьмешь... *(В трубку.)* Борис?.. Это Семен... Борис, спасай!.. Меня спасай!.. Меня!.. История... В гостинице... Нарвался... Я нарвался!.. Вези меня в больницу!.. Здоров, но мне нужна справка... Что вроде бы я... не в себе, вроде бы!.. Не в себе, говорю, понимаешь?.. Псих я, понимаешь? Припадочный я!.. Да нет же! Здоров я!.. Здоров, говорю!.. Ну как будто бы!.. Милицию, кажись, вызвали... Судом пахнет... Судом, говорю, пахнет... Понял? Выезжай сию минуту!.. Что?.. Машины нету?.. А скоро?.. Скорей, Борис, скорей!.. Горю!.. Гибну!.. Век буду благодарить! Жду!.. В гостинице... второй этаж... двести десятый... Борис! Борис! Погоди... Что такое метранпаж?.. Ме-тран-паж!.. Не знаешь?.. Что?.. В постель?.. Понятно... Борис! Борис! Погоди!.. *(Понизил голос.)* Может, мне пока здесь... это самое... попсиховать?.. Ну это... пошуметь, побуянить?.. Не очень? Так... Значит, не очень?.. Понимаю!.. Ну я тут так – по-тихому... В постель... Ясно... Скорей! Давай скорей! *(Бросил трубку, вытер пот со* *лба.)* Врешь! *(Набрал номер; в трубку.)* Регистратура?.. Не выяснили?.. Это я уже слышал! Я вас спрашиваю, какую должность занимает?.. Бросайте все! Выясняйте немедленно!.. Там жена моя не подходила?.. Когда подойдет, скажите ей – пусть едет домой... Да, без меня... Задержался по важному делу... Да, может не ждать... Не ждать!.. Когда узнаете, что такое метранпаж, позвоните в двести десятый номер... Пост! Пост какой занимает? Да чтоб в точности! *(Бросил трубку.)* Врешь... Кто бы ты ни оказался, все равно, брат, Калошина голыми руками ты лучше не бери. Калошин хоть и не метранпаж, но тоже и не водовоз какой-нибудь... *(Снимает с себя пиджак, галстук, башмаки, ложится на* *кровать и забирается под одеяло. Поднимается, разбрасывает снятую одежду по* *номеру, чуть подумав, расстегивает ворот, выпускает рубаху поверх штанов.)* Такую вам, уважаемые, видимость устрою, такое вам покажу представление, что и не возгордитесь и не возрадуетесь! *(Снова ложится. Но тут же садится на* *постели и внимательно рассматривает номер: что бы такое еще придумать.* *Достает очки, надевает их, берет с тумбочки книгу и, раскрыв ее, ложится.)*

*Появляется Виктория,*

ВИКТОРИЯ *(на пороге).* Его нигде не... не... *(Полагая, что она попала не в ту комнату.)* Извините! *(Выскочила и закрыла дверь.)*

КАЛОШИН. Не нашла... Ну ничего, товарищ метранпаж! Теперь неизвестно еще, кто у кого будет прощения просить...

*Виктория снова, на этот раз очень осторожно, открывает дверь.*

*(Спокойно.)* Вам кого?

*Виктория в полном недоумении снова закрывает дверь.*

*(С удовлетворением.)* Не узнает.

*Виктория входит в третий раз.*

Вы ко мне?.. Ну так проходите.

ВИКТОРИЯ. Что это?

КАЛОШИН. Вы проходите, не стесняйтесь.

ВИКТОРИЯ. Что это значит?

КАЛОШИН. Вы о чем?

ВИКТОРИЯ. Что вы делаете?

КАЛОШИН. Я?.. Лежу, как видите.

ВИКТОРИЯ. Да, но... Что это значит?

КАЛОШИН. Ничего. Лежу, и все... Решил немного отдохнуть, полежать, почитать книжечку. Что ж тут удивительного?

ВИКТОРИЯ. Но это... это... Очень даже странно!

КАЛОШИН. Об чем разговор, не понимаю.

ВИКТОРИЯ. Это же просто... просто... я даже не знаю...

КАЛОШИН. А что такое? Что вас волнует, не понимаю. Если вы насчет того, что я ваше место занял, то так и скажите. Я подвинуться могу.

ВИКТОРИЯ. Что?

КАЛОШИН. Могу подвинуться. Пожалуйста.

ВИКТОРИЯ. Да вы что, на самом деле?.. Вы хулиганите или вы рехнулись?

КАЛОШИН. Нет, зачем же? Я невелик барин, не метранпаж какой-нибудь, могу и подвинуться. *(Подвинулся.)*

ВИКТОРИЯ *(негромко).* Сошел с ума... *(Громче.)* Что с вами?.. Как вы себя чувствуете?

КАЛОШИН. Спасибо, хорошо. Самочувствие отличное. Перехожу на прием.

ВИКТОРИЯ *(негромко).* Рехнулся! *(Громче.)* Я вызову врача, хорошо?

КАЛОШИН. Замечательно.

ВИКТОРИЯ *(подходит к телефону, стоит спиной к Калошину. Набрала номер, негромко).* «Скорая помощь»?

*Калошин сел на постели, прислушивается к разговору.*

Приезжайте в гостиницу... Тут с человеком плохо... По-моему, он сошел с ума... Приезжайте!.. Номер двести десятый... Чего нет?.. Машины?.. Скоро будет?.. Хорошо... *(Положила трубку.)*

*Калошин улегся.*

*(Оборачиваясь к Калошину, тоном, каким разговаривают с детьми.)* Ну вот. Скоро он придет.

КАЛОШИН. Кто придет?

ВИКТОРИЯ. Врач приедет.

КАЛОШИН. А зачем он приедет?

ВИКТОРИЯ. Зачем?.. *(Осторожно.)* Да так просто. В гости.

КАЛОШИН. В гости?.. Ну что ж, пусть приезжает. А я пока почитаю, не возражаете? *(Раскрывает книгу, читает вслух.)* «С утра покинув приозерный луг, летели гуси дикие на юг...»

*Раздается стук, и тут же дверь открывается. Появляется Марина – жена Калошина. Марине чуть за тридцать, она довольно привлекательная, но грубоватая и чрезмерно крашенная женщина. На ней плащ, яркие чулки, модные туфли. На голове кружевная наколка, которую официантки носят во время работы. При ее появлении Калошин приподнимается, но тут же ложится снова. Пауза, во время которой никто из присутствующих не знает, как следует себя вести и что следует сказать.*

КАЛОШИН *(не найдя ничего лучшего, продолжает читать стихи).* «А позади за ниткою гусиной спешил на юг... э-э... косяк перепелиный...»

МАРИНА. Это как же понимать?

КАЛОШИН. Э... что?

МАРИНА. Как это понимать?

КАЛОШИН *(неуверенно).* Я думаю, так надо понимать, что дело к осени...

МАРИНА. Чем же вы это здесь занимаетесь, а? *(Кричит.)* Чем занимаетесь, я спрашиваю! Отвечайте, бесстыдники!

ВИКТОРИЯ. Подождите...

МАРИНА *(перебивает).* Это как же называется?

ВИКТОРИЯ. Да подождите вы кричать...

МАРИНА *(Калошину).* Как это называется? Это важное дело называется? Важное дело?

КАЛОШИН. Да... дело серьезное.

МАРИНА. Серьезное?

ВИКТОРИЯ. Послушайте...

МАРИНА. Стыд-то какой-надо же!

ВИКТОРИЯ. Послушайте меня! Он же ненормальный!

МАРИНА. Что-о?

ВИКТОРИЯ. Ненормальный, говорю. Он с ума сошел.

МАРИНА. А ты и рада? Вместо того чтоб надавать ему по роже...

ВИКТОРИЯ *(перебивает).* Да не кричите вы, вам говорят! У него с головой не в порядке!

МАРИНА. А у тебя с головой в порядке? Связалась со стариком, бесстыдница!

ВИКТОРИЯ. Перестаньте! Сначала разберитесь...

МАРИНА. Молчи, вертихвостка!

ВИКТОРИЯ. Слушайте!

МАРИНА. Молчи!

ВИКТОРИЯ. Послушайте!

МАРИНА. Замолчи, негодяйка!

ВИКТОРИЯ *(вышла из себя).* Сама вы негодяйка!

МАРИНА. Мерзавка!

ВИКТОРИЯ. От мерзавки слышу!

МАРИНА. Да я тебе сейчас все космы повыдергаю!

ВИКТОРИЯ. Раскричалась тут, испугался ее кто-то!

КАЛОШИН. Давайте, давайте, давайте...

ВИКТОРИЯ. Чего вы раскричались? Вы кто такая?

МАРИНА. Я?! Я кто такая?

ВИКТОРИЯ. Ну вы, вы! Кто вы? *(Калошину.)* Кто она? Жена, что ли?

КАЛОШИН *(мужественно).* Она?.. Не знаю... Первый раз ее вижу.

*Марина ахает и замирает на некоторое время, раскрыв рот и выпучив глаза.*

ВИКТОРИЯ. Вот и нечего кричать. Сначала надо разобраться, а потом...

МАРИНА *(подступая к Калошину).* Ты... ты... Да ты что, бессовестная твоя рожа? Ты что говоришь, ты соображаешь или нет?

ВИКТОРИЯ. Вот и именно, что не соображает.

МАРИНА. Кто я такая?.. Ну!

КАЛОШИН. Вы?.. Вы... эээ...

МАРИНА *(подступая ближе).* Кто я?

КАЛОШИН *(отодвигаясь).* Ты?.. Ты... эээ...

МАРИНА. Ну? *(Выхватила из его рук книгу.)* Не узнаешь?

КАЛОШИН *(струсил).* Узнаю, узнаю!.. *(Спохватился.)* Кажется... э... где-то видел, но... *(Виктории.)* Но кто такая – не припомню.

МАРИНА. Что-о? *(Замахивается на него книгой.)*

КАЛОШИН. Вспомнил, вспомнил!

МАРИНА. Ну? Кто я тебе такая? *(Снова замахивается.)* Отвечай!

КАЛОШИН. Жена, моя жена! *(Виктории.)* Она очень похожа на мою жену.

МАРИНА. Похожа?

КАЛОШИН. Как две капли воды! *(Виктории.)* Но моя жена не такая дура...

МАРИНА. Что-о?

КАЛОШИН. Нет, нет! Моя жена умная женщина...

ВИКТОРИЯ *(Марине).* Кто же вы на самом деле? Жена или нет?

МАРИНА. Говори, злодей!

КАЛОШИН *(твердо).* Это не моя жена.

ВИКТОРИЯ. Ну? Теперь вы понимаете?

МАРИНА. Да ты что, старый черт, смеешься надо мной?

КАЛОШИН. А вы не шумите. Шуметь и скандалить – это вы можете. Грубости и разные неприятные слова – это вы тоже хорошо знаете. А вот что такое метранпаж-это вам известно?

МАРИНА. Слушай, Семен! Ты это брось! Ты мне идиота не разыгрывай.

ВИКТОРИЯ. А он и не разыгрывает. Он забрался на кровать, когда меня не было в номере.

МАРИНА. Что-о?.. Да за кого вы меня принимаете?

ВИКТОРИЯ. Да говорят вам, он свихнулся! Неужели вы до сих пор не видите?

МАРИНА. Вижу, не волнуйся! Я его, паршивца, насквозь вижу! С ума он сошел, надо же! Так я вам и поверила!

ВИКТОРИЯ. Нет, с вами бесполезно. Вот приедет врач...

МАРИНА. Что, что?

ВИКТОРИЯ. Я говорю, приедет врач, тогда...

МАРИНА *(перебивает).* Ты врача вызвала?

ВИКТОРИЯ. Конечно.

МАРИНА *(Калошину, панически).* А ну поднимайся!.. Поднимайся, и чтоб духу твоего здесь не было! Вставай немедленно!

КАЛОШИН. Нет, нет! Ни в коем случае.

МАРИНА. Ты что же, подняться не можешь?

КАЛОШИН. Не могу.

МАРИНА. Стыд-то какой! До врача дошло, надо же! Нашел себе дело на старости-то лет, да еще с больным сердцем! Тьфу! Бесстыжие твои глаза!

ВИКТОРИЯ. Я не могу...

МАРИНА. Поднимайся как хочешь! Не хватало еще, чтоб тебя видели в этой кровати! Поднимайся сию же минуту!

КАЛОШИН. Нет, нет... нельзя!.. Невозможно... Вы знаете, кто я? Я букашка, жучок, я божья коровка. Если я сейчас поднимусь – меня ветром унесет!

МАРИНА *(пытается его поднять).* Вставай, мошенник!

КАЛОШИН *(вцепился руками в кровать).* Нет, нет, нет...

МАРИНА *(Виктории).* А ну помоги!

ВИКТОРИЯ. Да не трогайте вы его.

МАРИНА. Поднимайся, Семен! Хуже будет...

КАЛОШИН. Хуже не будет!

МАРИНА. Издеваетесь?.. Мало вам всего, так вам меня еще осрамить надо? Опозорить по всему городу?.. Ну уж нет! Ничего не выйдет. Уж я-то найду на вас управу! *(Подошла к телефону, набрала номер.)* Думаете, я одна и надо мной издеваться можно?.. Ошибаетесь. *(В трубку.)* Муза?.. Это Марина... Муза, посмотри-ка, Олег еще там?

КАЛОШИН *(привстал).* Какой Олег?

МАРИНА *(в трубку).* Да он обычно за крайним столиком сидит... Позови... *(Калошину.)* Пеняй теперь на себя.

КАЛОШИН. Кто такой Олег?

МАРИНА *(вызывающе).* Да так, один знакомый. *(В трубку.)* Олег?.. Это Марина... Олег, поднимись-ка в двести десятый номер... Скорей. *(Бросает* *трубку.)*

КАЛОШИН *(с возмущением).* Ты вызвала его сюда?

МАРИНА. Что, не нравится?

КАЛОШИН *(с большим возмущением).* Его – сюда?

МАРИНА. Что? Я гляжу, тебе лучше стало?

КАЛОШИН *(спохватился, спокойно).* Значит, ты позвала его сюда? *(Ложится.)* Вот и хорошо... Веселее будет.

ВИКТОРИЯ. Представляю. А может, здесь без него обойдется?

МАРИНА. А это уже не твое дело. Он мой друг, понятно вам? Между прочим, между мужчиной и женщиной я больше обожаю дружбу. Не то что некоторые. *(Калошину.)* С этого дня он будет ходить к нам в гости, так и знай.

*Стук в дверь. Калошин вздрагивает.*

*(Открывает дверь)* Заходи, Олег.

*Появляется Камаев, молодой человек лет около тридцати. Он здоров, румян и неплохо одет. За норму поведения им принята некая развязная галантность. В руках у него сверток – явно бутылка.*

КАМАЕВ. Всеобщий привет.

МАРИНА. Проходи, Олег... Знакомься. Это вот, с журналом, мой муж.

КАМАЕВ. Муж? Двадцать копеек!

МАРИНА. Он самый.

КАМАЕВ *(озадачен).* Ну что ж... Очень приятно... *(Поклон.)* Камаев... Преподаватель... Вы... вам нездоровится?

МАРИНА. Он немного устал.

КАМАЕВ. Ну что ж... значит, надо немного отдохнуть... *(Калошину.)* Это ваша дочь?

МАРИНА. Да нет, это хозяйка номера.

КАМАЕВ. Да? Очень приятно. *(Поклон.)* Олег... Камаев. Преподаватель...

ВИКТОРИЯ. Уже слышали.

КАМАЕВ. А почему девушка такая сердитая?

МАРИНА. А ты не понимаешь?

КАМАЕВ. Я не понимаю. Я человек веселый, я... А что, собственно, я должен понять?

МАРИНА. Представь себе, я им помешала.

КАМАЕВ. Что-что?

МАРИНА. Я им помешала.

КАМАЕВ. Им? *(Удивляется, смотрит сначала на Викторию потом на Калошина.)* Не может этого быть...

МАРИНА. Ты что, мне не веришь?

КАМАЕВ. Нет, это серьезно?

МАРИНА. Олег, ты просто ребенок.

ВИКТОРИЯ. Может, хватит?

КАМАЕВ *(Виктории и Калошину).* Ну я вас поздравляю! *(Калошину.)* Поднимайтесь, по этому поводу надо выпить.

МАРИНА. Представь себе, он не может подняться.

КАМАЕВ. Да?

МАРИНА. Тебе придется ему помочь.

КАМАЕВ. Не может подняться? Что ты говоришь! *(Разглядывает Викторию.)* Я тебя поздравляю...

КАЛОШИН *(негромко, но еле сдерживаясь).* Ну подождите...

МАРИНА. Что ты сказал?

КАЛОШИН. Подождите, детки, дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток...

КАМАЕВ. Что такое?

МАРИНА. Представь себе, он прикидывается сумасшедшим.

КАМАЕВ. Да?.. Это зачем же?

МАРИНА. Выкручивается, ясное дело.

ВИКТОРИЯ. Он не прикидывается, он сумасшедший. А вы...

МАРИНА *(перебивает).* А ты помолчи. *(Камаеву.)* Послушал бы ты, что она здесь заливала. Доказывала мне, что он лег в постель, когда ее не было в номере. Ты представляешь?

*Камаев смеется.*

ВИКТОРИЯ. Нет, я больше не могу... К черту? *(Садится в кресло спиной к присутствующим.)* Разбирайтесь сами.

КАЛОШИН. Подождите, детки...

МАРИНА. Вот, возьми его.

КАЛОШИН. ...дайте только срок...

МАРИНА. Ведь кто его не знает – и поверить может. Псих и псих.

КАМАЕВ. Да я вижу, вы тут весело время проводите.

ВИКТОРИЯ. Что и говорить!

КАМАЕВ. Что ж. Я к вам присоединяюсь. Но поначалу надо немного выпить.

МАРИНА. Нет, сначала надо его поднять.

КАМАЕВ. Зачем? Пусть отдыхает.

МАРИНА. Нет, пет! Вот-вот сюда заявится врач.

КАМАЕВ. Ну и что?

МАРИНА. Как – что? Представляешь, какие будут разговоры, если...

КАМАЕВ. Уже понял.

МАРИНА. Ведь по всему городу пойдет, а зачем нам это надо?

КАМАЕВ. Да, это никому не надо. *(Калошину.)* Она права, придется вам подняться.

КАЛОШИН. Подождите, детки...

КАМАЕВ. Ждать нет никакого смысла.

КАЛОШИН. ...дайте только срок...

КАМАЕВ. Хоть вы и сумасшедший, но неплохо бы вам подумать сейчас о своей репутации.

КАЛОШИН. ...будет вам и белка, будет и свисток!

КАМАЕВ. Поторопитесь. Пока здесь все свои, и инцидент пока имеет частный характер. Но как только сюда войдет кто-нибудь посторонний... Подумайте, как вы будете выглядеть в общественном мнении.

МАРИНА. Ладно, хватит с ним разговаривать. Бери его я поднимай.

КАЛОШИН *(вцепился в кровать).* Нет, нет!.. Не трогайте меня... Я букашка, я мошка, но я... я ужалить могу! Лучше не трогайте.

МАРИНА *(Камаеву).* Бери его за шиворот, и никаких.

КАМАЕВ. Ну зачем же так? *(Калошину.)* Мы и сами в состоянии, мы люди интеллигентные, не правда ли?

КАЛОШИН. Мы мошки, мы букашки...

КАМАЕВ. Перестаньте. Вы человек цивилизованный и не хуже меня знаете, что значит моральное разложение. Поднимайтесь.

МАРИНА. Олег, ты провозишься.

КАМАЕВ. Прошу вас. Не принуждайте меня к физическому воздействию. Я человек воспитанный, но...

КАЛОШИН *(вдруг садится на постели, с тихой яростью).* Если ты человек воспитанный... *(громче и выше тоном)* если ты человек цивилизованный... *(пронзительным голосом и потрясая в воздухе кулаками)* если ты человек интеллигентный!.. тогда... *(остановился, опустил кулаки, потом – с просьбой, отчаянной, но одновременно и смиренной)* тогда скажи мне, что такое метранпаж?

*Небольшая пауза.*

ВИКТОРИЯ *(поднимается).* Нет, я больше не могу. *(Камаеву.)* Отвечайте, если знаете. На этом он и помешался.

КАМАЕВ. На чем?

ВИКТОРИЯ. На метранпаже!

КАМАЕВ. Это как же?

ВИКТОРИЯ. А вот так. Ко мне в номер зашел человек, а он его отсюда вытолкал.

КАМАЕВ. Так.

ВИКТОРИЯ. А потом спохватился. Вытолкал, а кого вытолкал – неизвестно.

КАМАЕВ. Так...

ВИКТОРИЯ. Кто такой? Позвонил в регистратуру, а там ему и говорят, метранпаж. А кто такой метранпаж – никто не знает.

КАМАЕВ. Так, так...

ВИКТОРИЯ. Кто такой, откуда? Может это шишка какая-нибудь? Тут уж он по-настоящему сдрейфил. Куда ни позвонит – никто не знает. Сказали – из газеты, а в точности неизвестно. Тут он и вовсе.

КАМАЕВ. Так...

ВИКТОРИЯ. Ну и вот. И тронулся. С перепугу.

МАРИНА. Врет она.

КАМАЕВ *(Марине).* Подожди. *(Виктории.)* Значит, никто не знает, кто такой метранпаж?

ВИКТОРИЯ. В том-то и дело! Если знаете-объясните ему! Вдруг это ему поможет.

КАМАЕВ *(забавляется).* Навряд ли. Боюсь, как бы ему не стало хуже...

*Калошин, до сих пор жадно прислушивающийся к разговору, теперь не может скрыть своего волнения и испуга.*

Оскорбить метранпажа, знаете.

ВИКТОРИЯ *(с нетерпением).* Да кто он такой?

КАМАЕВ. Н-да... *(Калошину.)* Вы его не били?

КАЛОШИН *(вне игры).* Нет! Нет!

КАМАЕВ. Признавайтесь честно, здесь все свои. Было рукоприкладство?

КАЛОШИН. Н-ничего такого! Клянусь!

ВИКТОРИЯ. Он его вытолкал.

КАМАЕВ. Вытолкал?.. Это нехорошо... А не выражались?

КАЛОШИН. Как?

КАМАЕВ. Употребляли нецензурные выражения?.. Не матерились?

КАЛОШИН. Ни разу! Виктория. Он назвал его донжуаном.

КАМАЕВ. Метранпажа – донжуаном?.. Нда, это уже... Это совсем нехорошо.

ВИКТОРИЯ. Да кто же такой метранпаж?

МАРИНА. Кто?

ВИКТОРИЯ. Знаете вы или нет?

КАЛОШИН *(дрожит).* Что такое метранпаж?

КАМАЕВ. Я вижу, к вам вернулся рассудок. Тем хуже для вас. В вашем положении лучше оставаться сумасшедшим.

КАЛОШИН *(тяжело дышит).* Что такое метранпаж?

КАМАЕВ. Метранпаж – это... это... Да, дорогой мой, плохи ваши дела.

ВИКТОРИЯ. Да не тяните вы!

КАМАЕВ. Метранпаж-это, друзья мои, не что иное, как человек из министерства. Большой человек...

*Небольшая пауза*

Да, друзья мои, это так, ничего не поделаешь...

*Стук в дверь. Калошин вздрагивает и опускается на постель Стук в дверь повторяется. Марина осторожно приоткрывает дверь и выглядывает в коридор*

МАРИНА. Борис?.. Это ты? *(Открывает дверь.)*

*Появляется Рукосуев, человек одного с Калошиным возраста. Он в белом халате, в очках, в руках у него белый ящичек.*

Нам повезло. Это Борис, его старый друг.

КАМАЕВ. Камаев... Преподаватель...

РУКОСУЕВ *(проходит).* Ну? Где наш больной? Лежит? *(Чуть насмешливо.)* Стало быть, дело серьезное... *(Сел на постель.)* Семен, ты что это, голубчик?

*Калошин лежит неподвижно.*

Что с тобой стряслось?

МАРИНА. Да ты не волнуйся, он больше притворяется.

РУКОСУЕВ *(изображая удивление).* Притворяется?.. Для чего же притворяется?

МАРИНА. Да вот. Натворил здесь делов, вот и крутится

РУКОСУЕВ. Семен... Семен!

МАРИНА. Ты что, оглох?

РУКОСУЕВ. Семен!

*Марина трясет Калошина. Он стонет.*

МАРИНА. Хватит придуряться!

РУКОСУЕВ *(чуть посмеивается).* Семен, это уже лишнее.

МАРИНА. Хватит, говорю, придуриваться. Это же Борис, ты что, не видишь?.. Оглох он, что ли?

РУКОСУЕВ. Семен... Это ты, брат, уже через край...

КАМАЕВ. Ну артист...

ВИКТОРИЯ. Поднимайтесь, хватит вам паясничать.

РУКОСУЕВ. Семен... *(Берет руку Калошина, слушает пульс.)* Что с тобой?

МАРИНА. Отвечай, шут гороховый!

РУКОСУЕВ *(вдруг серьезно, с тревогой).* Подождите!

МАРИНА. Надо же, до чего обнахалился...

РУКОСУЕВ *(строго).* Тихо!

*Небольшая пауза.*

Ему плохо.

МАРИНА. Что?

РУКОСУЕВ. Он без сознания.

КАМАЕВ. Вы серьезно?

РУКОСУЕВ. Никаких шуток. *(Достает из ящичка шприц и прочее.)*

МАРИНА. Как же так?

РУКОСУЕВ. Тише!

*Пауза.*

*(Измеряет Калошину давление.)* У него сердечный приступ.

МАРИНА. Ну вот... Доигрался...

*Рукосуев делает Калошину укол. Все молчат. Рукосуев снова прослушивает у Калошина пульс и сердце.*

ВИКТОРИЯ. Ну что?

МАРИНА. Как он?

РУКОСУЕВ. Тише... Он... Да, он умирает.

МАРИНА *(громко).* Умирает?

*Калошин стонет.*

Семен!

КАЛОШИН *(вдруг).* Что ты сказал?.. Борис? Это ты?.. Это ты сказал?

МАРИНА. Семен!

КАЛОШИН. Я слышал... Она сказала, что я помираю... Это правда?

РУКОСУЕВ. Спокойно, Семен. Ничего не говори.

КАЛОШИН. Нет, это правда... Я и сам чувствую, что помираю...

МАРИНА *(плаксиво).* Семен, дорогой!

КАЛОШИН. Не притворяйся, Марина... Всю жизнь притворялась, хватит.

РУКОСУЕВ. Семен! Тебе нельзя разговаривать.

КАЛОШИН. Борис, не обманывай... Мне конец... Ты сам сказал...

МАРИНА. Семен, не надо! Я не хочу...

КАЛОШИН. Врешь...

МАРИНА. Семен...

КАЛОШИН. Все шесть лет...

МАРИНА. Молчи, Семен...

КАЛОШИН. Ты ждала этого часа.

МАРИНА. Тебе нельзя разговаривать...

КАЛОШИН. Вот и радуйся.

РУКОСУЕВ. Тише, Семен, тише.

КАМАЕВ. Доктор, я полагаю, посторонним здесь делать нечего...

КАЛОШИН. Он еще здесь? *(Приподнял голову.)* Ты еще здесь?!

КАМАЕВ. Вы мне?

КАЛОШИН. Вон отсюда, сутенер!

РУКОСУЕВ. Спокойнее, прошу тебя!

КАЛОШИН. Вон отсюда!

МАРИНА. Семен...

КАЛОШИН. И ты, змея... вон отсюда!

РУКОСУЕВ. Тише, тише!

КАЛОШИН *(Марине и Камаеву).* Вон отсюда!.. Я желаю помереть среди порядочных людей!

*Камаев выходит.*

МАРИНА. Семен...

КАЛОШИН. Вон!

РУКОСУЕВ *(выводит Марину).* Выйди, выйди. Так будет лучше. *(Закрывает дверь.)* Семен, я запрещаю тебе разговаривать.

КАЛОШИН. Ничего... Я и так долго молчал.

РУКОСУЕВ. Тебе нельзя волноваться. Успокойся. *(Прослушивает у Калошина пульс.)*

*Раздается стук. Виктория подходит к двери.*

КАЛОШИН. Кто это?

РУКОСУЕВ. Не открывайте.

КАЛОШИН. Может, это метранпаж?

РУКОСУЕВ. Никому не открывать.

КАЛОШИН. Почему? Пусть он заходит... Метранпаж так метранпаж. Все равно. Плевать я на него хотел... Приехал тоже... Как он приехал, так порядочные люди не приезжают. Так воры приезжают и аферисты.

*Стук повторяется.*

Откройте... Я ему скажу кое-что... на прощанье. Пусть знает.

РУКОСУЕВ. Успокойся, Семен.

КАЛОШИН. Хоть он и метранпаж, а помирать-то и ему придется,

ВИКТОРИЯ *(у дверей).* Это не метранпаж, это ваша жена.

КАЛОШИН. Ее не пускайте. Житья мне не давала, так пусть хоть даст помереть по-человечески.

*Звонит телефон.*

ВИКТОРИЯ *(подходит, берет трубку).* Да, двести десятый... Семена Николаевича?

РУКОСУЕВ. Никаких разговоров. Положите трубку.

ВИКТОРИЯ *(по телефону).* Он... он занят... Что передать?.. Метранпаж?.. Откуда?.. Из типографии?.. Что?.. Наборщик?.. Это точно?.. Хорошо, я передам... *(Положила трубку.)* Метранпаж – это из типографии.

КАЛОШИН. Из типографии?

ВИКТОРИЯ. Наборщик.

КАЛОШИН. Наборщик? *(Небольшая пауза. Затем начинает смеяться, но тут же стонет.)* Наборщик? *(Смеется и стонет.)* Мышь типографская... Тля!.. Букашка!.. А ведь как напугал... До смерти напугал...

РУКОСУЕВ. Перестань, Семен! Тебе нельзя шевелиться.

КАЛОШИН. Ну не идиот ли я?.. Слова перепугался, звука... скрипа тележного... Стыд... Позор...

РУКОСУЕВ. Помолчи, я тебя прошу.

КАЛОШИН. Да так, видно, мне и надо... Как был невежа, так невежей и помираю...

РУКОСУЕВ. Лежи спокойно... *(Делает Калошину укол.)* Воды!

*Виктория подает стакан с водой*

КАЛОШИН. Зачем?.. Помираю я, Борис, чего уж тут... Сердце... Чувствую, как оно останавливается...

РУКОСУЕВ *(подает Калошину лекарство).* Выпей.

КАЛОШИН. Напрасно это. Все напрасно...

РУКОСУЕВ. Пей, Семен.

КАЛОШИН. Нет, Борис. Видно, от судьбы не уйдешь...

*Небольшая пауза. Стакан с водой Рукосуев поставил на тумбочку.*

Давно, когда я еще баней заведовал, сказал мне как-то один грамотный человек. С вашим характером вы, говорит, далеко пойти можете, но, говорит, учтите, погубит вас ваше невежество. Так оно и вышло. Хотел я от судьбы уйти: следы заметал, вертелся, петли делал, с места на место перескакивал. Сколько я профессий переменил? Кем я только не управлял, чем не заведовал?.. И складом, и баней, и загсом, и рестораном. И по профсоюзу, бывало, и по сапожному делу, по снабжению, и по спортивному сектору – в каких только сферах я не вращался? С кем только дела не имел? И с туристами, и с инвалидами, и со шпаной, бывало. Большим начальником, правда, никогда не был, но все же... Одно время был я даже директором кинотеатра... И везде, бывало, что-нибудь да получится. То инвентаря, бывало, не хватит, то образования... Всякое со мной случалось, но ничего, везло мне все же. Хлебнешь, бывало, а потом, глядишь, снова выплыл... Судьба только меня и остановила. Сколько ни прыгал, и досталась мне в конце концов эта самая гостиница. И метранпаж в результате... *(Чуть передохнул.)* Начальства я, Боря, всегда боялся... Ничего я на свете не боялся, кроме начальства. Больше скажу: я так его боялся, что, когда сделался начальником, я самого себя стал бояться. Сижу, бывало, в своем кабинете и думаю – я это или не я. Думаю – как бы мне самого себя, чего доброго, под суд не отдать... После привык, конечно, но все равно. По сути дела, так всю жизнь и прожил в нервном напряжении. Дома, бывало, еще ничего, а придешь на работу – и начинается. С одними одно да себя изображаешь, с прочими – другое, и все думаешь, как бы себя не принизить. И не превысить. Принизить нельзя превысить и того хуже... День и ночь, бывало, об этом думаешь. Откровенно, Борис, тебе скажу, сейчас вот только и дышу спокойно... Перед самой смертью...

РУКОСУЕВ. Да подожди ты, Семен...

КАЛОШИН. Нет, Борис, моя песенка спета... Кончено...

*Снова стучат. Виктория снова подходит к двери.*

Увидишь жену мою... первую жену, Клаву... Дочь мою увидишь – передай им, что помирал, мол, о них думал...

*Виктория приоткрыла дверь и шепчет что-то, очевидно Марине.*

РУКОСУЕВ. Закройте дверь.

КАЛОШИН. Эх, Борис! Только и было жизни, что в молодости... Помнишь?.. Помнишь, на реке работали?.. Буксир был «Григорий Котовский», помнишь?.. А «Лейтенант Шмидт»? *(Плачет.)* Помнишь...

РУКОСУЕВ. Помню, помню. Ты только не волнуйся.

КАЛОШИН. А «Иван Тургенев»? *(Плачет.)* Эх, Борис... Пропала моя жизнь... пропала... А кто виноват?.. Метранпаж виноват?

*Стук в дверь.*

Жена новая виновата?

РУКОСУЕВ. Никто не виноват, лежи спокойно. *(Пытается завладеть рукой*

*Калошина.)*

КАЛОШИН *(убирает руку).* Нет, Борис. Сам я виноват... Сам во всем виноват.

*Снова стук в дверь.*

ВИКТОРИЯ *(у двери).* Жена ваша просится.

КАЛОШИН. Впустите ее.

РУКОСУЕВ. Нет, нет.

КАЛОШИН. Пусть войдет... Что она мне сделала? Ведь я знал, все знал... Только вид делал, что не знаю... А ей что? Она молодая, красивая, ей жить хочется. Ведь она меня в два раза моложе, я ей, можно сказать, Жизнь испортил... Пусть войдет, проститься нам надо.

*Виктория впускает Марину.*

МАРИНА. Семен!.. Как он?.. Семен, как ты?

КАЛОШИН. Марина, бог с тобой, прощаю я тебя... И ты меня прости. И не поминай лихом... Похорони меня и выходи замуж... Ничего. Выходи, пока не поздно...

МАРИНА *(удивилась и растрогалась).* Семен! Да что же это ты?

КАЛОШИН. Да вот за него и выходи, за этого... Если он тебе нравится.

*Марина заплакала.*

Да пусть он войдет.

МАРИНА *(плача, открывает дверь).* Олег!.. Иди сюда, Олег...

*Камаев появляется в дверях.*

КАЛОШИН. Войди.

*Камаев входит, останавливается рядом с Мариной.*

Ну что, Борис?.. Погляди на них...

МАРИНА *(в голос).* Семе-ен!.. Век тебя не забудем...

КАЛОШИН. Ну и бог с вами... Живите.

КАМАЕВ *(ошеломлен).* Что?

КАЛОШИН. Женитесь, говорю... Разве ты не хочешь?

КАМАЕВ. Я?.. Нет, я... Признаться, я об этом не думал.

МАРИНА *(перестала плакать).* Как – не думал?.. Ты всегда говорил...

КАМАЕВ. Разве я говорил?

МАРИНА. Ну как же, Олег...

КАМАЕВ. Значит, говорил. Но еще не думал.

МАРИНА. Да ты что, Олег? Выходит, ты меня обманывал?

КАМАЕВ *(пришел в себя).* Совсем нет, но... Нельзя же так. Человек умирает, а мы про женитьбу... Нехорошо.

КАЛОШИН. Ничего... Дачу отдадите Клаве, а квартиру себе берите. Да живите дружно. За деньгами не гоняйтесь, за чинами тоже... Главное, чтобы совесть была чиста...

РУКОСУЕВ. Подожди, Семен... *(Пытается взять руку Калошина, чтобы прослушать пульс.)*

КАЛОШИН *(убрал руку).* Хватит, Борис... Мое дело ясное... Мне конец... Сердце... Вот-вот оно разорвется... *(Камаеву.)* А метранпаж – это не из министерства, запомните... Это из типографии, наборщик...

КАМАЕВ. Что вы говорите?

КАЛОШИН. Учиться надо, молодой человек...

*Рукосуев наконец завладел рукой Калошина, прослушивает пульс.*

Если бы я мог прожить еще одну жизнь... разве бы я так ее прожил?

РУКОСУЕВ. Подожди-ка...

Калошин. Марина... Плиту мне положите... Небольшую... она недорого стоит.

*Марина снова заплакала.*

На плите напишите...

РУКОСУЕВ. Подожди-ка... Ничего не понимаю...

КАЛОШИН. Хотя... Не надо ничего писать. Только фамилие, имя, отчество, год рождения и...

РУКОСУЕВ *(возбужденно).* Семен! Ты... У тебя... Ну конечно! У тебя приличный пульс...

*Небольшая пауза*

У тебя вполне приличный пульс!.. Минутку! Посмотрим давление... *(Измеряет Калошину давление.)*

*Пауза*

Семен! Тебе лучше.

КАЛОШИН. То есть как?

РУКОСУЕВ. Так! Считай, что выкарабкался.

КАМАЕВ *(Рукосуеву).* Серьезно?

РУКОСУЕВ. Какие могут быть шутки? Он будет жить.

МАРИНА. Семен...

КАЛОШИН. Жить?.. *(Садится на постели.)* Но... но как же так?

РУКОСУЕВ. Будешь жить, Семен... Ты что, недоволен?

КАЛОШИН. Но как же?.. Что же это получается?

КАМАЕВ. А что вас смущает? Живите на здоровье. Вам крупно повезло.

МАРИНА. Живи, Семен, к-конечно...

КАЛОШИН. Но что же я теперь... как?

КАМАЕВ. А в чем, собственно, дело? Если вас смущает ваше завещание, так вы... вы не стесняйтесь. Пусть все будет по-старому. У меня, например, никаких претензий.

МАРИНА. Вот как?

КАМАЕВ. Да. *(Калошину.)* Откровенно говоря, мне даже так больше нравится.

МАРИНА. Но ты... ты всегда говорил...

КАМАЕВ. Что я говорил? Послушай, что за навязчивая идея? Даже неловко, честное слово. Человек жить остался, радоваться надо, а ты что? Нет, я этого не понимаю.

ВИКТОРИЯ. Я не могу...

МАРИНА *(Камаеву).* А я тебя, кажется, поняла.

РУКОСУЕВ. Семен, что с тобой?.. Ты что, не рад?

МАРИНА. Так вот нет же! Не бывать по-старому!.. Семен! Прости меня! *(Приближается к Калошину.)* Прости, Семен... Я... Если ты... Я останусь с тобой! А он... этот... Я знать его не хочу!

КАМАЕВ. И слава богу.

МАРИНА. Семен! Прости...

РУКОСУЕВ *(Калошину).* Да очнись ты!

МАРИНА. Семен! Посмотри па меня! Скажи что-нибудь...

*Стук в дверь*

ВИКТОРИЯ. Кто там еще?.. Я не могу...

*Стук повторяется.*

Войдите!

*Появляется Потапов. Он сильно возбужден.*

ПОТАПОВ. Можете меня поздравить. Они выиграли... А что тут у вас происходит?.. Здесь в коридоре вся гостиница собралась.

КАЛОШИН. Вся гостиница?.. *(Энергично.)* К черту гостиницу! Я начинаю новую жизнь. Завтра же ухожу на кинохронику.

ВИКТОРИЯ. Нет, я больше не могу!

*Занавес*

*Анекдот второй*

**ДВАДЦАТЬ МИНУТ С АНГЕЛОМ**

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ХОМУТОВ – агроном.

АНЧУГИН – шофер

УГАРОВ – экспедитор *(командированные из города Лопацка)*

БАЗИЛЬСКИЙ – скрипач, прибывший на гастроли.

СТУПАК – инженер

ФАИНА – студентка *(молодожены).*

ВАСЮТА – коридорная гостиницы «Тайга».

*Двухместный номер той же гостиницы. В комнате беспорядок, на столе пустые бутылки. Шторы закрыты, комнату освещает дешевая люстра.*

*Из соседних номеров доносятся звуки: пассажи, исполняемые на скрипке, и время от времени женский смех.*

*На одной из постелей сидит Угаров. Он только что проснулся и теперь сидит понуря голову. Его гнетет похмелье. Он поднимается, шарит в тумбочке и под столом. Он уже одет, но на ногах у него один ботинок.*

*Угарову лет тридцать с лишним, он проворен, суетлив, не лишен оптимизма, который сейчас, правда, ему трудно проявить.*

*Он осматривает бутылки. Видно, что они пусты. С отвращением пьет воду из графина. Напился. Отдышался. Шарит по карманам. В кармане ни гроша, это становится понятным. Идет по комнате, отрыл шторы. За окном, оказывается, белый день.*

УГАРОВ *(громко).* Подъем!

*Анчугин просыпается, приподнимает голову, тупо смотрит на Угарова. Анчугин угрюм, медлителен, тяжеловат на подъем. Энергия дремлет в нем до поры до времени.*

С добрым утром!

АНЧУГИН *(сообразив, где он и что с ним, собственно, происходит).* Выпить. *(Протянул руку в сторону стола.)*

УГАРОВ. Выпить?.. Сколько хочешь. *(Подает Анчугину графин с водой.)*

АНЧУГИН *(отстранил руку Угарова с графином).* Выпить.

УГАРОВ. Не хочешь? А чего ты хочешь? *(С горькой усмешкой.)* Водки, пива или, может, коньяку?

АНЧУГИН. Водки.

УГАРОВ *(помолчал).* Так. Водку, значит, предпочитаешь.

АНЧУГИН. Нету?.. Ничего?.. *(Поднимается, осматривает пустые бутылки.)* А деньги есть?

УГАРОВ *(бросает Анчугину его пиджак).* Обследуй.

АНЧУГИН *(шарит по карманам, трясет пиджак).* Тишина... А у тебя?

УГАРОВ. Ни копейки... Слушай, а где мой ботинок? Ты не знаешь? *(Ходит по комнате, ищет ботинок.)* Где он делся?.. Ты его не видел?..

*Молчание.*

А есть у нас в этом городе знакомые?

АНЧУГИН. У меня – никого.

УГАРОВ. И у меня. Я здесь в первый раз. *(Маленькая пауза.)* Надо соображать. Хотя бы три рубля.

АНЧУГИН. Три шестьдесят две.

УГАРОВ. А закусь?

АНЧУГИН *(помолчав).* А где их взять?

УГАРОВ. На заводе?

АНЧУГИН. Правильно, на заводе. А то где?

УГАРОВ *(рассуждает).* Нежелательно... Первый раз. Служебные отношения, сам понимаешь...

АНЧУГИН. Звони.

УГАРОВ. Вот положение... Ну ладно. *(Придвинул к себе телефон. Колеблется.)* Нарушаю этикет...

АНЧУГИН. Хрен с ним, с этикетом.

УГАРОВ. Нежелательно... У нас ведь как? Экспедитор дает, а экспедитору никто ничего не дает – закон... Ну ладно. *(Набирает номер.)* Молчит... *(Достает записную книжку.)*

АНЧУГИН *(поставил бутылки рядом).* Тридцать шесть копеек.

УГАРОВ. Полста семь-пятнадцать, начальник сбыта. Строгая женщина... *(Набирает номер.)* Не отвечает.

АНЧУГИН. Тридцать шесть, а бутылка пива-тридцать семь. Не получается.

УГАРОВ. Полета семь-тридцать четыре, проходная. *(Набирает номер.)* Фарфоровый?.. Почему у вас контора не отвечает?.. Серьезно? *(Положил трубку.)* Вот, Федор Григорьевич, сегодня воскресенье... выходной...

*Молчание, а за стеной – скрипка.*

АНЧУГИН. Да... Оригинальный случай...

УГАРОВ. Слушай! Где же мой ботинок? Украли его, что ли?

*За стеной скрипка активизируется.*

АНЧУГИН. А этому *(жест головой в сторону стены)* горя мало. Пилит и пилит.

УГАРОВ. А что ему делать? Артист. Обеспеченный человек.

АНЧУГИН. Надоел.

*Женский смех.*

Вот еще тоже. Кобыла.

УГАРОВ. А тут парочка поселилась. Молодые. Веселые... И водки им не надо. *(С надеждой.)* Федор Григорьевич! А кто пил?

АНЧУГИН. Не помню. (Пауза.) Беда... Отправили меня с тобой на мою голову. Я три месяца не пил, а ты, змей, за три дня всего меня испортил.

УГАРОВ. Да ладно, Федор Григорьевич, этим ты себе не поможешь. Где денег-то взять?

АНЧУГИН. Где их возьмешь.

УГАРОВ. Занять.

АНЧУГИН. У кого?

УГАРОВ. В том-то а вопрос. Думать надо. Соображать.

АНЧУГИН. Не могу я думать, у меня голова болит.

*Молчание. Слышна скрипка.*

*(Вдруг вскакивает.)* Замолчит он или нет? *(Хотел ударить кулаком по стене, по Угаров его удержал.)*

УГАРОВ. Спокойно, Федор Григорьевич, так ты себе тоже не поможешь.

АНЧУГИН. Душу он мне выматывает.

УГАРОВ. У него работа такая, зачем шуметь. Наоборот, артистов уважать надо. Они большие деньги заколачивают. *(Изображает игру на скрипке.)* Туда провел – рубль, обратно – опять же рубль. *(Неожиданно.)* Даст он нам трояк или нет?

АНЧУГИН. Он?

УГАРОВ. А что тут такого? Так, мол, и так, не одолжите ли до завтра. Сегодня даем телеграмму – завтра получаем. А?.. Давай, Федор Григорьевич.

АНЧУГИН. А почему я? Почему, к примеру, не ты?

УГАРОВ. Ну, Федор Григорьевич. Я же твой начальник как-никак.

АНЧУГИН. Какой ты начальник. *(Помолчал.)* Не пойду.

УГАРОВ. Федор Григорьевич! Ты посмотри на меня. Куда же я пойду? Я же без ботинка!.. Ведь в таком виде нельзя появляться в обществе. Неприлично...

АНЧУГИН. Не пойду.

УГАРОВ. Ладно. Ты иди к молодоженам, а музыканта я беру на себя, так уж и быть... Ну?.. Они сюда на машине прикатили – богатые, вдвоем опять же – добрые. Ты постучись, извинись, как полагается, поздоровайся. Мужа вызови в коридор...

АНЧУГИН. А кто он такой?

УГАРОВ. Он? Да вроде бы инженер. Вызови его в коридор... Хотя – нет, не вызывай, проси при женщине, при женщине лучше...

АНЧУГИН. Учи ученого. *(Поднимается.)* Хрен с ним, к инженеру – попробую. *(Уходит.)*

УГАРОВ *(набирает номер телефона).* Товарищ скрипач?.. *(Этак непринужденно.)* Доброе утро... Ну и как?.. Как вам спалось?.. *(Сбавил тон.)* Виноват... Соседи ваши... Мы в основном, видите ли, по промышленности... Да нет, по номеру соседи, по гостинице... Да, да... Вот вы играете, а мы с другом слушаем и буквально наслаждаемся... Что?.. Вчера-то?.. Да, да. Было, было! *(Хихикает.)* Не говорите... *(Оправдывается.)* Это гости, знаете ли, гости... они, все они... Люди, сами понимаете, простые, бесхитростные, чуть что – петь, плясать... Я с вами согласен. Совершенно верно... Приму к сведению... В чем дело?.. Дело, знаете ли, щекотливое, вопрос, можно сказать, обоюдоострый... Короче? Хорошо. Можно покороче... Но дадите ли вы нам взаймы – немного? Вы извините, конечно, но завтра мы получаем сумму... Что?.. Попятно... *(Видно, что разговор окончен. Бросил трубку.)* Жлобина!

*Стук в дверь. Входит Васюта со шваброй в руках. Васюта – пожилая, усталая женщина, с резким рассерженным голосом.*

ВАСЮТА *(осматривает комнату).* Убирать будем?

УГАРОВ. Можно. А можно и не убирать. Все равно.

ВАСЮТА. Который день пьете? *(Прибирает номер.)*

УГАРОВ. Который?.. Третий, Анна Васильевна. Третий, с твоего разрешения.

ВАСЮТА. В честь чего пьете? На что? На какие такие капиталы?

УГАРОВ. На свои, Анна Васильевна, на трудовые.

ВАСЮТА. Господи! Что люди с деньгами делают! Видеть этого не могу. К примеру, по копейке собираю, никак внучку одеть не могу, а вы на водку – сотнями, сотнями фугуете. Зло меня берет. *(Прибирает в шифоньере.)* Это что? Господи! Срам да и только!

УГАРОВ. Что, Анна Васильевна?

ВАСЮТА. Да где же это видано, чтобы ботинок-то в урну класть.

УГАРОВ. Что вы говорите! Как же он туда попал?

ВАСЮТА. Вот и я говорю – как?

УГАРОВ. Как? Самому удивительно.

ВАСЮТА. Чистый срам... *(Пауза. Убирает комнату.)* А вот, пока не забыла. От администрации вам напоминание: за номер ни плачено за трое суток да графин разбили третьего дня. Приготовьте денежки...

УГАРОВ. Анна Васильевна! Ты меня убиваешь.

*Входит Анчугин.*

Анна Васильевна, Анна Васильевна... Я понимаю... штуки, они заботу требуют, но бывает так, что и не выпить нельзя. Вот ты, Анна Васильевна, *(об Анчугине)* на него посмотри... Посмотри.

ВАСЮТА *(отвлекается от уборки).* Ну?.. Чего я на нем не видела?

УГАРОВ. Ведь он человек нездоровый. Больной... *(Врасплох.)* Анна Васильевна, голубушка! Спаси. Дай три рубля до завтра.

ВАСЮТА *(быстро).* Нет, нет. Не дам. *(Расстроилась.)* Ни стыда у вас, ни совести! Сотнями шныряете, а просите – у кого? Нет! Нет! И не говорите и не думайте! *(Уходит.)*

АНЧУГИН. Удавится – не даст.

*Пауза.*

УГАРОВ. А как соседи?

АНЧУГИН. Кто? *(Показывает.)* Они?.. Держи карман шире. Парень-то не дурак; образованный. У нас, говорит, свадебное путешествие, большие расходы, извини, говорит, друг, и закрой дверь с той стороны. Отрубил. *(Жест в сторону стены.)* А этот?

УГАРОВ. Отказал – то же самое.

АНЧУГИН. Это дело гиблое. Никто не даст. *(Сел на постель, держится за голову.)* Не могу я. Черепок раскалывается...

*Женского смеха больше не слышно. Слышна скрипка. Анчугин поднимается и колотит кулаками в стенку. Угаров его удерживает.*

УГАРОВ. Не скандаль, Федор Григорьевич. Что толку?

АНЧУГИН. Мозги он мне сверлит, зараза.

*Быстро стучит и входит Базильский, весьма горячий человек, со смычком в руках. Ему лет около пятидесяти.*

БАЗИЛЬСКИЙ. Что это значит? Зачем вы стучите в стену?

АНЧУГИН. Ваша музыка мне надоела.

БАЗИЛЬСКИЙ. О! Так я вам помешал? – Извините! Я мешаю вам орать, реветь, рычать, простите великодушно.

УГАРОВ *(снисходительно).* Ну на первый раз, я думаю...

БАЗИЛЬСКИЙ. Виноват, виноват! А вчера вы даже визжали. Вот вы *(показывает на Анчугина)* именно визжали. Это-то как вам удается – не понимаю.

УГАРОВ. А вот так – получается.

БАЗИЛЬСКИЙ. А теперь еще стучать в стену? Не слишком ли это, друзья мои?

АНЧУГИН. Ваша музыка нам надоела. *(Помолчал.)* На нервы она действует.

УГАРОВ. Да, товарищ скрипач, у нас нервы не железные.

БАЗИЛЬСКИЙ. Нервы? Разве у вас есть нервы?

УГАРОВ. А то как же? У вас нервы есть, а у нас, выходит, нет?

БАЗИЛЬСКИЙ. Представьте не подозревал. *(Ходит по комнате.)* И сию минуту, представьте, не разумею, откуда у вас нервы и зачем вам нервы. *(Останавливается.)* А если они у вас есть, какого же черта вы стучите в стену?

АНЧУГИН. Ваша музыка нам осточертела.

УГАРОВ. Здесь вам не Дворец культуры, здесь гостиница, здесь люди отдыхают, между прочим.

АНЧУГИН. Все. И больше чтоб – ни звука. Ясно?

УГАРОВ. Вот придем к вам на концерт – там играйте, пожалуйста, а тут...

БАЗИЛЬСКИЙ *(психанул).* Что? Вы – на мой концерт?.. Зачем?.. За-че-ем?

УГАРОВ. Как это – зачем? Послушать. Получить удовольствие.

БАЗИЛЬСКИЙ. Удовольствие... Не пугайте меня, черт подери! Не надо! *(Бегает по комнате.)* Сто лет не ходили и еще сто лет не ходите – ради бога! Вы в балаган отправляйтесь, в кабак! Туда, туда – прямиком!

УГАРОВ (несколько озадачен). Что вы против нас имеете?

БАЗИЛЬСКИЙ. А ко мне – нет! Ко мне – не надо! У меня не смешно! Не смешно! И никаких удовольствий! Лучше я буду играть в пустом зале! И не мешайте мне работать, черт вас возьми! *(Уходит стремглав.)*

*Маленькая пауза.*

АНЧУГИН. Заводной мужик.

УГАРОВ. Видно, народ на него не ходит – деньга не идет.

АНЧУГИН. Деньга есть. Жмется.

*Вновь слышна скрипка.*

УГАРОВ *(осматривает бутылки).* Тридцать шесть копеек. Даем телеграмму?

АНЧУГИН. Кому?

УГАРОВ. Надо подумать. Подать в управление – протянут дня три, наверняка. Жене – не поймет. Остается матери... ей...

АНЧУГИН. Мать – конечно. Мать не подведет.

УГАРОВ *(пишет в записную книжку).* «Лопацк. Перова два, Угаровой. Срочно сорок. Белореченск, Главпочтамт. До востребования. Целую. Виктор». *(Считает количество слов.)* Раз, два, три... По три копейки... Уложились.

АНЧУГИН *(держится за голову).* Три рубля-всего и надо-то. Я когда в геологии работал, три рубля мне было – раз плюнуть. Плюнуть и растереть. *(Презрительно.)* Три рубля! *(Помолчал.)* А ведь без них подохнуть можно.

УГАРОВ. Да не ной ты, Федор Григорьевич. Придумаем что-нибудь. В лесу мы живем, что ли. Неужели на свете нет добрых людей? Найдем. *(Поднимается, распахивает окно.)* Смотри, сколько народу. Полная улица...

АНЧУГИН *(подходит к окну).* Ну?.. Вот и попроси у них. (Помолчал.) Чего не просишь? Проси...

*Оба смотрят в окно.*

Все они добры, когда у тебя деньги есть. А когда – нет?.. Вот я тебе сейчас покажу. *(Кричит в окно.)* Люди добрые! Граждане! Минуту внимания!

УГАРОВ. Что ты? Зачем?

АНЧУГИН *(Угарову).* Гляди, что получится. *(Кричит.)* Люди добрые! Помогите! Тяжелый случай! Безвыходное положение!

УГАРОВ. Чего ты хочешь?

АНЧУГИН *(Угарову).* Погоди. *(Кричит.)* Граждане! Кто даст взаймы сто рублей?

УГАРОВ *(смеется).* Не шути, Федор Григорьевич, милиция такие шутки не любит.

АНЧУГИН. Гляди на них. Смеются... *(Кому-то на улице.)* Ну, чего лыбишься? *(Угарову.)* Вишь, расплылся на сытый-то желудок... А другие будто и не слышат... А толстяк, гляди, даже ходу прибавил.

*Угаров смеется.*

Вот так. Вот они, твои люди добрые.

*Они отходят от окна.*

Деньги, когда их нет, – страшное дело.

*Помолчали.*

УГАРОВ. Смех смехом, а где же действительно взять три рубля?

АНЧУГИН. Фуфайку мою толкнуть? Новая.

УГАРОВ. Пли часы. Черт с ними!

АНЧУГИН. Часы теперь не в цене. Фуфайку – оно вернее.

*Стук в дверь.*

УГАРОВ. Да! Заходите.

*Входит Хомутов. Ему лет сорок. Одет он опрятно, держится скромно, даже неуверенно. Бывают мгновения, когда на него нападает внезапная задумчивость, растерянность, невнимание к собеседнику. Но, впрочем, отвлечься от разговора у него почти не будет возможности.*

ХОМУТОВ. Добрый день.

УГАРОВ. Здравствуйте.

ХОМУТОВ. Скажите, это вы просили денег?

*Молчание.*

Ну вот сейчас, из окна... Вы?

АНЧУГИН. Ну и что?

ХОМУТОВ. Так вот я... Если деньги вам необходимы, то...

УГАРОВ. Что?

АНЧУГИН. Может *(усмехнулся)*, хочешь нам дать денег?

ХОМУТОВ. Да. Могу вам помочь.

*Молчание.*

АНЧУГИН. А по шее ты получить не желаешь?

ХОМУТОВ. По шее?.. За что?

АНЧУГИН. Ну так. Для смеха.

ХОМУТОВ *(улыбается).* По шее не хочу.

УГАРОВ. А что вы, собственно, хотите?

ХОМУТОВ. Хотел вам помочь. Но я вижу, что вы пошутили... Что ж. Возможно, это смешно... Извините. *(Идет к двери.)*

АНЧУГИН. Подожди. А зачем ты приходил?

ХОМУТОВ (остановился). Я же говорю: собрался вас выручать,

АНЧУГИН (усмехнулся). Хотел нам дать денег?

ХОМУТОВ. Да.

*Маленькая пауза.*

УГАРОВ. Вы что, шутите?.. А может, издеваетесь?

ХОМУТОВ. Да нет, выходит, вы надо мной подшутили...

УГАРОВ. Нам, знаете ли, не до шуток, мы сегодня не завтракали еще...

ХОМУТОВ *(не сразу).* Я не понимаю, вам деньги нужны или нет?

УГАРОВ *(Анчугину).* Он предлагает на троих.

ХОМУТОВ. Ничего подобного.

АНЧУГИН. Тогда не придуривайся. Говори, зачем пришел.

ХОМУТОВ. Я хотел вас выручить, но я не настаиваю. *(Идет к двери, но в это время Анчугин его окликает.)*

АНЧУГИН. Слушай, друг... *(Подошел к Хомутову.)* Слушай. Полезай ты хоть в самую свою душу, разве ты вырвешь оттуда хотя бы три рубля? Нет?.. То-то...

ХОМУТОВ. Товарищи! Вы меня удивляете и обижаете даже... *(Достает деньги.)* Вот. Держите...

УГАРОВ. То есть?

ХОМУТОВ. Держите, держите.

УГАРОВ. В каком смысле? *(Деньги берет.)*

ХОМУТОВ. Берите, берите, пользуйтесь, что вы, действительно. Надеюсь, и вы меня выручите, если придется... *(Задумчиво.)* Всем нам, смертным, бывает нелегко, н мы должны помогать друг другу. А как же иначе? Иначе нельзя... *(Маленькая пауза.)* Ну хорошо. Раз уж вы так щепетильны – вот мой адрес. *(Подошел к столу, написал адрес.)* Вот адрес. Вернете, если вы иначе не можете. Но предупреждаю, можете и не возвращать...

УГАРОВ. Как – не возвращать?

ХОМУТОВ. Так, не возвращать. Счастливо вам. До свидания. *(Уходит.)*

*Молчание. Потом Угаров боязливо считает деньги.*

АНЧУГИН. Сколько?

УГАРОВ. Сто! *(Бросает деньги на стол. Пауза.)* Слушай, мне это не нравится... *(Небольшая пауза.)* Тут что-то не то... У меня такое впечатление, что нас сейчас будут бить... А, Федор Григорьевич?

АНЧУГИН *(считает деньги).* Сто...

УГАРОВ. Слушай, вроде я его где-то видел. Ты не видел?.. А вчера его здесь не было?.. Нет?.. Вроде – нет...

АНЧУГИН. Погоди-ка! *(Быстро уходит.)*

УГАРОВ *(садится у стола перед деньгами).* Не было печали... *(Оглядывает комнату, быстро и как-то воровато прибирает постели, наводит в комнате порядок, деньги, прикрывает газетой.)* Черт знает что... *(Размышляет. Открывает дверь, заглядывает в коридор. Потом – громко.)* Анна Васильевна!..

*Васюта появляется, останавливается в дверях.*

Анна Васильевна, вы умная женщина, а вот скажите... Вот, допустим, приходит к вам незнакомый человек, здоровается честь по чести, разговаривает, потом ни с того ни с сего достает пачку ассигнаций и говорит: «Вам надо сто рублей – держите». И уходит. Может такое быть? А?

ВАСЮТА. Глупости... Чего звали? Денег не дам, не просите.

УГАРОВ. Спасибо, Анна Васильевна. Все. Вы – умная женщина. Дай вам бог здоровья, живите еще сто пятьдесят лет.

ВАСЮТА. Делать вам, пьяницам, нечего. *(Уходит.)*

*Угаров прикрывает дверь, подходит к столу, снова считает деньги, просматривает их на свет. Появляется Хомутов, ведомый Анчугиным.*

АНЧУГИН. Вот. *(Указывает Хомутову на деньги.)* Забирай ссуду. Ну тебя к черту.

ХОМУТОВ. Но ведь я их вам отдал, ведь это некрасиво. И потом они вам нужны, зачем же...

УГАРОВ *(перебивает).* Послушайте, вас как – совсем отпустили или так... Ненадолго?

ХОМУТОВ. Откуда отпустили?

УГАРОВ. Ну... Из дома...

ХОМУТОВ. На неделю, какое это имеет значение.

УГАРОВ. На неделю да еще без присмотра. Непорядок.

ХОМУТОВ. Эти деньги... Как вам сказать... Словом, у меня есть деньги, а эти – они мне не нужны.

АНЧУГИН. А может, денежки вовсе и не твои, а?

ХОМУТОВ. А чьи они, по-вашему?

УГАРОВ. Я извиняюсь, но они у вас не фальшивые? .

ХОМУТОВ. Да что такое, товарищи! Это же глупо, наконец. Я же от души, поймите!

АНЧУГИН. Скажи откровенно: «Лензолото» или «Мамслюда»?

ХОМУТОВ. Не понимаю.

АНЧУГИН. Откуда аванс, подъемные то есть? «Лензолото?» Или «Мамслюда»?

ХОМУТОВ. Какое «Лензолото»? Какая «Мамслюда»? Бог с вами!

УГАРОВ. Так... А между прочим, вы в бога верите?

ХОМУТОВ. В бога?.. Нет, но...

УГАРОВ. Но?.. В секте случайно не состоите?

*Хомутов разводит руками.*

А кто вы, собственно, такой? Где работаете?

ХОМУТОВ. Я?.. Ну агроном я.

АНЧУГИН. Агроном?

ХОМУТОВ. Агроном.

АНЧУГИН. Сеем, значит, пашем.

ХОМУТОВ. Сеем, пашем.

АНЧУГИН. Колхоз, конечно, миллионер?

ХОМУТОВ. Миллионер, да...

АНЧУГИН. Рабочей силы, конечно, не хватает?

ХОМУТОВ. Рабочей силы?.. Да, не хватает. Ну и что?

АНЧУГИН. Так сразу бы и говорил. Дом, конечно, срубите, корову дадите, а?

ХОМУТОВ. Да нет же! Просто даю. Выручаю. Почему же вы мне не верите?

*Маленькая пауза.*

*(Вдруг.)* Скажите, у вас родители живы?

УГАРОВ. А что? Почему вы спрашиваете?

ХОМУТОВ. Да так, интересно...

АНЧУГИН. Из милиции, что ли? *(Достает документы.)* Тогда – на, смотри.

УГАРОВ. А может, из органов? А какой интерес? Мы люди маленькие – он шофер, я экспедитор. Какой интерес?

ХОМУТОВ. Ерунда. Еще раз повторяю. Просто даю... Бескорыстно... Не возьмете?..

АНЧУГИН. Воздержимся.

УГАРОВ. Я чувствую, возьми я эти деньги – и на мне потом долго будут возить воду.

АНЧУГИН *(отдает Хомутову деньги).* На. Пересчитай.

ХОМУТОВ *(положил деньги в карман).* Я вижу, простое человеческое участие вам непонятно. К сожалению... Что ж. До свидания. Не поминайте лихом. *(Идет к двери.)*

АНЧУГИН *(останавливает Хомутова, положил ему руки на плечи, получается – обнял).* Послушай, Друг, ну не морочь ты нам голову. Объясни хоть на прощанье, признайся. А то ведь я и спать не буду, ну в самом деле. Сто рублей просто так, за здорово живешь – ну кто тебе поверит, сам посуди...

ХОМУТОВ *(не сразу).* Я хотел вам помочь.

АНЧУГИН. Врешь. *(Вдруг скрутил Хомутову руки.)* Полотенце!

*Угаров полотенцем связывает Хомутову руки.*

ХОМУТОВ *(ошеломлен).* Товарищи!.. В чем дело? Товарищи! *(Пытается освободиться.)*

АНЧУГИН. Не дергайся... Расскажи все по порядку.

ХОМУТОВ. Товарищи! Что вы делаете?..

УГАРОВ. Спокойно... спокойно.

*Возня. Вторым полотенцем они привязывают его руки к спинке кровати.*

Вот так... Поговорим спокойно, в деловой обстановке.

АНЧУГИН. Рассказывай.

ХОМУТОВ. Развяжите меня. Сейчас же развяжите.

АНЧУГИН. Скажи сначала, зачем приходил.

ХОМУТОВ. Я все сказал. Не понимаю, что вам от меня надо.

УГАРОВ. Это мы вас спрашиваем: что вам от нас надо?

АНЧУГИН. Откуда гроши, рассказывай. Где ты их взял?

ХОМУТОВ. Товарищи, но ведь это насилие, настоящее насилие. Развяжите меня, слышите.

АНЧУГИН *(под носом у Хомутова покрутил своим кулаком).* Если ты хлопочешь пенсию, то смотри, я могу тебе помочь.

ХОМУТОВ. За что?.. За то, что я хотел вас выручить?

АНЧУГИН *(вдруг дружески).* Ну хватит, кирюша. Хватит темнить. *(Сел рядом с Хомутовым. Доверительно.)* Слушай, ты можешь на нас надеяться.

УГАРОВ. Целиком и полностью,

АНЧУГИН. Не продадим, будь спокоен... Скажи-ка, деньжата-то ворованные, верно?

УГАРОВ. Ну украл, ну что особенного, подумаешь – редкость.

АНЧУГИН *(с надеждой).* Украл?

ХОМУТОВ *(обозлился).* Да! Да! Да! Украл! Это вас устраивает? Украл! Это вы понимаете?

*Молчание.*

АНЧУГИН *(зло).* Зачем же ты людям нервы трепал, а? Богородицу из себя выламывал, доброго человека! Приятно тебе было, а?

ХОМУТОВ *(растерянно).* Но ведь вы же сами хотели... Вы даже добивались, чтобы я сказал вам, что эти деньги ворованные. Чего же вы нервничаете?

УГАРОВ *(с сожалением).* Не крал он, видно, что не крал. Другое... А что?

АНЧУГИН. Минутку. *(Из пиджака Хомутова достает документы, протягивает их Угарову.)* Посмотрим, что ты за птица.

УГАРОВ *(читает.)* «Хомутов Геннадий Михайлович... Агроном».

АНЧУГИН. Агроном?

УГАРОВ. Агроном. И фамилия, как у агронома.

АНЧУГИН. Слушай, агроном, откуда же у тебя столько лишних денег?.. Вот мы отведем тебя в ОБХСС, пусть-ка они поинтересуются...

УГАРОВ *(не сразу).* А может, вы оттуда и есть?

АНЧУГИН. Откуда деньги? *(Подступает к Хомутову.)* Скажешь или нет?

УГАРОВ. Не надо, Федя, не надо! Хуже будет. *(Удерживает Анчугина.)*

ХОМУТОВ. Развяжите или вы за это ответите.

АНЧУГИН. Я тебе сейчас... *(Вырывается.)*

УГАРОВ. Слушай... Давай-ка его развяжем. Мало ли что? Пусть идет себе подальше...

*Борьба между Угаровым и Анчугиным.*

АНЧУГИН. Нет... Он мне расскажет... Разъяснит по-человечески...

УГАРОВ. А я тебе говорю... отпустим...

АНЧУГИН. А я говорю – нет.

*Они таскают друг друга по комнате.*

УГАРОВ. Отпустим...

АНЧУГИН. Не выйдет...

ХОМУТОВ. Прекратите, товарищи, прекратите!.. Остановитесь.

*Борьба продолжается, но, поскольку силы у них оказываются равными, оба устают и падают на кровать...*

АНЧУГИН *(тяжело дышит. Угарову).* Фраер... Барбос...

УГАРОВ *(тяжело дышит).* Дурак ты, Федор Григорьевич...

АНЧУГИН. Молчи, паразит.

УГАРОВ. Нарываешься сам не знаешь на что... *(Поднимается и делает попытку развязать Хомутова.)*

*Анчугин бросается на Угарова. И снова они сидят на кровати.*

Дурак, дурак и есть.

ХОМУТОВ. Ну, а теперь?.. Может, вы меня развяжете?

УГАРОВ. Действительно, что нам с ним делать?

АНЧУГИН. Ничего... Так он у меня не уйдет.

УГАРОВ. Что делать, тебя спрашивают.

*Маленькая пауза.*

АНЧУГИН. Позвать кого-нибудь... Людей позвать. Пусть рассудят. *(Поднимается, стучит в одну стену, потом в другую, выходит в коридор. Возвращается, распахнув дверь, стоит у порога.)* Проходите, граждане. Помогите, если можете.

*Входят Базильский, Ступак со своей женой Фаиной. Ступак – упитанный молодой человек лет тридцати. Держится уверенно. Фаине лет двадцать, не больше. У Базильского в руках смычок и скрипка – по рассеянности, Васюта появляется вслед за ними.*

БАЗИЛЬСКИЙ. В чем дело?

СТУПАК. Что случилось?

ВАСЮТА. Это еще что такое?

АНЧУГИН. Садись, Анна Васильевна, и слушай. Садитесь, граждане. *(Угарову.)* Введи в курс.

УГАРОВ. Уважаемые соседи! Вы видите перед собой человека, который буквально за полчаса истрепал нам все нервы.

БАЗИЛЬСКИЙ. Покороче.

ХОМУТОВ. Развяжите мне руки.

СТУПАК. А почему он связан? Он что, преступник?

УГАРОВ. Может, и преступник, а может, и почище преступника. Так вот, поднимаемся мы сегодня, извиняюсь, с похмелья.

АНЧУГИН. В общем, дело такое. Тут я давеча шутки ради крикнул в окно, мол, граждане, займите сто рублей.

СТУПАК. Мы слышали. По-моему, эта шутка возмутительная.

БАЗИЛЬСКИЙ *(Анчугину, нетерпеливо).* Продолжайте.

АНЧУГИН. Ну пошутил, и забыли мы это дело. Тут вваливается этот гусь...

УГАРОВ. Буквально нам незнакомый...

АНЧУГИН. И говорит: «Это вы просили деньги?»

УГАРОВ. Деньги нам нужны, конечно. Перехватить у соседей рубля три, ну десятку – это понятно...

АНЧУГИН. А этот достает сотню, сто рублей то есть...

ВАСЮТА. Господи!

АНЧУГИН. Достает и говорит: «Нужны, так берите, пользуйтесь».

СТУПАК. Не может быть.

АНЧУГИН. Оставляет здесь эту сотню и уходит. *(Хомутову.)* Так или нет?

ХОМУТОВ. Рассказывайте дальше.

АНЧУГИН. Ну я его, конечно, догоняю, волоку сюда, как, что, почему – растолкуй нам честно. Сто рублей – не шутки...

УГАРОВ. Не за красивые же глаза, сами понимаете...

АНЧУГИН. А он вам – мораль. Помочь, говорит, хотел, от души, говорит, от всего сердца. Ну вот и бьемся мы тут с ним, а он на своем – просто, говорит, даю, бескорыстно... Что же это такое, а? Рассудите, люди добрые.

СТУПАК. Мда... Интересно...

УГАРОВ. Может, мы не понимаем, действительно. Он шофер, я добываю унитазы для родного города – может, мы жизни не понимаем?

ВАСЮТА. Да он, поди, пьяный.

АНЧУГИН. Трезвый он. Ни в одном глазу, в чем и дело.

УГАРОВ. Вот вы, товарищ скрипач, вы человек серьезный, поговорите с ним как следует.

ХОМУТОВ. В самом деле, объясните им, втолкуйте...

БАЗИЛЬСКИЙ. Скажите, а все, что они тут расписали...

ХОМУТОВ. Да, так и было.

БАЗИЛЬСКИЙ. Но... Что же, сто рублей? В самом деле?

ХОМУТОВ. Да. Сто рублей.

СТУПАК. И как же – бескорыстно?

ХОМУТОВ *(с досадой).* Да. Бескорыстно.

СТУПАК. Интересно... Интересно, почем нынче бескорыстие...

БАЗИЛЬСКИЙ *(Хомутову).* Подарить этим молодцам сто рублей?.. Загадочно...

УГАРОВ. То-то и дело, что загадочно.

СТУПАК *(Базильскому).* Ну это вы напрасно. Что тут таинственного? Жулик. Жулик, и только.

ФАИНА *(мужу).* Зачем же ты так? Ведь неизвестно...

СТУПАК *(перебивает).* Что неизвестно? Неизвестны мотивы, недаром же он их скрывает. Такую штуку может выкинуть только аферист, пройдоха, заведомо несерьезный человек. Словом, жулик.

ВАСЮТА. Позвать администратора?

БАЗИЛЬСКИЙ. А может быть, врача? *(Хомутову.)* Вы уверены, что вы здоровы?..

ХОМУТОВ. Я здоров. А вот с вами что, товарищи? Неужели все вы этого не понимаете? У одного человека ни копейки, у другого червонцы. Одному деньги необходимы, а другой их копит. Так вот, второй дает первому, делится с ним, помогает. Что же тут особенного? Это же так просто.

СТУПАК. Это ерунда. Идеализм, но, скорей всего, жульничество.

ХОМУТОВ. Послушайте, все мы больше всего заботимся о себе... Но при этом нельзя, поверьте мне, нельзя вовсе забывать о других. Приходит час, и мы дорого расплачиваемся за свое равнодушие, за свой эгоизм. Это так, уверяю вас...

СТУПАК. Бред. И притом религиозный. Бред и вранье.

ХОМУТОВ *(Ступаку).* Да-а, я вас понимаю. Сами вы, как видно, никому не поможете. Так хотя бы поймите другого, того, кто помогает. *(Всем.)* Неужели не понимаете?

УГАРОВ. Здесь не такие дураки, как вы думаете.

СТУПАК. Возможно, вы ищете популярности? Наживаете моральный капитал? Тогда понятно.

БАЗИЛЬСКИЙ. Непостижимо! В этом городе никто, кроме старух и вундеркиндов, не посещает концертов. А интеллигентные люди, вместо того чтобы заботиться о культуре, пьют водку и стараются во что бы то ни стало удивить белый свет. Зачем вы это делаете? Для чего? Этим самым вы развращаете публику, понимаете вы это?.. Нет, не верю я в вашу доброту! Это чертовщина какая-то – наверняка! Но удивительно, если завтра эта история попадет в газету.

СТУПАК. Может, вы журналист и добываете себе фельетон? А может – новый почин?

ФАИНА *(мужу).* Перестань.

ХОМУТОВ. Вот уже самом деле: сделай людям добро, и они тебя отблагодарят.

СТУПАК. Бросьте эти штучки. Кто вы такой, чтобы раскидываться сотнями? Толстой или Жан-Поль Сартр? Ну кто вы такой?.. Я скажу, кто вы такой. Вы хулиган. Но это в лучшем случае.

ВАСЮТА. Да откуда ты такой красивый? Уж не ангел ли ты небесный, прости меня господи.

БАЗИЛЬСКИЙ. Увы, с ангелом у него никакого сходства. *(Хомутову.)* Вы шарлатан. Или разновидность шарлатана.

ХОМУТОВ. Ну, спасибо. Буду теперь знать, как соваться со своим участием.

СТУПАК. Бросьте. Никто вам здесь не верит.

*Маленькая пауза.*

ФАИНА *(всем).* А что, если в самом деле?.. Если он хотел им помочь. Просто так...

СТУПАК *(кричит).* Не говори глупостей!

ФАИНА *(ужаснулась).* Почему ты на меня кричишь?

СТУПАК. Потому что – не лезь куда не следует!

ФАИНА *(Хомутову).* Слышите, я вам верю. Верю, что вы делаете это просто так...

СТУПАК. Дура! Просто так ничего не бывает. И никогда! Запомни это!

УГАРОВ. Это уж факт, девушка. Просто так ничего не бывает.

ФАИНА *(всем).* Вы так думаете?

ВАСЮТА. А то как еще?

ФАИНА *(Базильскому).* И вы так считаете?

БАЗИЛЬСКИЙ. Как я считаю, что я считаю – это еще ничего и никогда не изменило. *(Встал в стороне, скрестил руки на груди.)*

СТУПАК *(Фаине).* Не суйся тут со своей наивностью! *(Сбавил тон.)* Прошу тебя.

ФАИНА. Значит, все, что ни делается, – все не просто так?

ВАСЮТА. Все, милая, все – даже и не сомневайся. И помощь, и та... участие – все теперь не просто. Уж любовь, и та...

ФАИНА. Что – любовь?

ВАСЮТА. Что – любовь? А то, милая, что любовь любовью, а, сама знаешь, с машиной-то, к примеру, муж лучше, чем без машины.

СТУПАК *(кричит).* Замолчите!

ВАСЮТА. А что, разве неправду говорю?

*Фаина садится на кровать рядом с Хомутовым.*

СТУПАК *(Васюте).* Чего вам тут надо?

ВАСЮТА. Да я не вам говорю – ей. Пусть знает свое место. Вам же на пользу.

СТУПАК. Заткнитесь вы, старуха!

ВАСЮТА. А вы чего орете?

ФАИНА. Чего он орет?.. Да машина-то не его. Машина-то моя.

АНЧУГИН *(Хомутову, с угрозой).* Смотри, агроном. Смущаешь ты людей...

СТУПАК *(Фаине).* При чем здесь машина? Как тебе не стыдно? *(Всем.)* Товарищи! Что здесь происходит? Это просто чудовищно! Мы же все перегрыземся. И все из-за него! Из-за него! Он провокатор! Он всех нас оскорбил! Оклеветал! Наплевал нам в душу! Его надо изолировать! Немедленно!

АНЧУГИН. Пусть скажет сначала, зачем приходил.

*Все, кроме Фаины, подступают к Хомутову.*

УГАРОВ. Откуда деньги?

АНЧУГИН. Зачем давал? За что?

БАЗИЛЬСКИЙ. Вы можете наконец назвать истинную причину?

СТУПАК *(кричит).* Говорите, черт возьми!

*Маленькая пауза...*

ХОМУТОВ *(страдальчески).* Я хотел им помочь.

*Гул возмущения. Все, кроне Фаины, кричат и говорят разом: «Псих!», «Пьяница!», «Жулик!», «Врешь!», «Покалечу!»*

БАЗИЛЬСКИЙ. Маньяк! Уж не воображаете ли вы себя Иисусом Христом?

ФАИНА *(встает между Хомутовым и надвигающейся на него компанией).* Остановитесь! *(Кричит.)* Опомнитесь!

*Все останавливаются.*

ХОМУТОВ. Чего вы от меня добиваетесь? Чего хотите?.. Сказать вам, что я зарезал?.. Ограбил?.. Убил?

СТУПАК. Не исключено. Я даже уверен, что мы раскрыли преступление. Позвонить в милицию – и делу конец. *(Подходит к телефону.)*

БАЗИЛЬСКИЙ. Нет, нет. Звоните в больницу. Это мания величия. Определенно. Он вообразил себя спасителем.

*Молчание.*

СТУПАК *(набирает номер).* Справочное? Номер психбольницы. Спасибо. *(Набирает номер.)*

ХОМУТОВ *(хрипло).* Хорошо. Развяжите... Я все объясню.

*Маленькая пауза. Анчугин развязывает Хомутова.*

*(Медленно.)* Вы меня убедили, вы сможете сделать со мной, что угодно... Но я не намерен сидеть в сумасшедшем доме. Мне некогда... Я приехал сюда на неделю... *(Помолчав.)* В этом городе жила моя мать... Она жила здесь одна, и я не видел ее шесть лет... *(С трудом.)* И эти шесть лет... я... я ни разу ее не навестил. И ни разу... Ни разу я ей не помог. Ничем не помог... Все шесть лет я собирался отправить ей эти самые деньги. Я таскал их в кармане, тратил... И вот... *(Пауза.)* Теперь ей уже ничего не надо... И этих денег тоже.

ВАСЮТА. Господи!

ХОМУТОВ. Я похоронил ее три дня назад. А эти деньги я решил отдать первому, кто в них нуждается больше меня... Остальное вам известно...

*Молчание.*

Теперь, надеюсь, вы меня понимаете...

*Маленькая пауза.*

АНЧУГИН. Браток... Так что же ты раньше не сказал?

ХОМУТОВ. А кому захочется в этом-то признаваться?

ВАСЮТА. Господи, грех какой...

УГАРОВ. А мы-то, а?.. Нехорошо вышло.

БАЗИЛЬСКИЙ *(Хомутову).* Простите, если возможно...

УГАРОВ *(Васюте, негромко).* Вина.

*Васюта исчезает.*

БАЗИЛЬСКИЙ *(удивляется).* Это ужасно, ужасно. С нами что-то приключилось. Мы одичали, совсем одичали...

АНЧУГИН *(садится рядом с Хомутовым).* Прости, друг. Не серчай.

УГАРОВ. Если б знали, какой разговор...

СТУПАК. Извините, разумеется. Но получается, что мы с вами квиты. Сегодня я в первый раз поссорился со своей женой. *(Фаине.)* Перестань дуться. Как видишь, у товарища несчастье. *(Подходит к Фаине.)* Ну, извини меня. *(Хотел взять ее за руку.)* Ну не дуйся.

ФАИНА *(убрала свою руку).* Не трогай, пожалуйста.

СТУПАК. Да?.. Даже так?

*Фаина молчит.*

А ну идем! *(Пошел к двери, остановился.)* Или ты намерена здесь оставаться?

ФАИНА. Да, намерена.

СТУПАК. Да?.. Ну как хочешь. *(Выходит.)*

БАЗИЛЬСКИЙ *(Хомутову).* Прошу вас, не думайте, что мы уж такие отпетые... Это было что-то ужасное, наваждение какое-то, уверяю вас... Мы должны были вам верить – конечно! Мы были просто обязаны...

*Появляется Васюта с вином, и Угаров немедленно начинает наполнять стаканы.*

АНЧУГИН *(Хомутову).* Пойми, браток. Деньги, когда их нет, – страшное дело.

ВАСЮТА. Бог с ними, с проклятыми. Где деньги, там и зло – всегда уж так.

УГАРОВ (Хомутову). Что поделаешь... *(Со стаканом в руке.)* За вашу маму... Так сказать, за помин души... Извините. *(Выпивает.)*

АНЧУГИН *(Хомутову).* Так это... не горюй. Выпей, брат, вина.

*Анчугин, Васюта и Хомутов медленно выпивают.*

ФАИНА. И мне дайте. *(Выпивает.)*

*Молчание. Базильский, стоя у дверей, не знает, что делать – уйти или остаться.*

УГАРОВ. А вы, товарищ скрипач, присаживайтесь. *(Помолчал, потом обращаясь ко всем.)* Ну что же теперь поделаешь?

ХОМУТОВ *(встрепенулся).* Да нет, товарищи, ничего, ничего. Жизнь, как говорится, продолжается...

*Пауза.*

АНЧУГИН *(запел).* «Глухой, неведомой тайго-о-ою...»

УГАРОВ *(Базильскому).* Подыграйте, товарищ скрипач.

АНЧУГИН *(продолжает).* «Сибирской дальней стороной

Бежал бродяга с Сахали-и-ина

Звериной узкою тропой...»

*Анчугин и Угаров повторяют две последние строки вместе. Базильский вдруг подыгрывает им на скрипке. Так они поют: бас, тенор и скрипка.*

*ЗАНАВЕС*

**К урокам 18-19.**

**Владимир Гуркин. «Любовь и голуби».**

**Владимир ГУРКИН**

**ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ**

*Забавная история в 2-х частях*

*Действующие лица*

*Вася Кузякин, 50 лет*

*Надя, его жена, 50 лет*

*Их дети:*

*Люда, 23 года*

*Ленька, 18 лет*

*Ольга, 13 лет*

*Митя Вислухин, сосед Кузякиных, 68 лет*

*Шура, его жена, 65 лет*

*Раиса Захаровна, полюбовница Васи, 50 лет*

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

**КАРТИНА ПЕРВАЯ**

*Справа дом, напротив сарай с пристроенной голубятней, в глубине двора банька, за банькой огород. Майское утро. Воркуют, шелестят в голубятне голуби. С ними Вася ведет беседу.*

ГОЛОС ВАСИ. Оть, тюр, люр-люр... Иди сюда. Глянь, как царевна. У, у. Не бойся... Чё я ей сделаю? Хоро-ошая, хоро-шая. А ты – на руку. Ну-ка. Хоп! Эх, ешкин кот, вот людям бы так. Махонька-то кака. Фу-ты ну-ты, надулся... Прямо аж директор. Шугани-ка кавалера своего. Не хочешь. Ну и правильно. Вот так и живите...

*Пауза. Из дома вышла Надя. Она встревожена.*

НАДЯ *(кричит в сторону огорода).* Людка! Людка!

*Голос Люды: «А-а!»*

Иди-ка сюда, чё скажу!

*Из огорода появилась Люда с вязаньем в руках. Надя что-то спрашивает у Люды, а мы вновь слышим голос Васи.*

ГОЛОС ВАСИ *(тяжело вздохнув).* Надюха щас, поди, хватилась, а денежки бабай унес... ешкин кот. Отвинтить бы вашему Юсупу «дом советов» да резьбу сорвать, чтоб не чинились.

*Надя и Люда спешат в дом.*

Ты чё клюесся? *(Смеется.)* Не хошь, чтоб я ругался? Дак ить он барыга – Юсуп ваш. Ну ладно, не буду. Не буду. Хорошие.

*Из дома выбежала Ольга. Она в парадной форме, с портфелем в руках. Стучит в дверь сарайчика.*

ОЛЬГА. Пап! Пап!

ВАСЯ *(высунувшись из сарайчика).* Чё ты?

ОЛЬГА. Ты деньги брал?

ВАСЯ. А?

ОЛЬГА. Из шкафа...

ВАСЯ. А-а. Ну?

ОЛЬГА. Сейчас мама тебе даст взбучку.

ВАСЯ. Да?

ОЛЬГА. Знаешь какая злая?

ВАСЯ. Ешкин кот...

ОЛЬГА. Ты спрячься там и закройся.

*На крыльцо быстро выскочила Надя. Вася едва успел захлопнуть дверь.*

НАДЯ *(стучит в дверь).* Василий! *(Взволнованно и ласково.)* Слышь, Василий! Ну ты чё молчишь? Я же знаю ты тут. Слышь, Василий?

ВАСЯ *(из-за двери).* Че-о?

НАДЯ *(едва сдерживаясь).* Это... давай-ка воды натаскай. Слышь?

ВАСЯ. Да вон в бане полна кадушка.

НАДЯ. Да где?

ВАСЯ. Да с Лехой вчерась натаскали.

НАДЯ. Да я стирать буду.

ВАСЯ. Да ты ишо эту используй.

НАДЯ *(кричит, не сдержавшись).* Я счас тебя использую! Так использую! *(Рвет за ручку дверь.)* Открывай, паразит!

*На крыльцо вышла Люда.*

Людка, помоги!

ЛЮДА. Чё я сделаю-то?

НАДЯ *(мечется по двору).* Ах ты скотина... *(Схватила полено и бьет им по двери.)* Откроешь... Все равно откроешь, голубятник паршивый!..

ВАСЯ. Надюха, кончай давай. Дверь сломашь!

НАДЯ. Я тебе счас ребра переломаю!

ВАСЯ. Ниче себе.

НАДЯ. Дверь он пожалел.

ВАСЯ. Дак мне чинить-то.

НАДЯ. Ты куда, паразит, тридцатку дел? А? Ты почему такой бессовестный-то? А? *(Вот-вот заплачет.)* Ну, если голубей купил – захлестну. Вместе с голубями захлестну, паразита. Купил или нет?

*Молчание.*

Я кого спрашиваю? Олька, батя покупал голубей? *(Ударив поленом в дверь.)* Покупал или нет?

ОЛЬГА *(тихо).* Ну...

НАДЯ *(показав Ольге фигу).* Ну и вот тебе на кино, на платья. *(Людмиле.)* А тебе, Людка, на сапоги, на помаду. Будем голодом сидеть.

ВАСЯ. Чё-то ты размахнулась на двадцать пять рублей...

НАДЯ. А он пусть целуется там со своими голубями. *(Плачет.)* Обдирай, обдирай нас как липок... Пусть потом люди посмотрят в твои глаза бесстыжие, а я посмотрю, чё ты им скажешь. *(Села на крыльцо.)*

*Пауза.*

ОЛЬГА. Мам, они красивые.

НАДЯ *(Ольге).* Вот знала ведь, а матери ни полслова.

ВАСЯ. Надь, чупатые.

НАДЯ. Чё?

ОЛЬГА. Чупчики у них такие на затылке... Значит, чупатые.

НАДЯ. Как это?

ВАСЯ. Хошь поглядеть?

НАДЯ. Токо выйди! Ну вот чё теперь делать? Людка!

ЛЮДА. У?

НАДЯ. Гну! Деньги-то последние были.

ВАСЯ *(осторожно выходя из сарая).* С книжки сыми.

НАДЯ *(грозя поленом).* Счас как пульну! Ты много положил, чтобы снимать?

ВАСЯ. Дак не я – ты клала-то.

НАДЯ. Ух, так бы и убила чем-нибудь. Людка, принеси паспорт и книжку.

ЛЮДКА *(уходя в дом).* Где?

НАДЯ. На трюмо, в шкатулке. *(Ольге.)* В школу не опоздала еще?

ОЛЬГА. Нет еще.

НАДЯ *(Васе).* На рынок сбегаю, а ты давай плитку почини. За каждым разом печку топить, уж надоело. *(Строго).* Слышь?

ВАСЯ. Ага, счас. *(Идет в баню.)*

НАДЯ. Куда пошел-то?

ВАСЯ. Дак она где-то здесь была.

НАДЯ. Сказала бы я тебе... *(Ольге.)* Ну чё ты уши растопырила? Беги давай в школу.

ОЛЬГА. Мне еще рано.

НАДЯ. Зачем форму напялила?

*Ольга обнимает мать.*

*(Теплее.)* Выпендрилась... Затаскашь вот.

ОЛЬГА. Он этих голубей целый месяц ждал.

*Вышла Люда, подала Наде паспорт и сберкнижку.*

НАДЯ *(постучав по сберкнижке).* Думаешь, они легко достаются? Добро бы – на дело, а то – голуби.

ЛЮДА. Зато не пьет.

НАДЯ *(махнув рукой).* Правда что, хоть не пьет. Ладно, пошла. *(Сняла с гвоздя у двери сумку.)* Людка, Ленька из техникума прибежит – покорми.

ЛЮДА. Сам не поест, что ли?

НАДЯ. Вот с мужем так поговоришь – враз сбежит.

ЛЮДА. От тебя не сбежал...

НАДЯ *(чтоб не слышал Вася).* Ой, а я что? Он же знает, что я отходчивая.

ЛЮДА. Ну и я отходчивая.

ОЛЬГА. И я отходчивая.

НАДЯ. А тебе еще и отходить не от чего. Выдумала. Людка, покорми.

ЛЮДА. Ладно.

*Надя ушла.*

ВАСЯ *(выходя из бани).* Ушла?

ОЛЬГА. Ушла.

ВАСЯ. Людк, а куда плитка подевалась?

*Люда ушла в дом.*

Эхе-хе-хе-хе. *(Ольге.)* Чё, последний день сегодня? Ольга. Ага. А завтра на практику.

ВАСЯ. Пошлют куда-нить?

ОЛЬГА. Не-ет. В зеленхоз пойдем.

ВАСЯ. Хорошо.

*Люда вынесла плитку, подала отцу и опять вернулась в дом.*

Зря она так. Я же не на водку брал. Кому от этого плохо сделалось? Нет ли? *(Передразнивая.)* Ва-ва-ва! Ва-ва-ва!

ОЛЬГА. Она больше не сердится.

ВАСЯ. Ну а чё ж тогда?.. Голуби, они знашь какие умные? Э-э. Вот я когда пацаном был, у нас в Алехино Володя-дурачок жил.

ОЛЬГА. Как Гриша?

ВАСЯ. Не-е. Володя красивше был. *(Задумчиво.)* Красивше. Дай-ка историю твою сюда.

ОЛЬГА. Зачем?

ВАСЯ. А там похожий есть.

*Ольга достала из портфеля учебник.*

От! От такой он был. Вишь, тело како богатое: в буграх все. Да белое. Красивый парень был.

ОЛЬГА. И лицо такое же?

ВАСЯ. Токо рыжий. Нет, лица не помню... Помню – рыжий. А тело точь-в-точь, как у...

ОЛЬГА. У Давида.

ВАСЯ. У Давыда.

ОЛЬГА. Не у Давыда, а у Давида.

ВАСЯ *(приглядываясь).* У Давида. Срубил кто его?

ОЛЬГА. Микеланджело.

ВАСЯ. Ну вот, значит. А ходил он всегда в красной рубахе.

ОЛЬГА. Володя-дурачок?

ВАСЯ *(кивнув).* Любили его шибко мы. Вся деревня любила. Кто чё попросит по хозяйству помочь – безотказный был. Да работает, упирается пуще хозяев. Сила знашь какая у него была неимоверная. Ума бог не дал, а души и силы бери сколько хошь – и края не видать.

ОЛЬГА. Гриша тоже добрый.

ВАСЯ. Ну чё, хорошо. Не обижали б токо.

ОЛЬГА. Его мальчишки буцкают, и он плачет. Жалко.

ВАСЯ. Конечно, жалко.

ОЛЬГА. А Володю били?

ВАСЯ. С силой-то такой кто сладит? Не били. А опосля взяли и убили.

*Ольга молчит.*

Да… Шоферюг из города понагнали да к нам в деревню и поселили. Раньше, ешкин кот, вроде не селили, а тут чё-то поселили. Не знаю чё. Ну и давай буянить – пить да драться. Вот Володя раз на драку-то таку наскочил и стал пальцем грозить, как детишки грозят: вроде нехорошо драться, вы чё... безобразники. А те чё, разбираться будут? Взяли и пырнули ножом.

*Молчание.*

Дак когда хоронили его... Нет, погоди. Значит, вот так деревня *(чертит на земле),* речка, а туто-ка, на пригорке, – церковь. Сначала в ей клуб сделали, потом стали туда зерно ссыпать, а когда элеватор построили – перешенной, ну, гольной, так и оставили. И вот в церкви-то этой жили голуби, много голубей...

ОЛЬГА. Больше, чем у нас?

ВАСЯ. Раз в сто. Дак от, Володя их подкармливать стал. Придет, скормит им буханку... Они облепят его со всех сторон – по голове, по спине... полощут по чем ни попадя. А он смеется, аж заходится от смеха. Ну чё, забавно. Главное, не боятся его. Его токо одного и не боялись. Ну. Ишо помню: рубаха его красная вся-а в дырках была от коготков. В ей и хоронили. И вот кода за ворота вышли... А кладбище прям у деревни стояло. Мужики гроб так на руках и донесли. За ворота вышли, токо тронулись – с церкви как посыпят голуби... И кругами, кругами над головой. До самого кладбища проводили. Пока закапывали, они все кружили... Когда токо люди разошлись – улетели. Умные они, ешкин кот.

ЛЮДА *(кричит из дому).* Ольга, опоздаешь!

ОЛЬГА *(поцеловав отца).* Мама правда не сердится. *(Убежала.)*

ВАСЯ *(помолчав).* Людк! А ты в этом... была?

ЛЮДА. Где?!

ВАСЯ. Ну в Иркутске, в этом... где закладывают: пьют!

ЛЮДА. В ресторане?!

ВАСЯ. Да не-е. Стульчаки там такие... карусельные.

ЛЮДА. А-а. В баре, наверное?!

ВАСЯ. Да шут его знает. Была?

ЛЮДА. А что?!

ВАСЯ. Красиво, поди, там?!

ЛЮДА. Музыка... Обсчитывают сильно.

ВАСЯ. Да?

ЛЮДА. После экзамена с девчонками бегали. Да ну.

ВАСЯ. И продавец – мужик?

ЛЮДА. Не мужик, а парень. А называется бармен.

ВАСЯ. Ка...как?

ЛЮДА. Бар-мен.

ВАСЯ. А-а. А чё они там из трубочки сосут?

ЛЮДА. Коктейль пьют. Через соломинку.

ВАСЯ. Чё?

ЛЮДА. Ну, все смешивают – водку, вина разные – и пьют.

ВАСЯ. Ерш?

ЛЮДА. Вот пристал!

ВАСЯ. Не, интересно же.

ЛЮДА. Ну, коктейль.

ВАСЯ. Дорогой, поди?

ЛЮДА. Они разные. Три рубля, четыре... Есть и по пять. Я охнула, когда услышала.

ВАСЯ. Ого, ешкин кот. Лучше уж бутылочку самому взять. Да... *(Засмеялся.)* Ниче себе, водку через солому тянуть.

ЛЮДА. Не солома, а соломка. Она такая... из капрона. Да ну их к черту.

ВАСЯ. Не-е. Интересно.

*Люда ушла в дом.*

Я б щас в городе пожил. *(Взял метлу, стал подметать двор.)*

*Осторожно входит Митя, он навеселе, в руках гармонь.*

МИТЯ. Эй, Василий.

ВАСЯ. Здоров.

МИТЯ. Санька была?

ВАСЯ. Нет. Потерял?

МИТЯ. Здорово. *(Поет.)*

Восемь девок – один я.

Куды девки – туды я:

Девки в баню – я на баню

И ногами тарабаню.

Выходной седни?

ВАСЯ. Выходной.

МИТЯ. А чё квасишься? *(Достал из кармана початую бутылку вина.)* С Надькой поцапался?

ВАСЯ. Черт его знает...

МИТЯ. Я со своей тоже в контрах. Она щас – туда, туда. Она щас – там, а я щас – тут. Пусть помарафонит. Дома кто есть?

ВАСЯ. Людка.

МИТЯ. Скажи ей, чтобы закусить вынесла.

ВАСЯ. Я сам. Еще Надюхе расскажет. Айда в стайку.

МИТЯ. Режьте меня – ничо не понимаю. Я от своей кикиморы партизанюсь, ты ходишь виноватисся... Это чё такое?

ВАСЯ. Дядя Митя, айда.

МИТЯ. Скидай якорь! Хочу с соседом моим, голубой моей, вот тут выпить. *(Ставит гармонь на крыльцо.)* И не бойся. *(Грозно.)* Чё она на тебя рыпается?

ВАСЯ. Голубей купил. Да она уж не сердится. Для страховки.

МИТЯ *(рубанул воздух кулаком).* Стебанешь ее разок – все! Шелковая станет, человеком сделается. *(Возмущенно.)* Об-наг-ле-ли...

*Хлопнула калитка. Митя быстро спрятал бутылку. Вася схватил метлу. Вошел Ленька.*

ЛЕНЬКА. Здрасьте.

МИТЯ. Здоров, Алеха! Иди-ка сюда. Ты отца своего любишь? А?

ЛЕНЬКА. Нормально.

МИТЯ. А соседа своего уважаешь?

ЛЕНЬКА. Ну.

МИТЯ. Тащи закуску. Выпить хочешь?

ЛЕНЬКА *(отмахнувшись).* Да ладно, сейчас.

ВАСЯ. Леньк, стаканчики.

ЛЕНЬКА. Угу. *(Ушел в дом.)*

МИТЯ. Во парень! Свез бы его в мореходку, чем в лесной этот.

ВАСЯ. Он сам.

МИТЯ. Ничо вы в красивой морской жизни не петрите.

*Выглянул Ленька.*

ЛЕНЬКА *(Мите).* Вас баба Шура ищет.

МИТЯ. Где?

*Люда из дому: «Куда пошел? Иди ешь!»*

ЛЕНЬКА. У хлебного. К нам идет с мамкой.

МИТЯ. Василь, срочно дислоцируемся.

ЛЕНЬКА. Стаканы нести – нет?

МИТЯ. Не, не надо.

*Ленька ушел.*

Айда к Филиппову. *(Прячет вино.)*

ВАСЯ. Баню буду топить.

МИТЯ. Токо не выдавайте меня.

*С улицы слышен смех Нади.*

ВАСЯ. Через огород, дядь Митя.

МИТЯ. Все, скрываюсь. *(Подхватив гармонь, быстро уходит.)*

*Входит Шура, за ней, смеясь до слез, Надя.*

ШУРА *(продолжая рассказ).* Я, мол, чё ему надо... А он давай да давай. Обезумел.

НАДЯ. Ой, погоди...

ШУРА. Чё делать. Ну, не дал бог-господь детей. Так ить другу родилку не купишь, не сошьешь, у соседки не займешь.

НАДЯ *(в смехе).* Теть Шура, погоди... *(Васе.)* Батя, беги на лесной скорей.

ВАСЯ. Зачем?

НАДЯ. Николая видели, Филиппова... Ой! Просил тебя. Порожняк пришел, а лебедка сломалась. Иди давай.

ВАСЯ *(кричит).* Леньк! Баню затопи! *(Наде.)* Вы чё рассмешились?

ШУРА. Кавалер мой недоделанный не заплыл, Василий?

ВАСЯ. Нет, не видал. *(Убежал.)*

ШУРА. Добро бы трезвый, а то пьяный ведь. Прет буром, и все. Ка-ак разозлюсь я вся из себя...

НАДЯ *(закашлявшись от смеха).* Ой, зашлась – не к добру.

ШУРА. Слушай-слушай. Давай, говорю, накуплю тебе ящик водки, садись, говорю, и пей. До усрачки напейся, чтоб на всю жизнь и чтоб больше в сторону-то ее не гляделось. Дак он ведь, гадина такая, покупай, говорит. Меня ажно затрясло всю. Ну, что под руку попало, тем и хлобыстнула паразита.

НАДЯ. Чем?

ШУРА. Со страху сама чуть сердца не лишилась. Совок наш помнишь? Большо-ой, тяже-олый, ручка кована. Ну!

НАДЯ. Дак ить так убить могла, теть Шура?

ШУРА. Ниче не знаю. Стою: руки отнялись, коленки ходуном ходят, и он молчит. Ну, думаю, щас упадет, может, ишо разок дрыгнется перед смертью, и – все.

НАДЯ. Почему дрыгаться-то он будет?

ШУРА. В кино-то погляди. Там все артисты перед смертью дрыгаются. Как-то так... *(Показывает).* Р-раз! А потом уж вроде мертвый. Ну кто так, кто эдак.

НАДЯ. У нас бабушка вроде тихо умерла. Я видела.

ШУРА. Дак ить и я не замечала, чтоб дергались. Холера их поймет. Тут – так, в кино – так, кому верить? Мой-то дурак такой артист, что перед смертью «барыню» отчубучит – и не удивляйся. Ну вот чё я? А-а. Стоим мы. Я его тихонько туркнула. Чё молчишь, говорю. Он голову опустил и аж до самого сердца достал. Я у его такого голоса ишо ни разу не слыхала. Такой голос... Тихий такой... Я заплакала. Ну.

НАДЯ. Чё сказал-то?

ШУРА *(торжественным шепотом).* Обидела, говорит. И все. Обидела. Сказал, постоял и как выйдет. Вот кака у нас, подружка, история приключилась.

НАДЯ. Уж под семьдесят скоро – все не навоюетесь.

ШУРА. Ага. Вот так. А мне с утра на картошку ехать... Филипповы подсобить просили. Как ехать – не знаю.

НАДЯ. Придет, никуда не денется.

ШУРА. Ой, Надя, дай мне вашу лопату, а то наши тупые: скоко уж не копали. Митька б наточил, дак где его счас найдешь. Ищи – свищи.

НАДЯ *(кричит в дом).* Люда! Возьми сумку! *(Идет к сараю.)* Вот учудили, вот учудили. *(Зашла в сарай.)*

*Вышла Люда.*

ЛЮДА. Здравствуйте, баба Шура. *(Взяла сумку.)*

ШУРА. Здравствуй, Людонька, здравствуй. Никак не наглядюсь на тебя. Надя! Слышь, Надя!

НАДЯ *(выходя из сарая с лопатой).* А-а?

ШУРА. На Людоньку вашу не могу наглядеться. Никак не могу, никак. Прямо красавица получилась. Вон кака удалая красавица. *(Люде.)* Чё ты не заходишь, не проведаешь нас. *(Берет у Нади лопату.)* А то заходи, чайку пошвыркаем с брусничкой. Кака ладная брусничка у меня-а.

ЛЮДА. Зайду, баба Шура.

*Вышел Ленька.*

ЛЕНЬКА. Здрасьте.

ШУРА. Здравствуй, Ленечка, здравствуй.

ЛЮДА. Баба Шура, Леня баню топить будет, оставайтесь.

НАДЯ *(Леньке).* Поел, нет?

ЛЕНЬКА. Поел. *(Уходит в баню.)*

ЛЮДА *(Шуре).* Попаритесь.

ШУРА. Старика не могу словить, Людонька. Искать пойду, а то еще че-нибудь над собой сделает.

НАДЯ. Ну прямо! Разобиделся.

ЛЮДА. Он к Филиппову пошел. *(Уходит в дом.)*

ШУРА. Да? Ой, побегу до них.

НАДЯ *(Шуре).* Мы ж Николая сейчас видели.

ШУРА. Ага.

НАДЯ. В смене он. Василия-то позвал.

ШУРА. Так чё теперь? На склад лесной бежать? Он любит туда шастать – мужиков веселить.

*Хлопнула калитка, и во двор ввалился Митя. Тяжело дышит, видно, бежал бегом.*

Явился – не запылился. Ты куда побег, чертяка?

МИТЯ. Уйди, фашистка. *(Деловито и строго.)* Надюха, где ребятишки? Собирай всех сюда.

НАДЯ. Что такое?

МИТЯ. Страшную весть принес в твой дом, Надежда. Зови детей.

НАДЯ. Ой... Не пугай, дядя Митя. Ленька! Люд... Шура. Э-э, Емеля...

*Вышли Люда, Ленька.*

МИТЯ. Я пошел к Николаю, а тот на работе...

ШУРА. Вот чё резину тянет? Говори скорей.

МИТЯ. Я кикимор не понимаю. *(Рассердившись.)* Убери ее, Надюха, убери!

НАДЯ. Да говори, дядь Митя. Ты, правда, почему тянешь-то?

ШУРА. Дурак старый, доводит людей до белого каления...

МИТЯ. Василий токо пришел, токо закурил... А я Николая-то не застал и на лесной двинул. Он у вагона стоял.

ШУРА. Кто? Василий?

МИТЯ. Ну! Бревно с вагона соскользнуло... Кувырк на землю. Да одним концом Ваську по голове. Шибануло вашего отца, Ленька. Все.

НАДЯ. Оой!

*Надя кинулась из двери. За ней Ленька, Люда.*

МИТЯ. Все. Теперь так и останется.

ШУРА. Чё останется?

МИТЯ. Косоглазия.

ШУРА. Дак он живой?

МИТЯ. Ты чё, дура, каркаешь? Конечно, живой. А глаз – как у этого... у комика... у артиста: один – сюда, другой – сюда.

ШУРА. Ты охренел, чё ли? Ты зачем Надю до смерти напугал? Ну, даст она тебе... Ох даст...

МИТЯ. Вы чё подумали?..

ШУРА. У Нади-то рука покрепше. И не совком, а ломом опояшет пару раз, вот узнаешь тогда, кто про чё думал. *(Убегает.)*

МИТЯ. А вот... Иди ты-ы! *(Пытается покосить глазами, сводит указательные пальцы друг с другом.)*

*Затемнение*

**КАРТИНА ВТОРАЯ**

*Прошло два дня. Надя, помешав варево в чугунке, уносит его в сарай. Захрюкал, зачавкал поросенок. Во двор тихо вошел Митя. Надя вышла из сарая, вытирая о передник руки.*

НАДЯ. Чё приперся?

*Митя молчит.*

Уди с дороги, хрыч старый. Василий из больницы выйдет – я ему расскажу. Чё стал посередь двора? Иди давай...

МИТЯ. Прости, Надежда.

НАДЯ. Обрыбешься. Чуть не умерла со страху. Еще ходит! Счас как попру метелкой.

МИТЯ. Не надо.

НАДЯ. Не надо?

МИТЯ. Надь, у тебя бражка есть?

НАДЯ. Есть, да не про твою честь.

МИТЯ. Плохо мне, Надежда.

НАДЯ. Иди проспись – враз полегчает. Или тетю Шуру попроси. Пусть еще разок тебя совком полечит.

МИТЯ. Где она? Ох, как плохо мне... *(Сел на крыльцо, обхватил голову руками.)* Как жить мне, Надя, как?

НАДЯ. О, о! Совсем задурел. Нечего тут загибаться. Иди да плачься дома. Вы смотрите на него – бедный какой, плохо ему, не допил. Счас пойду расскажу жене, как ты по дворам шляешься, попрошайничаешь.

МИТЯ *(кричит).* Да нету ее, Санечки моей! Нету! Все! Нету!.. *(Плачет.)*

НАДЯ. Куда ж она у тебя подевалась?

МИТЯ. Я ей сразу говорил... давай вызову... давай. Зеленая вся. «Нет, говорит, счас отпустит». Потом... Смотрю, уж пятнеть начала. Не послушался ее, побежал... Санечка моя!

НАДЯ. Куда побежал? Ты чё?

МИТЯ. Да за «скорой». Меня с ей и повезли. Сижу в покоях, караулю... Потом врач вышел... С час ишо жила. Говорит: «Умерла, дедушко, твоя бабушка».

НАДЯ. Ой!

МИТЯ. Умерла, говорит. *(Плачет навзрыд.)* Не могу... Дай че-нить попить.

*Пауза.*

НАДЯ. Дядь Митя... Дядь Митя... Ой! Я же ее позавчерась видела. Ой!

МИТЯ. Ну. А вчера с Филипповыми на картошку хотела ехать. Помочь просили.

НАДЯ. Говорила она мне. *(Заплакала.)*

МИТЯ. Утром за ней зашли, а ей захудало. Нагнуться, говорит, не могу: сердце чё-то колет. Без меня, говорит, езжайте, посажайте... Чуть одыбаю – так на попутке доберусь. А к обеду все хужее и хужее...

НАДЯ. Чё ж к нам-то не пришел сразу?

МИТЯ. Да токо счас отошел маленько. Лежал все. Шаг сделаю – и не держусь. Ноги как вата... Вон, все еще дрожат.

*Надя с плачем уходит в баню.*

Санечка ты моя! Ты чё ж наделала? Я как теперича без тебя буду-то?

*Вернулась Надя. Она несет бутылку водки, стакан, закуску. Плачет.*

НАДЯ. Давай, дядь Митя, выпей. Бедный ты, бедный. Чё у нее было-то, сказали хоть?

МИТЯ. Ты, Надюша, не говори мне «бедный», а то сердце заходится, и плачу токо.

НАДЯ. Ну и поплачь, зато не надсадишься. Ой-ё-ёёёй... *(Плача, наливает Мите водку.)*

МИТЯ. Инфаркт микарда. Рубец вот такой. С ладошку. *(Горько мотнув головой, пьет.)*

НАДЯ. Ой-ё-ёёёй... Закуси.

МИТЯ. Не, не надо. Завтра привезут. Вообще-то три дня положено держать, а в моргу местов нет.

*Надя наливает снова.*

Поможете как чё делать-то?

НАДЯ. Ой, поможем, конечно.

*Митя пьет, входит Люда.*

Людк, теть Шура-то умерла.

ЛЮДА. Как?

НАДЯ. Вот так. Вчера дядь Митя повез в больницу – и умерла.

ЛЮДА. Да вы что?

НАДЯ. Сердце. Ой-ё-ёёёй.

МИТЯ. Инфаркт, Людка, инфаркт. Не старая ведь ишо, пожила б маленько.

НАДЯ. Скоко ей?

МИТЯ. А мне скоко? Шесят восемь? Вот считай. На три года моложе.

НАДЯ. Шесят пять.

ЛЮДА. Да вы что?

*Входит Ленька, несет транзистор. Митя сам наливает водку, пьет.*

ЛЮДА *(Леньке).* Баба Шура умерла.

ЛЕНЬКА. Когда?

ЛЮДА. Вчера.

ЛЕНЬКА. Ого, точно, что ли?

ЛЮДА. Ты чё, дурак?

МИТЯ. Почти сорок лет с ей жили. Всяко было, а жили. Прелесть ты моя, Александра Степановна, ушла от любимого своего мужа. Зачем! Куда? *(Плачет.)*

НАДЯ. Да ты не надрывай себя, дядь Митя.

МИТЯ. Нет. Выговорюсь. Мне так легче.

НАДЯ. Ой говори, говори.

МИТЯ. Всю жизнь нашу совместную вижу как на ладошке... Вот такой рубец, Ленька. Врач сказал.

*Входит Шура с лопатой в руках. Митя ее не замечает.*

Что характерно – любили друг дружку. Вот как она меня звала? Знаете? Никто не знает. Я ее – Санюшка, а она меня – Митюнюшка. Я ей «Санюшка!», а она: «Эй, Митюнюшка!» А голос у ее какой был? Скажи, Надь. Как запоет... *(Поет.)*

За окошком свету мало:

Белый снег валит, валит.

А мне мама, а мне ма...

*(Заметил Шуру.)*

*Пауза.*

ШУРА. Иди-ка сюда. Чё это ты про меня как про покойницу?

МИТЯ. Мы это... Сон рассказываю. Приснится же, зараза.

ШУРА. «Приснится». Лопатой вот как поцелую, и без всякого веления.

МИТЯ. Надя тут бутылочку... Маленько. А вы чё, уже насадились?

ШУРА. Насадились – не надсадились. Нечего его было поить, Надя. Чуть за ворота, а он уже нарисовался и по-ли-ва-ет. Вот какие мы хорошие.

*Надя метнулась по двору. Люда и Ленька начинают хохотать.*

НАДЯ. Ах ты паразит! Тетя Шура, он же тебя похоронил... Из морга, говорит, завтра... Вот паразит-то! *(Схватила метлу.)*

ЛЕНЬКА. Беги, дядь Митя!

*Он на полную мощь включил транзистор... и полетел по двору хоровод: Надя с метлой, за ней Шура, гремя лопатой, хохочущая Люда и Митя во главе всей этой кутерьмы.*

*Затемнение*

**КАРТИНА ТРЕТЬЯ**

*Комната в доме Кузякиных. На столе чемодан. Вася не спеша добривается, с наслаждением одеколонится. Он слегка взволнован. Входит Надя. В руках у нее трусы мужа.*

НАДЯ. Вась, деньги в трусы прячь. Вишь – карманчик. Сюда положишь и на булавку застегнешь.

ВАСЯ. А расстегнется?

НАДЯ. Ой, правда! Уколешься. На живульку тогда, что ли?

ВАСЯ. В карман бы положил, и все.

НАДЯ. Ага, в карман. Знаешь, какие ловкачи есть – и не заметишь. Одевай давай.

*Вася уходит в другую комнату.*

*(Укладывая чемодан.)* А где карта?

ВАСЯ *(из другой комнаты).* А?

НАДЯ. Карта курортная и направление...

ВАСЯ. Под клеенкой.

*Надя достает карту.*

НАДЯ. Я ее сверху положу, чтоб не рыться. Не узнал, кому вторую путевку дали?

ВАСЯ. Кому-то из управления.

НАДЯ. С лесного, что ли?

ВАСЯ. Ага. А чё?

НАДЯ. Взяли бы да и договорились вместе ехать: все безопаснее. За вещами друг у друга поглядывали бы. Вася вернулся. На нем новая белая рубаха, отутюженные брюки.

ВАСЯ *(осторожно).* Надюх... это...

НАДЯ. Ну чё?

ВАСЯ. Галстук у нас есть?

НАДЯ. Какой галстук?

ВАСЯ. Ну такой... *(Показывает.)*

НАДЯ. Не надо тебе никакого галстука. Вот так расстегнешь пуговку, и все.

ВАСЯ. Да ну. Пуговку... Чё я?

НАДЯ. Чё ты?

ВАСЯ. Это ж курорт.

НАДЯ. Ну?

ВАСЯ. Все в галстуках будут.

НАДЯ. Прямо!

ВАСЯ. Точно. Мало ли. Вдруг куда пригласят, вдруг куда пойду.

НАДЯ. А ты не шатайся где не надо.

ВАСЯ. Ну, Надь...

НАДЯ. Где я его тебе возьму?

ВАСЯ. В промтоварный сбегай.

НАДЯ. Да на черта он тебе?

ВАСЯ. Там же культура! По телику посмотри... Где чуть приличней общество – все в галстуках, в бабочках.

НАДЯ. Во-во. Смотри там с бабочками.

ВАСЯ. Ну Надь...

НАДЯ. Порассказали мне, как они на шею вешаются на курортах этих.

ВАСЯ. Я-то лечиться буду, ты чё?

НАДЯ. Вот и лечись.

ВАСЯ. На-адь.

НАДЯ. Чё? Ну ладно-ладно. Помодничать ты уж любишь. Дай волю...

ВАСЯ. Ну правда...

НАДЯ. Да иду-иду. *(Уходит.)*

ВАСЯ *(кричит в окно).* Ольга, поди сюда!

ОЛЬГА *(вбежав).* А?

ВАСЯ. Леха с Людкой пришли?

ОЛЬГА. Пришли. Позвать?

ВАСЯ. Нет, погоди. Лешка в тайгу уйдет, дак ты за голубями присматривай... Ладно?

ОЛЬГА. Ладно.

ВАСЯ. У новеньких скоро птенцы будут... Смотри, чтоб крыса не утащила. Я бордюрчик сделал, железный... Однако не закарабкаться ей. На. *(Дает дочери деньги.)*

ОЛЬГА. Зачем?

ВАСЯ. На базар сбегаешь, пшеницы прикупишь. Пока есть... А кончится? Мамке не говори. Накричит еще... Вот. *(Сел.)* Вот, доча... Пиши мне туда. Ага?

ОЛЬГА. Ага. *(Подошла к отцу, слегка подтолкнула его.)*

ВАСЯ. О-о! Ты чё?

ОЛЬГА. А ты чё?

ВАСЯ. Я ничё.

*Пауза.*

ОЛЬГА. Пап, ты море увидишь!

ВАСЯ. А куда денешься? Увижу. *(Пауза.)* Все увижу. Как люди живут, как чё. В бар схожу, в театре посижу. Тебе еще сколько, а в Иркутск в театр уже съездила.

ОЛЬГА. Я не одна, я с классом.

ВАСЯ. Ну, с классом. А меня кто-нить повезет? Нет, конечно. А сам... Когда? Вон работы сколько. Всю жизнь. Хоть маленько пожить покрасивше.

*Пауза.*

ОЛЬГА. Ракушек мне привези и пальму.

ВАСЯ. А как ее? На себе переть?

ОЛЬГА. Веточку.

ВАСЯ *(кивнув).* Че-нить привезу. *(Пауза.)* Интересно, чё они там видят?

ОЛЬГА. Кто?

ВАСЯ. Голуби. На самолете буду лететь – погляжу.

*Входит Митя. Как всегда, навеселе. Ольга ушла.*

МИТЯ. Ну чё, летишь?

ВАСЯ. Дак от. Счас на электричке – в Иркутск, а гам – самолетом.

МИТЯ. Надюха где?

ВАСЯ *(смеясь).* Галстук покупать побежала.

МИТЯ. Чего?

ВАСЯ. Ну этот...

МИТЯ. Галстук?

ВАСЯ. Ну.

МИТЯ. Да у меня их вон – полный шкаф... висят. Взял бы да и взял.

ВАСЯ. Да на кой черт он мне сдался? Говорю ей – не надо...

МИТЯ. Стой, стой. Тут все правильно. Культура.

ВАСЯ. Дак и я ей, то есть она мне. Не отвяжешься.

МИТЯ *(достав чекушку).* Ну-ка, давай стаканы.

ВАСЯ. Не-не, я не буду.

МИТЯ. А чё?

ВАСЯ. Унюхает еще – не оберешься.

МИТЯ. Держи.

ВАСЯ. А?

МИТЯ. Лаврушка. *(Подает лист.)* Зажуем.

ВАСЯ. Ты, дядь Митя, провокатор какой-то.

*Выпили.*

Счас, закусить.

МИТЯ. Как то место-то называется?

ВАСЯ. Какое место?

МИТЯ. Куда направляешься...

ВАСЯ. В Баку. Курорт органов движения, ешкин кот.

МИТЯ. Ты чё сказал? В Баку?

ВАСЯ. Ну.

МИТЯ *(возмущенно).* Я ж там был! Мы ж туда из Средиземки ходили! Из Средиземного моря! Ты глянь – в Баку!

ВАСЯ. О, загнул!

МИТЯ. Не веришь?! Шурку мою спроси, не даст соврать.

ВАСЯ. Оно где находится-то?

МИТЯ. Кто?

ВАСЯ. Средиземное.

МИТЯ. Ну?

ВАСЯ. А Каспий? Во-он!

МИТЯ. А пролив?! На что пролив-то?!

ВАСЯ. Да нет там никакого пролива.

МИТЯ. Да мы через него четыре ночи пёрли.

ВАСЯ. Да как он называется?

МИТЯ. Да номерной он, номерной! Это какой дурак секретным проливам будет названия вывешивать?! Ты чё?! Ну!

ВАСЯ. Пролив секретный?

МИТЯ. А то! Не по рельсам же на... эсминце в Каспий шли. Он мне будет рассказывать. Ну даешь!

ВАСЯ. Ладно, посмотрим.

МИТЯ. Эх, фотографироваться нам на нем не разрешили... Я б тебя носом ткнул.

ВАСЯ. Да я там погляжу.

МИТЯ. Во-во, погляди. Из лимана выйдешь, сразу влево от маяка. Кажись, шестой градус по курсу. Не, седьмой. В общем, где-то шестой-седьмой.

ВАСЯ *(смеется).* Сороковой лучше.

МИТЯ. Чего? А-а. Давай по последней.

*Пьют.*

С бабами осторожней. Понял, да?

ВАСЯ. Чё мне они?

МИТЯ. Э-э! Меня одна пришвартовала – чуть не зарезали. Точно говорю. Вон Шурка не даст соврать, я ей рассказывал. Баку – это Азербайджан?

ВАСЯ. Азербайджан.

МИТЯ. Ну точно. Я ж говорю – был. Они-то наших баб очень любят, а с ихней попробуй пошухари. Я шухарнул, дурак, – чуть не прирезали. Братва выручила. Как дали им, а меня в кубрик – и чтоб на берег ни ногой.

ВАСЯ. А чё?

МИТЯ. Скараулят – и все, чё! Горняки-и. То есть эти... Ну как? Тьфу ты... В общем, люди с гор. Они ж по-нашему не понимают, пырнут – и все.

*Входят Надя, Шура, Люда, Ленька, Ольга.*

ШУРА. О! И мой вдовец-молодец тутока.

НАДЯ *(подавая галстук Васе).* На, завязывай. Весь магазин завязывал – никто не знает как.

ВАСЯ. А как?

НАДЯ. Почем я знаю?

ВАСЯ. И я не знаю.

*Подходит Люда и начинает завязывать отцу галстук.*

ЛЮДА. Не вертись.

*Все внимательно наблюдают.*

ШУРА *(Наде).* На вокзал провожать пойдете?

НАДЯ. Вроде нет. Николай обещал на мотоцикле подвезти. *(Васе.)* Он заедет, нет?

ВАСЯ. Обещал.

ШУРА. А как не заедет?

НАДЯ. Опоздаешь.

ВАСЯ. Утром видел его. Заедет.

МИТЯ *(Шуре).* Я, однако, Василия провожу. Чё? Никто не едет... Он в коляске, я взади. Ну чё?

ЛЮДА. Не жмет?

ВАСЯ. Кажись, нет.

ШУРА *(Мите).* Тряхнет где на обочине – и рассыпешься, а я потом собирай. Сиди, не егози.

*Затарахтел и смолк у дома мотоцикл.*

ВАСЯ. Все, приехал.

*Ленька застегивает чемодан и уходит.*

НАДЯ. Одевай пиджак.

*Вася надел.*

Чё-нить напиши.

ВАСЯ. Чё-нить напишу.

НАДЯ. Люда, Ольга! Давайте с батей прощайтесь.

ВАСЯ. Целоваться будем, нет ли?

НАДЯ. Вот, целоваться вздумал.

*Первая неловко целует Васю, за ней Люда, Ольга, Шура, Митя.*

**КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ**

*Когда все вышли из дома, вновь затарахтел мотоцикл. Его грохот постепенно перешел в барабанный, вернее, в соло на барабане, которое подхватил джаз-оркестр. И мы уже на берегу Каспийского моря. Пальмы, музыка, вечер. На скамейке в аллее Вася, Раиса Захаровна.*

РАИСА ЗАХАРОВНА. А я думала, вы совсем не пьете.

ВАСЯ. Но, я маленько. Процедуры все ж. Вроде нельзя.

РАИСА ЗАХАРОВНА *(кокетливо).* А другие процедуры можно?

ВАСЯ. Какие?

РАИСА ЗАХАРОВНА. Удивительные звезды в здешнем небе. Правда?

ВАСЯ *(задрав голову).* Светят...

РАИСА ЗАХАРОВНА. И луна качается...

ВАСЯ. Да... Ешкин кот.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Василий Петрович, я не очень пьяная?

ВАСЯ. Да ну. Чё там... *(Показывая, сколько выпили.)* По чуть-чуть.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Спасибо вам. Вы очень добрый человек. И все у вас хорошо... Дом, дети. Вы дружно живете?

ВАСЯ. Всяко бывает.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Вы не похожи на скандалиста.

ВАСЯ *(пожав плечами).* Да я-то нет.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Жена?

ВАСЯ. Из-за голубей да так, по мелочам.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Это грустно. *(Задумчиво.)* Вы любите голубей... Какая прелесть.

ВАСЯ. Я не на продажу, я для души.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Я понимаю. Вы знаете, в детстве я была безумным сорванцом. Все с мальчишками, с мальчишками. Папа очень хотел мальчика, а родилась я. Поэтому он воспитывал меня как мальчишку. Мой папа... Знаете, он кем был?

ВАСЯ. Нет.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Офицером кавалерии. Я вас не утомила?

ВАСЯ. Нет.

РАИСА ЗАХАРОВНА. И мы тоже гоняли голубей! Но меня всегда удивляло другое... Как эти глупые птахи способны к нежности! Почему у людей все иначе? Почему? Почему? Почему?

*Пауза.*

ВАСЯ. Точно. Я давеча сычей парочку купил. Голуби такие – черные. Дак вот, запустишь его со стаей под облака – махонький сделается, со спичечную головку, а ее в руке держишь, голубку. Потом руку вытянешь, помаячишь...

РАИСА ЗАХАРОВНА. Как?

ВАСЯ. Ну вот так. Берешь ее и маячишь. Камнем кидается! На руку – хоп и гур-гур-гур-гур, гур-гур-гур. Вот чё это такое?

РАИСА ЗАХАРОВНА. Вероятно, инстинкт.

ВАСЯ. Не-е... Любовь... вероятно.

*Пауза.*

РАИСА ЗАХАРОВНА. Какой вы красивый человек, Вася.

ВАСЯ. Ага. Черт его знает.

РАИСА ЗАХАРОВНА. И вы не можете быть одиноким, ибо вы красивы душой.

ВАСЯ. Да ну.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Помолчите, прошу вас. И как произошло, что вы и я, бывший маленький бесенок, а теперь одинокая, уставшая женщина, оказались здесь, под южным небом, в краю экзотики и легенд? Как?

ВАСЯ. По путевкам. Одна организация...

РАИСА ЗАХАРОВНА. Я не о том. Почему в управлении именно вам и мне дали путевки? Разве это не странно?

ВАСЯ *(неуверенно).* Маленько есть.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Поцелуйте меня, Василий, если вам это не неприятно.

*Пауза.*

ВАСЯ. Да нет... Я нормально.

*Они уже готовы были слиться в поцелуе, как вдруг...*

Ой!

РАИСА ЗАХАРОВНА. Что?

ВАСЯ. С-су...

РАИСА ЗАХАРОВНА. Что?!

ВАСЯ. Булавка расстегнулась... Говорил же ей! Я счас! *(Убегает.)*

**КАРТИНА ПЯТАЯ**

*В доме у Васи. В комнате Надя, Люда, Ленька. Надя читает письмо.*

НАДЯ. «Добрый день или вечер. Здравствуй, Надя, мои дети: Леша, Люда, Оля. У нас сейчас утро. Напарник мой, Владимир, еще спит, хотя на улице уже прыгают и летают воробьи и разные птицы юга. Окно наше выходит не на море, а во двор. Жалко, конечно, что не на море, но тут тоже интересно. Воруют, однако, много. Даже с нашего десятого этажа видно. Но кормят хорошо, что странно. Мы с Владимиром каждый раз наблюдаем, как и чё они делают внизу. Но оказалось – это они не воруют. У них здесь такой минимум жизни. Все мне объяснил наш лечащий банщик Мамед. Он сначала меня в ванну не пускал, а отправлял в очередь, и я стоял. Я так всю неделю стоял. Потом он подошел ко мне и сказал: «Хочешь в ванну?» Я сказал: «А чё?» Он сказал: «Давай пятьдесят копеек и иди лежи». И все мне объяснил. Ему все дают пятьдесят копеек и лечатся, а я не знал. Так что одна неделя у меня пропала даром. Я сначала хотел Мамеда треснуть, но он как-то складно все обсказал, и я дал ему мелочь. Теперь я принимаю грязь регулярно. А кто не сориентировался, те еще стоят. В основном – новенькие, и все наши, из Сибири. Я бы подсказал, да неловко. Чувствую себя, наверное, хорошо. Еще не понял. Оле набрал ракушек полную тумбочку. А ветку пальмы срежу перед отъездом домой, а то засохнет. Накупил батареек для Леши для транзистора. В общем, все, что просили и заказывали, я выполнил. Дорогая Надя! *(Читает с трудом.)* Извините, что я вмешиваюсь, но Василий...» *(Людмиле.)* Не пойму ничо... Вроде теперь не он пишет. Люда, почерк чё-то быстрый пошел, не разберу.

*Люда взяла письмо, читает.*

ЛЮДА. «Дорогая Надя! Извините, что я вмешиваюсь, но Василий очень робкий и деликатный человек, поэтому ему трудно решиться. На берегах этого удивительного моря мы с Василием обрели друг друга. Это случилось внезапно, как наваждение».

НАДЯ. Чё-чё?

ЛЮДА. «Мы с Василием обрели друг друга. Это случилось внезапно, как наваждение. Мы и до сих пор несколько растерянны, но пути господни неисповедимы, и кто знает, на какие испытания он нас еще пошлет. Безусловно, жить теперь мы друг без друга не сможем...»

НАДЯ. Ничо не пойму. Кто пишет-то?

ЛЮДА. Я откуда знаю. Женщина.

НАДЯ. А. Ну-ну...

ЛЮДА. «Безусловно, жить теперь мы друг без друга не сможем, но не пугайтесь, я не против его общения с детьми. То, что дорого любимому мне человеку, то должно быть дорого и мне. Они, наверное, очень славные – наши Леша, Оля, Люда. Не сердитесь и не гневайтесь на меня за Василия. Слишком много страданий и горя выпало на его да и на мою долю, чтобы люди могли осудить нас ча этот лучик счастья на темном небосклоне жизни. Простите нас... С уважением...»

*Надя забрала у Люды письмо.*

НАДЯ. Вот. *(Продолжает читать.)* «С уважением Раиса... Раиса...»

ЛЮДА. Раиса.

НАДЯ. Раиса. Захаровна. Пс... пс... Ой! «Спасибо вам за Васю». *(Люде.)* А «пс» –это чё?

ЛЮДА. Постскриптум. Послесловие. Спасибо тебе за Васю.

НАДЯ. Кому?

ЛЮДА. «Спасибо вам за Васю»... Тебе... спасибо за Васю.

НАДЯ. А-а.

ЛЮДА. Смотри, опять его почерк. *(Берет у матери письмо, читает.)* «Надя, ты сюда не пиши. Мы четвертого вылетаем».

НАДЯ. А сегодня какое?

ЛЮДА. Одиннадцатое.

НАДЯ. Прилетели уже, наверное?

ЛЮДА *(продолжает чтение).* «Я бы сам не сказал, письмом как-то лучше. А Раиса Захаровна женщина хорошая. Она даже подарки помогала искать. До свидания. Василий».

*Конец первого акта*

**ЧАСТЬ ВТОРАЯ**

**КАРТИНА ШЕСТАЯ**

*Время и место то же, что и в конце первой части.*

НАДЯ. Ой, горе мне! Ох, како горе-то! Он чё же, Лешка?! Да как ему не совестно, поросенку?! Кобель... Тридцать лет с им проишачила, а он... Оть ить какой кобель батя ваш...

ЛЮДА. Ну и чего реветь?

НАДЯ. Ой, чё делать, не знаю. Горе-то како! Ой-ёё-ёё-ёй! Лешка, поросятам дал?

ЛЕНЬКА. Дал.

НАДЯ. Счас я его голубям все бошки начисто поотрубаю. Людка, где топор? Начисто, кобелюга чертов...

ЛЕНЬКА. Голуби-то тут при чем?

НАДЯ. А над мамкой издеваться можно? Вас вырастили... Думаешь, легко было?

ЛЕНЬКА. Встречу – убью. Голуби ни при чем.

*Пауза.*

НАДЯ. Как убьешь?

ЛЕНЬКА. Почем я знаю. Как-нибудь.

ЛЮДА. О, дурак!

НАДЯ *(сквозь слезы).* Да ты чё? За шкирку потрясти, и хватит. Слышь?

*Ленька молчит.*

Лешка, я тебе говорю: не вздумай давай. Слышь?

*Ленька подошел к двери.*

Куда ты? Ну-ка сядь. Сядь, я тебе говорю.

ЛЕНЬКА. Дай на двор схожу.

НАДЯ. Ага, на двор... Я с тобой.

ЛЕНЬКА. В уборную, что ли?

НАДЯ *(суетясь).* Я покараулю.

ЛЕНЬКА. Ты чё, сдурела?

НАДЯ. Вдруг удумаешь. Потом в тюрьму посадят – и не выровняешься. Ему чё: подженился себе и знать ничо не знает. Может, ишо вернется.

*Входит Раиса Захаровна. Она взволнованна, но приветлива.*

РАИСА ЗАХАРОВНА. Здравствуйте.

ЛЮДА. Здравствуйте.

НАДЯ. Здрасьте.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Вы Надя?

НАДЯ. Ой, я-а.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Я к вам.

НАДЯ. Откуда вы?

РАИСА ЗАХАРОВНА. Вообще-то я с работы...

НАДЯ. Не с лесного? Я вроде вас знаю.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Из управления.

НАДЯ. Проходите, проходите, пожалуйста. Ленька, дай стул. У нас тут тако горе, тако горе...

ЛЕНЬКА. Мать, кончай. *(Подает стул.)*

НАДЯ. Садитесь, пожалуйста. А вы кем в управлении?

РАИСА ЗАХАРОВНА. Я работаю в отделе кадров.

НАДЯ. Вот чё ж вы так плохо за кадрами смотрите? Бегают куда хотят, а вам и дела нет.

*Люда фыркнула.*

Ой, простите.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Вообще-то у нас текучки нет.

НАДЯ. Зато у нас вот какая страшная текучка. Кто бы раньше сказал, что так будет... И не поверила бы. Вы его пропесочьте там как следует, сымите стружку с его, дурачка такого.

ЛЮДА. Мама! Может, совсем не по этому вопросу и пришли.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Именно по этому вопросу.

ЛЮДА. Делать, что ли, больше нечего?

*Люда вышла из комнаты. Ленька тоже направился к выходу.*

НАДЯ. Леньк, ты куда?

ЛЕНЬКА *(огрызнувшись).* Поросятам дам. *(Вышел.)*

НАДЯ *(кричит вслед).* Не вздумай! Слышь?! *(Раисе Захаровне.)* Убью, говорит, и все.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Кого?

НАДЯ. Отца. Спокойный-спокойный, а как втемяшит себе чё-нибудь в голову, а ты бойся.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Я не думаю, что это выход из положения.

НАДЯ. Да разве ж можно так думать. *(Заплакала.)* Отец все-таки. Вы уж сделайте там как-нибудь... Говорили мне, чем они на курортах занимаются, говорили. Не послушала, дура, вот и получила. А честно сказать, душа болела. Они чё ж так дуреют-то на этих курортах? Почему не смотрят-то за ними там?

РАИСА ЗАХАРОВНА. Надя, мы обе – женщины, и я хочу, чтобы мы поняли друг друга.

НАДЯ. Да-да.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Вы успокойтесь. Все не так страшно.

НАДЯ *(вздохнув).* Да как же не страшно? Страшно.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Я прошу вас, успокойтесь.

*Надя кивнула.*

*(Выждав.)* Вы любите его?

НАДЯ. Чё?

РАИСА ЗАХАРОВНА. Любите вы этого человека?

НАДЯ. Да вот какой это человек? Был бы человек, разве б поступал так? Ой! А вдруг она заразная какая-нибудь? А чё? Она же не скажет. Он мужик симпатичный... Ну и что ж, что дурной. Она-то, поди, не на ум его позарилась. Взяла да и обманула.

РАИСА ЗАХАРОВНА *(вспыхнув).* Зачем вы так говорите? Вы же ее не знаете.

НАДЯ. Добрая женщина такое бы не учинила. Потаскуха какая-нибудь, а его облапошить-то – дважды два.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Почему вы решили, что его кто-то обманывает, а не он сам?

НАДЯ. Ой, что вы! Вы ж его не знаете! Он схитрить-то... вот на столечко не может. Чуть что нашкодит – я уж вижу. Ну. В глаза заглядывает, все, чё ни попросишь, как ракета исполняет да тихий сделается. Ну прямо... Вот я даже не знаю какой тихий. Так-то он хороший. *(Заплакала.)* Ну чё вы говорите? Новых голубей купил, так я еще утром все поняла. По нему поняла. Сунулась в шкаф, а двадцати пяти рублей нет. Все поняла, на месте.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Не знаю, не знаю... Какие-то голуби. Разве можно равнять?

НАДЯ. А вот увидите, все-о ей отольется. Бог не Тимошка – видит немножко... Еще сто раз закается, змея подколодная, как мужиков от семей отрывать.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Вы так говорите, будто у нее их...

НАДЯ. А чё? Он, поди, не первый у нее.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Откуда вы знаете?

НАДЯ. Ну не шешнадцать же ей?

РАИСА ЗАХАРОВНА. Не шестнадцать, но так огульно наговаривать на человека... Разве можно, Надя? А вдруг у него любовь?

НАДЯ. Кака любовь?

РАИСА ЗАХАРОВНА. Вот о чем вы сначала должны были подумать.

НАДЯ. Не воевали ж мы с ним тридцать лет... Вроде хорошо было.

РАИСА ЗАХАРОВНА. А привычка?

НАДЯ. Как?

РАИСА ЗАХАРОВНА. Элементарно – привычка. Поэтому я и спросила: любите ли вы этого человека?

НАДЯ *(помолчав).* Вы вот слова какие-то говорите... Какая тут любовь, когда вон воздуху не хватает, надышаться не могу. *(Положив руку на грудь.)* И жгет, и жгет, будто жар из печи сглотнула.

*Обе плачут.*

РАИСА ЗАХАРОВНА. Конечно, конечно, он человек не простой. Но у него хорошее сердце и душа... Душа, разумеется, важнее. Не держите на Василия зла. Если вы его любите – вы не причините ему боли. Я понимаю, что трудно такое сразу принять сердцем, но мы люди, и у нас есть разум.

*Плачут.*

Что? Что вы? *(Пауза.)* Что вы так смотрите?

НАДЯ *(медленно).* Дак ты ли, чё ли?

РАИСА ЗАХАРОВНА. Да, Надежда. Как ваше отчество?

НАДЯ. А я сижу, душу перед ей выворачиваю. Людка! Люд, слышь?!

*Вошла Люда.*

РАИСА ЗАХАРОВНА. Надя, не теряйте головы.

НАДЯ. Ты гляди, чё делается?

РАИСА ЗАХАРОВНА. Вы намерены скандалить? Я пришла к вам как к взрослой, умной женщине...

НАДЯ. Ах ты... Ах ты... *(Негромко.)* Сучка крашеная...

РАИСА ЗАХАРОВНА *(очень напугана, но пытается держаться спокойно, даже иронично).* Что поделаешь. *(Встала.)* Нет в мире совершенства.

*Надя налетает на Раису Захаровну.*

НАДЯ. На тебе, совершенство! Тебе это надо? На! Получай!

РАИСА ЗАХАРОВНА. Как вы смеете?! *(Люде.)* Девушка, уймите вашу мать!

*На шум и визг выбежал Ленька. Раиса Захаровна, вырвавшись, пулей вылетела из дому.*

НАДЯ. Люда! Леня! Чё ж это?! Чё это такое? *(Пауза.)* Ой, устала. *(Встала, медленно пошла из комнаты. Обернулась.)* Если узнаю, кто из вас с отцом видится, – прокляну. *(Уходит.)*

**КАРТИНА СЕДЬМАЯ**

*Квартира Раисы Захаровны. Вася сидит на стуле у дверей, курит. Пепельница на колене Васи полна окурков. Входит Раиса Захаровна.*

РАИСА ЗАХАРОВНА. Добрый день.

ВАСЯ. Чё?

РАИСА ЗАХАРОВНА. Боже мой... *(Уходит в ванную. Слышен плеск воды.)*

ВАСЯ. Ешкин кот...

*Раиса Захаровна вышла из ванной.*

РАИСА ЗАХАРОВНА. Дорогой, вы слишком много курите. Если вы не бережете себя, поберегли бы потолок.

ВАСЯ. А чё ему сделается?

РАИСА ЗАХАРОВНА. Не чё, а что... Из белого он превратился уже в черный.

*Вася погасил папиросу, вышел и вернулся с пустой пепельницей.*

*(Заплакав.)* Прости, милый. Мне сделали сегодня больно... Никто никогда не причинял мне такой боли. *(Помолчав.)* Дасена...

ВАСЯ. А?..

РАИСА ЗАХАРОВНА. Поставь, пожалуйста, Дасена.

*Вася ставит пластинку.*

Как грустно... Сядь рядом, любимый.

ВАСЯ. Рай...

РАИСА ЗАХАРОВНА. Сядь, пожалуйста. Дай мне руку, и помолчим. Вот так. Почему люди такие жестокие?

ВАСЯ. Кто?

РАИСА ЗАХАРОВНА. Нет, почему?

ВАСЯ. Люди разные, Рай.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Что я ей сделала плохого? Что?

ВАСЯ. Рай, я сказать хотел...

РАИСА ЗАХАРОВНА. Я теперь понимаю тебя... Она слишком грубый, жестокий человек.

ВАСЯ. Кто?

РАИСА ЗАХАРОВНА. Твоя бывшая жена. И дети твои совсем не такие, какими я их себе представляла. *(Скорбно.)* Барьер непреодолим.

ВАСЯ. Ты что, у Нади была?

РАИСА ЗАХАРОВНА. Была – и натолкнулась на стену ненависти, эгоизма и не-по-ни-ма-ния. *(Пауза.)* Да, Василий, она не поняла нашей любви, более того... Она хотела убить меня!.. И... И... Люди стояли смотрели... Твои дети! Боже мой, твои дети! Какое равнодушие!..

ВАСЯ. Ты зачем пошла-то?

РАИСА ЗАХАРОВНА *(грустно усмехнувшись).* Хотела найти контакт.

ВАСЯ. Чё?

РАИСА ЗАХАРОВНА. Ты слишком робкий человек. Я не хотела ставить тебя в неловкое положение. Но, по-видимому, тебе придется сделать все самому.

*Пауза.*

ВАСЯ. Ну-ка, Дасен, помолчи. *(Выключает проигрыватель.)*

РАИСА ЗАХАРОВНА. Вася, ты так испортишь и иголку, и пластинку. Сколько раз говорить...

ВАСЯ. Значит... ухожу я.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Подожди, сначала решим.

ВАСЯ. Не-не, ничего не решай, я пошел.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Куда?

ВАСЯ. Куда-нибудь. Я уж собрался.

РАИСА ЗАХАРОВНА *(замерев с пластинкой в руках).* Ты намерен вернуться в семью?

ВАСЯ *(кивнув).* Угу.

РАИСА ЗАХАРОВНА. А как же я?

ВАСЯ. Рай, чё я тебе? Вон... ноги пахнут, говорила... Носки, рубахи стирать не умею...

РАИСА ЗАХАРОВНА. Но теперь-то умеешь.

ВАСЯ. Матерюсь.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Василий, если бы это было для меня существенно...

ВАСЯ. Рая... Не могу я больше. Тянет, и все.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Не понимаю. К кому тянет-то?

ВАСЯ. К Наде, к детям.

РАИСА ЗАХАРОВНА. А меня ты... на произвол судьбы? Идешь к этой... этой Горгоне?

ВАСЯ. Не, я к Наде.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Я и говорю – к Горгоне.

ВАСЯ. Рая...

РАИСА ЗАХАРОВНА. Горгона.

ВАСЯ. При чем тут Горгона? Она жена моя...

РАИСА ЗАХАРОВНА. Плебейка?

ВАСЯ. Говорю же – жена.

*Молчание.*

РАИСА ЗАХАРОВНА. Я не пущу тебя. Ты любовь моя, ты счастье мое, ты судьба моя.

ВАСЯ. Ну чё ты... Прямо как в кино...

РАИСА ЗАХАРОВНА. Вы не верите мне?

ВАСЯ. Пустите, Раиса Захаровна.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Василий, не убивайте меня, прошу вас!

ВАСЯ. Ты, вы... Не по-людски все, Раиса Захаровна. Не могу я так. *(Кивнув на кровать.)* Вроде уж натыкались... Чуть чё – опять «вы».

РАИСА ЗАХАРОВНА. Не спорю, мы из разных социальных пластов, но судьба свела нас...

ВАСЯ. Кака судьба? Закрутилось – и не выберешься.

*Пауза.*

РАИСА ЗАХАРОВНА. Как ты... Как ты...

ВАСЯ. Ну вот...

РАИСА ЗАХАРОВНА. Ах ты... Вот дура! Связалась... с кем?! Ненавижу! В театр его водила, книжки ему читала... Кому? Господи! Ничего не умеет, ничего не понимает. Иди! Иди. Размножайся! Я тебе еще на работе устрою... Коров пойдешь пасти, вспомнишь меня. Человека из него хотела сделать, культуру прививала... Иди!

ВАСЯ. Вот это правильно, за жизнь мою красивую. *(Передразнивая.)* Пожить покрасивше...

РАИСА ЗАХАРОВНА. Васенька-а, не бросай ты меня-а-а! *(Опускается на пол, вместе с ней Вася. Раиса Захаровна горько плачет.)* Не уходи! Пожалуйста! Если ты... Я убью тебя! Васенька!

ВАСЯ *(взволнованно).* Ну ты... Ты, Рая... Какая ты...

РАИСА ЗАХАРОВНА. Какая? Скажи, какую хочешь? Я буду, честное слово! Ну правда. Не как в кино... Носки, трусики – все буду стирать тебе, Вася. *(Постепенно плач Раисы Захаровны переходит в тихий, укромный.)*

*Пауза.*

ВАСЯ *(вздохнув).* Ешкин кот.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Чё это?

ВАСЯ. А?

РАИСА ЗАХАРОВНА. Ешкин кот.

ВАСЯ. Кот, Ешкин.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Чей?

ВАСЯ. Ну этой... Яги, кажись. Бабы Яги, Ешки.

РАИСА ЗАХАРОВНА. Ты хороший... Вон какой хороший.

ВАСЯ. Да ничо. *(Опять пытается уйти.)*

РАИСА ЗАХАРОВНА. Ну-ка, сядь!

ВАСЯ. Да я сяду. *(Сел.)*

РАИСА ЗАХАРОВНА. Вот ты, вот такой вот ты, зачем ты мне нужен-то был?

ВАСЯ. Зачесалось че-нить, вот и нужен. *(Встает.)* Одна да одна, тоже, поди, не сахар.

*Раиса Захаровна начинает хлестать Васю по лицу. Хлещет долго. Вася принимает как должное, стоит не шелохнувшись, словно на примерке у портного.*

*Затемнение*

**КАРТИНА ВОСЬМАЯ**

*В доме Кузякиных. Надя, одетая, ничком лежит на кровати. Рядом сидит Люда, Оля, Шура за столом, в дверях покуривает Митя. Шура гадает на картах.*

ШУРА. Значитца, так, сердешница моя... Куда же ноженьки наши топчут?.. А топчут они по короткой дорожке к бубновому королику. А у королика чё-то не то на уме. И будет тебе, сердешница моя, тяжелый разговор. Да чё-то шибко тяжелый, глянь не надсадись. И злость через крестовую любовь. Охошеньки.

МИТЯ *(решительно).* Придет Василий. Точно придет.

ШУРА. Но, однако, Надя куда-то пойдет. Ей дорога выпала, не ему. Правда, короткая-а-а... Злость вот...

МИТЯ. А чё радоваться? Скажешь тоже.

ШУРА. Уйди отсюда, не сбивай меня.

НАДЯ *(тихо).* Все?

ШУРА. Все, ага, все.

ЛЮДА. Мама, может, встанешь?

ШУРА. Правда, Надь, расходилась бы. Там чё-нить посуетишься, тут чё-нить поделаешь. Перекинь, перекинь думки свои куда-нить на хозяйство.

НАДЯ. Еще маленько полежу.

ЛЮДА. Мам, ну два дня уже... Еще маленько. Ну вставай. Нельзя так.

НАДЯ. Уедешь в Иркутск свой, Леню в армию заберут... *(Тихо плачет.)* Помру, дак ты Олю к себе уж возьми, не бросай.

ЛЮДА. Здравствуйте, договорились.

ШУРА *(собирая карты).* Ох, городские...

МИТЯ. Санька, ты связь-то держи. При чем тут город?

ШУРА. Кто нам Ангару запомоил? Ты хариуса когда последний раз поймал?

МИТЯ. Вспомнила!

ШУРА. А с поселком чё делают? Раньше идешь себе по улице и никаку холеру не боишься, а счас токо и глядишь... как бы под колеса не забуреть. Куриц за ворота не выгонишь: как сумасшедшие носятся, пыль до облаков поднимают.

МИТЯ. Курицы?

ШУРА. Грузовики, самосваля разные... Это чё такое, Люда? *(Мите.)* А Василия кто с ума свел? Тоже город. Полюбовница его городская ведь? Принес же черт. С бабами вчерась бегали, глядели на ее... Ни кожи ни рожи! Надо же, позарился на кого. Не бойся, Надя, воротится как миленький.

НАДЯ *(Люде).* Куда он все хотел, ты говоришь?

ЛЮДА. О господи... Ну в бар, в бар.

НАДЯ. Где я ему возьму бар этот?

ШУРА. Вот побарствует еще маленько и притопает. И вставай, и не расстраивайся, а то залежишься – и вправду еще умрешь.

НАДЯ. Плохого я ему ничего не делала...

ШУРА *(тянет Надю за руку).* Подымайся, Надя.

ЛЮДА *(помогая Шуре).* Мама, ты как маленькая.

НАДЯ *(сев на кровати).* Ох, паразит, во-от паразит... Видишь, Оля... Защищала все папку, а он видишь какой...

*Оля заплакала.*

ШУРА. Не трави девчонку, перестань.

НАДЯ. Убить его – мало будет... Хоть бы загнулся где-нибудь.

*Оля плачет сильнее.*

ШУРА. Совсем сдурела. Надя, ты зачем сдурела-то?

ЛЮДА. Мама!

НАДЯ *(Ольге).* Прятались с отцом, шушукались, а теперь вот народит себе других... узнаешь... Мама плохая, да тут, дома, а папа твой хороший... другую маму себе... заимел. Дак иди к ей. Она, наверно, ласковая, не ругается. О-о-ой!

ОЛЯ. Мама! Мамочка!

НАДЯ. Ой!

ЛЮДА. Перестань! С ума посходили! *(Обняла Ольгу.)*

НАДЯ. Кричи на мать, сильнее кричи... Мало ей.

ЛЮДА. Да как же, мама, на тебя не... Перестань, Ольга!.. На тебя не кричать? Что ты делаешь-то с собой?

НАДЯ. Я же и делаю... Правильно... Правильно, мать плохая.

ЛЮДА. Кто тебе сказал, что ты плохая?

НАДЯ. Никто-никто. Сама на себя ругаюсь... Чё, я не вижу? Вы ж считаете... из-за меня отец... Чё, я не вижу?

ЛЮДА. В самом деле сдурела.

ШУРА. Людонька, не надо на мать-то так.

НАДЯ. Ничо-ничо. Мать дура, мать плохая, а как в Иркутске прижало хвост – куда прилетела? А-а. Ничо не надо стало: и муж не нужен, и город не нужен...

ЛЮДА. Да если б я знала, что...

НАДЯ. К маме примчалась, к маме... Забыла, как плакала мне в коленки, какие слова говорила? А теперь мать дура, плохая сделалась. Батя бросил меня, и вы бросайте. Давайте бегите кто куда. Вот чемодан под койкой.

*Пауза. Люда быстро достает чемодан, начинает собираться.*

ШУРА. Людонька... Надя...

НАДЯ. Пускай, пускай.

ЛЮДА. Спасибо, мама. *(Сквозь слезы.)* Могла бы сразу сказать... Сижу, не работаю, глаза измозолила... Кому понравится?.. Пожила, отдохнула, хватит.

ШУРА. Вот заполошные. Охолодись, Люда.

ЛЮДА. Баба Шура. Я ж молилась на них... Думала, у меня дом есть, мой дом... Приехала, на жизнь свою дырявую поплакалась. А вот... Это, оказывается, мне просто хвост прижало. Вот ведь как.

ШУРА. В сердцах-то чего не наговоришь, Люда.

ЛЮДА. Ну, я тоже не деревянная. Как жить, баба Шура, ничего не знаю. Я от мужа убежала, здесь отец в бегах...

ШУРА. А-а.

ЛЮДА. Да, да. Полгода пожила, в синяках находилась... Ну его, думаю, к черту, поеду домой. Отец у меня золото, мама поймет все, а они видите, что устроили. Скучно им стало жить. Вроде все...

НАДЯ. Лю...

ОЛЬГА *(кинулась к сестре).* Люда, не уходи! Люда!

НАДЯ *(тоже бросилась к дочери).* Ой, Люда, ой, подожди. Лю-у-да!

*Все трое плачут. Умильно подвывает баба Шура. Пауза.*

МИТЯ. Однако, счас потоп будет.

ШУРА *(кричит).* А ты из меня скоко крови выпил?! Мало, думаешь? Я ж дни спокойные на пальцах могу показать.

МИТЯ. Ладно, не прыгай. Я тебя не бросал.

ШУРА. А к Доре Усвятской кто через огород шастал?!

МИТЯ. Говорил же, огурчиков набрать.

ШУРА. Не пронесло тебя, оглоеда, с огурчиков тех. А на Машку Зыкову не заглядывался? Скажешь, нет?

НАДЯ *(заталкивая чемодан под кровать).* Все вы на одну колодку, дядь Митя.

МИТЯ. Чё-то вы разъерепенились, погляжу я.

ШУРА. Надя, где у тебя кочерга? Счас я ему взъерепенюсь...

НАДЯ. А пьешь ты сколько, дядь Митя?

ШУРА. Я из-за его не знаю уже куда пенсию прятать... Вон каку нюхалу отрастил, везде найдет.

ЛЮДА. Лучше молчите, дядь Митя.

ШУРА. Надя, давай кочергу!

МИТЯ *(показывая на окно).* Василий!

*Все застыли, глядя в окно. Пауза.*

**КАРТИНА ДЕВЯТАЯ**

*Время действия то же. Ленька во дворе перевязывает метлу, топором заостряет новый черенок. Входит Вася. Он при параде.*

ВАСЯ *(бодро).* Леха, здоров!

*Ленька молчит.*

Тю ты, ешкин кот... Чё делаешь? *(Радостно.)* Пришел я!

ЛЕНЬКА. Пришел... Иди откуда пришел.

*Молчание.*

ВАСЯ. Дак я с работы. Слышь, Леньк!

ЛЕНЬКА. В галстуке?

ВАСЯ *(помявшись).* Переоделся, поди.

ЛЕНЬКА. Вот и иди.

ВАСЯ. Куда?

ЛЕНЬКА. Где переодевался.

*На крыльце столпились Надя, Люда, Ольга, Шура, Митя. Пауза.*

НАДЯ. Это откуда к нам такого красивого дяденька замело? Или чё вспомнил? Сказать пришел?

ВАСЯ *(Мите).* Здоров.

НАДЯ. Не глядит на нас. Наверно, двойку получил, в глаза смотреть не хочет. Расскажи нам, как живешь, как молодуха? Наша... Я ей тут космы повыдирала, ты, поди, расстроился... Или ничо? Ничо-о. Чё молчишь-то, дядя Вася? Ну молчи-молчи.

*Пауза. Вася достал папиросы.*

ВАСЯ. Дядь Митя, спичка есть?

*Митя дает прикурить.*

ШУРА. Василий, ты совсем или как?

ВАСЯ *(глянув на Надю).* Н-не знаю... Вроде...

НАДЯ. Люда, принеси ему сберкнижку, а вещи завтра заберет. Я ему у ворот свалю все, пусть таскается.

ШУРА. Василий, хороший же мужик... Тебе не совестно такое делать? А-я-яяяяй.

ВАСЯ *(тянется прикурить к Мите).* Дай еще.

НАДЯ. Полюбовница на спички денег не дает? Хоро-шо-о живешь.

ВАСЯ. Не цепляй меня, Надь... Я нормально пришел... Обговорить, а ты...

НАДЯ. Я цепляю? Я-а тебя цепляю?! Я?! *(Смеясь.)* Ничо понять не могу – ноги не держут, ни про чё думать не хочу, а он... *(Вдруг.)* Ты знаешь, что я твоим голубям бошки начисто поотрубала? Знаешь, нет?

ВАСЯ *(побледнев).* Как? *(Двинулся к сараю.)*

НАДЯ. Леня, не пускай его в стайку.

ВАСЯ. Пусти, Ленька.

НАДЯ. Не командуй тут... Ишь какой! Леня, держи дверь!

ВАСЯ *(прислушавшись, облегченно вздохнул).* Эх, Леня!

НАДЯ. Все одно поотрубаю, ничо не сделаешь.

ВАСЯ. Ленька, ты взаправду меня не пустил бы?

ЛЕНЬКА. А кто ты такой?

ВАСЯ. Поговори мне так с отцом.

*Вася хотел дать Леньке подзатыльник, но Ленька толкнул отца, и тот, больше от неожиданности, чем от удара, завалился на спину.*

Ленька! Я ж отец твой! Ты... Ленька! *(Лихорадочно вытаскивает из брюк ремешок.)* Скидавай штаны!

ЛЕНЬКА *(медленно отходит от Васи).* Счас, разбежался.

ВАСЯ *(ходит за Ленькой).* Я тебя за всю жизнь хоть раз... хоть пальцем... А? Леньк! Глянь сюда! Посмотри на меня... Я тебе хоть раз, хоть чё отказал? А?

*Он схватил Леньку за рукав, Ленька резко отдернул руку. Вася несильно бьет Леньку ремнем. Ленька сразу бросается на отца. У обоих дрожат губы.*

На отца...

ЛЕНЬКА. Ты... Ты... Ты чё с мамкой сделал?

ВАСЯ. Я сделал... Я скажу.

ЛЕНЬКА. Ты зачем пришел?

*Шура, Митя, Люда кинулись разнимать.*

ЛЮДА. Леня, не надо!

ШУРА. Василий... Василий, покорись!

МИТЯ. Вась, Вась...

ЛЕНЬКА. Ты чё с мамкой сделал?! Ты видел, как она тут?!

*Достал-таки Васю и толкнул. Вася тотчас залепил Леньке пощечину.*

ВАСЯ. Не трожь отца, сынок! А то я тебе... Леня, я ведь могу... Я ж могу...

*Ленька кинулся к топору. Все с криком и визгом бросились на дерущихся.*

НАДЯ. Ле-неч-ка! Не надо! Сыночка!

ВАСЯ. На отца! *(Плачет.)* На, руби! Руби, сынок!

ОЛЬГА. Пап! Уходи! Па-па!

ВАСЯ. Уйди, доченька! Виноват, значит... Руби, сынок, к чертовой матери!

ЛЕНЬКА *(кричит).* Я никогда тебе!.. Я не забуду! Пустите!

ШУРА. Леня, нельзя! Леня! Отец он!

ЛЕНЬКА. Пусть он!..

ВАСЯ. Не отец я, да?!

НАДЯ. Ле-неч-ка! *(Повисла у сына на шее.)*

ЛЮДА. Отдай топор! *(Выхватила у Леньки топор и забросила в огород.)*

*Небольшая пауза.*

ВАСЯ. Теть Шура... Оля, я тебе при... Ну вы чё? Я шел... Я знал... Ты меня ударил, Ленька! Да? А я про вас все ночи...

НАДЯ. Ой, не могу! Жить не хочу! Ой, уйди отсюда!

ВАСЯ. Надь, ты... Не плачь так. Я счас... Леньк, Люда... Оля, ты не смотри, не пугайся. Да не рвите ж вы меня! Надя!

НАДЯ. Ты зачем пришел?!

ВАСЯ. Я пришел... Я ж не мог...

ЛЮДА. Леня, иди в дом. Леня, иди...

*Ленька уходит в огород.*

ВАСЯ. Надюха, не плачь! Прости ты меня!

ЛЮДА *(тянет Ольгу за руку).* Пойдем со мной. *(Уводит Ольгу в дом.)*

ВАСЯ. Люда! Теть Шура. Ну я... Все уже я... Я тихо. Куда вы? Ухожу.

ШУРА. Уходи покуда, Василий. Потом уж...

ВАСЯ. Ухожу, ага. Надя, прости ты меня! Дядь Митя, теть Шура, я по-хорошему ведь... Кто их растил? А они? Нет, правильно, виноват, но... Чё же он так, с топором? А? Надь... Уйду я. Все.

НАДЯ. Наделал делов – еще плачет. Не подходи ко мне!

ВАСЯ. Ага, ладно, все. Надь, у меня деньги вот... Может...

НАДЯ. Подавись ты ими!

ВАСЯ. Пошел... *(Продолжая бормотать, уходит.)*

*Шура незаметно выталкивает со двора Митю. Пауза.*

ШУРА *(шепотом).* На-дя.

НАДЯ. А?

ШУРА. Когда Леня топор схватил, я малеха не родила. Ага. Где он?

НАДЯ. Кто?

ШУРА. Топор.

НАДЯ. В огород Люда кинула.

ШУРА. Пойду запрячу.

НАДЯ. Теть Шура, иди к ему. К Василию.

ШУРА. А чё?

НАДЯ. У парома... у старого... Подожду его.

ШУРА. Как так? *(Догадавшись.)* И-и! Ты видала, какой он? Белый, потом пятнами пошел... Он же тоже переживает. Наказал себя – лучше не надо. А когда? Когда ждать-то его будешь?

НАДЯ. На послезавтра, скажи. После работы.

ШУРА. Побегу. Сиди здесь, жди. Я быстро обернусь. *(Убегает.)*

*Пауза. Надя долго сидит одна. Встала. Улыбнулась. Тихой дробью прошла по двору. Замерла. Выглянула Люда, посмотрела на мать и вновь ушла в дом. Вернулась Шура.*

ШУРА *(запыхавшись).* На-дя. Поймала его. Стоит, губы трясутся. Когда сказала ему, закивал, закивал головой, закивал, но молчит. У старого парома, как ты сказала, так и ждать будет.

НАДЯ. Не пойду. Ну его на...

ШУРА. Ты чё?

НАДЯ. Не пойду.

*Пауза.*

ШУРА. От те раз. Задохлась вся, пока его догнала. Ты чё?

НАДЯ. А ничо. Вишь, после курорта какой ходок стал. Я сначала, дура, пожалела, а вот пусть... Еще теперь себе найдет, раз научился.

ШУРА. Оё-ёёёй. Так и будете сидеть в контрах? Хороший же он мужик, Надя! Непьющий, работящий... Найдешь такого еще, нет?

НАДЯ. На черта они мне?

ШУРА. Ой, не знаю. Митя вон когда приставать начнет, дак и то кое-как держусь: жалко его. Повоюем, и все. А чё ж вам страдать, молодым таким?

НАДЯ. Не пойду.

*Пауза.*

ШУРА. Ну и сиди. Тоже знай, что и я с тобой с теперешнего дня тоже в контрах. *(Заплакала.)* Детей не жалеешь, его не жалеешь, себя не жалеешь... Помру, а Васю на поминки позову, а тебя, охламонку, не пущу. *(Уходя.)* Чтоб заросла твоя... Господи, прости. Чтоб мхом заросла, раз бездушевная такая... *(Уходит.)*

*Надя подошла к сарайчику, прислонившись, послушала, как воркуют голуби. Улыбнулась.*

**КАРТИНА ДЕСЯТАЯ**

*Берег реки. Вася и Надя стоят друг против друга. Им неловко, поэтому чуть официальны. На Наде нарядный платок.*

ВАСЯ. Здоров.

НАДЯ. Здравствуй, Вася.

*Пауза.*

ВАСЯ. Ну чё?

НАДЯ. Чё?

ВАСЯ. Лешка как?

НАДЯ. Ничо. Убьет, говорит.

ВАСЯ. Говорит ишо.

НАДЯ. Думает. Я за ним углядываю... Люда на коммутатор поступила.

ВАСЯ. Ну и чё?

НАДЯ. Ничо. Работает. А чё?

ВАСЯ. Да ничо... Так...

НАДЯ. А-а. *(Пауза.)* Вот, Вася...

ВАСЯ. Ага.

НАДЯ. Пришла я...

ВАСЯ. Ага.

НАДЯ. И вот... Чё ты теперь мне скажешь?

ВАСЯ. Не знаю. Живу...

НАДЯ. Где?

ВАСЯ. У наших... с лесного. В этом... в общежитии.

НАДЯ. А-а.

ВАСЯ. Чё, Надь? Сядем? Погоди. Вот, газетка есть. *(Расстилает газету; сели.)* Вообще-то холодает.

*Надя заплакала. Плачет долго, тихо.*

НАДЯ *(вдруг).* Водки бы ли чё принес.

ВАСЯ *(обрадовавшись).* Дак принес.

*Достал из внутреннего кармана пиджака бутылку водки, из одного кармана брюк небольшой сверток с закуской, из другого – стопку.*

НАДЯ. Гляди, вооружился.

ВАСЯ. Не, если...

НАДЯ. Ну, наливай. Любовиться на ее теперь?

*Вася налил. Надя махом выпила.*

ВАСЯ. Закуси.

НАДЯ. Ой...

ВАСЯ. Закуси...

НАДЯ. Ой... *(Закусила из Васиных рук.)* Много-то не пей.

ВАСЯ. Я малень... Ешкин кот.

НАДЯ. Чё?

ВАСЯ. Мне, Надюха, без тебя шибко тошно... Я как этот... Как дурной... Не нужны тебе голуби, ну и черт с имя. Разгоню, ешкин кот, а то, как медведь, из угла в угол. Ни про чё думать не могу: голова не слушается. Вот зараза... *(Смахнул слезу.)*

НАДЯ. Ну.

ВАСЯ. Жизнь мне такая оста...

НАДЯ. Не ругайся.

ВАСЯ. Да я так... Не буду. Хошь, я теперь ни разу не сматерюсь? Хошь?

*Надя молчит.*

Я чё с голубями-то вошкался, знаешь? *(Поучая.)* А-а.

НАДЯ. Желта вода в голову ударила, вот и вошкался.

ВАСЯ. Ну чё ты говоришь?

НАДЯ. Стыдобушка. Все мужики как мужики, а ты с пацанами связался и давай: фьить да фьить! Людям в глаза смотреть совестно.

ВАСЯ. Ага, в карты лучше штаны протирать... Шубы эти, костюмы, ешкин кот...

НАДЯ. Я про карты ничо и не говорю. Те после работы как очумелые в шесят шесть хлещутся, ты по крышам прыгаешь... Кака разница? Что то – зараза, что то – зараза... Никакого интереса.

ВАСЯ. Тю ты, мама родная.

НАДЯ. Чё?

ВАСЯ. Чё ты болтаешь-то, когда не понимаешь?

НАДЯ. Значит, ты много понимаешь: ум из ушей лезет – девать некуда. Иди к курортной своей да и учи ее.

ВАСЯ. Ее опять суешь...

НАДЯ. Органы движения они лечили... Поотрубать вам эти органы, чтоб дурью не маялись. От как славно-то было бы. *(Пауза. Заплакав.)* За чё ни возьмусь – все из рук валится. Ноги какие-то неходячие сделались. Натворил делов... И сам весь избился. Я ж вижу. С магазина или с базара иду домой, к воротам подойду и трясусь. Думаю, нет тебя, а мне тогда чё там делать? Зажмешься и идешь, вид показываешь, что не расстроенная. Оля вон вся захолодела. Уйдет за баню и плачет, на саму себя непохожая, прямо лунатичкой стала. Задразнили, поди, в пионерском – вот и сбежала. Как заходит, заходит по дому... Все сердце оборвала мне.

ВАСЯ *(плачет, сжав зубы).* Надя... Я... я... Я не думал раньше... Я умру, Надь. Слышь? Не сам. Я умру за вас, Надь. Я не знал раньше. Как-то не думалось про это. Пусть режут, пусть чё хотят со мной делают, только чё бы вы были... Жили... Обидел вас, а теперь как хошь расплачусь. Хошь смертью своей...

*Надя припала к Васе. Плачут оба взахлеб, счастливо.*

Прости меня, Наденька... Прости.

НАДЯ. Васенька...

ВАСЯ. Наденька...

НАДЯ. Васенька...

ВАСЯ. Наденька...

НАДЯ. Васенька...

ВАСЯ. Наденька...

НАДЯ. Васень...

ВАСЯ. Наденька...

НАДЯ. Ва... Ой... Прям счас?..

ВАСЯ. Надень...

НАДЯ. Васенька... Уви...

ВАСЯ. Доченька моя...

НАДЯ. Васенька... А... А...

ВАСЯ. Любовь моя...

НАДЯ. Ой, ты моя... Любовь моя.

*И стало на земле темно и тихо. И сыпанули поверху звезды, и проплыл из конца в конец месяц... Один, другой.*

**КАРТИНА ОДИННАДЦАТАЯ**

*Надя и Вася стоят друг против друга на прежнем месте. На Васе уже телогрейка, сапоги. Надя тоже в пальто. Они бросаются друг к другу. Целуются.*

ВАСЯ. Ну как?

НАДЯ. Все разбежались. Оля в школу, Люда на работу, Леня в техникум.

ВАСЯ. Все ж таки, по-моему, Алеха нас тогда припутал.

НАДЯ. Ага... Подошел бы, да как дал бы тебе.

ВАСЯ. А если не один? С кралей...

НАДЯ. Болтаешь какую-то ерунду. На вот. *(Достала из сумки сверток. Развернула.)* Раненько встала, пока ребята спали, напекла. По столовкам-то не шибко разгуляешься. Ешь.

*Вася ест. Пауза.*

ВАСЯ. Вкусно.

НАДЯ. Ой, чё вспомнила! Позавчерась тетя Шура зашла! И как ни в чем не бывало. Надя – то, Надя – се. На меня зырк, зырк и улыбается. Я говорю: «Вы чё, теть Шура?» А она: «Ничо. Тебе весело, и мне весело». Может, узнала, что мы с тобой встречаемся?

ВАСЯ. Как?

НАДЯ. Может, сказал кто?

ВАСЯ. А кто скажет, кто знает? Запартизанились, ешкин кот.

НАДЯ. Ладно тебе.

ВАСЯ. Может, по лицу твоему поняла?

НАДЯ. А как? Я уж на людях хмурюсь стараюсь.

ВАСЯ. Старайся не старайся – глаза-то не замажешь. Вон как светятся, аж слепят. *(Хочет поцеловать Надю.)*

НАДЯ. Васька, дожуй сначала.

ВАСЯ. Я все... Я съел.

НАДЯ. Уйди, бешеный...

ВАСЯ. Не увернешься...

НАДЯ. Счас закричу...

ВАСЯ. Ага. Давай рассекречивайся.

НАДЯ. Вась... *(Тихо.)* Погоди-ка. *(Пауза. Задумчиво.)* А и пусть будет, что она была...

ВАСЯ. Кто?

НАДЯ. Разлучница наша. Раиса твоя...

ВАСЯ. Ты чё это?

НАДЯ. Работали, жили, жили, работали... А беда, как собака, у дома ходила.

ВАСЯ. Ну.

НАДЯ. Токо не беда это, если вон как мне все показала.

ВАСЯ. Чё показала?

НАДЯ. Как тебя люблю, как ты меня любишь, какие дети у нас хорошие.

ВАСЯ *(обнял Надю).* Дети у нас всегда хорошие были... Токо ты не плачь, Надя, не надо.

НАДЯ. Правда. Я чё, разве думала, что ты вот так: раз – и куда-то денешься? Не думала. А щас про все думается.

ВАСЯ. Про чё?

НАДЯ. Про все. Про войну, про капиталистов этих. Вась, чё они на нас рыпаются?

ВАСЯ. У тебя чё, других забот нет? Про войну ишо думать...

НАДЯ. Тоже разлучница.

ВАСЯ. Кто?

НАДЯ. Война. Детей не знаешь как рожать: чё за жизнь им достанется, как ими распорядится, в каку огонь-воду сунут...

ВАСЯ. Да ладно, Надь. Ну чё разревелась? Ишь... рожать как – не знает. Отрожались уж.

НАДЯ. Ага, отрожались.

*Пауза.*

ВАСЯ. Ого...

НАДЯ. Ого.

ВАСЯ. А?

НАДЯ. Заакал? Правда. Сначала подумала чё такое, потом испугалась, а счас про что и думать – не знаю.

ВАСЯ *(медленно).* Тю ты, мама родная. Ну ты даешь...

НАДЯ. Ты, однако, даешь – не я.

ВАСЯ. Да не, оба. Вот это да. Надюха-а...

НАДЯ. У?

ВАСЯ. Надюха-а... Коровушка моя...

НАДЯ. Сам ты...

ВАСЯ. Яблочко мое... Дай я тебя поцелую. *(Целует Надю ласково, тихо.)* Ах ты... голубка моя.

*Надя обняла Васю. Застыли. Пауза.*

Вот ведь она... Чё делает...

НАДЯ. Кто?

ВАСЯ. Любовь, кто! В писят лет... Ешкин кот.

НАДЯ. Вася все одно, боязно как-то.

ВАСЯ. Зачем боязно? Не надо.

НАДЯ. Скажут: старая такая, она чё, сдурела.

ВАСЯ. Да ты у меня молодей молодых. Пусть сами попробуют, черта с два чё у них получится.

НАДЯ. Два месяца уж.

ВАСЯ. Откуда?

НАДЯ. Да. Два ж месяца с тобой тут... прячемся.

ВАСЯ. Ну и хватит! Давай... выходим из... этого... из подполья. Мы чё, не люди, издеваться так над нами? Все! Каждый день дом снится, детей скока не вижу. Все, идем домой.

НАДЯ. Ой, Вась, не надо. Засмеют ведь.

ВАСЯ. Не засмеют. У меня вон жена беременная. Хватит тебе на свиданки бегать. Застудишься, чё я тогда делать буду? Не лето уж, а речка – не печка... Айда, давай.

НАДЯ. Ты прямо как с ума сошел.

ВАСЯ. Не сошел, Надя, не сошел.

НАДЯ. Никуда я не пойду. Ты пойдешь, а я не пойду. *(Пауза.)* Все считают, что мы с тобой враги, а мы раз – и нарисовались. Очень красиво. Потом *(задрожал голос)...* Думаешь, легко мне смотреть, как сын на отца кидается?

ВАСЯ *(сник).* Может, простил уж?

НАДЯ. Иди спроси. Как про все это подумаешь – жить не хочется, а он... *(передразнивая)* «из подполья».

ВАСЯ. Да ладно. *(Помолчав.)* Надь, а Надь...

НАДЯ. У?

ВАСЯ. Счас-то дома никого нет?

НАДЯ. Нет.

ВАСЯ. Пойдем, а? Потихоньку. Я погляжу токо и назад. Истосковался – сил нет. На минутку, а?

НАДЯ. Ой, правда. Оля после обеда, а Люда с Леней еще позже приходят.

ВАСЯ. На минутку.

НАДЯ. Дак тогда не на минутку, больше можно.

ВАСЯ. Надюха...

НАДЯ. Вася... Дома уж теперь, не здесь. Погоди маленько: я вперед пойду, а ты за мной. На глаза-то шибко не показывайся... Ну, пошла.

ВАСЯ. Ну, давай.

НАДЯ. Ну, иди.

ВАСЯ. Ну ты ж первая.

НАДЯ. Ну, иду.

ВАСЯ. Ну, давай.

*Надя, осторожно оглядываясь, уходит. Следом Вася.*

**КАРТИНА ДВЕНАДЦАТАЯ**

*Двор дома Кузякиных. Входит Надя. Она заглядывает в огород, в дом, затем убегает и возвращается с Васей. Быстро и крадучись они скрываются в доме. Длинная пауза. Поскрипывает дверь сарайчика, вновь загурковали голуби в голубятне. Слышно, как где-то прогрохотал грузовик, и опять наступила тишина. На крыльцо в трусах, в майке, в сапогах на голые ноги вышел Вася. Стоит, улыбается. Достал из-под притолоки папиросы, спички, закурил и присел на ступеньки. Появилась Надя и присела рядом.*

НАДЯ. Замерзнешь.

ВАСЯ. Потеплело. Ничо, дым не мешает?

НАДЯ. Кури в сторонку. *(Пауза.)* Не терпится? Заглядываешь. Беги уж, поворкуй с имя.

ВАСЯ. Счас, докурю.

НАДЯ. Давай подержу.

ВАСЯ. Все уже.

НАДЯ. А заме-орз! Кожа – как у гусака общипанного. Вася. Подожди тут. *(Убегает в сарайчик и выносит голубя. Подсаживается к Наде.)*

*Оба смотрят на голубя. Молчат.*

Странно вообще-то. Чё хошь с ним, то и делай.

НАДЯ. Гладкий какой. Вась, а зачем они клювом друг за дружку цепляются? Смотрю я как-то, думаю, чё они такое делают?..

ВАСЯ *(смеясь).* Целуются!

НАДЯ. Прямо.

ВАСЯ. Не верит.

НАДЯ. Ну на-адо же! Отпусти его. Полетит, нет?

ВАСЯ. Не-а. Гляди. *(Раскрыл ладони, голубь не улетает.)* Дай воды, скорей.

НАДЯ. Зачем?

ВАСЯ. Фокус покажу.

*Надя быстро принесла в ковше воды.*

Угу.

*Вася набрал воды в рот и потянулся к голубю. Голубь ткнулся в Васины губы и замер. Вася доволен.*

Попил. Все помнит.

НАДЯ. А у меня будет?

ВАСЯ. Набирай воды в рот. Иди сюда... Токо не смейся.

*Надя прыснула.*

На-адь.

НАДЯ. Зачем сказал, чтоб не смеялась? Вот и засмеялась.

ВАСЯ. Ну, бери воду. Во-от... Голову к ему поближе... помычи маленько...

НАДЯ. У-у.

ВАСЯ. Еще.

НАДЯ. У-у, у-у.

*Голубь припал к Надиным губам.*

ВАСЯ. Воду ему на клюв толкай. Ага.

НАДЯ. Фу. Задохнулась. Ну на-адо же! Птица, а не боится.

ВАСЯ. Ты Володю-дурачка помнишь?

НАДЯ. В Алехино?

ВАСЯ. Ну. Он их по пять штук с одного глотка поил. Рассядутся на ем и горя не знают.

*Пауза. Надя отвернулась, зашмыгала носом.*

О, Надь, ты чё?

НАДЯ *(отмахнувшись).* Ай.

ВАСЯ. Ну Надь... Ну На-адь...

НАДЯ. Да ладно тебе. Погляжу за воротами. *(Ушла со двора.)*

ВАСЯ *(голубю).* А ты говоришь. Понимать надо.

*Вбежала Надя.*

НАДЯ. Леня... Леня идет. Ой, куда же... Ну чё ты стоишь?

ВАСЯ. А куда?

НАДЯ. Через огород... Скорее.

*Вася побежал в огород.*

ВАСЯ *(остановившись).* Надь, а как?

НАДЯ. Ты чё, не знаешь как?! Беги скорей!

ВАСЯ. Я ж без штанов!

НАДЯ. Ой, не знаю, ой, счас войдет...

ВАСЯ. Может, в стайку?

*Надя открыла дверь сарайчика. Вася быстро проскользнул внутрь.*

НАДЯ. Тихонько сиди. *(Захлопнула дверь.)*

ВАСЯ *(высунувшись).* Брюки мне, Надь.

НАДЯ. Да принесу. *(Захлопнула дверь.)*

ВАСЯ *(высунувшись).* Токо быстрей, а то замерз. И рубашку...

НАДЯ. Говорила, оденься. *(Передразнивая.)* «Потеплело-потеплело»...

ВАСЯ. Правда, Надь.

НАДЯ. Да ладно...

*Вошел Ленька. Вася спрятался.*

Леня, пришел, что ли? Это... давай-ка... воды натаскай. Ленька. Да вон в бане полна кадушка.

НАДЯ. Да где? *(Бежит в баню.)*

ЛЕНЬКА. Мам!

*Надя выглянула из бани.*

Ты давай папку веди. Чё прятаться-то?

НАДЯ. Ой, кто прячется, кто прячется? Да ему, оглоеду...

ЛЕНЬКА. Мам, я ж видел... Шушукались ходили.

НАДЯ. Ну?

ЛЕНЬКА. Чё ну? На Ангаре были? Как эти... Еще целуются.

НАДЯ. Ты много чё напридумаешь.

ЛЕНЬКА. Ой, да ладно, не надо. В армию меня забирают.

НАДЯ. Кто?

ЛЕНЬКА. Дед Пихто.

НАДЯ. Когда?

ЛЕНЬКА. К семи завтра.

НАДЯ. Куда?

ЛЕНЬКА. Я почем знаю? Куда повезут.

НАДЯ. Ой... ой...

ЛЕНЬКА. Токо не реви. Нормально отслужу. Подумаешь, два года.

*Дверь сарайчика распахнулась, на пороге стоит Вася.*

ВАСЯ. А... эта... как ее? Ешкин кот... медкомиссия?

ЛЕНЬКА. Все прошел.

НАДЯ. И не сказал...

ЛЕНЬКА. А когда? Вы тут со своей любовью не разберетесь. Думаю, пройду – скажу. А так чё болтать?

НАДЯ. И завтра?

ЛЕНЬКА. Ну. Угу.

ВАСЯ. В какие войска, сын?

ЛЕНЬКА. На границу.

НАДЯ. А-а! *(Бросилась к Леньке.)*

ЛЕНЬКА. Ну, пап, ну скажи ты ей...

ВАСЯ. А чё я скажу?

ЛЕНЬКА. Чтоб не ревела.

ВАСЯ. Надюха, не реви. На стол лучше собери чё-нить.

НАДЯ. Ленечка... *(Плача уходит в дом.)*

ВАСЯ. Пусть маленько отойдет.

*Пауза.*

ЛЕНЬКА. Митю с баб Шурой надо позвать, наверно?

ВАСЯ. Ага, счас.

ЛЕНЬКА. Пап! Штаны-то одень.

ВАСЯ. У, ешкин кот... Ага. *(Кричит.)* Надюха, кинь там брюки! *(Помолчав.)* Из парней наших кто еще идет? Ленька. Санька Булдаков, Мишка Ройзен. Венька...

ВАСЯ. Филимонов?

ЛЕНЬКА *(кивнув).* В одной группе.

ВАСЯ. Ну чё, хорошо. Не скучно. Помогайте там друг дружке.

ЛЕНЬКА. Конечно.

*Пауза.*

ВАСЯ. Может, позовешь их? Вместе посидели б.

ЛЕНЬКА. Да они тоже провожаются. Вечером если?

ВАСЯ. Конечно.

*Надя высунулась из окна, подала Васе брюки, рубаху.*

НАДЯ. Батя, на.

ВАСЯ *(одеваясь).* Я хотел... баню истопить... Перед дорогой попаришься? И я с тобой.

ЛЕНЬКА. Вчера с Олей свежих веников навязали.

*Вышла Надя.*

НАДЯ *(подавая Лене сумку).* Сына, сбегай в бакалейку, купи водки. *(Подает деньги.)* Бутылки три хватит? Не хватит – так еще сбегаете. И хлеба, сына.

ЛЕНЬКА *(уходя).* Пап, веники за баней, на стене. *(Ушел.)*

ВАСЯ *(Наде).* А ты боялась. Понимать надо.

*Затемнение*

**КОНЕЦ ИСТОРИИ**

*День уже перешел на вторую половину. В доме поют. Из сарайчика с большой банкой помидоров выскочила возбужденная Ольга и пулей улетела в дом. Через паузу опять выскочила с чашкой в руках и скрылась в сарайчике. В доме перестали петь, зазвучала современная музыка, послышался топот, вскрики. Пляшут. Ольга с полной чашкой квашеной капусты унеслась к застолью. Вдруг раздался взрыв хохота, и во двор выскочила Надя, за ней Вася.*

НАДЯ. Ты виноват, ты!

ВАСЯ. Честное слово, нет.

НАДЯ. Мужикам в общежитии, поди, трепанулся. Мы с Надей...

ВАСЯ. Ничо не говорил!

НАДЯ. А вот откуда они знают, что мы встречались? Сказал, конечно... И что беременная...

ВАСЯ. Сам же токо седни узнал.

НАДЯ. А как тогда?

*Из дому шумно вышли Митя, Шура, Люда, Ленька, Ольга. У Мити баян.*

ШУРА *(поет).*

Ой, подруженька моя,

Кто вчера любил тебя?

Ходит запинается,

Глазки закрываются.

Надюха, ты расстроилась ли, чё ли?

НАДЯ. Обрадуешься с вами! Весь поселок, наверно, счас смеется.

МИТЯ. Санька! А подем тоже состругаем себе снегурочку! Во жизнь!

ЛЮДА *(смеясь).* Мама, да как это вы...

ШУРА *(шлепнув Митю).* Пойдем, стругалыцик! *(Поет.)*

Не ходите нонче к речке,

Сом с сомихою дерутся.

Как под кажным под кусточком

Парни с девками...

*(Зажала себе рот.)*

МИТЯ *(громко, перебивая).* Надя с Васей там сидят.

НАДЯ. Понесло! Хватит вам! Оля, не слушай их.

ОЛЬГА. А я тоже знала! Мне Славка Кокоркин сказал. Он вечерами на старый паром рыбачить ходил, а из-за вас перестал.

ВАСЯ. Доча, иди ко мне.

*Ольга подбежала к отцу.*

Братка в армию уходит... Леньк! Но ничо. Мы тебе еще одного родим.

НАДЯ *(безнадежно махнув рукой).* Все-о! Теперь не остановишь.

ВАСЯ. Леньк!

*Ленька подошел.*

Смотри там, чтоб ни одна холера на нашу землю...

ЛЕНЬКА. Голубей запущу напоследок?

ВАСЯ. Запускай. Я счас тоже.

*Ленька ушел в сарайчик.*

НАДЯ. Куда вы хмельные? Расшибетесь.

ВАСЯ. Не расшибемся.

ШУРА *(довольная).* Василий, ну-ка давай голубей своих погоняй, а я вас посвистю. Я седни боевая.

МИТЯ. Ух, Шурка! Люблю я тебя! *(Лезет целоваться.)* Надя. Вася, а покажи фокус свой.

ВАСЯ. Шумно сильно.

НАДЯ. Голубь у бати изо рта пьет.

ВАСЯ. Это от учебы. Вот когда он сам чуть не из космоса к голубке летит... Вот это да!

ШУРА. Правда, чё ли, летит?

ВАСЯ. Камнем.

ЛЮДА. Пап, покажи.

ОЛЬГА. Папа! Папа! Давай им покажем!

ВАСЯ *(кричит).* Леньк! Погоди, не выпускай! Айда те все на крышу.

*Все идут в сарайчик. Через люк выходят на крышу.*

*(Держит в руках голубку.)* Леня, давай.

*Ленька открыл дверцу голубятни, и из нее посыпались голуби. Вася лихо засвистел, кто закричал, кто захлопал в ладоши. Ленька сорвал с себя рубаху и закружил ею над головой. Все медленно поворачиваются, следя за полетом. Пауза.*

ШУРА. Я уж их не вижу. Где они, Оля?

ВАСЯ. Над головой. Прямо ввысь глядите.

ШУРА. Ничо не вижу.

ОЛЬГА. Да во-он. Точечки темные.

НАДЯ. Вижу, вижу! Теть Шура, над головой смотрите.

ЛЮДА. Как же он оттуда?.. Разве увидит?

НАДЯ *(Васе).* Ты показывай ее-то ему. А то и правда не увидит.

ВАСЯ. Еще маленько пусть поднимутся.

МИТЯ. А их самолетом не сшибет там?

НАДЯ. Э-э. Потеряли они нас. *(Васе.)* Дотянул. Вася. Он же понимает, что она тут. Куда он без ее?..

*Пауза. Вася вытянул руку с голубкой.*

ШУРА. Не могу больше. Шею заломило.

МИТЯ. Кончай, Василий. Пойдем хлопнем.

ОЛЬГА *(кричит).* Лети-ит! Лети-ит! Смотрите!

НАДЯ. Где?!

ОЛЬГА. Летит, мама!

НАДЯ. Ой, камнем! Гляньте-ка... Камнем!

ЛЮДА. Боже мой...

ВАСЯ *(улыбаясь).* Все... Все... Все... Все...

*Занавес*

**К уроку 20.**

**Михаил Ворфоломеев. «Летела птица розовая».**

**Михаил ВОРФОЛОМЕЕВ**

**ЛЕТЕЛА ПТИЦА РОЗОВАЯ**

*Действующие лица*

ЧУПРАКОВ ЛОГИН КАРПОВИЧ.

КАТЯ – его дочь.

ВИТАЛИЙ – ее муж.

БАЗЕЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ – отец Виталия.

БАЗЕЕВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА – мать Виталия.

*На сцене городская квартира. Добротная мебель, чисто.*

*В кухне у плиты возится КАТЯ. Слышен стук. Через некоторое время звонок. КАТЯ идет открывать. Входит старик ЧУПРАКОВ. Он высок, худ, с седой окладистой бородой, в кирзовых сапогах, в черном прорезиненном плаще, который ему мал. На голове худенькая шапка. Чемодан старый, повязанный бечевкой.*

КАТЯ. Тятя... Ой, как же вы?

ЧУПРАКОВ. Здравствуй, Катерина. *(Обнимаются, целуются.)*

КАТЯ. Да почему же вы телеграмму не дали, уж мы бы вас встретили!

ЧУПРАКОВ. Слава богу, добрался сам.

КАТЯ. Долго искали нас?

ЧУПРАКОВ. Не сказать бы что уж долго.

КАТЯ. Проходите, папа!

*ЧУПРАКОВ кланяется дочери, раздевается.*

ЧУПРАКОВ. Чемоданишко поставить пока куда?

КАТЯ. Все поставлю, все приберу!

*ЧУПРАКОВ повесил плащ и шапку, пригладил волосы. На нем голубая рубашка и черный двубортный пиджак.*

Заходите, тятенька! Господи, радость какая! Ой, это как же вы придумали?

ЧУПРАКОВ. Придумал, доча, да не я... *(Проходит.)* Твоих-то нет?

КАТЯ. Все на работе, да уж скоро придут!

ЧУПРАКОВ. Помолиться-то некуда?

КАТЯ. Не держим... люди теперь за моду почитают, а они совсем не держат. Вы уж простите.

ЧУПРАКОВ. Бог простит. *(Прокашлялся в кулак.)* Доча, я однако разуюсь, вон как тут чисто... Неловко в такой обутке...

КАТЯ. Разуйтесь, папа, я вам тапочки комнатные дам.

ЧУПРАКОВ *(возвращается в прихожую, разувается).* Катя, где бы портяночки посушить?

КАТЯ. Давайте их сюда! *(Берет портянки.)* Ишь какие мокрые!

ЧУПРАКОВ. Вторые сутки не сымаю сапог... Сутки на вокзале ночевал, да сутки ехал сидючи. Теперь пошто-то в общем вагоне одни сидячие места.

КАТЯ. Надо бы плацкарт взять!

ЧУПРАКОВ. Надо бы, конечно, да не по средствам.

КАТЯ. Вы же знаете, я всегда вам обязана!

ЧУПРАКОВ. Доехал. А что было – прошло. Как живешь?

КАТЯ. Хорошо, тятя! Пойдемте в кухню, ужин я готовлю.

*КАТЯ и ЧУПРАКОВ проходят в кухню.*

ЧУПРАКОВ. Работаешь-то все в магазине?

КАТЯ. В магазине, тятя... Сегодня выходной.

ЧУПРАКОВ. Хорошо... Отдыхай, значит; ладно.

КАТЯ. Рассказывайте, живете как?

ЧУПРАКОВ. Пенсию получаю... Кой-чо еще по селу делаю. Тут вот коровник ладили, сдали недавно, в соседнем селе строили, Наше-то вовсе похудело. Не живут людишки, бегут.

КАТЯ. Да, да.

ЧУПРАКОВ. Вот и ты убежала!

КАТЯ. Получилось же так, папа... Замуж же вышла.

ЧУПРАКОВ. Да я и не осуждаю. Оно и верно, нечего там...

КАТЯ. Сколько же это я вас не видела?

ЧУПРАКОВ. Два года... Как мать схоронили, боле ты не была.

КАТЯ. Верно, верно... Некогда было, тятя...

ЧУПРАКОВ. Так я понимаю.

КАТЯ. У нас тоже работать некому.

ЧУПРАКОВ. А где же тогда люди?

КАТЯ. На заводах, видно.

ЧУПРАКОВ. Оно, конечно... Велика держава, надо ее одеть, обуть. Одних машин сколь надо. Твои-то все работают?

КАТЯ. Виталя на такси перешел. Зарабатывает теперь неплохо.

ЧУПРАКОВ. Хорошо, ладно...

КАТЯ. Свекор завхозом, при детдоме, а свекровь последний год перед пенсией, бухгалтером.

ЧУПРАКОВ. Вот и ладно, вот и хорошо,

КАТЯ. Соскучилась я без вас, тятя.

ЧУПРАКОВ *(гладит дочь)*. И у меня сердце ныло да ныло! Думаю, а дай да поеду, да погляжу на красу свою единственную! Мамочка-то наша лежит себе. Я поехал да зашел к ней. Мы ладно так поговорили, хорошо!

КАТЯ. Семена, что посылала, садили?

ЧУПРАКОВ. Посадил, доча! Прямо алым-ало! Как весна придет, они сейчас в цвет и ударят! Хорошо, ладно.

КАТЯ. Я еще купила... гостинец увезете.

ЧУПРАКОВ. А живешь как со своими?

КАТЯ. Не очень-то они меня любят...

ЧУПРАКОВ. Работать надо, угождать... Чужие люди, что же делать! Бабья доля, доча, она такая! Всем, конечно, ладен не будешь. Солнышко, оно вон какое большое, а и то всех не греет. Тут ведь что, Катя... Тут ведь горе у меня. Потому и приехал, что горе!

КАТЯ. Да что же это, а? *(Пауза.)*

ЧУПРАКОВ. Погорел я... Погорел, радость моя, дотла! Пока мы этот коровник ладили, дом-то возьми и сгори. Бабушку Евстратову помнишь?

КАТЯ. Как же! Горбатенькая?

ЧУПРАКОВ. Во-во, убогая, она! Дал я ей ключ да наказал доглядывать. Кому больше накажешь, если все на работе! Вот она вздумала протопить мою избенку... Протопила так протопила! Обогрела избой белый свет! Домой-то вертаюсь, а дома-то и нет! Хорошо, что документы с собой взял. В дороге без документов – сама знаешь! А так, барахлишко какое да деньжаты на похороны там у меня хранилися... Вот какое горе у меня, доча... Что делать будем? Решай. Я-то, конечно, уж решил все, но думаю, и ты, может, чего сообразишь?

КАТЯ. Значит, сгорел наш дом... Тятя, что же нам делать? У меня тоже ведь горе!

ЧУПРАКОВ. Во те раз! Что у тебя?

КАТЯ. Растрата... *(Пауза.)*

ЧУПРАКОВ. Да как ты могла, доча? Много ли?

КАТЯ. Полторы тысячи... Папа, крошечки не взяла! Все по-честному делала! Сколько возьму домой продуктов, столько заплачу! А тут ревизия! Я и ничего... А оно вон что! Директор вчера меня вызывает да и говорит – плати! Ты, говорит, молодая, не сидеть же тебе... Сегодня выходной. Вот думаю, что делать?

ЧУПРАКОВ. А твои что сказали?

КАТЯ. Не знают еще... И сказать боюсь.

ЧУПРАКОВ. Сказать все одно надо.

КАТЯ. Сегодня и хотела.

ЧУПРАКОВ. За что бог наказал... Доча, мне тут подсобили маленько... Шестьсот рублей как-никак!

КАТЯ. Нет, папа, как же я возьму...

ЧУПРАКОВ. Руками, доченька!

КАТЯ. Нет, папа! У тебя такое горе, а мне брать?

ЧУПРАКОВ. Да мне-то они на что? Одно я, доча, сплоховал! Страховать надо было имущество. Страховщик пришел, спрашивает, за сколь дом был застрахован. А можно было, говорит, тысячи на три! Брешет, однако, холера, кто бы их мне дал?

КАТЯ. Теперь дают, папа...

ЧУПРАКОВ. Не, доча, так вот не дадут! Для началу бы бабушку Евстратову по судам затаскали! Такого сраму наглядишься! А так вот сельсовет вырешил пятьдесят рублей, да колхоз помог. Вот и хорошо, ладно.

КАТЯ. Папа, что теперь делать станете?

ЧУПРАКОВ. Погоди, дочка. Тут не обо мне вовсе толковать надо. Что же, дадут твои тебе денег, нет?

КАТЯ. Должны вроде... У меня еще два колечка есть, так рублей на сто потянут.

ЧУПРАКОВ. Вот и хорошо, вот и ладно.

КАТЯ. Вот только у вас я не возьму... Я вам должна по нужде вашей, а как получилось.

ЧУПРАКОВ. Поди с голоду не помираю. Еще и двигаюсь, могу пособить я и по столярному делу, и по плотницкому. Надо – и дров наколю! Так что обо мне, нечего и думать! *(Достает из кармана перевязанные деньги веревочкой.)* На-ка, доча, спрячь.

КАТЯ. Нет, папа, не возьму...

ЧУПРАКОВ. Хоть в долг возьми, отдашь, когда. Возьми, сказываю!

КАТЯ. Спасибо... *(Берет деньги, кладет в шкаф.)*

ЧУПРАКОВ. Вот и хорошо, вот и ладно.

КАТЯ. Да у вас-то есть ли деньги?

ЧУПРАКОВ. Имеем! Не будет когда, попрошу!

КАТЯ. Только скажите, все отдам! Я из магазина, наверное, уйду! На чулочную фабрику устроюсь. Там хорошо зарабатывают. Я вам все отдам! И им отдам!

ЧУПРАКОВ. Только бы дали они-то! Ведь нынче строго, посадют!

КАТЯ. Разве в этом дело? Стыдно...

ЧУПРАКОВ. И то... *(Пауза.)* Тут я поприкинул, значит... да вот что надумал... Заново жизнь мне уж не начать. Силы не те. Вот я и порешил в дом престарелых податься. Я и с председателем сельсовета толковал, он сказывает, что как бывшему фронтовику отказа не должно быть.

КАТЯ. Что вы, тятя...

ЧУПРАКОВ. А чего? Разве не живут там люди?

КАТЯ. Нет! Я своих просить стану. Оставайтесь у нас. В одной комнате старшие, в другой комнате мы с Виталием, а эту, большую, так ее никто не занимает.

ЧУПРАКОВ. Зачем людей стеснять? Тут я побегал по собесу да в сельсовете у Григорий Романова, одно и выходит – лучше нет как в этот дом. Только справку вот одну надо... Документы я все собрал, а вот справку эту... Ты уж прости меня, от тебя справка нужна,

КАТЯ. Да какие же я справки могу давать, тятя?

ЧУПРАКОВ. Тут дело такое... Это мне в собесе сказали, без ее говорят не оформят! Доченька, золотая ты моя, дай ее мне.

КАТЯ. Да скажите, об чем она?

ЧУПРАКОВ. Напиши так, что средств нету, содержать не в силах... по причине невозможности... *(Пауза.)* Доча, помоги ты мне...

КАТЯ. Как же я... Да разве... Нет, тятя! Как же это? Разве могу я дать такую справку? Нет, папа, не дам...

ЧУПРАКОВ. Надо, доченька, тут дело такое, что надо. А без ее не возьмут меня'. Мы-то промеж себя знаем, что вовсе это неправда, а как раз наоборот! Да и дом этот недалече тут. Всего сто километров! Ты мне справочку-то напишешь, а мы ее и заверим, и поеду, ладно, хорошо. И. нечего, голуба душа, и страдать напрасно! Слава богу, Советская власть кормить, поить станет на старости лет! Ты на меня не гляди, доча! Я сегодня хороший, а завтра слягу! Ну, как твои поглядят на это? Это мы по старинке жили! Что старый, что малый – все вместе. А теперь по-другому.

КАТЯ. Почему, тятя? Почему теперь-то по-другому?

ЧУПРАКОВ. Не знаю... Может, от электричества?

КАТЯ. Не должно...

*Входит БАЗЕЕВ. Раздевается, видит плащ Чупракова, сапоги, заглядывает в кухню.*

БАЗЕЕВ. Я гляжу, откуда такое хламье? А это дед приехал. Здравствуй, Логин Карпович, здравствуй! Давно приехал?

ЧУПРАКОВ *(пожимает руку Базееву).* Нынче вот... Только что. Как здоровьишко?

БАЗЕЕВ. Какое, к черту, здоровье? Печенка замучала! Катя, кто дома?

КАТЯ. Никого еще нет.

БАЗЕЕВ. Болею, болею, Логин Карпович. Ну, проходи в комнату. Ты разулся?

ЧУПРАКОВ. Разулся, а как же! При такой чистоте хоть босой ходи. *(Проходит в большую комнату.)*

БАЗЕЕВ. Дочка твоя, ее хвали! Газет не было?

КАТЯ. Ой, забыла, сейчас принесу!

БАЗЕЕВ. Ага, принеси скорее!

*КАТЯ убегает.*

Воровать стали корреспонденцию из ящика! А то и того хуже! Возьмут да подожгут! Вовремя надо брать, говорил же! Как живёте-то?

ЧУПРАКОВ. Слава богу...

БАЗЕЕВ. Говорят, в деревне совсем народ обленился?

ЧУПРАКОВ. Не знаю, как у других, а про своих могу сказать – не похоже. Некогда лениться! То – то, то – се... Другое дело, бегут! Пока колхоз был, мало-мало держались, а как стал совхоз, побежали.

БАЗЕЕВ. Вот и дураки! Самое время жить в деревне! Держи сколько хочешь скота, разрешили! Мясо вон на базаре по пять рублей, только подавай! Мед!

ЧУПРАКОВ. Так-то оно, конечно.

*Входит КАТЯ, подает газеты.*

КАТЯ. Ужинать будете, Юрий Петрович?

БАЗЕЕВ. Да нет, дождемся. Водочка осталась в холодильнике?

КАТЯ. Есть, есть!

БАЗЕЕВ. Ну и хорошо. *(Разворачивает газеты.)* Так, так, что у нас сегодня по телеку? А, черт, опять балет! Замотали нас они своим балетом! Во! Хоккей! Ну, дед, смотреть сегодня будем!

ЧУПРАКОВ. Поглядим. Хорошо, ладно...

БАЗЕЕВ. Как это надумал приехать?

ЧУПРАКОВ. Горе у меня... Юрий Петрович.

БАЗЕЕВ. Какое горе? Погоди, постановление Совета Министров. А, это я знаю! Что за горе-то?

ЧУПРАКОВ. Погорел. Весь дотла погорел. В чем есть, в том и остался!

БАЗЕЕВ. Надо же! Ну-ка, расскажи!

ЧУПРАКОВ. Нанялся я тут в соседнем колхозе коровник ладить, думаю, пока еще силушка есть, чего не пособить?

БАЗЕЕВ. Ну-ну!

ЧУПРАКОВ. А дом то возьми да оставь на бабушку Евстратову. Она, сердечная, сама едва ходит! Да ведь некому было боле! Ключик ей оставил. Она по старости своей, видно, чо-то и запалила! Хотела как лучше. Дом протопить хотела. Как еще сама не сгорела! А то бы наделала беды!

БАЗЕЕВ. Так... А дом застрахован был?

ЧУПРАКОВ. То-то и оно что нет!

БАЗЕЕВ. В суд надо подавать!

ЧУПРАКОВ. На кого?

БАЗЕЕВ. На эту кому ключ давал...

ЧУПРАКОВ. На бабушку Евстратову? *(Улыбается.)* Какой ей суд, Юрий Петрович, она же старуха! Не по умыслу она, а по старости. Моя вина. Надо было замкнуть да ключ с собой. Да думаю, дам бабушке Евстратовой, приду – хоть вроде за сторожение денег дам. Так-то она не возьмет, не. Суровая бабушка, да уж шибко бедная... Остался я, мил человек, в одном пиджачишке! Иван Румянцев плащ, правда, отдал. Хорошо, ладно.

БАЗЕЕВ. Так! И что же ты теперь делать будешь?

ЧУПРАКОВ. За советом явился, родня все ж таки.

БАЗЕЕВ. Дела, Логин Карпович... дела!

*Входит БАЗЕЕВА, раздевается.*

БАЗЕЕВА. Кто это сапоги притащил?

БАЗЕЕВ. Мать, иди сюда!

*БАЗЕЕВА проходит в комнату.*

БАЗЕЕВА *(видит старика).* Я гляжу, чьи это сапоги!

ЧУПРАКОВ. Здравствуй, Юлия Михайловна!

БАЗЕЕВА. Что так? В гости, что ли?

БАЗЕЕВ. Тут, мать, сюрприз нам!

БАЗЕЕВА. Что такое?! Витька дома?

БАЗЕЕВ. Нету.

БАЗЕЕВА. Ну, что случилось?

БАЗЕЕВ. Погорелец! Сгорел, говорит дом у него. Приехал совет просить...

БАЗЕЕВА. Как погорел?

ЧУПРАКОВ. Вот как есть, весь, до донышка!

БАЗЕЕВА. Ты понимаешь? И страховки не было!

ЧУПРАКОВ. Не было, язви ее!

БАЗЕЕВА. А мы тут при чем?

БАЗЕЕВ. Ты его спроси!

БАЗЕЕВА. И его спрошу! Логин Карпович, мы тут с какой стороны?

ЧУПРАКОВ. Так я думал, вроде ежели по-родственному...

БАЗЕЕВ. Юлия, тут подумать надо!

БАЗЕЕВА. Да погоди ты! Что по-родственному?

ЧУПРАКОВ. Совет думаю, какой...

БАЗЕЕВА. Ой, господи, господи! Нету моих силушек! Породнились, так породнились... *(Мужу.)* Что ты все пялишься в свои газеты?! Не начитался еще?

БАЗЕЕВ *(откладывает газету).* Я только посмотрел хоккей когда!

БАЗЕЕВА. Хоккей ему! Вот он, хоккей! На работе налаешься, да еще дома нервы выкручивают!

ЧУПРАКОВ. Оно дело такое...

БАЗЕЕВ. Дед, ты сейчас сиди и молчи!

БАЗЕЕВА. Так это проще – сидеть да молчать. Вон она как в рот воды набрала! Ой, Витька, Витька! Говорила же я ему, говорила!

БАЗЕЕВ. Да, да, да... Мать, включим телек?

БАЗЕЕВА. Замолчи! Ой, не знаю... Где у нас таблетки?

БАЗЕЕВ. В спальне на тумбочке.

*БАЗЕЕВА уходит.*

ЧУПРАКОВ. Вишь, за сердце держится... Худо... моя старуха, царство ей небесное, тоже сердечница была...

БАЗЕЕВ. Сейчас все больные! *(Громко.)* Ты полежи, мать! Да, заварил ты кашу дед...

ЧУПРАКОВ. Не говори!

БАЗЕЕВ. Заварил...

ЧУПРАКОВ. Сам заварил, сам и съем.

БАЗЕЕВ. Вот это правильно! Вот за это я тебя хвалю. Зачем на чужое зариться? Мы тоже наживали непросто!

ЧУПРАКОВ. А кому легко досталось?

*БАЗЕЕВА возвращается.*

БАЗЕЕВА. Интересно знать, что нам еще невестушка скажет!

БАЗЕЕВ. А ты к ней не вяжись! Да, дед... да! Так-то она хорошая, аккуратная, но... не рожает! А сам понимаешь, наследник нужен!

БАЗЕЕВА. И на вид вроде не порченая!

БАЗЕЕВ. Или вот молчит все! Иной раз и поговорил бы, а она молчит!

ЧУПРАКОВ. В мать. Мать у нее така же была... молчунья... К ней бывало вся деревня ходила, пожалиться, или еще чего. Всё, конечно, больше бабы. Те-то ей тыр да тыр, а моя молчит. А уж коли скажет, прямо не слово, а золото!

БАЗЕЕВ. Любил, видно, свою бабку?

ЧУПРАКОВ. Любил... И поныне люблю Марью Евдокимовну свою.

БАЗЕЕВА. Юра, давай не сиди, думай! Об этом и после поговорите!

БАЗЕЕВ. Да погоди ты! *(Тяжело вздохнул, прошелся.)* Ну, а как ты ее любил?

ЧУПРАКОВ. Сердцем, как еще! Бывало, пойдет она по воду, коромыслице я ей ладно сработал... Узорчато, расписано золотом по синему, хорошо, ладно! Вот она, голубица моя сизая, с полными ведрами домой идет, ножки так ладно ставит, меня увидит, закраснеет. У меня эдак все из рук и валится! А ведь ни один год вместе жили!

БАЗЕЕВ. Врешь ты все...

ЧУПРАКОВ. Зачем же мне брехать! Ты, Юрий Петрович, попросил, я тебе рассказал.

БАЗЕЕВА. Хватит вам байки рассказывать!

*БАЗЕЕВ со всей силы бьет по столу ладонью.*

БАЗЕЕВА *(подбоченясь смотрит на мужа).* Ох ты, ох, какие мы! Испугалась я тебя! Еще стукни, ну?

БАЗЕЕВ. Это я так...

БАЗЕЕВА. Ты мне не стучи, я знаю, чего ты стучишь!

БАЗЕЕВ. Хватит, мать.

БАЗЕЕВА. Если не любил... Зачем тогда жил, а?! Взял бы да и ушел! Я тебя не держала! И сейчас не держу!

БАЗЕЕВ. Ну, чего ты возникаешь!

БАЗЕЕВА. Ты погляди на себя в зеркало, старый, как черт, а туда же! Любовь ему подавай!

БАЗЕЕВ. Я тебе хоть слово сказал? Не вяжись, Юля! Предупреждаю...

ЧУПРАКОВ. Летела, значит, птица розовая по-над селом. Обронила птица перо, обронила алое. Полетело перо во двор девы младой. Подхватила дева перышко, выскочила с им на улицу. Пусть весь народ радуется! Ай, лети, птица, по-над всей землей, по-над Русью матушкой...

БАЗЕЕВА. Сказок нам еще не хватало!

ЧУПРАКОВ. Пошутил я, Юлия Михайловна, пошутил...

БАЗЕЕВ. Пошутил он!

*Входит ВИТАЛИЙ. Он также раздевается в передней, проходит в комнату. Видит Чупракова.*

ВИТАЛИЙ. Во! Батя приехал! Здорово, батя!

ЧУПРАКОВ. Здравствуй, Виталенька!

ВИТАЛИЙ. Как жизнь молодая? Бьет ключом и все по голове, да? Что, Катюха, ждешь меня? Ждешь, печалишься! Мам, давай на стол! Пап, хоккей сегодня?

БАЗЕЕВ. Сегодня, после программы «Время».

ВИТАЛИЙ. Ладненько.

*БАЗЕЕВА И КАТЯ начинают накрывать на стол.*

ВИТАЛИЙ *(к Чупракову).* Как ты там, батя?

ЧУПРАКОВ. Худо, Виталя. Погорел я. Весь, как видишь, с тем только и остался!

БАЗЕЕВ. Ты понял, да?

ВИТАЛИЙ. Ни фига себе! А дальше что?

ЧУПРАКОВ. Вот к вам приехал, может, чего посоветуете.

ВИТАЛИЙ. Ничего себе... Слушай, ты же ведь воевал, кажется?

ЧУПРАКОВ. А как же! Как в сорок первом взяли, так до Вены не отпустили.

ВИТАЛИЙ. Награды имеешь?

ЧУПРАКОВ. Есть маленько. Орден да медалей штук шешнадцать!

ВИТАЛИЙ. Порядок! Звание было?

ЧУПРАКОВ. Ну, а как же, рядовой! Гвардии рядовой! Четырежды ранен серьезно, а которые так зажили, без санбату. Без госпиталя, значит. Хорошо, ладно.

ВИТАЛИЙ. Иди завтра в военкомат и говори, так мол и так! Герой войны, ранен и прочее! Там они придумают чего-нибудь.

БАЗЕЕВ. А что, может быть!

БАЗЕЕВА. Конечно, чем у кого-то на шее сидеть, уж лучше так!

ЧУПРАКОВ. Не... Я писал... Да и не пойду. Писал Григорий Романов и к им. Ответили, что помощь должен совхоз оказать... А как же он окажет, когда там и без меня без квартирных... да молодых еще!

БАЗЕЕВА. Интересно, и что же вы придумали?

БАЗЕЕВ. Ладно, ладно! Сейчас поедим, потом поговорим,

ЧУПРАКОВ. Тут и говорить нечего. Надумал я в дом престарелых, оно для меня хорошо, ладно. *(Пауза.)*

БАЗЕЕВ. Погоди, мы еще подумаем куда, что?!. Прошу к столу!

БАЗЕЕВА *(радостно).* Конечно, все надо обсудить, решить!

КАТЯ. Папа, вам супчику дать?

ЧУПРАКОВ. Погоди, доча... *(Отходит от стола, начинает молиться.)*

БАЗЕЕВ. Ну, это ты брось! Прекрати, говорю!

ЧУПРАКОВ. Юрий Петрович, что уж тут такого-то?

БАЗЕЕВ. Знаешь, я человек общественный! Не надо в моем доме этих дел!

ЧУПРАКОВ. Грех мне за стол садиться без молитвы!

БАЗЕЕВ. Черт знает что! Люди в космос, понимаешь... нейтронные бомбы, понимаешь, а они со своим богом!

ЧУПРАКОВ *(постоял, потоптался, сел).* Чего тебе, Юрий Петрович, бог сделал? Ничего худого и не сделал!

БАЗЕЕВА. И хорошего тоже!

БАЗЕЕВ. Вот кому ты молишься?

ЧУПРАКОВ. Николе-угоднику,

ВИТАЛИЙ *(хохочет).* Помогает? Хату тебе новую не подкинул?

ЧУПРАКОВ. По таким делам к богу разве можно обращаться! К богу надо об душе, об совести, об разуме!

БАЗЕЕВА. Он у нас как поп!

ЧУПРАКОВ. Я в церковь не хожу. Я дома...

БАЗЕЕВ *(разлив водку).* С приездом, что ли, дед?!

ЧУПРАКОВ. Не пью я, ты же знаешь, Юрий Петрович.

БАЗЕЕВ. Маленько можно... маленько не грех.

ЧУПРАКОВ. Благодарствую.

БАЗЕЕВ. Ну, как хочешь!

*Все, кроме Кати и Чупракова выпивают.*

ВИТАЛИЙ. Катя, ты сегодня выходная?

КАТЯ. Выходная я, Виталенька.

ВИТАЛИЙ. А я забыл и к тебе в магазин заехал. Что там у тебя случилось? Захожу, а твои бабы – как мол дела-то у Кати? Я говорю, – какие дела? Молчат! Поругалась с кем, что ли?

КАТЯ. Нет... Что ты... Зачем я буду ругаться?

БАЗЕЕВА. Слава богу, хоть этого у нее нет.

ВИТАЛИЙ. Мам, ты кончай! Я вас предупреждал, не трогать мою жену.

БАЗЕЕВ. А никто ее не трогает!

ВИТАЛИЙ. Ты не бойся, Кать, чуть что – ты мне скажи! Им можно хвост прищемить.

БАЗЕЕВА. Ах, как хорошо с родителями-то! Ах, как приятно нам слушать!

БАЗЕЕВ. Ты ее спроси, обидели мы ее, нет?

КАТЯ. Виталенька, напрасно ты так на родителей! Не слышу я от них худого! А когда и поругают, так, может, и за дело!

ЧУПРАКОВ. Умница, молодца. Разве попусту люди станут ругать?

ВИТАЛИЙ. Пап, давай еще по одной врежем!

БАЗЕЕВА. Я не буду.

БАЗЕЕВ. Давай, сынуля! *(Разливает.)*

ВИТАЛИЙ. Так что у тебя там на работе?

КАТЯ. Растрата... *(Пауза.)*

БАЗЕЕВА. У кого растрата?

КАТЯ. У меня растрата.

ВИТАЛИЙ. Сколько?

КАТЯ. Полторы тысячи... Завтра надо отдать, а то судить будут...

ЧУПРАКОВ. Чо же, горе у девоньки! Помогите за Христа ради, а мы уж с вами расплотимся.

БАЗЕЕВА. Как же это ты могла растратить?! Да ее обманули! Что, я не знаю эту Софью Семеновну?! Тебя обманули!

ВИТАЛИЙ. Ты как так, Катя?

КАТЯ. Я не знаю... Я не виновата, Виталенька! Ты же знаешь, корочки не взяла!

ВИТАЛИЙ. Ну и дура! Было бы хоть за что платить! А теперь я за что должен выплачивать свои кровные?!

КАТЯ. Я не знаю...

ВИТАЛИЙ. Ты не знаешь! Конечно, не знаешь! А я тебе что говорил? Бери! Потом спишут! У них же там есть процент на усушку, утруску?

БАЗЕЕВ. В любом учреждении торговом имеется! Так она, вишь, честная! Когда я чего-нибудь принесу из детдома, это ничего! На одну зарплату не разживешься! Виталенька вот задумал машину покупать! А гарнитур в вашей комнате сколько стоит?

БАЗЕЕВА. А вот он сидит! *(Пальцем показывает на Чупракова.)* Честно прожил! Кому нужна его честность? Коту под хвост!

КАТЯ. А я уйду из магазина! На чулочную пойду. Там хорошо выходит.

ВИТАЛИЙ. Там через два года инвалидом станешь! Машины эти гудят, капроновая пряжа, летает! Ее же глотают, она же в легкие идет!

КАТЯ. Ничего, можно и так!

БАЗЕЕВ. Вот именно что можно. Пары три, четыре колготок вынести в смену, вот оно и ничего! Вот оно и можно!

ЧУПРАКОВ. Дайте денег доче... Ведь посадют, нынче строго!

КАТЯ. Тятя мне дал шестьсот рублей...

ВИТАЛИЙ. Кто дал?

КАТЯ. Тятя дал.

ВИТАЛИЙ. Это остаётся...

БАЗЕЕВА. Девятьсот! Ты как хочешь, Виталий, я не дам! Господи, тут за каждую копеечку бьешься, с утра до вечера! С утра до вечера!

ВИТАЛИЙ. Кончай, мама...

БАЗЕЕВА. Накрылась твоя машина!

ВИТАЛИЙ. Надо разобраться! К директору ходила?

КАТЯ. Ходила, говорит – платить надо.

ВИТАЛИЙ. Куда ты глядела?! Ну, куда ты глядела?! Три года работала, ничего, а тут как?

БАЗЕЕВА. Я свое сказала, все! Где хотите, там и берите!

ВИТАЛИЙ. Зараза... Все мои планы полетели!

КАТЯ. Но ведь я же работала тоже.

БАЗЕЕВА. Чего ты там зарабатывала! Сиди уж!

ЧУПРАКОВ. Нехорошо так... По-всякому может с человеком случиться.

БАЗЕЕВА. Да вы, уж молчали бы!

КАТЯ. Вы папу не трогайте! Ничего он вам плохого не сделал. Виталенька, пусть папа с нами живет, а? Скажи им, Виталенька! Не пускай его в дом престарелых! Не смогу я так жить!

ВИТАЛИЙ. Я, что ли, решаю! Это их квартира... А где он тут жить будет?

БАЗЕЕВ. Лихо! Денег ей дай, старика пусти жить? А нас с матерью на улицу? Выгоняете!

ВИТАЛИЙ. Никто еще ничего...

ЧУПРАКОВ. Нет, доча, я уеду. Мне тут от нее справочку надо, вот за чем я приехал.

БАЗЕЕВА. Какую справочку?

ЧУПРАКОВ. Что мол дочь содержать отца не в силах... то, сё... Не примут без нее, я узнавал.

КАТЯ. Не дам! Папа, не дам. Не могу! Виталенька, Виталя!

ВИТАЛИЙ. Я не знаю...

БАЗЕЕВ. Да ему там лучше будет! Догляд, врачи!

БАЗЕЕВА. Конечно! И процедуры разные, и покушать вовремя! Это же как на курорте!

КАТЯ. Он же мне отец... Какой там курорт! Юлия Михайловна, Юрий Петрович, пожалуйста! Я сама за ним догляжу. Он тихий! В кухне посидит!

ЧУПРАКОВ. Доча, не стану я тут жить, вот тебе мое слово. Одна к вам просьба, помогите вы ей... Я вам сам до копеечки выплачу. Сила есть, еще куда наймусь, выплачу!

БАЗЕЕВА. Выплатите... знаю, как это выплачивают.

ВИТАЛИЙ. Не в тюрьму же ей! Что ты в самом деле! Человек сказал, – выплатит, значит выплатит!

БАЗЕЕВ. Эх, Логин Карпович, завернул ты нам дел!

КАТЯ.Виталя... пропаду я... Помоги, а? Люблю я тебя, Виталенька! Ты скажи им, тебя послушают!

ВИТАЛИЙ. Катюха, ты что? Ты погоди, вот станем когда сами хозяевами, тогда...

БАЗЕЕВА. Вот когда станете, тогда и говорить будете!

ВИТАЛИЙ. Ничего, станем... Дай ей денег... Ну, дай!

БАЗЕЕВА. Не знаю...

ЧУПРАКОВ. Выплачу, Юлия Михайловна! Как перед богом!

БАЗЕЕВ. Ты справочку, Катя, дай. Некуда нам отца твоего! Сама посуди, в эту комнату? Тут телевизор! Ой еще икону свою привезет.

ВИТАЛИЙ. Дай ты ему эту справку... Что ему... Он к деревне привык... Где, говоришь, дом этот?

ЧУПРАКОВ. Тут километров сто!

ВИТАЛИЙ. О чем речь?! Будем ездить в гости к друг другу! Вот куплю машину и заживем, батя! На выходной раз и привез! Мы летом приедем, отдохнем у тебя!

БАЗЕЕВ. Ладно, мать, дай им денег! Подумаешь, девятьсот рублей.

ВИТАЛИЙ. Наскребем!

БАЗЕЕВА. Посмотрим...

ВИТАЛИЙ *(подмигивает Кате).* Всё в ажуре!

КАТЯ. Простите меня, тятя...

ЧУПРАКОВ. Бог простит. Все хорошо, моя радость. Не упрекай себя, не надо! Ладно, все хорошо.

БАЗЕЕВ. Витька, включай телек, скоро начало.

*ВИТАЛИЙ включает телевизор.*

БАЗЕЕВА. Я тоже с вами погляжу. Кто сегодня? Наши?

ВИТАЛИЙ. Наши!

*Все рассаживаются перед телевизором. КАТЯ уходит на кухню.*

БАЗЕЕВА *(провожает ее взглядом).* Видали, недовольна!

ВИТАЛИЙ. Кончай, мам! Я, кажись, предупреждал!

*Возвращается КАТЯ. В руках у нее отцовские деньги.*

КАТЯ. Вот деньги ваши, тятя, возьмите... Возьмите, тятя! *(Засовывает их в карман.)*

БАЗЕЕВА. Я сказала – девятьсот дам!

КАТЯ. А мне нисколько не надо...

ВИТАЛИЙ. Кать, ты это... Ведь охота же на машине... Я понимаю все, но охота же!

КАТЯ. Да что тебе – жить с машиной?! А это же отец мой...

ЧУПРАКОВ. Не меня жалей, доча, себя!

КАТЯ. Ничего, тятя, не посадют меня... нет! Беременная я! Беременная я, тятя...

ВИТАЛИЙ. Катюха...

БАЗЕЕВ. Вот оно... Виталенька! *(Хватает сына.)* Вот оно! Дождались... Слышь, мать?!

БАЗЕЕВА. Дожили... *(Всхлипывает.)* Тут и помереть не страшно!

КАТЯ. Пойдемте, тятя, на кухню...

*ЧУПРАКОВ и КАТЯ выходят.*

БАЗЕЕВ. Ну, Виталька, теперь на кооператив надо, на дачу надо! Теперь, сынок, сложа руки сидеть нельзя! Теперь наследника обеспечь!

ВИТАЛИЙ. Обеспечу, батя!

БАЗЕЕВА. Я на пенсии с маленьким буду дома!

КАТЯ *(пишет справку).* Я, Базеева Екатерина Логиновна, отказываюсь... Отказываюсь... Нет! *(Рвет бумагу.)* Я, Чупракова. Ой, господи... *(Пишет вновь.)* Справка дана, куда, тятя?

ЧУПРАКОВ. Для дома престарелых,

КАТЯ *(пишет).* Дана для дома престарелых... от... Не могу я... Не могу. *(Плачет.)*

ЧУПРАКОВ. Не хоронишь же, Катя! Ну-ка, допиши тут, да и все! Ну, миленькая, давай!

КАТЯ. Сейчас... *(Вытирает слезы.)* Так... от... от Базеевой...

ЧУПРАКОВ. Ну, от Базеевой...

КАТЯ. Тятя, а жить-то мне как? А?

ЧУПРАКОВ. Ох, доча, жить-то все одно надо. А уж как, про то не спрашивай. Главное дело, дите рожай. Там как оно появится, много чего поймешь... Одной радости сколько будет! И я радоваться стану!

*КАТЯ вновь принимается писать.*

ВИТАЛИЙ. А Катя где?

БАЗЕЕВ. На кухне со стариком.

ВИТАЛИЙ. Мам, надо бы оставить деда...

БАЗЕЕВА. А дитё?! Куда дитё?!

ВИТАЛИЙ. Получается то как? Один рождается, другой умирай?

КАТЯ *(вновь рвет справку).* Нет, нет.

ЧУПРАКОВ. Катя, да не в тюрьму же иду! Не мучь ты меня, пожалуйста...

КАТЯ. Что вы говорите!.. Я сейчас, я мигом... *(Пишет.)* Вот так.

ЧУПРАКОВ. Прости меня...

*Входит ВИТАЛИЙ. КАТЯ заканчивает писать, дает отцу бумагу.*

КАТЯ. Вот, тятя, возьмите,

ЧУПРАКОВ. Только и делов.

КАТЯ. Папа, миленький...

ЧУПРАКОВ. Не казни себя, доча.

КАТЯ. Как же... папа!

ВИТАЛИЙ. Да что это происходит?.. Да мы что, чокнулись, что ли... Все! Никуда, бать, никуда ты не поедешь! Тут, слышишь, тут жить будешь. Катя, клянусь тебе, волоска не упадет с него! *(Вбегает в комнату, где сидят БАЗЕЕВ и БАЗЕЕВА.)*

*ЧУПРАКОВ в это время идет одеваться.*

Слышите вы?!

БАЗЕЕВА. Не глухие,

ВИТАЛИЙ. Ну вот и хорошо... А то как людоеды какие... Это же подумать надо, а? *(Идет на кухню. Туда же входит одетый Чупраков.)* Ты что, бать?

ЧУПРАКОВ *(кланяется им).* Живите ребята хорошо. А мне надо идти...

КАТЯ. Пап...

ЧУПРАКОВ. А как весна придет, приезжайте ко мне. *(Уходит.)*

*КАТЯ падает на грудь Виталия. Тот обнимает ее, потом отстранив, бежит следом за Чупраковым.*

ВИТАЛИЙ. Отец!!! Не уходи, отец!!!

*Свет гаснет.*

*Занавес*

**К урокам 21-22.**

**Валентин Распутин. «Деньги для Марии».**

**Валентин РАСПУТИН**

**ДЕНЬГИ ДЛЯ МАРИИ**

*Повесть*

Кузьма проснулся оттого, что машина на повороте ослепила окна фарами и в комнате стало совсем светло.

Свет, покачиваясь, ощупал потолок, спустился по стене вниз, свернул вправо и исчез. Через минуту умолкла и машина, стало опять темно и тихо, и теперь, в полной темноте и тишине, казалось, что это был какой-то тайный знак.

Кузьма поднялся и закурил. Он сидел на табуретке у окна, смотрел сквозь стекло на улицу и попыхивал папиросой, словно и сам кому-то подавал сигналы. Затягиваясь, он видел в окне свое усталое, осунувшееся за последние дни лицо, которое затем сразу же исчезало, и уже не было ничего, кроме бесконечно глубокой темноты, – ни одного огонька или звука. Кузьма подумал о снеге: наверное, к утру соберется и пойдет, пойдет, пойдет – как благодать.

Потом он лег опять рядом с Марией и уснул. Ему приснилось, что он едет на той самой машине, которая его разбудила. Фары не светят, и машина идет в полном мраке. Но затем они вдруг вспыхивают и освещают дом, возле которого машина останавливается. Кузьма выходит из кабины и стучит в окно.

– Что вам надо? – спрашивают его изнутри.

– Деньги для Марии, – отвечает он.

Ему выносят деньги, и машина идет дальше, опять в полной темноте. Но как только на ее пути попадается дом, в котором есть деньги, срабатывает какое-то неизвестное ему устройство, и фары загораются. Он снова стучит в окно, и его снова спрашивают:

– Что вам надо?

– Деньги для Марии.

Он просыпается во второй раз.

Темнота. Все еще ночь, по-прежнему кругом ни огонька и ни звука, и среди этого мрака и безмолвия с трудом верится, что ничего не случится, и в свой час придет рассвет, и наступит утро.

Кузьма лежит и думает, сна больше нет. Откуда-то сверху, как неожиданный дождь, падают свистящие звуки реактивного самолета и сразу же стихают, удаляясь вслед за самолетом. Опять тишина, но теперь она кажется обманчивой, словно вот-вот должно что-то произойти. И это ощущение тревоги проходит не сразу.

Кузьма думает: ехать или не ехать? Он думал об этом и вчера и позавчера, но тогда еще оставалось время для размышлений, и он мог не решать ничего окончательно, теперь времени больше нет. Если утром не поехать, будет поздно. Надо сейчас сказать себе: да или нет? Надо, конечно, ехать. Ехать. Хватит мучиться. Здесь ему больше просить не у кого. Утром он встанет и сразу пойдет на автобус. Он закрывает глаза – теперь можно спать. Спать, спать, спать… Кузьма пытается накрыться сном, как одеялом, уйти в него с головой, но ничего не получается. Ему кажется, он спит у костра: повернешься одним боком, холодно другому. Он спит и не спит, ему снова грезится машина, но он понимает, что ему ничего не стоит открыть сейчас глаза и окончательно очнуться. Он поворачивается на другой бок – все еще ночь, которую не приручить никакими ночными сменами.

Утро. Кузьма поднимается и заглядывает в окно: снега нет, но пасмурно, в любую минуту он может пойти. Мутный неласковый рассвет разливается неохотно, как бы через силу. Опустив голову, пробежала перед окнами собака и свернула в переулок. Людей не видно. С северной стороны вдруг бьет о стену порыв ветра и сразу же спадает. Через минуту снова удар, потом еще.

Кузьма идет на кухню и говорит Марии, которая возится у печки:

– Собери мне чего-нибудь с собой, поеду я.

– В город? – настораживается Мария.

– В город.

Мария вытирает о фартук руки и садится перед печкой, щурясь от жара, обдающего ее лицо.

– Не даст он, – говорит она.

– Ты не знаешь, где конверт с адресом? – спрашивает Кузьма.

– Где-нибудь в горнице, если живой. Ребята спят. Кузьма находит конверт и возвращается на кухню.

– Нашел?

– Нашел.

– Не даст он, – повторяет Мария.

Кузьма садится за стол и молча ест. Он и сам не знает, никто не знает, даст или не даст. В кухне становится жарко. О ноги Кузьмы трется кошка, и он отталкивает ее.

– Сам-то назад приедешь? – спрашивает Мария.

Он отставляет от себя тарелку и задумывается. Кошка, выгнув спину, точит в углу когти, потом опять подходит к Кузьме и жмется к его ногам. Он встает и, помолчав, не найдя, что сказать на прощанье, идет к дверям.

Он одевается и слышит, что Мария плачет. Ему пора уходить – автобус отправляется рано. А Мария пусть поплачет, если она по-другому не может.

На улице ветер – все качается, стонет, гремит.

Ветер дует автобусу в лоб, сквозь щели в окнах проникает внутрь. Автобус поворачивается к ветру боком, и стекла сразу начинают позванивать, в них бьет поднятыми с земли листьями и мелкими, как песок, невидимыми камешками. Холодно. Видно, этот ветер и принесет с собой морозы, снег, а там и до зимы недалеко, уже конец октября.

Кузьма сидит на последнем сиденье у окна. Народу в автобусе немного, свободные места есть и впереди, но ему не хочется подниматься и переходить. Он втянул голову в плечи и, нахохлившись, смотрит в окно. Там, за окном, километров двадцать подряд одно и то же: ветер, ветер, ветер – ветер в лесу, ветер в поле, ветер в деревне.

Люди в автобусе молчат – непогода сделала их угрюмыми и неразговорчивыми. Если кто и перебросится словом, то вполголоса, не понять. Даже думать не хочется. Все сидят и только хватаются за спинки передних сидений, когда подбрасывает, устраиваются поудобней – все заняты лишь тем, что едут.

На подъеме Кузьма пытается различить вой ветра и вой мотора, но они слились в одно – только вой, и все. Сразу за подъемом начинается деревня. Автобус останавливается возле колхозной конторы, но пассажиров тут нет, никто не входит. В окно Кузьме видна длинная пустая улица, по которой, как по трубе, носится ветер.

Автобус снова трогается. Шофер, молодой еще парень, оглядывается через плечо на пассажиров и лезет в карман за папиросой. Кузьма обрадованно спохватывается: он совсем забыл про папиросы. Через минуту по автобусу плывет синий клочковатый дым.

Опять деревня. Шофер останавливает автобус возле столовой и поднимается. – Перерыв, – говорит он. – Кто будет завтракать, пойдемте, а то еще ехать да ехать.

Кузьме есть не хочется, и он выходит, чтобы размяться. Рядом со столовой магазин, точно такой же, как и у них в деревне. Кузьма поднимается на высокое крыльцо, открывает дверь. Все так же, как и у них: в одной стороне – продовольственные, в другой – промтовары. У прилавка о чем-то болтают три женщины, продавщица, скрестив руки на груди, лениво их слушает. Она моложе Марии, и у нее, видно, все хорошо: она спокойна.

Кузьма подходит к горячей печке и вытягивает над ней руки. Отсюда в окно видно будет, когда шофер выйдет из столовой, и Кузьма успеет добежать. Ветер хлопает ставнем, продавщица и женщины оборачиваются и смотрят на Кузьму. Ему хочется подойти к продавщице и сказать ей, что у них в деревне магазин точно такой же и что его Мария полтора года тоже стояла за прилавком. Но он не двигается. Ветер снова хлопает ставнем, и женщины опять оборачиваются и смотрят на Кузьму.

Кузьма хорошо знает, что ветер поднялся только сегодня и что еще ночью, когда он вставал, было спокойно, и все-таки не может отделаться от чувства, что ветер дует давно, все эти дни.

Пять дней назад пришел мужик лет сорока или чуть побольше, с виду не городской и не деревенский, в светлом плаще, в кирзовых сапогах и в кепке. Марии дома не было. Мужик наказал, чтобы завтра она не открывала магазин, он приехал делать учет.

На следующий день началась ревизия. В обед, когда Кузьма заглянул в магазин, там стоял полный тарарам. Все банки, коробки и пачки Мария и ревизор вытаскивали на прилавок, по десять раз считали их и пересчитывали, сюда же принесли из склада большие весы и наваливали на них мешки с сахаром, с солью и крупой, собирали ножом с оберточной бумаги масло, гремели пустыми бутылками, перетаскивая их из одного угла в другой, выковыривали из ящика остатки слипшихся леденцов. Ревизор с карандашом за ухом бойко бегал между горами банок и ящиков, вслух их считал, почти не глядя, перебирал чуть ли не всеми пятью пальцами на счетах костяшки, называл какие-то цифры и, чтобы записать их, встряхивая головой, ловко ронял себе в руку карандаш. Видно было, что дело свое он знает хорошо.

Мария пришла домой поздно, вид у нее был измученный.

– Как там у тебя? – осторожно спросил Кузьма.

– Да как – пока никак. На завтра еще промтовары остались. Завтра как-нибудь будет.

Она накричала на ребят, которые что-то натворили, и сразу легла. Кузьма вышел на улицу. Где-то палили свиную тушу, и сильный, приятный запах разошелся по всей деревне. Страда кончилась, картошку выкопали, и теперь люди готовятся к празднику, ждут зиму. Хлопотливое, горячее время осталось позади, наступило межсезонье, когда можно погулять, осмотреться по сторонам, подумать. Пока тихо, но через неделю деревня взыграет, люди вспомнят о всех праздниках, старых и новых, пойдут, обнявшись, от дома к дому, закричат, запоют, будут опять вспоминать войну и за столом простят друг другу все свои обиды.

Ревизор молчал.

– Так скажи, откуда столько? Тысяча, что ли?

– Тысяча, – подтвердил ревизор.

– Новыми?

– Теперь на старые счета нет.

– Да ведь это сумасшедшие деньги, – задумчиво произнес Кузьма. – Я столько и в руках не держал. Мы ссуду в колхозе брали семьсот рублей на дом, когда ставили, и то много было, до сегодняшнего дня не расплатились. А тут тысяча. Я понимаю, можно ошибиться, набежит там тридцать, сорок, ну, пускай сто рублей, но откуда тысяча? Ты, видать, на этой работе давно, должен знать, как это получается.

– Не знаю, – покачал головой ревизор.

– А не могли ее сельповские с фактурой нагреть?

– Не знаю. Все могло быть. Я вижу, образование у нее небольшое.

– Какое там образование – грамотешка! С таким образованием только получку считать, а не казенные деньги. Я ей сколько раз говорил: не лезь не в свои сани. Работать как раз некому было, ее и уговорили. А потом как будто все ладно пошло.

– Товары она всегда сама получала или нет? – спросил ревизор.

– Нет. Кто поедет, с тем и заказывала.

– Тоже плохо. Так нельзя.

– Ну вот…

– А самое главное: целый год не было учета. Они замолчали, и в наступившей тишине стало слышно, как в спальне все еще всхлипывает Мария. Где-то вырвалась из раскрытой двери на улицу песня, прогудела, как пролетающий шмель, и стихла – после нее всхлипы Марии показались громкими и булькали, как обрывающиеся в воду камни.

– Что же теперь будет-то? – спросил Кузьма, непонятно к кому обращаясь – к самому себе или к ревизору.

Ревизор покосился на ребят.

– Идите отсюда! – цыкнул на них Кузьма, и они гуськом засеменили в свою комнату.

– Я завтра еду дальше, – придвигаясь к Кузьме, негромко начал ревизор. – Мне надо будет еще в двух магазинах сделать учет. Это примерно дней на пять работы. А через пять дней… – Он замялся. – Одним словом, если вы за это время внесете деньги… Вы меня понимаете?

– Чего ж не понять, – откликнулся Кузьма.

– Я же вижу: ребятишки, – сказал ревизор. – Ну, осудят ее, дадут срок…

Кузьма смотрел на него с жалкой, подергивающейся улыбкой.

– Только поймите: об этом никто не должен знать. Я не имею права так делать. Я сам рискую.

– Понятно, понятно.

– Собирайте деньги, и мы постараемся это дело замять.

– Тысячу рублей, – сказал Кузьма.

– Да.

– Понятно, тысячу рублей, одну тысячу. Мы соберем. Нельзя ее судить. Я с ней много лет живу, ребятишки у нас.

Ревизор поднялся.

– Спасибо тебе, – сказал Кузьма и, кивая, пожал ревизору руку. Тот ушел. Во дворе за ним скрипнула калитка, перед окнами прозвучали и затихли шаги.

Кузьма остался один. Он пошел на кухню, сел перед не топленной со вчерашнего дня печкой и, опустив голову, сидел так долго-долго. Он ни о чем не думал – для этого уже не было сил, он застыл, и только голова его опускалась все ниже и ниже. Прошел час, второй, наступила ночь.

– Папа!

Кузьма медленно поднял голову. Перед ним стоял Витька – босиком, в майке.

– Чего тебе?

– Папа, у нас все в порядке будет? Кузьма кивнул. Но Витька не уходил, ему надо было, чтобы отец сказал это словами.

– А как же! – ответил Кузьма. – Мы всю землю перевернем вверх тормашками, а мать не отдадим. Нас пятеро мужиков, у нас получится.

– Можно, я скажу ребятам, что у нас все в порядке будет?

– Так и скажи: всю землю перевернем вверх тормашками, а мать не отдадим.

Витька, поверив, ушел.

Утром Мария не поднялась. Кузьма встал, разбудил старших ребят в школу, налил им вчерашнего молока. Мария лежала на кровати, уставив глаза в потолок, и не шевелилась. Она так и не разделась, лежала в платье, в котором пришла из магазина, лицо у нее заметно опухло. Перед тем как уходить, Кузьма постоял над ней, сказал:

– Отойдешь немножко, вставай. Ничего, обойдется, люди помогут. Не стоит тебе раньше времени из-за этого помирать.

Он пошел в контору, чтобы предупредить, что на работу не выйдет.

Председатель был у себя в кабинете один. Он поднялся, подал Кузьме руку и, пристально глядя на него, вздохнул.

– Что? – не понял Кузьма.

– Слышал я про Марию, – ответил председатель. – Теперь уж вся деревня, поди, знает.

– Все равно не скроешь – пускай, – потерянно махнул рукой Кузьма.

– Что будешь делать? – спросил председатель.

– Не знаю. Не знаю, куда и пойти.

– Надо что-нибудь делать.

– Надо.

– Сам видишь, ссуду я тебе сейчас дать не могу, – сказал председатель. – Отчетный год на носу. Отчетный год кончится, потом посоветуемся, может, дадим. Дадим – чего там! А пока занимай под ссуду, все легче будет, не под пустое место просишь.

– Спасибо тебе.

– Нужны мне твои «спасибо»! Как Мария-то?

– Плохо.

– Ты иди скажи ей.

– Надо сказать. – У дверей Кузьма вспомнил: – Я на работу сегодня не выйду.

– Иди, иди. Какой из тебя теперь работник! Нашел о чем говорить!

Мария все еще лежала. Кузьма присел возле нее на кровать и сжал ее плечо, но она не откликнулась, не дрогнула, будто ничего и не почувствовала.

– Председатель говорит, что после отчетного собрания даст ссуду, – сказал Кузьма.

Она слабо шевельнулась и снова замерла.

– Ты слышишь? – спросил он.

С Марией вдруг что-то случилось: она вскочила, обвила шею Кузьмы руками и повалила его на кровать.

– Кузьма! – задыхаясь, шептала она. – Кузьма, спаси меня, сделай что-нибудь, Кузьма!

Он пробовал вырваться, но не мог. Она упала на него, сдавила ему шею, закрыла своим лицом его лицо.

– Родной мой! – исступленно шептала она. – Спаси меня, Кузьма, не отдавай им меня!

Он, наконец, вырвался.

– Дура баба, – прохрипел он. – Ты что, с ума сошла?

– Кузьма! – слабо позвала она.

– Чего это ты выдумала? Ссуда вот будет, все хорошо будет, а ты как сдурела.

– Кузьма!

– Ну что?

– Кузьма! – ее голос становился все слабей и слабей.

– Здесь я.

Он сбросил сапоги и прилег рядом с ней. Мария дрожала, ее плечи дергались и подпрыгивали. Он обнял ее и стал водить по плечу своей широкой ладонью – взад и вперед, взад и вперед. Она прижалась к нему ближе. Он все водил и водил ладонью по ее плечу, пока она не затихла. Он еще полежал рядом с ней, потом поднялся. Она спала.

Кузьма размышлял: можно продать корову и сено, но тогда ребятишки останутся без молока.

Из хозяйства продавать больше было нечего. Корову тоже надо оставить на последний случай, когда не будет выхода. Значит, своих денег нет ни копейки, все придется занимать. Он не знал, как можно занять тысячу рублей, эта сумма представлялась ему настолько огромной, что он все путал ее со старыми деньгами, а потом спохватывался и, холодея, обрывал себя. Он допускал, что такие деньги существуют, как существуют миллионы и миллиарды, но то, что они могут иметь отношение к одному человеку, а тем более к нему, казалось Кузьме какой-то ужасной ошибкой, которую – начни он только поиски денег – уже не исправить. И он долго не двигался – казалось, он ждал чуда, когда кто-то придет и скажет, что над ним подшутили и что вся эта история с недостачей ни его, ни Марии не касается. Сколько людей было вокруг него, которых она действительно не касалась!

Хорошо еще, что шофер подогнал автобус к самому вокзалу и Кузьме не пришлось добираться к нему по ветру, который как начал дуть от дома, так и не перестал. Здесь, на станции, гремит на крышах листовое железо, по улице метет бумагу и окурки, и люди семенят так, что не понять – или их несет ветер, или они все же справляются с ним и бегут, куда им надо, сами. Голос диктора, объявляющего о прибытии и отправлении поездов, рвется на части, комкается, и его невозможно разобрать. Гудки маневровых паровозов, пронзительные свистки электровозов кажутся тревожными, как сигналы об опасности, которую надо ждать с минуты на минуту.

За час до поезда Кузьма становится в очередь за билетами. Кассу еще не открывали, и люди стоят, подозрительно следя за каждым, кто проходит вперед. Минутная стрелка на круглых электрических часах над окошечком кассы со звоном прыгает от деления к делению, и люди всякий раз задирают головы, мучаются.

Наконец кассу открывают. Очередь сжимается и замирает. В окошечко кассы просовывается первая голова; проходит две, три, четыре минуты, а очередь не движется.

– Что там – торгуются, что ли? – кричит кто-то сзади.

Голова выползает обратно, и женщина, стоявшая в очереди первой, оборачивается: – Оказывается, нет билетов.

– Граждане, в общие и плацкартные вагоны билетов нет! – кричит кассирша.

Очередь комкается, но не расходится.

– Не знают, как деньги выманить, – возмущается толстая, с красным лицом и в красном платке тетка. – Понаделали мягких вагонов – кому они нужны? Уж на что самолет, и то в нем все билеты поровну стоят.

– В самолетах и летайте, – беззлобно отвечает кассирша.

– И полетим! – кипятится тетка. – Вот еще раз, два такие фокусы выкинете, и ни один человек к вам не пойдет. Совести у вас нету.

– Летайте себе на здоровье – не заплачем!

– Заплачешь, голубушка, заплачешь, когда без работы-то останешься.

Кузьма отходит от кассы. Теперь до следующего поезда часов пять, не меньше. А может, все-таки взять в мягкий? Черт с ним! Неизвестно еще, будут в том поезде простые места или нет – может, тоже одни мягкие? Зря прождешь. «Снявши голову, по волосам не плачут», – почему-то вспоминает Кузьма. В самом деле – лишняя пятерка погоды теперь не сделает. Тысяча нужна – чего уж теперь по пятерке плакать.

Кузьма возвращается к кассе. Очередь разошлась, и перед кассиршей лежит раскрытая книга.

– Мне до города, – говорит ей Кузьма.

– Билеты только в мягкий вагон, – будто читает кассирша, не поднимая глаз от книги.

– Давай куда есть.

Она отмечает линейкой прочитанное, откуда-то сбоку достает билет и сует его под компостер.

Теперь Кузьма прислушивается, когда назовут его поезд. Поезд подойдет, он сядет в мягкий вагон и со всеми удобствами доедет до города. Утром будет город. Он пойдет к брату и возьмет у него те деньги, которых не хватает до тысячи. Наверное, брат снимет их с книжки. Перед отъездом они посидят, выпьют на прощанье бутылку водки, а потом Кузьма отправится обратно, чтобы успеть к возвращению ревизора. И пойдет у них с Марией опять все как надо, заживут как все люди. Когда кончится эта беда и Мария отойдет, будут они и дальше растить ребят, ходить с ними в кино – как-никак свой колхоз: пятеро мужиков и мать. Всем им еще жить да жить. По вечерам, укладываясь спать, будет он, Кузьма, как и раньше, заигрывать с Марией, шлепать ее по мягкому месту, а она будет ругаться, но не зло, понарошку, потому что она и сама любит, когда он дурачится. Много ли им надо, чтобы все было хорошо? Кузьма приходит в себя. Много, ох много – тысячу рублей. Но теперь уже не тысячу, больше половины из тысячи он с грехом пополам достал. Ходил унижался, давал обещания, где надо и не надо, напоминал о ссуде, боясь, что не дадут, а потом, стыдясь, брал бумажки, которые жгли руки и которых все равно было мало.

К первому он, как, наверно, и любой другой в деревне, пошел к Евгению Николаевичу.

– А, Кузьма, – встретил его Евгений Николаевич, открывая дверь. – Заходи, заходи. Присаживайся. А я уж думал, что ты на меня сердишься – не заходишь.

– За что мне на тебя сердиться, Евгений Николаевич?

– А я не знаю. Об обидах не все говорят. Да ты садись. Как жизнь-то?

– Ничего.

– Ну-ну, прибедняйся. В новый дом переехал и все ничего?

– Да мы уж год в новом доме. Чего теперь хвастать?

– А я не знаю. Ты не заходишь, не рассказываешь.

Евгений Николаевич убрал со стола раскрытые книги, не закрывая, перенес их на полку. Он моложе Кузьмы, но в деревне его величают все, даже старики, потому что вот уже лет пятнадцать он директор школы, сначала семилетки, потом восьмилетки. Родился и вырос Евгений Николаевич здесь же и, закончив институт, крестьянского дела не забыл: сам косит, плотничает, держит у себя большое хозяйство, когда есть время, ходит с мужиками на охоту, на рыбалку. Кузьма сразу пошел к Евгению Николаевичу потому, что знал: деньги у него есть. Живет он вдвоем с женой – она у него тоже учительница, – зарплата у них хорошая, а тратить ее особенно некуда, все свое – и огород, и молоко, и мясо.

Видя, что Евгений Николаевич собирает книги, Кузьма приподнялся.

– Может, я не ко времени?

– Сиди, сиди, как это не ко времени! – удержал его Евгений Николаевич. – Время есть. Когда мы не на работе, время у нас свое, не казенное. Значит, и тратить мы его должны как душе угодно, правда?

– Как будто.

– Почему «как будто»? Говори, правда. Время есть. Чай вот можно поставить.

– Чай не надо, – отказался Кузьма. – Не хочу. Недавно пил.

– Ну, смотри. Говорят, сытого гостя легче потчевать. Правда?

– Правда.

Кузьма поерзал на стуле, решился:

– Я, Евгений Николаевич, по делу к тебе тут по одному пришел.

– По делу? – Евгений Николаевич, насторожившись, сел за стол. – Ну, так давай говори. Дело есть дело, его решать надо. Как говорят, куй железо, пока горячо.

– Не знаю, как и начать, – замялся Кузьма.

– Говори, говори.

– Да дело такое: деньги я пришел у тебя просить.

– Сколько тебе надо? – зевнул Евгений Николаевич.

– Мне много надо. Сколько дашь.

– Ну, сколько – десять, двадцать, тридцать?

– Нет, – покачал головой Кузьма. – Мне надо много. Я тебе скажу зачем, чтобы понятно было. Недостача у моей Марии большая получилась – может, ты знаешь?

– Ничего не знаю.

– Вчера ревизию кончили – и вот преподнесли, значит.

Евгений Николаевич забарабанил по столу костяшками пальцев.

– Неприятность какая, – сказал он.

– А?

– Неприятность, говорю, какая. Как это у нее получилось?

– Вот получилось.

Они замолчали. Стало слышно, как тикает где-то будильник; Кузьма поискал его глазами, но не нашел. Будильник стучал, почти захлебываясь. Евгений Николаевич вновь забарабанил по столу пальцами. Кузьма взглянул на него – он чуть заметно морщился.

– Судить могут, – сказал Евгений Николаевич.

– Для того деньги и ищу, чтоб не судили.

– Все равно судить могут. Растрата есть растрата.

– Нет, не могут. Она оттуда не брала, я знаю.

– Что ты мне-то говоришь? – обиделся Евгений Николаевич. – Я не судья. Ты им скажи. Я говорю это к тому, что надо осторожно: а то и деньги внесешь, и судить будут.

– Нет. – Кузьма вдруг почувствовал, что он и сам боится этого, и сказал больше себе, чем ему. – Теперь смотрят, чтоб не зря. Мы не пользовались этими деньгами, они нам не нужны. У ней ведь недостача эта оттого, что малограмотная она, а не как-нибудь.

– Они этого не понимают, – махнул рукой Евгений Николаевич.

Кузьма вспомнил про ссуду и, не успев успокоиться, сказал жалобно и просяще, так что противно стало самому:

– Я ведь ненадолго занимаю у тебя, Евгений Николаевич. Месяца на два, на три. Мне председатель ссуду пообещал после отчетного собрания.

– А сейчас не дает?

– Сейчас нельзя. Мы еще за старую не расплатились, когда дом ставили. И так навстречу идет, другой бы не согласился.

Снова вырвалась откуда-то частая дробь будильника, застучала тревожно и громко, но Кузьма и на этот раз не нашел его. Будильник мог стоять или за шторой на окне, или на книжной полке, но звук, казалось, шел откуда-то сверху. Кузьма не вытерпел и взглянул на потолок, а потом выругал себя за дурость.

– А ты уже к кому-нибудь ходил? – спросил Евгений Николаевич.

– Нет, к тебе первому.

– Что ж делать – дать придется! – вдруг воодушевляясь, сказал Евгений Николаевич. – Если не дать, ты скажешь: вот Евгений Николаевич пожалел, не дал. А люди обрадуются.

– Зачем мне про тебя говорить, Евгений Николаевич?

– А я не знаю. Я не про тебя, конечно, – вообще. Народ всякий. Только у меня деньги на сберкнижке в районе. Я специально подальше их держу, чтоб не вытаскивать по пустякам. Ехать туда надо. Времени вот сейчас нет. – Он опять поморщился. – Придется съездить. Дело такое. У меня там сотня и есть – сниму. Это правильно: мы друг другу помогать должны.

Кузьма, как-то вдруг сразу обессилев, молчал.

– На то мы и люди, чтобы быть вместе, – говорил Евгений Николаевич. – Про меня в деревне всякое болтают, а я никому еще в помощи не отказывал. Ко мне часто приходят: то пятерку, то десятку дай. Другой раз последние отдаю. Правда, люблю, чтобы возвращали, за здорово живешь тоже работать неохота.

– Я отдам, – сказал Кузьма.

– Да я не про тебя, я знаю, что ты отдашь. Вообще говорю. У тебя совесть есть, я знаю. А у некоторых нет – так живут. Да ты сам знаешь – что тебе говорить! Народ всякий.

Евгений Николаевич все говорил и говорил, и у Кузьмы разболелась голова. Он устал. Когда он, наконец, вышел на улицу, последний туман, который держался до обеда, рассеялся, и светило солнце. Воздух был прозрачный и ломкий – как всегда в последние погожие дни поздней осени. Лес за деревней казался близким, и стоял он не сплошной стеной, а делился на деревья, уже голые и посветлевшие.

На воздухе Кузьме стало легче. Он шел, и идти ему было приятно, но где-то внутри, как нарыв, по-прежнему зудила боль. Он знал – это надолго.

Мария все-таки поднялась, но рядом с ней за столом сидела Комариха. Кузьма сразу понял, в чем дело.

– Ты уж прибежала. – Он готов был выбросить Комариху за дверь. – Почуяла. Как ворона на падаль.

– Я не к тебе пришла, и ты меня не гони, – затараторила Комариха. – Я вот к Марии пришла, по делу.

– Знаю я, по какому ты делу пришла.

– По какому надо, по такому и пришла.

– Вот-вот.

Мария, сидевшая неподвижно, повернулась.

– Ты, Кузьма, в наши дела не лезь. Не нравится – уйди в другую комнату или еще куда. Не бойся, Комариха, давай дальше.

– Я не боюсь. – Комариха достала откуда-то из-под юбки карты, косясь на Кузьму, стала раскладывать. – Поди, не ворую – чего мне бояться. А на всех если внимание обращать, нервов не хватит.

– Сейчас она тебе наворожит! – усмехнулся Кузьма.

– А как карты покажут, так и скажу, врать не стану.

– Где там – всю правду выложишь! Мария повернула голову, с затаившейся болью сказала:

– Уйди, Кузьма!

Кузьма сдержался, умолк. Он ушел на кухню, но и здесь было слышно, как Комариха плюет на пальцы, заставляет Марию вытягивать из колоды три карты, бормочет:

– А казенный дом тебе, девка, слава те господи, не выпал. Врать не стану, а нету. Вот она, карта. Будет тебе дальняя дорога – вот она, дорога, и бубновый интерес.

– Ага, орден в Москву вызовут получать, – не выдержал Кузьма.

– И будут у тебя хлопоты, большие хлопоты – не маленькие. Вот они, здесь. До трех раз надо. – Видно, Комариха собрала карты. – Сними-ка, девка. Хотя нет, подожди, тебе снимать нельзя. Надо, чтобы был чужой человек, который не ворожит. У тебя ребятишки дома?

– Нету.

– Ах ты, беда!

– Да давай сниму, – сказала Мария.

– Нет, нельзя, карта другая пойдет. Эй, Кузьма! – ласково запела Комариха. – Иди-ка к нам сюда на минутку. Ты на нас, грешных, не серчай. У тебя свое поверье, у нас свое. Сними-ка нам, дружок, шапку с колоды.

– Язви тебя! – Кузьма подошел и толкнул сверху карты.

– Вот так. У меня зять тоже не верил, партейный был – как же! – а как в сорок восьмом под суд его отдали, в тот же вечер ко мне за молитвой прибежал.

Она раскладывала карты вниз картинками, продолжала:

– Это ведь до поры до времени не верят, пока жизнь спокойная. А случись беда, да не так чтоб просто беда, а беда с горем – сра-а-зу и про бога вспоминают и про слуг его, которым в глаза плевали.

– Мели, мели, Комариха, – устало отмахнулся Кузьма.

– А я не мелю. Говорю как знаю. Вот ты, думаешь, не веришь хоть и в эту ворожбу? Это тебе только кажется, что не веришь. А случись завтра война, думаешь, не интересно тебе будет сворожить, убьют тебя или не убьют?

– Да ты раскрывай карты-то, – заторопила Мария.

Комариха отступилась от Кузьмы и затянула опять про бубновые интересы и крестовые хлопоты. Кузьма прислушался: казенный дом не выпал и на этот раз.

После Комарихи они остались дома вдвоем. Мария все так же сидела за столом, спиной к Кузьме, и смотрела в окно. Кузьма курил.

Мария не шевелилась. Кузьма за ее спиной приподнялся и посмотрел туда, куда смотрела она, но ничего не увидел. Он боялся заговорить с ней, боялся, что, скажи он хоть слово, произойдет что-нибудь нехорошее, что потом не поправить. Молчать было тоже невмоготу. У него опять разболелась голова, и острые, тукающие удары били в висок, заставляя его ждать их и бояться.

Мария молчала. Он исподволь следил за нею, но он мог бы и не следить, потому что, пошевелись она, он в тишине сразу услышал бы любой ее шорох. Он ждал.

Наконец она пошевелилась, и он вздрогнул.

– Кузьма, – произнесла она, по-прежнему глядя в окно.

Он увидел, что она смотрит в окно, и опустил глаза.

Вдруг она засмеялась. Он смотрел в пол и не поверил, что это смеется она.

Она засмеялась во второй раз, но теперь ее смех был где-то далеко. Он поднял глаза – ее не было. Он испугался. Оглядываясь, он поднялся и осторожно подошел к двери, ведущей в спальню. Она лежала на кровати.

– Иди сюда, – позвала она, не глядя на него. Он подошел.

– Ляг, полежи со мной.

Он осторожно лег рядом с ней и почувствовал, что она дрожит.

Через полчаса она рассказала:

– Ты, поди, решил, что я сошла с ума. Я и правда ненормальная. То плачу, то вдруг стала смеяться. Я вспомнила, кто-то рассказывал, что бабы там, в тюрьмах этих, вытворяют друг над другом. Срам какой. Мне стало нехорошо.

А потом думаю: да ведь я еще не там, я еще здесь.

Она прижалась к Кузьме и заплакала.

– Ну вот и опять плачу, – всхлипывала она. – Не отдавай ты им меня, не отдавай, хороший ты мой. Не хочу…

Поезд подходит медленно, уже остановившись, в последний раз со скрежетом дергается и замирает. Кузьма замерз, но в вагон поднимается не сразу. Стоит, смотрит. Несколько пассажиров с поезда мечутся по перрону, перебегая от одного киоска к другому, – со стороны кажется, что их кружит ветер. Откуда-то из-за туч пробивается легкое и тонкое, как высохший лист, солнечное пятно, хотя самого солнца не видно; подрагивая, оно чуть держится на платформе, на крышах вагонов, но ветер быстро срывает его и уносит.

Кузьма ездит редко и всякий раз чувствует себя в дороге неспокойно, будто он потерял все, что у него в жизни было, и теперь ищет другое, но неизвестно еще, найдет или нет. В этот раз особенно: он знает, что надо ехать, и все-таки ехать боится. А тут еще ветер. Конечно, ветер не может иметь никакого отношения ни к истории с Марией, ни к поездке в город, он дует сам по себе, как дул, наверно, и в прошлом и в позапрошлом году, когда у Кузьмы с Марией было все хорошо, и тем не менее Кузьма не может отделаться от чувства, что одно с другим связано и ветер дует не зря. И то, что не было билетов в общие вагоны, тоже, наверно, не так просто, что-нибудь вроде предупреждения: мол, если не дурак, то поймешь и никуда не поедешь.

По радио объявляют, что до отхода поезда осталось две минуты, и Кузьма, заторопившись, идет к своему вагону, но перед тем как подняться, оборачивается к вокзалу и думает: с чем же Я приеду обратно? Как ни удивительно, это помогает ему, будто он прочитал молитву и доверил свою судьбу кому-то другому, а сам теперь может ничего не делать. Он стоит у окна и смотрит, как за поездом сходятся друг с другом станционные постройки, и ему странно думать, что еще утром он был дома. Кажется, это было давным-давно. Он вздыхает. Скоро его мучения с деньгами кончатся – плохо ли, хорошо ли, но кончатся: через два дня приедет ревизор, и тогда все решится. Два дня – это немного. Он чувствует усталость, страшную усталость, которая тем и страшна, что она не физическая – к физической он привык.

– Билет ваш покажите! – раздается за его спиной голос.

Кузьма оборачивается – подошла проводница, уже немолодая, уставшая от поездок. Она вертит в руках билет и несколько раз переводит взгляд с него на Кузьму и обратно, будто Кузьма этот билет украл или подделал; в этот момент она, пожалуй, искренне жалеет, что на билеты не наклеивают фотографии пассажиров, а без фотографии доказать ничего нельзя.

Проводница смотрит на сапоги, и Кузьма тоже опускает глаза – на ярком, до стеклянности чистом ковре его поношенные, изрядно запылившиеся в дороге кирзовые сапоги сорок второго размера выглядят гусеницами трактора, на котором заехали в цветник. Кузьма хочет оправдаться и виновато говорит:

– В другие вагоны билетов не было.

– А вы и рады, – зло бросает она и, не имея возможности выгнать его, но и не желая с ним больше разговаривать, делает знак, чтобы он шел за ней.

Она стучит в одну из узких, будто игрушечных, синих дверок, потом отодвигает ее в сторону и, став у входа сбоку, так что Кузьму хорошо видно вместе с его сапогами, фуфайкой и армейской сумкой, говорит виновато, совсем как Кузьма перед этим говорил ей самой:

– Извините, пожалуйста, тут вот пассажир… – она делает паузу и, оправдываясь, заканчивает: – С билетом.

– Неужели с билетом? – щуря один глаз, удивленно спрашивает военный; потом Кузьма разглядит, что он полковник.

– Не может быть! – сидящий рядом с полковником человек в белой майке с выгибающимся брюшком испуганно повторяет: – Не может быть!

Проводница натянуто улыбается. Потом произносит:

– С билетом…

– Неужели нельзя было подсадить к нам кого-нибудь без билета?! – полковник недовольно качает головой и даже цокает языком. – Ведь мы же вас просили.

Человек в белой майке, не сдержавшись, смеется легким, без всякого напряжения смехом, с частыми звуками, совсем как мотор мотоцикла, работающий на средних оборотах, и полковник, выданный этим смехом, теперь тоже улыбается.

– Вы все шутите, – с явным облегчением говорит проводница, по-прежнему выглядывая из-за двери. – Мне, правда, больше его некуда девать, все занято. – Уходя, она уже и сама пытается шутить. – Но он с билетом…

– Заходи, заходи, – кивает полковник Кузьме.

Кузьма переступает в купе и у дверей останавливается.

– Полка твоя вон там, – полковник показывает наверх. – Опускай ее и, если хочешь, устраивайся. Не робей, тут все свои.

– Да я не робею.

– Воевал?

– Довелось.

– Ну, тем более. Тогда ничего не страшно.

– Относительно того, что все занято, она, мягко говоря, несколько присочинила, – подает вдруг голос человек, лежащий на второй нижней полке. – Рядом с нами, в девятом, тоже трое. Туда она, однако же, не пошла.

– Ну-у, – понимающе отвечает ему человек в белой майке. – К ним она так просто не пойдет.

– А к нам, выходит, молено?

– Она, Геннадий Иванович, привыкла разбираться, кто из нас чего стоит. Ей удостоверения личности не нужны. И тебя она в первую же минуту рассмотрела, что ты всего-навсего какой-то там директор радиостанции, – человек в белой майке подмигивает полковнику.

– Не директор радиостанции, а председатель областного комитета по радиовещанию и телевидению, – сухо поправляет Геннадий Иванович.

– Поверьте, для нее это не имеет разницы.

– Не понимаю… – Геннадий Иванович поджимает губы, так и не договорив, чего он не пони мнет. Он лежит в пижаме, пижамные брюки направлены в носки, роста он маленького, с красивым немужским лицом, на котором прежде всего обращают на себя внимание большие, холодно глядящие глаза. Голову с гладко зачесанными длинными волосами Геннадий Иванович поворачивает медленно, с достоинством, а повернув, поправляет ее так, чтобы она сидела красиво.

Кузьма все еще стоит; хотел снять с себя фуфайку, но посмотрел – обе вешалки с той стороны, где его полка, заняты, а повесить ее поверх дорогого коричневого пальто не решился – не замарать бы пальто. Фуфайка вообще-то чистая, но мало ли что – все-таки надеванная. Сумку он пристроил на свободное местечко на полу у дверей – так что с сумкой все в порядке.

Опустить бы полку, может, там и для фуфайки найдется место где-нибудь в ногах, но Кузьма не знает, как она опускается; на всякий случай он дергает ее вниз и, обернувшись, встречает насмешливые глаза Геннадия Ивановича.

– Подожди, подожди, – полковник поднимается и снимает задвижку, которая держала полку. – Вот так. Техника, брат. А то ты мужик здоровый, чего доброго, вагон перевернешь.

– Из деревни? – спрашивает Кузьму человек в белой майке.

– Из деревни.

– Постель должна быть где-то там, – полковник показывает на нишу над дверью, похожую на деревенские полати. Туда, в эту нишу, и заталкивает Кузьма фуфайку, потому что его полка обтянута белым и положить на нее фуфайку нельзя. Но, слава богу, место нашлось. Он чувствует, что стало легче, теперь осталось пристроить куда-нибудь самого себя.

– Как ты думаешь, Геннадий Иванович, почему я догадался, что товарищ из деревни? – спрашивает человек в белой майке.

– По духу.

– Нет, по лицу. Обрати внимание: у деревенских, почти у всех, без исключения, черные, загорелые лица. Они всегда на воздухе.

– А я думал, по духу, – насмешливо повторяет Геннадий Иванович.

Полковник, освобождая для Кузьмы место, отодвигается, и Кузьма садится – сначала на краешек, потом, поняв, что Геннадий Иванович заметил это, устраивается удобней. Он сидит у двери, у окна сидит человек в белой майке, между ними полковник. На другой полке – с подогнутыми в коленях ногами лежит на спине Геннадий Иванович. Кузьма поднимает на него глаза и сразу отводит их: Геннадий Иванович внимательно рассматривает его. Потом Кузьме кажется, что Геннадий Иванович смотрит на него не переставая, но он размышляет, что смотреть не переставая тот не может, а значит, это ему только кажется – такие у него глаза. Видно, он уже давно начальник, думает Кузьма, а сам по себе человек не сильно добрый. Голос у него слабый, голосом он взять не может, вот и научился брать глазами, чтобы люди его глаз боялись.

– Как вы там в деревне, дорогой товарищ? От-стра-дова-лись? – человек в белой майке с трудом произносит непривычное для себя слово.

– Отстрадовались, – отвечает Кузьма.

– И как урожай?

– В этом году ничего. В нашей местности вообще-то больших урожаев не бывает, но в этом году по двенадцать центнеров пшеницы на круг взяли.

– В этом году урожай везде хороший, – говорит полковник. – Так что деревня живет.

– А она всегда живет, – с нажимом, как бы вдавливая слова, говорит Геннадий Иванович. – Когда нет своего, берет ссуду у государства, когда надо расплачиваться, снова берет ссуду. И так до тех пор, пока государству ничего не остается, как плюнуть на эти долги и аннулировать их.

– Это было не от хорошей жизни, – заглядывая в окно, возражает человек в белой майке. – Сами знаете.

Геннадий Иванович хмыкает.

– Сколько рабочих ваш завод теряет каждую осень, когда в деревне начинается уборка? – спрашивает он.

– Что ж поделаешь? Видно, иначе нельзя. Деревне одной не под силу.

– А, бросьте. Но давайте даже допустим, что это так. Почему же в таком случае, когда у вас горит план в конце года, а деревне в это время делать почти нечего – почему она не посылает своих людей, чтобы помочь вам, как вы помогали ей? На равноправных началах, как хорошие соседи.

– На заводе нужна квалификация.

– У вас сколько угодно работы, где можно обойтись без квалификации.

– Геннадий Иванович, ты говоришь так, будто знаешь завод лучше меня.

– Конечно, я завод знаю хуже тебя, но деревню, думаю, не хуже, – говорит Геннадий Иванович. – Дело не в этом. Как-то раз один туберкулезный больной сделал мне очень интересное признание. Я, говорит, если бы захотел, давно бы вылечился, но мне нет интереса быть здоровым. Не понимаете? Я тоже сначала не понял. Он объяснил: четыре, пять месяцев в году он находится в больнице, на полном государственном обеспечении, или в санатории, где они ловят рыбку, гуляют по роще, а государство выплачивает ему все сто процентов заработка. Лечат его бесплатно, питание, конечно, самое лучшее, квартиру в первую очередь – все блага, все привилегии как больному. А он возвращается из санатория и с полным сознанием того, что делает, начинает пить, курит, – особенно если наблюдается улучшение, – лишь бы не лишиться этих привилегий. Он уже привык к ним, не может без них.

– Ну и что? – спрашивает человек в белой майке.

– Ничего. – Геннадий Иванович улыбается ему снисходительной улыбкой. – Но не станете же вы отрицать, что деревня у нас находится на несколько привилегированном положении. Машины мы ей продаем по заниженным ценам, хлеб покупаем но повышенным, и она со своей деревенской хитростью и расчетливостью уже давно поняла, что решать все свои проблемы своими силами ей невыгодно. Хотя, очевидно, могла бы. Она отлично знает, что на уборку из города пришлют машины, людей, надо будет – государство опять даст деньги.

«Ага, все дураки, один ты умный», – думает Кузьма, но молчит.

– Хлеб мы все едим, – говорит человек в белой майке.

– Машины, выпускаемые вашим заводом, тоже, очевидно, на заводе не остаются, – отвечает ему Геннадий Иванович, и человек в белой майке, соглашаясь, неохотно кивает. – Правильно вы говорите: хлеб мы все едим, но с каждого надо спрашивать за тот участок, за который ему поручено отвечать, по всей строгости. С нас тоже спрашивают. А с деревней мы почему-то позволяем себе заигрывать, будто она в другом государстве. Торгуемся с ней.

– Что это вы сегодня на нее ополчились? – спокойно спрашивает полковник, но в его спокойном голосе слышно – нет, не приказание – а всего только вежливое и тем не менее настоятельное желание, чтобы этот надоевший ему спор заканчивали.

– Почему ополчился? Нисколько. Как видите, я пытаюсь разобраться в причинах ее отставания, – не сразу сдается Геннадий Иванович. – Я считаю, что мы сами в этом виноваты. Сейчас это положение начинают понимать. В некоторых местах отказались от посылки горожан в деревню, и выяснилось, что она прекрасно обходится своими силами.

– Честное слово, Геннадий Иванович, разберутся и без нас – что мы будем себе зря голову ломать? – добродушно щурясь, но по-прежнему твердо говорит полковник. – Давайте найдем себе дело по силам. К примеру, преферанс.

Человек в белой майке моментально оживляется:

– Правильно. Действительно, пора начинать, а то спорим черт знает о чем. Пассажиры мы или Совет Министров? – Он окликает Кузьму:

– Эй, дорогой товарищ, ты в преферанс играешь?

– В преферанс? – Кузьма не знает, что это такое.

– Он в «дурака» играет, – подсказывает Геннадий Иванович.

– В «дурака», ага, играю, – простодушно признается Кузьма.

Раздается смех – смеются полковник и человек в белой майке, а на лице Геннадия Ивановича сияет довольная улыбка; громкий и легкий, похожий на звук мотоциклетного мотора, смех человека в белой майке разносится по всему вагону. Полковник, отсмеявшись, хлопает Кузьму по плечу:

– «Дурак» тоже хорошая игра, но нам нужен преферансист. В «дурака» сыграем в следующий раз... Придется вам опять идти за своим товарищем, – говорит полковник человеку в белой майке. Тот, вскакивая, козыряет:

– Есть!

Они возбуждены, говорят громко, и в купе становится тесно. Только Геннадий Иванович спокойно лежит на своем месте. Человек в белой майке надевает пиджак, стягивает его на животе пуговицей и, дурачась, начинает чесать нос, а сам поглядывает на Геннадия Ивановича:

– Геннадий Иванович, сколько мы вчера на вас записали?

– Не очень много.

– Неужели не хватит?

– Хватить-то хватит. – Геннадий Иванович смотрит на часы. – Но там сейчас перерыв.

– Это можно устроить.

Человек в белой майке, насвистывая что-то веселенькое, выходит, и из коридора доносится его голос:

– Девушка, хорошая, загляните в наше купе, пожалуйста.

Через минуту в дверях появляется проводница, уставшими глазами смотрит на полковника. Полковник показывает ей на Геннадия Ивановича. Геннадий Иванович совсем не просящим, твердым голосом говорит:

– Услуга за услугу, девушка. Вашего пассажира с билетом мы устроили, теперь хотим вас попросить об одолжении. – Он протягивает ей деньги. – Бутылочку коньяку, если вы ничего не имеете против. Вы там человек свой, вам дадут.

– Ну ладно, – привычно соглашается она.

Кузьма размышляет, что делать – взобраться на свою полку или выйти в коридор, но, ничего не решив, снова принимается ругать себя за то, что взял билет в мягкий вагон.

Если идти в коридор, все равно надо снимать сапоги, а то увидит опять проводница, и начнется. Корчит из себя барыню, а сама такого же роду-племени, как и он, ничем не лучше. Только работа другая. Вот что работа делает с человеком.

Кузьма стягивает с ног сапоги, разматывает портянки и чувствует, что Геннадий Иванович наблюдает за ним. Кузьме опять становится не по себе, в нем поднимается не то злость, не то робость. «Я ему как бельмо на глазу», – думает он. Рядом стоят блестящие хромовые сапоги полковника, и Кузьма скорей заталкивает свои под скамью и в носках выходит в коридор. «Теперь пускай придерется».

Он стоит у окна и слышит за спиной голос проводницы, принесшей коньяк, потом голосов сразу становится много – это человек в белой майке привел преферансиста. Они смеются, называют какие-то цифры, затем в наступившей тишине до Кузьмы доносится знакомое побулькивание, и кто-то от души крякает.

Ветер на улице не стал меньше. Небо серое, с грязными потеками, по воздуху, как по реке в половодье, несет мусор. Маленькие поселки в пять-шесть домиков вдоль дороги отстоят друг от друга недалеко, будто это ветром разнесло какую-то большую станцию. Даже из вагона видно, как сильно раскачиваются провода, и, кажется, слышно, как они гудят – натужно, из последних сил, мечтая оторваться и замолчать.

– Эй, товарищ! – слышит Кузьма голос человека в белой майке и оборачивается. – Послушай, а что, если мы тебе предложим обменяться вагонами вот с товарищем? – Человек в белой майке показывает на преферансиста. – Он вот тут рядом едет, в купейном, а у нас, видишь ли, выявились общие интересы, хотелось бы вместе.

– Если вы согласитесь, я думаю, вам будет там даже лучше, – говорит преферансист.

– Мне все равно, – безразлично отвечает Кузьма.

Полковник внимательно смотрит на него:

– Если ты не хочешь, то и не надо, это совсем не обязательно. Это нам так, блажь в голову пришла, думаем, может, засидимся, а тебе отдыхать надо будет.

– Мне все равно, – повторяет Кузьма.

– Вот и замечательно, – радуется человек в белой майке. – Я же говорил, что согласится. Теперь осталось только договориться с девушками. А к нам, если хочешь, будешь в гости приходить, – говорит он Кузьме. – Это вот рядом, в соседнем вагоне. Сейчас мы все устроим.

Кузьма, постояв, наматывает портянки, натягивает сапоги. Подпрыгнув, он хватается за рукав фуфайки и стягивает ее вниз. Потом поднимает с пола сумку. Вот он и готов. Обмен так обмен – ему действительно все равно. Лишь бы ехать. Если бы еще обменяться на общий вагон, было бы совсем хорошо. Кто знает – может, там и предложат.

Преферансист ждет его.

– До свиданья, – обрачиваясь, говорит Кузьма.

– Будь здоров, – отвечает ему полковник.

Магазин опечатали, ставни замкнули на болты, и только бумажку с объявлением, что магазин закрыт на учет, с дверей так и не сняли; люди, завидев бумажку, шли к ней, поднимались ради нее на высокое крыльцо и подолгу читали. Надо бы сорвать бумажку, но ее не срывали – опасались навредить Марии: пусть уж, пока Кузьма ищет деньги, считается, что учет не кончился, чтобы обмануть этим Мариину судьбу.

Магазин был как проклятый – уже сколько народу пострадало из-за него! Еще надо благодарить бога, что до войны был живой Илья Иннокентьевич, он проработал в магазине без малого десять лет, и ничего. Но Илью Иннокентьевича не надо было учить, как торговать: у его отца раньше была своя лавка, которая потом перешла к нему, и он за прилавком привык стоять с малолетства.

А после Ильи Иннокентьевича началось. Первой, сразу после войны, пострадала переселенка Маруся, над которой деревня подсмеивалась за ее хохлацкий выговор, но которую любила и жалела за ее бедовость, за то, что видела своими глазами войну и кое-как спаслась от нее с двумя ребятишками. Маруся лучше многих деревенских понимала в грамоте и все же не убереглась. Сейчас уж никто не помнит, какая у нее была недостача. Марусе дали пять лет, ребятишек ее отправили в детдом, и что со всеми с ними сталось, больше в деревне не слыхали.

Остатки получились у однорукого Федора, но он оказался удачливей других и выкрутился, сказав, что держал свои деньги вместе с магазинными. Сначала ему не поверили и даже увезли его в район, но он стоял на своем, и его в конце концов отпустили, хотя в магазине работать не позволили. Но он бы туда и сам ни за какие пряники больше не пошел, с тех пор он говорит об этом при каждом удобном случае.

До Марии продавщицей была Роза, молоденькая, совсем девчонка, которую выгнали за что-то из раймага и направили сюда. Роза работала не по часам, а по охоте: захочет – откроет магазин, не захочет – не откроет. На выходные и на праздники она уезжала к себе в район и не показывалась по три дня, а потом привезет с собой какую-нибудь мелочишку и говорит, что получала товар, – попробуй докажи, что она гуляла. В деревне ее не любили, но и она тоже не скрывала, что этот магазин и эта деревня ей нужны, как собаке пятая нога, и не один раз собиралась уезжать, но ее не отпускали, потому что работать было некому. Из Александровского, из училища механизации, к ней часто наведывались ребята, и тогда начиналась гулянка; ребята-то, наверно, и помогли Розе схлопотать три года за недостачу.

После Розы магазин не работал четыре месяца – в продавцы больше никто не шел. Людям даже за солью, за спичками приходилось ехать за двадцать верст в Александровское, а туда приедешь – когда открыто, а когда и закрыто. Что уж там говорить – деревня намаялась всласть: свой магазин под боком, десяти минут хватит, чтобы обернуться туда-обратно – нет, надо терять день, а то и два. Сельсовет названивал в райпотребсоюз, оттуда отвечали: ищите продавца на месте, а люди говорили: хватит нам план на тюрьму выполнять. Каждый боялся. Своими глазами видели, чем кончается это продавцовство, а деньги, чтобы позариться на них, платили тут не такие уж и большие.

Но весной как будто засветилось: Надя Воронцова, беременная третьим, дала согласие – но только после того, как родит. Ей оставалось ходить еще месяца два, после родов тоже за прилавок ее сразу не поставишь – значит, и там месяца два, не меньше, ей надо дать. На это время и стали искать продавца. Вызывали, кого можно было, в сельсовет и там уговаривали. Вызвали и Марию.

У Марии тогда, как нарочно, все одно к одному сходилось. Ее последний парнишка рос слабым, болезным, и за ним нужен был уход да уход. Это бы еще полбеды, но Марии и самой по-доброму надо было оберегаться, потому что она лечилась и врачи не велели ей делать тяжелую работу, да ведь это только сказать легко, а где в колхозе найдешь ее, легкую работу? Даже заикаться о ней неудобно – вот и ворочала все подряд, себя не жалела. Пока сходило, но Мария все же опасалась, что так ее ненадолго хватит, а ребятишки еще маленькие. Пусть бы подросли.

В то время они жили еще в старом доме, который стоял рядом с магазином – тоже удобно: ребятишки на глазах, чуть выдалась свободная минута, можно покопаться в огороде, а если кому надо в магазин – крикнет, и она уже здесь. Прямо лучше не придумаешь. И для семьи было бы хорошее подспорье: после ссуды, которую Кузьма взял на новый дом, деньги им теперь надолго были заказаны.

И все же, когда Марию вызвали в сельсовет и заговорили о магазине, она наотрез отказалась.

– Тут и не такие головы летели, куда уж мне, – отговорилась она и ушла.

На другой день, высмотрев, что Кузьма дома, председатель сельсовета пришел к ним сам. Он знал, чем их пронять, и стал говорить о том, что надо же кому-то до Нади Воронцовой выручать деревню, которая уже измаялась без магазина, и Мария для этого самый подходящий человек.

Кузьма сказал:

– Смотри сама, Мария. – И отшутился: – Если что – корову вон можно отдать, а то уж надоело каждое лето сено косить.

Мария понимала, что деревню и правда надо кому-то выручать, и, сложив на коленях руки, уже не качала головой, как в начале разговора, а только молча, со страдальческим выражением слушала председателя; она страдала оттого, что и отказываться дальше казалось нехорошо, и согласиться было страшно.

– Не знаю, как и быть, – повторяла она. В конце концов председатель добился того, что она согласилась. Через неделю магазин открыли, а через четыре месяца, когда наступило время выходить Наде Воронцовой, Надя сказала, что она передумала. Мария, до смерти перепуганная, закрыла магазин и потребовала, чтобы у нее сделали учет. Да ведь не зря говорят: от судьбы не уйдешь. Все сошлось, разница получилась так себе, всего в несколько рублей.

Мария после ревизии успокоилась и стала работать.

Вот так оно все и вышло.

Работа, если сравнивать ее с колхозной, была нетрудной – конечно, опасной, но не трудной, а когда надо было перенести из склада что-нибудь тяжелое, то помогал Кузьма, да и любой из мужиков, если попросить, не отказывал в помощи. Утром Мария открывала магазин в восемь часов и торговала до двенадцати, потом до четырех был обед, а с четырех до восьми опять полагалось торговать. Но Марии этому распорядку следовать было не обязательно, она только открывала вовремя, а в остальные часы, когда не было народу, могла находиться дома. На тот случай, если кто придет, она оставляла дежурить на крыльце ребятишек, они звали ее, и она прибегала, ждать себя подолгу не заставляла ни разу. В деревне не все бабы понимают время по часам, а которые и понимают, да забывают, что обед, и идут когда попало – Мария и в обед, если была дома, тоже открывала: ее, Марии, от этого не убудет, а старухе не придется из последних сил шлепать два раза с другого края деревни. Мужики, те, наоборот, не знают время вечером – уже девять, десять часов, совсем темно, а они являются за бутылкой. Им объясняешь: магазин уже опечатан, никакой бутылки сегодня не будет – нет, не поймут, одно по одному: дай, жалко тебе, что ли? На такие случаи Мария стала держать водку еще и дома – ящик так и стоял под кроватью, и летом, бывало, торговала прямо через окно; если Марии не было, мужики искали Кузьму, как-то раз три бутылки продал даже Витька.

Но в долг водку Мария не отпускала. А то мужикам дай волю, они позаберутся, а расплачиваться потом опять придется не кому-нибудь – бабам. Мужику что, он когда пьяный, то только сейчас безденежный, а завтра он будет всех богаче – вот и гуляет, не думает о том, что семья сидит без копейки. Нет денег – не пей. Одно время по договоренности с женой Михаила Кравцова Дарьей, которая устала умываться слезами из-за его пьянок, Мария не стала давать ему водку совсем, даже за деньги. Михаил кричал, грозил, что будет жаловаться, но Мария как сказала, так и держалась; тогда он привел председателя сельсовета и пошел в наступление при нем.

– Вот ты Советская власть, – доказывал он, обращаясь к председателю, – скажи мне: есть у нас такие законы, чтобы человек за деньги не имел права купить, что он хочет? Чего она из себя корчит – законы тут свои устанавливает? Кто ей позволил? Ты скажи ей, скажи.

– Дай ты ему, – чтобы только отвязаться, – сказал председатель.

Мария решила схитрить.

– Доверенность принесет – тогда дам.

– Какую еще доверенность? – разинул рот Михаил.

– Принеси от Дарьи доверенность, что она позволяет тебе взять бутылку, тогда дам.

Председатель махнул рукой и ушел. Михаил еще покричал, покричал и хлопнул дверью, пообещав сжечь магазин. Потом Дарья рассказала, что он, требуя доверенность, набрасывался на нее с кулаками, пока она не убежала. И все же Михаила в тот вечер опять видели пьяным – видно, взял через вторые руки. Но тут уж Мария ничего не могла поделать.

Она знала, что люди при ней с удовольствием идут в магазин. Бабы собирались даже тогда, когда им ничего не надо было покупать. Стоят у прилавка, выстроившись очередью, обсуждают свои дела или перемывают кому-нибудь косточки. Старухи сидят на ящиках – несколько ящиков Мария так и не убирала из магазина, чтобы на них можно было сидеть. Мужики зимой перед работой заходили сюда курить, и Мария заставляла их топить печку. В старые праздники, если магазин был открыт, вваливались компании; тогда Мария, чтобы видеть, как пляшут, взбиралась на прилавок, потом ее стаскивали оттуда, заставляли закрывать магазин и вели с собой, пока она где-нибудь по дороге не сбегала.

Ей нравилось чувствовать себя человеком, без которого деревня не может обойтись. Если посчитать, то таких было немного: председатель сельсовета, председатель колхоза, врач, учителя и специалисты. И вот она. И то – если агроном уедет куда-нибудь на месяц, можно и не заметить, а она один раз три дня проболела, не открывала магазин – так поизбегались: когда да когда? Мария видела, что теперь с ней многие хотят завести дружбу, но старалась для всех быть одинаковой. Она хорошо помнила, как еще в первый месяц работы привезла в магазин клеенки, которых не было давным-давно; бабы, узнав про клеенки, потянулись к ней домой, и каждая подговаривалась, чтобы Мария по знакомству оставила ей хоть одну. Мария тогда будто бы и шуточно, чтобы никого не обидеть, но все-таки твердо сказала так:

– Да вы что, бабы? Это в городе по знакомству достают – там у продавцов есть знакомые, а есть и незнакомые. А вы мне тут все знакомые – как я другим-то в глаза будут глядеть? Вот завтра пораньше приходите и берите.

Утром Кузьма вышел на двор чуть свет – на крыльце уже толкалась очередь. Мария вскочила и, даже не убираясь по хозяйству, потому что невмочь было убираться, когда люди стоят и ждут, продала эти клеенки задолго до восьми часов, когда надо было открывать магазин.

Чуть ли не с первого же дня Марии пришлось завести тетрадь, куда она записывала должников. К концу эта тетрадь вся была в цифрах, к одним цифрам прибавлялись другие, потом они зачеркивались, за ними шли новые. А что будешь делать, если приходит Клава, с которой вместе росли и которая живет одна с двумя ребятишками, и говорит, что ее Катьку без формы не пускают в школу, а денег на форму сейчас нет? Дорогие вещи Мария редко давала в долг, все больше по мелочи. Когда долг становился большим, Мария заставляла сначала расплатиться, а потом уж снова разрешала брать по записи. Но в последнее время, ожидая ревизию, она собрала со всех; только Чижовы остались должны четыре рубля восемьдесят копеек.

Ревизию она начала просить еще с лета и всякий раз, приезжая за товарами, шла в контору и спрашивала, когда к ней пришлют ревизора. Требовать она не научилась, ей обещали, и она уезжала. Работать так, вслепую, не зная, что у тебя за спиной, стало невмоготу. Когда ревизор, наконец, приехал, она не то чтобы испугалась, но как-то вся замерла, затаилась в ожидании того, что будет, и, если он спрашивал ее о чем-нибудь, она вздрагивала и отвечала не сразу. Но даже в самых худших своих опасениях Мария не ждала того, что получилось. Когда закончили все подсчеты и ревизор показал их ей, она будто подавилась и весь этот вечер и почти весь следующий день не могла как следует продохнуть.

Она плакала, жалея и проклиная себя, и, плача, хотела себе смерти. Когда она думала о смерти, становилось легче, она словно проваливалась куда-то в потустороннее и уже оттуда смотрела на ребятишек, на Кузьму, представляла, как они будут жить без нее, и забывалась в жалости к себе. Но это продолжалось недолго, недостача, как палач, который дал ей немножко передохнуть, доставала ее затем отовсюду, где она хотела умереть своей смертью, и снова принималась казнить – было больно и страшно, о чем бы она ни подумала, как бы ни повернулась, все равно было больно и страшно, и она лежала без движения.

Потом пришел Кузьма и сказал, что председатель колхоза обещает ссуду. Сначала она не поняла, что это может значить, но затем вдруг спасение представилось ей так близко и ярко, что она испугалась, как бы Кузьма не упустил его, и, обхватив Кузьму за шею, повалив его, стала умолять, чтобы он спас ее, – с ней как бы сделался припадок. Кузьма прикрикнул на нее, потом лег рядом и приласкал ее, и она, измученная, всю ночь не сомкнувшая глаз, уснула – даже не уснула, а забылась, не страдая, – так пусто и хорошо стало на душе.

Ее разбудила Комариха, и Мария обрадовалась ей, сама попросила сворожить. Карты показали хорошее; Мария про себя подумала, что, даст бог, еще и обойдется, если Кузьма успеет собрать, сколько надо… в ней снова шевельнулась надежда, и Мария решила, что надо и ей тоже выйти в деревню и попробовать поискать деньги.

Из школы прибежал Витька и принес четыре рубля и восемьдесят копеек: Чижовы подкараулили его где-то по дороге и велели передать матери.

После обеда Мария пошла к Клаве, с которой дружила с детства. Клава молча усадила Марию на кровать, села рядом и, обняв ее, прижавшись к ней вплотную, заголосила сильным и чистым, как на запевках, голосом. Марии опять стало страшно, и она заплакала. Клава, услышав ее плач, заголосила еще сильнее. Но и плача, Мария чувствовала, что она делает не то, что надо, и скоро, вытирая слезы, к огорчению Клавы, поднялась и ушла.

У заулка к реке Марию остановила Надя Воронцова и стала говорить, что она, Мария, видно, с ума сошла, что приняла тогда этот магазин, что она сама себя решила в тюрьму посадить – не иначе. Ведь сразу же было видно, что до добра он ее не доведет.

Мария, не дослушав, повернулась и пошла домой. Больше она в деревню не выходила.

Больше она не верила, что у Кузьмы что-нибудь выйдет с деньгами. Почему не верила, она и сама не знала.

В купе, куда перебрался Кузьма, поменявшись местами с преферансистом, едут старик и старуха с одинаково седыми до полной белизны волосами и одинаково белыми, тоже как поседевшими, крупными лицами. На одной из верхних полок смята постель, значит третий пассажир тоже есть, но, видно, куда-то вышел.

Кузьма опять снимает сапоги и уже собирается взобраться на свою полку, но в купе вваливается пьяный парень. Некоторое время он удивленно смотрит на Кузьму, не спуская с него глаз, присаживается рядом со старухой, сразу же поднимается, вдруг веселеет и протягивает Кузьме руку:

– Будем знакомы.

Кузьма называет себя. Парень веселеет еще больше, но тут же делает серьезное лицо.

– Понятно, – говорит он. – Кузьма, значит. Будем знать. А это дедушка. – Он выбрасывает одну руку влево. – Это бабушка. – Вторая рука опускается вправо. – А это я. – Он складывает руки у себя на груди и хохочет.

– Эк красиво! Эк красиво! – качает головой старуха. – Незнакомый человек, ты его не знаешь, а позволяешь себе. Не обращайте на него внимания, располагайтесь, – говорит она Кузьме. – Он у нас опять в ресторан ходил.

– А что я такого сказал? – гремит парень. – Разве я его обидел? Кузьма, я обидел тебя?

– Пока ничего обидного не было, – осторожно отвечает Кузьма.

– Во! Слышала, бабуся? Кузьма не обиделся. Ну, бабуся, опять ты на меня тянешь!

Он подсаживается к старухе и, подмигивая Кузьме, обнимает ее.

– Уйди! – сердится старуха. – Скорей бы приехать. Надоел, честное слово!

– Ну-у? Неужели надоел? Со стариком всю жизнь живешь – не надоел, а я раз обнял – и надоел! Дед! – кричит он. – Отбить у тебя старуху?

– А это как сумеешь, – неторопливо отзывается старик.

Парень умолкает. С пьяной задумчивостью он смотрит на старика, потом на старуху и устало декламирует:

– «Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком…»

– Эк красиво! Эк красиво!

– «Рассердился дед на бабу, хлоп по пузу кулаком».

Парень оживляется.

– Дед, а ты когда был помоложе, бил свою старуху или нет?

– Я ее за всю жизнь пальцем не тронул, – с достоинством отвечает старик.

– Ни разу, ни разу?

– Ни разу.

– Теперь таких мужиков и нет, как мой старик, – говорит старуха.

– Куда уж там!

Парень ждет, что ему будут возражать, но все молчат. Он смотрит на каждого из них по очереди, просто так, ни от чего морщится и из последних сил спрашивает Кузьму:

– Так ты, Кузьма, с нами, что ли, поедешь?

– С вами.

– Давай.

Он опускает глаза и долго смотрит себе под ноги. Вагон мягко и мерно покачивает. Парень опускает руки, голову, закрывает глаза. Мимо проносится встречный поезд, но парень не слышит.

Кузьма забирается на свою полку. Старуха внизу тормошит парня:

– Ложись, так тебе неудобно. Вот хоть на мою приляг.

– А что – у меня своей нету?

Он поднимается, долго и тяжело лезет наверх и уже со своей полки что-то непонятно бормочет.

Кузьма оборачивается к нему – парень лежит с закрытыми глазами, и на его лице нет ничего, кроме сна.

Кузьма тоже закрывает глаза. Но засыпает он не сразу. Стук колес то отодвигается от него, то с грохотом надвигается – тогда Кузьма, пугаясь, открывает глаза и прислушивается. Он смотрит в окно – там все еще ветер. Кузьма устраивается поудобнее и в который раз пытается уснуть. В конце концов он засыпает.

Ему снится странный сон. Будто идет общее колхозное собрание, на котором обсуждается вопрос о деньгах для Марии. Народу собралось столько, что в клубе, где проводят лишь отчетные собрания, на этот раз тесно. Многие пришли со своими табуретками, многие стоят в проходах, а люди все идут и идут.

– Товарищи колхозники! – поднимается председатель. – Есть предложение закрыть двери. Все желающие сюда все равно не войдут.

Двери закрывают.

– Для ведения собрания нам надо избрать рабочий президиум, – говорит председатель. – Со стороны правления мы предлагаем избрать в президиум следующих товарищей: Марию и Кузьму. Ребятишек ихних выдвигать в президиум не будем по причине несовершеннолетия. Кто «за» – прошу голосовать.

Все «за». Кузьма и Мария под аплодисменты зала поднимаются на сцену и садятся за стол президиума. Кузьма всматривается в зал и почему-то не видит ни одного знакомого лица. «Мария, – испуганно шепчет он, – посмотри: народ-то не наш, чужой». – «Да ты что? – отвечает она. – Что с тобой, Кузьма? Все наши».

Кузьма всматривается в зал внимательней и теперь, когда аплодисменты стихли, видит, что люди и в самом деле все свои, деревенские.

– Товарищи колхозники! – говорит председатель. – Есть предложение помочь Марии.

Снова звучат аплодисменты.

– Мы тут между собой обсуждали этот вопрос, – продолжает председатель, – и решили так: надо сейчас всех пересчитать, выяснить, сколько тут нас есть, а потом, зная, сколько Марии требуется денег и сколько нас здесь присутствует, мы будем иметь понятие, по скольку рублей сбрасываться. Есть другие предложения?

– Нет.

– Тогда прошу считать по рядам. Но предупреждаю: за попытку выдавать одного человека за двоих будем выводить из зала.

Пока считают, Кузьма за столом президиума от радости щекочет Марию в бок. Она дергается и смеется. «Бессовестный, – шепчет она. – В президиуме так не делают. Сиди смирно». Он затихает.

– Двести двадцать пять человек, – кричат из зала.

– Тысячу рублей разделить на двести двадцать пять человек, – подсчитывает председатель за трибуной, – на каждого выходит по четыре рубля и сорок копеек.

– Чего там – по пять рублей на брата, – округляют сразу несколько голосов.

И вот стол, за которым сидели Кузьма и Мария, – уже не стол, а ларь, и в него со всех сторон, из многих-многих рук падают деньги. Через пять минут ларь полон. Мария не выдерживает и плачет, и слезы, как горошины, падают на деньги и со звоном скатываются внутрь.

– Все отдали? – спрашивает председатель. – В таком случае счетную комиссию прошу приступить к своим обязанностям.

Несколько человек выходят из зала и начинают считать деньги. Они собирают их в пачки – пятерки, тройки и рубли отдельно, сверху, совсем как в банке, надписывают сумму и складывают пачки аккуратной стопкой.

– Одна тысяча сто двадцать пять рублей, – наконец объявляют они.

Председатель с неудовольствием качает головой.

– Сто двадцать пять рублей излишку. Что будем делать?

– Пускай забирают все, – советуют ему.

– Нет, так нельзя, – не соглашается он. – Сто двадцать пять рублей – большие деньги. У меня есть вот какое предложение: давайте все деньги унесем в музыкальную комнату, и по одному каждый из нас войдет туда. У кого недостаток в деньгах, тот пускай возьмет рубль или два обратно. Прошу не шуметь и не возмущаться: мы не миллионеры. Кто не хочет брать – не надо, но чтобы непонятно было, кто взял и кто не брал, войти туда обязан каждый. Есть другие предложения?

– Нет.

Деньги уносят. Люди по одному поднимаются, заходят в музыкальную комнату и сразу же возвращаются на свои места. Последней идет Комариха. Кузьма видит, как она вскакивает, оглядываясь, прикрывает за собой дверь. И вдруг еще там, в музыкальной комнате, раздается ее крик.

Комариха выбегает, обводит зал обезумевшими глазами и кричит:

– Там их нет! Нет ни копейки! Я хотела взять только рубль.

Зал взрывается от смеха. Люди хватаются за животы, визжат и стонут, показывают друг другу на Комариху пальцами. Комариха стоит посреди зала с открытым ртом и вдруг, не выдержав, тоже начинает смеяться. Кузьма смотрит на зал с удивлением и ужасом; ничего не понимая, он оглядывается на Марию: присев, она корчится от смеха.

Кузьма просыпается и слышит, как старуха говорит старику:

– Сережа, давай грелку, пойду горячей воды налью.

Прижав грелку к груди, она уходит. Тихо. Только постукивает по рельсам поезд, но звука этого, если к нему не прислушиваться, не слыхать. В окно падает серый, измученный ветром свет, в мягко покачивающемся вагоне он успокаивается, становится по-сумеречному уютным. Парень спит, подперев огромным кулачищем подбородок.

Старуха возвращается, побулькивая водой в грелке, сует ее старику под одеяло. В зеркало внизу Кузьме видно, как старик вытягивает ноги и замирает.

– Сегодня не болит? – спрашивает его старуха.

– Нет, сегодня спокойно.

– Ну и хорошо.

Они переговариваются тихими, заботливыми голосами, и голоса эти незаметны, они не вырываются из тишины, будто совсем не звучат, а только угадываются. Кузьма чувствует, что ему больше не уснуть, но признаться себе в этом не хочет; тогда придется о чем-то думать или что-то делать. И он лежит с закрытыми глазами. Больше всего он боится думать о том, что мог бы значить этот сон с деньгами. Приснится же такое! Ничего он, конечно, не значит, просто думаешь все время об одном и том же, надумано уже столько, что теперь лезет обратно. А все же на душе нехорошо. Одно к одному: ветер, история с билетом и вот теперь этот сон. Неужели ничего у него не получится? Неужели все зря?

– Сережа, – доносится до Кузьмы голос старухи, и Кузьма рад, что он может к чему-то прислушаться и отвлечься от своих страхов. – Сережа, уж теперь телеграмма наша, наверное, пришла, правда?

– Теперь, конечно, получили, – отвечает старик.

– Ждут.

Старуха ласково, с откровенной радостью улыбается, и щеки на ее широком, крупном лице расползаются еще шире. На несколько минут лицо ее так и застывает с этой улыбкой, потом, устав, улыбка тихонько сходит с лица.

В тот же день, когда Кузьма был у Евгения Николаевича, от директора школы прибежал мальчишка.

– Евгений Николаевич сказал, что он завтра в район не может ехать и что теперь он поедет послезавтра и все сделает, как договорились.

– Ладно, ладно, – согласился Кузьма.

У него как раз, поджав под себя по-турецки ноги, сидел на полу возле печки дед Гордей. Когда мальчишка убежал, дед Гордей спросил:

– Много он тебе посулил?

– Сто рублей.

– Мог бы побольше дать, у него деньги есть.

– Говорит, нету больше.

– Слушай ты его! – хмыкнул дед. – Нету – как же! Грамотный, холера, сильно! Не столько грамотный, сколько хитрый, – вот как я тебе скажу. Наш брат хитрить не мастак, он схитрит, его сразу видать, а Евгений Николаевич схитрит, и тебе же перед ним неловко, будто это ты схитрил, а не он. Грамотный, о-о!

Кузьма промолчал.

Дед Гордей сидел у него уже часа полтора. Кузьме надо бы куда-нибудь идти и что-то делать, а он вместо этого слушал болтовню деда. Сказать, что ты, дед, мешаешь, тоже нехорошо – еще обидится. И Кузьма отмалчивался, надеясь, что деду одному говорить надоест и он уйдет.

Деду Гордею было за семьдесят, но старел он плохо. Правда, за последний год он почему-то покосился на один бок, и за это в деревне его успели прозвать лейтенантом Шмидтом в честь парохода «Лейтенант Шмидт», который шлепал по реке уже лет тридцать, но после войны от старости или от чего-то еще стал заваливаться на правый борт и ходил, загребая им воду. Пароход несколько раз ставили на ремонт, но выправить никак не могли, и он снова, к тайной радости береговых деревень, появлялся со своей старой, знакомой всем осанкой.

Кособокость деду Гордею, видно, мешала не сильно, потому что бегал он по-прежнему бодро. По ночам дед сторожил в мастерских, а днем от нечего делать бродил по деревне. Если он усаживался на пол и доставал старую, прокуренную до дырки внизу трубку, можно было не сомневаться: это надолго. Деду торопиться было некуда. Он жил один в маленькой заброшенной избушке на краю деревни, а свой пятистенный дом оставил сыну, с большой и ругливой семьей которого он не ужился, и после смерти старухи перебрался в «курятник», как он называл свою избушку. В «курятнике» и в самом деле было грязно: сам дед убирать не привык, и только Комариха, доводившаяся ему дальней родственницей, раз в месяц, а то и раз в два месяца, причитая, выгребала из избушки лишнее. Но дед этого не замечал.

Устраиваясь поудобнее, дед Гордей вытащил из-под себя одну ногу, пристроил ее так, чтобы можно было на нее облокачиваться, и сказал:

– Холера, и у меня-то, как на грех, денег нету, а то бы ты беды не знал.

– Ладно тебе, дед, – отмахнулся Кузьма. – Откуда у тебя деньги – чего тут говорить!

– Дак вот, нету. А то бы мы с тобой не сидели, не мараковали, а пошли бы да и взяли у меня.

– Я уж как-нибудь сам справлюсь, – сказал Кузьма, давая понять деду, что он обойдется без него. – Чего я еще тебя буду впутывать в это дело?

Дед, обидевшись, умолк. Он выбил из трубки себе на колено пепел, дунул на него и снова стал набивать трубку, сосредоточенно вдавливая табак большим пальцем. Уходить никуда он не собирался и, раскурив трубку, тут же забыл об обиде.

– Дак ты, говоришь, у Евгения Николаевича был? – снова начал он.

– Был, был.

– У него деньги есть, пожалел он тебе. Может, мне у него от себя спросить?

– Не надо, дед. Найду я. Это моя забота, а не твоя. Шел бы ты лучше отдыхать.

На этот раз дед рассердился совсем не на шутку.

– Ты, Кузьма, как ребенок малый. Я что, для себя стараюсь, что ли? Я весь свой век без денег жил и теперь остатки без них проживу – мне их не надо. Табак у меня свой, кусок хлеба тоже есть, а трубку прикурить я и от уголька могу. Мне, старику, деньги что есть, что нету, я на них, знаешь…

– Ладно, дед, ладно, – примирительно сказал Кузьма.

– Мне обноски свои донашивать до самой смерти хватит. А ежели выпить, то я аппарат сооружу и такого накапаю, что огнем гореть будет, не хуже твоего спирту. Я за весь свой век сколько раз деньги в руках держал – по пальцам сосчитать можно, я с малолетства был приучен все сам делать, на свои труды жить. Когда надо, и стол сколочу и катанки скатаю. В голодуху, в тридцать третьем году, и соль для варева на солонцах собирал. Это теперь все магазин да магазин, а раньше в лавку два раза в год ходили. Все свое было. И жили, не пропадали. А теперь шагу нельзя ступать без денег. Кругом деньги. Запутались в них. Разучились мастерить – как же, в магазине все есть, были бы деньги. Еще слава богу, если их нету у кого – там ребятишки хоть не разучатся руками двигать, на себя будут надеяться, а не на деньги.

А то ведь это что? На иждивение перешли. И маленькие и большие.

– Раскипятился ты, дед.

– Я правду говорю. Когда у нас раньше бывало, чтоб деревенские друг дружке за деньги помогали? Хошь дом ставили, хошь печку сбивали – так и называлось: помочь. Была у хозяина самогонка – ставил, не было – ну и не надо, в другой раз ты ко мне придешь на помочь. А теперь все за деньги. Огород спашет – десятка, сена привезет – десятка, а если отвернется, не чихнет на тебя, то дешевле – рубль. Работают за деньги и живут за деньги. Везде выгоду ищут – ну, не стыд ли?

– Давай, дед, кончай, а то это разговор надолго.

– Да я уж все сказал. Ты думаешь, если старый, дак дурак. Я все понимаю, поболе твоего пожил. И людей всяких видел.

Трубка у него за это время погасла, он спохватился и, причмокивая, стал ее раскуривать. Потом курил – молча, с закрытыми глазами. Кузьма подумал, что теперь он должен уйти. Уже смеркалось, на дворе раз за разом надсадно кричала недоеная корова, но Мария после обеда куда-то ушла, и корова старалась зря.

– Если брать с верхнего края, – очнувшись, заговорил снова дед и объяснил Кузьме: – Это я все маракую, к кому тебе пойти. Кто там, на верхнем краю, денежный? У Евгения Николаевича ты был. – О-о, этому палец в рот не клади. Этот у себя, на верхнем краю, пукнет, на всю деревню во-онько пахнет, а как до дела коснись, чтоб человеку помочь, десять раз оглянется, пока рубль даст, будто на рубль здоровье свое отдает. А так и есть: изведется весь, а здоровье от этого тоже садится.

– Да черт с ним, вот пристал ты ко мне с Евгением Николаевичем! – обозлился Кузьма.

Дед Гордей будто и не услышал его, продолжал говорить:

– У Петра Ларионова нету, этот простофиля. Этот бы тебе весь белый свет отдал, если бы он у него был. Вот так жизнь и устроена, что рядом с Евгением Николаевичем живет Петька Ларионов, а они друг дружке как небо и земля. В одном месте родились, на одном языке разговаривают, а нет, не родня. – Со спокойным удивлением дед покачал головой и продолжал: – Ежели к агроному тебе стукнуться, дак он опять с леченья недавно, поди, поистратился. Оно сходить можно – вдруг да осталось сколько. Заработки у него хорошие: говорят, с государства деньги идут и с колхоза трудодни. Правда это?

– Правда.

– Сходи в таком разе. Глядишь, даст. А не даст, к Мишке, к соседу его, загляни. – Дед коротко хохотнул, как кашлянул. – У этого разживешься! Этот на три года вперед все с себя пропил. Ой, пье-от! У кого тут еще возьмешь? – тянул свое дед. – Не знаю, Кузьма, не скажу тебе. И живут люди вроде неплохо, а все на жизнь и уходит. В заначку шибко не спрячешь. У всех ребятишки, своя нужда. Теперь и время вроде сытное, еще хорошо, что твоя беда теперь подгадала, а не весной, дак тебе картошку или зерно не будешь по дворам собирать. Кому ты их продашь? То-то и оно. На сто верст кругом такой же мужик живет.

Дед заговорил о том, о чем Кузьма со страхом думал и сам: денег в деревне немного и лишних скорей всего нет. На трудодни выдали только хлеб, а продать его и правда было некому, да он ерунду и стоит. Но не мог же Кузьма согласиться с дедом, что да, дело табак, он не имел права даже так думать. И он сказал:

– Найдем, дед, найдем.

– Найдем, – передразнил его дед. – У кобылы под хвостом они спрятаны – там ищи.

– Деньги у людей есть.

– Откуда они?

– Может, скажешь, у той же Степаниды денег нету, когда она каждый год то корову, то быка в колхоз сдает? Да у ней, поди, тысячи припрятаны.

– У Степаниды, однако, и правда есть.

– Вот, у Степаниды. У механизаторов тоже должны быть. Им в уборочную и премиальные, и такие, и сякие платили.

– Дак это когда было.

– Есть у людей деньги, дед. Неужто я со всей деревни не соберу? Неужто не выручат? Врешь, дед, выручат.

– А я тебе ничего такого и не говорю.

– Ну и ладно. – Кузьма оживился, поверил в свои слова сам. – Мы с тобой, дед, не пропадем. Иди-ка ты теперь на свое дежурство, а я пойду делать обход. Вот возьму мешок и в мешок буду собирать. А что? Один наберу, за другим приду. А потом тебя в сторожа найму, чтоб ты деньги мои охранял.

– Ну и балаболка ты, Кузьма, – прищурился в улыбке дед.

Он стал подниматься: сначала встал на четвереньки и только потом на ноги.

Растирая бок, на который клонился, сказал Кузьме:

– Дак я к тебе буду заходить узнавать.

– Заходи, заходи, дед. Чем железо караулить, будешь у меня к деньгам приставлен. Ты сторож для меня подходящий, у тебя трубка, на раскурку их ты не пустишь.

– Кхе-кхе-кхе, – закашлялся в смехе дед.

Когда человеку под пятьдесят, трудно сказать, есть у него друзья или нет. Столько самых разных людей, как в гостях, перебывало у него за это время в друзьях, что теперь осталось только умудренное с годами, молчаливо-спокойное отношение к близкому человеку. Не чаще, чем с другими, они встречаются, не имеют общих тайн, но при случае каждый из них осторожно, словно не доверяя самому себе, вспоминает, что есть у него человек, который, когда понадобится, поймет его и поможет ему.

Вечером Кузьма пошел к Василию. Сразу после войны одно время они вместе работали на полуторке – на весь колхоз тогда была только одна машина, на которой они и ездили: сами шоферы, сами грузчики. Потом Кузьма пересел на американский «студебеккер», а полуторка осталась Василию, и он на удивление долго еще мусолил ее на колхозных побегушках, пока она окончательно не развалилась. Колхоз как раз получал две новые машины ЗИС-150, которые отдали Кузьме и Василию, но Василий на своем ЗИСе проработал недолго: у него что-то началось с глазами, тут, как на грех, подоспела проверка, и его комиссовали. Последние четыре года Василий был бригадиром овощеводов.

Они встречались чуть не каждый день, как встречаются в деревне все, но с годами постепенно отошли друг от друга. Они здоровались, говорили друг другу всякие слова о чем попало и расходились. Но старое, так и не вытесненное ничем чувство, что Василий свой человек ему, в Кузьме продолжало жить, и он берег в себе это чувство, думал о Василии хорошо и спокойно и про себя надеялся на него. Был еще один человек, к которому Кузьма относился как к товарищу, но тот, другой, был председатель, поэтому Кузьма сам старался держаться от него подальше, чтобы не получилось, что он навязывается к начальству в друзья-приятели.

Василий встретил Кузьму без удивления и без радости, молча пожал ему руку, как это и водится, спросил о житье. Видно было, что он уже слышал о недостаче и теперь не знает, как себя вести, а охать да давать бесполезные советы он не умел. Они сидели и курили. То и дело из кухни к ним выходила жена Василия, смотрела на Кузьму со страхом и с жалостью, но, ничего интересного не услышав, снова пропадала. Расспрашивать Кузьму не решались, а сам он отмалчивался. Он чувствовал себя человеком, которого ночь настигла в чужой, незнакомой деревне, и он попросился в этом доме переночевать. Ложиться еще рано, и вот теперь все они, и хозяева, и он, поночевщик, так и не познакомившись как следует и не разговорившись, с трудом коротают время.

Кузьма поднялся и попрощался. Василий вышел его проводить. У ворот они постояли, помялись, чувствуя, что встреча вышла неловкой, но поправлять ее было уже поздно. Василий сказал:

– Ты заходи, Кузьма, когда время будет.

– Зайду, – пообещал Кузьма.

Тогда Кузьма впервые подумал о брате. На худой конец, если он не достанет денег в деревне, можно поехать в город к Алексею. Брат, говорят, живет хорошо.

Кузьма не был в городе у брата, а виделись они в последний раз семь лет назад, когда умер отец.

Это было осенью, в горячее, страдное время, и Алексей, вызванный из города телеграммой, провел тогда в деревне два дня и сразу после похорон уехал. Они договорились, что он приедет на сороковины, когда отцу можно будет устроить неспешные, обстоятельные поминки, на которые соберется вся родня, но почему-то так и не приехал, и поминки прошли без него. Потом, месяца через два, он написал, что был в командировке.

Кузьма редко вспоминал Алексея. Это случалось, когда он думал об отце или матери; тогда само собой приходило на память, что он не один, что на свете их живет два брата. Но они настолько отвыкли друг от друга, что мысли об Алексее казались Кузьме не настоящими, не его собственными, будто кто-то ему подсказал их. И он сразу же опять надолго забывал об Алексее. Получалось так, что они братья не всегда, не каждую минуту, а только при встречах, да еще были ими в детстве, когда вместе росли.

Три года назад Мария ездила в город в больницу и остановилась у Алексея. Она переночевала там две ночи, а потом, вернувшись, сказала, что лучше жить у чужих. О том, что Алексей с женой живут богато, она говорила без удивления и без зависти. «И телевизор и стиральная машина есть, а только, куда ни взгляни, за тобой присматривают, не натворила бы чего, куда ни ступи, за тобой идут и следы твои подтирают. Разговаривали без интереса. Мы для них что есть, что нету. Нет уж, больше меня к ним калачом не заманишь».

В прошлом году адрес брата взял у Кузьмы Михаил Медведев, одногодок Алексея, с которым они вместе после войны учились в ФЗУ. Михаила колхоз на зиму отправлял на курсы бригадиров, и он решил там наведаться к Алексею. Когда он приехал обратно, Кузьма при встрече поинтересовался:

– Ну как, был у брата?

– Был, ага, заходил.

– И как он там?

– Хорошо. Живой, здоровый. Мастером на фабрике работает, – уклончиво ответил Михаил.

И только позже по пьянке пожаловался:

– Узнать меня узнал, а за товарища не захотел признать. Бутылку и ту не распили.

Размышляя об этом, Кузьма решил, что брат для деревни совсем уж отрезанный ломоть – и потому, что его не манит сюда приехать, посмотреть, как живут свои и не свои, походить по старым, с детства знакомым местам и разбередить этим душу, и потому, что ему неинтересно с деревенскими разговаривать, знать хоть со слов, что сталось с дедом Федором, который когда-то жарил его крапивой, или с девчонками, которых он провожал с полянки. В глубине души Кузьма обижался на Алексея, но это была слабая, не болящая обида.

В конце концов брат сам должен понимать что к чему, он не маленький. У них с деревней это обоюдное: брат постепенно забывал свою деревню, а стало быть, и свое детство, а деревня постепенно забывала, что был у нее когда-то такой человек.

Но если Кузьма приедет к нему, Алексей, конечно, поможет. Все-таки брат, одна кровь. У него деньги должны быть. Кузьма объяснит, что это ненадолго, что через два месяца с небольшим ему дадут в колхозе ссуду и он сразу вышлет. И как он раньше не вспомнил о брате?

Дома, чтобы успокоить Марию, Кузьма сказал:

– Если в эти дни не соберу сколько надо, поеду к Алексею.

– Не даст он, – помолчав, сказала она.

И вся уверенность в том, что ему надо ехать к брату, у Кузьмы сразу пропала.

К деньгам Кузьма всю жизнь относился очень просто: есть – хорошо, нет – ну и ладно. Это отношение выработалось главным образом оттого, что денег постоянно не хватало. У них в доме почти всегда была хорошая, сытная еда: хлеба Кузьма зарабатывал вдоволь даже в неурожайные годы, молоко и мясо шли со своего двора. Но деньги… Он слышал о колхозах, где на трудодень приходится по полтора и даже по два рубля, верил, что так оно в самом деле и бывает, но у них в таежном колхозе, в котором поля, как заплатки, были разбросаны то здесь, то там, никто еще больше полтинника на трудодень не получал. Последние три года, с тех пор как взяли ссуду на постройку дома, при зимних, годовых расчетах Кузьма и совсем получал копейки. То, что зарабатывала в магазине Мария, шло на ребятишек. Когда в семье четыре парня, одежонка на них горит, как на огне. Еще удивительно, что Мария как-то сводила концы с концами и ребятишки ходили чисто, не хуже других; старших не стыдно было отправлять в школу, а младшие, как это и водится с испокон веков, донашивали одежонку старших.

Кузьма не считал, что они живут плохо. Самое необходимое в доме есть, раздетыми, разутыми никто не ходит. Он никому не завидовал. К людям, живущим лучше его, он относился так же спокойно, как и к тем, кто выше него ростом. Если он не дорос до них, не ходить же ему теперь на цыпочках. В конце концов каждый топчет свою дорожку.

Кузьма не понимал и не старался понять, как у людей остается сверх того, что уходит на жизнь. Для него самого деньги были только заплатками, которые ставятся на дырки, необходимостью для необходимости. Он мог думать о запасах хлеба и мяса – без этого нельзя было обойтись, но мысли о запасах денег казались ему забавными, шутовскими, и он отмахивался от них. Он был доволен тем, что имел.

У них на почте, где была также и сберкасса, вот уже несколько лет висел на стене плакат, на котором розовощекий, не похожий ни на кого из деревенских мужиков мужчина без устали призывал каждого: «Брось кубышку – заведи сберкнижку». Но когда на почте бывал Кузьма, мужчина смотрел мимо него. Кузьма, дурачась, переходил с места на место, лез под его взгляд, но мужчина с плаката всякий раз отворачивался, смотрел где-то рядом с Кузьмой и все-таки мимо. Кузьма, довольный, уходил.

И вдруг понадобилось сразу много денег. Кузьма растерялся. Почему деньги выбрали его? Ведь он никогда не имел с ними ничего серьезного. Казалось, за это они и решили ему отомстить. Волей-неволей ему приходилось теперь не просто размышлять, а постоянно думать об одном и том же: где достать деньги? К Евгению Николаевичу он пошел сразу потому, что всегда слышал: у него деньги есть. А дальше? Еще до деда Гордея он мысленно прошелся по деревне от одного края до другого и вернулся домой ни с чем: одни жили лучше, другие хуже, но каждый в своем доме жил своим, у каждого были свои дырки, на которые он готовил заплатки.

Кузьма даже в мыслях не осмеливался просить у них деньги. Он представлял себе свой обход так: он заходит и молчит. Уже одно то, что он пришел, должно было сказать людям все. Но и они молчат, и это молчание, в свою очередь, также говорит ему больше и яснее всяких слов. Он прощается и идет дальше. В каждый дом заходить нет смысла, он выбирает только те, где, как ему кажется, могут быть деньги. Но деньги с порога не увидишь, их почему-то всегда прячут: засовывают в щели к тараканам, в карманы старых пиджаков, на дно чемоданов. Считается, что деньги боятся света. Если бы они, как фотографии хозяев, были на виду. Кузьма сам бы решил, надо ли здесь, в этом доме, просить, он бы лишнее не взял. Но и там, где они спрятаны, и там, где их вовсе нет, он в одинаково трудном положении: его встречает молчание, а что за ним – безденежье или скупость, нежелание понять его беду, – он не знает.

И все же Кузьма надеялся, что на самом деле все будет по-другому. Кто-то отмолчится, а кто-то войдет в его положение, скажет просто и легко: «У нас тут, кажется, есть полсотни, на мотор к лету копили, но тебе сейчас они нужнее– возьми». Хозяин как бы между прочим протянет ему деньги, и он тоже как бы между прочим возьмет в руки тоненькую теплую пачечку из нескольких бумажек, без особого внимания засунет ее в карман, и они с хозяином снова займутся разговором о чем придется, но ни один из них даже словом не заикнется больше о деньгах.

Кузьма и пошел сперва к Василию, чтобы почувствовать, может ли он на что-то надеяться, он хотел начать с удачи, а не с отказа, чтобы у него не опускались руки, когда он пойдет дальше. И ничего не получилось. Кузьма вернулся домой и не сел, а как-то осел на табуретку у окна, не зная, с какого боку теперь приниматься за поиски денег. Но потом вспомнился брат, и Кузьме стало легче.

Он понимал: деньги есть и в деревне, пусть немного, но есть. Каждому хочется жить не хуже других. Ради того, чтобы скопить на мотоцикл, мужик будет ходить в последних штанах, а рубль припрячет; он спит и видит себя с мотоциклом, и на заплатки на штанах ему наплевать.

На такие деньги Кузьма и рассчитывал. На мотоцикл или на мотор их еще не хватает, и они пока лежат без пользы и без движения, никому не делая добра. Так неужели люди откажутся на время дать их Кузьме, чтобы он мог отстоять Марию? Не может быть!

В окно, в закрытый ставень постучали.

– Кто там? – приподнялся Кузьма.

– Кузьма, выйди на минутку, – позвали с улицы.

Мария выскочила из спальни, испуганно прижала руки к груди.

– Кто это?

– По голосу будто Василий. Чего ты испугалась?

– Сама не знаю.

Василий стоял у ворот, выступая из темноты высокой, крупной фигурой.

– Чего в избу не заходишь? – спросил Кузьма.

– Нехорошо получилось, – не отвечая, сказал Василий. – Ты пришел, а поговорить не поговорили. Зачем приходил-то?

– Сам знаешь зачем.

– Догадываюсь.

– Ну вот. Что еще говорить? Я же знаю, денег у тебя нету, – со слабой надеждой сказал Кузьма.

– Нету. У бабы где-то лежат двадцать рублей, и все.

– В избу заходить будешь?

– Нет. Там разговора не получится. Давай сядем здесь.

Они сели на скамейку у ворот, закурили и, посматривая в темень перед собой, долго молчали, но не тяжелым, понятным молчанием. Сбоку, уходя вправо от них, горели деревенские огни, оттуда доносились голоса, иногда срывался и затихал где-то возле клуба смех. Было не поздно, но деревня уже успокаивалась, не успев привыкнуть к ранней темноте. Голоса и звуки раздавались поодиночке и становились все реже.

Папиросы докурились; почти в одно время они бросили их себе под ноги и еще помолчали. Потом Кузьма пошевелился, сказал:

– Живешь, живешь и не знаешь, с какой стороны тебя огреют.

– Это так, – отозвался Василий.

– Еще вчера все ладно было.

– А завтра кто-то другой на очереди. Может, не из нашей, из другой деревни, а потом и до нашей снова дойдет – до меня или еще до кого. Вот и надо держаться друг за дружку.

– Да-а.

– Евгений Николаевич дает тебе, я знаю, а еще кто есть, нет?

– Пока никого. Хочу завтра к Степаниде сходить, да, однако, не шибко выгорит.

– К Степаниде? – Василий с сомнением повел головой, помолчав, сказал: – А давай завалимся к ней сейчас. Вдвоем на нее надавим. Она же в бригаде у меня, может, при мне постыдится отказать.

– Пошли. Чтоб уж сразу.

– А откуда ты знаешь про Евгения Николаевича? – уже по дороге спросил Кузьма.

– Баба сказала. Да он сам, наверно, не вытерпел, доложил. Как не похвалиться – доброе дело собрался делать!

– Я теперь как космонавт, – невесело пошутил Кузьма. – Куда ни пойди, вся деревня знает.

– А ты как думал? Ты теперь на двор ходи и оглядывайся, чтоб не сфотографировали. Смех смехом, а рубли твои – это уж точно – вся деревня считает.

– Сейчас Степаниде и говорить не надо, зачем пришли. Она, поди, с утра ждет.

– И место подыскала, куда прятаться.

Они засмеялись. Рядом с Василием Кузьма чувствовал себя легче, и беда его не стояла теперь комом в одном месте, а разошлась по телу, стала мягче и как бы податливей. И хоть надежды на то, что им повезет, было мало, Кузьма знал, что от Степаниды они выйдут вместе, прежде чем расходиться, будут разговаривать и, наверно, о чем-нибудь договорятся на завтра. Это его успокаивало, помогало не думать все время об одном и том же.

Степанида жила в большом, на две семьи, доме вдвоем с племянницей Галькой, которая осталась ей от умершей сестры. Гальке шел семнадцатый год, но девка она была крупная и уже давно переросла Степаниду что ввысь, что вширь. Мир их почему-то не брал, и они жили как кошка с собакой; когда в избе становилось тесно, выскакивали во двор и крыли друг друга на всю деревню таким криком, что соседские собаки, оглядываясь, с поджатыми хвостами переходили на другую сторону улицы.

Когда мужики вошли, Степанида засуетилась, запричитала от радости, но на ее лице появилось да так и не сошло потом настороженное выражение с одной мыслью: к чему бы это? Улыбка то и дело проваливалась, но Степанида снова водворяла ее на лицо и, суетясь, ждала. Мужики разделись, сели рядом на скамейке. На голоса из комнаты вышла Галька – в коротком, тесном ей платьице, с голыми крепкими коленками.

– Явилась! – найдя себе дело, напустилась на Гальку Степанида. – Смотрите на ее, красавицу писаную. Хошь бы оделась, не показывала мужикам срамоту свою.

– А то они не видали! – лениво огрызнулась Галька.

– У-у, бесстыжие твои глаза!

– Ага, а твои не бесстыжие?

– Иди отседова.

Галька, подмигнув мужикам, ушла.

– Измаялась я с ней, – стала жаловаться Степанида. – Ой девка, не приведи господь никому такую. Сколько она из меня крови высосала!

– Ага, была там у тебя кровь, – отозвалась Галька. – У тебя там помои, а не кровь.

– Во, слыхали? Ей слово, она тебе десять. Ей десять, она тебе тыщу. И как я еще дюжу, сама не знаю. Вот счастье-то выпало под старость лет.

– Делать вам нечего, вот и грызетесь, – сказал Василий. – Ты Степанида, лучше другое скажи: неужели ты нам ничего не подашь?

Степанида растерянно прищурилась.

– Ну и хитрый ты, Василий!

– А чего тут хитрого? Я тебе прямо говорю. Мы с Кузьмой идем и про себя думаем: одна надежда на Степаниду, она, если есть, последнее выставит.

– Ой, Василий, да я для хороших людей и сама хорошая. Когда есть, мне ее жалко, ли чо ли? Для того и держу: а вдруг хороший человек зайдет, а мне и поднести нечего.

– Это правильно.

Подбирая юбки, Степанида полезла в подполье, подала оттуда зеленую, в земле, бутылку, закапанную сургучом. Кузьма, сидевший ближе к подполью, принял бутылку, прищурив один глаз, посмотрел ее на свет.

– Она, она, – заверила Степанида.

– Вот с этого бы и начинала, – повеселел Василий, – а то связалась со своей Галькой.

– Не поминай мне про ее.

Степанида вытерла бутылку о подол, поставила ее на середину пустого еще стола и побежала в амбар – видно, за закуской.

– О деньгах сразу не заговаривай, – предупредил Василий. – Обождем, когда готова будет.

– Да ты сам и скажешь.

– Можно и так.

Из комнаты вышла Галька, увидела на столе бутылку.

– Ого, уже облапошили мою тетку! Ловко вы!

– Ну и змея же ты, Галька! – рассердился Василий. – Тебя спрашивают? Еще не выросла, чтобы со мной на таком тоне разговаривать.

– Смотри-ка ты! А как с тобой прикажешь разговаривать? По батюшке или, может, по матушке?

– А, да чего с тобой говорить! Ты разве поймешь?

– Ну и не говори. Я к тебе не навязываюсь. Обидел он меня! Думаешь, я не знаю, зачем вы сюда закатились?

– Тише ты! – зашипел Василий.

– Ага, испугался! Не бойся, не скажу. Только не заедайся, понял? Я еще и помогать вам буду, если со мной по-хорошему. – Она взглянула на Кузьму, жалобным голосом сказала: – Мне тетку Марию жалко. – Снова перевела взгляд на Василия. – Думаешь, если ты постарше, так имеешь право на меня покрикивать? На бабу свою покрикивай. Я к тебе не нанималась.

– Здорова же ты горло драть, – сдерживаясь, подивился Василий.

– Ага, не на ту напал.

– Ладно вам, – стал успокаивать их Кузьма. Прибежала Степанида, засуетилась возле стола. Усаживая за стол мужиков, стала причитать обычное при гостях, заменившее молитву:

– Ничего такого нету – прямо стыд! Если бы знала, что придете, чего-нибудь бы и приготовила, а то все на скору руку. Стыд, стыд…

– Ты, Степанида, не прибедняйся. С такой закуской можно неделю гулять, – успокоил ее Василий.

– Уж ты, Василий, скажешь. Разлили в три стакана. В точно рассчитанный момент, уже когда чокнулись и остановили дыхание, встряла Галька:

– А мне?

Степанида даже дернулась от злости, подалась вперед.

– Ну, скажите мне, что она не вредительница! Ведь это уметь надо! Ни раньше, ни позже, в самый раз угадала, чтоб испортить людям аппетит. Ой-ей-ей! И за что меня господь бог покарал такой холерой?

Галька, ухмыляясь, принесла стакан, поставила его перед Степанидой, а себе взяла ее стакан.

– Не трожь, окаянная сила! Кому говорю: поставь на место!

– Нальешь в этот – поставлю.

– Неохота при людях с тобой займоваться, а то бы я тебе показала, как с родной теткой разговаривать, я бы тебя научила…

– Где уж там!

– Ой, окаянная сила! Ой, окаянная сила! – запричитала Степанида, но в стакан плеснула. Галька взяла его, отлила еще в него из Степанидиного и потянулась чокаться.

– Не рано тебе наравне с мужиками пить? – не сдержался Василий.

Галька прищурила глаза, выразительно уставила их на Василия, но он продолжал:

– Еще молоко на губах не обсохло, а туда же. Что из тебя потом будет?

– Во-во, – поддакнула Степанида. – Слушай, что тебе умные люди говорят, раз уж ты родную тетку ни в грош не ставишь.

Но Галька смотрела на Василия.

– Катись-ка ты отсюда со своей лекцией, – спокойно сказала она. – Я и без тебя грамотная, понял?

– Как ты разговариваешь с человеком? – затряслась Степанида. – Он кто тебе – дядя родной? – так с ним разговаривать! Ты уж совсем, ли чо ли, ума решилась?

– А пускай помалкивает, а то я его быстро на чистую воду выведу.

Кузьма под столом толкнул Василия коленкой, чтобы он отступился от Гальки.

– Ходит где-то хороший парень и не знает, что на него уж тут петля заготовлена, – не смог остановиться сразу Василий. – Вот кому-то достанется золотце.

– Да уж не тебе.

– Упаси бог.

– То-то ты и заоблизывался, когда я в том платье вышла.

Кузьма перебил их:

– Может, мы в бутылку обратно сольем да вас слушать будем?

Выпили. Галька подмигнула Кузьме и показала глазами на Степаниду. Кузьма незаметно покачал головой. Гальке не терпелось видеть, как будут раскошеливать ее тетку. Вот змея! Вызвалась в помощники, а умишко детский, как бы она со своим гонором не испортила все дело.

– А ты чего в клуб не пошла? – совсем некстати спросил он ее.

Галька прищурилась.

– Мешаю, что ли? Я же вам сказала, я за вас, если он, – она показала на Василия, – не будет заедаться.

– Чего это, чего? – насторожилась Степанида.

– Проехали, – отрезала Галька.

Кузьма замер. Разговаривать с Галькой было опасно. Она и понятия не имела о том, что существуют обходные маневры, или считала их лишними для своей тетки, с которой, мол, не стоит цацкаться, а надо, как курицу, хватать, пока она сидит на месте, и щипать. Нахмурившись, Кузьма показал ей, чтобы она помалкивала. Галька отвернулась.

– А ты чего, тетка, не допиваешь? – разглядела она. – Всех хитрей хочешь быть?

– Э, нет, так у нас не пойдет, – приподнялся Василий. – Что же ты это, хозяюшка? Давай, давай. Так у нас не делают.

– Ой, да я с ее хвораю, – стала отказываться Степанида.

– Ты, Степанида, чудная, как я на тебя погляжу: я, значит, не буду пить, чтобы и вы, гости дорогие, на меня глядючи, тоже кончали это дело. Так выходит.

– Да ты что, Василий, зачем ты на меня так говоришь? Разве я такая? Ты скажешь так скажешь. Разве мне ее жалко? Да пейте всю, для того и достала.

– Без тебя не можем, ты хозяйка.

– Сейчас, сейчас. – Степанида заторопилась, допила. – Ты, Василий, прямо обидел меня. Я теперь все буду думать про это. Да мне для хороших людей ничего не жалко.

– Посмотрим, – сказала Галька.

– Чего это ты, змея подколодная, собралась смотреть?

Кузьма торопливо сказал:

– Наверно, в кино собралась, а на билет нету. Ухажера еще не заимела, чтоб на свои водил.

– Да ее, кобылу, все киномеханики бесплатно пускают. У ей вся деревня ухажеры. Доброго человека с рублем не пустят, а она, откуда ноги растут, вертанет, и денег не надо. Прямо Василиса Прекрасная – куды тебе с добром! Я оттого и в кино это не хожу, что мне за ее перед народом стыдно.

У Гальки раздулись ноздри, но Кузьма не дал ей взорваться.

– Давайте еще по одной, – сказал он. – Тебе, Галька, налить?

– Назло ей буду пить, чтоб она от жадности лопнула.

– У-у, язва! Ждет не дождется моей смерти, а я ей с девяти лет заместо матери была. Поила, кормила и вот вырастила, полюбуйтесь, хорошие люди. Все для ее делала, а от ее доброго слова не слышу. Отблагодарила!

Степанида приготовилась плакать, полезла за подолом.

– Ладно вам, – сказал Кузьма. – Давай, Степанида, выпьем, чтоб ты еще сто лет жила да беды не знала.

– Зачем мне, Кузьма, сто лет? Я уж намаялась, и правда скорей бы на покой. Работать не могу, а люди не верят. Я ведь только с виду здоровая, а изнутри вся порченая. Она вот смеется, а время подойдет, поймет, как это бывает. Поймешь, поймешь, голубушка, не подсмеивайся, – голос у Степаниды снова отвердел.

– Сколько у тебя, Степанида, в этом году трудодней? – спросил Василий.

– Двести пятьдесят.

– Да сколько не работала.

– Больная я, Василий.

– Я это к тому говорю, что ты на меня как на бригадира не обижаешься?

– Что ты, Василий, что ты – какие обиды! Где бы я столько заработала? Спасибо тебе.

– И по правлениям тебя нынче таскать не будут, минимум есть.

– Есть, есть. Нынче я спокойна, не подкопаются. А все ты со своей капустой. Я на тебя рада богу молиться, а ты выдумал, будто мне бутылку жалко. Ой, Василий, да как это тебе на ум пришло?

Василий сказал:

– А ты знаешь, Степанида, зачем мы пришли?

– Не-ет. – Степанида, не выдержав, быстро и тревожно глянула на Кузьму. – Я думала, так просто, посидеть.

– Притворяется, – безжалостно сказала Галька.

Василий одернул ее.

– Да помолчи ты! Без тебя обойдется. – Степаниде сказал: – Посидеть – это само собой. Но у нас с Кузьмой к тебе еще одно дело есть. Ты слышала, что у Марии большая недостача?

– Слышать слышала, кто-то сказывал.

– Выручи их, Степанида. Дело серьезное: если завтра, послезавтра они не соберут, Марию могут забрать. А у тебя, наверно, деньги есть.

– Ой, да откуда у меня деньги?

– Дай им, Степанида. Я ото всей деревни тебя прошу. Дело такое.

– Мы скоро отдадим, – сказал Кузьма. – Мне после отчетного собрания ссуду дают. Это ненадолго.

– Вот видишь, это ненадолго, – продолжал Василий. – Они люди надежные, дай им, Степанида.

– Да если бы они у меня были, я бы не дала, ли чо ли?

Галька закричала:

– Есть они у ней, есть, не верьте! Есть они у тебя, тетка! – крикнула она Степаниде. – Чего ты врешь?

– А ты их у меня видала? Ты их у меня считала? – подскочила Степанида.

– Не видала и не считала, а знаю, что есть. Ты бы давно уж удавилась, если бы у тебя их не было. Ты бы их украла. Ты кулак, хуже кулака, тебя раскулачить надо!

– Ты мне ответишь за эти слова. В суде ответишь. Ты мне ответишь! – подскакивала Степанида.

– Испугала! Еще поглядим, кто ответит. Кулачиха, кулачиха!

– Тише вы! – крикнул Василий. Наступило молчание, потом Василий негромко сказал: – Ты посмотри, Степанида, может, сколько есть. Посмотри. Сама знаешь: четверо ребятишек у Марии.

– Не надо, Василий, – попросил Кузьма. Галька взглянула на него, не пряча лица, заплакала.

– Тетку Марию жалко, – причитала она. Слез у нее было много, и они с крупного покрасневшего лица стекали на шею. Степанида нагнулась и тоже промакнула свои глаза подолом, плачущим голосом сказала:

– Мне Мария как родная. Да я бы для ее последнего не пожалела. Она мне столько добра делала.

Снова замолчали. Степанида то и дело наклонялась, вытирала подолом глаза, будто надраивала их, как пуговицы, чтобы они, наконец, заблестели. Наклоняясь, снизу, почти из-под стола, выглядывала на мужиков, не то всхлипывала, не то мычала.

– Хватит тебе, Галька, реветь, – сказал Василий. – Рано еще Марию оплакивать.

– Врет она, врет! – закричала опять Галька. – Я знаю. Видеть ее не хочу.

– А не хочешь – ну и выметайся! – подхватила Степанида. – Не заплачу. Хошь сейчас выметайся! Ты мне всю шею переела.

– Пойдем, Василий, – сказал Кузьма.

– Пошли.

Они оделись и вышли. Из Степанидиной избы нарастал крик; с двух сторон деревни на него откликнулись собаки, загавкали густо и дребезжаще. Василий, шагая рядом с Кузьмой, грозился, что выгонит Степаниду из бригады. Кузьме стало все безразлично. Боль за Марию и ребятишек, вспыхнувшая за столом, когда заговорили о деньгах, теперь прошла, и недостача казалась такой же нестрашной, как это собачье гавканье. Будь что будет. Кузьма чувствовал только, что он устал и хочет спать, все остальное было неважно.

– Завтра я зайду, – сказал Василий, сворачивая к себе.

– Ага.

Кузьма остался один. Он шел на самый край деревни, в свой новый дом, поставленный для того, чтобы жить в нем, поживать да добра наживать. Деревня спала, только все еще подлаивали друг другу собаки. Спали люди, и вместе с ними спали их заботы, отдыхая для завтрашнего дня, чтобы двигаться в ту или другую сторону. А пока все оставалось на своих местах, все было неподвижно.

Кузьма пришел домой и сразу лег. Он уснул быстро и спал крепко, забыв во сне обо всем на свете.

Так закончился первый день.

Поезд рвется вперед, разбрасывая по сторонам дрожащие и тусклые на ветру огоньки. Потом огоньки пропадают, и за окном остается белесоватая, еще не налившаяся до конца темнота. Снова покажется дальний одинокий огонек, грустно посветит и отойдет, но за ним вдруг выскочат два, а то и три огонька вместе, высветят перед собой кусок земли – совсем небольшой, с крохотным домиком и поленницей дров или углом сарая. Он сразу же отступает, его смывает темнотой, и опять надо ждать следующий огонек и следующий домик, потому что без них как-то не по себе.

Кузьма лежит и смотрит в окно. Он устал лежать без движения, смотреть в темноту, как в стену, но что еще можно делать, он не знает. Хорошо, что поезд идет и идет и город все ближе. Так, отыскивая огоньки, можно ни о чем не думать – это игра, чтобы обмануть себя.

Заворочался на своей полке парень, заскрипел во сне зубами, и старуха внизу, тоже дремавшая, открывает глаза, смотрит на часы.

– Сережа, – негромко зовет она. – Проснись, Сережа.

– Я не сплю, – отзывается старик. – Так лежу.

– Время, принимать лекарство.

– Если время, то давай.

– Не болит сейчас?

– Нет, нет.

Кузьма ложится на спину; теперь, когда заговорили старик со старухой, можно опять послушать их и не таращиться больше в окно. Услышав голоса, снова заворочался парень и сразу же, хмурясь, приподнялся, свесил ноги.

– О-о. – Парень увидел, что старик что-то пьет из стакана. – Наш дед уже опохмелиться решил. Ничего себе.

– У тебя одно на уме, – несердито отвечает старуха. – Сережа лекарство водой запил, а ты уж бог знает что подумал.

– А что – дед раньше-то, поди, поддавал.

– Нет, Сережа никогда не пил много. Выпивать выпивал, а пьяным я его не видела.

– А, потом все так говорят. Я, если до старости доживу, тоже буду говорить, что один квас пил.

– Скажи ему, Сережа, сам.

– А зачем? – рассудительно отвечает старик.

– И то правильно. Они теперь не поймут.

В другое время парень, наверно, сцепился бы спорить, но сейчас ему не до того. Бережно, постанывая и покряхтывая, он опускается вниз и там признается:

– Голова трещит – спасу нет!

– Как же ей, голубчик, не трещать, когда ты ее совсем замучил, – говорит старуха.

– Кого замучил?

– Голову свою замучил. Парень через силу улыбается.

– Чудная ты. Говорит, голову свою замучил. Меня баба моя пилит, что я ее замучил, а ты говоришь, голову.

– На кого вот ты теперь похож? На человека совсем не похож.

– Это дело поправимое, бабуся. Вон Кузьма, поди, знает, что такое вечернее похмелье. Лучше умереть, чем его переносить. – Парень надевает ботинки, медленно, с болью разгибается и лезет в карман пиджака. – Сейчас мы ему скажем свят, свят, и его как не бывало. Можно дальше ехать. Дело знакомое.

Он уходит. Старуха качает вслед ему головой и вздыхает. Кузьма в зеркало видит, что старик, наблюдая за ней, чуть заметно улыбается.

– Ты что, Сережа? – спрашивает она.

– Ничего, ничего.

– Я что-нибудь не так делаю, да?

– Все так. Ты не беспокойся.

– Если не так, ты скажи.

– Обязательно скажу, я тебе всегда говорю.

– Да, да.

Кузьме и приятно слушать их разговор и как-то неловко, словно он невзначай стал свидетелем того, что говорится только между мужем и женой. Он закрывает глаза и притворяется спящим, но лежать так скоро становится невмоготу, хочется повернуться на бок и куда-нибудь смотреть. Кузьма, как мальчишка, ерзает, с силой сдавливает глаза. И вдруг он слышит, что дверь открывают. Но это еще не парень, это проводница.

– Чай пить будете? – спрашивает она.

– Сережа, чай, – говорит старуха.

– Несите, несите. Чай– это хорошо. Кузьма сползает вниз.

– Тоже стаканчик выпью, – говорит он.

– Обязательно надо выпить, – отвечает старуха. – Я и то подумала, не разбудить ли вас.

Пристроившись за маленьким столиком, они пьют чай, и старуха угощает Кузьму домашними печенюшками. У Кузьмы наверху в сумке есть яйца и сало, но он не решается достать их, все думает, что надо достать, и не может осмелиться. К чему им, поди, его сало? Они люди интеллигентные и говорят между собой так, будто только вчера сошлись и не успели еще друг на друга налюбоваться. А живут давно; старуха рассказывает Кузьме, что они едут к сыну в Ленинград, сын вообще-то каждое лето приезжал к ним сам, но нынче он был в заграничной командировке и не смог их навестить. Она расспрашивает Кузьму, и Кузьма отвечает, что он едет в гости к брату, с которым не виделся семь лет. Старик больше помалкивает, но слушает внимательно. Кузьме хорошо сидеть с ними, и он потом уже не стесняется их, особенно старуху, которая, оказывается, выросла тоже в деревне и деревенских уважает.

Она говорит Кузьме, что все люди родом оттуда, из деревни, только одни раньше, другие позже, и одни это понимают, а другие нет. Кузьме это нравится, он поглядывает на старика, что скажет он, но старик молчит. И доброта человеческая, уважение к старшим и трудолюбие тоже родом из деревни, говорит старуха, но теперь уже сама смотрит на старика.

– Правда, Сережа? – спрашивает она.

– Возможно.

И тут приходит парень, по песне они слышат его еще издали. Он закрывает за собой дверь и продолжает петь:

Самое с бабами в мире Черное море мое, Черное море мое.

– Эк красиво! Эк красиво! – укоризненно качает головой старуха. – И кто тебя таким песенкам учит?

– А что – плохие песенки, что ли?

– Да уж чего хорошего?

– Да ну тебя, бабуся! Уж не знаешь, к чему прикопаться. Цензурные песенки, без мата. Хоть в концерте разучивай. – Парень присаживается рядом с Кузьмой и встряхивает, будто взбалтывает, голову. – Почти в норме, – радостно сообщает он. – Чуть-чуть осталось, это пройдет. Как ты это на меня, бабуся: голову, говоришь, свою замучил?

– И правда. Пьешь и пьешь. И денег тебе не жалко.

– Деньги – это ерунда, дело наживное.

– Деньги тоже уважать надо. Они даром не достаются. Ты за них работаешь, силу свою отдаешь, здоровье.

– Денег у меня много. Они меня, бабуся, любят. Они – как бабы: чем меньше на них внимания обращаешь, тем больше они тебя любят. А кто за каждую копейку дрожит, у того их не будет.

– Как же не будет, если он их не бросает зря на ветер, не пропивает, как ты?

– А так. Они поймут, что он жмот, и – с приветом!

– Вот уж не знаю.

– Точно я тебе говорю. Ты, бабуся, не думай, деньги тоже с понятием. К крохобору крохи и собираются, а ко мне, к простому человеку, и деньги идут простецкие. Мы друг друга понимаем. Мне их не жалко, и им себя не жалко. Пришли – ушли, ушли – пришли. А начни я их в кучу собирать, они сразу поймут, что я не тот человек, и тут же со мной какая-нибудь ерунда: или заболею, или с трактора снимут. Я это все уж изучил.

– Интересная философия, – замечает старик. – Сделайся, значит, простягой, и деньги твои?

– Не-е, зачем? Работать надо, – серьезно отвечает парень. – Я люблю работать. В месяц по двести пятьдесят, по триста выколачиваю, а зимой, когда трелевка начнется, все четыреста. За мной не каждый удержится. Если не работать, откуда им быть?

– Это где же такие деньги? – не выдерживает Кузьма.

– У нас в леспромхозе. У нас механизаторы хорошо получают.

– А что толку? – говорит старуха. – Все равно ты их и пропиваешь.

– Пропиваю. А что? Я за день намерзнусь, намаюсь, и не выпить? Что это за жизнь? Я отдых тоже должен иметь.

– Жена тебе, наверное, сама к вечеру каждый день бутылочку берет?

Парень смеется.

– Подкусываешь, бабуся? Я бы за такую жену чего хочешь отдал.

– А твоя-то, значит, не очень любит, когда ты пьешь?

– Ну да, не понимает. Но теперь это неважно. Я с ней разошелся.

– Разошелся?

– Ага. Вот недавно. Разошлись, я сразу и поехал.

– А почему?

– Без понятия она, не понимала меня. Поэтому. В бане родилась, а кашлять тоже надо по-горничному. Ну ее! – Парень бодрится. – На свете баб много.

– Они все, голубчик ты мой, не любят, когда пьют. Каждой охота по-человечески жизнь прожить. А ты явишься домой чуть тепленький, да еще начнешь характер свой показывать, буянишь, наверно.

– Не. Я смирный. Меня если не трогать, я спать ложусь. Но тоже под пьяную руку меня не зуди. Не люблю. Утром говори что хочешь, все вынесу, а с пьяным со мной лучше помалкивай.

– Неуважение к женщине тоже родом из деревни, – говорит старик старухе.

– Нет, Сережа.

– Что это? – не понимает парень.

– Сережа говорит, что женщину в городе уважают больше, чем в деревне.

– А чего ее сильно уважать? Она потом на голову тебе сядет с этим уважением. Я знаю. Ее надо завсегда в норме держать, не давать ей лишнего. А то слабинку почует – и пропал. Начнет тебе права качать. Заездить могут.

– Тебя заездишь, – с сомнением говорит старуха.

– Я другой разговор. А есть которые слабохарактерные, им достается.

– Ну что ты несешь? Что ты несешь? Смотрите-ка, какой заступничек! Сам пьет, а женщина у него виновата, – не то сердится, не то удивляется старуха. – Вот теперь и достукался, будешь жить один.

– Зачем один? Я себе найду.

– Кто за тебя, за пьяницу, пойдет?

– Бабуся! – с ласковой укоризной произносит парень. – Стоит только свистнуть… На белом свете, бабуся, полно лишних баб. Им тоже жить охота. Женщины, они слабые, правильно? Они без нас не могут. Я вот сам деревенский, а в город когда приезжаю, завсегда себе бабу найду. Говорят, деньги им надо давать, то, другое – ерунда это, это, может, до революции и было. Теперь у них сознательность. Они обхождение любят, правильно? Им только не хами, сумей подъехать – и все в порядке будет.

– И хорошо твоя жена сделала, что разошлась с тобой, – говорит старуха.

– Это ты о чем? – удивляется парень. – Что я бегал от нее? Это неуважительная причина. Все бегают.

– Ты всех на свой аршин не меряй.

– Да что ты мне, бабуся, говоришь. Мне вот одно место давали почитать в одной книжке. Там писатель, не помню его фамилию, пишет, что кто, значит, это… не изменял своей жене, тот вроде дурака, нет у него интереса к жизни. А что? Правильно! С одной-то всю жизнь надоест. Приедается.

– Сережа, ты слышишь, что он говорит? – улыбаясь, спрашивает старуха.

– Слышу.

– Скажи ему.

– Зачем?

– Нет, ты скажи. Ведь он думает, что так и надо. Ведь он ничего не знает.

– Это его дело.

– Скажи, дед, чего она просит. Жалко тебе, что ли? – говорит парень.

– «Скажи, дед, чего она просит», – передразнивает его старуха. – Этот дед, вот он, перед тобой, живой пример, он за всю свою жизнь ни разу, ни одного разу мне не изменял. А ты говоришь, все такие. Вот он, перед тобой этот дед, смотри, если ты других не видел.

Парень подмигивает старику.

– Ты, думаешь, бабуся, я бы при своей бабе сказал, что, мол, было дело? – Представив, что бы после этого началось, парень от души гогочет. – Вот была бы потеха, она бы мне…

Старуха смотрит на него и терпеливо улыбается. Потом говорит – все с той же терпеливой улыбкой:

– Но он мне в самом деле ни разу не изменял. Почему ты не можешь в это поверить?

Парень все еще смеется.

– Откуда ты это знаешь, бабуся?

– Я ему верю.

– А-а… веришь.

– Скажи ему, Сережа. Он ничего не понимает.

– А зачем мне было ей изменять? – спрашивает старик у парня.

– Как зачем?

– Да… зачем?

– Тебе лучше знать. Она твоя старуха, а не моя.

– Почему ты изменяешь своей жене?

– Интересно.

– Что интересно? Парень сладко ухмыляется:

– Все интересно. Какая баба и… вообще… все. Бабы ведь разные.

– А Сереже было со мной интересно, – просто говорит старуха. – Ему с другими было неинтересно.

Парень с откровенным любопытством, как на иностранца, смотрит на старика.

– Так я ему и поверил, – говорит он.

– Это твое дело.

Наступает молчание, в котором парень неспокойно вертит головой, поглядывая то на старуху, то на старика. И вдруг он замечает Кузьму.

– А ты, Кузьма, от своей бабы бегал или нет?

Кузьма растерянно улыбается. Во время этого разговора он не один раз вспомнил Марию и остро, до боли почувствовал, как она ему нужна. Все, что было у них хорошего и плохого, теперь куда-то пропало, они остались одни, будто еще не начинали свою жизнь, но он, Кузьма, уже знает, что без Марии ему жизни не будет. Он хотел еще выяснить для себя, отчего это бывает, что человек так прикипает к человеку, и не мог. Неужели только ребятишки, как гвозди, сколачивают их вместе? Нет. Сейчас, когда старик и старуха спорили с парнем, он забывал о ребятах, они оставались где-то за спиной, а Мария будто сидела все время у него на коленях, так что Кузьма чувствовал ее дыхание, и все слышала.

– А ты, Кузьма, от своей бабы бегал или нет? – спрашивает парень.

И Кузьма признается:

– Один раз было.

– Вот видишь, и Кузьма… – хочет что-то сказать парень, но Кузьма перебивает его:

– Подожди. У меня по-другому было. Я с той до войны жил, только мы не расписывались.

После войны я сошелся со своей Марией, но один раз по старой памяти с первой… Она меня вечером встретила…

Старуха с грустью смотрит на Кузьму.

– А Мария ваша не узнала?

– Узнала. Она уходила от меня, но я уговорил ее вернуться, пообещал. Больше этого не было.

– А нам вы верите? – спрашивает старуха.

– Верю. В деревне такие тоже есть.

– В деревне! – взрывается парень. – Там все на виду. Там если мужик на чужую бабу взглянул, в тот же миг вся деревня знает. Там боятся.

– Не потому, – возражает Кузьма. – Там сходятся, чтобы вместе жить.

– Вот и мы с Сережей всю жизнь были вместе, – говорит старуха и смотрит на старика. – Куда он, туда и я. А если разлучались, то ненадолго. Мне без него было плохо, и ему без меня было плохо. Правда, Сережа?

– Зачем об этом говорить?

– Мы еще молодые были, решили, что так будем жить, и живем. Что все будем вместе принимать – и радость, и горе, и смерть тоже. – Старуха говорит спокойно и тихо. – Теперь вот у Сережи больное сердце, а у меня сердце хорошее, но все равно у нас на двоих только одно больное Сережино сердце.

– Вы что, эти самые… баптисты, что ли? – ошарашенно спрашивает парень.

– Какие мы баптисты?! – посмеиваясь одним ртом, отвечает старуха. – Ты слышал, Сережа? Нас уже в баптисты записали.

А поезд все идет и идет, и город все ближе и ближе.

Второй день начался с того, что рано утром– еще ребятишки не убежали в школу – явился дед Гордей. Сел, как всегда, на полу возле печки, запалил свою трубку и, пока помалкивая, не выпускал ее изо рта. Кузьма с дедом не заговаривал. Чего он притащился ни свет ни заря – от бессонницы, что ли? Кому они нужны, его советы, что с них толку? Кузьма вспомнил, как утром, когда поднимались, он сказал Марии, чтобы она перед бабами сильно не распиналась о своей недостаче, и Мария со злостью ответила:

– Учи, учи! Я теперь умная-преумная стала, на тыщу лет вперед знаю, как надо жить. Все учат.

Потом, когда старшие ребятишки убежали в школу, а Мария ушла по хозяйству, Кузьма спросил:

– Ты, дед, ко мне по какому делу?

– А? – Дед засуетился, стал подниматься. – Тут вот... – и протянул Кузьме деньги. – Я вчерась у сына пятнадцать рублей выклянчил, а мне их куды...

– Не надо, дед.

– Как так не надо? – растерялся дед. – Зачем я их нес? Ты не думай, я ему не сказал, что для тебя.

Он стоял перед Кузьмой с протянутой рукой, из которой торчали свернутые в трубочку пятирублевые бумажки. И смотрел он на Кузьму со страхом, что Кузьма может не взять. Кузьма взял.

– Ты не думай, – обрадовался дед. – Будет, отдашь, а не будет – куды их мне, старику? Сам подумай.

Он собрался уходить это на него совсем не походило.

– Посиди, дед.

– Нет, побегу.

– Дед!

– А?

– Только ты мне больше деньги не таскай, не надо.

– Как так?

– Я сам. А то у тебя ума хватит по деревне для меня собирать.

– Раз ты не велишь, не буду.

– Не надо, дед, не надо.

Вторым прибежал тот же самый мальчишка, сосед Евгения Николаевича.

– Евгений Николаевич велел сказать, что он собирается в район и вечером будет обратно.

Кузьма спросил:

– А он, когда на двор ходит, не велит тебе по деревне про это сказывать?

Мальчишка, хихикая, выскочил за дверь.

Потом пришел Василий, коротко сказал:

– Одевайся, пошли со мной.

– Куда?

– К матери.

Кузьма давно уже не видел тетку Наталью, с тех пор, как года три или четыре назад она слегла. Он не мог представить себе, что она лежит в постели – никуда не торопится, ничего не делает, а просто лежит, как все старухи перед смертью, смотрит ослабевшими глазами на людей, которые заходят к ней посидеть, с трудом поворачивается с боку на бок. Все это годилось для кого угодно, даже для самого Кузьмы, но не для тетки Натальи. Сколько Кузьма себя помнил, она всегда, каждую минуту, как заведенная, что-то делала, она успевала в колхозе и дома, вырабатывала за год по шестьсот трудодней и одна, без мужика, поднимала троих ребят, из которых Василий был старшим. Мало сказать, что она была работящей, работящих в деревне сколько угодно, а тетка Наталья такая была одна. Она никогда не ходила шагом, и деревенские, завидев, как она несется по улице, любили спрашивать:

– Тетка Наталья, куда?

Она на ходу торопливо отвечала:

– Куда-никуда, а бежать надо.

Эта поговорка осталась в деревне, ее повторяют часто, но ни к кому больше она не подходит так, как подходила к тетке Наталье.

В колхозе и сейчас еще вспоминают, как тетка Наталья вершила в сенокосы зароды. Нипочем потом этим зародам было любое ненастье, все с них стекало на землю, и они, не оседая, картинкой стояли до самой зимы. А еще тетка Наталья не хуже любого мужика умела рыбачить. Когда она по осени выходила лучить и зажигала смолье на своей лодке, мужики, матерясь, отгребали от нее подальше.

Она так и не научилась ходить шагом и, видно, из последних сил добежав до кровати, упала. И вот теперь, сама на себя непохожая, словно сама себя пережившая, день и ночь, не вставая, лежит в маленькой комнатке, отгороженной для нее от горницы. К ней приходят старухи, сидят, жалуются на житье, и она, у которой всю жизнь не было даже пяти минут на разговоры, слушает их, поддакивает.

Когда Василий и Кузьма пришли, тетка Наталья спала и не услышала их. Одно окно было занавешено совсем, другое наполовину закрыто одной створкой ставня, и в комнате стоял полумрак. В нем Кузьма не сразу и разглядел тетку Наталью.

– Мать! – позвал Василий.

Она очнулась, без всякого удивления, будто ждала их, взглянула на мужиков и сказала:

– Василий пришел. А второй – Кузьма. Давно я тебя не видала, Кузьма.

– Давно, тетка Наталья.

– Поглядеть на меня пришел? Хвораю я. Глядеть не на что стало.

Она сильно похудела, высохла, голос у нее был слабый, и говорила она медленно, с усилием. Лицо ее почему-то стало меньше, чем было, и как бы затвердело; когда она говорила, лицо оставалось неподвижным, даже губы не шевелились, и поэтому казалось, что голос идет не из нее, а звучит где-то рядом.

– Я и не сильно старуха. Семьдесят нету. Другие поболе ходят. А вот привязалось, – говорила она, и слушать ее надо было долго, хотелось в это время найти для себя еще какое-нибудь занятие.

– Болит-то шибко? – спросил Кузьма.

– Совсем не болит. А ходить не могу. Встану – ноги не держат. Слабая.

– Раз не болит, ну и лежи себе на здоровье, тетка Наталья. Хватит, набегалась. Отдыхать теперь.

– А, ишь ты какой, Кузьма! Встать тоже охота. Я нонче летом вставала, на улицу сама ходила.

– Раз вставала, значит, и еще встанешь.

– Не-е-ет, не встану. Духу все мене и мене. Василий перебил их:

– Мать, у тебя деньги есть?

– Маненько есть. Но я тебе их, Василий, не дам. Пускай лежат.

– Дай, мать. Это не мне, вот Кузьме. Для Марии. Он нигде не может взять.

Тетка Наталья повернула глаза к Кузьме и, моргая, смотрела на него. Кузьма ждал. Василий поднялся и вышел из комнатки, что-то сказал сестре, которая жила с матерью, и сразу же вернулся обратно.

– У меня эти деньги на смерть приготовлены, – сказала тетка Наталья.

Кузьма удивился:

– Теперь что – и за смерть платить надо? Она будто всегда бесплатная была.

– Не-е. – Глаза у тетки Натальи слабо блеснули. – Я хочу сама себя похоронить и сама себе поминки сделать. Чтоб с ребят не тянуть.

– Будто мы бы тебе поминки не сделали, – буркнул Василий.

– Сделали бы. Я на свои хочу. Чтоб поболе народу пришло и подоле меня поминали. Я не вредная была. Все сама делала. И тут сама.

Отдыхая, она умолкла, не шевелилась. Кузьма подумал, что, наверно, пора подниматься, и оглянулся на Василия. Но тетка Наталья спросила:

– Мария-то сильно плачет?

– Плачет.

– Деньги тебе отдам, а тут смерть… Как тогда?

– Опять ты, мать, об этом, – поморщился Василий.

– Я уж ей согласие дала, – виновато сказала тетка Наталья, и было ясно, что она говорит о смерти.

Кузьма вздрогнул, боязливо глянул на тетку Наталью.

Смерть всегда, каждую минуту, стоит против человека, но перед теткой Натальей, как перед святой, она отошла чуть в сторонку, пустив ее на порог, который разделяет тот и этот свет. Назад тетка Наталья отступить не может, а вперед ей еще можно не идти; она стоит и смотрит в ту и другую стороны. Быть может, случилось это потому, что, бегая всю жизнь, тетка Наталья уморила и свою смерть, и та теперь никак не может отдышаться.

Тетка Наталья шевельнула рукой и показала под кровать.

– Достань, Василий.

Василий выдвинул из-под кровати старый, потрепанный чемодан и нашел в нем небольшой, в красной тряпке сверток. Она разворачивала его и говорила:

– Я их много годов копила. Дать надо. Я, сколь могу, подюжу. Но ты, Кузьма, не задерживай. Уж я тебя попрошу. Силенок совсем не стало.

– Ты лучше поправляйся, тетка Наталья, – зачем-то сказал Кузьма.

Она не стала ему отвечать.

– А как не сдюжу, умру, деньги Василию отдай. Сразу отдай. С тем и даю. Я хочу на свои помереть.

– Отдам, тетка Наталья.

Она спросила:

– На похороны-то придешь? Он замялся.

– Приходи. Выпей, помяни меня. Народу много будет, и ты приходи.

Она протянула ему деньги, и он взял их, будто принял с того света.

Хоть и сказал Кузьма тетке Наталье, что Мария плачет, она больше не плакала. Молчала. Если спросишь о чем-нибудь, ответит двумя-тремя словами, и опять молчит, а то и не ответит, сделает вид, что не слышала. Ходит, убирается по хозяйству, а сама будто ничего не видит, будто ее водят и показывают, что надо делать. А потом упадет на кровать и лежит, не шевелится. Прибегут ребятишки, попросят есть – она поднимется и снова ходит, как лунатик, не помня себя.

Ребятишки тоже присмирели, перестали возиться, кричать. Прислушиваются к каждому слову взрослых, ждут, что будет дальше. И никуда друг от друга не отстают, боятся. Выстроятся рядом и смотрят на мать, а она их не видит.

Изба большая, новая, а в ней тишина, как в нежилой.

Лучше бы Кузьма не заходил домой. Он хотел обрадовать Марию, показал ей деньги, которые дала тетка Наталья. Она взглянула на них, как на пустые бумажки, и отошла. Кузьма подождал, но она так ничего и не сказала. Он понял, что ей все стало безразлично. Вчера, в первый день, когда страх только начинал свое дело, ей было больно, она плакала и умоляла Кузьму спасти ее. Сегодня она окаменела. Смотрит и не видит, слышит и не понимает. Так, наверно, будет продолжаться до тех пор, пока ее судьба не решится окончательно, пока ее не уведут или не скажут, что все кончилось хорошо и она может жить, как жила, дальше. Тогда опять начнутся слезы, и, если все обойдется, душа ее понемножечку начнет оттаивать. Ее тоже понять надо.

Кузьме стало невмоготу оставаться больше дома, и он ушел.

День стоял пасмурный и низкий, с тяжелыми обвисшими краями. Было тихо, все вокруг выглядело заброшенным и неприбранным, будто один хозяин уже выехал с этого места, а другой еще не нашелся. Так оно и было – не осень и не зима. Осень уже надоела, а зима не шла. Крадучись, ползли над избами дымки, не осмеливаясь подняться в небо, словно время для этого еще не наступило. С тоскливым видом, не зная, чем заняться, бродили по деревне собаки. Выглядывали из окон ребятишки, но на улицу не шли, и улица была пуста. Неприкаянно и сиротливо темнел за деревней лес.

Все чего-то ждали. Ждали праздников, когда можно будет погулять. Ждали зиму, когда начнется новая работа и повалят новые заботы. Ждали завтрашнего дня, который будет ближе к праздникам и зиме. А этот день, казалось, всем был без надобности, все его лишь пережидали. И только один Кузьма, для которого он начался удачно, ждал продолжения этой удачливости, надеялся на него.

Кузьма шел и думал, к кому лучше всего теперь зайти, но ничего не надумал и, чтобы не возвращаться домой, направился в контору.

Председатель спросил его:

– Как там у тебя дела?

– Да будто ничего.

– Много собрал?

– Пока немного.

– А сколько – можешь сказать?

– Если сегодня Евгений Николаевич привезет, двести пятьдесят чуть-чуть не будет.

– И все?

– Пока все.

Председатель перебирал у себя за столом бумаги и был чем-то недоволен. Хмурился, вздыхал. Захлопнул одну папку, убрал ее и достал другую. Спросил, не отрываясь от бумаг:

– Где остальные хочешь брать? Есть какие-нибудь виды?

– Хожу вот, – пожал плечами Кузьма. Председатель уткнулся в бумаги и молчал.

Кузьма, чтобы не мешать ему, хотел уйти.

– Сиди! – не сказал, а приказал председатель.

А сам будто забыл про него.

Кузьма сидел и вспоминал сентябрь сорок седьмого года. Поспели хлеба, к самому горлу подкатила страда, а машины стояли. Не было горючего. Председатель пять дней в неделю жил в районе, бегал от райкома к МТС и обратно, всякими правдами и неправдами выбивал бензин, который машины потом сжигали за два дня и снова останавливались. А погода стояла как на заказ – ни одной тучки. И без того небогатые хлеба начали осыпаться. Не сладко было смотреть, как падает зерно, – после всего, что натерпелись за войну и за два последних голодных года. Снова достали серпы, пустили конные жатки – да много ли этим уберешь, когда и людей, и коней за войну поубавилось втрое?

Сам дьявол подчалил тогда к берегу эту 6аржу. Шкипер, толстомясый, как баба, мужик, засучив штаны, весь день ловил рыбу, а вечером зажег на берегу костер и стал варить уху. В огонь, чтобы лучше горел, он плескал из банки бензин. Туда, к костру, и пошел председатель.

Они сговорились быстро. Утром выкатили на берег две бочки горючего, и баржа ушла. В тот день трактор снова потащил в поле комбайн, а Кузьма поехал отвозить от него пшеницу. О том, что бензин куплен у шкипера, знала вся деревня, но, пожалуй, только один председатель ясно понимал, чем ему это грозит.

Его взяли в начале ноября, словно дождавшись, когда он кончит уборочную. Он просил на праздники оставить дома – не оставили. И деревне праздник стал не праздник. Сначала недоумевали: за что? Бензин этот он не украл, а купил и купил не для себя, а для колхоза, потому что в МТС бензина не было, а хлеб не ждал. Потом объяснили: бензин был государственный, шкипер не имел права его продавать, а председатель не имел права покупать. Кто понял, а кто нет. На собрании, как делегацию, выбрали трех человек, которые должны были хлопотать за председателя. Они сделали все, что могли: много раз ездили в район, один раз даже в область, писали бумаги в Москву, но ничего не добились, а может, еще и повредили председателю, потому что ему дали пятнадцать лет. Тут уж было над чем ахнуть.

Он вернулся назад в пятьдесят четвертом, после амнистии. Хотели снова назначить его председателем – нельзя: был под судом, партийность потерял. Работал бригадиром. И только пять лет назад, после того как сменилась добрая дюжина председателей и из колхоза убежала половина народу, написали в обком и еще раз просили председателем его, председателя. Там разрешили. Его позвали на его старое хозяйское место вот так же осенью, после страды, как и сняли, – будто ничего не случилось, если не считать, что между этими двумя осенями прошло больше десяти лет.

Председатель оторвался от бумаг, крикнул в дверь:

– Полина!

Вошла Полина из бухгалтерии.

– Полина, посмотри, сколько у нас получают за месяц специалисты? Если со мной брать?

– Все вместе, что ли?

– Ага, все вместе.

– Я и так помню: шестьсот сорок рублей. Председатель подумал, спросил:

– Бухгалтер не приехал?

– Нет, он к вечеру будет, не раньше.

– Ну ладно, иди. Пошли там кого-нибудь, пускай придут.

– Кто?

– Все, кто на зарплате. Скажи: дело срочное, а то они будут один за другим тянуться. Мне их два часа ждать некогда.

Кузьме он сказал:

– Ты сиди.

И снова занялся с бумагами.

Стали подходить специалисты. Первым пришел агроном, который только недавно вернулся с леченья; посреди уборочной его вдруг скрутила язва, и он ездил на курорт.

В деревню агроном приехал два года назад из сельхозуправления, сам, по своей воле выбрал дальний колхоз, и за это его уважали, хотя сначала встретили недоверчиво: сидел в кабинете, был начальством, черт его знает, как с ним разговаривать, не будет ли он под видом агронома делать работу уполномоченного, каких раньше посылали в каждый колхоз. Но потом, наблюдая за агрономом, об опасениях этих как-то забыли: дело свое он любил, летом с утра до ночи пропадал в полях и очень скоро стал в деревне своим человеком.

Он вошел, поздоровался и вопросительно взглянул на председателя. Председатель, не отвечая, сказал:

– Садись пока, подождем.

Потом прибежал ветеринар, который в деревне жил так давно, что уже мало кто помнит, что он тоже специалист.

Пришла зоотехник, большая, с мужским голосом женщина. Она говорила мало, была спокойной, но в колхозе ее все равно побаивались, будто знали, что такая силушка и такой голос, как у нее, не могут долго оставаться без применения и вот-вот должны что-нибудь натворить.

Ждали механика. Председатель ворчал, поглядывая на дверь:

– Где же он сразу пойдет! Ему десять приглашений надо.

Наконец, появился и механик, молодой парень, еще не снявший институтского значка. Намеренно усталой походкой человека, который делал дела, пока они тут сидели, он прошел к дивану и сел с края.

Специалисты сидели на диване у одной стены, Кузьма напротив них у другой.

Кажется, только теперь председатель понял, что дело, которое он собрался решать с ними, совсем не простое. Й он мялся, не начинал. Это почувствовали и специалисты, умолкли. Наконец он начал:

– Я вот зачем велел вам собраться. Завтра у нас зарплата. Если бухгалтер вечером привезет деньги, завтра вы имеете право их получить. Но тут еще вот какое дело. – Председатель помолчал, давая понять, что оно не пустяковое, потом снова заговорил – спокойным, ровным голосом. – Но тут еще вот какое дело, – повторил он. – Летом, да и весной тоже мы не один раз задерживали вам деньги. Вы как-то перебивались, находили какие-то возможности. Я думаю, что такую возможность мы найдем и теперь, а деньги я предлагаю отдать Кузьме. У него, сами знаете, дело хуже некуда. Ему за три дня надо тысячу набрать, а где он ее возьмет, если не оказать помощь? Потом мы ему собираемся дать ссуду, но ему ждать ее некогда. Поздно будет. А мы проживем, не пропадем. Колхозники вон живут. Вот такое с моей стороны предложение. Давайте решать. Неволить мы никого в этом деле не можем.

Кузьма простонал:

– Меня-то ты в какое положение ставишь? Хоть бы сказал, предупредил, что разговор про это пойдет.

– Тебя никто не спрашивает. Спросят – тогда скажешь. – Председатель повернул голову к другой стене. – Ну как, товарищи специалисты?

Специалисты молчали.

Кузьма не мог смотреть в их сторону. Ему казалось, что от стыда он стал прозрачным, и в нем теперь видно все то жалкое и срамное, что есть в человеке. Он сидел перед ними, как на судилище, и не знал, хочет ли он, чтобы его помиловали, он чувствовал один стыд, горький и едкий стыд взрослого, уже пожилого человека. Сейчас, в эту минуту, не думая о том, что будет дальше, он даже хотел, чтобы ему отказали, потому что тогда он ничем не будет им обязан. Но кто-то сказал:

– Дать, конечно, надо.

– Надо дать, – твердо повторил председатель. – Я говорю: мы не пропадем, а человек может пропасть. Понятно, что вы на эти деньги рассчитывали, но в ноябре мы что-нибудь придумаем, постараемся пораньше выбить из банка. Вот так. Значит, завтра надо будет зайти и расписаться в ведомости, а деньги выдадим Кузьме. Если кто не согласен, пускай говорит сразу.

– Согласны, чего там! – ответил за всех агроном. Остальные молчали.

– Тогда ты, Кузьма, сразу с утра подходи и возьмешь. Полина говорит, там шестьсот сорок рублей. Мало тебе, но больше нету. Бухгалтеру я скажу, он знать будет.

– Я не могу понять: мы всю, что ли, зарплату должны отдать? – оглядываясь на специалистов возле себя, заволновался ветеринар.

– Ты ничего не должен, – недобрым голосом сказал председатель. – Это дело добровольное. Не хочешь – забирай свои деньги. Чего ж ты раньше молчал, когда решали? Мы свои деньги отдаем полностью, а ты как знаешь. Вот так.

– Да я согласен, согласен, – торопливо закивал ветеринар.

– Смотри сам.

– Согласен, согласен.

– Не надо полностью. – Кузьма, обращаясь к председателю, поднялся. – Что я, грабитель с большой дороги, что ли? Им тоже жить надо, а я все деньги заберу. Если на то пошло, если вы согласны, давайте я половину возьму, а половина останется вам. – Теперь он говорил специалистам: – Давайте так? А то это что получается? Вы, значит, работали… Председатель оборвал его:

– Ты тут не торгуйся. Дают – бери, бьют – беги, а торговаться нечего.

– Так у меня совесть-то есть или нету?

– Иди-ка ты к такой-то матери со своей совестью! Совесть у него есть. А у нас, по-твоему, нету совести? Ты бы лучше подумал, где остальные взять, а не о совести рассуждал. Ты этой совести себе сильно много нахватал, другим не осталось. Думаешь, тебе деньги домой принесут? Дожидайся! Ты вон хотел со Степанидой по совести, ну и как, много она тебе дала? – Председатель раздраженно перебросил с места на место папку с бумагами. – Завтра придешь и получишь все деньги, или можешь Марии сухари сушить. Мне тоже, если хочешь знать, деньги нужны, но я тебе их отдаю, потому что я без них проживу, а ты пропадешь. Так и другие. Если ты с совестью, то и у нас она помаленьку есть.

– Да я разве…

– Все. Хватит разговаривать! Можете идти, кому надо.

Механик ушел сразу. Вслед за ним поднялась зоотехник, негромко спросила что-то у председателя, что-то о ферме, и тоже ушла. Пооглядевшись, выскочил за дверь ветеринар. Остались втроем: председатель, агроном и Кузьма. Кузьма сел опять на свое место напротив агронома.

Молчали.

Поднялся агроном, попрощался с председателем и с Кузьмой за руку, Кузьме сказал, показывая на председателя:

– Ты не думай, что он нас заставил. Он правильно сделал. Бери эти деньги, не стесняйся. Считай, что они твои.

Ободряюще кивнул и вышел. Председатель заметил, что Кузьма тоже собирается уходить, сказал:

– Подожди меня.

Он убрал папки в стол, проверил, закрыт ли сейф, и стал одеваться.

Смеркалось. В двух-трех избах из окон слабо желтел свет, остальные дремали. Деревня лежала усталым, приткнувшимся к реке табором, который откуда-то пришел и, отдохнув, снова куда-то пойдет дальше.

Странно было сознавать, что это ощущение исходит от собственной усталости и что деревня не спит, а просто пережидает переходное и как бы никуда не годное время между днем и ночью; потом, когда наступит полная темнота, можно будет до сна снова заняться работой, делать какие-то дела, а сейчас надо просто ждать – такой это беспутный час.

Шли молча, и только возле своего дома председатель сказал:

– Зайдем, если не торопишься.

Свернули. Председатель отомкнул дверь, включил свет. Они были дома одни. Председатель достал откуда-то уже начатую бутылку, разлил по полстакана, принес в ковше воды. Показывая на бутылку, сказал:

– Спирт.

– Где это ты его взял?

– Давно уж стоит. Весной еще ездил на рудник, купил одну. Немножко осталось. Ну, давай. За Марию. Чтоб не попала она куда не надо.

От слов этих у Кузьмы внутри все затаилось; он скорей выпил и убил, сжег спиртом то, что хотело заболеть. Сразу же запил водой, отдышался и спокойно, без боли, сказал:

– Теперь уж, поди, выкрутились. Помог ты мне здорово.

– А эту паскуду Степаниду я прижму. Вот начнется год, – пригрозил председатель.

– Может, у нее правда не было.

– Да что ты мне говоришь, когда мы ей в сентябре за корову выплатили! Ест она их, что ли? Лежат в тряпочку завернутые, куда им деться!

– Не трогай ты ее. Такой человек. Что с нее взять?

– Прижму, как миленькую, чтоб понимала. Деньги эти у нее так, без пользы лежать будут, а нет, не даст. И ведь самой взять нельзя – вот положение! И деньги вроде свои, а не пойдешь, ни холеры на них не купишь. Люди увидят, поймут, что обманула. Так и будет по рублю таскать. Сама себе наказание придумала и у людей из доверия вышла. Куда дешевле было дать тебе эти деньги. Нет, жадность раньше ее родилась.

– Ну ее. Я на нее не шибко и рассчитывал. А вот со специалистами неловко все же получилось, сердце не на месте. Ждали, ждали эту зарплату, а получать буду я. Сердятся, поди, на меня. Да и на тебя тоже – ты заставил.

– Ничего, обойдутся. Ну, пришел бы ты завтра к агроному, а ему, если разобраться, и правда деньги самому нужны. Может, он бы тебе и дал – да немного, для тебя это не выход. А ветеринар, тот совсем бы не дал. По отдельности-то легче отказывать. А я их вместе всех. – Председатель усмехнулся. – Я знаю: когда вместе – так просто не откажешь, никому неохота перед другими себя не с той стороны открывать, а когда один – больше свое на уме, и никто не видит, что хитришь, разговор без свидетелей. Это уж давно запримечено.

– А ведь и правда, – удивленно согласился Кузьма.

– Правда, правда. У нас в лагере, когда я сидел, один чудак был, он об этом целую тетрадь, толстую такую, общую, исписал. Много там у него было напридумано всякого, но вот это я помню, это я знал еще раньше, из жизни.

– Я все у тебя спросить хочу, – сказал Кузьма. – Когда тебя посадили, имел ты на нас обиду или нет?

– На кого – на вас?

– Ну, на меня, на деревенских. Мы этим бензином все пользовались, а осудили одного тебя. Ты не для себя старался.

– А за что я на вас-то должен был обижаться? Вы здесь ни при чем.

– Да оно и при чем и ни при чем – смотря с какой стороны подойти.

– Брось ты, Кузьма, – отмахнулся председатель. – Что теперь об этом говорить? Суд, что ли, новый собирать?

Разлили остатки и выпили. Председатель задумчиво умолк, и теперь, раскрасневшись после спирта, совсем не походил на председателя: лицо его стало безвольным, мясистым, без всегдашней твердости, глаза смотрели тоскливо. Если бы

Кузьма не видел, что председатель выпил всего ничего, то подумал бы, что он пьян.

– Ты говоришь, была или нет у меня на вас обида? – сказал потом он совсем трезвым голосом и взглянул на Кузьму. – Вы здесь, конечно, ни при чем. Может, чуть-чуть поначалу и была, что вы за меня плохо хлопочете. Я ведь тоже думал: не для себя старался, для колхоза, должны учесть. Колхоз напишет поручительство, дадут принудиловку, и все. Мне бы и этого хватило. А на суде вижу: мне вредительство паяют. Вот так, – словно удивляясь до сих пор, председатель хмыкнул. – Обида потом была, но на другое. Я, конечно, виноват с этим бензином, я с себя вину не снимаю. Но если поразмыслить, не один же я виноват, ведь не из вредительства же в самом деле я стал этот бензин покупать. Нужда заставила. У меня хлеб осыпался. Выходит, кто-то повыше тоже был виноват, где-то получился недосмотр с горючим, раз его не было. Но никто не захотел на себя вину брать, одного меня осудили.

– Вот-вот.

– Когда стали меня обратно в председатели звать, сначала не хотел идти. А потом думаю: над кем это я собираюсь каприз строить? Над колхозом? Он не виноват. Над государством? Этого еще не хватало… – Председатель помолчал и, улыбаясь, но твердо добавил: – Жалко только, что эти семь лет из моей жизни зазря отхвачены.

Дома Кузьму ждал Евгений Николаевич. – Загулялся ты, Кузьма, загулялся. А я сижу и думаю: если гора не идет к Магомету, Магомет сам идет к горе.

– Давно ждешь, Евгений Николаевич?

– Так, давненько уже. Но решил сидеть до победного конца. Я такой человек: если пообещал – надо сделать. Приезжаю сегодня в сберкассу, а ее на ремонт закрывают. Я туда-сюда, не можем, говорят, и все. Побежал на дом к заведующему. Хорошо, меня там знают. Выдали. Повезло тебе, Кузьма.

– Смотри-ка ты, как получилось!

– Да, да. А сейчас сижу и думаю: может, зря ездил, зря бегал? Тебя все нету и нету. Думаю, может, нашел уже? Но сижу, не поднимаюсь. Если пообещал, надо до конца довести. Чтобы не было обид.

– Да какие обиды, Евгений Николаевич! Спасибо тебе.

– Значит, нужны деньги?

– Нужны, Евгений Николаевич.

– Тогда держи. Вот. Круглая сумма, посчитай.

Кузьма взял у Евгения Николаевича пачку денег, спрятал ее в карман.

– Чего их считать? Все тут.

– Ну, смотри, это дело твое. Я тебя обманывать не буду. Как обещал, так и сделал. С тебя пол-литра.

– Это само собой, Евгений Николаевич.

– Да нет, я шучу. Это просто так говорится. Потом, когда все кончится, можно и выпить, а сейчас не надо. Я знаю, у тебя сейчас каждая копейка на счету. Совесть надо иметь. Мы друг другу так помогать должны, без выгоды. Как русские князья объединялись в старину против половцев, так и мы должны объединиться против несчастья. Твоя беда – это, знаешь, что? Это половцы, половецкое войско. Помнишь из истории? Против них мы, как русские князья, сходимся все вместе. Теперь нас попробуй тронь. Нас много, мы просто так не дадимся. А, Кузьма? Правильно?

– Правильно, – засмеялся Кузьма. – Смотри-ка, как ты рассудил! – И еще раз засмеялся.

Из комнаты высунулся Витька, глядя на них, радостно улыбался.

– Правильно, Витька? – крикнул ему Евгений Николаевич. – Проходили вы про половцев?

– Правильно. Я книжку про них читал.

– Ну и как? Похоже?

– Похоже.

– Вот видишь, кое-что понимает, значит, у вас директор?

Витька, застеснявшись, исчез. Евгений Николаевич отчего-то вздохнул, хотя по лицу его было видно, что он полностью доволен собой, и поднялся.

– Идти надо. Эти половцы нам тоже нелегко обходятся. Устал я сегодня. Пойду спать.

– Задал я тебе работу, Евгений Николаевич.

– Ничего, ничего. Я тебя не упрекаю. Надо было – сделал. Свои люди. В другой раз ты для меня сделаешь. С людьми жить – человеком надо быть. Иначе тебя уважать не будут. Правильно я говорю?

– Это правильно.

– Вот видишь. – Евгений Николаевич осмотрелся. – Мария-то болеет, что ли?

Кузьма не знал, где Мария, но на всякий случай сказал:

– Болеет.

– Что с ней?

– Голова болит. – А, ну это не страшно.

У порога Евгений Николаевич негромко спросил:

– Как там у тебя – обещают ссуду-то?

– Обещают.

– Ага. Ну, когда дадут, тогда и расплатишься. Я тебя торопить не буду. Я знаю, ты человек надежный, за тобой не пропадет. Ну, я пошел.

Мария сидела на кровати и, положив себе на колени старый, с обтрепанными углами альбом, рассматривала фотографии. Когда Кузьма подошел, она смотрела на себя, какой была лет тридцать назад: с тяжелой косой, перекинутой по тогдашней моде через плечо, с круглым толстощеким лицом – невеста невестой, нерожавшая, нестрадавшая, плакавшая только детскими, пустячными слезами. Ничего еще тогда она не знала о себе, кроме имени, кроме того, что родилась и выросла в этой деревне и теперь будет жить дальше. Не знала о войне, о своих ребятишках, о магазине, о недостаче, думала, что для всяких бед и страданий на свете слишком много людей, чтобы все эти напасти могли выбрать ее, деревенскую, незаметную, гнала от себя мысли о том, что жизнь будет трудной, со слезами и горем. И теперь, страдая, она любовалась собой – той, которая ничего не знала, завидовала ей и навеки прощалась с ней. Раньше за всем тем, что было в жизни, некогда было попрощаться, а сейчас вот нашлось время, она села и поняла, что ничего в ней не осталось от той девчонки, ничего, кроме имени и воспоминаний, все остальное, как на войне, пропало без вести. О завтрашнем дне страшно было подумать.

Кузьма подошел и сказал:

– Сегодня хорошо получилось. Теперь ерунда осталась.

Мария не ответила. Она положила альбом на подоконник и вышла. Он не пошел за ней. Он сел на кровать и почувствовал, как устал. Хотелось спать.

Ему показалось, что на него кто-то смотрит, он поднял голову – это была Мария. Она смотрела на него из горницы, будто припоминая, что он о чем-то говорил. Он вышел в горницу; Мария ушла в кухню. Он почувствовал, что она и оттуда продолжает смотреть на него, словно никак не может припомнить, о чем он говорил. Он подождал, но она так ни о чем и не спросила.

Тогда он разделся и лег.

И второй день подошел к концу.

Давным-давно, еще в молодости, Кузьма понял: каждый день наступает не просто так, одинаково для всех, а приходит для кого-то одного, кому он приносит только удачу. Если человеку не везет или если месяц, два у него сплошные будни-значит, это были чужие дни, а его собственный где-то уже на подходе.

Засыпая, Кузьма знал точно: сегодняшний день был для него. Еще утром он не смел даже мечтать о таком везенье. Сначала пятнадцать рублей принес дед Гордей, больше сотни дала тетка Наталья, потом председатель собрал специалистов, и получилась сразу куча денег, которую осталось только утром пойти и взять, и под 344 конец принес обещанную сотню Евгений Николаевич. А день был сумрачный, невидный из себя, а такой удачный, такой богатый! И хорошо, что он подгадал сейчас, когда Кузьме казалось, что надо выходить на дорогу и кричать караул– другого выхода нет.

Кузьма засыпал счастливый, благодарный своему дню и людям за доброту и выручку. Так, счастливый, тогда и уснул, забыв, что его день уже прошел.

Здесь, в поезде, среди ночи Кузьму будит парень.

– Кузьма! А, Кузьма! Ты спишь?

– Чего тебе?

– Дай закурить. Спасу нет, хочу курить, а у меня кончились.

Кузьма приподнимается, нащупывает на металлической сетке у стены папиросы. Тычет их парню. Тот стонет:

– Во-о-от хорошо. А то думал, пропаду.

Кузьме больше спать не хочется. Он слезает вслед за парнем вниз. Старуха от шорохов просыпается, вглядываясь, приподнимает голову.

– Спи, спи, бабуся, свои, – шепчет парень. Они выходят в коридор. Здесь никого нет, стоит сонный, уютный для ночи полумрак. Чуть покачиваются на окнах, закрывая темноту, розовые занавески, чуть подрагивает под ковром пол.

Закуривают. Стоят друг против друга у окна и курят: парень торопливо, шумно вздыхая от удовольствия, Кузьма – привычно и спокойно. Дым ползет по коридору в хвост вагона и там, покрутившись, теряется.

Парень, утолив первый, сосущий голод, курит спокойнее. Спрашивает у Кузьмы:

– Ты ничего, что я тебя поднял?

– Да я почти и не спал. Так, дремал.

– Чего это?

– Днем, что ли, выспался. Теперь уж скоро приеду.

– А-а. А я завсегда с похмелья плохо сплю. Потом, поглядывая сбоку, он с нарочитым равнодушием говорит:

– А забавные эти старик со старухой. Ты заметил?

– Ага.

– Они что, правда такие или притворяются?

– По-моему, правда такие. Люди всякие бывают.

– Сюсюкает: Сережа, Сережа. По головке его гладит. И он тоже терпит, будто так и надо. Я бы со стыда умер – да еще на людях.

– Они, видно, всегда так.

– Врет он, что не бегал от нее.

– Кто его знает? Может, и не врет. По-моему, не врет.

– А она правда верит. По ней самой видать. Заметил?

– Ага.

– А когда верит, и сама не побежит. Всю войну, поди, ждала. Это ж подумать надо!

Парень останавливается, не курит. Задумчиво жует свои губы. Добавляет:

– За это орден надо было давать. Придумали бы такой орден, специально для баб.

Проводница, услышав голоса, выходит из своей комнатушки, идет к ним. Молча останавливается рядом и смотрит.

– Курим, – говорит ей парень.

– Другого места не нашли, где курить.

– Ты уж скорей кричать. Какие все же вы! Вон бери пример, здесь старуха одна едет, она за всю жизнь ни разу на своего старика не крикнула. А вы чуть чего – и гавкать. Вот народ! Почему раньше женщины не такие были?

– Ты вот пооскорбляй меня…

– Да кто тебя оскорбляет? Нужна ты мне! Я тебе втолковываю.

Парень и правда говорит не оскорбительным, а скорее обиженным, жалующимся тоном человека, который много натерпелся. И проводница, подумав, уходит. Парень закуривает вторую папиросу и в задумчивости приваливается к стене. Кузьма, спохватившись, догоняет проводницу и спрашивает, сколько осталось до города. Всего три часа. Теперь уж не стоит и ложиться. Кузьма неторопливо возвращается к парню.

Парень смотрит куда-то рядом с Кузьмой и говорит:

– У меня баба вообще-то ничего была. А вот жизнь не получилась.

– Сам, наверное, виноват.

– Как тебе сказать, Кузьма? Сам, не сам. Пил, конечно. Но другая давно бы привыкла, и жили бы. Я один, что ли, пью? Привыкают же бабы. Так, для порядка, поворчат, и опять вместе. Я же вижу. А эта сбрындила, принцип поставила, ушла. Если бы я еще каждый день пил. Я не алкоголик. Так, по настроению, с ребятами когда. И зарабатывал столько, что на все хватало – и на водку, и на семью. Я говорю: принцип. – Отдохнув, он говорит спокойнее: – Сам, конечно, дурак. Надо было смотреть, кого брал.

Для другой бы и такой хороший был, а этой вот не подхожу, не тот сорт.

– Ребятишки-то есть у вас?

– Девчонка. Четвертый год.

– Вернется, поди. Как же ребенку без отца? – Не знаю, не могу сказать. Она один раз уже уходила от меня, но я тогда знал, что обратно придет, никуда не денется. Почему знал, не пойму, но чувствовал, что придет, что это нарочно, чтоб характер передо мной показать. Думаю, показывай, дело твое. А сам хоть бы хны. Пришла. А сейчас не чувствую. Видно, всерьез. Да и по ней было заметно, что всерьез.

– А ты к ней не ходил, не разговаривал?

– Нет. Как ушла, я сразу отпуск, путевку и поехал. Раз ты так, то и я. Я тоже бедовый.

– Да-а.

Вагон спит. Они разговаривают негромко, и разговор их никому не мешает, они будто специально оставлены здесь, как на дежурство, чтобы кто-то не спал, думал и разговаривал о жизни – не то всем вместе ее можно проспать. Раз за разом со свистом кричит в ночи электровоз и смолкает – теперь надо прислушиваться, не закричит ли он снова. Ночью все не просто, все тревожит и пугает, завтрашний день кажется таким далеким, и еще неизвестно, наступит ли он, не сломается ли что-нибудь в этом извечном порядке дня и ночи, не остановится ли в темноте, не замрет ли. Разве возьмется кто-то совершенно точно сказать, что это невозможно.

Парень говорит:

– Обратно подумаю: одной ведь тоже с ребенком не сладко. Помотается, помотается и поймет. Молодая, еще не взяла свое. Это когда они ругаются с нами, думают, что мы им не нужны. Разойдется и... такой-сякой, поливает на чем свет стоит. А потом одумалась и обратно: ластится, задабривает. Живому живое и надо. А чего она одна будет? Не выдюжит, поди.

– Зачем одна? – с умыслом говорит Кузьма. – Найдет кого-нибудь.

– Пускай попробует, – зашевелился парень. – Это как еще найдется! Думаешь, я смотреть буду? Не поздоровится ни ему, ни ей.

– Но раз вы разошлись…

– Пускай тогда уезжает, чтоб не на моих глазах. Хоть до любого доведись – думаешь, приятно, когда с твоей бабой, хоть и с разведенной, другой живет? Все равно что кусок мяса от тебя от живого отдирают. Да у нас в деревне, к примеру, никто и не осмелится с ней. Знают меня. Знают, что терпеть не буду.

Парень хотел бросить окурок в мусорное ведро, наступил на педаль – крышка с грохотом отскочила, не удержалась и брякнулась обратно.

– Ч-черт! – выругался он.

На шум выглянула проводница, сверкнула глазами и снова скрылась. В купе кто-то заворочался и тоже затих – видно, проснулся и сразу уснул. А поезд как шел, так и идет.

Парень мнет окурок в руках, и табак сыплется на ковер. Оглядываясь, он нагибается и сдувает табак с ковра. Потом руками осторожно приподнимает крышку и сует окурок в ведро. Хмуро молчит.

Опять тихо, спокойно.

И не видать, не слыхать, успокоился ли ветер. Не видать, куда идет поезд, есть ли под ногами земля. Хорошо тем, кто спит. Проснутся – будет утро, может быть, даже солнце. При солнце спокойней.

Кузьма думает: скоро город. Вот так бы ехать и ехать и подольше ничего не знать – нет, скоро приедет и все узнает.

Парень вдруг спрашивает:

– Черт ее знает, может, мне обратно поехать? Они любят, когда из-за них от чего-нибудь интересного откажешься. Пришел бы, сказал: так и так. Как ты считаешь, Кузьма?

– Не знаю, – осторожно говорит Кузьма. – Это тебе самому надо решать…

– Ну да. Я знаю, что самому. – Парень от волнения по-детски шмыгает носом. – Черт ее знает… – Пока он думает, поезд увозит его все дальше и дальше. И он решает: – А-а, теперь уже поздно. Раз поехал, надо ехать. Приеду, как-нибудь решится. Нет так нет – на ней белый свет не сошелся. – Он хочет свести этот разговор к шутке: – А то вернусь, куда деньги девать? Опять пропивать надо. Лучше я их проезжу.

Он признается:

– Это все старик со старухой. Посмотрел на них, и как-то не по себе стало. Расчувствовался. Я чувствительный какой-то. Родился, что ли, таким ненормальным. В кино другой раз сижу и чуть не плачу, когда там что-нибудь такое показывают. С ребятами из-за этого боюсь рядом садиться. Стыд один: они смеются, а я губы сжимаю, чтоб не зареветь. Душа какая-то бабья.

Поезд вдруг вскрикивает и начинает тормозить. Проводница с фонарем, не торопясь, идет к выходу – значит, ничего страшного, просто остановка. Парень отводит шторку в сторону и смотрит в темноту. Видит огоньки. И говорит:

– Тоже люди живут.

До города теперь остаются совсем пустяки.

Наступил третий день. Кузьма поднялся с тем спокойным и довольным чувством, когда все идет хорошо. Сам разбудил ребят в школу, постоял, посмотрел, как они, суетясь, одеваются, подумал про себя, что надо бы им как-то сказать про деньги, чтобы они повеселели. Когда сели за стол и Мария, как всегда, налила ребятам молока, а себе и Кузьме чаю, Кузьма подмигнул Витьке, показал на стаканы:

– Давай меняться.

Витька удивился, радостно встрепенулся:

– Давай.

– Молока, что ли, нету – у ребенка отбираешь! Надо – так налью! – вскинулась Мария.

– Не надо.

Кузьма нисколько не обиделся на Марию и даже в душе был немножко доволен тем, что она рассердилась: если может сердиться, сможет и радоваться, значит, застыла не совсем и скоро отойдет. С Витькой они, пока сидели, все время заговорщически переглядывались, и Кузьма теперь знал, что Витька, как мог, понял: все хорошо. В школу он побежал подпрыгивая.

Кузьма подождал, когда совсем рассвело, неторопливо, удерживая себя от спешки, оделся. Уходя, сказал Марии:

– Пойду деньги возьму.

Она не ответила, но он и не ждал, что она ответит, ему надо было только сказать, чтобы слова эти остались в ней и делали свое дело.

День поднимался хмурый, сродни вчерашнему, который приходил для Кузьмы, – вот и этот, видно, будет ему как свой. Все идет к тому. Кузьма шагал и чувствовал, как приятной тяжестью отдаются в теле шаги и тело ждет новых, следующих. У него это часто бывало, когда хочется идти и идти, и он отдыхал во время ходьбы.

Ему все же показалось, что день встает какой-то непрочный, словно стеклянный, с тонким и ломким стеклом. Он подумал, что так оно и есть, такое время: не осень и не зима, осень каждую минуту может сломаться и наступит зима. Снег нынче на удивление еще ни разу не пробрасывало. Теперь уж недолго осталось ждать.

Недалеко от конторы Кузьму окликнул механик, подошел и поздоровался с ним за руку. Кузьма почувствовал неловкость перед механиком: как-никак идет получать его деньги. Чего уж тут приятного? Стыдно в глаза человеку смотреть.

Механик сказал:

– Ты меня, Кузьма, конечно, извини, что я к тебе с этим подъезжаю. Я знаю, нельзя так, но больше ни черта не мог придумать. Понимаешь, я к себе на праздник товарища пригласил, вместе в институте учились, а денег нету. Бутылку не на что взять.

– Да я тебе дам! – обрадовался Кузьма. – Чего ты за свои деньги извиняешься. Вот еще не хватало!

– Ага, если можешь, дай рублей двадцать. Я тут почти никого не знаю, занять не у кого.

– Дам, дам. Какой может быть разговор! Они вошли в контору, и механик кивнул на комнату, где собирались специалисты:

– Я тут буду.

Кузьма пошел к бухгалтеру. Тот увидел Кузьму с порога, откинулся на спинку стула и ждал, когда Кузьма подойдет, показывая всем своим видом, что он его ждет. Как и все бухгалтеры, он был дотошный и скуповатый, и Кузьма вдруг спохватился, что он почему-то ни разу не подумал, что может не получить деньги; это было вероятней всего, потому что мало кому удавалось получить их с первого захода, бухгалтер считал, что этого недостаточно, и заставлял приходить по три, по четыре раза.

Кузьма сам себе удивился, почему он вчера, да и сегодня с утра был уверен, что получит деньги.

И, подходя к бухгалтеру, весь сжался, приготовился к самому худшему.

– Здорово!

– Здравствуй, – с вызовом ответил бухгалтер. – Пришел?

– Пришел.

– Получить хочешь?

– Если дашь.

Казалось, бухгалтер почувствовал, что Кузьма понимает, насколько он от него, от бухгалтера, зависит, и, помолчав, выждав время, чтобы Кузьма поволновался, сказал:

– Тут неприятность получилась. – Еще с удовольствием похмурился, еще потянул время. – Я же не знал, что теперь ты будешь наши деньги получать. Взял и истратил свою зарплату.

– Как истратил?

– Как деньги тратят. В магазине. Могу отчитаться: купил жене тужурку на зиму, себе валенки.

Кузьма, наконец, понял, кивнул.

– А остальные? – спросил он. Бухгалтеру, видно, доставляло удовольствие отвечать не сразу, и он, глядя на Кузьму, молчал. Все же сказал сердито:

– Остальные в сейфе, у Полины. Там в ведомости не все расписались. Если Полина выдаст под свою ответственность, пускай выдает.

Кузьма пошел к столику Полины. Бухгалтер крикнул ему в спину:

– Перепиши там себе на бумажку, кому сколько должен будешь. Отдавать придется.

Он отпускал его от себя с неохотой, жалея, что так быстро все сказал. Полина прошептала:

– Я тебе выдам, только ты сразу же найди зоотехника и ветеринара, пускай зайдут.

– Ладно.

Она стала считать деньги, быстро-быстро перебирая бумажки, и все-таки считала долго: деньги были только тройками и рублями, и она потом их еще раз пересчитывала. Кузьма стоял, без интереса и без волнения смотрел, как мелькают бумажки в руках Полины, ждал. Отдавая ему деньги, она все так же шепотом спросила:

– Много еще осталось?

– Теперь опять много.

Кузьма затолкал деньги в карманы, и карманы оттопырились. Он придавил их сверху ладонью, потом вспомнил, что надо двадцать рублей сразу отдать механику, и достал верхнюю пачку, в которой были тройки; он отсчитал не двадцать рублей, потому что двадцать тройками не получалось, а тридцать. Бухгалтер с холодным любопытством наблюдал за ним из своего угла, и Кузьма в ответ тоже уставился на бухгалтера и не отводил взгляда до тех пор, пока тот не отвернулся. Бухгалтер решил отомстить:

– Не пропей.

– Иди-ка ты… – без особого зла ответил Кузьма.

Он зашел в комнату специалистов, где сидел механик, и тихонько, как взятку, сунул ему в руку тридцать рублей. Механик, не оборачиваясь, бормотнул:

– Ага.

В коридоре Кузьме попалась жена ветеринара, но он не заметил, что она смотрит на него с тем жадным и недобрым вниманием, с каким преследуют добычу. Хотел зайти к председателю, заглянул – у председателя был народ – и закрыл дверь. Что он ему скажет? Лучше идти домой.

День был все такой же хмурый, так и не сломавшийся, теперь он казался мятым, склеенным из старой прозрачной бумаги. Дунь на него, и он улетит, но ветра не было и дунуть на него было некому. Потихоньку что-то вокруг шумело, звучало, лаяло – будто шелестели стенки этого бумажного дня. Дали были мутными. Кузьма подумал, что сегодняшний день, наверно, наступил для бухгалтера – он под стать его постной роже.

Деньги в карманах мешали Кузьме идти свободно, и он задерживал шаг – не шел, а нес деньги, будто они могли расплескаться. Они не радовали его: что-то там случилось с радостью, и она не шевелилась. Он знал, что они нужны, и только, а удовлетворения, сладости от того, что они есть, он не испытывал. Хотелось скорей их выложить, освободить карманы.

Дома Кузьма сбросал деньги в большую, из-под леденцов, банку, которую привез после войны из Австрии, и поставил банку на шкаф. Стало легче. Подбадривая себя, он подумал, что сейчас в деревне ни у кого нет столько денег, сколько у него в этой банке. Он сделал все, что мог, а за два оставшихся дня должен добрать до тысячи. Как – он еще не знал. Что-нибудь придумается, не может быть, чтобы на этом все кончилось. Раз нужна тысяча, он ее как-нибудь достанет. Только не сейчас, не сегодня. Он чувствовал, что не сможет просить сегодня деньги, что он израсходовал в себе для этого все. Надо отдохнуть.

В сенях послышались шаги, но Кузьма принял их просто как шаги сами по себе, не связав их с тем, что это кто-то идет. И когда вошла жена ветеринара, он удивился, откуда она здесь взялась. И сразу вспомнил, что не нашел ветеринара и зоотехника, не сказал им, чтобы они расписались в ведомости.

Жена ветеринара стояла у дверей с поджатыми, подрагивающими в уголках губами. Она была плоская, некрасивая, и Кузьме непонятно отчего часто ее бывало жалко. Он знал, что с ветеринаром они живут плохо, и она, казалось, была доказательством того, что бывает с женщиной, когда в семье нет мира. Кузьма скорее привычно, чем сознательно, пригласил:

– Проходи, чего в дверях стоишь.

Она не тронулась с места. Губы ее задрожали сильнее:

– А мы-то как будем жить, Кузьма? Ты подумал? Почему так делаешь-то?

Кузьма понял не сразу, а когда понял, не смог ответить.

– Мы их месяц ждали. – Голос у нее подрагивал, сдерживался, чтобы не забиться, не заплескаться. – У нас пятьдесят рублей долгу. Как мы теперь?

Кузьма поднялся и достал со шкафа банку с деньгами. Опрокинул ее на стол и сначала нашел бумажку, на которую была переписана зарплата специалистов, а потом старательно, чтобы не ошибиться, отсчитал деньги. Жена ветеринара подошла ближе, и он, подавая ей деньги, вдруг увидел Марию. Она только на секунду остановилась и прошла в кухню. Кузьме стало противно и стыдно, будто эти деньги он украл у Марии и она застала его на месте преступления. Жена ветеринара пропала.

Кузьма собрал оставшиеся деньги в банку, поставил опять банку на шкаф, но с краю, не так далеко, как раньше. Когда в ней столько денег, конечно, за ними еще могут прийти. Надо подождать. Деньги еще кому-нибудь могут понадобиться.

Он стал ждать.

Несколько раз мимо проходила Мария, посматривала на него, но он не оборачивался. Он ждал.

Прошел час, прошел второй, и Кузьма уже стал недоумевать, почему так долго никого нет, но тут в сенях опять послышались шаги. Теперь он помнил: раз шаги – значит, кто-то идет. Он ждал не зря.

Вошла девочка, дочь агронома, и Кузьма с неудовольствием подумал: почему специалисты не идут сами, почему они посылают вместо себя жен и детей? Ведь девочка может потерять деньги.

Кто потом будет виноват?

– Здравствуйте, – робко, исподлобья оглядываясь, сказала девочка.

– Здравствуй, здравствуй, – ответил Кузьма и поднялся, чтобы достать банку. Хорошо, что он не затолкал ее к стене, а поставил с краю.

– Дядя Кузьма, – быстро заговорила девочка. – Скажите вашему Витьке, чтобы он за мной не ходил.

– Что? – Кузьма остановился, и вытянутая рука упала вниз.

– Скажите вашему Витьке, чтобы он не ходил за мной. А то нас дразнят женихом и невестой. Мне мальчишки проходу не дают. Кричат: «Жених и невеста поехали по тесто». Кузьма недоверчиво засмеялся.

– Неужели?

– Ну. Зачем он ходит? Я ему сказала, а он все равно. Пускай за другой девочкой ходит.

– Вот паразит! – громко засмеялся Кузьма. – Ходит, говоришь?

– Ну. Меня дразнят, а я не виновата.

– Вот он придет, я ему шею накостыляю! Ходит, ишь гусь!

– Нет, вы ему так скажите. Он отца должен так послушать.

– Скажу. Я ему скажу.

– Я побегу, – попросилась девочка.

– Беги и не бойся: теперь он на тебя ни разу не взглянет. Вот увидишь.

Она глубоко кивнула, как поклонилась, и убежала. Кузьма еще весело хмыкнул ей вслед, поулыбался, но уже чувствовал, что к нему возвращается то пустое и холодное состояние, которое было до девочки. Он покосился на банку и сел. Надо бы сосчитать деньги, но подниматься снова не хотелось; он боялся, что их осталось совсем немного, и тогда будет еще хуже.

Он попытался успокоить себя тем, что еще вчера он не смел даже и надеяться на такие деньги. Не успокоилось. Он решил: лучше думать о деле. К кому еще можно пойти, у кого просить?

Потом как-то забылось, что он хотел думать о деле, и ни о чем не думалось. Он сидел возле банки, как сторож, когда воров нет и не может быть. Шевелился, курил. рибежали из школы ребята, и Кузьма стал вспоминать, зачем ему был нужен Витька, но так и не вспомнил.

Ребята ели в кухне одни: ни Кузьма, ни Мария к ним не вышли.

Тихо, боязно было в избе; все дома, а тихо и боязно. Перед вечером, запыхавшись, присеменил дед Гордей. Крикнул Кузьму, не находя места, закружил по комнате и под конец поманил его за собой к дверям. В сенях зашептал:

– Тебе, Кузьма, и вовсе никаких денег не надо. Кумекаешь? Без денег можно.

– Еще что, дед, выдумаешь? – морщась, сказал Кузьма.

Дед Гордей радостно захихикал:

– Вот тебе и выдумаешь! Дед выдумывать не станет, он точно будет знать. Я тебе счас такое подскажу…

Кузьма промолчал.

– Вот, значит, как. Можно без денег. Ни одной копейки не надо. А Марию не тронут. И по закону будет правильно. – Дед поднес свое лицо вплотную к Кузьме и зашептал: – Сделай ее беременной, и на этом хватит. В законе записано: беременных в тюрьму не брать.

– Да ты что, дед? – отшатнулся Кузьма. Дед заговорил горячей и громче:

– Верный человек мне сказывал, он врать не будет. Гольная правда. Сделай Марию беременной, и все. Долго ли тебе? А?

– Иди, дед, отсюда и больше ко мне с этим не приходи. Советчик нашелся!

– Как? – опешил дед.

Кузьма повернулся, пошел в дом.

– Я тебе дело сказываю, а ты норку на сторону воротишь! – закричал дед. – Ну и вороти – мое дело маленькое. Только после не говори, что я к тебе не приходил.

Потом Кузьма раздумался, и предложение деда Гордея уж не казалось ему диким. Так оно, конечно, было бы неплохо. Все сразу бы и решилось. Он и сам слышал, что беременных жалеют, не судят, но почему-то забыл об этом – наверно, потому, что точно не знал, правду ли говорили. Там, где шестеро ртов, прокормится и седьмой, где растут четверо, поднимется и пятый. Только теперь уж, наверно, поздно. Знать бы раньше. Надо все же намекнуть Марии. Нет, лучше не надо, а то она подумает, что с деньгами ничего не выходит, и тогда уж совсем обомрет. И так ходит как неживая. Куда ни кинь – везде клин. Что же делать? К кому завтра пойти? А к кому пойдешь? Не к кому. Может, плюнуть на все и поехать с утра к брату? Только вот есть ли у него деньги? Даст ли он?

Вот штука так штука получилась.

Третий день тоже кончился. Подошло его время, и он, как в могилу, ушел под землю – и косточек не найдешь. До ревизора теперь оставалось только два, от силы три дня.

С вечера Кузьма уснул, но среди ночи его разбудила машина, осветившая комнату фарами, и светом вспугнула сон. Кузьма поднялся, присел к окну. За окном была мертвая темнота, она укрыла все живое и, казалось, нигде не кончалась. Чтобы перебить в себе подступающую тревогу, Кузьма закурил, и оттого, что ему удалось закурить, стало легче. Ночью в голову лезут всякие мысли – вот почему по ночам люди стараются спать.

Потом он лег, и ему повезло, он уснул. Ему приснился интересный сон: будто он едет в той самой машине, которая его разбудила, и собирает для Марии деньги. Машина сама знает, где они есть, и останавливается, а он только стучит в окно и просит, чтобы ему их вынесли. Деньги выносят, и машина идет дальше.

Он снова проснулся, но ночь еще не прошла, и темнота даже не тронулась с места. Опять в голову полезли всякие мысли, и одна из них была совсем нехорошая. Кузьме показалось, что он остался один на всем белом свете – он даже подумал: не на белом, а на черном, будто белого света уже не существовало. Но задребезжал, словно разваливаясь на части, самолет, быстро затих – как развалился, и Кузьма стал ждать следующих звуков, которые затаились в темноте. Их долго не было, но теперь он знал, что он не один, и мог думать о другом. Откуда-то сзади с ноющей болью выдвинулись мысли о Марии и о деньгах, и уже по цепочке, как последнее звено, вспомнился брат. И Кузьма решил: утром он отправится к брату.

Утром в стену снаружи бухнуло ветром, и Кузьма заторопился. Он сказал Марии, что едет в город, и она, безмолвная и недвижная в последние дни, вынесла свое суждение: брат не даст. Но Кузьме отступать больше было уже некуда. Мария, поняв, что она будет одна, боясь остаться беззащитной, снова и снова повторяла, что брат денег не даст, потом заплакала. Кузьма не стал ее успокаивать – пусть поплачет, теперь даже, слезы ее были для него успокоением: это лучше, чем если бы она молчала.

В автобусе он сидел у окна и смотрел, как безумствует ветер. Кузьма понимал, что так оно и должно быть, что погода не может оставаться спокойной, когда они с Марией попали в такую кутерьму, но ветер задувал с такой силой, что Кузьма испугался, не придется ли ему еще хуже. Весь день он ждал, когда ветер затихнет, и не мог дождаться; даже с закрытыми глазами он видел, как бьется на ветру и стонет земля.

И только когда стемнело, Кузьма стал успокаиваться. Теперь он не знал, что происходит на улице, не знал и не хотел загадывать, что его ждет впереди. Он был доволен тем, что может ничего не делать, что все за него пока делает поезд. Кузьма отдыхал, но это был отдых подсудимого перед приговором, и он чувствовал это.

Ему хотелось ехать и ехать, но поезд уже подвозил его к городу. Кузьма со страхом думал о том, что сейчас он снова должен будет просить деньги. Он не был к этому готов. Он боялся города, не хотел в него. И, когда поезд начал тормозить, он вспомнил о ветре и поежился, говоря себе, что все дело только в ветре.

Кузьма сходит с поезда и от неожиданности замирает: снег. Большими, лохматыми хлопьями он спадает на землю, и в наступающих утренних сумерках земля начинает белеть. Ветра нет и в помине. Мягкая, неземная тишина, спадающая вместе со снегом на землю, накрывает и глушит пока еще редкие звуки.

Стараясь попадать в чьи-то следы, чтобы не мять снег, Кузьма через рельсы идет к вокзалу. Его охватывает горькое, тоскливое чувство неизбежности того, что сейчас произойдет. Он заставляет себя думать, что приехал не к чужому человеку, а к брату, но брат, как спасение, из мыслей все время ускользает, и остается одно только слово, слишком короткое и непрочное, чтобы успокоить. Тогда Кузьма думает о снеге, о том, что снег сейчас – это к добру. Должно быть, он добрался теперь и до деревни, и Мария засветившимися в надежде глазами смотрит на него, как на чудо. Наверно, Мария считает, что Кузьма уже у брата и обо всем договорился – после этого, как добрый знак, чтобы она зря не маялась, и пошел снег. Она до всего может додуматься.

Кузьма идет к автобусной остановке и, достав конверт с адресом, спрашивает, как доехать до брата. Ему показывают автобус, на котором надо ехать. Кузьма садится. Народу в автобусе из-за раннего и воскресного утра немного. Кузьма чувствует себя совсем одиноким и потерянным, будто он приехал в город не сам, а его привезли. Мысли о деньгах вдруг кажутся ему пустяковыми по сравнению с тем, что его ждет впереди. Он оглядывается на людей – все смотрят на улицу и не замечают его. Он ругает себя: как это ему в голову пришло ради денег ехать в город, неужели он не мог достать их у себя в деревне?

Потом он сходит с автобуса, оглядываясь, держа перед собой конверт с адресом, идет по улице. Рассвело. Снег все валит и валит, падает Кузьме на плечи, на голову, застилает глаза, как бы мешая Кузьме идти дальше.

Он находит дом брата, останавливается, чтобы передохнуть, и прячет в карман мокрый от снега конверт с адресом. Потом вытирает ладонью лицо, делает последние до двери шаги и стучит. Вот он и приехал – молись, Мария!

Сейчас ему откроют.

**К урокам 23-24.**

**Валентин Распутин. «Последний срок».**

**Валентин РАСПУТИН**

*Повесть*

**ПОСЛЕДНИЙ СРОК**

1

Старуха Анна лежала на узкой железной кровати возле русской печки и дожидалась смерти, время для которой вроде приспело: старухе было под восемьдесят. Она долго пересиливала себя и держалась на ногах, но три года назад, оставшись совсем без силенок, сдалась и слегла. Летом ей будто легчало, и она выползала во двор, грелась на солнышке, а то и переходила с роздыхом через улицу к старухе Миронихе, но к осени, перед снегом, последняя мочь оставляла ее, и она по утрам не в состоянии была даже вынести за собой горшок, доставшийся ей от внучки Нинки. А после того как старуха два или три раза подряд завалилась у крыльца, ей и вовсе приказали не подниматься, и вся ее жизнь осталась в том, чтобы сесть, посидеть, опустив на пол ноги, а потом опять лечь и лежать.

За свою жизнь старуха рожала много и любила рожать, но теперь в живых у нее осталось только пятеро. Получилось так оттого, что сначала к ним в семью, как хорек в курятник, повадилась ходить смерть, потом началась война. Но пятеро сохранились: три дочери и два сына. Одна дочь жила в районе, другая в городе, а третья и совсем далеко – в Киеве. Старший сын с севера, где он оставался после армии, тоже перебрался в город, а у младшего, у Михаила, который один из всех не уехал из деревни, старуха и доживала свой век, стараясь не досаждать его семье своей старостью.

В этот раз все шло к тому, что старухе не перезимовать. Уже с лета, как только оно пошло на убыль, старуха стала обмирать, и только уколы фельдшерицы, за которой бегала Нинка, доставали ее с того света. Приходя в себя, она тоненько, не своим голосом, стонала, из глаз ее выдавливались слезы, и она причитала:

– Сколь раз я вам говорила: не трогайте меня, дайте мне самой на спокой уйти. Я бы тепери где-е была, если бы не ваша фельдшерица. – И учила Нинку: – Ты не бегай боле за ей, не бегай. Скажет тебе мамка бежать, а ты спрячься в баню, подожди, а потом скажи: нету ее дома. Я тебе за это конфетку дам – сладкую такую.

В начале сентября на старуху навалилась другая напасть: ее стал одолевать сон. Она уже не пила, не ела, а только спала. Тронут ее – откроет глаза, глянет мутно, ничего не видя перед собой, и опять заснет. А трогали ее часто – чтобы знать: жива, не жива. Высохла и ближе к концу вся пожелтела – покойник покойником, только что дыхание не вышло.

Когда окончательно стало ясно, что старуха не сегодня-завтра отойдет, Михаил пошел на почту и отбил брату и сестрам телеграммы – чтобы приезжали. Потом растолкал старуху, предупредил:

Первой, уже на другое утро, приехала старшая старухина дочь Варвара. Ей добираться из района было недалеко, всего-то пятьдесят километров, и для этого ей хватило попутной машины.

Варвара открыла ворота, никого не увидела во дворе и сразу, как включила себя, заголосила:

– Матушка ты моя-а-а! Михаил выскочил на крыльцо:

– Погоди ты! Живая она, спит. Не кричи хоть на улице, а то соберешь сейчас всю деревню.

Варвара, не глядя на него, прошла в избу, у старухиной кровати тяжело стукнулась на колени и, мотая головой, снова взвыла:

– Матушка ты моя-а-а!

Старуха не пробудилась, ни одна кровинка не выступила на ее лице. Михаил пошлепал старуху по провалившимся щекам, и только тогда ее глаза изнутри задвигались, зашевелились, пытаясь открыться, и не смогли.

– Мать, – тормошил Михаил, – Варвара приехала, погляди.

– Матушка, – старалась Варвара. – Это я, твоя старшая. Я к тебе повидаться приехала, а ты на меня и не смотришь. Матушка-а-а!

Глаза у старухи еще покачались-покачались, словно чашечки весов, и остановились, сомкнулись. Варвара поднялась и отошла плакать к столу – где удобнее. Она рыдала долго, пристукивая головой о стол, зашлась в слезах и уже никак не могла остановиться. Возле нее ходила пятилетняя Нинка, пригибалась, чтобы заглянуть, почему Варварины слезы не бегут на пол; Нинку прогоняли, но она, хитря, снова прокрадывалась и лезла к столу.

Вечером, на счастливо подгадавшей «Ракете», которая ходит только два раза в неделю, приехали городские – Илья и Люся. Михаил встретил их на пристани и повел в дом, где все они родились и выросли. Шли молча: Люся и Илья по узкому и шаткому деревянному тротуарчику, Михаил рядом, по комкам засохшей грязи. Деревенские здоровались с Люсей и Ильей, но не задерживали разговорами, проходили и с интересом оглядывались. Из окон на приехавших таращились старухи и ребятишки, старухи крестились. Варвара при виде брата и сестры не утерпела:

– Матушка-то наша… Матушка-а-а!

– Погоди ты, – опять остановил ее Михаил. – Успеешь.

Сошлись все у старухиной кровати – и Надя, Михайлова жена, тут же, и Нинка. Старуха лежала недвижимо и стыло – то ли в самом конце жизни, то ли в самом начале смерти. Варвара ахнула:

– Не жива.

На нее никто не цыкнул, все испуганно зашевелились. Люся торопливо поднесла ладонь к открытому рту старухи и не почувствовала дыхания.

– Зеркало, – вспомнила она. – Дайте зеркало.

Надя кинулась к столу, на ходу вытирая о подол осколок зеркала, подала его Люсе; та торопливо опустила осколок к бескровным старухиным губам и с минуту подержала. Зеркальце чуть запотело.

– Жива, – с облегчением выдохнула она. – Жива наша мама.

Варвара опять спохватилась плакать, будто услышала все не так, Люся тоже опустила слезу и отошла. Зеркальце попало к Нинке. Она принялась на него дуть, заглядывая, что с ним после этого будет, но ничего интересного для себя не дождалась и, улучив момент, сунула зеркальце ко старухиному рту, как только что делала Люся. Михаил увидел, при всех отшлепал Нинку и вытолкал из комнаты.

Варвара вздохнула:

– Ах, матушка ты наша, матушка.

Надя спросила, куда подавать на стол – сюда, в комнату, или в кухню. Решили, что лучше в кухню – чтобы не тревожить мать. Михаил принес купленные со дня бутылку водки и бутылку портвейна, водку разлил себе и Илье, портвейн сестрам и жене.

– Татьяна наша сегодня уж не приедет, – сказал он. – Ждать не будем.

– Сегодня не на чем больше, ага, – согласился Илья. – Если вчера получила телеграмму, сегодня на самолет, в городе пересадка. Может, сейчас в районе сидит, а машины на ночь не идут – ага.

– Или в городе.

– Завтра будет.

– Завтра обязательно.

– Если завтра, то успеет.

Михаил на правах хозяина первый поднял рюмку:

– Давайте. За встречу надо.

~– А чокаться-то можно ли? – испугалась Варвара.

– Можно, можно, мы не на поминках.

– Не говорите так.

– А, теперь говори, не говори…

– Давно мы вот так все вместе не сидели, – с грустью сказала вдруг Люся. – Татьяны только нет. Приедет Татьяна, и будто никто никуда не уезжал. Мы ведь раньше всегда за этим столом и собирались, в комнате только для гостей накрывали. Я даже на своем месте сижу. А Варвара не на своем. И ты, Илья, тоже.

– Где уж там – не уезжали! – стал обижаться Михаил. – Уехали – и совсем. Одна Варвара заглянет, когда картошки или еще чего надо. А вас будто и на свете нету.

– Варваре тут рядом.

– А вам прямо из Москвы ехать, – поддела Варвара. – День на пароходе – и тут. Уж хоть бы не говорили, раз за родню нас не признаете. Городские стали, была охота вам с деревенскими знаться!

– Ты, Варвара, не имеешь никакого права так говорить, – разволновалась Люся. – При чем здесь городские, деревенские? Ты думай, о чем говоришь.

– Ага, у Варвары, конечно, нету права говорить. Варвара не человек. Чё с ней разговаривать? Так, пустое место. Не сестра своим сестрам, братовьям. А если спросить тебя: сколько ты дома до сегодняшней поры не была? Варвара не человек, а Варвара матушку нашу проведывала, в год по скольку раз проведывала, хоть у Варвары – не твоя семья, побольше. А теперь Варвара и виноватая сделалась.

– Давно не была – чего там! – поддержал Варвару Михаил. – У нас еще Нинка не родилась, приезжала. А Илья в последний раз был – когда с севера переехал. Еще Нинку Надя от груди отнимала. Помнишь, горчицей соски мазали, ты смеялся.

Илья помнил, кивнул.

– Не могла, вот и не приезжала, – обиженно сказала Люся.

– Захотела, смогла бы, – не поверила Варвара.

– Что значит смогла бы, если я говорю, не могла? У меня такое здоровье, что если в отпуск не подлечиться, потом весь год будешь по больницам бегать.

– У Егорки всегда отговорки.

– При чем здесь какие-то Егорки и отговорки?

– А так, ни при чем. Вам уж и слова сказать нельзя. Важные стали.

– Ладно вам, – сказал Михаил. – Поехали еще по одной. Чего она будет киснуть?

– Поди, хватит, – предупредила Варвара. – Вам, мужикам, только бы напиться. Матушка при смерти лежит, а они тут разгулялись. Не вздумайте еще песни петь.

– Песни никто и не собирался петь. А выпить можно. Мы сами знаем, когда можно, когда нельзя – не маленькие.

– Ой, да с вами только свяжись.

Вот так они сидели и разговаривали за длинным деревянным столом, сколоченным их покойником-отцом лет пятьдесят назад. Все они, пожив отдельно, теперь мало походили друг на друга. Посмотреть на Варвару, она по виду годилась им в матери, и хотя только в прошлом году ей пошел шестой десяток, смотрелась она много хуже этого и уже сама походила на старуху, да еще, как никто в родове, была толстой и необоротистой. Одно она переняла от матери: рожала тоже много, одного за другим, но к той поре, когда она стала рожать, ребятишек научились оберегать от смерти, а войны на них еще не было – поэтому все они находились в целости и сохранности, только один парень сидел в тюрьме. Радости в своих ребятах Варвара видела мало: она мучилась и скандалила с ними, пока они росли, мучится и скандалит сейчас, когда выросли. Из-за них раньше своих годов и состарилась.

За Варварой у старухи шел Илья, потом Люся, Михаил и последней была Татьяна, которую ждали из Киева.

Илью из-за малого роста до армии звали Ильей-коротким, и хоть длинного Ильи в деревне не было, прозвище это так и пристало к нему. Оттого что больше десяти лет он прожил на севере, волосы у него сильно повылезли, голова, как яйцо, оголилась и в хорошую погоду блестела, будто надраенная. Там, на севере, он и женился, да не совсем удачно, без поправки; брал за себя бабу нормальную, по росту, а пожили, она раздалась в полтора Ильи и от этого осмелела – даже до деревни доходили слухи, что Илья от нее терпит немало.

Люсе тоже уже больше сорока, но ей ни за что столько не дашь: она не по-здешнему моложавая, с чистым и гладким, как на фотокарточке, лицом и одета не как попало. Люся уехала из деревни сразу после войны и за столько лет научилась, конечно, у городских за собой доглядывать. Да и то сказать: какие у нее еще заботы без ребятишек? А ребятишек Люсе бог не дал.

У Михаила не то что у Ильи – волосы густые и кудрявые, борода и та курчавится, завивается в колечки. Лицом он тоже черный, но чернота эта не столько от родовы, сколько от солнца да от мороза – летом у реки на погрузке, зимой в лесу на валке – круглый год он на открытом воздухе.

Вот так они сидели и разговаривали за длинным кухонным столом, чтобы не мешать умирающей матери, ради которой впервые за много лет собрались в родном доме. Не хватало только Татьяны, самой младшей. У Михаила с Ильей еще было что выпить, женщины отставили от себя рюмки, но не вставали – сидели, размякнув от встречи и разговоров, от всего, что выпало им в этот день, боясь того, что выпадет завтра.

– Надо было мне сразу и Володьке телеграмму отправить, – говорил Михаил. – Теперь бы уж здесь сидел, возле нас. Охота на него посмотреть, какой стал.

– Он где? – спросил Илья.

– В армии. Второй год уже доходит. Летом обещался приехать в отпуск, да, видать, проштрафился – не пустили. Пишет, что кто-то там из его отделения с поста ушел, а его, как командира, наказали. Может, и сам что натворил, там это недолго. Как думаешь, отпустят его, нет, если к бабке?

– Должны отпустить.

– Надо было вчера сразу и отбить. Дурака свалял. Думаю, как написать, чтоб не прискреблись? Внук все же, не сын.

– Так бы и написал: бабка плохая, срочно приезжай, – посоветовала Варвара.

Надя вся натянулась от потерянного счастья уже сейчас видеть перед собой сына.

– Я ему это же говорила, так он разве будет слушать?

– Подождите уж немножко, – сказала Люся.

– Лучше подождать, ага. А то можно только все испортить. Потом уж сразу: так и так.

– Ой-ёй-ёшеньки, – вздохнула Варвара. – Не думали, не гадали. Одна матушка на всех, и вот.

– Сколько тебе их надо? – хмыкнул Илья. Варвара обиделась:

– Ты прямо как не родной! Все с подковыркой. Все хочешь из меня дуру делать. А я. не дурней тебя, можешь не подковыривать.

– Я и не думаю, что дурней. Чего, это ты взъелась?

– Ага, не думаешь.

Люся тихонько спросила у Нади:

– У вас швейная машинка есть?

– Есть, только не знаю, шьет ли она. Давно уж не открывала.

– Сегодня стала смотреть, а у меня, как назло, ни одного черного платья, – объяснила Люся. – Побежала в магазин, материал купила, а шить, конечно, некогда было, только скроила. Придется здесь.

– Не успеете сегодня.

– Успею, я быстро шью. Потом, когда лягут, тут, в кухне, и устроюсь.

– Ладно, я достану, посмотрите.

Перед тем как укладываться, сошлись опять возле матери, чтобы знать, с чем ложиться. Люся попробовала найти пульс и кое-как нащупала его – чуть живой. Михаил не утерпел и подергал мать за плечо, и тогда вдруг услыхали, как откуда-то изнутри донесся стон не стон, храп не храп, будто и не материн вовсе, чужой, будто, занятая своим делом, огрызнулась смерть. На Михаила зашикали, но от этого звука сделалось всем не по себе, даже Нинка полезла к Наде, присмирела.

– Хоть бы до белого дня дожила, – всхлипнула Варвара и умолкла.

Стали укладываться. Изба была большая, но по-деревенски перегорожен всего на две половины: в одной лежала старуха, в другой спала Михайлова семья. Надя себе и Михаилу постелила на полу, а свою кровать отдала Люсе. Для Варвары нашлась раскладушка, которую поставили на старухиной половине, чтобы Варвара присматривала за матерью. Там же собирались положить на пол Илью, но он захотел спать в бане, баня у Михаила была чистая, без сажи и прелого духа и стояла в ограде. Илье дали доху и фуфайки под низ, а наверх ватное одеяло, и он ушел, наказав, чтобы в случае чего будили.

Электричество у старухи выключили, зажгли лампу. Решили держать свет всю ночь, только убавили фитиль.

Надя достала машинку, поставила ее на тот же стол, за которым сидели, и Люся сначала испробовала ее ход на тряпке. Машинка шила хорошо.

– Ложись, – сказала Люся Наде. – Усни, пока можно. Неизвестно еще, какая сегодня будет ночь.

Надя ушла. Ее о чем-то спросил Михаил, она что-то ответила – все шепотом.

Застрекотала машинка, и Люся сама испугалась, выпустила ручку – до того громким, как стрельба, показался ее стук. На него тут же пришлепала напуганная Варвара. Увидев Люсю, чуть остыла:

– Слава тебе, господи! Думаю, кто тут такой. Прямо всю затрясло. Чё это тебе приспичило?

Люся не ответила, шила.

– На похороны, чё ли, черное-то приготовляешь?

– Не понимаю: неужели об этом обязательно надо спрашивать?

– А чё я такого сказала?

– Ничего.

– Шей, я тебе ничё не говорю. Я вот посижу возле тебя маленько и уйду. Мешать не буду.

Варвара придвинула табуретку, пристроилась сбоку. Она так и не разделась, только отцепила чулки, и они стянутой кожей болтались ниже колен.

Где-то на реке отдаленно и сдавленно гуднул пароход, потом еще и еще. Варвара подняла голову, прислушиваясь, от напряжения сморщилась.

– Чё это он кричит?

– Не знаю. Сигналы кому-то подает.

– Другого места не нашел, где подавать. Прямо всю перевернуло.

Она еще посидела и нехотя поднялась:

– Пойду. Ты долго здесь будешь?

– Пока не сошью.

– Не надо было нам сегодня ложиться, ох, не надо было, – покачала головой Варвара. – Сидели бы, разговаривали – все веселей.Чует мое сердце – не к добру это.

Она ушла, но скоро воротилась, пугая Люсю, прислонилась к стенке.

– Что? – спросила Люся.

– Или уж мне кажется, или правда. Иди, посмотри. Иди.

Люся не поверила, но сказать, что не верит, не смогла, пошла к матери. Она держала ее руку, но слышала за своей спиной только тяжелое, со свистом, дыхание Варвары: и-а, и-а, й-а… Пришлось отогнать ее, и лишь тогда, и то не сразу, до Люси донеслись, угадываясь, будто за много-много километров, совсем тихие, теряющиеся толчки. Ей показалось, что с прошлого раза они стали еще слабей и шли не подряд, а через один.

– Ты ложись, – жалея сестру, сказала Люся. – Я пока шью, буду смотреть, а потом разбужу тебя.

– Да разве я усну? – по-ребячьи захныкала Варвара. – Илья хитрый какой, ушел из избы, а тут как хошь. Разве мне теперь до сна? Все буду думать, как да что. Лучше я возле тебя посижу.

– Сиди, если хочешь.

– Я тихонько буду.

Она опять пристроилась рядом, вздыхая, трогала материал, смотрела, как Люся шьет.

– Ты это платье после с собой обратно повезешь, нет? – спросила она.

– А что?

– Я к тому, что, если не повезешь, я могла бы взять.

– Зачем оно тебе? Оно же на тебя не полезет.

– Я не себе. У меня девка уж с тебя вымахала. На нее как раз будет.

– А что, твоей девке носить нечего?

– Оно, можно сказать, и нечего. Есть у нее платьишки, да уж все поизносились. А девке, известно, пофорсить охота.

– В черном-то какой же форс?

– Она у меня не привередливая. В дождь когда выйти. В цветастом не пойдешь.

Люся пообещала:

– Уезжать буду, отдам.

– Я так и скажу: от тетки, – обрадовалась Варвара.

– Говори, как хочешь.

Когда замолчали и Люся остановила машинку, стало слышно, как кто-то храпит на Михайловой половине. Варвара насторожилась:

– Кто бы это? – Потом, когда храп окреп, рассердилась: – Бессовестный какой. Нашел время. Прямо ни стыда, ни совести у людей. Сын родной называется. – Она умолкла и вдруг жалостно попросила: – Пойдем, еще раз посмотрим. Я одна боюсь.

Старуха была все так же: жива и не жива. Все умерло в ней, и только сердце, разогнавшись за долгую жизнь, продолжало шевелиться. Но видно было: совсем-совсем мало осталось ему держаться. Может, только до утра.

Пока Люся шила, Варвара так и не легла. И то потом Люсе пришлось положить ее на свою кровать, а самой идти на старухину половину – иначе Варвара все равно не дала бы ей уснуть.

2

В свой черед засветилось утро, стало проясняться, но еще до солнца с реки нанесло такого густого и непроглядного тумана, что все в нем утонуло, потерялось. Утробно кричали по деревне коровы, горланили петухи, коротко и приглушенно, будто рыба плещет в воде, доносились людские звуки – все в белой, моросящей зге, в которой только себя и видать. Светало теперь и без того поздно, а тут еще этот туман украл утро, заставил тыкаться наугад.

Первой в старухиной избе поднялась Надя. До недавней поры ее постоянно будила, услыхав корову, свекровь, и Надя, если она даже не спала, все равно начинала утро только после того, как ее позовет из своей кровати старуха. Вот и сейчас она встала не сразу, а по привычке подождала старухиного голоса, хоть и знала, что его не будет. Его и не было, зато, надсаживаясь, кричала недоёная корова, и Наде пришлось подняться. Все время помня о старухе и боясь узнать, умерла она или не умерла, Надя неслышно оделась и крадучись вышла из избы, в сенях сняла с гвоздя подойник.

Следом за ней тут же поднялась привыкшая рано вставать Варвара. Она увидела, что Нади нет, а все остальные спят, и кряду раз пять громко и тяжело вздохнула, оканчивая вздохи протяжным стоном, чтобы разбудить Михаила, который спал на полу. Но он даже не пошевелился. Тогда Варвара вздохнула для себя и сама не заметила, что вздохнула; ей стало страшновато в доме, где всех живых будто заговорили сном. Стараясь кому-то не выдать себя, она тихонько, с опаской, прошла ко второй половине, где лежала старуха, и в дверях остановилась. Дверей, которые можно открывать и закрывать, в избе, кроме входных, не было, а был только дверной проем – в нем Варвара и встала, боязливо заглядывая в полутемную комнату. Старухиного лица она не увидела, оно было загорожено спинкой кровати, но что-то – живое или уж мертвое – находилось под одеялом, а пройти вперед, поглядеть Варвара не осмелилась и подалась обратно, думая, что сначала надо сходить на двор, чтобы не бегать после, когда будет не до того.

С улицы Варвара и Надя воротились вместе; Надя принялась в кухне процеживать через марлю молоко, Варвара топталась тут же. На столе по-прежнему стояла машинка, оставшаяся после Люси, и Надя шепотом спросила:

– Сшила она вчера, нет?

– Сшила, – также шепотом ответила Варвара. – По мелочи только кой-чего не успела. – И не выдержала больше, взмолилась: – Пойдем, разбудим ее. Прямо не могу.

– Сейчас. Молоко вынесу.

Как привязанная, Варвара пошла за Надей в сени, потом еще раз, потому что одна банка осталась, а Варваре прихватить ее было не в ум, так и моталась туда-обратно ни с чем. Наконец, Надя освободилась, вытерла о тряпку руки и первая зашла на старухину половину.

Люся спала, и было видно, что она спит, про старуху сказать это никто бы не взялся. Надя взглянула на свекровь и скорей отвела глаза, а Варвара и посмотреть испугалась, стала теребить Люсю. Люся проснулась сразу и сразу вскочила, раскладушка от ее толчка отъехала в сторону.

– Что? – спрашивала Люся. – Что? Варвара приготовилась плакать:

– Не знаю. Сама не знаю. Ты погляди.

Приходя в себя, Люся пригладила руками волосы, надела халат, лежавший рядом на табуретке, и подошла к матери. Уже научившись распознавать жизнь, она подняла старухину руку и тут же уронила ее, отшатнулась: старуха вдруг тонко и жалобно простонала и опять застыла. Варвара запричитала:

– Матушка ты моя, матушка-а! Да открой же ты свои глазыньки-и!

Прибежал в кальсонах Михаил, спросонья не понял.

– Отмаялась? Ох, мать, мать… Надо телеграмму Володьке отбить.

– Ты что?! – остановила его Надя. – Ты почему такой-то?

Люся, нащупав у матери пульс, облегченно сказала:

– Жива.

– Живая?! – Михаил повернулся к Варваре, вскипел: – Какую холеру ты тогда здесь воешь, как при покойнике? Иди на улицу – Нинку еще разбудишь! Завела свою гармонь.

– Тише! – потребовала Люся. – Идите отсюда все.

Сама она еще до еды, пока Надя жарила картошку, села заметывать на новом платье петли и пришивать пуговицы, которые тоже привезла с собой из города.

Варвара со слезами пошла в баню, растолкала Илью:

– Живая наша матушка, живая. Он заворчал:

– Живая – так зачем будишь?

– Сказать тебе хотела, обрадовать.

– Выспался, тогда и сказала бы. А то в рань такую.

– Да уж не рано. Это туман.

Туман держался долго, до одиннадцатого часа, пока не нашлась какая-то сила, которая подняла его вверх. Сразу ударило солнце, еще ядреное, яркое с лета, и вся местность повеселела, радостно натянулась. Пошел сентябрь, но осенью еще и не пахло, даже картофельная ботва в огородах была зеленой, а в лесу только кое-где виднелись коричневые подпалины, будто прихватило солнцем в жаркий день.

В последние годы лето и осень как бы поменялись местами: в июне, в июле льют дожди, а потом до самого Покрова стоит красное вёдро, которое и хорошо, что вёдро, да плохо, что не в свое время. Вот и гадай теперь бабы, когда копать картошку: по старым срокам оно вроде бы и пора, и охота, пока стоит погода, дать картошке как следует налиться – какой там летом был налив, когда она, как рыба, плавала в воде. Если подождать, вдруг опять зарядит ненастье – попробуй ее потом из грязи выколупывать. И хочется, и колется, никто не знает, где найдешь, где потеряешь. Так же и с сенокосом: один свалил траву по старинке и сгноил ее всю под дождем, другой пропьянствовал, не вышел, как собирался, и выгадал. Погода и та стала путаться, как выжившая из ума старуха, забывать, что за чем идет. Люди говорят, что это от морей, которых понаделали чуть не на каждой реке.

Надя изжарила свежую, только что подкопанную картошку и к ней в глубокой чашке поставила соленые рыжики, при виде которых Люся ахнула:

– Рыжики! Самые настоящие рыжики! Я уж забыла, что они еще на свете есть – сто лет не ела. Даже не верится.

– Рыжики – это ага, – причмокнул Илья. – Это вам не что-нибудь. Вот если бы к рыжикам да еще что-нибудь – это ага!

– Чего ж ты их вчера-то не поставила? – упрекнул Михаил Надю. – К выпивке оно в самый раз бы было. А так это только переводить их.

Надя, покрасневшая, обрадованная тем, что угодила гостям, объясняла:

– Я вчера и хотела достать, да думаю, не усолели, я ведь их недавно совсем и поставила. А утром полезла, стала пробовать – вроде ничего. Думаю, дай достану, может, кому в охотку придутся. Кушайте, если нравятся.

– Там еще-то у тебя остались?

– Немножко есть. Собирать-то никак и некому. Люди таскают, каждый день вижу, а у меня все руки не доходят, то одно, то другое. В это лето всего два раза и сбегала и то, где поближе.

– У нас Татьяна раньше любила рыжики собирать, – вспомнила Люся. – Все места знала. Я с ней как-то пошла, она еще совсем девчонкой была, а не успела я оглянуться, у нее уже полное ведро. Спрашиваю: «Ты где их взяла?» – «Здесь». – «Почему они тебе попадаются, а мне нет?» – «Не знаю». Я говорю: «Ты их, наверное, заранее нарвала и где-нибудь спрятала, чтобы мне доказать». Она обиделась, ушла от меня, Так, поодиночке, и домой вернулись, она с полным ведром, а у меня только-только дно прикрыло.

– А она до конца никогда не выбирала, – объяснил Михаил. – Если маленький – оставит, а на другой день придет, он уже подрос. Все помнила. Она и меня с собой таскала. Мне что: скорей бы нарвать, что попадет, да домой. А она увидит, если я маленький сорвал, – ну на меня! Один раз разодрались в лесу. Я сам-то больше любил подосиновики собирать – быстрей, они все больше гнездами растут.

– Лучше всех у нас Илья грибы собирал, – засмеялась Люся. – Набьет в ведро травы, а сверху положит несколько грибов, будто ведро полное.

– Было, ага, – с удовольствием признался Илья.

– А помните, как мама всех нас отправляла рвать дикий лук за Верхнюю речку? Там какое-то болото было, а лук рос на кочках. Все вымокнем, вымажемся, пока нарвем, – даже смотреть смешно. Мешки сложим на сухом месте и прыгаем с кочки на кочку. И еще соревновались, кто больше нарвет, даже воровали друг у друга. А за чесноком плавали на остров, там же, напротив Верхней речки…

– На Еловик, – подсказал Михаил.

– На Еловик, да. Там еще косили для колхоза, вся деревня туда переезжала во время сенокоса. Помню, как я гребла: жарко, пауки жалят, сено лезет в волосы, под одежду…

– Пауты, поди, а не пауки, – буркнула Варвара. – Пауки паутину по углам плетут, а не жалят.

– Может, и пауты. Все равно у них какое-то другое название, это здесь так зовут. А для себя мы косили на другом острове… сейчас вспомню, как он называется. Тоже деревянное такое название.

– Лиственничник.

– Да, Лиственничник. А сколько смородины было на нем! – кусты лежат на земле от ягоды. Ешь, ешь, потом даже язык болит, все зубы отобьешь. Крупная такая смородина, вкусная. Час – и полное ведро. Там и теперь ее, наверное, много.

– Не-е-ет, что вы! – махнула рукой Надя. – Нету. Кустов и тех, считай, не осталось. Как леспромхоз стал, все унесли. Так только, поесть когда, и то ходишь, ходишь…

– Ой, как жалко!

– А сколько было синей ягоды на вышке! – тоже нету. Скот вытоптал, и люди совсем не жалеют.

– Что ж вы это так?

– Кто их знает! Хватают, будто в последний раз. С кустами попалось – с кустами, с листьями – с листьями унесут.

– Ну, рыжики-то, говорите, есть? – допытывалась Люся.

– Рыжики в этом году есть. Люди таскают.

– Надо хоть за рыжиками сходить.

– По рыжики-то сходить – можно было, поди, без телеграммы сюда приехать, – сказала Варвара.

Люсю это разозлило:

– С тобой, Варвара, совершенно невозможно стало разговаривать. Что ни скажи, все не так, все не по тебе, нельзя же только потому, что ты старше, так относиться к каждому нашему слову. Что это такое в конце концов?.

– Да никто ничё и не говорит, я не знаю, чё ты на меня взбеленилась.

– Я же еще и взбеленилась!

– Я, ли чё ли?

– Да вы кушайте, – стала просить Надя. – А то картошка совсем остынет. Холодная, она не вкусная. И рыжики хвалили, хвалили, а сами не берете. Кушайте все, а то теперь до обеда.

– Татьяна должна подъехать. Соберемся.

– К обеду должна, ага.

– Если из района, может, и раньше.

– Поди, в заезжей или у чужих людей ночевала, а к нам не пошла, побрезговала, – заранее пожаловалась Варвара.

– А у нее адрес-то ваш есть?

– Я откуда знаю, есть или нет? Она нам не пишет.

– Как же она тогда вас найдет?

– Поди, раньше-то бывала, помнит.

– Нет, Татьяна, если она в районе ночевала, обязательно зайдет, – сказал Михаил. – Татьяна у нас простая.

– Была простая, а теперь еще надо поглядеть, какая, – стояла на своем Варвара. – Столько дома не была.

– Ей дальше всех ехать, оттуда сильно-то не набываешься.

– А кто велел ей туда забираться? Уж если ей обязательно военный был нужон, они везде теперь есть, могла бы поближе где подыскать. А то, как сирота казанская, без огляду улетела и забыла, где родилась, кто родня.

Люся бессильно покачала головой:

– С нашей Варварой лучше не спорить. Она всегда права.

– Не любите, когда правду-то говорят.

– Вот видите. – Люся поднялась из-за стола, поблагодарила: – Спасибо, Надя. С таким удовольствием поела рыжиков.

– Да вы их мало совсем и брали. Не за что и спасибо говорить.

– Нет, для меня не мало. Мой желудок уже отвык от такой пищи, поэтому я боюсь его сразу перегружать.

– От рыжиков поносу не будет, – примирительно сказала Варвара. – Они для брюха не вредные. Я по себе это знаю, и ребятишки у меня никогда от рыжиков не бегали. – Она не поняла, почему Люся, охнув, ушла, и спросила у братьев: – Чё это она?

– Кто ее знает.

– Прямо ничё и сказать нельзя.

– А ты с ней по-городскому разговаривай, по-интеллигентному, а не так, – посмеиваясь, посоветовал Илья.

– Я-то по-городскому не умею, во всю жисть только раз там и была, а она-то, поди, из деревни вышла, могла бы со мной и по-деревенски поразговаривать.

– Она, может, разучилась.

– Она разучилась, я не научилась – чё ж нам теперь и слова не сказать?

После завтрака Михаил и Илья сели на крыльцо курить. День разгуливался, небо вместе с туманом отодвигалось все выше и выше, в синих, обрывающихся вдаль разводьях для него уже не хватало человеческого взгляда, который пугался этой красивой бездонности и искал, что поближе, на чем можно остановиться и передохнуть. Лес, приласканный солнцем, засветился зеленью, раздвинулся шире – на три стороны от деревни, оставив четвертую для реки. Во дворе, перед глазами мужиков, без всякой надобности, просто так, по своей охоте кудахтали и били крыльями курицы, чирикали молодки, от тепла и удовольствия повизгивал привалившийся к огородному пряслу боров.

Вышла Нинка, со сна ее ослепило солнцем; она прикрыла глаза ладошками, сморщилась, потом, когда глаза привыкли, шмыгнула за поленницу и села. К ней пристала курица, норовя зайти сзади, Нинка закышкала на курицу, завертелась и нечаянно выехала голой попой из-за поленницы. Михаил крикнул:

– Нинка, я тебя, как кошку, носом буду тыкать, так и знай. Сколько раз говорить тебе, чтоб подальше ходила!

Нинка спряталась, обиженно отговорилась: – Курицы склюют.

– Я тебе покажу – курицы.

Деревня после утренней уборки унялась: кому надо было на работу, ушел, хозяйки, управившись со скотиной, справляли теперь по дому дела негромкие и неслышные, а ребятишки еще не успели высыпать на улицу – было спокойно, ровно, с редкими привычными звуками: животина ли прокричит, или скрипнет калитка, или где-то сорвется как бы ненароком человеческий голос – все не для слыху и не для отклика, а для того лишь, чтобы кругом при живых не казалось пусто и мертво. Этот покой смирял и шумы, и движения, ладил с ясным, светящимся теплом, падающим с открытого неба, тихо и невидно возносил деревню, отогревая ее после ночи.

– Видать, не вредная у нас все же мать была, – сказал Михаил, тронутый ласковой, манящей тишиной. – И день для нее вон какой выдался. Не каждому такой дают.

– Погода установилась, ага, – отозвался Илья.

– Нам, однако, надо вот что сделать. Пока в магазине белая есть, надо, однако, взять. А то, если завтра деньги привезут, ее всю порастащат. Потом бегай.

– Водку, что ли?

– Но. Белую. А эту, красную, я не уважаю. Она для меня что есть, что нету. С нее, с холеры, утром голова не дай бог болит. – При воспоминании о похмелье Михаила передернуло. – Как чумной весь день ходишь.

– Все равно, я думаю, для женщин взять придется.

– Немножко возьмем и хватит. Куда ее много? Теперь женщины тоже не сильно-то ее пьют. Все больше нашу.

– Кругом равноправия требуют?

– Но.

Они хитро и понимающе улыбнулись, но заводить веселый у мужиков разговор о равноправии сейчас было не время, и они оставили его. Илья спросил:

– Сколько водки будем брать?

– Да не знаю, – пожал плечами Михаил. – Ящик, однако, надо. Если на поминки, то меньше и делать нечего. Полдеревни придет. Позориться тоже неохота, у нас мать будто не скупая была.

– Ящик возьмем, ага.

– У тебя с собой какие-нибудь деньги есть?

– Пятьдесят рублей есть.

– Да я сейчас у Нади возьму. Хватит нам.

– У сестер брать будем?

– У Варвары и брать нечего. У Люси можно спросить, у нее, наверно, денег много. Пускай дает. Тоже родная дочь, не приемная – как ее будешь отделять? Еще обидится.

– Сейчас сразу пойдем?

– А чего тянуть? Я вот Надю найду, и пойдем. Нет, взять надо, а то ее завтра, если получку привезут, как пить дать не будет. Я знаю, у нас тут это так. Чуть рот разинул, и все, переходи на воду. В другое время оно, конечно, и перетерпеть можно, а раз уж у нас такое дело, потом позору не оберешься. Нет, мать надо проводить как следует, на мать нам пожаловаться нельзя. – Михаил первый поднялся, не прерываясь, раскинул: – Давай так: я к своей пойду, у нас там тоже должно немножно остаться, а ты давай к сестре, а то мне, вроде как хозяину, неловко у нее спрашивать. И туда. Это мы правильно догадались. Взять надо, взять, теперь уж дожидаться нечего.

Скоро они ушли, возбужденные тем, что идут за выпивкой и возьмут ее много, столько, что одному и не унести. Магазин находился недалеко, народу в нем перед получкой никого не было, и они не задержались там, позвякивая бутылками, притащили ящик и поставили его в кладовке.

– Ну вот, – сказал Михаил, – Когда она на месте, оно спокойней. Пускай стоит, ей тут ни холеры не будет. А эту, портвейную, в любой момент можно взять, на нее сильно-то охотников нету.

В избе вдруг заголосила Нинка, и Михаил открыл дверь, хотел прикрикнуть на дочь, но увидел, что ее уже взяли в оборот все три женщины, и прислушался.

– Она сама-а, – тянула Нинка.

– Что сама? Что? – тормошила девчонку Люся.

– Это не я-а. Она сама-а…

– Да что она сама? Ты скажи. Ты говорить умеешь?

– Она сама глазы открыла и сама меня увидала…

– Ну и что?

– «Сама ее увидала», – передразнила Нинку Надя. – А почему я тебя увидала, что ты к ней в чемодан лезешь? Тебя кто туда просил? Чего ты там забыла?

– Она сама мне показала! – выкрикнула Нинка. – Ты не видала и не говори.

– Я вот тебе поразговариваю так с матерью. Ишь, за моду взяла. У кого только и научилась.

– Подожди, Надя, – остановила ее Люся и опять наклонилась к Нинке. – Куда она тебе показала?

– Куда… куда… Под кровать. Надя объяснила:

– Она там в своем чемодане конфеты для нее держит.

– А как она тебе показала? – продолжала допытываться Люся. – Расскажи нам подробнее. Как это было? Ну?

– Я на нее смотрела, а она на меня не смотрела, а потом глазы открыла и тоже начала смотреть. И показала.

– Она тебе ничего не говорила?

– Не говорила.

– Ой-ешеньки, – тяжело вздохнула Варвара. – Чё ж это будет-то?

– Она у нас вообще-то не пакостливая, – иступился за Нинку Михаил. – Никогда не замечали. Может, на мать правда озаренье какое нашло. А Нинка тут подвернулась.

День все же выдался с умыслом, не просто так, и умысел этот вполне мог касаться старухи – день был мягкий и легкий и ровно сошелся над самой деревней, а то и над самой старухиной избой. Время уже придвигалось к обеду, а он так и не расшумелся, тек тихо и близко, оберегая кого-то от вредного беспокойства. Небо с утра приспустилось ниже и вроде бы задумалось, но и не сильно, в ожидании. В сентябре дни тоже стоят не молоденькие, много чего с весны повидали, а этот, похоже, и вовсе все под собой знал и в чем-то, может, хотел помочь старухе, чтобы не находиться ей больше на суровом, судном месте – только и надо было: незаметно передвинуть ее вперед или назад, чуть подтолкнуть оттуда, где она застряла.

Михаил и Илья, притащив водку, теперь не знали, чем заняться: все остальное, по сравнению с этим, казалось им пустяками, и они маялись, словно через себя пропуская каждую минуту. Они поговорили о том, что Татьяны почему-то все нет и нет, хотя можно было уж десять раз приехать. Илья спросил у Михаила, когда ему на работу, и Михаил ответил, что он на эти дни отпросился – слова выходили пресные, без особой надобности и не складывались в разговор. Братья понимали, что сейчас все главное для них состоит в том, чтобы ждать, но и ждать тоже можно по-разному, и они исподволь уже начали тревожиться, так ли сидят, как надо, не теряют ли даром время. Мысли об умирающей матери не отпускали, но сильно и не мучили их: то, что надо было сделать, они сделали – один дал известие, другой приехал, и вот водку вместе принесли – все остальное зависело от самой матери или от кого-то там еще, но не от них – не копать же в самом деле могилу неготовому человеку! Всегда у них была работа, а тут вдруг ее не стало, потому что перед бедой, которая заступила за порог, справлять постороннюю работу считалось нехорошо, а от самой беды никакого дела больше не шло.

– Скажи все же, а, – начал опять разговор Михаил. – Ведь знали, что вечно жить не будет, что близко уж. Вроде привыкнуть должны, а не по себе.

– А как иначе, – подтвердил Илья. – Мать.

– Мать… это правильно. Отца у нас нет, а теперь мать переедет, и все, и одни. Не маленькие, а одни. Скажем, от нашей матери давно уж никакого толку, а считалось, первая ее очередь, потом наша. Вроде загораживала нас, можно было не бояться. А теперь живи и думай.

– А зачем об этом думать? Думай, не думай…

– Оно и незачем, а все равно. Вроде как на голое место вышел, и тебя отовсюду видать. – Михаил крутнул кудрявой головой, помолчал. – Опять же о своих ребятах если сказать. При живой бабке они все будто маленькие, и сам ты молодой, а теперь вот умри она, ребята сразу начнут тебя вперед подталкивать. Они же, холеры, растут, их не остановишь.

Михаил не успел закончить – выскочила Надя, быстро, не своим голосом позвала:

– Мужики, идите скорей. Скорее.

– Что там такое?

– Мать…

Пока они подоспели, старуха уже опять впала в беспамятство, но перед тем она вдруг выговорила какое-то слово, какое – не расслышали, а когда Люся и Варвара подбежали, она еще смотрела перед собой, но глаза уже смыкались. Что-то происходило в ней, хоть она больше и не двигалась, что-то внутри заработало – видно было, что старуха вот-вот стронется с остановившего ее места, даже в лице наметились изменения: оно стало глубже, смелей и оттуда, из глубины, вздрагивало оставшимися в нем силами, как бы подмигивая закрытыми глазами.

Они стояли вокруг матери, со страхом смотрели, не зная, что думать, на что надеяться, и этот страх совсем не походил на все прежние страхи, которые выпадали им в городской и деревенской жизни, потому что он был всего страшнее и шел от смерти – казалось, теперь она заметила всех их в лицо и больше уже не забудет. Страшно было еще и видеть, как это происходит: когда-нибудь это должно было произойти и с ними, а они считали, что это то самое, и не хотели смотреть, чтобы не помнить о нем постоянно, и все-таки не могли отойти или отвернуться. Еще и потому нельзя было отойти, что она, занятая их матерью, могла остаться этим недовольной, а обращать лишний раз на себя ее внимание никому не хотелось. И они стояли, не двигались.

Что-то стало биться в старухины глаза, шевелить их, и глаза не сразу, не легко, но открылись, попробовали пойматься за свет и не смогли, сорвались. Несколько минут они лежали спокойно, затем опять пришли в движение и разомкнулись, на этот раз силы в них было больше, и они в своем ненадежном свете что-то увидали, что-то такое, что тоже было ненадежным и туманным, как видение; на лице старухи появилось выражение отчаяния и боли, и она, поморгав, стараясь отогнать видение, не смогла отогнать его и укрыла глаза, быть может, сама. Но то, что привиделось старухе, уже не отпускало ее, звало проверить – казалось, к ней пришли воспоминания о том, что она жила, и ей захотелось узнать, где она теперь и в уме ли она; старуха тихонько раздвинула глаза, над которыми у нее нашлась власть, и выглянула – нет, они не пропали, она увидела их ближе и признала – этого она уже не вынесла в молчании, из ее груди посыпались слабые сухие звуки, похожие на клохтанье.

Варвара ахнула, пришлепнула ладонями и прижала их к горлу, останавливая себя, чтобы не закричать.

Старуха умолкла, словно истратила в себе остатки живого, глаза ее нехотя сморились, но дыхание было сильным, и старуха от него вздрагивала, потом и дыхание направилось, но не пропало, по нему было ясно видно, как шевелится на старухе одеяло.

Они ждали, особенно близко чувствуя, что они сыновья и дочери этой старухи, и жалея ее, а еще больше жалея себя, потому что после ее кончины им останется горе, навязанное смертью, которое кончится нескоро. И еще каждый из них по-своему чувствовал новое, не бывавшее прежде в нем горькое удовлетворение собой оттого, что он здесь, при матери в ее последний час, как и положено сыну или дочери, и тем самым заслужил прощение – какое-то другое, не человеческое прощение, мало имеющее отношения к матери, но все же необходимое в жизни. Это были страх и боль вместе, больше всего их пугало, что они, глядя на долго отходящую мать, видели, казалось, то, что людям смотреть нельзя, и, сами не веря себе, они хотели, чтобы это кончилось скорей.

Старуха все дышала.

Илья, не вытерпев, шепнул что-то Михаилу, и старуха, как отзываясь на этот шепот, вдруг опять открыла глаза и не убрала их, всмотрелась. Она хотела заплакать, но не смогла, плакать было нечем. Ей кинулась помогать Варвара, заголосила легко и громко, и старуха, поддержанная нужным ей голосом, осталась, не провалилась; слова уже ушли от нее, и все-таки те, самые родные, которые всегда были на языке, она вспомнила.

– Лю-ся, – с усилием выговорила она. – Илька. Вар-ва-ра.

– Мы здесь, мама, здесь, – удержала ее Люся. – Лежи. Мы здесь.

– Матушка-а! – зашлась Варвара.

Старуха поверила и голосам, и себе, в последней радости и страдании затихла. Она смотрела на них, а сама, казалось, погружалась куда-то все глубже и глубже.

И вдруг ее что-то остановило, она вернулась, лицо ее сморщилось, глаза кого-то искали. Варварин плач мешал ей, и Варвару догадались остановить.

– Таньчора, – с мольбой выговорила старуха.

Они переглянулись, вспоминая, что мать звала так Татьяну, и враз ответили:

– Еще не приехала.

– Вот-вот будет.

– Теперь уж скоро.

Старуха поняла, чуть кивнула. На лицо ее нашло спокойствие, глаза закрылись. Она опять была далеко.

Они отошли – надо было отдохнуть. Возле старухи осталась одна Варвара, она тихо плакала, и плач ее никому не мешал. Умолкни она, и им стало бы не по себе.

3

Чудом это получилось или не чудом, никто не скажет, но только, увидав своих ребят, старуха стала оживать. Еще два или три раза она теряла память, будто незаметно проваливалась куда-то в темную глубь под собой, и все же всякий раз приходила в себя и с боязливым стоном приоткрывала глаза: тут они или они ей пригрезились? Кто-нибудь из них обязательно был рядом и звал остальных – она узнавала их и, успокаиваясь, силилась заплакать. В последний раз ей это удалось, и она сама услыхала свой слабый, издержавшийся голос, который, видать, не собирался больше выходить наружу и оттого вышел с таким мучением.

Мало-помалу старуха выправилась, и все, что в ней было и что должно было ей подчиняться, одно за другим находилось и как будто даже годилось для жизни. Перед вечером она отошла уже настолько, что позвала Надю и попросила:

– Ты бы сварила мне кашу, которую маленькой Нинке варила. Из крупы. Жиденькую.

– Манную, что ли?

– Ну-ну, ее. Маненько. Горло промочить. Жиденькую.

В доме забегали, захлопотали. Слава богу, манка у Нади была, но печь к той поре после обеда совсем остыла, и кашу решили варить на электроплитке, долго искали ее, кое-как нашли, да оказалось, что электричество еще не подают. Отправили Михаила растапливать во дворе каменку; Люся с Варварой заспорили, в чем варить кашу, потому что Варвара готова была сразу скормить матери ведерный чугун, а Люся стояла на том, что много нельзя, вредно, лучше потом сварить снова; Илья топтался возле Михаила, приговаривал:

– Мать-то наша, а? Видал?

– Родова, – соглашался Михаил. – Нашу родову так просто в гроб не загонишь.

– Кашу, говорит, хочу, – ага. Видал? А я, правду сказать, не верил, думал, все, концы. А она: кашу, говорит, хочу, варите, говорит, мне кашу. Проголодалась, значит. Ишь ты!

– Старухи вообще долго живут. Чем дряхлее старуха, тем дольше живет – вот заприметь. На нет вся сойдет, душе не в чем держаться, а все шевелится. Откуда что и берется.

Илья весело настаивал:

– Но мать-то, мать-то наша! Кто бы мог подумать! Мы с тобой ей водку на поминки берем, а она говорит: «Подождите, – говорит, – добрые люди, дочери мои и сыновья, я еще каши не наелась». – Он смеялся и повторял: – «Каши, – говорит, – еще не наелась, а без каши я ничего не знаю».

– Ослабела, – более сдержанно отвечал Михаил. – Оно, конечно, столько дней крошки в рот не брала. Хоть до любого доведись.

Набежали женщины с банками и склянками, засуетились вокруг печки, будто в шесть рук собирались готовить бог знает какое заморское кушанье, а не обыкновенную манную кашу в маленькой кастрюльке. Тут же путалась под ногами Нинка; Надя гнала ее и никак не могла прогнать: Нинка понимала, что произошло что-то важное, необыкновенное, и боялась пропустить то, что произойдет дальше. Варвара вспотела, она то и дело бежала от печки к старухе, придерживая в беге живот, как беременная, и подбадривала мать:

– Потерпи, матушка, потерпи, скоро сварим.

Кашу подала старухе Люся, не отпуская кружку, чтобы мать не выронила ее на себя. Старуха пила маленькими, осторожными глотками: отхлебнет два раза и отдохнет, еще отхлебнет и еще отдохнет. И отпила-то, как грудной ребенок, не больше, а уж откинулась, изнемогла, махнула на кружку рукой, чтобы убрали, и долго еще не могла отдышаться:

– Ой, задохнулась вся. Хуже работы. У меня и животишко-то уж в узелок завязался. Где же его растянешь?

– Ничего, мама, ничего, – подбодрила ее Люся. – Так и надо. Сейчас желудок перегружать сразу нельзя. Мало ли что. Пусть он сначала это переварит, потом можно еще попить.

– Животишко-то уж в узелок завязался, – с горькой радостью повторила старуха. – Думал, па-е-хали, Анна Степанна, на новую фатеру. Па-е-хали с орехами. – Налаживая дыхание, она невидяще смотрела куда-то вверх, и оттого казалось, что она бредит. – А я-то, бесстыжая, омма-нула его, назадь повернула, а тепери над им же и изголяюсь, кашу в его толкаю. А куды ему мою кашу, сама бы подумала.

Воздуха ей не хватило, и она закашлялась. Люся торопливо сказала:

– Тебе нельзя, мама, говорить так много. Ты еще совсем слабая.

– Молчать, ли чё ли, буду? – куражливо ответила старуха. – В кои-то веки ребят своих вижу, и молчком? – Они все были тут, возле нее, и она обвела их неверным и все-таки гордым взглядом и уже спокойнее продолжала: – Меня будто в бок кто толкнул: ребята приехали. Нет, думаю, я сперва на ребят на своих погляжу, а уж после помру – боле мне ничё-о не надо.

Говорить ей все же было трудно, она поневоле умолкла. Но радость, оттого что она видит перед собой своих ребят, не давала ей отдохнуть, билась в лицо, шевелила руки, грудь, забивала горло. Они все были возле матери и, чтобы она не отзывалась им, тоже молчали, берегли ее. Старуха несколько раз принималась плакать, глядела на них суматошно и нетерпеливо, вздрагивая маленькой головой, когда переводила глаза с одного на другого, и только узнавала их: это Илья, это Варвара, это Люся, но от слез ли, или глаза сами по себе видели еще плохо, не могла рассмотреть их как следует и от этого сердилась на себя. Ей вдруг опять пришло в голову, что все вокруг нее неправда – сон или видение, последнее воспоминание о прожитой жизни – потому и стоит перед глазами туман.

Отгадывая себя, она замерла, затихла.

В комнате было светло тем неярким и чистым светом ясного дня, который бывает перед закатом. Старуха лежала изголовьем к окну, и солнце падало ей в ноги, осторожно остывало на стене напротив, словно, выступая, пронизывало ее с другой стороны. Только теперь старуха увидала солнце и, узнав его, обрадовалась: после долгих, беспамятных потемок ей сразу стало теплее от него, бережным дыханием оно пошло в ее тело, подгоняя кровь. Это был не сон: во сне и солнце не греет, и мороз не холодит. В ушах легонько зазвенело дальним приятным звоном, и так же неожиданно, как возник, этот звон прекратился. Старуха стала вспоминать, откуда он мог взяться, и решила, что он сохранился в ней еще с той поры, когда она была молодой, – тогда она часто его слыхала п запомнила на всю жизнь. Он не мог обмануть ее, он был живой.

– Господи, – прошептала старуха. – Господи.

Она набралась духу и подняла глаза. Они были здесь, ждали на прежнем месте, но старухе показалось, что они подошли ближе. Теперь она видела их яснее.

С краю, возле самой двери, как чужая, стояла Надя, рядом с ней Илья.

К Илье старуха не могла привыкнуть еще в прошлый раз, когда он после севера заехал домой. Рядом с голой головой его лицо казалось неправдашним, нарисованным, будто свое Илья продал или проиграл в карты чужому человеку. И весь он изменился, стал суетливей, бойчей, хотя по годам пора бы уж ему и остудиться – видно, то место, где он жил, этому далеко не родня и Илья никак не может от него опомниться.

Старуха смотрела на Илью долго, до неловкой устали. Она искала в нем своего Илью, которого родила, выходила и держала в памяти, и то находила его в теперешнем, то опять теряла. Он был, но далеко. Столько нового мяса наросло на нем, столько всяких людей без нее ходило с ним рядом, что она верила и не верила, что это он, будто ее Илью, как малую рыбешку, заглотила рыбина побольше да порасторопней, и теперь они живут в одном теле. Позови его, и он, может статься, сразу не откликнется, будет вертеть головой, его зовут или не его; и кто зовет, откуда. Старуха верила, что там, куда он уехал, лучше ему не стало. Жил бы да жил в деревне… Про Люсю это и подумать даже нельзя, она городская вся, с ног до головы, она и родилась-то от старухи, а не от какой-нибудь городской, наверно, по ошибке, но потом все равно свое нашла. Илья – нет. Он не походил ни на городского, ни на деревенского, ни на чужого, ни на себя. У него было веселое лицо, но старуха, глядя на Илью, жалела его, а почему жалела, она и сама не знала, не умела понять.

Старуха дала глазам отдохнуть и нашла Варвару, которая сидела у нее в ногах. Та нетерпеливо подалась вперед, навстречу материнскому взгляду. «Матушка-а! Это я, твоя старшая. Я к тебе повидаться приехала, а ты на меня и не смотришь», – потерянно кричала вчера Варвара. Вот и увидала старуха свою старшую, дождалась Варвара. Увидала, и качнулось старухино лицо, едва приметно кивнула она и вздохнула; кивнула – словно благословила Варвару на спокойную старость, единственное счастье, которое ей еще могло достаться, а вздохнула – потому что знала: нет, не достанется, нечего и думать. Глядя на Варвару, она едва удержала себя, чтобы не заплакать. Ей то самой больше ничего не надо, все осталось позади – что вышло и не вышло, а Варвара еще поживет, и как хорошо было бы ей больше не маяться.

Она не пропустила и Михаила, хоть и помнила его лучше себя. Старуха хотела знать, какой он рядом с ними со всеми, а не один. Она часто вспоминала поговорку: первый сын богу, второй царю, третий себе на пропитание. Богу да царю она отдала больше, теперь их считать – только плакать. Но и живые, как только подрастали и годились для работы, один за другим уезжали, будто кто-то, как щенят, отнимал их от матери и отдавал в чужие руки. Остался только Михаил, и старуха с полным правом могла бы сказать, что родила его для себя, чтобы дожить ей свою жизнь на старом родительском месте, потому что не представляла, как можно жить где-то еще. Она не считала Михаила лучше других своих ребят – нет, такая ей выпала судьба: жить у него, а их ждать каждое лето, ждать, ждать...

Если не брать трех лет армии, Михаил все время был возле матери, при ней женился, стал мужиком, отцом, как все мужики, заматерел, при ней все ближе и ближе подступал теперь к старости. Она привыкла, присмотрелась, притерпелась к нему, и все те изменения, которые происходили в нем, оставались для нее незаметными. Вчера был Михаил и сегодня Михаил. Другое дело Илья: уехал на север с волосами, приехал без волос – тут слепой и тот увидит. Даже у Варвары, которая наведывалась домой чуть ли не каждый месяц, мать находила перемены: еще больше потолстела, стала к месту и не к месту по-старушечьи вздыхать, плакаться, в голове на черном появились блестки. Илья, Люся, Варвара, Таньчора для того, казалось, и уезжали от матери, чтобы она потом заметила, как они изменились, они привозили ей себя как заботливое напоминание о годах: с последней встречи прошло столько-то времени, столько-то, столько-то, и с каждым таким приездом старуха, спохватываясь, перебегала вперед сразу на несколько лет. Получалось, что она старела годами, которые они привозили ей от себя, а не своими собственными, сама она незаметно копошилась да копошилась бы на одном месте, покуда не придет ее час. Но разве могла она об этом думать? Она ждала их, задыхаясь от ожидания, особенно когда слегла, а они в последнее время стали приезжать совсем редко. У каждого из них своя семья, своя жизнь. Тоже не молоденькие; годы теперь их не гладят – скребут. Старуха понимала.

На Люсю старуха только взглянула и сразу отвела глаза, а потом посматривала на нее осторожно, украдкой, как бы подглядывая. При Люсе старуха стыдилась себя, того, что она такая старая и слабая, ни кожи ни рожи. Ей казалось, что и дочь тоже должна стыдиться ее – вон какая она красивая, грамотная, даже говорит совсем не так, как говорят здесь: слова вроде те же, но, чтобы понять их, надо слушать изо всех сил. Что ни спроси ее, она обо всем знает: поездила, поглядела за десятерых. А что старуха видала в своей жизни? День да ночь, работу да сон. Вот и крутилась, будто белка в колесе, и все, кто жил с ней рядом, тоже крутились ничем не лучше, считая, что так и надо. У Люси была какая-то другая, непонятная, неизвестная старухе жизнь, в которой многое делается по-новому, может, даже умирают по-другому – старуха не знала. Ей уже поздно было отказываться от своих привычек – и умрет она как придется, и поплачет, когда будет охота, по старинке, и все же при Люсе старуха старалась удерживать себя, чтобы не сказать и не сделать лишнее – что может рассердить дочь.

Она все смотрела и смотрела на них – жадно, торопливо, словно навеки впитывая в себя каждое лицо, и никак не могла насмотреться, все ей было мало.

– Ты успокойся, мама, – сказала ей Люся. – Успокойся и отдохни.

– Приехали, – старуха подобрала руки к лицу и, закрываясь, заплакала.

– Приехали, мать, приехали, – бодро ответил за всех Илья. – Все в порядке.

Варвара вздрогнула, гудящим шепотком оборвала его:

– Не кричи ты громко. Не видишь, чё ли?

– Приехали, – успокаиваясь, повторила старуха. – Дождалася. – Она сказала это тем доверчивым, облегчающим душу голосом, каким разговаривают вдвоем между собой немолодые, много лет знакомые люди, с вниманием помолчала и, все так же, не открывая глаз и не меняя голоса, продолжила: – А я пробудилася и ничё понять не могу, то ли я это, то ли уж не я. Я ить совсем себя не чуяла, ни рук на мне, ни ног. Одна душа и та заблудилася. Думаю, это я померла, не иначе, оттого и темень кругом. Слава те, господи, отмучилась. Только подумала так, вижу: светло, как днем. А это глаза у меня сами открылись, а я ничё и не знала. – Она открыла глаза, ни на кого не глядя, дала им привыкнуть к солнцу. – Вот этак же светло, ишо посветлей было. Думаю, кто это меня красным днем дразнит? А вас увидала и боле того не поверила. Рази я надеялась? Да чтоб все тут, только Таньчоры нету… Лежу и думаю: «Не иначе, как человеку уж после как он помрет, последняя радость дадена: ишо раз поглядеть, чё он от себя оставил, об чем его сердце болело».

– Ну, мать, молодец ты у нас, ага, – с веселым удивлением покачал головой Илья. – Давно ли слова не могла сказать, а гляди, как разговорилась. Прямо как по-писаному чешешь.

– И правда, мама, не говори много, тебе нельзя, – опять предупредила Люся, но без прежней уверенности, чего-то пугаясь.

– Да нет, пускай говорит, если может. Я к тому, что быстро она этим делом овладела. Как в сказке, ага.

– Это все вы, – просто объяснила старуха. – Из-за вас. Я ить там уж была. Там, там, я знаю. А вы приехали – я назадь. Мертвая, не мертвая, а не утерпела: назадь, сюды, к вам. Воротилась. – Голос ее тянулся тонкой западающей ниточкой, которая то терялась, то находилась снова. – Бог помог. Он мне и силу дал, чтоб я маненько на человека ишо походила. Чтоб вам не сильно меня пугаться, чтоб рядышком со мной сидеть можно было.

– Все дело, значит, в боге? Интересно ты, мать, рассуждаешь.

– И бог, и вы. У какой матери середь своих ребят силы не прибудет? Чё тут говореть! Да ишо столько не видала их. Мне тоже охота под послед словом с вами перекинуться. Я от рук, от ног последнее отыму, а голосу добавлю. А он и сам идет, без меня. Я только зачну, а дальше он сам, покуль не устанет. От начать, правда что, тяжело. Вроде сперва на вышину надо запрыгнуть. И одышка ишо берет.

Отдыхая, старуха долго смотрела на стену, где держалось солнце: после дневной белой кипени оно стало мягче и красней. На лицо старухи постепенно нашло глубокое и ясное, идущее от вечера, которое старые люди чувствуют лучше, выражение покоя. Похоже было, что она забыла и про себя и про своих ребят, ничего не слышала, даже собственного дыхания, и все равно дышала какими-то другими силами, ничего не видела, кроме солнечного пятна на стене, но и это пятно, разрастаясь, само вливалось в ее открытые глаза и не отпускало их своей властью, – и все равно жила и жила яснее, зорче, чем раньше, не напрягаясь для жизни, а находясь под ее осторожной охраной.

Они ждали, уходить было нельзя. Разговаривать между собой тоже казалось нехорошо – они ждали мать, стараясь не смотреть друг на друга.

– Меня и тепери ишо будто на руках кто держит, – сказала она, не обращаясь к ним. – Будто ничё подо мной твердого нету. А не страшно – будто так и надо.

Она еще помолчала в полной неподвижности и очнулась. Глаза устало опустились, в лице появилось обычное у людей терпение, но у нее при виде своих ребят оно тут же перешло в тихую теплую радость. И опять старуха не поверила себе, осторожно спросила у Люси:

– Вы-то когда приехали?

– Мы с Ильей вчера вечером. Старуха сказала не сразу, подождала:

– Гостинцы мне никакие не привезли?

– Мы ведь торопились, мама, некогда было, – неловко замешкавшись, ответила Люся. – Кое-как успели. На пристань бегом пришлось бежать.

– Я ить не себе, – сказала старуха. – Мне ничё-о не надо. Я это Нинке, холёсенькой моей. – Она потянула руки к Нинке, которая стояла возле Варвары, и не дотянулась – Нинка боязливо отступила от ее рук. Старуха не обиделась. – В чемодан для ее спрячу и после по одной достаю. И себе радость, и ей. А она уж разнюхала. Лезет ко мне: «Давай, баба, посмотрим, чё там лежит». Я ей говорю: «Ничё там не лежит», а она опеть. Я вроде ничё не понимаю, как маленькая, играюсь с ей. Она у меня холёсенькая, все с бабой. Поговорю с ей, и на душе легче. Известно, старый да малый.

– Я утром схожу в магазин, куплю что-нибудь, – пообещала Люся.

– Да не надо ей ничего, – застеснялась Надя. – Голодная она, что ли? Это уж она так лезет, приповадили. От баловства.

– Сходи, сходи, – сказала старуха. – Только все ей не ондавай, маненько рази. Остальное мне ондай, я спрячу. Будто от меня будет. Я уж под послед ишо покормлю ее. Люся вспомнила:

– А я тебе, мама, виноград отправляла – ты ела его?

– Эти ягодки-то зеленые?

– Да. Виноград называется.

– Ну его к лешему. В ём посередке косточки, а у меня терпения нету их выбирать. Нинке и скормила. Она прямо так с косточками и хрумкала – только шум стоит. Пускай, думаю, ест, раз ндравится. А мне куды его? Только добро переводить. Мне ить, Люся, ничё-о не надо. Мне бог, вишь, какую радость дал: на вас перед смертью поглядеть. Я рази не понимаю?

Она опять заплакала – бесслезно, спокойным и недолгим облегчающим плачем – и умолкла, вытерла сухие глаза.

– Ничего, мама, ничего, – сказала Люся. – Теперь поправляйся, и все будет хорошо.

Старуха не ответила, она снова смотрела на солнце на стене, к которому липли последние мухи, и во всем ее положении была такая завороженность и нечеловеческая стынь, будто ей дано было увидеть и запомнить то, что больше никто не смог бы понять. В избе стало совсем тихо, а с улицы ничего не доходило. На этот раз старуха молчала недолго и высветленным, затаенно-сообщающим голосом, который, казалось, выходит из нее сам, без ее участия-она и глаза не подняла от стены – сказала:

– А я ить, Варвара, слыхала, как ты вчерась надо мной ревела. Голос твой был, твой – я помню. Только я-то подумала, что это ты надо мной над мертвой уж ревешь. Ну. Я ишо раньше, как в памяти была, лежу и думаю: «Вот помру, приедет Варвара, обголосит меня, и то ладно». Так на тебя и надеялась. А тут слышу: ты. Вот я и посчитала, что это я тебя скрозь смерть слышу – не иначе.

Варвара онемело, с открытым ртом закивала матери-не могла ни сказать, ни заплакать. Илья подошел к Михаилу, удивленно шепнул:

– Чудная у нас мать. Тебе не кажется?

– А кто скажет, моить оне потом ишо сколь-ка да-нить слышат, – добавила старуха. – Кто скажет? Никто не скажет. Глаза-то им закроют, а уши открытые.

– Ты о чем это там, мать? – громко спросил Илья. – О чем говоришь-то?

– Об чем? – Старуха по голосу нашла Илью и не смогла ответить, застыдилась. – Я ить от радости, что вас вижу, не знаю, чё и сказать. Болтаю чё-то. Вы уж не сердитесь на меня, на старую. Я совсем из ума выжила.

– Да ты что, мать! Ты думаешь, мы не рады, что у тебя все в порядке? Давай теперь только быстрей поправляйся. В гости с тобой пойдем, ага. Чего нам дома сидеть! Все вместе соберемся и пойдем в гости. А не пойдешь – на руках унесем. Тебя есть кому на руках таскать.

– Попей еще. – Люся подала матери кружку с кашей. – Теперь можно, желудок уже работает, справится.

Старуха попробовала приподнять голову, Люся помогла ей. На этот раз старуха отпила больше и, отдышавшись, удивилась сама себе:

– Глите-ка! Пошло как в проваленную яму. Правду говорят: и худой живот, да хлеб жует.

– Ну вот, теперь будет лучше. А потом еще попьем.

– Ой, да в меня боле не полезет.

– Ничего, ничего, полезет.

– Мне только бы Таньчору дождаться, – жалобно сказала старуха. – Чё вот она так долго не едет? А ну как чё стряслось?

– Приедет, мама, не беспокойся. Ей далеко ехать. Обязательно приедет.

Старуха попросила:

– Вы сами-то покуль не уезжайте от меня, побудьте со мной маненько. Таньчора приедет, я не буду вас задерживать. Я знаю: вам долго, подимте, нельзя.

– Никто пока и не собирается уезжать.

– Побудьте. Я не стану вам надоедать, я тихонько. Лежу и лежу. Это я сичас разговорелась – долго не видала вас. От радости сама над собой не владею. Потом я молчком буду. Вы занимайтесь своим делом, каким охота, а я за день хошь раз на вас взгляну, и мне хватит.

– Что это еще за «надоедать» да «молчком»? – выговорила старухе Люся. – Как тебе не стыдно, мама! Что ты выдумываешь? Тебе не в чем оправдываться перед нами – пойми, пожалуйста, это.

– Не говори так, матушка, – поддержала Люсю Варвара. – Не говори так, а то я не знаю, что со мной будет.

Илья тоже не вытерпел:

– Ну, мать, ну, мать…

Старуха счастливо умолкла, но не смогла удержать в себе радость:

– Глаза открою: вы тут, возле. Сичас, кажись, взлетела и полетела бы куда-нибудь, как птица какая, всем рассказала бы. Господи…

День отходил все больше и больше, но в избе было светло и ясно: четкое закатное солнце било прямо в окно, под которым лежла старуха. Солнце теперь доставало до потолка и сверху вторым своим светом расходилось по сторонам. Все здесь было знакомо, все было родное старухиным ребятам, и все, казалось, чутко повторяло мать: наговаривало вместе с ней или умолкало, вглядывалось вниз ласковой и горделивой настойчивостью и отзывалось тихим, неназойливым вниманием. Не верилось, что изба может пережить старуху и остаться на своем месте после нее – похоже, они постарели до одинаково дальней, последней черты, и держатся только благодаря друг другу. По полу надо было ступать осторожно, чтобы не стало больно матери, а то, что они говорили ей, удерживалось в стенах, в углах – везде.

И воздух здесь был тот же, каким они дышали в детстве; он заманивал, затягивал их на много лет назад, но у него, как и у старухи, недоставало сил.

Окна осели, превратились в оконца. Чтобы пройти через двери, приходилось нагибать голову. Они уже давно отвыкли от неоштукатуренных стен, которые выпучивались белеными бревнами. Под матицей болталось кольцо для зыбки, а зыбка раньше почти никогда не пустовала; вырастал из нее один, ложился другой.

По обе стороны от окна над столбом в двух рамках густо лепились фотографии. Тут были все они: Илья и Михаил в армии – с приветами из тех мест, где служили; Илья за рулем машины на севере; Варвара со своим мужиком – он и она с одинаково вылупленными глазами, с каменной прямотой, стоят, держась за спинку стула, будто боятся упасть; Люся, склонившая голову набок, на подставленную ладонь; Люся где-то на курорте среди большущих чудных деревьев; еще деревенская Татьяна с узким напуганным лицом, словно она фотографировалась под страхом смерти.

На божницу в правом углу теперь ставили лампу. В эту ночь лампа пригодилась, а так ее не снимали оттуда месяцами, и старуха крестилась, не подымая глаз. Еще правее, ближе к старухиному окну, висел плакат, завезенный в леспромхоз в позапрошлом году. На нем мальчишка с лопатой выходил из лесу. Подпись внизу разъясняла: «Сажай деревьев больше, будешь жить дольше». Лес поначалу был зеленым, но мухи быстро сделали его желтым, да и мальчишка за эти годы тоже порядком постарел, но к картинке притерпелись и не снимали ее.

Теперь старуха смотрела на своих ребят спокойнее, поверив, что они вдруг ни с того ни с сего не вспугнутся и не пропадут, и говорила легче, без натуги, сразу находя нужное слово. Она еще уставала от разговора, но уже сама руководила собой: надо было отдохнуть – отдыхала, она снова приучилась оставлять себя на потом, на то, что будет впереди, а не изводиться вся на то, что есть.

Светлый вечер подходил к концу, в избе, да и не только в избе – везде, выстывало, смежалось.

Люся стала поправлять на матери одеяло, отогнула его и вдруг замешкалась, позвала:

– Михаил, иди-ка сюда.

– Что там такое?

Старуха, ничего не понимая, испуганно и стыдливо убрала с того места ноги.

– Посмотри-ка, Михаил, – показала Люся, пружиня голос.

– Куда?

– Вот сюда, сюда.

– Ну и что?

– Как «ну и что»? Он же еще и спрашивает! Неужели ты не видишь, на каких простынях лежит у вас мама? Они же черные. Их, наверное, целый год не меняли. Разве можно больному и старому человеку, твоей матери, спать на таких простынях? Как тебе только не стыдно?

– Что ты меня стыдишь? Я что тебе – простынями заведую?

– Но посмотреть-то ты мог? Сказать, чтобы их постирали, уж наверное, ты мог? Это-то совсем, кажется, не трудно. Или тебе все равно, в каких условиях находится наша мама? Ведь ты здесь хозяин.

Люся не смотрела и не видела, как густо, не зная, куда себя девать, залилась краской Надя.

– Люся! Люся! – останавливала старуха и наконец остановила, Люся повернулась к ней. Старуха обессиленно махнула рукой: – Я ить надсадилась тебя кричать. Ты пошто у меня-то не спросишь? Нашла о чем говорить – о простынях! Господи, да куды мне белые простыни? Я всю жисть без их спала да жива была. Это те-пери новую моду завели: белое под себя подстилать. Ну-ка, постирай-ка их, этакую оказину – без рук останешься.

– Мама, я сейчас разговариваю с Михаилом, а не с тобой.

– Да пошто с Михаилом-то, когда я тебе говорю, а ты свое? У меня, подимте, голосу нету, мне вас не перекричать будет. Мне Надя хуже горькой редьки надоела с этими простынями: давай выташу да давай выташу. Я ей говореть устала, чтоб отвязалась. Лежу и лежу, и нечего меня шевелить. Помру – одну холеру обмывать надо, без этого в гроб не кладут.

Зачем ты заводишь опять об этом разговор?

– Ишо не лучше! Зачем, говорит. – Старуха досадливо умолкла, но долго не вытерпела: – Напужала ты меня, по сю пору опомниться не могу. Думаю, чё там она подо мной увидала, неужли я чё наделала? С меня тепери какой спрос? Хуже малого ребенка. Сама себя не помню.

– Зато твой сын должен помнить и о себе, и о тебе, – упрямо стояла на своем Люся. – На то он и сын. У меня в голове не укладывается, как это ты, наша мать, можешь лежать на таких простынях. И никому до этого нет дела, все считают, что так и надо. Безобразие!

Надя оторвалась от стенки, где она молча простояла все это время, и выскользнула из комнаты. В неловком молчании Михаил буркнул:

– Дались тебе эти простыни.

– Здря ты, Люся, здря при ей говореть стала, – качала головой старуха. – Она тут не виноватая. Она сколь раз ко мне вязалась. А мне все неохота было шевелиться. И неохота, и боюсь.

– Но ведь я ей ничего и не говорила.

– Дак оно и не ей, а все равно ей. Кому ишо? Она за мной ходит, не Михаил.

Варвара вздохнула:

– Ой-ёй-ёшеньки! Прямо не знаю, чё и сказать.

– Не знаешь – молчи, – хмыкнул Илья. – Гляди, беда какая!

– А я тебе ничё и не говорю.

– Я тебе тоже.

Чтобы замять неприятный разговор, старуха спросила:

– Я тут покуль без памяти была, Мирониха не приходила поглядеть на меня?

– Нет как будто, – ответил Михаил.

– Прибежит. Как услышит, что я оклемалась, прибежит, расскажет мне че-нить. Не знаю, как бы я без ее век свой доживала. А с ей поговорю, и веселей. Прибежит, это она прибежит, – кивала старуха. – Скажет: «Тебя, девка, пошто смерть-то не берет?» Как была насмешница, так и осталась. Погляди, сени у ей полые, нет? Тут в окошко видать.

Варвара поднялась, навалилась на подоконник.

– Нет, вроде на заложке.

– Убежала куда-нить. На месте-то никак и не сидится, все бы бегала. А пускай побегает, покуль ноги носят. Ишо належится. Я бы сичас за ей тоже побежала, дак куды… отбегалась.

– Мать, – перебил старуху Илья, подмиги вая Михаилу. – Мать, ты не будешь возражать, если мы с Михаилом за твое выздоровление немножко выпьем?

– Ну, мужики, ну, мужики, – встрепенулась Варвара. – Вы без этого прямо жить не можете.

– Не можем – ага, – согласился Илья, широко улыбаясь.

– Да пейте, когда уж вам так охота, – позволила старуха. – Только чтоб не здесь, не возле меня. Мне его на дух не надо.

– Это – пожалуйста, мы может и уйти. Мы ведь, мать, за тебя. Чтобы ты больше не хворала – ага.

– Да пейте хошь за нечистую силу. Ей это боле поглянется.

– Ну, ты тоже скажешь: за нечистую силу…

– За ее и есть. И чё оне в ём находят, какую сласть? Да меня озолоти, я в рот не возьму. А оне ишо и деньги на его переводят. Ну? Будто когда бы я сказала: не пейте, то вы бы и послушались… Куды там. Раз уж надумали, пейте, только чтоб не сильно допьяна. Тебя я выпимши не знаю, какой ты есть, а Михаил у нас ой нехороший. Эта бедная Надя от его, от пьяного, рада не знай куды убежать.

Повеселевший Михаил без обиды отговорился: – Ты, мать, всех собак теперь на меня навесишь.

– А я никогда ничё здря не говорю.

– Да нет, мать, мы немножко. Только так, для аппетита.

– На Надю я пожалиться не могу, – продолжала старуха, когда мужики ушли. Она смотрела на Люсю, будто говорила ей одной. – От он мне сын родной, а она невестка, а я никому не скажу, что она мне чё плохое сделала. За мной ходить тоже ить терпение надо иметь. Она ни одного разу на меня голос не подняла. Если не было, чё я буду здря на человека наговаривать. И попить подаст, и в грелку воды нальет. Я ить, когда холод, грелкой этой только и живу, у меня кровь совсем остудилась – что есть она, что нету, названье одно.

– Укрываться надо лучше, – со знанием дела посоветовала Варвара.

– Куды ишо укрываться, когда Надя на меня и так все тряпки постаскивает, пошевелиться нельзя. Тяжесть лежит, а ноги дрогнут. Вот я и кричу Надю или Нинку за ей пошлю. Она придет, нагреет воды – будто легче. А без Нади я давно бы уж пропала – чё тут говореть. Он трезвый-то человек, рази уркнет когда, а как пьяный напьется – ой, никакого житья нету. И ко мне вяжется, и к ей. Хошь на край света убегай от его.

– Как это вяжется? – насторожилась Люся.

– Как… А так. Вот зачнет он с ее вино это требовать, а сам уж на ногах койни как стоит. Вынь да положь ему. Где она его возьмет, на какие шиши? Гонит ее в магазин и все: «Ты там работаешь, тебе дадут». Дак она, подимте, там только убирается, она к вину этому и близко не подходит. Сам бы маленько подумал. Нет, ему хошь кол на голове теши, он свое. А попробуй я его заворотить, он на меня, да с таким злом: «Ты, мать, лежишь и лежи, помалкивай». Я и молчу. Я его, пьяного, не дай бог, бояться стала. Ну. Я и Нинку к себе беру спать, когда он там крылит.

– Вот оно что, – сдержанно отозвалась Люся.

– Прямо ни стыда, ни совести у человека, – возмутилась Варвара, оглядываясь на дверь. – К родной матушке так относиться – это совсем обнаглеть надо!

– А то придет, вот так же сядет: «Давай, мать, поговорим». Об чем я с им, с пьяным, буду говореть, когда у его голова не держится. «А, ты со мной не хочешь разговаривать? Я тебя кормлю, пою, а ты поговореть со мной брезгуешь?» Да я пошто брезгую-то? Приди ты, когда в уме, и разговаривай, а не так – Ну. Пристанет-ой-ёй-ёй!

– Я поговорю с ним, – пообещала Люся. – Я с ним поговорю – не обрадуется. Что это в самом деле такое?! «Пою, кормлю…» Этого еще не хватало.

– Ты только с им с пьяным не займовайся, не надо. Он ить понять не поймет, а обозлится. Нехороший пьяный, нехороший, никто не похвалит. А потом проспится, опеть ничё. Когда бы не это вино, совсем другой бы человек был. Вино-то и губит.

– Пить не надо, – сказала Варвара. Старуха покивала на ее слова, вздохнула:

– Дак, а кто говорит, что надо? Тепери уж тот золотой человек, кто и пьет, да ума не теряет. А совсем непьющего на руках надо носить и людям за деньги показывать: глядите, какая чуда. Нашему-то только на язык бы попало, он потом как худая бочка: сколь ни лей, все мало.

– Не знала я, не знала, что Михаил у нас до этого докатился, – не переставала удивляться Люся.

– Докатился, докатился, – поддакнула Варвара. – Матушка наша врать не будет.

– Я пошто врать-то буду? – обиделась старуха. – Какая мине нужда на сына на родного напраслину вам наговаривать?

– Я и говорю: матушка врать не будет.

– А вот терпеть матушка почему-то терпит, – в тон ей отрезала Люся. – Он над ней издевается, как может, а она его же еще и защищает. «Проспится – опеть ничё», – передразнила она. – Вот и жди теперь, когда он проспится. Дождешься. Дождешься, что из дому выгонит.

– Он меня не выгонял – чё здря говореть.

– Не выгонял, так выгонит, если будешь ему каждый раз спускать. До этого немного уж осталось.

– У нас никто в родове мать из дому не гнал.

– У вас никто в родове к матери, наверное, так и не относился, как твой сын.

– Никто, никто, – согласилась Варвара. – Сколько я на свете живу – никто. Он один.

– Вы от сердитесь, – помолчав, тихонько начала старуха. – Сердитесь, а пожили бы со мной. Это ить чистое наказание – рази я не понимаю? То одно мне принеси, то другое, а то кашель возьмет – белого свету не взвижу: кахы да кахы. На двор сама выдти не могу. Куды ишо чище? Мне давно уж помереть надо, хватит и самой мучиться, и людей мучить, да от задержалась. Вперед смерти не помрешь. Он трезвый-то терпит, ничё не говорит, а у пьяного, известно, власти над собой нету. Меня сперва обида возьмет, а потом раздумаюсь про себя: чё уж тут обижаться, на кого? Терпи, когда из годов выжила. Бог терпел и нам велел. – Теперь старуха опять говорила легче, упоминание о боге успокоило ее. Она свободно вздохнула и попросила: – Не надо ему ничё говореть. Пускай. Мне тоже охота помереть с миром, чтоб никто меня злом не поминал. Тогда и смерть легкая будет. Ну. А как вы думаете? И промеж собой не надо из-за меня ругаться, мне же от этого и хуже. Я помру, а вам ишо жить да жить. И видеться будете, в гости друг к дружке приезжать. Не чужие, подимте, от одного отца-матери. Только почаще в гости-то ездите, не забывайте брат сестру, сестра брата. И сюда тоже наведывайтесь, здесь весь ваш род. И я тут буду, никуда отсюль не стронусь. Посидите надо мной, а я вам какой-нить знак дам, что чую вас, каку-нить птичку пошлю сказать.

Тихонько вошла в комнату Надя и, боясь помешать, остановилась у дверей, за старухиной кроватью. Надю увидали, обернулись к ней, тогда она прошла к столу и села, опустив на колени тяжелые после работы руки. Она менялась сразу: на работе горит, а как сядет – и не слыхать, будто уснет с открытыми глазами, которые караулят, когда надо снова подниматься и бежать.

– Убралась, ли чё ли? – спросила старуха, принимая Надю для разговора.

– Убралась. Корову потом выгоню и все.

– Мужиков не видала?

– В бане они.

– Только бы не напились.

– При гостях, может, утерпит.

– Дак он не один. Гость-то там при ём. Надя, наконец, сказала, зачем пришла:

– Ужинать здесь будем или на кухне? У меня уж все готово.

– Садитесь здесь, – отозвалась старуха. – Чё я одна останусь. Ишо належусь одна, успею.

– Тогда я свет включу.

– Дак включай, кто тебе не велит. В потемках какая еда?

– Мужиков звать надо, нет ли?

– Они у тебя рази нечистым духом сытые? – не насмешничая, ответила старуха. – Боле нечем. Вино, подимте, не сильно накормит. Крикни им, а будут, не будут, пускай сами скажут.

– Я думала, может, потом им.

– А чё ты будешь два застолья делать? И так набегалась за день.

– Давай, Надя, я помогу тебе, – вызвалась Люся, – видно, ей все-таки было неловко перед Надей за историю с простынями, и она хотела хоть чем-нибудь угодить ей.

– Сидите, сидите, я сама управлюсь. Я еще подогреть хочу, уж, наверно, остыло. Сидите, я скоро.

Люся осталась.

Мужики пришли красные, как распаренные, и от этого больше похожие друг на друга. Сейчас даже посторонний человек сказал бы, что они братья: куда денешь одинаково выпирающие скулы и нахально лезущие на лоб густые, разлохмаченные брови? У того и у другого краснели шеи, у Ильи кровь прилила к голой голове, и от этого голова казалась раскаленной.

Они с шумом уселись за стол; Михаил громко спросил:

– Ну как, мать, у тебя тут дела?

– А что дела? – ответил ему Илья: в бане они привыкли разговаривать друг с другом. – Мать у нас молодец. Обманула свою смерть, и никаких.

– Смерть не омманешь. – Старуха смотрела на них с терпеливой укоризной и сказала не сразу.

– Обманула, мать, обманула, не отказывайся. И правильно сделала. Без тебя некому умирать, что ли? Найдутся – ага. Свет не без добрых людей.

– Вот именно, – хохотнул Михаил.

– А ты, бессовестный, лучше бы помалкивал, – вдруг остановила, как подкараулила, Михаила Варвара.

– Что такое?

– «Ты сидера бы, морчара, будто деро не твое», – вспомнил Илья детскую скороговорку, еще ничего не понимая и все же стараясь обратить в шутку Варварины слова.

– Бесстыжий! – снова пальнула Варвара и повернулась за помощью к Люсе. Люсе пришлось взять разговор на себя:

– Я бы на твоем месте, Михаил, в самом деле лучше молчала. – Она говорила, отделяя одно слово от другого, и смотрела ему прямо в глаза. – То, что ты позволяешь себе с мамой, ни в какие ворота не лезет. Запомни: мы маму в обиду не дадим и не позволим тебе издеваться?

– Да вы что – белены объелись?! Кто над ней издевается?

– Ты. Кто же еще, кроме тебя? Оказывается, ты слишком много стал пить и пьяный терроризируешь маму.

– Что-что?! Что я с тобой, мать, делаю? Что такое?!

– Люся, Люся, – взмолилась старуха. – Ты пошто такая-то? Я ить тебе говорела, я ить тебя просила. Не ругайтесь вы, пожалейте вы меня.

– Хорошо, мама, сейчас не будем, – отступила Люся. – Но запомни, Михаил, разговор у нас с тобой не закончен.

– А что это такое я там с ней делаю? Не понял я. Как ты сказала?

– Мы с тобой потом об этом поговорим.

– Ты, Михаил, мать не обижай, – сказал Илья. – Мать обижать нельзя.

С Ильей Михаил не стал спорить:

– Это ты правильно говоришь. Мать обижать нельзя. Грех. Я мать никогда не обижаю.

– Мать нам жизнь дала.

– Это ты очень даже правильно говоришь. – Михаил смахнул пьяные слезы. – Я ведь все понимаю. Я больше ихнего понимаю. – Он кивнул на сестер. – Ты думаешь, почему они на меня накинулись? Потому что злятся: я их с места снял, телеграмму отправил, а мать возьми да и не помри. Вроде зря я их вызвал, вроде обманул. Я по-нима-а-ю.

– Ты хоть думаешь, о чем ты говоришь? Или ты совсем уж ничего не соображаешь? – вскинулась Люся. – Как тебе только не стыдно?!

– Так, Михаил, тоже нельзя, – опять поправил Илья.

– Если нельзя, не буду, – согласился Михаил. – Ты старше меня, я тебя уважать должон.

– Дело не в этом.

– Я понимаю: дело не в этом. Пришла Надя, стала разливать суп. Все равно вышло два застолья: сначала поели мужики, и только после них сели Варвара и Люся. Старухе налили в ту же кружку немного бульона. Ели молча.

Мужики ушли, сняв с божницы лампу. Старуха вслед им тяжело вздохнула:

– Неужли у их там ишо есть? Ить это подумать надо. Господи, упаси и помилуй. Чё делают?! Чё делают?!

4

И опять старуха увидала утро.

Она долго лежала с открытыми глазами, дожидаясь света, потому что решила: как только развиднеет, она попытает себя сесть – очень уж на спине и на боках болели незапрятанные кости, но свет куда-то запропастился, как под Рождество, а в темноте старуха шевелиться боялась: не видя, еще упадет и не вскрикнет. Наконец, окошко, которое было ближе к утру, стало очищаться от темноты, и сквозь него глаза увидали дальше, потом проступило на своем месте и второе окошко, и с двух сторон в комнату потекли ранние и холодные, прежде солнца, сумерки.

Старуха подождала, пока света наберется больше, и, не выпуская из вида Люсю – спит ли, подтянулась ближе к изголовью, чуть отдохнула и, осторожно подталкивая руками, сняла ноги на пол. Голова у старухи закружилась, и она уцепилась руками за кровать, чтобы, не дай бог, не кувыркнуться вперед, и удержалась, сама удивляясь себе, покивала: надо же, кто бы мог подумать – вроде и сидеть не на чем, одни кости, а усидела. На ноги старуха натянула одеяло, чтобы не видно было, какие они худые.

То, что ей удалось посадить себя, обрадовало старуху. По спине, по рукам, по ногам, приятно ноя, опускалась накопившаяся за долгое лежание и чуть совсем не закаменевшая немота. Глазам так легко было смотреть, они глядели прямо перед собой, и их не надо было закатывать вверх: за вчерашний день глаза у старухи чуть не оторвались – до того она их надергала туда-сюда. Скоро она почувствовала, что босым ногам на полу стало холодно, и опустила под них край одеяла – вот и ноги совсем не омертвели, кровь до них еще достает.

Солнце по утрам не попадало в избу, но когда оно взошло, старуха узнала и без окошек: воздух вокруг нее заходил, заиграл, будто на него что дохнуло со стороны. Она подняла глаза и увидела, что, как лесенки, перекинутые через небо, по которым можно ступать только босиком, поверху бьют суматошные от радости, еще не нашедшие землю солнечные лучи. От них старухе сразу сделалось теплее, и она прошептала: – Господи…

Старуха слышала, как загудела корова, но не стала кричать Надю: пускай привыкает подниматься сама, а она все равно не жилец на этом свете. Да и Люсю, если кричать, недолго разбудить; Люся в своем городе приучилась спать по утрам, ну и пускай спит, ей подниматься некуда. Она сидела и слушала, как одевается Надя, потом туда и обратно взвизгнула дверь, и опять все стихло, но старуха знала, что теперь изба – как поставленная на печку посудина с варевом, которое вот-вот заходит-заговорит.

И верно, кто-то зашлепал – Нинка. На улицу она сейчас, конечно, не пойдет, а горшок здесь, у старухи под кроватью. Старуха выгнулась и сильным шепотом позвала Нинку. Та сонно присеменила, с закрытыми глазами опросталась и полезла на старухину кровать – так бывало и раньше, Нинка любила по утрам прибегать к бабушке, но сейчас старуха готова была плакать, что еще одна радость, которая выпадала ей в жизни, не оставила ее. Нинка все же помнила, где она, потому что сквозь сон пробормотала:

– Вот ты умрешь, я всегда буду здесь спать.

– И спи, и спи, – счастливо шептала старуха, подтыкая под нее одеяло. – Здесь тебе возле печки теплей будет, а то и правда – скоро зима. Здесь ты, как у Христа за пазухой, сберегешься и горюшка знать не будешь. Ой ты, холёсенькая. Ты моя! Как большая, все понимает.

Изба после Нинки опять примолкла, но на улице чем дальше, тем становилось звонче, и старух! прислушалась, узнавая, чья ревет скотина и кто иа хозяек сегодня залежался. Она ждала, когда подпет голос Миронихина корова, после этого, натужась, можно будет услыхать и Мирониху: та вечно, как доить, лихоматом кричит на нее. Что это за корова, если она не стоит на месте, охота Миронихе ездить за ней со своим сиденьем по двору да надрывать голос? Долго ли обменять на другую? Или уж она сама не может без этого?

Нет, ни Мирониху, ни ее корову было не слыхать, будто они враз, та и другая, не дождались сегодняшнего дня. А ну, как правда? Где же бы она вчера выдюжила, не пришла? Одна живет, никто не досмотрит. Старуха тянула голову, чтобы увидать Миронихину дверь, но глаза доставали только до крыши, а оторвать себя от кровати она боялась и со вздохом осаживала обратно.

Пялясь на улицу, старуха пропустила, когда вошла Варвара, и вздрогнула от ее голоса.

– Сидишь, чё ли? – не ждала Варвара. Испуг у старухи прошел, она похвалилась:

– Дак видишь, сидю.

– А тебе сидеть-то можно ли?

– У кого я буду спрашивать, можно ли, нельзя? Сяла и сижу. – Старуха обиделась, что Варвара не понимает, что для нее значит сидеть.

– Смотри не упади.

– Не присбиривай. Я пошто упаду-то? Упасть дак я бы без тебя давно упала, а то сидю.

– Это тебя Нинка, поди, с кровати-то согнала?

– Никто меня не сгонял, не говори здря. Я ишо до ее сяла.

Глаза у Варвары со сна смотрели плохо, волосы на голове скатались. Зевая, она сказала:

– Чё-то во сне видала, а чё, заспала, не помню. Чё-то нехорошее.

– Как знаешь, что нехорошее, когда не помнишь?

– Проснулась – и нехорошо так стало. Я скорей сюда, думаю, не с тобой ли чё.

– Нет покуль. – Старуха забеспокоилась: – Ты соберешься, сходи к Миронихе. Сходи. Не с ей ли чё доспелось? Одна ить, как перст. Помрет и будет лежать, глазами посверкивать.

– С чего она помрет-то?

– Ишо не лучше! С чего, говорит. С чего помирают? С радости, ли чё ли? Она бегучая-то бегучая, а до ста годов тоже бегать не будет. И корова у ей сёдни не кричала. Я уж надсадилась слушать – нету. В те раза она всю деревню на ноги подымет, покуль до дому дойдет, а сёдни как пропала. Я бы, когда могла, сама поглядела бы, дак куды…

– Налажусь, схожу.

– Сходи, сходи. Она ить мне не чужая, мы всю жисть друг от дружки никуды. То я к ей, то она к мине. У меня об ей сердце тоже болит.

Люся проснулась, наверное, раньше, еще при Варваре, но зашевелилась и открыла глаза, только когда Варвара ушла.

– Разбудили мы тебя со своим разговором, – виновато сказала старуха. – Охота, дак спи, я молчком буду. И им накажу, чтобы тихонько ходили.

– Я выспалась. – У Люси даже с ночи лицо было гладкое, без морщин и опухлости. – Я сегодня хорошо спала.

– Ничё во сне не видала?

– Нет.

– А Варваре, говорит, чё-то нехорошее являлось, а чё, не помнит. Я уж ей сказала, чтоб она к Миронихе сходила – а ну, как сон про ее? А тут Таньчоры все нету, нету. Я уж боюсь про ее и думать.

– Приедет, не волнуйся. Сегодня должна обязательно приехать.

– Дак и вчерась вы мне так же говорели, а где она? Я всю ночь глаз не сомкнула. Думаю: ну, как все уснут, а Таньчора приедет и зачнет стучать. Лежу и слушаю, лежу и слушаю. С вечеру-то народ ходил, было кого слушать. Потом Михаил наш прибуровил. От уж он покряхтел, от уж покряхтел, покуль укладывался, будто кто его давит. Дак это и не он, это вино в ём кряхтело, видать, немаленько же оне его вечор выпили. Ну, угомонился, слава те, господи. Опеть я одна. Никто не стукнет, не брякнет, лежу и сама себя слушаю. Ночь сильно длинная мне показалась, с целый год. Об чем я только не передумала? И с мамкой со своей поговорела, сказалась, что вскорости буду. И про Таньчору богу помолилась, чтоб пропустил он ее к мине, когда видал где. Только бы она сёдни приехала, а то ить я могу и не дождаться. Я уж по себе вижу, что я не своей жистью живу, что это бог мне заради вас добавки дал, а у ей, подимте, тоже конец есть. Как нету – есть, есть.

До этого Люся слушала в постели, как только старуха заговорила о добавке, стала подниматься. Старуха рада была, что не надо молчать, за ночь она намолчалась.

– Я уж не чаяла утра дождаться – ночь и ночь. Думаю, моить, оне одна за другой тепери без дня идут, а я ничё не знаю. Дак нет, люди-то спят, не просыпаются. А я как есть вся измучилась. Оно хошь спать и неохота, отоспалась, а глаза все одно закрываются. Привыкли, подимте, по ночам закрываться – какой с их спрос? Я не даю им, боюсь: а ну, как усну и боле не проснусь? Сон, он смерти свой. Потом слышу: петухи поют, досветки сымают. Ну, дождалась. Светать стало, давай я усаживаться, а то уж никакого спасу не было: кости-то у меня наголе, я ить их до дыр пролежала.

– Сегодня села, завтра – встанешь, – убирая. после себя постель, терпеливо сказала Люся. – Встанешь и пойдешь. И не будешь больше говорить, что ты чужой жизнью живешь.

– Чужой и есть, – повторила свое старуха. Люся не стала спорить, убрала раскладушку и, оглаживая себя, остановилась у окна. День начинался с охотой, воздух был в солнце и веселил простор над деревней, не скрадывая, показывал его весь, до самого конца. Река искрилась, лес за рекой, поднимающийся по горе вверх, казался ближе, но его не по времени яркую зелень притушило солнцем. Повсюду было тихое, спокойное сияние, и только в деревне одиноко чернели тени, но их, словно боясь запнуться, обходили даже собаки.

И не понять, не разгадать было, отчего вчера наваливался туман, а сегодня так тихо, никаких помех. Люся вспомнила вчерашний разговор о рыжиках и решила, что сегодня самое подходящее время, чтобы идти в лес. Только бы все хорошо было с матерью.

Люсю оторвала от окна Варвара, еще с порога она закричала – будто принесла бог знает какую радость:

– Вспомнила, матушка, вспомнила!

– Чё вспомнила?

– Да сон-то. Сон-то и правда нехороший. Я тебе сразу сказала, нехороший сон – так оно и есть. Я как знала.

– Ну-ну? – заторопила старуха.

– Вот будто сидим мы, бабы, кругом, а бабы все какие-то незнакомые, ни одной не знаю. Вот будто сидим мы и лепим пельмени. И как ты думаешь, чё мы в начинку-то в них кладем?

– Откуда я знаю – чё ты меня спрашиваешь?

– Грязь.

– Чё кладете?

– Грязь. Под ногами у нас грязь, мы ее вместо мяса и берем. И такие будто радые, что у нас пельмени-то с грязью будут. Прямо смеемся от радости. А я еще и говорю: «Вы, бабы, почему плохую-то грязь берете, какие у нас так пельмени выйдут? Никакого навара. Вот здесь у меня грязь пожирней, ее берите». Они и стали у меня брать. Как вспомню, так меня прямо всю дрожью обдает.

– А дальше-то чё-нить было, нет?

– Нет, больше ничё не помню. А пельмени как сейчас вижу: такие на противне лежат белые да аккуратные, прямо один к одному. Нехороший сон, я сразу сказала, что нехороший. – Варвара испуганно качала головой, спрашивала: – К чему бы это? Вот беда-то! Я бы знала, я бы спать не ложилась, чтоб мне не видать его.

– Ты свои сны лучше бы при себе держала, – посоветовала ей Люся.

– Если я его видала, как я должна говорить, что не видала?

– Ну и ела бы свои пельмени сама. Неужели ты не понимаешь, что маме не до них? Она и так выдумывает, будто какой-то чужой жизнью живет, а тут еще ты со своими снами. Такая чуткость, что просто с ума сойти можно.

Люся рассерженно вышла, дверь после нее до конца не закрылась и, противно поскрипывая, стала отходить.

– Притвори ее, – попросила старуха, но Варвара не поняла, жалуясь, забормотала:

– Чё не скажи, все не так, все не так. Ой-ёшеньки! Кругом Варвара виноватая, одна Варвара. Теперь уж у нее и во сне смотреть нету права. А я как от них буду закрываться, если я сплю, а они сами мне в глаза лезут. Я их не зову. Мне чё теперь, и не спать совсем?

– А ты не все слушай, чё тебе говорят.

– Как я буду не слушать, когда она при мне это говорит? Я, поди, не глухая. Она говорит, я и слушаю.

– Ох, Варвара ты, Варвара! В кого ты у нас такая простуша, – пожалела ее старуха и, вспомнив, перебила себя: – Я тебе сказала, к Миронихе-то сходить, ты сходила к ей, нет?

– Нет еще.

– Дак ты пошто не сходишь-то?

– Счас пойду.

– Сходи, Варвара, сходи. Она у меня с самого утра из ума нейдет. Не доспелось ли с ей чё? Тут тебе через дорогу недолго перебежать. Когда живая она, скажи, что старуня заказывала. Я ить ее уж сколь не видала. – Варвара пошлепала к выходу, и старуха крикнула ей вдогонку: – Дверь-то притвори мне, а то с улицы ишь как тянет. Я себе ноги-то застудю.

С непривычки она уже устала сидеть, но Нинка развалилась как раз посреди кровати, и старухе приходилось терпеть. А трогать Нинку жалко. Пересиливая ломоту в спине, старуха согнулась и подобрала руки к животу – теперь спина была сверху и вроде притихла. Старуха немножко отдохнула, но долго сидеть так, скрючившись в три погибели, она посчитала тоже опасным – недолго было и нырнуть – и опять разогнулась, расправляя спину, покачалась на месте и вздохнула.

– Матушка, слышь, матушка, нету твоей Миронихи дома, – крикнула в окно Варвара. – Надя говорит, утром она на нижний край убежала.

– Ну ну, – поняла старуха и, помолчав, сказала себе: – Опеть куды-то и убежала. Ой, в кого она только такая бегучая?

– Ты сидишь? – спросила Варвара.

– Сидю, сидю.

Заворочался в той комнате Михаил, кряхтя и спотыкаясь, проволок себя в сени, забренчал там ковшиком. Дверь, конечно, не прикрыл, будто он один в избе живет, никого больше нету. Старуха поохала, но не захотела кричать Михаилу, осторожно нагнувшись, стала заворачивать в одеяло свои ноги. Но холод все равно доставал и студил их. Для других это, может, и не холод, а для старухи он самый.

Она сжалась, примолкла.

– Землю во сне видать – это, однако, и не к худу совсем, – неуверенно сказала потом она и огляделась.

День уже целиком вышел на люди, пошел свободней, быстрей.

5

Михаил выпил полный ковшик воды и отдышался. Пока вода лилась через горло, он еще чувствовал ее прохладную, свежую силу, теперь опять стала подниматься тошнота. Михаил дернулся, и вода бесполезно булькнула в животе, уже и не вода, а помои. Он подумал, не попить ли еще, и не стал пить – все равно никакого толку, только лишняя тяжесть да лишняя беготня потом, и, придерживая себя руками, выбрался на крыльцо. Ему были противны сейчас и солнце, и начинающееся тепло – в дождь или в ветер все-таки легче, хоть что-то теребит и отвлекает со стороны, а в такой сухомятине поправишься, конечно, не скоро. Он был в майке и босиком, но даже не отличил улицы от избы, все казалось одинаково пресно и мутно.

Чтобы не стоять, Михаил опустился на ступеньку и сразу поднялся: слабые, угарные мысли о вчерашнем все-таки донесли ему воспоминание о водке, которая ждала в кладовке. Удивительно, до этого он почему-то ни разу не подумал о ней – скорей всего, по привычке: у него никогда не бывало столько выпивки сразу, да и вообще уже давным-давно ни капли не оставалось на утро. Он еще постоял, помедлил; он-то знал точно, что вчера они с Ильей и в самом деле притащили целый ящик водки и за один присест при всем желании не могли выпить ее полностью, и все-тки сам же не поверил себе: ну да, расскажи кому-нибудь другому… В кладовке, дверь в которую была тут же, в сенях, он осторожно приподнял в углу хламье и счастливо сморщился – в полутьме кладовки особым, упругим блеском снизу ударили закупоренные бутылки. Только три гнезда в ящике были разорены, остальное сохранилось не хуже, чем в магазине.

Надо же, всю ночь простояла, и ничего. Михаил достал еще одну бутылку и, торопясь, сунул ее себе в карман штанов.

Он сел отдохнуть на то же самое место, откуда перед тем поднялся. Тошнота не прошла – нет, до этого было далеко, но тело от знакомого и деланного обещания заметно взбодрилось. Чует ведь, еще как чует! Теперь можно было немножко и посидеть, похитрить над похмелье – вроде и маешься от него, жить не можешь, а сам знаешь, что скоро ему придет конец. Оттого и не боишься посмотреть, что это был за зверь, что понимаешь свое близкое освобождение. Такая уж у человека натура. Вот так же хорошо почувствовать себя до смерти усталым, и ведь не когда-нибудь, а именно перед сном, когда можно об этом и не вспоминать. Тоже хитрость. Какая-никакая, а хитрость.

Он бы еще посидел, подразнил в себе похмелье, но услышал с огорода голос Нади и решил, что ему незачем встречаться с ней. Успеется. Что она может ему сказать, он знал и без того. Хотел еще зайти в избу, чтобы обуться, но представил, как неловко будет обуваться с бутылкой в кармане, к тому же потом легче легкого натолкнуться на Надю или на кого-нибудь из сестер, и не пошел, так, босиком, и направился туда, куда держал путь с самого начала, – в баню, к Илье.

Илья как ни в чем не бывало спал. Никаких ему забот, никаких страданий, будто он до поздней ночи молотил. Михаил присел перед ним на низенькую чурку, притащенную вчера с улицы, и сунул бутылку за курятник. Здесь же, в бане, стоял и курятник, в котором зимой держали куриц и который по надобности служил вместо стола. Вот и вчера выпивали за ним, и ничего, не жаловались. Две бутылки до сих пор стояли на виду, третья каким-то чудом залетела в курятник, хотя дверца была закрыта, и валялась там на боку. Тоже ничего хорошего не скажешь про эту бутылку – если кто зайдет, всякое может подумать. Не курицы же ее выпили.

Михаил хотел достать бутылку, но надо было подниматься, перешагивать через Илью, и он плюнул: раз пустая, пускай лежит, потом поднимется сама.

– Илья! – позвал он. Это было сегодня его первое слово и без пробы оно вышло не чисто, с хрипом. Вот до чего запеклось все внутри, что и слова не выговоришь. Откашлявшись, Михаил поправил голос: – Слышь, Илья!

Илья прислушался во сне, дыхание его переменилось.

– Вставай, хватит тебе спать.

– Рано же еще, – не открывая глаз и не Двигаясь, буркнул Илья. Стоило только промолчать или замешкаться со словами, и он бы опять уснул, потому что до конца не проснулся и не хотел просыпаться, хватался за свой сон, будто мальчишка, которого вечером не уложишь, утром не подымешь.

– Какой там рано! День уж.

– Чего это вам не спится? Вчера Варвара подняла, сегодня ты. Легли черт знает когда.

– Как ты? – не слушая его, спросил Михаил.

– Не знаю еще. Вроде живой, – открыл все-таки глаза Илья.

– А меня будто через мясорубку пропустили. Не пойму, где руки, где ноги. Кое-как сюда приполз. И то с отдыхом.

– Перестарались вчера – ага.

– Я утром еще не очухался, а уж вижу: все, хана. И ведь лежать не могу. А поднимешься – упасть охота. Ты вот спишь, тебе ничего. Я не-ет!

– Мне наутро спать надо – ага. Все подчистую могу переспать, будто ничего и не было. Это уж точно. Только не тревожь меня.

– Ишь как! – позавидовал Михаил. – Организм, что ли, другой? Родные братья – вроде не должно бы.

– Ей все равно: братья – не братья.

– Но. Это нам еще повезло, что мы с тобой белую пили. А с той совсем бы перепачкались, я бы сегодня не поднялся. Не поднялся бы, как пить дать, не поднялся. Я уж себя знаю.

– Мне с красной тоже хуже.

– Покупная, холера, болезнь.

– Что?

– Покупная, говорю, болезнь. – Михаил показал на голову. – Деньги плочены.

– Это точно.

– Я еще лет пять назад ни холеры не понимал. Что пил, что не пил, наутро встал и пошел. А теперь спать ложишься, когда в памяти, и уж заранее боишься: как завтра подниматься? Пьешь ее, заразу, стаканьями, а выходит она по капле. И то пока всего себя на десять рядов не выжмешь – не человек. Плюнешь и думаешь: все, может, меньше ее там останется, хоть сколько да выплюнул. Всю жизнь вот так маешься.

– Это анекдот есть такой, – вспомнил Илья. – Мать отправляет свою дочь отца искать – ага. «Иди, – говорит, – в забегаловку, опять он, такой-сякой, наверно, там». Он, понятное дело, там, где ему еще быть? Дочь к нему: «Пойдем, папка, домой, мамка велела». Он послушал ее и стакан с водкой ей в руки: «Пей!» Она отказывается, я, мол, не пью, не хочу. «Пей, кому говорят!» Дочь из стакана только отхлебнула и закашлялась, руками замахала, посинела: «Ой, какая она горькая!» Тут он ей и говорит: «А вы что с матерью, растуды вас туды, думаете, что я здесь мед пью?»

– Но, – засмеялся Михаил. – Они думают, мы мед пьем. Думают, нам это такая уж радость.

– Не слыхал этот анекдот?

– Нет, не слыхал. Очень даже правильный анекдот. Жизненный. – Михаил помолчал, задумчиво покивал всему, о чем говорилось, и решил, что больше тянуть нечего. – Так что, Илья, – сказал он и достал из-за курятника бутылку. – Поправиться, однако, надо.

– Ты уж притащил. – Голос у Ильи дрогнул так, что не понять было, испугался он или обрадовался.

– Шел мимо и зашел. Чтобы потом не бегать.

– А может, лучше пока не будем? Подождем?

– Ты как знаешь, а я выпью. А то я до вечера не дотяну. И так уж едва дышу. Придется вам тогда меня вместо матери хоронить.

– Как там мать-то?

– Не знаю, Илья, не скажу. Не заходил. Ничего, наверно, а то бы бабы прибежали, сказали.

– Это точно, сказали бы.

– Ну как – наливать, нет? – раскупорил Михаил бутылку.

– Наливай – ладно. За компанию.

– И правильно.

– Закусить-то совсем нечем?

– Нечем. Если хочешь, сходи, а я сейчас не пойду. Ну их! Они думают, мы здесь мед пьем.

– Мне-то неловко там шариться.

– А что ты – чужой человек, что ли? Возьмешь, что надо, и обратно.

– Ладно, давай так. Сойдет.

– Сойдет, конечно. И пить – помирать, и не пить – помирать, уж лучше пить да помирать, – как молитву, прочитал Михаил и выпил, с затаенным вниманием подождал, пока водка найдет свое место, и только тогда осторожно опустил стакан на курятник. – Они думают, мы тут мед пьем, – прыгающим, перехваченным голосом повторил он опять слова, которые все больше и больше грели его душу.

Илья сидел на постели, сморщившись, наблюдал за Михаилом.

– Ну, как? – поинтересовался он.

– Пошла, холера. Куда она денется? Пей, не тяни, а то потом поперек горла встанет, не протолкнешь. Ее для первого раза завсегда надо на испуг брать.

Выпил наконец и Илья. Выпил и опять замахал перед ртом ладонью, как машут на прощанье. Такая у него выказалась привычка. Вчера она забавляла Михаила, и он сам раза два или три за компанию с братом помахал ей вслед, чтобы не было потом никаких обид, но ничего интересного в этом для себя не нашел. Кроме того, взяла верх своя привычка – пить первым, а после нее он уже забывал о всяких там провожаньях, хотя для Ильи, быть может, это значило совсем другое. Михаил не спрашивал, да и как об этом станешь спрашивать?

Баня, если осмотреться, больше походила на кухню, и не только из-за курятника. Она и была ненастоящая; настоящая, которая стояла в огороде, сгорела три года назад. После этого Михаил на время приспособил под баню крайний амбар. Полка, где парятся, в ней не было, вместо каменки топили железную печку и грели на ней воду – не баня, а одно названье. Но ничего, обходились, а париться Михаил напрашивался к соседу Ивану. Ставить новую баню он так и не собрался, да и то – шуточное ли дело одному? Зато на банном пепелище картошка вот уже три лета подряд вымахивает такая крупная, что не налюбуешься. Во всей деревне картошка только-только горохом берется, а Надя на этом месте уже подкапывает для еды. Правду говорят: нет добра без худа, а худа без добра.

Михаил сидел возле окошка и заранее увидал, что к ним, в баню, как танк, прямым ходом направляется Варвара. Ругнувшись, он убрал с глаз бутылку. Варвара перевалилась через порог и прищурилась – после улицы ей показалось в бане совсем темно, хотя света здесь было вдосталь, только он не блестел на солнце и не слепил, а светил со спокойной и медленной силой.

– Это ты, чё ли? – вглядывалась Варвара в Михаила.

– Нет, не я. Исус Христос.

– Да ну тебя! Откуда я знаю, здесь ты или не здесь. Я думаю, Илья один. Пришла ему сказать, что матушка-то у нас уж сидит.

– Сидит?

– Сидит, сидит. Я заглянула и глазам своим не поверила. Она сидит, смотрит. Ноги вниз опустила…

– Голову наверх держит!

– Ты, Илья, не подсмеивайся, не надо, – упрекнула Варвара. – Про матушку нашу нельзя так говорить. Она нам матушка, не кто-нибудь.

– С чего ты взяла, что я подсмеиваюсь?

– Пойдите сами поглядите. Кто бы мог подумать? – Варваре очень хотелось, чтобы и братья тоже увидели сейчас мать и обрадовались, и она повторяла: – Вот пойдите, пойдите, поглядите, как матушка сидит. А то потом скажете, что Варвара придумала.

– А что глядеть, пускай сидит, – отговорился Михаил. – Сильно-то надоедать ей не надо. Смотрите только, чтобы она там у вас не упала.

– Нет-нет, она хорошо сидит.

– Мы потом, попозже придем, – пообещал Илья.

Варвара внимательно осмотрелась и, не найдя, что сказать, уже развернулась уходить, но Михаил задержал:

– Там Надя дома, нет?

– Дома. Все дома. И Люся, и матушка наша дома.

– И матушка, говоришь, дома?

– Да ну вас! – поняла Варвара. – С вами только свяжись. Пойду я.

– Иди, иди. Карауль там мать, а то она куда-нибудь убежит, искать потом надо.

Варвара с опаской соступила с предамбарника – он был высокий, а на землю перед ним никто почему-то не догадается хоть какой-нибудь чурбан подложить-и приостановилась, решая, куда теперь пойти. Радости после разговора с братьями в ней убавилось немного, и она не давала ей покоя. Вот если бы братья пошли к матери, тогда другое дело: она бы тоже пошла, чтобы своими глазами увидать, как они удивляются матери, которая еще вчера кое-как лежала, а за сегодняшнее утро уже приспособила себя сидеть – ну совсем как здоровый человек. Но братья остались в бане, далась им эта баня, будто она дороже родной матери, и Варвара теперь не знала, что делать. Она вспомнила свой сон с пельменями и вовсе забеспокоилась. Нехороший сон, ой нехороший. У кого бы спросить о нем, кто может знать? С Люсей не поговоришь – вон как она буркнула на Варвару, а Надя вся в делах, ей некогда. Варвара сдвинулась с того места, на котором стояла, и остановилась на другом, потопталась, растерянно оглядываясь по сторонам, и только после этого решила выбраться за ворота – там люди.

Едва успела Варвара переступить через порог, Михаил, не медля, выставил опять на курятник свою бутылку и даже пристукнул ей, чтобы почувствовать момент. С той поры, как он пришел сюда, он заметно повеселел, лицо у него загустело, глаза ожили.

– Так что, Илья, – приготовился он. – Вроде дело на поправку пошло. Самое время добавить. Как бы не опоздать, а то потом догоняй не догонишь.

– Я без закуски больше не могу, – отказался Илья. – Хоть бы корку какую-нибудь для занюха – ага, и то ладно. А как – это гиблое дело. Раз, два – и готовы. Никакого интереса.

– Может, луковицу в огороде сорвать?

– Луковица нас с тобой не спасет. Это точно. Тут даже соли нету.

– С закуской оно, конечно, надежней, – согласился Михаил и тоскливо помолчал. – Подождем – что ж делать! Идти сейчас туда мне совсем неохота. Начнется опять. Вот Надя выглянет куда-нибудь, я сбегаю.

– Ты, если хочешь, выпей.

– Подожду, куда торопиться. Я один не уважаю ее пить. Она тогда, холера, злее. С ней один на один лучше не связываться, я уж ее изучил.

– С ней, говорят, вообще лучше не связываться.

– Дак говорят, Илья, говорят, я тоже слыхал. Люди много чего говорят, успевай только слушать. Конечно, кто не пьет, то уж и не надо, доживай так, а кто с этим делом связался, аппетит поимел – не знаю… – Михаил долго качал головой. – Не знаю, Илья, не знаю. Все равно потянет – я так считаю. Большая в ней, в холере сила, попробуй справься. Надорваться можно. Я так и не надеюсь уж. Молодым сколько раз зарекался, потом перестал – чего себя и людей смешить. И нечего стараться. Оно, конечно, пить тоже надо уметь, как в любом деле. Мы ведь ее пьем, пока не напьемся, будто это вода.

– Пить надо уметь – это точно.

– Ты-то часто пьешь?

– Я на машине, мне часто нельзя. В городе с этим строго – ага. И баба у меня с ней никак не контачит. Но уж если где без бабы да без машины, обязательно зальюсь. До самой пробки.

Михаил покосился на бутылку, спросил:

– Может, выпьешь все-таки? Потом побольше закусишь.

– Нет, не могу. Ты пей, не смотри на меня.

– Я, однако, маленько приму, а то уж подсасывать стало. – Он и правда плеснул в стакан немножко и, не останавливая руку, сразу опрокинул в себя, будто торопился запить какую-нибудь гадость. – Ну вот, – шумно выдохнув, сказал он. – Так-то оно легче. Как говорят, пей перед ухой, за ухой и поминаючи уху. Пей, значит, не робей.

– Ухи сейчас бы неплохо – ага.

– А все почему пьем? – не сбился Михаил и покивал себе, подождал, не скажет ли что Илья. Илья молчал. – Вот говорят с горя, с того, другого. Не-ет. Это все дело десятое. Говорят, по привычке, а привычка, мол, вторая натура. Правильно, привыкли, как к хлебу привыкли, без которого за стол не садятся, а только и это не все, для этой привычки тоже надо иметь причину. Знаю, что виноват кругом на двадцать рядов: дома с бабой поругался, последние деньги спустил, на работе прогулов наделал, по деревне ходил попрошайничал – стыдно, глаз не поднять. А, с другой стороны, легче. С одной стороны, хуже, с другой, – лучше. Идешь опять работать, грех замаливать. День работаешь, второй, пятый, за троих упираешься, и силы откуда-то берутся. Ну, вроде успокоилось, стыд помаленьку проходит, жить можно. Только не пей. С одной стороны, теперь легче, а с другой, все труднее и труднее, все подпирает тебя и подпирает. – Михаил махнул рукой. – И опять забурился. Не вытерпел. Все пошло сначала. Устал, значит. Организм отдыха потребовал. Это не я пью, это он пьет. Ему она вместе с хлебом понадобилась, потому что в нем такая потребность заговорила. Как ты считаешь?

– Потребность – это точно, – согласился Илья. – Пьем сразу по способности и по потребности. Сколько войдет.

– А как не пить? – продолжал Михаил. – День, второй, пускай даже неделю – оно еще можно. А если совсем, до самой смерти не выпить? Подумай только. Сплошь одно и то же. Ведь столько веревок нас держит и на работе, и дома, что не охнуть, столько ты должен был сделать и не сделал, все должен, должен, должен… А выпил – и уж ни холеры не должен, все сделал, что надо. И так тебе хорошо бывает, а кто откажется от того, чтобы хорошо было, какой дурак? Выпивка – она ведь вначале всегда как праздник. Опять же надо меру знать…

– Если бы меру знать, половины того, что она с нами творит, не было бы.

– Оно, конечно, не было бы. С другой стороны, скажи мне сейчас, мол, хватит, остановись, – разве я остановлюсь? Хотя оно, может, и правда хватит: вроде полегчало, теперь, ясное дело, на другой бок пойдет. А все равно мне еще надо, такая у меня натура. Она пока свое не возьмет, ее лучше не удерживай. Она не любит выгадывать, делать только наполовину, ей все надо до отвала, всласть. И работать, и пить. Сам знаешь.

– Сколько у тебя в месяц выходит?

– Чего в месяц? Вина, что ли? Илья засмеялся:

– Вино ты без бухгалтерии пьешь, я знаю. Я спрашиваю, какой у тебя заработок, ага, сколько ты денег в месяц получаешь?

– Заработок… Когда как, Илья. Заработки теперь, если хочешь знать, не те. Механизаторы у нас еще зарабатывают, а мы, кто на своих ногах ходит, нас попридержали. Мне против старого, вот как в первые годы было, почти вполовину только начисляют. Раньше две-три баржи нагрузил и можешь спокойно в потолок поплевывать. Правда, и работали. Ох, работали, не то что сейчас. На руках эти бревешки-то катали. Теперь что, теперь краны. Подцепил – отцепил, смотри только, чтоб не придавило. И везде так, кругом машины заместо людей, техника.

– Легче с ней, с техникой-то.

– Легче, конечно, кто спорит. Далеко легче. Не надрываемся. – Михаил ненадолго задумался и вдруг с чувством сказал: – А все-таки тогда как-то интересней было. Взять те же баржи. Любил я эту погрузку, и даже не из-за денег, хоть и деньги там были тоже немаленькие, а из-за самой работы. По двое суток с берега не уходили. Пока не нагрузим, все там. Еду нам ребятишки в котелочках принесут, поели – и опять. Азарт какой-то был, пошел и пошел, давай и давай. Откуда что и бралось?! Вроде как чувствовали работу, за живую ее считали, а не так, что лишь бы день оттрубить.

– Тогда ты был помоложе.

– Помоложе-то помоложе… А вот вспомни, как в колхозе жили. Я говорю не о том, сколько получали. Другой раз совсем ни холеры не приходилось. Я говорю, что дружно жили, все вместе переносили – и плохое, и хорошее. Правда что колхоз. А теперь каждый по себе. Что ты хочешь: свои уехали, чужие понаехали. Я теперь в родной деревне многих не знаю, кто они такие есть. Вроде и сам чужой стал, в незнакомую местность переселился.

Скрипнула дверь в избе, и Михаил вскинул голову. Вышла Нинка – не Надя. Оглянулась – никого нет, покружила вокруг поленницы и моментом юркнула за нее. Михаил подождал, пока Нинка сделает свое дело, и высунулся в дверь:

– Нинка, иди-ка сюда.

– Заче-ем? – испугалась девчонка. Она никак не ожидала, что за ней могут следить из бани.

– Иди-иди, голубушка, тут все узнаешь.

– Я больше не бу-у-ду.

– Иди, тебе говорят, пока я тебе не всыпал. Озираясь, Нинка бочком влезла в баню, заранее запыхтела.

– Тебе сколько можно говорить, чтоб ты место знала? Ноги у тебя отвалятся, если ты добежишь куда надо?

– Я больше не бу-у-ду.

– Не бу-у-ду. Только одно и заучила. Мне с тобой уж надоело разговаривать. Вот сейчас возьму и выпорю, чтоб помнила. А дядя Илья посмотрит, понравится это тебе или нет. Я знаю: у тебя одно место давно уж чешется. Уважить его надо, почесать, раз такое дело.

Нинка запыхтела сильнее.

– Ну, что молчишь?

– Я тогда мамке скажу, что ты здесь вино пьешь, – быстрым говорком предупредила Нинка и прицелилась на дверь, готовясь дать стрекача.

– Я вот те скажу! – взвился Михаил. – Я те так скажу, что и мамку свою не узнаешь! Тебя для того, что ли, научили говорить, чтоб ты родного отца закладывала? Мамке она скажет. Вот вша какая! – пожаловался он Илье. – От горшка два вершка, а туда же. Ты погляди на нее.

– Тогда не дерись.

– Никто с тобой не дерется – помалкивай. Хотя оно, конечно, следовало всыпать на память за такие фокусы.

– Ладно, отпусти ты девчонку, – пожалел Нинку Илья. – Она больше не будет.

– Будешь, нет?

– Не буду, – проворно пообещала Нинка и выпрямила голову, глазенки сразу забегали по сторонам, схватывая все, что она не успела заметить.

– Ишь, шустрая какая. «Не буду» – и дело с концом, и отделалась. Ты как тот петух: прокукарекал, а там хоть не рассветай. Так, что ли? Погоди, не торопись. Успеешь, не на пожар. Я бы тебя выпорол, да вот дядя Илья не хочет. А за это ты нам с дядей Ильей должна принести что-нибудь закусить. Поняла?

– Поняла.

– Ни холеры ты не поняла.

– Я мамке скажу, она даст.

– Опять двадцать пять. Опять она мамке скажет. Да ты без мамки-то не можешь, что ли? Забудь ты про нее. Совсем забудь. Ты нам так принеси, чтоб мамка твоя не видала и не слыхала. Теперь поняла?

– Теперь поняла.

– Посмотри там на столе или в кладовке и потихоньку принеси. А я тебе потом за это бутылку дам. – Михаил отставил в сторону пустую бутылку.

– Да-а, – навострилась Нинка. – Ты дашь, а сам же и отберешь.

– Не отберу, не отберу. Беги.

– А тогда отобрал.

– Тогда отобрал, а сейчас не буду. Сейчас у меня свои есть. Вот дядя Илья свидетель, что не отберу.

– Я свидетель, – хлопнул себя по груди Илья.

Нинка стояла.

– Ну, что тебе? Беги скорее.

– Мне две надо, – Нинка метнула быстрый взгляд на вторую пустую бутылку.

– Две дам, только беги, христа ради. – Михаил присоединил к первой бутылке вторую.

Нинка принесла под платьишком булку хлеба, больше ничего, потому что от стола, возле которого она делала круги, мать ее турнула, а с булкой дело обстояло проще, она лежала в сенях, где Надя оставила ее до завтрака.

Хлеб – это, конечно, лучше, чем совсем ничего, но одного хлеба было все-таки маловато для утренней выпивки. Тут Михаил вовремя вспомнил, что как раз над головой, на бане, несутся две или три курицы. Нинка полезла и принесла пять яиц вместе с подкладышем, который лежал там, наверно, с весны и который Михаил, как нарочно, сразу же умудрился проглотить. Хоть и не на чистый желудок, а все равно у него глаза полезли на лоб и стало всего выворачивать, так что пришлось эту закуску запивать опять водкой, чтобы промыть горло. Долго он еще плевался и матерился и яйца больше пить не стал, ломал один хлеб.

За яйца Нинке отдали третью бутылку, которая валялась в курятнике, а за то, что сбегала за солью, пришлось пообещать и четвертую, еще недопитую. Карауля ее, девчонка не шла из бани. Показываться в избе ей не имело никакого интереса еще и потому, что даже здесь было слышно, как Надя ищет хлеб, который будто корова языком слизнула. Нинка спокойно помалкивала и чистыми, невинными глазенками посматривала на мужиков, с которыми она чувствовала себя в полной безопасности. Теперь судьба крепко связала ее с ними, и Михаил мог быть спокоен, Нинка не выдаст. Скоро ей опростали и эту бутылку, и она потащила ее прятать туда же, за поленницу. Потом пооколачивалась в ограде и, как обычно, кругами, стала приближаться к избе. Видно, захотела есть.

С бутылкой разговор у мужиков пошел опять бодрее. Только один раз и помялись, ослабли, это когда Илья захотел оправдаться, что ли, перед кем-то за сверхурочную выпивку и сказал:

– А что делать? Возле матери нам находиться, я считаю, больше незачем – ага. Сам видишь, она уже села. Того и гляди, побежит.

– Это она может, – мотнул головой Михаил.

– Скажи все же, а! Ни за что бы не подумал. Готовенькая ведь лежала, ничего будто не осталось, а вот что-то подействовало. Ну, мать! Ну, мать!

– Мать у нас еще та фокусница.

– Правда, что смерть свою перехитрила.

– А я тебе так скажу, Илья. Зря она это. Лучше бы она сейчас померла. И нам лучше, и ей тоже. Я это тебе только говорю – чего уж мы будем друг перед дружкой таиться? Все равно ведь помрет. А сейчас самое время: все собрались, приготовились. Раз уж собралась, ну и надо было это дело до конца довести, а не вводить нас в заблуждение. А то я ей поверил, вы мне поверили – вот и пошло.

– Что уж ты так? – возразил Илья. – Пусть умрет, когда умрется. Это не от нее зависит.

– Я говорю, как было бы лучше, я про момент. Оно, конечно, требовать с нее не будешь, чтоб сегодня духу твоего здесь не было – и никаких. Это дело такое. А вот вы уедете, она маленько еще побудет и все равно отмается. Помяни мое слово. Не зря у нее это было, зря такая холера не бывает. Я вам опять должон телеграммы отбивать, а у вас уж нет того настроения. Кто, может, приедет, а кто так обойдется. И выйдет все в десять раз хуже. Перед смертью так и так не надышишься.

– Как же не приехать?

– Всякое может быть. Вон Татьяна и теперь не едет.

– Татьяна – ага. Она как знала, не торопится.

– В том-то и дело, что не знала и не торопится. Если она и сегодня еще не приедет, мать с ума сойдет. Она и так-то надоела нам со своей Таньчорой: то во сне ее увидит, то еще как. Ты не живешь тут, не знаешь.

– Приедет. Получить такую телеграмму и не приехать, я не знаю, как это называется.

– Ну, если приедет, выпьем. Встретить надо как полагается. Сестра.

– Выпьем – ага, куда денемся?

– А и не приедет, все равно выпьем, – нашелся Михаил. – Все равно выпьем, Илья. У нас с тобой положение безвыходное.

– А что теперь делать? – с задумчивой веселостью поддержал его Илья. – Выливать теперь не будешь.

– Дак а кто нам с тобой позволит ее выливать? Это дело такое.

– Теперь хочешь не хочешь, надо пить.

– Как ты интересно говоришь, Илья. «Не хочешь». Так вопрос ставить тоже нельзя. Выпьем-почему же не хочешь? Раз надо-выпьем, – настаивал Михаил. – Можем мы взять на себя такое обязательство? Мы с тобой не каждый день видимся.

– Можем. Почему не можем?

– Это дело другое.

И разговор повернулся опять близкой обоим, согласной и заманчивой стороной. Он, конечно, раззадорил мужиков. Потребовалось снова выпить – тем более что выпивка была рядом, хоть залейся, и за нее наперед заплатили. Под тем предлогом, что ему надо обуться, Михаил взялся сделать новую вылазку в кладовку. Он ушел, сверкая голыми пятками, а Илья тем временем скатал постель, на которой он, не поднимаясь, елозил все утро, промялся до двора.

До сапог до своих Михаил в этот раз так и не добрался. Сначала он почему-то зашел в кладовку. Зашел – и в глазах потемнело: почти половина ящика была бессовестно разграблена. До сапог ли тут было? Михаил подхватил полегчавший ящик и кинулся обратно: пока оставалось что спасать, надо было спасать, через минуту могло не остаться и этого.

В бане он долго отводил душу – матерился. Ясно как день, что бутылки перепрятали свои, но от этого не легче было вызволить их обратно. Не тот сейчас выходил случай, чтобы можно было приставать с ножом к горлу: отдавайте и все. Водку вчера брали по другой причине И брали на общие деньги. Конечно, у мужиков на нее прав больше, на то они и мужики, но это только у трезвых есть права, а у пьяных они вечно под сомнением. Так что приходилось делать вид, будто ничего не произошло, все на своих местах, и оглядеться, выждать удобный момент.

Они только распочали новую бутылку, как явилась заплаканная Нинка и с порога заявила:

– Мамка нехорошая.

– Твою мамку повесить мало, – отозвался еще не остывший от злости Михаил.

– А что она тебе сделала? – спросил у Нинки Илья.

– Да-а. Она говорит, что это я хлеб украла. Сама ничё не видала, а сама говорит, что видала.

– Это она тебя на понт берет. Не соглашайся, – предупредил Михаил.

– Я и так. Я говорю: спроси хоть у папки, хоть у дяди Ильи.

– А пот это ты зря. На нас не надо было показывать. Понимать должна, что у нас там сейчас никакого авторитету. Без пользы. Тут ты не сообразила.

– Она нехорошая, – набычилась Нинка.

– Ну так что говорить. У меня к ней претензии, может, побольше твоих.

– Она про вас говорит, что вы загуляли. И говорит, что теперь надолго, – докладывала Нинка. – А про тебя, папка, говорит, что ты пьянчужка, больше никто, и что это ты во всем виноват.

– Ишь что при девчонке болтают, – с горькой укоризной покачал головой Михаил. – Никакого понятия: можно, нельзя… А ты не слушай, – потребовал он от Нинки. – Они там наговорят. Кому ты веришь: нам или им?

– Вам.

– То-то. Нас держись, с нами не пропадешь. А их не слушай.

Мужики снова принялись за бутылку. Нинка, приободренная отцом, терлась тут же, брала у него стакан с водкой, нюхала и фыркала, потом нюхала пустой стакан и тоже фыркала, как ровня, лезла в разговоры и зорко следила за тем, как убывает в бутылке, подбивая мужиков наливать побольше. Михаил жалел ее, не гнал от себя. И, как вышло, правильно делал.

Нинка спросила:

– Папка, а невылитые бутылки в магазине принимают, нет? – Ей пришлось задавать этот вопрос раза три или четыре, потому что Михаил разговаривал с Ильей и ему было не до Нинкиных глупостей.

– Это какие-такие невылитые? – отозвался наконец он.

– Ну, которые не выливаются. Я их выливала, а они не выливаются.

– Что ты из них, интересно, выливала? – Михаил говорил еще туда-сюда.

– А вино.

– Какое вино?

– Пускай не говорит на меня, что это я хлеб украла. Не видала, и пускай не говорит.

– А какое вино ты выливала? – Михаил нагнулся над Нинкой и держал ее в руках, но держал осторожно, ласково, чтобы не вспугнуть.

– Какое, какое! Такое. В бутылках. Только бутылки никак не открываются.

– Где ты их взяла? – спрашивал Михаил и переглядывался с Ильей.

Нинка и не собиралась ничего скрывать, к отцу у нее было сегодня полное расположение.

– Ты мне сам дал, – рассказывала она. – А у нее я сама взяла. Не будет говорить на меня. Не видала – и не говори.

Так. А где сейчас эти бутылки, которые ты у нее взяла?

– А в муке.

– Где?

– В муке. Они в кладовке спрятанные стояли. Это она их спрятала. Она думала, я не найду, а я вперед ее нашла. Там такая клетка есть, они в клетке стояли. Там еще есть.

Понятно, – крякнул Михаил. – Все теперь понятно. Не выливаются, говоришь? А ведь вылила бы, – простонал он. – Ты куда их выливала то? На пол, что ли? – Он спрашивал и жмурился от боли, представляя, как водка, будто какое-нибудь пойло, выплеснутая на пол, впитывается в дерево.

– Нет. Я в муку хотела. Чтоб она мокро не увидала.

Больше Михаил не в силах был играть в жмурки. Грозя Нинке подрагивающим пальцем, он потребовал:

– Чтоб об этих бутылках ни одна душа не узнала. Поняла?

– Поняла.

– Чтоб ни одна душа не узнала, – застряло у Михаила, – Поняла?

– Поняла.

– А то смотри. Скажешь – ой плохо будет.

– Их невылитые все равно не принимают, – попытался смягчить Михайлову суровость Илья.

– Их и вылитые не принимают. Их выпитые принимают. Поняла?

– Поняла.

– Как это ты быстро все понимаешь? Просто завидки берут – до чего толковая девка. А теперь иди. Иди-иди, – выпроваживал Нинку отец. – Гуляй. Нечего тебе тут с мужиками сидеть. И на носу заруби, что я тебе сказал. Чтоб ни одна душа. Бутылочница нашлась. В куклы играй, а не в бутылки.

Он закрыл за Нинкой дверь и отдышался.

– А ведь она, холера, и правда понесла бы их сдавать. Умишко-то детский. Невылитые – ишь ты! А там за милу душу приняли бы за те же двенадцать копеек. Полной фактурой и за двенадцать копеек. Им-то что, только давай, подноси. Вот холера так холера. И ведь разыскала. Ну оторви-голова растет. Оторви да выбрось.

Нинка тем временем, оглядываясь, выехала на середину двора, оттуда, с безопасного расстояния, пригрозила в сторону бани:

– Папка нехороший.

И отправилась к матери.

6

С утра Люся еще побыла со старухой, чтобы знать, как она, и, сказавшись ей, стала собираться в лес. После того, как поднялась Нинка, старуха уложила себя на место и задремала, но близко и сторожко, вскидывая при каждом шорохе глаза. Видно было, что сегодня ей стало намного лучше, и уйти от нее можно было безбоязненно.

Идти на гору Люсе не очень и хотелось, но чем заняться еще, она не нашла. Не сидеть же весь день дома. Сначала, не подумав, она позвала с собой Надю, и та согласилась, но затем сама же и отговорила ее, потому что, во-первых, с ней надо будет вести о чем-то разговоры, к которым Люся не была расположена, а кроме того, оставлять мать на одну Варвару показалось опасным – совершенно беспомощный человек, ничего не сделает. На мужиков рассчитывать больше не приходилось, за ними за самими нужно присматривать, чтобы они чего-нибудь не натворили и не лезли к матери. Пьяных старуха не переносила, и от них ей могло сделаться хуже.

Собиралась Люся долго. Одеться хотелось так, чтобы и удобно было в лесу, и чтобы выглядеть прилично, без той случайности в одежде, которая выдает безвкусицу. Не для людей – в лесу она могла никого и не встретить, а для себя, – от раз и навсегда заведенного правила одеваться аккуратно. От этого зависит и настроение, и даже дела. Люся верила, что неудачи тоже с глазами, и прежде чем пристать к кому-нибудь, они видят, как человек держится, чего он стоит и даже то, как он выглядит внешне. На крепкого, благополучного человека они редко решаются нападать.

Подходящая темная кофта у Нади нашлась, что надеть еще, Люся никак не могла выбрать. Надя принесла ей свои шаровары и сапоги, но Люся отложила их в сторону – это не для нее. Как бы сейчас пригодились ей брюки и купленКные специально для поездок за город туристские ботинки, да кто знал, что ей выпадет здесь идти за грибами. Когда собиралась сюда, думала о другом. Она уже готова была никуда не ходить, коли не в чем идти, да услышала с улицы голос возвращающейся Варвары, представила, как та весь день будет топтаться рядом и тянуть из нее Душу своим хныканьем, и сама попросила, сняла у Нади с ног кеды. Хоть и в них, лишь бы уйти. Очень уж не хотелось оставаться дома, не хотелось никого видеть, ни с кем разговаривать – ни жалеть, ни подбадривать. Родня, близкая родня, с которой надо вести себя как-то по-другому, чем со всеми остальными людьми, а она вовсе не чувствовала особой, кровной близости между собой и ею, только знала о ней умом, и это вызывало в ней раздражение и против себя – оттого, что она не может сойтись с ними душевно и проникнуться радостным настроением встречи, и против них, и далее против матери, из-за которой ей пришлось напрасно приехать, – именно потому, что напрасно. И сколько ей еще жить здесь, никто не знает. День, два, три? А может, больше?

Чтобы не встретить деревенских, Люся, минуя улицу, прошла в переулок через огород и поднялась на первую, рядом с деревней, гору. Она с самого начала решила, что не будет торопиться, для нее важно было пройтись по лесу, подышать свежим воздухом – то, ради чего в выходные она выезжала за город за многие километры. А тут лес вот он, рядом. Непростительно было бы не использовать счастливо появившуюся возможность побывать в нем без лишних хлопот: не надо договариваться о машине, набирать с собой еду, суетиться – встала и пошла. А грибы – что ж грибы! – они как заделье, раз уж в деревне не принято без нужды прогуливаться по лесу. Попадутся на глаза – сорвет, не попадутся – ну и не надо.

Она поднялась на гору и остановилась отдохнуть. Ей показалось, что с тех пор, как она не была здесь, гора стала меньше, положе; Люся подумала, что, наверное, ей это в самом деле только кажется, потому что выросла, повзрослела она сама и изменились ее представления о величинах: то, что раньше выглядело большим, значительным, теперь приобрело обыкновенные размеры. Нет, гора действительно опустилась. Люся вспомнила, как когда-то ребятишками они легко скатывались с нее до ворот. Она оглянулась на два покосившихся столба, которые остались от ворот, и прикинула: теперь не докатиться, нет. А что же с воротами, почему нет ворот? Ну да, не сеют, не пашут, значит, нечего от скота и запирать, все четыре стороны открыты настежь. За Верхней и Нижней речками ворота, конечно, тоже снесены и поскотина разгорожена.

И тут Люся поняла, почему гора стала меньше:ее срезали. Она была не так большая, как крутая, вредная, и мешала машинам. Тогда, наверное, и пригнали сюда бульдозер. Вот и канава слева едва заметна, та саман, почти в три человеческих роста канава, в которой по весне громыхала красная от глины вода и, отгромыхав, скатывалась на огороды. Подмытые стенки канавы ухали так, что за рекой отзывалось эхо. Матери, отпускал ребятишек из дому, сначала наказывали не подходить близко к канаве, а уж потом не выкалывать друг другу глаза. Она и и самом деле таила в себе для ребятишек какую-то тревожную, неизведанную опасность, скрытую еще дальше, за тем, что видели глаза. Не много было в округе запретных мест, которые бы они не излазили вдоль и поперек, но канаву старались не трогать, хотя проникнуть в нее было не так уж и трудно. Кто-то когда-то пустил слух, что дно в ней это вовсе и не дно, а обман, что за ним пустота, ведущая чуть ли не в преисподнюю, и слух этот помнили. Может быть, не очень и верили, но помнили.

И вот теперь канаву засыпали, утрамбовали, Похоронив все связанные с ней страхи. Не стало еще одного таинственного места, к которому прежде испытывали боязливую почтительность – все меньше и меньше их остается на свете.

Дальше и левее за канавой, где чернеет крапива, при колхозе была силосная яма, и весенними вечерами, когда сильнее дышит река, из вскрытой ямы деревню богато обносило дразняще-прелым духом.

И сразу пришло новое воспоминание. Чтобы быть ближе к тому месту, к которому оно относилось, Люся прошла вперед. На горе, справа от дороги, раньше было малюсенькое, меньше гектара, поле, но на Люсиной памяти его уже не пахали – много возни, мало толку, а свозили на него осенью солому. Она, бедная, до самой зимы ходуном ходила от ребятишек. Целыми днями пропадали они в ней, прорывая ходы сообщения, устраивая тайники и жилища, а потом ребята постарше по темноте приводили сюда на готовенькое своих девчонок. Только темнота помогала мало, потому что на березах, нависших над соломой, до петухов сторожили те же самые ребятишки – чтобы не пропустить, кто кого привел. Мало того, самые отчаянные из них, найдя место, где устроилась парочка, имели обыкновение выбрасываться на нее сверху – этакая милая деревенская забава! Но тут уж действительно надо было иметь отчаянную голову и длинные ноги, не то потревоженный парень мог и покалечить.

Эти воспоминания вызвали в Люсе не волнение, а скорее любопытство: как странно и как далеко это было, будто и не с ней, не при ней вовсе, а при ком-то, кто был до нее. Она не звала их, они явились сами, без спросу, откликаясь на то, что встречали глаза.

Перед второй, затяжной горой машинная дорога свернула влево, в обход – эту гору срезать было не просто. Люся пошла прямо, по старой, от которой осталась только глубокая тропа, заросшая по сторонам высокой, выстоявшейся травой. Люся вела по колосьям рукой, и зерна, щекотя ладонь, с тихим шуршанием опадали на траву и стекали на землю. Лес по горе стал реже и сквозил теперь до самого поля, на каждом шагу торчали пни и пеньки, недалеко от дороги валялись уже почерневшие и потрескавшиеся, не впрок заготовленные жерди. Как и при всяком разбое, сразу густо полезла и перепуталась трава, из нее, словно скелеты, выгибались сухие сучья – прежде хоть вблизи деревни их собирали на топливо, а сейчас и это никому не надо; Люся вчера видела, что весь берег у реки завален оставшимся после погрузки лесом, возле каждой избы лежат бревна. Да и разделывают их теперь бензопилами – раз, два и готово, не то что раньше, когда собирали воскресники. Опять воскресники: то, что было не под силу одной семье, делали миром, брали с собой ребятишек, находя им сподручную работу; Люся помнила, как любила она складывать поленницы, находя какую-то особую первобытную радость в том, чтобы устраивать в порядок приятные для глаза желтые сосновые поленья с тонкой шелковистой шкуркой, какая бывает ближе к вершине. И сезон для заготовки дров был один – весна, чтобы за лето они успели высохнуть, а теперь в любое время подбирай и пили разбросанную, уже готовую кубатуру.

«Нет, что-то было все-таки в этих воскресниках, – с неожиданной грустью пожалела Люся. – И люди на них шли с удовольствием. Кого не приглашали, тот уж понимал, что хозяева не считают его своим, что ему отказано в дружбе и доверии».

И работа – дружная, заядлая, звонкая, с разноголосицей пил и топоров, с отчаянным уханьем поваленных лесин, отзывающимся в душе восторженной тревогой, с обязательным подшучиванием и заигрыванием друг с другом и дразнящим ожиданием угощения, для которого хозяйку заранее отпускали домой. После зимы это была первая работа в лесу, к тому же не очень трудная, и ее любили. От солнца, от леса, от пьянящих запахов, исходивших от ожившей земли, в одинаковое для молодых и немолодых ребячье возбуждение приходила душа, не успокаиваясь долго, до опустошающей усталости. С обновленной землей менялись, казалось, и чувства, необъяснимыми путями соединяясь с дальней, наиболее чуткой порой человека, когда он тоньше слышал и зорче видел, различал; древние инстинкты с непонятной настойчивостью заставляли присматриваться, принюхиваться, отыскивая что-то и под ногами й в воздухе, что-то забытое, утерянное, но не исчезнувшее совсем.

Вместо воды пили березовый сок, который тело принимало как снадобье – бережно и со вниманием, верящим в скорый отклик. Сок собирали ребятишки, они же отыскивали и выкапывали первые саранки, желтые луковицы которых таяли во рту, как сахарные; со сведенными лицами, только чтобы не отстать друг от друга, а не для того вовсе, чтобы утолить какую-то редкую нутряную жажду, сосали пихтовую зелень. И, конечно, не обходилось без лиственничной серы, без которой в этот день было так же нельзя, как в Пасху без яиц, и которую жевали даже мужики, а потом, разбередив десны, материли ее и хватались за курево.

Сразу, как только крутизна в горе утихла, начинались поля. Люся вышла на открытое место и в недоумении огляделась: что такое, уж не заблудилась ли она? Как можно было заблудиться в трех шагах от деревни? Нет, конечно: вон Касаловка, – поля слева, уходящие к Нижней речке, назывались Касаловкой, вон впереди, где с одной стороны видна изгородь, оставшаяся от гумна, Ближняя елань, за ней Вышка, справа дорога повела на Дальнюю елань. Эти названия пришли к ней так легко, будто она пользовалась ими каждый день, хотя только перед этим не могла сказать, как зовут острова напротив деревни, и Люся удивилась себе; что это с ней? Казалось, какой-то голос – травяной или ветряной – наносил живущие здесь слова, и слух, уловив их, дал для повторения.

Люся медленно подвигалась по дороге вперед, узнавая и не узнавая открывшиеся места. Если смотреть поверху, вот она, Касаловка, вот Ближняя елань, за ней Вышка. А на земле все это сходилось в одном чужом широком запустении, которому не хотели верить глаза. Дорога, взбиравшаяся в гору узенькой тропкой, снова сошлась здесь с машинной и, не жалея земли, расползлась по сторонам. Поля заросли, затягиваясь с нижнего края густым, расторопным осинником, отдельно от него, ближе к середине, держалась сосновая поросль, там и там торчали дудки. Уже и не отличить было поля от межей, сцепились та – не оторвать. Хлебный дух, привычный для этой поры, давно истаял; пахло перезревающей лесной мешаниной да от заброшенной земли исходило пресное, сухое дыхание.

Не удержавшись, Люся свернула влево и пошла через поле. Земля еще не взялась целиной и была комковатой, серой; привыкнув поднимать хлеба, она, казалось, надеялась на чудо и из последних сил берегла себя для сева, но возле намечающегося соснячка, угадывая хвою, уже копошились муравьи – значит, поверили, что здесь их никто не тронет.

Сколько же прошло лет, как уехал отсюда колхоз? Семь, восемь, девять? Точно Люся не знала, что-то около того. Колхоз, можно сказать, и не уехал, а растаял на месте, увезли только машины, которых и было-то немного, да кой-какой инвентарь. Поля не увезешь – вот они, поля, люди тоже остались, не так-то просто и легко тронуться с насиженного места, освященного родными могилами, и двигаться неизвестно куда. Уехали только три семьи из переселенцев, одна из них затем вернулась обратно.

Колхоз назывался «Память Чапаева», и Люся опять удивилась тому, с какой легкостью, без всякого ее обращения к памяти всплыло откуда-то в ней это никому не нужное теперь название и с сиротской призывностью улетело в поля. Не будь она здесь, среди всего, что было с ним связано, ни за что бы не вспомнила. Впрочем, затем уже, после Люси, колхоз переименовывали и, кажется, не один раз, но другого названия она не знала и не хотела знать.

Колхозу «Память Чапаева», который и без того кое-как сводил концы с концами, не повезло сразу с двух сторон. Во-первых, рядом с ним, в одной деревне, обосновался леспромхоз – богатый, денежный, причем деньги, как в сказке, выдавали аккуратно через каждые полмесяца, и молодежь всякими правдами и неправдами побежала из колхоза. Для этого даже не надо было срываться с места и менять свою жизнь, все было тут же, дома. А попробуй колхоз удержать у себя хорошего механизатора, когда тот видит, что в леспромхозе он по самому скромному счету заработает в три раза больше. Удерживать-то удерживали – и криком, и законом, да только плохо получалось.

Пока боролись с одной бедой, подоспела другая – началось объединение колхозов, и «Память Чапаева» прицепили к такому же, как он, горюну, до которого было почти пятьдесят километров тайги. Тут уж не только молодежь, чуть ли не вся деревня повалила в леспромхоз. Дошло до того, что некому стало кормить скот. Тот колхоз перегнал к себе коров, овец, но поля года два еще обрабатывал, отправляя сюда на помощь своих людей, хотя их, конечно, не хватало и дома. Помыкался он, помыкался, да и свез к себе оставшееся добро. А поля забросили. Вот они, поля, то, что от них осталось.

Люся еще раз осмотрелась вокруг, и ее кольнуло неожиданное, родившееся уже здесь чувство вины, будто она могла чем-то помочь им и не помогла. «Ну что за чепуха, – отмахнулась она. – Я здесь совсем ни при чем. Я уехала раньше, задолго до всех этих перемен, я здесь человек посторонний». Она подумала, что у деревенских, оставивших землю ради леса, это чувство должно быть сильнее, пусть они от него и страдают, если способны страдать, а она и в самом деле оказалась тут случайно и едва ли когда-нибудь придет сюда еще. И все-таки та уверенность, с которой она шла в лес, в ней исчезла, легкое прогулочное настроение было испорчено, а как, чем, она и сама не могла понять. Она уже жалела, что не осталась дома, но и вернуться назад тоже не смогла бы, если бы даже и захотела: ее вело что-то помимо ее желания, и она, подчиняясь ему, послушно переставляла ноги. На старой меже она решила присесть на примеченную еще издали белую колодину, отполированную дождями и солнцем, чтобы отдохнуть на ней и успокоиться, и почему-то прошла мимо, хотя и не помнила, как прошла, перенеслась дальше. Она оглянулась – не вернуться ли, но уже знала, что не вернется, не сможет, что она не вольна поступать сейчас так, как ей нравится.

Мысль, явившаяся Люсе, застала ее врасплох. Она подумала, что ей должно быть горько, гораздо горше того, что она чувствует, потому что видит эту заброшенную, запущенную землю впервые после того, как знала ее другой. Но горечи или боли не было – была растерянность, постепенно переходящая в непонятную, пугающую тревогу, которая, казалось, передавалась от земли, оттого что земля помнит ее и, как окончательного суда, ждет ее решения, – ведь она, Люся, не один раз бывала здесь прежде и даже работала. «И даже работала», – как оправдание, повторила она и только тут с удивлением осознала, что было за этими словами.

Они заставили ее остановиться и еще раз осмотреться вокруг – она медленно обвела глазами все, что было на виду и выше, по небу, зная и не зная, что она ищет, и повернула вниз, к редкому, просвечивающему леску. За ним скрывалось небольшое, клином уходящее к Нижней речке поле, которое взволнованная память выделила из всего остального. Люся торопилась, боясь, что поле заросло совсем и его уже не найти, будто эти минуты могли что-то решить. Она помнила, что где-то там, внизу, к полю должна быть дорога, но спускаться к ней Люсе показалось далеко, и она пошла напрямик, через лес. Ей хотелось прежде взглянуть на поле украдкой, со стороны, проверить, оно ли это, не ошиблась ли она и что с ним сталось, а идти по дороге значило заранее выдать себя. Ее уже не покидало недоброе чувство, что кто-то с самого начала подсматривает за ней, следит за каждым ее шагом, и она старалась спрятаться, уйти с открытого места.

Наконец впереди совсем посветлело, и Люся увидела поле – то самое. Не выходя, она смотрела на него из-за деревьев. Широкая старая межа сбереглась и походила теперь на просеку; ее затвердевшая, объятая травой земля не давала взойти семенам деревьев, зато сразу за ней, на паханом, покатился под гору легкий осинник. Там, где он задержался, чуть пониже, как привидевшееся чудо, был огород – кто-то облюбовал здесь землю и посадил картошку. Картофельная трава на солнцепеке пожухла больше, чем в деревне, но не упала, она была по-полевому низкорослой и походила скорее на тычки, под которыми ничего нет. Но это оттого, что странно и непривычно было видеть здесь картошку.

Воспоминание, которое привело сюда Люсю, относилось к голодным послевоенным годам. Не то к сорок шестому, не то к сорок седьмому. Весной, перед севом, Люсю отправили бороновать это поле. Накануне шел дождь, земля была сырой и липла к бороне так, что та волочилась, как шкура. По-доброму, следовало, конечно, подождать, пока земля подсохнет, но ждать то ли не могли, то ли не хотели. К тому же перед этим поле отдыхало, было отдано под пар и сильно заросло, прошлогодняя трава забила зубья, и борона все время тащилась поверху, то и дело ее приходилось переворачивать и чистить. Конь Люсе достался старый, слабосильный, они все в ту весну едва таскали ноги, но этот и вовсе был похож на свою тень.

И опять, уже в который раз сегодня, Люся услышала, как прозвучало в ней нужное слово. Игренька. Коня звали Игренькой, и с этим словом, которое все еще звучало в ушах, воспоминание сразу стало намного полнее и яснее. Люся отчетливо увидела перед собой рыжей масти коня с серебряной гривой и серебряной звездой во лбу – худого до того, что, казалось, высохли даже копыта, и себя за ним – тоненькую, во что попало одетую девчонку, взмахивающую вожжами и подпрыгивающую на одной ноге, стараясь второй вдавить борону в землю. Позади остается волнистый, причудливый след.

Лопатки у Игреньки ходили вместе с ногами: вперед – назад, вперед – назад. Под гору он еще стаскивал борону, но, после того, как разворачивались, до верхней межи останавливался раз десять. Переводя ноги, он вытягивался и хрипел. Люся уже не понукала его, не гнала и чистила борону только тогда, когда он изнемогал, а вычистив, трогала его по боку вожжой. Перед тем, как стронуться, Игреньке надо было раскачаться, сразу с места он взять не мог. Его часто заносило в сторону: в гору он тянул с закрытыми глазами – наверное, чтобы не видеть, сколько осталось до межи. Девчонка тогда измучилась с ним, измучилась с травой, с грязью, она, как и Игренька, тоже держалась на пределе сил, и тогдашнее состояние вдруг передалось сейчас Люсе и сжало ее. Она почувствовала такую сильную усталость и беспомощность, что опустилась на траву, так и не выйдя на поле.

В конце концов Игренька запнулся и упал. Люся перепугалась. Она стала дергать его вожжами, ничего не добившись, схватила за узду и потянула голову коня вверх – он мотал головой и стягивал ее на землю. Люся закричала на Игреньку – не столько от злости, сколько от страха, и от страха же стала пинать его во впалый бок, от ударов по телу коня прокатывались судорожные толчки, но он не делал даже попытки подняться. Оглядываясь, Люся отступила от него, потом набежала и попробовала подхватить коня в беремя, царапая его с того бока, на который он упал, только напрасно оттягивая его обвисшую, податливую кожу. Тогда Люся бросилась в деревню.

Слава богу, мать была дома. Они бегом прибежали обратно, к завалившемуся Игреньке. Он лежал на животе, подогнув под себя ноги, земля вокруг него была изъезжена – видно, без Люси в своем недобром, напугавшем его предчувствии он пытался подняться и не смог, а теперь успокаивался, смирившись с тем, что будет, приласканный проникающим сквозь землю покоем. Мать присела перед ним на колени, стала гладить по тонкой, как стесанной, шее.

– Игреня, – приговаривала она. – Ты это чё удумал, Игреня? От дурной, от дурной. Он уж трава полезла, а ты пропадать собрался. Осталось дотерпеть-то неделю, не больше, и жить будешь, любая кочка на жвачку подаст. Ты погоди, Игреня, не поддавайся. Раз уж зиму перезимовал, тепери сам бог велел потерпеть. Осталось-то уж… господи… раз плюнуть осталось-то. Чё там зиму – войну мы с тобой пережили. Всю войну ты, бедовый, на лесозаготовках маялся, бревны таскал, а такая ли это работа? И таскал, дюжил. А тут уж на характере можно продержаться, я давно уж на характере держусь.

Конь повернул к ней острую, как клюв, морду и потянулся к ее рукам губами.

– Ничё нету, – испугалась мать. – У меня ничё нету, Игреня, ничё не взяла. От дура так дура. А он все понимает, хоть и конь. Ишо бы, Игреня, да не понимал. – Она гладила его по морде, теребила свалявшуюся челку. – Он, подимте, не такое в толк брал, чё и другой человек не возьмет. В позапрошлом годе, когда Игреньке бревном сломали ногу и его хотели отдать на мясо, кто на трех ногах ускакал в тайгу? Он, Игренька. И покуль кость на свое место не взялась, не выходил, отлеживался. Потом ишо сколь хромал. А я тебя никому не давала, на тебе, на хромоногом, воду на молоканку возила и, чтоб не бередить ногу, наливала не цельную бочку.

Конь вскинул голову и тонко, виновато заржал.

Мать потрепала его по шее, и он, откликаясь на ласку, заржал во второй раз я завозил под собой ногами.

– Погоди, Игреня, – заторопилась мать и стала освобождать его от постромок. – Погоди, сичас. Сичас мы с тобой будем подыматься. И то – хватит лежать, належался. – Игренька водил за ней головой и дрожал от нетерпения и страха за свою слабость. Когда мать взяла его под уздцы, он с силой выкинул вперед передние ноги, но далеко, неудобно, так что пришлось подтягивать их ближе, напружинился, натянулся, вздымая задние, и не смог, осел обратно. Отвернувшись от матери, он снова заржал, и в его голосе было отчаяние: не могу, сами видите, не могу. Мать стала успокаивать его: – Погоди, Игреня, погоди, отдохни. Не сразу. Ишь ты, cpaзy захотел. Сял и то хорошо, и то давай сюды. Сичас отдохнешь и подымешься. Ничё, ничё. Ох ты, Игреня ты Игреня.

Она обвела глазами Люсину работу и упрекнула:

– Повдоль надо было ездить, а не поперек. Тут на бугор и здоровый конь не вытянет. А ему где же…

– Ага, такой гон…

– Ну и чё? Ехала бы и ехала помаленьку, никто тебя не гнал. Земля-то одна – хошь вдоль, хошь поперек. Сколь ее тут есть, столь и есть. Не прибудет.

Она подала Люсе повод, а сама зашла сбоку и, хлопнув коня по спине, подхватила его снизу. Игренька переставил передние ноги, как бы уходя с уронившего его места, и вытянул задние, в последнем отчаянном усилии выпрямил их и встал в полный рост. Он покачивался на своих четырех ногах, а мать поддерживала его, обняв рукой за спину, и радостно приговаривала: – Ну и от, ну и от. Я ить тебо говорела. А то пропадать собрался – ну не грех ли? Скажи кому, дак и обсмеют тебя, подумают, дизентир. А какой ты дизентир, Игреня? Господи, какой ты дизентир? Хлопни на тебе комара, ты и повалишься. От и весь с тебя дизентир. Тебя ли сичас на работу назначать? Пойдем, дизентир. пойдем.

Она взяла его в повод и потянула за собой. Раскачавшись, конь тронулся, почти сразу же остановился и, будто испугавшись, что опять упадет, заковылял дальше.

…Люся поднялась и, отряхиваясь, еще раз взглянула на огород среди поля, словно хотела удостовериться, что все это было не сейчас, не только что, а давным-давно, больше двадцати лет назад. Освобождаясь от стоящей перед глазами картины с Игренькой, она медленно побрела вверх, в гору, откуда перед тем спустилась, но воспоминание не оставляло ее. Казалось, она что-то не поняла в нем, что оно пришло не для того только, чтобы показать, как это было тяжело и горько, но и с какой-то своей, затаенной, бередящей мыслью, которую она не распознала. Люсю охватили досада и неудовольствие собой, тем, что она поддалась какому-то незнакомому, пугающему ее своей пытливостью чувству, и она решила идти быстрее, чтобы ходьбой освободиться от него.

«И далее работала», – неожиданно она различила в себе даже интонацию, с которой полчаса назад произнесла в себе слова, заставившие ее искать это поле. Да, работала – как все. И косила, и гребла, и боронила, и полола, и собирала – мало ли в колхозе было дел, особенно в те годы, когда не хватало людей. «И пахала», – добавил в ней кто-то. В самом деле, и пахала – как это она забыла о таком? Правда, всего два дня, потому что за плугом она еще могла ходить, а переводить его из борозды в борозду у нее не хватало силенок. Она росла слабой и пошла работать позже своих подружек – только в последние военные годы. А до того мать жалела ее и оставляла дома с Танькой, с нынешней Татьяной из Киева.

«Хоть бы приехала сегодня Татьяна», – обрадовалась Люся возможности думать о другом. – А то мать без нее никому покоя не даст. Таньчора да Таньчора. Кроме того, стало бы ясно, что с матерью. Сейчас она только ждет свою Таньчору».

Лес кончился, и Люся опять вышла на поднимающиеся вверх поля. Здесь, на открытом месте, широко раскинулся ясный, уже нагревшийся день с чистыми резкими краями: воздух в нем, если смотреть вдаль, тонко, неуловимо позванивал на солнце, и этот верхний, угадывающийся звон казался единственным. Внизу при Люсиных шагах все смолкло, затаилось. Земля под ногами не отзывалась, была глухой и окаменевшей, лес на горе призрачно пошевеливался, дышал едва заметным в воздухе белесоватым, березовым дымком, исходящим от спелого осеннего существования, от тепла и сытости. Небо за лесом спокойно и ровно стекало вниз, за землю; небо было высокое, легкое, но синь на нем уже отцветала, чувства в его глубине стало меньше, в его загадочности появилась усталость.

По полю Люся повернула еще левей, к речке. Она ступала осторожно, как крадучись, хотя ее хорошо было видно со всех сторон. Где-то там должна быть дорога, и Люся решила, что лучше сделать круг, зато идти по дороге – так безопасней. Она прекрасно знала, что бояться здесь нечего и все-таки не могла отделаться от непонятно откуда берущейся уверенности, что кто-то за ней следит, и это было не просто предчувствие, гадающее о том, что может произойти впереди, это странным образом связывалось с прошлым, с каким-то потерянным воспоминанием, за которое с нее теперь спросится. Ей казалось, что, пойдя в лес, она легкомысленно поддалась на чью-то уловку, что ее сюда заманили, но вернуться сейчас обратно было нельзя – тогда то, ради чего ее увели из дома, произойдет сразу же, на месте, и она, боясь, оттягивала его наступление, вела его за собой все дальше и дальше.

Она все-таки нашла дорогу, но легче ей от этого не стало. Борясь с искушением броситься по ней вниз и бежать, бежать со всех ног до самой деревни, она медленно, словно пробуя дорогу, испытывая ее крепость и безопасность, пошла в гору. Нет, не добежать, она уже разучилась бегать. Дорога была заброшенной, и окаменевших комках, и воздух над ней, казалось, ссохся – до того Люсе стало душно. Она подумала, что лучше идти полем, но не сошла с дороги, не могла сделать в сторону ни одного шага, подчиняясь чьей-то чужой воле, которую невозможно ослушаться; только сейчас Люся поняла, что на эту дорогу и нельзя было ей ступать, что она для нее теперь все равно что узкий длинный коридор с высокими прозрачными стенами, и коридор этот приведет ее совсем не туда, куда ей хочется. Острые комки сквозь кеды резали ей ноги, но она не обращала внимания на боль, все время находясь во власти какого-то до странности ясного и тревожного оцепенения: что-то будет, что-то произойдет?

Она шла-шла и остановилась: как раз посреди дороги, как еж, лежал муравейник. С недоумением, почти страхом смотрела она на эту живую, шевелящуюся кочку – почему муравейник здесь, не в стороне? Как она, Люся, пройдет? Что ей делать? Или теперь можно повернуть обратно? Она обернулась и ничего не увидела позади себя, все было смыто солнцем, и его яркий широкий свет ослепил Люсю. Осторожно, выставив в стороны руки, чтобы не удариться о стены, она попробовала пройти по краю муравейника на свободную дорогу и прошла – ничто ее не остановило. Люся обрадовалась. Она обрадовалась так, что смогла улыбнуться. «Что это я?! – стала успокаивать она себя. – Чего я так испугалась? Разве может здесь, где на многие километры кругом я знаю каждый кустик, со мной что-нибудь случиться? Какая ерунда! Вышла прогуляться, подышать свежим воздухом и – на тебе! – поддалась каким-то глупым детским страхам. Это все нервы, нервы – надо лечить их. Здесь у меня все родное – чего здесь бояться? Вот сейчас дойду до пустошки и буду собирать рыжики. А потом обратно в деревню. Какая я все-таки дуреха!»

Она пошла веселее, уверенней, до лесу оставалось немного.

И вдруг, не соглашаясь с этой ее уверенностью, протестуя против нее, воздух пронзил далекий и тонкий, сильно избывшийся, но все еще слышный, отчаянный крик:

– Минька-а-а!

Люся вздрогнула; она узнала его, это был ее собственный крик. Медленно-медленно, как под грузом, повернула она голову влево: черемуховый куст был там же, на прежнем месте посреди поля. Кто-то когда-то пожалел его, объехал плугом, и куст с тех пор разросся, отвоевал себе у пашни землю, стал давать урожаи. Повинуясь первому, невольному чувству, Люся сделала к нему шаг и неожиданно сошла с дороги, дорога выпустила ее. Люся не удивилась, она уже поняла, что не сама выбирает, куда ей идти, что ее направляет какая-то посторонняя, живущая в этих местах и исповедующая ее сегодня сила.

Вблизи черемуховое гнездо оказалось сильно разграбленным. Срубленные засохшие кусты валялись на земле, живые, с редкой зеленью, затянутой паутиной, выглядели совсем бедно: самые лучшие ветки с них были оборваны. Сохранилась лишь боковая, податливая поросль, до которой можно дотянуться рукой, а всю середину вынесли, там теперь торчали только высокие, по грудь человеку, голые пни, от которых гнулись в сторону уцелевшие кусты. Кое-где на них еще висели ягодки.

Люся сорвала несколько – они были мягкие, сладко-прохладные, как и раньше, с мятой на вкус, и крик, найдясь через много-много лет, вдруг снова нахлынул на Люсю и сжал ее. Она испуганно осмотрелась – никого, но все-таки на всякий случай зашла за куст так, чтобы ее не видно было от Нижней речки.

…Это случилось тоже сразу после войны – жизнь тогда, не успев опомниться после четырех окаянных лет, гуляла еще крепко, зло: голодовка, разбой, суды, слезы. Второе лето вдоль реки откуда-то с севера бежали власовцы, наводя на маленькие таежные деревеньки незнакомый в этих краях страх: там ограбили магазин, там изнасиловали и убили бабу, там усыпили чем-то всю семью и обчистили ее до последней нитки. Одно время мужики выставляли на ночь караулы, но власовцы успевали творить свои дела, когда их не ждали, и спокойно уходили дальше. Правда, где-то в низовьях двоих поймали; когда их везли в район, полюбоваться на них высыпала вся деревня. Они сидели в телеге спиной друг к другу, со связанными руками, обросшие, оборванные, злые и смотрели на людей с усталым вызовом, не отвечая на выкрики из толпы и на команды верхового конвоира из мужиков, решившего при народе покуражиться над арестантами.

Власовцы, как правило, бежали в начале лета, затем слухи о них затихали, и деревенская жизнь снова входила в свою привычную колею; бабы безбоязненно шли опять в лес, плыли за реку – хоть на колхозную работу, хоть по ягоды, по грибы, словно для беглецов, как для клещей, существовал какой-то определенный сезон, после которого они никому уже были не страшны.

В августе, ближе к середине, когда о власовцах потихоньку стали забывать, мать отправила Михаила и Люсю к этому кусту. Наверное, она заприметила его еще раньше, по весне, а потом проверила и ахнула: в тот неурожайный на черемуху год он буквально ломился от ягоды. В высоких хлебах с дороги его было не видать, сам он от тяжести пригнулся к земле, спрятался – оттого и сохранился, дал черемухе доспеть до полной готовности.

Рвать ее было одно удовольствие. Уж на что Михаил не любил брать ягоду, не находя терпения, чтобы одни и те же движения повторять тысячи и тысячи раз, но тут загорелся и он. Черемуха была крупная, в длинных и чистых, без листа, тяжелых гроздьях, которые под пальцами легко осыпались, стекая в ладони теплой и мягкой струей. Михаил передвигал за собой ведро, а Люся для удобства подвязала запан и освобождала его только тогда, когда груз на животе начинал оттягивать. Зато вывалишь – и в ведре сразу прибавится на добрую четверть. За каких-нибудь два часа они до краев наполнили свои посудины, а куст едва ли удалось обобрать даже наполовину.

Они сходили домой и решили вернуться. Оставлять куст с ягодой на другой день не хотелось. Теперь, когда они знали к нему дорогу, казалось, что в любую минуту наткнуться на него может кто угодно. После обеда настоялся жар; Михаила разморило, и он тянулся в гору кое-как; Люся не стала ждать его и одна вышла к короткой, незаметной в хлебах меже, на которой стоял куст. До него оставалось шагов двадцать, может, чуть больше, когда куст вдруг зашевелился и на землю с него спрыгнул какой-то незнакомый страшный человек в зимней шапке с подвязанными наверх ушами, страшный уже одной этой шапкой в невыносимо душный летний день. Это было так неожиданно, что Люся остолбенела и вместо того, чтобы кинуться от него, застыла, как вкопанная. Человек засмеялся нервным, нетерпеливым и радостным смешком и поманил ее к себе пальцем. Она успела рассмотреть его: невысокий, коренастый, с черным небритым лицом, глаза горят белым, сумасшедшим огнем.

Вот здесь, вот здесь он и стоял, широко и удобно расставив ноги в сапогах, уверенный, что никуда она от него не денется, настолько, что позволил себе, как кошке с мышкой, еще поиграть, позабавиться с ней, чтобы полней и сытнее была потом победа – перед тем, как праздновать ее, он разжигал в себе голод. И вновь Люся в полную меру пережила весь тот ужас, которым грозила ей тогда эта встреча, и ее проняла дрожь. Оглядываясь, она отступила от куста в поле, но вспомнила, что совсем уйти отсюда ей все равно сейчас не удастся, ее не отпустят.

Человек засмеялся и поманил ее к себе пальцем – она попятилась. Скорчив обиженное лицо, он развел руки: что, мол, еще за фокусы! – и осторожно, словно стараясь не вспугнуть, пошел на нее: на лице его, скошенном от волнения в одну сторону, прыгала короткая, жесткая улыбка.

И тут Люся, наконец, бросилась бежать. Она выскочила на дорогу и припустила по ней вниз, к деревне. Человек, отставший на пашне, где его сапоги заплетались в хлебах и вязли в мягкой земле, теперь догонял ее – она уже слышала за своей спиной его резкое, всхрапистое дыхание. Она обезумела от страха и неслась с ведром, загребая им воздух. Сзади ее уже царапнули руки, но в последний момент она успела оторваться и выпустила ведро – громыхая, оно покатилось за ней по дороге. – Минька-а-а!

Она закричала и в тот же миг увидела впереди фигуру брата. Ничего не понимая, он остановился, но уже в следующее мгновение рванулся навстречу Люсе. Человек тоже заметил Михаила и пристопорил, он никак не ожидал встретить здесь кого-то еще и растерялся. Люся проскочила мимо брата, крикнув, чтобы он бежал вслед за ней, но, оглянувшись, увидела, что он остался. Человек к этому времени успел разглядеть, что перед ним почти мальчишка, сопляк, и теперь наступал на него крадущимися, издевательскими шагами.

– Минька-а! Убегай! Убегай! Минька-а-а! – приплясывая на дороге, надрывалась Люся.

Михаил схватил с земли камень и приготовился. Человек присел и тут же быстро, как для прыжка, выпрямился – Михаил, не выдержав, отскочил назад. Человек засмеялся. Он попытался снова испугать Михаила, но тот больше не двинулся с места; сжимая камень в руке, он ждал. Тогда человек и в самом деле бросился на него – бросился и сразу свернул в сторону: нарочито припадая на одну ногу, он лениво, с видом сильного, не захотевшего заниматься пустяками и обижать маленьких, побежал через все поле к Нижней речке.

Так же неожиданно, как возник, крик вдруг прекратился, и вокруг далеко и полно упала тишина. Люся догадалась, что теперь можно идти дальше, воспоминание кончилось, и, тяжело тронувшись с места, направилась все туда же – к пустошке, за рыжиками. Она подумала о рыжиках, как о слабом, но еще возможном спасении: если сорвет хоть один, хоть самый маленький, тогда останется надежда, что все обойдется. А что, собственно, должно обойтись? Чего она боится? Неизвестно. Ничего неизвестно. Она боялась даже размышлять о том, пристало ли ей чего-нибудь здесь бояться, ей казалось, что и мысли ее тоже могут быть кем-то услышаны и истолкованы неверно. Она устала, ноги заплетались, но устала не от ходьбы, потому что и прошла-то пустяки, каких-нибудь три-четыре километра, а от чего-то другого, более значительного, важного, может быть, от воспоминаний, которые, как сговорившись, подстерегали ее сегодня на каждом шагу и заставляли переживать их заново – для какой-то своей, скрытой цели. Казалось, жизнь вернулась назад, потому что она, Люся, здесь что-то забыла, потеряла что-то очень ценное и необходимое, без чего нельзя, но и повторившись, прежнее, бывшее когда-то давно, не исчезало совсем, а лишь отходило в сторонку, чтобы видеть, что с ней сталось после этого повторения, что в ней прибыло или убыло, отозвалось или омертвело навеки – вот они окружили ее и следуют за ней все дальше и дальше: справа, шатаясь от голода и из последних сил волоча за собой по весенней грязи борону, бредет Игренька, слева скачет на черемуховом кусту незнакомый страшный человек в зимней шапке. Там еще и еще.

Люся остановилась. Неправда. Здесь никого нет, ни одной души, которую надо было бы опасаться, она одна. Эти страхи так же нелепы, как шапка на том человеке в жаркий летний день, эта тревога пуста: просто нервы после телеграммы о матери приготовились к беде, к потрясению и теперь требуют возмещения за свою напрасную работу.

Она осматривалась вокруг снова и снова. Да, никого: солнечно, тихо, спокойно. Слишком солнечно, слишком тихо и спокойно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Одна, одна, но одна среди чужого затаившегося безмолвия, где все сияние и внимание направлены только на нее. Ей некуда спрятаться, ее видят насквозь. Нет, надо бежать отсюда. «Бежать, бежать», – твердила она. Зачем, ну зачем она вылезла из деревни? Кто ее сюда гнал? Что она здесь забыла?

«Забыла?» – мысль вдруг задержалась на этом слове и придвинула его к Люсе ближе. Забыла… Вот оно, наконец, то, что, не открываясь, с самого начала сегодня томило ее молчаливой давней обидой, помимо ее желания, не давая свернуть в сторону ни на шаг, вело Люсю по местам, которыми ярче всего была отмечена ее прежняя деревенская жизнь, – вело до тех пор, пока Люся не призналась: забыла. В самом деле, там, в городе, она за последние годы все забыла – и воскресники по весне, когда заготавливали дрова, и поля, где работала, и завалившегося Игреньку, и случай у черемухового куста, и многое-многое другое, что бывало еще раньше, – забыла совсем, до пустоты. Она забыла, что когда-то боронила, пахала… Да, боронила, пахала – подумать только! Странно, что и это, не разобрав, она выкинула из памяти, уже этим-то можно бы и гордиться, едва ли кто-нибудь из ее приятельниц ходил за плугом. Давным-давно уже она не трогала воспоминания о деревне, и они затвердели, слежались в одном отринутом неподвижном комке, затолканном в дальний тыльный угол, как узел с отслужившим свое старьем.

И вот сегодня они ожили. К Люсе явилось запоздалое чувство стыда, будто всякий раз при этом ее тыкали носом: помни, помни, помни…, а она не понимала, что с ней делают. Она чего-то боялась. Теперь страх пропал, и после него не осталось совсем ничего, одна тяжелая, гнетущая пустота, которую, казалось, ничто уже никогда не заполнит.

Со слабым удивлением Люся поймала себя на том, что она еще шевелится, откуда-то находит силы, чтобы переставлять ноги.

Лес вокруг полей раздвинулся, встав на свое место, и застыл. Солнце уже не было таким ярким и слепящим, как ей почудилось еще совсем недавно. Все вокруг словно отвернулось от нее, перестало замечать, потеряло к ней всякий интерес, никто, кроме нее самой, не подозревал о существовании ее. И только она все шла и шла.

Наконец, она добралась до пустошки и у края ее остановилась. В пустошке было светло и тихо. С высоких сосен, кружась и играя в густом воздухе, медленно опадали иголки: их чистый, волнующий шелест переходил из стороны в сторону, звучал то слева, то справа. Между деревьями белым ударным дымком тлела паутина, причудливыми пятнами и полосами лежало на земле солнце. Где-то в глубине весело и часто стучал дятел.

Дальше Люся идти не посмела. «Я буду приезжать сюда», – перед кем-то для чего-то оправдываясь и кому-то обещая, подумала она, но уже знала, что не приедет, все сделает для того, чтобы не приехать. Торопясь, она повернула обратно. «Скорей, скорей», – подгоняла она себя, все убыстряя и убыстряя шаг. И только перед самой деревней перевела дух и успокоилась.

Но потом, поздним вечером, после всего того, что случилось еще в этот день, когда Люся вышла на улицу и увидела рясное, как нигде, в звездах небо, ей снова стало не по себе. И снова она, торопясь, укрылась в избе.

7

Наконец-то, к старухе пришла долгожданная Мирониха.

Старуха лежала на кровати так легко и невесомо, что сетка под ней совсем не прогибалась; у старухи дежурили только глаза, а тело, расстеленное на кровати и застывшее в немой неподвижности, оставалось без толчков и забот – как чужое. Не было никакой нужды трогать его: старуха давно уж лежала одна, будто потеряла себя от всех остальных и никак не может найтись. Ближе к обеду солнце с улицы попало в избу, и старуха, глядя на солнце, пригрелась от его веселого неустанного света, а то уж совсем затосковала сама с собой – хоть плачь.

Мирониха, настороженная тишиной в избе, в которую, она знала, понаехали гости, боязливо выглянула из-за перегородки, увидала, что старуха одна, и, вынырнув к ней, всплеснула руками:

– Оти-моти! Ты, старуня, никак живая?

Старуха обрадовалась Миронихе так, что в глазах засверкали слезы и завозилась на кровати, норовя подняться, вспомнила, что подниматься надо долго, и протянула Миронихе поддавшуюся руку.

– Дак видишь, живая. Вторые дни уж, как оклемалась. Тебе рази не сказывали?

Мирониха подержала старухину руку и выронила, но в руке нашлась сила и она сама легла ко второй, к левой руке и приласкалась к ней.

– Тебя пошто смерть-то не берет? – Мирониха присела к старухе на кровать и, говоря, наклонялась к ней. – Я к ей на поминки иду, думаю, она, как добрая, уж укостыляла, а она все тутака. Как была ты вредительша, так и осталась. Ты мне все глаза уж измозолила.

– Ты рази, девка, не знаешь, что я тебя дожидаюсь, – с охотой включаясь в игру, отозвалась старуха. – Мне одной-то тоскливо будет лежать, я тебя и дожидаюсь. Чтоб вместе в одну домовину лягчи.

– Я тебя, старуня, ногами запинаю. У меня ноги вострые, я их всю жисть об землю точила.

– А ты и вправду запинашь, с тебя чё взять.

– О-о. Ты меня не жди, сподобляйся. Я покамест побегаю, и ты ко мне не присуседивайся. Чем с тобой лежать, я лучше какого-нибудь старичка к себе возьму.

– Не присбиривай. Ты мне уж надоела со своими выдумками.

– Это ты мне надоела. Хуже горькой редьки. Скорей бы уж ты померла, чё ли. Ослобонилась бы я от тебя.

– Ишо плакать, девка, будешь, как помру.

– Если плакать буду, дак, думаешь, жалеть буду?

– И то правда, – согласилась старуха, останавливая Мирониху, чтобы – чего доброго! – не договориться до богохульства. С Миронихой недолго и в грех попасть, она и сама не помнит, что говорит. В молодости с ней лучше было не связываться, переспорит кого хочешь, да и сейчас еще язык не сточился совсем, того и жди – выкатит слово не для ушей и не поперхнется.

Мирониха только в последние годы стала посмирней, сядет и прижмется, а то чересчур жила бойкой, сорок дырок на одном месте просверлит и не заметит. Хоть она и жалуется на ноги, а сама и теперь может припустить так, что молодому надо гнаться, и неизвестно еще, догонит или нет. На работу она всю жизнь была жадной и все-таки сбереглась, не дала работе изъездить себя; со старухой ее не сравнить: Мирониха круглей, живей, а главное – на своих ногах, куда захотела, туда и побежала. Короткие черные руки она держит перед собой ухватом, готовая в любую минуту пустить их в дело; лицо тоже черное, широкое; голос хриплый, но любой другой, поговорив с ее, давно бы уж совсем без голоса остался, а она его только вот так подпалила. Она моложе старухи всего на четыре года, но по виду ее хватит еще не на четыре – больше.

С приходом Миронихи старуха повеселела: посветлели глаза, в которых обозначились блекло-карие кружочки, в лице появился интерес – что-то принесла Мирониха, что-то она расскажет? Столько не видались, а жизнь без остановок шла вперед, жизнь вон какая широкая, на все города и деревни, на всех людей ее достает, и все сходится ровно-ровно, без остатка. До прошлого года у старухи на тумбочке стояло радио, и она сама крутила на нем черное, как пуговка, колесико: в одном месте поют, в другом плачут, в третьем горгочут не по-нашему, в четвертом не по-ихнему и не по-нашему – язык сломать можно, а они все горгочут и горгочут. Старуха любила слушать старинные песни и посылала Нинку за Миронихой, чтобы слушать вместе, но их пели редко, все больше чем-то бренчали. От ранешних протяжных песен она будто взлетала на крыльях над землей и, не улетая, делала большие плавные круги, тревожась и втихомолку плача о себе и о всех людях, которые еще не нашли успокоения. И тогда ей не жалко было умереть, ей чудилось, что эти песни поют у кого-то на поминках, после того как снесли в землю гроб, и она про себя подтягивала им, провожая незнакомую освободившуюся душу, которую не иначе как и встречать на том свете будут таким же старинным пением.

В прошлом году радио сломалось, и у старухи осталась одна радость – поговорить с Миронихой.

– Ты пошто к мине долго не шла-то? – упрекнула ее старуха. – Я уж и Варвару утресь снарядила, чтоб она поглядела, где ты. А тебя, ветродуиху, все где-то носит. Ты когда дома-то живешь? Скорей бы ты обезножела.

– Я уж и так, старуня, обезножела, – качая кровать, наклонилась к самому старухиному лицу Мирониха. – Сичас вот сижу коло тебя, а ноги у меня гудьми гудят. Я ить их надсадила – какой день бегаю, корову свою ищу. У меня корова потерялась, домой не идет.

– Ой-ни-и! То-то я утресь слушаю, слушаю, а ее все не слыхать. Дак она у тебя где?

– Когда бы я сама знала – где, я бы тебе, старуня, сказала, а то я сама не знаю. Все елани в перекрест взяла. Оно так-то пропади она пропадом, бегать сломя голову за ей, первый раз она, чё ли, блудит, а тут сердце не на месте. Слыхала, поди-ка, что медведь у Голубева телку задрал?

– Ничё не слыхала, – опешила старуха и завозилась, подняла упавший голос. – Чё ты меня спрашиваешь, слыхала, не слыхала, откуль я услышу, кто мне чё скажет? Медведь, говоришь, у Голубева телку задрал?

Вот что значит Мирониха: кто, кроме нее, мог принести новость, от которой бы так захолонуло сердце? Не зря старуха ждала ее – как знала, что Мирониха не будет пустая. Старуха смотрела на Мирониху с таким вниманием, будто та сама науськала медведя на голубевскую телку и сейчас начнет рассказывать, как она это проделала.

– Задрал, задрал, – подтвердила Мирониха. – А Голубев раскидывал телку на тот год себе оставить, у его корова уж старая, без молока. Вот те и оставил. Позавчерась Генка-десятник идет из лесу, глядит, чё тако: трава красная и примята вроде неладно. Он пообглянулся, а телка вон она, рядышком с Генкой в кустах лежит, хламьем только сверху привалена. Он, медведь-то, кровушку из ее выпил и оставил тухнуть, он с душком любит. Генка как увидал да как стреканет, был и нету. Прямо по воздуху домой прилетел. – Мирониха опять качнулась к старухе и переменила голос. – Сказывают, Генкина баба штаны, в каких он в лесу был, вчерась весь день в реке полоскала и сёдни полощет, а низовски бабы по воду теперича под наш берег ходют.

– А ты не подсмеивайся, – осудила ее старуха. – Когда сама только сичас не придумала, то и не подсмеивайся. Тебе бы так.

– Мне бы так, я бы никуды с места не стронулась. Сяла бы и сидела, покамест он обратно не пришел. Он к телке, а я на его, да как затопочу: ты пошто, мать тебя перемать, Голубева зоришь? Он бы на меня не подумал, он бы подумал, это смерть за им явилась. Я бы его так напужала, никака медведиха не ототрет.

– У меня твои байки слушать терпения давно-о уж не стало. Ты пошто путем-то, как люди делают, не расскажешь? Он где задрал, в каком месте, телку-то?

– Ты, старуня, сама мне слова не даешь выговорить. Я бы уж на десять рядов все пересказала. От Нижней речки отворот в гору помнишь?

– Дак я его пошто не помню? Ну. Я, по-димте, ума ишо не решилась.

– Тамака он ее и встренул, под самой под деревней. Они того и гляди в деревню пойдут. Ноне тайга без корма осталась, его в берлогу нипочем не загонишь. От и будет округ деревни шастать.

– Будет, будет, – закивала старуха. – Нечего и говореть – будет.

– Я свою страмину не знаю, где искать. Она чё думает, я за ей месяц бегать подрядилась? И так уж сколева перемерила. Живая она, не живая… Мужики говорят, за хребтом чьи-то две коровы ходют, дак у меня ног нету за хребет бежать. Под мое тулово когда молодые бы ноги, дак я бы ишо сбегала, поглядела. А так я на своих палках до горы достану и меня уж к земле тянет.

– Ты за хребет, девка, не бегай. Ты там останешься, я чё без тебя делать буду?

– У меня только об тебе и разговор, – не поддалась Мирониха. – Я ей про корову толкую, а она все никак с себя не слезет.

– Твоя корова и так и эдак тепери молоко потеряла.

– Да уж не про молоко, старуня, печаль. Мне бы хошь саму корову-то на глаза увидать, я бы знала, что ее медведь не съел. А так броди она, сколева ей надо.

– Ох, девка ты девка. Далась тебе эта корова. Ну. Я бы пошто ее держать стала, мучиться, последние силенки на ее изводить. Каку-таку пользу, окромя хлопот, ты от ее видишь? Накосить – нанять надо, привезти – нанять надо, сена зимой не хватит – купить надо. А так рази маленько с ей беготни? От и носишься, от и носишься с темна до темна. У тебя чё – семеро по лавкам сидят, исть-пить просют? Господи, да захотела ты этого молока, приди ты к нашей Наде, она тебе кажин день банку нальет, а боле ты и не выпьешь. А охламину эту свою продала и полеживай, как барыня, тебе же ишо и деньги за ее дадут. Доведись до меня, я бы дак даром ее он-дала, только бы не мучиться с ей.

– О-о-о, – с издевкой пропела Мирониха. – Поглядите вы на ее. Корову бы она продала и деньги бы она не взяла. Забавная ты все ж таки, старуня. Как я своей коровой попущусь, когда я ее всю жисть держала? Для меня это живая смерть. Мне от ее и молока не надо, только бы корова в стайке мычала. Кака-така нехоть на меня навалилась, что я себе корову не продержу?

– Да пропади ты с ей вместе, мне не жалко. Разговор об этом у них заходит не в первый раз, и старуха про себя согласна с Миронихой: кто привык с коровой мучиться, тот уж без такого мученья не может. Да и что это за баба без коровы? Старуха и сама до последнего возилась со скотом, уж и двигаться как следует не могла, а все хваталась за подойник, пока ей не запретили, и спорит она с Миронихой больше от обиды, почти ревности: вот Мирониха в состоянии ходить за коровой, а она нет. Избавься Мирониха от своей скотины, и тогда они волей-неволей попадали в равное положение, и старухе было бы легче. Она смирилась со своим бессильем, но и в нем ей нужна подруга, да не какая-нибудь, а именно Мирониха, с которой она дружила всю жизнь.

Не сказавшись Миронихе, старуха потянулась, чтобы сесть, и села легче, чем утром, на этот раз она была уверена в себе. Мирониха не двинулась, даже пальцем не пошевелила, чтобы помочь ей, знала, что старуха может ее за это пугнуть. Теперь они сидели рядом, и старуха стала еще немощней, чем была: крыльцы у ней торчали так, что казалось, вот-вот она взмахнет ими и полетит. Мирониха покосилась на нее сбоку и не утерпела:

– Изговелась ты у меня, старуня.

– Изговелась, – кивнула старуха, не глядя на себя и без того зная, что так оно и есть.

– Ребята-то твои приехали, чё говорят?

– Дак чё говорят… Поглядеть на меня приехали.

– Они тебя, старуня, поди-ка хоронить приехали.

– Ну и похоронют – как им мать не похоронить, – спокойно согласилась старуха, не отводя глаз от окна, будто разговаривала с кем-то оттуда.

– Не забаивайся. Они тебя ждать, чё ли, будут, когда тебя бог приберет?

– А им меня ждать и не надо, – по-особому, со смиренной решимостью сказала старуха и повернулась к Миронихе. Руками она держалась за край кровати, все еще боясь, что может упасть. – Я их задерживать не буду. Им тоже домой охота, я у их не одна. Я рази не понимаю? А я на Таньчору погляжу, как приедет Таньчора, и начну сподобляться. У меня смерть легкая будет, я чую. Попрощаюсь с ними, глаза сама закрою и помру. Подойдет к мине Варвара поглядеть, а из меня уж последний дух вылетел, я уж легкая. Она им скажет. Мне бы только Таньчору увидать. Где-то долго ее нету, не доспелось ли с ей чё. Говорели, вчерась – приедет, – нету. Вчерась говорели сёдни будет, – и тоже нету. Я себе на своей кровати места не нахожу, не знаю, чё и думать.

– Ты, старуня, зря не убивайся. Покамест время терпит, приедет твоя Таньчора. А чё зря убиваться. Тамака у ей, может, самолеты не летают. Теперича все на самолетах. У нас-то летают, я слышу, а у ей, где она живет, может, небо плохое, а то самолетов на ее не хватило. Это нам с тобой друг к дружке через дорогу перебежать, никого ждать не надо, а оттель, сама знаешь, дорога не ближняя.

– Им меня ждать не придется, – повторила старуха, качая головой. – Нет, нет, не придется. Мне боле уж нельзя задерживаться. Нехорошо. Я и так вдругорядь живу. Ребяты приехали, бог узнал и от чьей-то доли мне ишо маненько дал, чтоб я на их поглядела да от с тобой напоследок поговорела. Тепери назадь надо. Ишо как-нить день перемогу, и все, и надо снаряжаться. Пора. Пускай ребяты меня проводят, поплачут по матери, чтоб уж им не попусту приезжать. Какая-никакая, а мать – жалко. Я свою мамку, помню, хоронила, дак изревелась вся, а тоже уж не молоденькая была, в годах. А как иначе? Никто из нас не вековечный, все изживаются. А ты, Мирониха, уж так и быть, помоги им сподобить меня, помоги. Хошь ты и говоришь, что я вредительша, а какая я вредительша? Сроду ей не была.

– Тебе уж и сказать нельзя.

– Да говори, – потеплела старуха. – Мне не жалко. Ты думаешь, я осердилась, ли чё ли, на тебя? Мы с тобой не такое друг дружке говорели за свою жисть, и то ничё. Ишо не хватало, чтоб я на тебя, девка, сердилась. Чё бы я без тебя делала? Я ить тебя со вчерашнего дня жду. Ты завтра-то тоже приди к мине, посидим ишо. Кажись, и жили долго, а и то не все друг дружке сказали, не наговорелись. Мне и там без тебя будет тоскливо.

– Дак я, старуня, может, раньше твоего помру.

– Ишо не лучше! Ране она моего помрет. Ты бы хошь говорела да не заговаривалась. Ты рази не слыхала, чё я тебе только сичас обсказывала? Я ить не приставлялась, я тебе правду сказала. И ты меня не путай.

– Я тебя не путаю.

– Ну и сиди, не спорь со мной.

– Я, однако, вот чё, – Мирониха привстала и через старуху потянулась к окну. – Я, однако, сбегаю, досмотрю: может, она, страмина, пришла. Досмотрю и назадь прибегу, посидю ишо с тобой. А ты покамест одна побудь.

– Ну дак беги, когда надо, я тебя не держу. – Ты не думай, я быстро провернусь.

– Беги, девка, не оговаривайся.

Старуха опять осталась одна, и исподволь, из ничего на нее нашла неслышная и легкая печаль, от которой она всплакнула и сразу же, не теряя слез, утишилась, будто сотворила короткую очищающую молитву. На полу рядом со старухой играло солнце, она сдвинула на него свои ноги, и когда солнце, не боясь худобы, принялось гладить и пригревать косточки, ей стало совсем хорошо и снова захотелось заплакать, будто она начала с ног подтаивать и оседать. Она осмелилась и отцепила от кровати руки, сняв с них тяжесть и размышляя, что если она упадет, то упадет на солнце и пристанет к нему, а потом Мирониха придет и подберет ее. Но она не упала и сразу же забыла, что могла упасть, она смотрела через окно на улицу, где день, переламываясь, подступал к обеду и гнулось высокое отцветающее небо. Ее завораживало солнце, но не тот огненный шар, который сиял в небе, а то, что попадало от него на землю и согревало ее; вот уже второй день старуха, напрягаясь, искала в нем что-то, помимо тепла и света, и не могла ни вспомнить, ни найти. Она не тревожилась: то, что должно ей открыться, все равно откроется, а пока, наверное, еще нельзя, не время. Старуха верила, что, умирая, она узнает не только это, но и много других секретов, которые не дано знать при жизни и которые в конце концов скажут ей вековечную тайну – что с ней было и что будет. Она боялась гадать об этом и все-таки в последние годы все чаще и чаще думала о солнце, земле, траве, о птичках, деревьях, дожде и снеге – обо всем, что живет рядом с человеком, давая ему от себя жизнь, и готовит его к концу, обещая свою помощь и утешение.

И то, что все это останется после нее, успокаивало старуху: не обязательно быть здесь, чтобы услышать их повторяющийся, зовущий голос, – повторяющийся для того, чтобы не потерять красоту и веру, и зовущий одинаково к жизни и смерти.

Прибежала Мирониха, с маху шлепнулась на кровать рядом со старухой, и потревоженная старуха, оторвавшись от окна, нашла себя и узнала Мирониху. Мирониха махнула рукой, и старуха вспомнила, что это она про корову, про то, что коровы как не было, так и нет. Где же у Миронихи корова, куда она запропастилась? Старуха стала думать об этом, чтобы подготовить и вернуть себя к разговору, который она потеряла и который Мирониха сейчас продолжит, – ведь надо же будет что-то отвечать ей, а не сидеть истуканом.

Мирониха сказала:

– У вас, старуня, чё-то баня ходуном ходит.

– Баня? – старуха поставила баню на место, где ей полагается стоять, но сразу не поняла, почему она должна ходить ходуном.

– Я бегу, а она то так, то эдак повернется, то одним боком, то другим, – хитрила Мирониха. – В ей у вас кто живет, чё ли, кака испидиция?

– Какая, девка, испидиция, чё ты присбирываешь? Туды, подимте, мои ребяты забрались.

– Все, чё ли?

– Да пошто все-то? Люся ишо утресь на гору ушла, а Варвара куды-то в деревню ухлестала. Мужики там, Илья да Михаил.

– Дак у них кака нужда днем-то мыться? – затягивала на бане петлю Мирониха.

– Мыться?! Ты, девка, как маленькая, ей-богу! – сердилась старуха. – Куды ишо мыться – вторые дни сёдни пошли. Ну. Мыться не мылись, а уж угостились. Горло оне там моют, а то оно, горло-то, заросло, хлебушко уж не лезет.

– Вино, чё ли, пьют?

– Нет, им Надя в тазу воды нагрела, оне ее стаканьями поддеют, стукаются и пьют за милу душу. Уж так сладко – не нарадуются. Ты рази не знаешь: дал бог денежку, а черт дырочку, от и катится божья денежка в чертову дырочку.

Выспросив все, что могла знать старуха, Мирониха добавила:

– Дак оне тамака твои-то, старуня, однако, не одне. Я будто голос Степки Харчевникова оттель слыхала.

– Степки Харчевникова?

– Будто его голос был.

– А какая тут, девка, дивля?! Степка где же обробеет! Он, однако, сухой тоже не живет?

– Однако что, старуня, так.

– Оне пошто так пьют-то? Какая им доспела нужда? Оне ить себя только гробят, боле ничё. В ранешнее время рази так было?

– Не забаивайся. Чё нам говореть про ранешнее время!

– Помнишь, Данила-мельник пил, дак его за человека не считали. Ну, пьянчужка и все. Так и звали: Данила-пьянчужка. Он ить один так пил, боле никто. А тепери Голубев не пьет, дак тепери его за человека не считают, что он не пьет, смешки над им строют.

– Так, старуня, так. Понужнули бы их раз, другой, глядишь, быстренько отпала бы охота в ем купаться. А то ить никакого с их спросу, никакой им кары. Чё хочут, то и делают. У другого собаку выманить нечем, а он пьет-гуляет, как купец какой. Вот и ходют по деревне, вот и ходют, собирают, покамест не насобираются. Он уж стоймя не стоит, а все ему подноси, все мало.

– Дак нет, девка, я когда радиу-то эту слушала, – показала старуха на тумбочку, где стояло радио, – дак там про пьянку эту тоже говорят, что она пьянка, боле ничё. Там ее тоже не хвалят.

– Ну и чё что не хвалят. Много оне слушают? Им не говорить надо, с их спрашивать надо, тогда, может, будет толк. Со своих и с чужих, жалко, не жалко – со всех надо стребовать, чтоб не изголялись над народом.

– Правда, девка, правда. А то делать как-нить, дак никак и будет.

– Я тебе об чем и толкую.

– В ранешное время хошь грех знали. Тепери и грех забыли.

– И грех, старуня, забыли, и стыд забыли.

– И стыд забыли, правда что. – Старуха осуждающе вздохнула, чуть помолчала. – От он наш: ухайдакается до того, глаза бы мои на его не глядели. Наутро подымется, тырк-пырк, соберет своих пьянчужек и опеть за ту же работу. И как ни в чем не бывало посмеиваются, рассказывают друг дружке, кто вчерась чё понатворил. Смех им. Доведись до меня, я бы со стыда сгорела.

– Оне лучше с вина, старуня, сгорят, чем со стыда.

– Ну. Я тебе, девка, чё хочу рассказать. Напомнила ты мне про стыд. – Старуха подождала, пока наберутся воспоминания и вернут ее в то неблизкое время, откуда донесся знакомый глухой отзвук случившейся жизни. – Это ишо в ту голодовку было, – пояснила она. – Варвара у меня тогда уж в девках ходила, помогала, и Илька тоже большенький вырос: там схватит да здесь урвет, и ничё, живой. От Люся, та не дай бог болезная росла: ручки-ножки тоненькие, как прутики, личико бледное, на ее и так-то жалко было глядеть, а тут и вовсе будто свечка тает. Ее поддержать бы, подкормить, да чем? Минька в ту пору на своих ногах бегал, а Таньчора, однако, ишо ползала. Или пошла ли – тепери и не скажу уж. Все оне исть просют, плачут, а их накормить рази маленько надо было? У меня сердце на части разрывалось. Чё тебе говореть, ты, подимте, без меня знаешь, сама двоих подымала. – Старуха остановила себя и, отступая от своего рассказа, спросила, чтобы не забыть потом: – Твои-то не сулятся ноне приехать?

– Ничё не пишут.

– Моить, без письма приедут?

– Не знаю, старуня. Помру – приедут.

– Дак от. Я тебе и говорю: намучилась я с имя – о-ё-ёй! Сам тогда от колхоза какие-то груза на базу возил, дома редко бывал. А Витя, которого на войне убили, на курсах в районе учился, от его тоже никакой подмоги. Николай с отцом ездил. Я одна с имя. Одного отпустишь, другой ревет. И корова, как на вред, у нас в тот год не огулялась, молока и того нету, а забивать корову жалко, как потом жить? Думаю, как-нить перебьемся, зато на другой раз с молоком будем. А Зорька наша уж в колхозе жила, помнишь, подимте, нашу Зорьку-такая хорошая была корова, комолая, по сю пору ее жалко. В колхоз как собирали, сам-то и ондал ее в колхоз, на обчий двор. От уж я поревела! Ну. А Зорька так и эдак наш двор помнит, все к нам лезла, я до этой до голодовки-то помои ей когда вынесу, а то ломоть хлеба солью посыплю. Там рази такой уход – чё тут говореть. Столько скота. От она и в голодовку все к нам, все к нам. Их там вечером подоят и сразу выгонят, а ишо мошка несусветная, скот бьется, ревет, носится. Зорька подойдет к нашему двору и мычит, мычит. Мне жалко ее станет, я загородку открою да впущу Зорьку. Курево ей от мошки разведу, вымя подмою, она не любила, когда грязное вымя. И от как-то раз я ей вымя теплой водой помыла и думаю, дай-ка я посмотрю, есть-нет в ем молоко. Чиркнула – есть. И стала я, девка, Зорьку подаивать. Их там не выдаивали до конца. Баночку она мне после вечерешнего удоя ишо спустит, я и баночке радая, разолью ее ребятишкам по капельке, и то слава богу. Лучше слава богу, чем дай бог.

И от, девка, сижу я один раз так же под нашей Зорькой, уж и не под нашей, под колхозной, сижу я под Зорькой и слышу: вроде дверка стукнула. А я в стайке ее додаивала и дверку за собой закрывала. Голову поворачиваю – Люся. Стоит и во все глаза на меня смотрит. До самой души те глаза мне достали. Она ить уж большенькая была, знала, что Зорька не наша корова. Я сижу и боюсь подняться – как окаменела. Думаю, господи, ты-то куды смотрел, пошто ты-то не разразил меня на месте ишо в первый раз? И такой стыд меня взял, такой стыд взял – руки опускаются. Я ить, девка, после того, извиноватила себя, я в глаза-то Люсе до-о-олго не могла глядеть. Ишо и сичас думаю: помнит она или не помнит? Все мне кажется, что помнит и осуждает меня. Моить, оттого и не стала со мной жить, что мать такая.

– Не забаивайся, старуня. Откель она будет помнить? Она у тебя совсем ребенок была.

Ребенок была, а память-то, подимте, одна.

Запало и все.

– А хошь и помнит – чё с того? Лучше было бы, когда бы она с голоду померла, а ты своей Зорьке только и знала, что вымя мыть? Мало их, чё ли, в тот раз померло? А ты своих выходила.

– Оно и не лучше было бы, а и так тоже нехорошо. Стыд, его не отмоешь. Я отродясь не воровала, а тут хуже воровства вышло.

– Без стыда, старуня, рожу не износишь. Хватит тебе об этом трантить – нашла об чем говореть.

Старуха послушно умолкла, остужая в себе волнение, и устало повалилась на кровать, головой на подушку, уже лежа подобрала ноги. Мирониха придвинулась к ней ближе и опять заглянула в окно.

– Не видать? – спросила старуха.

– Не видать. Вот приди она, страмина, я ей все кости пообломаю. Она чё думает, у меня терпение каменное, чё ли?

– Ты уж, девка, не пужай ее, покуль она не пришла. Она, моить, оттого и не идет, что тебя боится.

– Я ей, страмине, побоюсь. Медведя в лесу она не боится, а меня испужалась. Пускай бы он ишо и в этот раз ее не съел, я бы на ей отыгралась. Она ить мне все нервы пережгла, я из-за ее не человек.

Старуха подобрала последнее Миронихино слово:

– Ты-то пошто не человек? Это от меня уж, однако, лежалым пахнет.

– Не забаивайся, старуня.

– Ты от подсела, дак видно, что тебя с улицы сюды занесло. А я уж на улицу сколь не выходю. Все тут, все тут, на одном месте. – Не гля дя на Мирониху, она сказала о ней и о себе: – Зажились мы с тобой, девка.

– Пошто зажились?

– А куды нам было столь жить? Пускай бы давно померли, как бы хорошо было. Ты бы си-час не искала свою корову, я бы не лежала тут, не думала, что хошь бы Мирониха не убежала, посидела ишо, а то мне одной опеть будет тоскливо. Это мне сам бог дал тебя, Мирониха. Он, он. Как бы я без тебя жила?

Старуха закрыла глаза и, соглашаясь, кивнула своим словам, себе и Миронихе. Глаза у нее не открывались, она осталась одна, забыв обо всем на свете и потерявшись не то во сне, не то в дремотном облегчающем покое. Карауля ее, Мирониха сидела рядом и думала о том, что хорошо бы им со старухой умереть в один час, чтобы никому не оставаться на потом. Она еще долго сидела возле старухи – пока не пришла Варвара.

8

– Ты расскажи, расскажи, Степан, как ты тещу обхитрил, – уговаривал Михаил длинного рыжего мужика Степана Харчевникова, который ему и Илье составил в бане компанию все за тем же горько-сладким занятием. – Расскажи Илье, а то он не слыхал. – Михаил ронял голову и морщил лицо в смехе. – Давай, Степан, начинай.

В бане после Нинки снова завелись пустые бутылки. С закуской теперь стало легче, Михаилу больше не страшны были ни сатана и ни жена, он сделал два захода в избу и запасся даже супом, который без ложек приходилось прихлебывать из кастрюли через край. Вынес он и припрятанные Нинкой в муке бутылки и все их, как дрова, сложил в печку, куда никому не пойдет в голову заглядывать, а ящик приспособил себе под сиденье.

Он был все так же босиком, забыв за более» важными делами обуться, и подсовывал ноги под постель, на которой ночью спал Илья. Сейчас Илья нес дежурство за курятником, командовал парадом.

– Давай, Степан, рассказывай, – пристал Михаил.

– А я слышу, говорят, Илья приехал, – объяснял Степан свое появление, хотя уже не один раз успел с ними выпить. – Думаю, во всяком разе надо Илью повидать. Одногодки же, вместе по деревне бегали, хулиганство творили. – Степан раскинул на всю баню руки, показывая, что не повидать Илью ему никак было нельзя. Голос у него жесткий и малоподвижный, оттого он и помогает ему руками. – Ну и пошел. Да чуть было не промахнулся. Я-то прямым ходом в избу двигаю, на баню не гляжу. Некультурный человек. Уж в последний момент смекнул: ну-ка, что там за собрание?

– И правильно сделал, что пришел, – одобрительно сказал Илья. – А у нас, сам знаешь, мать лежит, от нее никуда не уйдешь. Ну, мы тут и устроились, чтобы, значит, в случае чего рядом с матерью находиться.

– Это ты, Степан, очень даже правильно сделал, – подтвердил Михаил. – Выпили и еще выпьем. Ты не думай, у нас есть что выпить – вон, полная печка. И все такая же, белая, крепкая.

– Тебе, однако, уж очень даже хватит, – поддел его Степан. – Как бы ты очень даже пьяным не сделался.

– Нет, Степан, ты почему так говоришь? Ты пришел, я тебя встретил как гостя. Ты вот брата моего Ильи товарищ, мне тоже вроде как товарищ, в одной деревне живем. Мы с тобой никогда не ругались, ничего такого, наоборот, даже выпивали вместе. И ты мне такую непотребность говоришь. Вроде я совсем пьяный. Нет, Степан, я еще выпью, я свою норму знаю. А если что, я и сверх нормы могу – почему нет? Вы вот встретились, а мне тоже интересно с вами посидеть, поговорить. А ты вроде как спать меня укладываешь. Я вроде и посидеть не могу.

– Да сиди, сиди. Ты здесь хозяин – как я могу над тобой распоряжаться?

– Ты, Степан, лучше бы рассказал, как с тещей-то дело обстояло, – вспомнил опять Михаил. – Как ты, значит, тещу свою, тетку Лизавету, перехитрил.

– Да что рассказывать! Уж вся деревня, почитай, знает.

– Деревня пускай знает, а брат мой Илья не знает. Он из города, ты ему расскажи.

– Рассказать можно, язык не отвалится, – как бы нехотя, больше напуская на себя эту нехоть, согласился Степан и неожиданно весело подмигнул в сторону бутылки. – Только сначала надо, однако, горло промочить, чтоб надежней было.

Промочили, и Степан сам, без напоминания, сказал:

– Слушай, Илья, раз так.

– Слушаю, слушаю – ага.

– Оно и рассказывать особенно нечего. Я не знаю, что они тут нашли. История как история, мало ли у нас их тут по домашности происходит. Это вот летом было. Выпили мы так же с Генкой Сусловым, только не в бане, нет, а у него в огороде, его баба отправила туда картошку окучивать. Ну, мы, значит, в борозде пристроились и давай окучивать. А бутылки-то я принес, я ему еще с зимы за сено был должен. Думаю, что это я рубли понесу, еще не возьмет, прихвачу-ка я лучше две пол-литры. Взял, прихожу, а мне говорят, Генка в огороде. В огороде, так в огороде, мне безразлично. Я туда. Генка на мои пол-литры посмотрел и сразу тяпку черенком в землю. Понял, значит, для какой цели я их приволок. Конечно, картошку окучивать или выпивать? – Степан развел руки и брезгливо встряхнул их, показывая, что такого вопроса для них не существовало. Он быстро увлекся и рассказывал с явным удовольствием. – Ну, сидим мы. За стаканом нам соседский мальчишка сбегал, Генка с гряды огуречных зародышков в карман нарвал, потом еще раз ходил – все есть. Сидим, стакан от одного к другому, как мячик, гоняем. Некультурные люди. Некультурные люди, а хорошо. Я к этому делу с полным моим интересом, я и шел выпивать, а Генка, правда, из дому снарядился картошку окучивать, у него другая была цель. Ладно, картошка стоит. Додавили мы бутылки, Генка говорит: «Я сейчас маленько еще потяпаю, чтоб баба завтра не сомневалась, а потом мы с тобой в деревню пойдем». Ладно, думаю, тяпай, я погляжу. Он мне опять говорит: «Ты, чем сидеть, лучше колючу в борозду стаскивай, быстрей будет». Я поднялся, глядь, а он уж колючу от картошки не видит, все под одну гребенку, под корень. Я ему толкую: «Тебе, однако, за такую работу баба волосы завтра на голове будет тяпать». Он послушался меня. «Пойдем, – говорит, – в деревню. Вечером, как жара стихнет, дотяпаю». Мы и пошли, у меня еще деньги в кармане были. – Словно запнувшись, Степан чуть помедлил и бережно, с любовью произнес: «Во всяком разе, я не помню, что там у нас дальше происходило».

– Это бывает, – с радостным смешком подтвердил Михаил, вскидывая голову. – Это такое дело. Ты дальше, дальше рассказывай. Ты, Илья, дальше слушай.

– А что дальше! Дальше известно, что. Очухался, как после атомной бомбежки, а сам еще глаза не открываю, прикидываю про себя: какой это день – тот, в который мы с Генкой картошку тяпали, или уж другой, и где я – дома, не дома? Ладно. Глаза потихоньку раскрыл – баба моя рядом лежит. Я ее сразу узнал. На другой кровати ребятишки – тоже мои. А там и теща со своего угла глаз на меня целит. Пообсмотрелся я и думаю: надо, однако, на ноги подняться. Только пошевелился, а теща, как кошка, прыг со своей лежанки. Я никакого значения ей не даю, подымаюсь, я только потом и сообразил, с какой целью она планировала меня опередить. Она, язва, и шагу, чтоб не во вред мне, не сделает, у нас с ней с первого дня партизанская война идет. Ей волю дай, она бы уж давно с самой низкой целью голову мне топором отрубила и даже не перекрестилась. Некультурный человек.

Поднялся я и пошел к Генке, чтобы, значит, узнать, как он со вчерашнего дня живет. А Генкина баба меня в воротах встретила и говорит: нету Генки. Я знаю, что дома, а она врет, что не ту. и ждет, значит, когда я обратно поверну. Да подавись ты своим Генкой, мне-то что! Ему же хуже. Он тобой не опохмелится – понимать должна»

Это ты очень даже правильно ей сказал, Степан, – удивился Михаил. – Очень даже правильно. Молодец.

– Зашел я еще к Петьке Сорокину, а тот сделал вид, что не пьет и не пил никогда. «Нету, – говорит, – и денег нету». Как будто бы я не отдал ему. Во всяком разе, пришлось мне править домой. А сам знаю, что где-то в подполье у нас самогонка имеет полное право находиться. Баба уже на работе, осталась одна теща. Прихожу – так и есть: она на западню поставила табуретку, на табуретку прялку, придавила ее своей квашней и сидит, нитку тянет. Она уж раньше меня сообразила, куда я полезу. Для того ведь только и живет, чтоб мне вредительство творить, другого дела у нее тут нету. Ладно, думаю, переждем, должна же ты с места сдвинуться. Мне бы только успеть в подполье запрыгнуть, меня потом оттуда подъемным краном не вытащишь. А сам виду не подаю, что я заинтересован, хитрость на хитрость у нас пошла. Выхожу на улицу, жду. А сколько можно ждать? Голова вот-вот пополам расколется. Думаю, долго ты меня будешь мурыжить? Иду на разведку – сидит как прикованная. Я ей вежливо так предлагаю: «Ты что это, теща, прядешь да прядешь, уж устала, поди, отдохни, прогуляйся куда-нибудь». Она мне по старинке некультурной грубостью: «Мне и здесь хорошо». Думаю, как бы сейчас тебя шмякнул, чтоб тебе еще лучше стало. Ну что ты с ней будешь делать? Ясно, что умрет тут, а не уйдет. А возьми я ее да перенеси вместе с прялкой в другое место, крик такой подымет, будто я ее резать хотел. Еще не вытерпишь, да и где-нибудь не так нажмешь, потом отвечать надо. Ладно, думаю, сиди. Сиди и не шевелись, падла ты такая. – Степан зло погрозил в пол рябым пальцем. – И вот когда у меня обнаружилось безвыходное мое положение, тут-то я и вспомнил, что неправда, я так просто не сдамся. Не хватало еще, чтоб она мне свою политику качала. Я взял из сарая лопату и пошел к Ивану. У нас дом барачного типа, сам помнишь, я на одной половине, Иван на второй. И подпольи у нас так же, за моим сразу его, а стеночка меж их совсем пустяшная, я еще в прошлом году две доски спустил, чтоб маленько укрепить ее, а то она уж совсем поползла. Пошел я к Ивану и под тем предлогом, что мне надо с этой стороны поглядеть, залез к нему в подполье. А там что – два раза копнул и готово, лезь. Я и пролез на свою половину – будто тут и был. Пообтряхнулся, пообсмотрелся – вот она, банка с лекарством. И закуска есть. Что мне еще надо? Слышу, теща, сидит, пыхтит. Думаю, сиди, сиди, вот ты мне и пригодилась, никого хоть сюда не пустишь. И не тороплюсь. – Степан весело и ожидающе прищурился. – Так она, теща-то, чуть с ума не сошла, когда я оттуда запел «По долинам и по взгорьям…» Ее будто ветром сдуло. Слышу, только прялка брякнула.

Илья засмеялся, с любопытством вглядываясь в Степана, спросил – не потому, что не поверил сразу, а чтобы доставить удовольствие себе и Степану; продлить в воображении ту прекрасную картину, когда Степан пробрался в подполье:

– Там и выпивал?

– Там, там, – радостно подтвердил за Степана Михаил, счастливый тем, что история понравилась Илье. – Она, значит, наверху караулит, а он снизу, как червяк, из одного подполья в другое. И припал. Это такое дело. Вот за это я Степана очень даже уважаю.

– А песню-то зачем?

– А так. – Плутоватая улыбка на лице Степана стала еще шире. – Для смака. А то она жизнь прожила и не слыхала, как из подполья песни поют. Некультурный человек. Вот что я тебе скажу.

– Ну, даете вы здесь, – с удивлением и завистью покачал головой Илья и опять засмеялся. – Ну, даете.

– Жить-то надо как-то. Вот, значит, и живем. Для разнообразия жизни.

– А потом-то что тебе теща говорит, когда ты из подполья вылез? – допытывался Илья.

– А что мне потом скажешь? Мне потом хоть что говори.

– И жена тоже ничего?

– А я, Илья, к своей жене хладнокровие имею. Я сильно-то ей простору не даю. Она у меня ученая, во сне помнит, что она баба, а я мужик. А мужик он и есть мужик, завсегда его верх обязан быть. – Степан еще не остыл от своего рассказа и, разогнавшись, говорил длинно. – Конечно, я не буду врать, что у ней ко мне возражений совсем не имеется. Имеются, особенно вот, как ты сам имеешь полное право догадаться, по части выпивки. Другой раз утром она мне свои возражения прямо в глаза, а если глаза закрыты, то прямо в уши, да громко так, как «руки вверх!», выложит. Ну, конечно, у меня на этот предмет свои, мужицкие, возражения находятся. Я их ей понятным голосом, чтоб зря дискуссию не разводить, обскажу, и опять все в норме.

– Нет, Степан, – тяжело выговаривая слова, не согласился Михаил. – Баба, она, кроме того, что она баба, она женщина. Ее бить нельзя. Твоя или моя там баба, она, кроме того что она твоя или моя баба, она государственная женщина. Она может в суд подать.

– А я тебе разве говорю про бить? – хмыкнул Степан. – Ты, Михаил, однако, уж не то слышишь. Зачем бить? Бить – это крайняя мера наказания. Как расстрел. Если баба ко мне с пониманием, то и я к ней с пониманием. Во всяком разе я тоже государственный, а не какой-нибудь первобытный человек. Мы вместе с моей бабой в народонаселение нашего государства засчитаны.

– Это ты очень даже правильно говоришь. Когда ты так говоришь, я с тобой очень даже согласный.

– Я, Михаил, понимаю, что наши с тобой бабы в государственном масштабе – это женщины. Что ты мне об этом рассказываешь? Я тоже мало-мальски грамотный человек, газеты выписываю, читаю.

– Я знаю, ты читаешь, Степан, читаешь.

– Я три газеты выписываю, – обращаясь к Илье, сказал Степан. Илья, поскучнев, кивнул. – Одну маленькую, из нашего района, и две больших – из области и центральную газету «Правда». И все их прочитываю. Есть, которые выписывают так, для бумаги, для хозяйственных потребностей, а я пока газету от начала и до конца не прочитаю, у меня ее никто даже тронуть не смеет. Центральную «Правду» без выходных, каждый день печатают, а я все равно читаю, чтобы, значит, быть в курсе международного и внутреннего положения. Где какой переворот из-за власти или забастовка трудящихся – я уж знаю.

– Это ты очень даже правильно говоришь, – из последних сил тянулся за разговором Михаил. – И перевороты бывают, и забастовки. Я тоже знаю. А в нашей стране баба, она, кроме того, что она баба, она все равно женщина. Ее й бабой-то звать почти что нельзя. Для нее это вроде мата, не-уважи-тельно. – Трудные для себя слова Михаил делил на части и, чтобы не сбиться, произносил их с остановкой, только после того, как выяснял, что уже сказано и что осталось сказать. – И ты, Степан, не путай про те страны и про нашу страну. Мы с тобой живем в нашей стране.

– А я думал, не в нашей.

– Нет, нет, Степан, ты не путай.

Степан подмигнул Илье и показал глазами на Михаила: мол, все, готов, бормочет сам не зная что и мешает поговорить нам. Михаил клонился все ниже и ниже, его голова упиралась в колени. Степан не стал отвечать ему – может быть, нужна только минута, чтобы он, не слыша голосов, окончательно утихомирился, тогда его, как мешок, можно будет повалить на постель и спокойно продолжать разговор. Степан пригнулся и остановил взгляд на уровне водки в бутылке, будто хотел удостовериться, не убывает ли она на глазах. Мало ли что – бутылка открыта, всякая тварь может залезть и вылакать, как свою. Его мучила совесть перед раскупоренными и неопорожненными бутылками, для него это было то же самое, что любоваться страданиями недобитого животного; если решил убить, так бей сразу, не тяни. Степан попытался поймать взгляд Ильи, чтобы намекнуть, что хватит им издеваться над бедной бутылкой, но Илья смотрел мимо.

Илья тоже отяжелел от водки и от разговоров, но не в пример Михаилу держался пока твердо. Тот счастливый и краткий момент, когда следовало остановиться с выпивкой, был давно упущен, и жалеть об этом теперь не стоило. Что еще делать? В самом деле, что делать, пусть кто-нибудь научит. Еще до Степана Илья зашел к матери – она дремала и не услышала его или сделала вид, что не слышит, а сама, быть может, исподтишка наблюдала за ним, и он обрадовался, что ему не пришлось с ней разговаривать, потому что не знал, что сказать; он не был пьян настолько, чтобы говорить все подряд. Водка, казалось, не брала его, а только добавляла груз к той тяжести, которая отзовется позже – завтра, послезавтра. Когда появился Степан, Илья повеселел, засуетился, но теперь, после того, как все первое, что говорится при встрече, было спрошено и отвечено, а до воспоминаний дело еще не дошло, он опять обмяк, с трудом заставляя себя следить за тем, что происходит вокруг, будто сидел среди этих людей, в том числе и со Степаном, так давно, что они успели порядком надоесть друг другу. С каким удовольствием он бы сейчас закрыл глаза и уснул, но его насторожил Михаил, ему не хотелось выглядеть при Степане так же, как брат, поэтому он старался держаться.

Солнце после обеда, зайдя сбоку, отыскало маленькое банное окошечко, и баня быстро нагрелась, в ней стало душно. А дверь открывать не хотели, чтобы никто не лез – ни курицы, ни собаки, ни люди. Так что приходилось терпеть. Степан потел, лысина у Ильи тоже покрылась мелкими капельками пота, и только Михаилу было все равно – жара сейчас или клящий мороз.

Степан, вспомнив свой разговор с Михаилом, ворчливо и обиженно сказал:

– Если на то пошло, сильно много в ней женщины стало, от бабы ничего уж не осталось. А с ней не только в кино ходить, с ней жить надо.

Для жизни мне, к примеру, баба больше подходит. Она на любую работу способна, не будет ждать, когда мужик придет со смены и принесет ведро воды. Она все сама может. И терпеливая, по всякому пустяку не будет взбрыкивать. Мало ли что по домашности происходит – почему об этом должна знать вся деревня, а если в городе, то весь город? «Я женщина, я женщина», – передразнил он. Ну, не мужик, все видят, ну и что? На руках тебя за это надо носить, по головке гладить? Ты сначала поимей, за что на руках носят, потом спрашивай. Ты такой же человек, только другого полу, про наши разногласия в человеческом теле блохе и той известно, и нечего на этом предъявлять свои претензии. Конечно, никто не спорит, мы без них не можем, так жизнь построена. А они без нас могут, что ли? Во всяком разе, еще больше не могут, Как ты, Илья, считаешь? Я говорю, они без нас еще больше не могут, такая у них натура. А во-вторых, у мужика, кроме бабы, в нерабочее время также и другие занятия имеются, а у нее, почитай, нету.

– Это точно – ага, – коротко подтвердил Илья. Мысль о том, что женщина больше нуждается в мужике, чем мужик в женщине, пришлась ему по душе и взбодрила его, на лице у Ильи появилось плутовато-хитрое выражение, как после удачной выходки, о которой еще никто не знает.

Степан покосился на бутылку, вольно или невольно показывая, что одним из главных мужских занятий в нерабочее время, о которых он упомянул, он считает выпивку.

– Я в прошлом году летом в город ездил, – продолжал он. – Там насмотрелся на этих женщин. И правда, кругом одни женщины, я уж потом нарочно приглядывался, чтоб хоть одну живую бабу увидать, которая на мясе, а не на пружинках. Если где встретится, так сердце за нее радуется, что сохранилась, а то ведь скоро мы их, как доисторических мамонтов, будем искать. Она идет, так по ней видно, что у ней и мать была, и бабка, видно, что в жизни человек находится, а то ведь эти, женщины-то, особенно которые помоложе, они все как заводные куклы, одна на другую до того похожи, не отличишь, где какая. Их не рожали, на фабрике делали…

– По ГОСТу, – вставил Илья.

– Как ты говоришь?

– Я говорю, по ГОСТу, по государственному стандарту.

– По нему, однако, и есть. Только у одних выточка получше, у других похуже, больше никакой разницы. И ходят красуются: вот я какая, поглядите на меня. Вот у меня какие ножки, эта правая, эта левая, будто у нее у одной ноги, а у всех костыли. Вот у меня какая вертушка – туда-сюда, туда-сюда, ишь, как красиво – будто никто не знает, для чего человеку это приспособление дадено. Ее, вертушку-то, прятать надо, а она рада ее совсем заголить. Вот сколько я на голове волос накопила, вот какие у меня глаза: я вас в упор не вижу, а вы на меня смотрите, любуйтесь. Для нее в том и состоит цель жизни, чтобы, значит, себя показывать, я не знаю, как она там дышит, когда ее никто не видит. А чуть чего: ой, у меня нервы, нервная система. И уж руки у нее нервы, и ноги нервы, и это самое место, откуда ноги растут, – тоже сплошь нервы. Я четыре ночи у свояка ночевал, у него жена тоже, значит, такая же женщина. Чуть он ей не угодил – она в больницу. При мне каждое утро бегала. Я интересуюсь: что болит? «На почве нервной системы». А что конкретно на этой почве болит-то, какое место? «Общая слабость, вам не понять». Где же мне понять… Не слабость у нее там никакая, а слабинка. Делать нечего, вот и уросит, каприз над ним строит. Вот они, женщины. Дело не в том, что женщины или не женщины, а в том, что делать ничего не умеют, к работе не приспособлены. Скоро уж рожать и то разучатся. Я не знаю… – Степан озабоченно покачал головой. – А если война? Что тогда с этих женщин? Слезы лить да помирать? В той войне нам наполовину бабы помогли победить. А теперь уж и баб-то не остается. Скажи, Илья.

– А что тут говорить? Правильно.

– Вот он сказал, – Степан кивнул на склоненного в три погибели Михаила, – что их будто и бабами-то называть нельзя, для них это будто оскорбительно. А почему оскорбительно? Что такого плохого в этом слове? Почему я не оскорбляюсь, когда мне говорят, что я мужик? И даже наоборот, назови меня кто мужчиной, это мне уж нехорошо, обидно, будто я не могу быть мужиком, не соответствую на работе или там по домашности. Мужик я и есть мужик – что мне еще надо? Так и баба. Гляди-ка, обидели ее! Вон ваша мать, тетка Анна, всю жизнь бабой прожила и ни на кого не обижалась. Пускай другие попробуют быть такой бабой, как она. Про нее никто, ни один человек худо не скажет, не имеет права. Язык не повернется. – Степан вдруг cpaзy, как поперхнулся, умолк, его осенило. – Давай, Илья, выпьем за вашу мать, – медленно и с удовольствием, с тем удовольствием, с каким охотники следят за падающей птицей, уже зная, что выстрел был на редкость удачным, и радуясь за себя, сказал Степан. – Давай, Илья. За тетку Анну не грех и выпить.

– Это оч-чень даже правильно, – неожиданно услышали они голос Михаила. Михаил оторвал с колен голову и точным, прицельным взглядом уставился на бутылку, ожидая, когда ее заставят делать то, что ей положено делать. – За мать-то оч-чень даже надо выпить, – подтвердил он. – Наливай, Илья.

– Мы думали, ты спишь, – покосился на него Степан.

– Я, может, и сплю, но за мать я могу и во сне выпить. Вот так, Степан. Мы для того ее и брали, чтоб за мать пить, больше ни за кого. Илья скажет. – Михаил, качнувшись, хрипло рассмеялся. – А сами забыли. Это ты очень правильно, Степан, сделал, что подсказал нам. – Очень даже правильно. А то мы забыли. Забыли, и все дела. Что ты с нас возьмешь? Пьем просто так, вроде нам и выпить не за кого. Оно, конечно, у нас тут промашка вышла. Мы не рассчитывали за нее за живую пить. Это такое дело. Илья скажет.

– Хватит тебе об этом! – оборвал его Илья. Михаил осекся, остановил на Илье нездоровый, прищуренный взгляд и медленно выговорил:

– Ну, если хватит, пускай будет хватит. Не нравится, значит.

– Мать у вас хорошая, – примирительно сказал Степан.

– Не умерла, – уже совсем невесело и непонятно, жалуясь или хвастая, произнес Михаил. – Так и не умерла. Живая. Если мне не верите, идите посмотрите сами. – Он потянулся за стаканом, и Степан, боясь, что он упадет, торопливо подал ему свой, а себе взял с курятника. – За мать до дна! – потребовал Михаил, как всегда, первый выпил и по полу катнул от себя стакан к Илье. Илья подобрал его, и они со Степаном молча чокнулись.

– Ты-то полное право имеешь забыть, маленький был, – обращаясь к Михаилу, сказал потом Степан. Михаил, не слыша, опять оседал, скручивался на своем ящике, и Степан повернулся к Илье. – Помнишь, Илья, как ваша мать вот за него отомстила? Как не помнишь, конечно, помнишь. Денис Агаповский, пусть ему на том свете отрыгнется, прихватил вашего Миньку в колхозном горохе и пустил ему в спину заряд соли. Помнишь, Денис, этот зверюга, тогда горох караулил – герой! Минька ему и попался. Всю спину разъело, смотреть было страшно. Мать ваша просто так это не спустила, тем же макаром запыжила два патрона солью, пошла к Денису и в упор из обоих стволов посолила ему задницу, да так, что он потом до-о-олго ни сидеть, ни лежать не мог, на карачках ползал. Помнишь?

– Помню – ага, – улыбнулся Илья. – Ее еще судить хотели, да как-то замялось потом.

– Я бы им посудил! За Дениса-то! Этого только не хватало.

– Что это вы там бормочете? – услыхал их Михаил и потребовал: – Песню. Давайте песню.

– Живучий же ты, Мишка, – удивленно сказал Степан. – Какую тебе еще песню? Может, ту, где медведи задом, значит, трутся об земную ось или там обо что-то еще. Хорошая песня. Как раз для нас с тобой.

– Нее, – отказался Михаил. – Другую. Русскую народную. – Он приподнял голову и, держа ее на весу, затянул:

– Нам бы подали, да мы бы выпили…

Голова его сорвалась и ткнулась в колени. Рыдая, Михаил закончил:

Нам не стали подавать – мы не стали выпивать.

– Ишь, на что намекает, – ухмыльнулся Степан.

То же самое Михаил пропел еще раз, больше слов он, видно, не знал и, заворочавшись легко и бесшумно, будто кто его снял, повалился с ящика вниз, на постель. Илья со Степаном полюбовались на него. Степан предложил:

– Может, правда споем?

– Давай. Гулять – так с музыкой. – Последняя водка сделала Илью решительней, в его глазах загорелись бесноватые огоньки.

– Только эти, теперешние, которые по радио передают, не будем, – сказал Степан. – Я их не люблю. Они какие-то… Пока поют, забавно, не так забавно, как щекотно, будто с тобой, как с ребенком, кто-то играется. А пропели – помнишь, у ребятишек есть обманка: «А кто слушал, тот дурак». Так и тут. Будто дураком себя выставил, что слушал, больше ничего. Давай уж лучше наши – которые за душу берут, без обмана.

– Может, твою любимую споем?

– Какую мою любимую?

– Ну ту, которую ты теще в подполье пел. Степан засмеялся:

– А что – можно и с нее начать.

Под взмах Степановой руки они дружно, в голос грянули боевую и заслуженную «По долинам и по взгорьям».

9

Кроме матери, никто Татьяну уже не ждал. Приехать так теперь бы приехала, не в Америке живет, а за три дня можно добраться даже из Америки. Придет, наверно, потом письмо, что, мол, так и так, не могла, не было дома или что-нибудь в этом роде. Интересно, что она будет спрашивать о матери, не зная, жива мать, не жива? Так или иначе придется ведь писать и что-то спрашивать, тут не отмолчишься и не отделаешься приветами всем родным и знакомым, не упомянув о матери. Но это уж ее забота, пусть выкручивается, как хочет, раз не нашла нужным приехать. А что там у нее еще может быть? Конечно, никто не знает, судить-рядить трудно. Одно ясно: здесь ее нет, и ни слуху о ней, ни духу.

И только старуха ждала не переставая. Она вздрагивала от любого звука за окном и замирала при каждом шорохе у двери. Она не помнила, чтобы за дочерью это водилось, но ей казалось, что Таньчора, попав в избу, может подкрасться и посмотреть на мать тайком и только после того открыться, поэтому она все время держала дверь на прицеле, чтобы поймать дочь, когда та начнет выглядывать. Глаза у старухи были хорошие, при ее годах грех жаловаться, но и они уставали смотреть в одно место, будто им приходилось держать тяжелую заборку на весу, на себе. Старуха не давала им повады, заставляла смотреть – на что ей теперь их было беречь, для какой нужды? Разглядеть Таньчору их еще хватит, а больше ничего и не надо. И только когда глаза от усталости и боли начинали слезиться, старуха прикрывала их, оставляя узенькую щелочку по очереди то в одном глазу, то в другом, в которую можно было подсматривать, и так давала им отдохнуть.

Чем больше времени проходило в этом тяжелом, пустом ожидании, тем меньше его для ожидания оставалось. Старуха понимала, что Таньчора может приехать только сегодня, что это последний срок, который ей отпущен, а с завтрашним днем ей будет уже не по пути, он пойдет совсем в другую сторону. Что будет завтра, старуха не знала и не старалась узнать: пока оставалась надежда, она надеялась и верила, что Таньчора успеет и не допустит того, чтобы мать на нее под конец не посмотрела. Если не явилась в эту минуту, явится в другую, время пока есть, и нечего зря изводить себя – приедет, никуда не денется.

Уже далеко после обеда был один момент, когда сердце у старухи заколотилось сильнее, и она поняла его так, что оно почуяло Таньчору, которая теперь совсем близко, на подходе. Старуха встрепенулась, как молоденькая, и заторопилась, ей захотелось встретить дочь сидя, чтобы не показаться ей с первого взгляда совершенно немощной, никуда не годной; заторопившись, она упустила как следует караулить себя и чуть не уронилась, только чудо помогло ей удержаться на кровати и не разбиться. Ей некогда было даже обругать себя за неловкость, она еще не осела на месте, а уж скорее повернула голову к двери и приготовилась. И правда, послышались шаги, зашевелилась занавеска – вошла Варвара. Своим взбудораженным, несмирившимся умом старуха подумала, что Варвара пришла известить ее о Таньчоре, но та, как нарочно, чтобы подразнить мать, стала рассказывать, кто что в деревне говорит про ее сон. Что с нее взять, Варвара она и есть Варвара. Старуха, не слушая ее, вся подалась к двери: вот-вот по воздуху донесутся другие шаги и другой голос… вот-вот… Но они задерживались, их не было.

Она сидела так долго, порой теряя себя, забываясь во внимании, и тогда ей казалось, что ее подменил здесь какой-то другой человек, которому все равно, приедет Таньчора или нет, оттого он ничего и не слышит – после этого она заставляла себя слушать еще внимательней. Сновала сюда-обратно Нинка с перепачканными от конфет губами и что-то бормотала, тяжело переступала по избе Варвара, растравляя голосистые половицы, и старуха злилась на них, что они занимают ее слух и мешают ему отыскать среди всего остального то, что он ищет. Потом вернулась с горы Люся и стала спрашивать у матери, не болит ли у нее что, – старуха замотала головой, ей захотелось, чтобы Люся ушла. Люся и в самом деле скоро перешла в другую комнату и прилегла там на Михайлову кровать – видно, с непривычки наломала ноги и решила дать им отдохнуть.

В конце концов старуха почувствовала, что устала и больше не в состоянии сидеть, а от беспрерывного слушания в голове у нее начался гуд. Она припомнила, что и радость и нерадость любят являться нечаянно, как снег на голову, и упрекнула себя за то, что ждала чересчур сильно и сама же мешала Таньчоре. Вот уж правда: скажи дураку богу молиться, он лоб расшибет. Что такого, если Таньчора до того, как показаться на глаза, глянет на нее исподтишка и увидит в лежачем положении? Ее, старухи, от этого не убудет, Зато приедет, и старуха тоже увидит дочь перед собой. Не надо торопить себя, не надо, все равно не соскочишь и не побежишь навстречу, раскинув крылами легкие руки. Что уж тут говорить… Лежала – ну и лежала бы, если ни на что другое больше не способна.

Она послушалась себя и легла. Теперь бы еще ни о чем не думать, остыть от ожидания, как от боли, всем телом обмякнуть и забыться, оберегая себя в покое для скорой радости. Старуха повернулась в кровати удобнее, чтобы нисколько не чувствовать своего веса, и постаралась поддаться тишине – той благодатной тишине, которая неслышно вынет ее, полегчавшую, из кровати и заворожит далеким-далеким журчанием.

Солнце держалось еще на виду, его золотистый свет был неярким и теплым, и старуха пригрелась от него, а пригревшись, потихоньку усмирилась, помня и не помня себя, зная и не зная, что нужно ей на исходе этого спокойно-ясного дня. Уже в который раз сегодня она задремала, и все чутко, осторожно, сейчас особенно хорошо понимая, что она дремлет, и готовая в любую минуту очнуться; ее сердце, укачав тело, продолжало дежурить, и его внимательные толчки не давали старухе забыться глубоко. И оттого, когда перед ней явилась Таньчора, старуха не поверила: память подсказала ей, что ее глаза закрыты и она не может видеть Таньчору взаправду. Но это был и не сон, потому что она не спала по-настоящему, а все время держалась на половине ко сну – нет, это слабое, измученное видение нарисовало перед ней, отходя, напрасное ожидание, от которого освобождалась усталая голова, и старуха осталась спокойной. Здесь же, в своей светлой, как сумерки, дремоте, она заново подумала о Таньчоре и поняла себя – эти ясные, звеняще-приятные мысли рождались сами собой, будто уже готовые шли со стороны, и были ей не в муку, а в утешение. В них она искала все то же – что могло задержать Таньчору? – и нашла. Это было совсем просто. Таньчора, наверное, приехала не одна – со своим мужиком, а его-то и нельзя было брать с собой. Он у нее военный, а бог, однако, не любит военных – вот он увидал их где-нибудь вместе и остановил, не разобрав, что этот военный Таньчорин, не чужой, и что они торопятся к ней, к старухе. Потом-то, наверное, он сам спохватился и отпустил их с места, но задержка произошла, ничего не поделаешь. Таньчора тут не виновата, это все из-за ее мужика. Но теперь-то они уже близко, вот-вот будут здесь.

Ей стало легче, душа ее вздохнула свободней, и старуха, качнувшись, поднялась в своей невеси еще выше, куда трудно достать посторонним звукам.

Она не видала Таньчору давно, а сколько давно, она не знала. Этот отсчет времени она вела не по годам, а по своему материнскому чувству – и три, и пять, и десять лет для нее не имели разницы и значили одно и то же: давно, дольше всех не была дома Таньчора. Уже после нее приезжала Люся, показался после севера Илья, не говоря уж о Варваре, которая бывает каждый месяц, а Таньчоры все не было и не было. Однажды она написала, что ее мужика переводят служить на новое место, ехать туда почти мимо дома и они по пути обязательно заедут. Старуха тогда еще была на ногах и забегала, захлопотала, чтобы как следует принять дочь и не ударить в грязь лицом перед зятем, которого она еще ни разу не видала вживе, перед собой. Дожидаясь их, она каждый день мыла пол, чтобы ее не захватили врасплох, наготовила всякой всячины из еды и даже заставила Надю взять в магазине две бутылки вина, долго прятала их от Михаила у себя под подушкой. Потом все равно их пришлось отдать Михаилу, потому что Таньчора так и не приехала. Ее мужика и правда перебросили, но только не туда, куда собирались попервости, а в этот самый Киев, где они и живут. В другой раз уже из Киева, его хотели перевести куда-то за границу, и Таньчора опять написала, что перед тем ему дадут отпуск и они на прощанье приедут, но в этот раз старухиного зятя отчего-то не тронули совсем и отпуска тоже не дали. Старуха и опечалилась, что сызнова не увидела Таньчору, и обрадовалась, что дочь не уехала на житье еще дальше, совершенно к чужим людям, которые даже говорят не по-нашему и у которых ей, конечно, было бы не сладко.

Вот так оно все и продолжалось до последнего дня.

Таньчора писала не часто, но все-таки чаще других, и письма ее приходили прямо на старуху. Только она одна и отправляла письма на имя матери, и старуха, беря в руки красивый, с красными и синими полосками по краям конверт, вся замирала от гордости и ожидания: сейчас она узнает то, что хотела сказать ей Таньчора. Но она не торопилась и подолгу рассматривала письмо на свет, изучала картинку и штамп на конверте и только после этого очень осторожно распечатывала его, стараясь не повредить конверт, и вынимала исписанный листок. Сама она читать не умела и, не читая, могла держать у себя письмо с утра до вечера, любуясь его скрытностью и пытаясь проникнуть в нее душой, зато потом начиналась пора чтения; старуха заставляла читать его и Надю, и Михаила, и кого-нибудь еще, кто заходил: она боялась, что в одном письме разные люди могут прочитать разное. И только когда всё от слова до слова сходилось, старуха успокаивалась и прятала письмо в изголовье, чтобы продлить свою радость и увидать Таньчору еще и во сне.

Над письмами, которые приходили от Люси и Ильи, она не имела такой власти. Ей читали их только по разу, а то и совсем не читали, в двух-трех словах передавали то, что в них было, и все, и старухе ничего не оставалось, как обходиться этой малостью. Она догадывалась, что не о всех письмах ей даже говорят, и не потому, что не хотят сказать, а потому, что забывают, не знают, что сказать: просто в них нет ничего такого, что обязательно надо передать матери и ради чего писалось письмо. Люся, как обычно, наказывала: берегите маму, Илья торопливо и как бы в шутку спрашивал: как там мать дышит? – или: как там у матери делишки? – чаще всего на этом и заканчивался интерес к матери, так что пересказать его в и самом деле было не просто. От Люси бывали и длинные, подробные письма, особенно если она перед тем долго не давала о себе знать, в которых матери отводилось больше места и в которых она писала что-нибудь вроде: «Скажите маме, что лекарства помогают в любом возрасте», – это когда старуха отказывалась пить таблетки, говоря, что от старости таблетками не спасешься, – или: «Следите, чтобы мама зимой одевалась лучше», – как будто старуха без нее не знала, что в холода по-летнему не проживешь. Илья, слава богу, хоть советов не давал. Старухе не это надо было он них, она хотела знать, как живут они сами, как одеваются в морозы, чтобы не околеть, и что едят, раз не держат ни коров, ни куриц, ни свиней; старуха в конце концов заставила себя поверить, что в городе люди тоже не голодают, но не могла понять, как это им удается без домашнего хозяйства и как вообще можно без него жить. О себе Люся и Илья писали так мало, что старуха приставала к Наде, которая читала письма, с въедливыми и дотошными вопросами, будто та что-то утаила или по недосмотру пропустила, а Надя терялась, не зная, что отвечать: где она возьмет больше того, что есть в письме? Не будет же выдумывать от себя за Илью, от которого раз в год шли коротенькие, в ладошку, писульки. Читать старухе письма от Ильи и Люси было мучением, и оно обычно доставалось Наде; Михаил на вопрос матери, что пишут, мог отмахнуться: так… ничего – и уходил. Оставалась Надя.

Едва ли старуху до конца устраивали и письма Таньчоры, но им она многое прощала, к ним у нее было особое отношение. Эти письма были специально для старухи – специально для нее Таньчора собиралась их писать и писала, специально для нее их везли и несли, а чтобы не потерялись, на конвертах, на которых рукой Таньчоры было выведено имя матери, ставили важные печати. То, что Таньчора хотела сказать ей, она говорила не через кого-то, а прямо, как бы видя перед собой мать, она не писала «скажите маме», она писала: «мама моя», и это ласково-призывное и одинокое «мама моя» заставляло старуху замирать от счастья и страха; она чувствовала, как от этих слов по ее телу скользят прямые холодные иголки. Старуха не помнила, чтобы Таньчора так называла ее дома – нет, не потому, что не помнила, а потому, что не называла: эти слова не забудет даже самая беспамятная мать. Значит, дочь нашла для нее их уже там, на чужой стороне; старуха шепотом, одними губами произносила обращенное к ней «мама моя!» и слышала в нем такой сиротливый стон, такую боль, что ей становилось жутко и она втихомолку от себя плакала, думая, что не помнит начала слез, и говоря себе, что они пролились совсем по другой причине. Плакать в согласии с собой значило бы смириться со своими страхами, а это было еще хуже, тогда труднее было искать надежду. Надежда идет от бога, думала старуха, потому что надежда робка, стеснительна, добра, а страхи, которые от черта, навязчивы и грубы – так зачем поддаваться им? Или она не знает, откуда они берутся?

И старуха вдруг светлела, легко, кончиками узких губ произносила те же самые слова и слышала в них только ласку, пронизанную мягким Таньчориным голосом. Потом слова эти повторялись уже без нее, без старухи, без ее губ – одним Таньчориным голосом, звучащим близко и ясно, как наяву, но все тише и тише, наконец они умолкали до полного беззвучия, но старухе и тогда по-прежнему было светло и радостно от их приветливой страсти и силы; она долго и с наслаждением ругала себя, что, как последняя грешница, перед тем услышала в них совсем чужое, не то, что в них есть, и казнилась перед дочерью за свою глухоту.

Не ей ли знать, что Таньчора и в самом деле выросла ласковей своих сестер. Старуха никогда не стала бы жаловаться ни на Люсю, ни на Варвару – не на что и жаловаться, но выделяла из них Таньчору. Все-таки она была последней, заскребышем, за которым у старухи никто не шел – поэтому мать больше замечала ее, чем своих старших, а потом, не привыкнув жить без маленьких, дольше не хотела отпускать от себя на волю. Всегда было так: не успевал подняться на ноги один, появлялся другой, и мать хваталась за него, а переднего отсаживала в сторону – ползи или иди куда хочешь, только не убивайся до смерти и не кричи, теперь и без тебя есть кому кричать. Таньчору никто не подгонял, и она задержалась возле матери, все, бывало, как привязанная, бежала сбоку и лепетала: мамынька, мамынька. Вот и «мамынька» это – откуда она его взяла? В деревне как будто не было такого слова – разве у кого от чужих переняла или услыхала научивший голос во сне? Потом, когда подросла, называла уже, как все, мамой, но, смеясь, часто вспоминала и принималась теребить мать – «мамынька, мамынька», и старухе было приятно это ее дурачество, хоть она и отбивалась от него. А теперь вот новое – «мама моя!». Что тут такого тревожного после «мамыньки», что она, старуха, сама себя с ума сводит? Подумала бы, до того, как убиваться.

Но то, что Таньчора росла последней, конечно, еще не все. И из последней могла получиться всякая. На нее больше заботы, больше сердца, а она тебе за это больше немилости. Мало ли так бывает. Нет, Таньчора сама по себе была ближе к матери, по своему характеру. Если говорить о характере, то старухин нрав, скорее, переняла Люся – тоже твердая и гордая, мало кому спустит, только твердости и гордости дома у нее хватало на троих. Еще девчонкой была – как надуется, три дня в сторону смотрит, ничем ее не проймешь. Какой теперь стала Люся, старуха не знала – наверное, пообтерлась среди людей, пообломалась острыми краями об острые края, научилась что к чему. С тяжелым характером и жить тяжелей – она грамотная, должна понять, а по ней не похоже, что ей живется тяжело. Спрашивать старуха не хотела, спроси – скажет «хорошо» – и понимай, как знаешь. Все они так говорят, чтобы отвязаться, только одна Варвара все равно стала бы жаловаться, если бы даже каталась как сыр в масле, без забот и переживаний. Вот ведь родные сестры, а друг до дружки не достать. Варвара уж в девках ходила, а плакала и от Люси, и от ребят, и чуть ли не от мухи. Росла размазней и выросла размазней, все шишки на нее валятся, а она под каждую готова подставить голову.

Таньчора не была похожа ни на кого из сестер. Она стояла как бы посередке между ними со своим особым характером – мягким и радостным – людским; она сердилась и тут же отходила, обижалась и сразу забывала об обиде, а уж если ей приходилось плакать… это про нее, не про кого-нибудь сказано: одна слеза катилась, другая воротилась. Она всегда шла туда, где были люди, не боясь ни стариков и ни маленьких, любила посмеяться, поговорить, и не так, что лишь бы себя повеселить, а к месту, ко времени, к общему удовольствию. Редкая полянка у молодых обходилась без Таньчоры; если она задерживалась дома, девки уж бежали за ней, и не потому, что она верховодила у девок, – как раз нет, а потому, что без нее на полянках было невесело, грубо, некому было ответить парням, когда те начинали задирать, и ответить так, что после этого находилось что сказать всем, одному лучше другого, или тихонько засмеяться вслед нетерпеливой парочке, решившей незаметно убежать с бревен возле сельсовета, где собиралась полянка, – всего лишь тихонько засмеяться, как бы только для себя, повернув лицо в ту сторону, куда в темноте пропадала парочка, но этот тихий, осторожный смех, как сигнал, тут же подхватывали все, и деревня со сна вздрагивала от его буйства. Некому без нее было подсказать песню, ту самую, которая бы не зачахла, не заплелась в траве за бревнами, а, поднятая сильными голосами, обнесла бы своей радостью или печалью деревню от края и до края.

Матери она предлагала: «Давай, мама, сюда свою голову», зная, что мать любит, когда ножичком царапают ей в голове, в поседевших волосах, и никто, даже если брать старух, не умел так расшевелить голову, как Таньчора, коснуться именно того места, которое просится, чтобы его потрогали, и не повредить ни одного волоска. Из дочерей только Таньчора и ублажала этим мать. Она быстро-быстро водила ножичком и приговаривала: «Ты у нас, мама, молодец». – «Это еще пошто?» – удивлялась мать. «Потому что ты меня родила, и я теперь живу, а без тебя никто бы меня не родил, так бы я и не увидала белый свет!» Таньчора смеялась и подбирала, как гладила, старухины волосы. «Ну тебя! – притворно сердилась старуха. – Мелешь чё-то, мелешь, а чё к чему, и сама не помнишь». – «Нет, помню. Ты у нас, правда, молодец, ты и не знаешь, какая ты молодец, ты лучше всех. Скажи, мы у тебя хорошие или нет?» – «Я не говорю, что плохие». – «Значит, хорошие. И это все ты, никто больше не смог бы родить и вырастить таких хороших людей, никто – так и знай. Нам с тобой сильно повезло. У кого еще есть такая мать, как у нас? То-то и оно». Старуха замирала и терялась от этих слов, она не знала, что их можно говорить вслух, – едва ли в деревне, где не привыкли к нежностям, кто-нибудь произносил их еще. И так понятно, что никто, кроме нее, не смог бы родить ее ребят, но разве об этом говорят? Зачем? Мать пугалась и еще ниже опускала голову в Таньчорин подол. «Ты у нас будешь жить долго-долго, больше всех, потому что ты лучше всех, и мы тебя никому не отдадим, никакой старости». – «Не присбирывай!» – перебивала ее мать. «Я не при-сбирываю, я даже представить себе не могу, что мы сможем когда-нибудь остаться без тебя». Старухины глаза застилали слезы от этих оголенных лаской слов, и она торопливо поднималась: «Хватит на сегодня. Дорвались, а дело стоит».

Ее пугали такие разговоры, но они случались не часто, всего несколько раз, и это был приятный, усмиренный страх, как страх невесты перед первой брачной ночью. Мать потом долго испытывала их про себя, как бы случайно, ненароком припоминая выпавшие слова, на самом деле старательно собранные в памяти, чтобы погреть, когда захочется, душу. И правда – какая мать останется при этом бессердечной?! Могла ли она не верить Таньчоре, если та всегда обходилась с ней ласково и тепло, делясь, как с подружкой, тем, что доверят не каждой матери. И даже когда выходила замуж, попросила в письме родительского благословения, и мать не отказала, не посмела, хоть и горько ей было, что не знает она, кто берет за себя ее дочь.

И вот ее Таньчора как уехала, так и сгинула.

В последнее время старуха готова была винить в этом не дочь, а себя. В чем ее вина, она не понимала, ей было не по силам отправиться к дочери, которая живет где-то так далеко, что старуха не могла добраться туде даже умом, не то что дорогой, но она понимала другое: нельзя матери столько не видеть свою дочь – тяжело перед собой, неловко перед людьми, стыдно перед дочерью. Вот и выходит: что она за мать, если смогла вытерпеть такую разлуку? Что она сделала для того, чтобы свидеться с Таньчорой? Только и знала, что ждать. Хоть бы палец о палец ударила. А как ударить, чтобы был толк? Господи, если бы кто-нибудь подсказал. Старуха не боялась за Люсю, верила, что она себя в обиду не даст – не такой она человек; Варвару, ту, наоборот, мог обидеть каждый, но Варвара была рядом, почти на глазах; Илья – мужик, он сумеет за себя постоять, и только Таньчора, как нарочно выброшенный кусок, больше всех маяла старухино сердце, не давая ему покоя ни днем, ни ночью. Посмотреть бы на нее хоть через щелочку, хоть разок, чтобы понять, что с ней сталось, как живется ей на дальней стороне, среди чужих людей, без матери. И по лицу, без слов, можно многое узнать, и тогда старуха решила бы, молиться ей за дочь или радоваться. Еще и потому ей надо было перед смертью хоть мельком взглянуть на Таньчору, чтобы снять со своей души грех за то, что она ее долго не видела, очиститься перед богом и спокойно, радостно и светло предстать перед его судом: вот я, раба божья Анна, черного с собой не несу.

Но сегодня был последний срок: если до темноты Таньчора не приедет, значит, нечего больше и надеяться.

Уверив себя, что Таньчора обязательно будет, надо только потерпеть и не мешать ей подъезжать все ближе и ближе, старуха облегченно задремала – сначала чутко, сторожа со стороны каждый звук и все время помня, что она дремлет, потом, как это всегда бывает, ненароком выпустила себя из рук и потеряла, оставив в кровати вместо человека пустой мешок. И где она была, что делала, никто не знает.

Ее воротили голоса, она услышала их, находясь еще далеко, откуда не понять, о чем говорят. Слух первым вернулся к старухе, но он был слабым и уловил только неясное, обрывистое бормотание, похожее на бульканье, будто кто-то бросал в воду камни. Старуха теперь была не та, что раньше, когда просыпалась моментально, как тут и была; сейчас ей надо было время и силы, чтобы собрать все, что положено иметь человеку – и слух, и глаза, и память, словно она расклеивалась во сне на части, каждая из которых норовила забыть свою службу.

Она открыла глаза и сразу ничего не различила: в комнате было сумеречно, но сумерки уже достывали до полной темноты. Окна светлели только с той, с уличной стороны, но через стекла проходило мало. Четкий, нажимистый голос Люси, не теряясь в темноте, кому-то выговаривал:

– Как вам не стыдно?! Мама чуть живая лежит, а они как с ума сошли!

Старуха и испугалась не сразу, она успела рассмотреть склонившуюся над столом голову Михаила, с другой стороны стола сидел Илья – собираясь что-то ответить Люсе, он шевельнулся, и старуха скорее почувствовала, чем увидела и поняла, что мужики все еще не выбрались из пьянства, возятся в нем, как мухи в отраве, в которую для приманки добавили сметаны. В ногах у старухи глубоко, достав изнутри стон, вздохнула Варвара. Люсю не было видно, голос ее звучал справа, оттуда, где под божницей стояла тумбочка.

И тут на старуху напал страх. Изогнувшись в кровати, она крикнула, но крикнула не спрашивая, а зовя, требуя, чтобы ей отозвались:

– Таньчора!

До того, как наклониться над старухой, Варвара оповестила:

– Матушка наша проснулась.

– Таньчора! – снова позвала старуха, отдав слуху все, что в ней осталось, даже дыхание.

– Она еще не приехала, мама. – Щелкнул выключатель, и комнату, как рукавичку, будто вывернули на другую сторону, ярким наверх. У выключателя стояла Люся. – Таньчора еще не приехала, – повторила она, видя, что старуха не понимает.

Они загораживались от света ладошками и щурили глаза. Старухе показалось, что они прячутся, потому что не хотят сказать ей правду, и она не поверила им; качая головой, она обвела их умоляющим, до последнего натянутым взглядом, который смогла выдержать только Люся, и задохнулась, будто влезла на крутую гору, не оставив сил больше ни на шаг. Таньчоры не было тут, старуха должна была понять это с самого начала, как пробудилась: при Таньчоре говорили бы о другом. Проспала. Она все еще качала головой, не веря ни себе, ни им и не в состоянии выговорить ни слова – голова ее в отчаянной мольбе, как у нищенки, тряслась на подушке, а горло все никак не отпускало от перехватившей его боли и невозможности вернуть ни одной капли света, которая посветила бы Таньчоре. В окне, как в зеркале, замазанном с той стороны черным, отсвечивала только залитая электричеством комната, за стеклом не проступало даже самое маленькое пятнышко. Старуха приподнялась на локте и, подаваясь вперед, чуть не вываливаясь из кровати, нетерпеливо и жалобно спросила:

– Где? Где она?

Она застыла, прислушиваясь, глаза, не глядя ни на кого в отдельности, смотрели широко, чтобы не пропустить того, кто принесет ответ.

– – Если бы мы знали, зачем бы мы стали скрывать от тебя, где она, – спокойно сказала ей Люся. – Пойми: мы сами ничего не знаем.

– Ей-богу, матушка, мы ее не видали. – Для пущей верности Варвара прижала руки к груди. – Я врать тебе не буду. Не видали.

– Приедет, – бодро и даже как бы радостно подхватил Илья. Скорей всего, он и в самом деле был рад, что разговор с него и Михаила переместился на другое. – Сегодня не приехала, завтра приедет – ага.

– Дак и вчерась вы мне так же говорели, а где она?

– А вот этого мы тебе сказать не можем. Приедет – сама расскажет.

– Вчерась вы мне так же говорели, а где она? – потерянно, как в бреду, повторила старуха и не услышала себя, потому что слова эти, не найдя ответа в первый раз, вернулись обратно и, входя, виноватым эхом отозвались в ней сами. Что теперь об этом спрашивать? Зачем? Теперь она знала: нет, не приедет. Время, которое было ей отпущено, вышло. Больше ждать ни к чему. Не приехала Таньчора. Не приехала. Так и не увидала ее старуха.

Она опустила голову на подушку и заплакала.

– Ну вот, – хмыкнул Илья. – Начинается.

– Матушка! Матушка! – завозилась Варвара.

В старухе вдруг что-то оборвалось, что-то с коротким стоном лопнуло, и стон этот, не успев заглохнуть, неожиданно переиначился во вчерашний звон, запомнившийся ей еще в Девичестве и звучащий мягкими благовестными ударами, не прерывающими, а, наоборот, подхватывающими один другой. Старуху потянуло к нему так сильно, что она не могла и думать о том, чтобы сопротивляться. Поначалу идти надо было немного, совсем рядом, но потом звон стал отдаляться, уводя за собой старуху все дальше и дальше, но звучал все так же чисто и ясно, чтобы она не потеряла в него веру и знала, куда двигаться. Она едва помнила, что перед тем ей почему-то было больно и она плакала от какой-то потери, теперь боль утихла и идти за звоном было легко и радостно, теперь старуха плакала от радости, оттого, что все так хорошо кончается.

Старуха плакала, не закрывая лицо и не трогая лежащих по бокам рук. Глаза ее были открыты, из них сочились редкие темные слезы и медленно стекали по лицу. Она плакала неподвижно и молча, без единого звука. Лицо, подставленное под слезы, было почти спокойно и оттого казалось насмешливым. Все это настолько не вязалось одно с другим, выглядело настолько неправдашним и жутким, что ошеломило Варвару, сидевшую возле матери, – она вскрикнула и, наваливаясь на старуху, изо всех сил принялась ее трясти. Подскочила Люся, подошел, заглядывая из-за спин сестер, Илья. Михаил приподнялся и опять опустился на свое место.

Старуха застонала. Люся наконец оторвала от нее Варвару, и старуха повела в сторону головой, умоляя не трогать ее. Чтобы оттеснить от матери сумасшедшую Варвару, Люся присела рядом со старухой, которая пошевелилась сама, своим движением, и отодвинулась от дочерей к стене, ладонью утерев с лица свои молчаливые слезы.

– Ты что это, мать, так пугаешь нас? – сказал Илья, возвращаясь к столу. – Я же тебе говорю: сегодня не приехала, завтра приедет – ага. Подождать надо.

– Мало ли что могло задержать ее, – подхватила Люся и поморщилась, она и сама не верила в то, что говорила, но все-таки продолжала: – В самом деле, подождем, теперь нам торопиться некуда.

Старуха слышала и не слышала их; она слышала слова, которыми они старались ее подбодрить, различала, кто их произносит, чей голос, а то, что было в этих словах, не доходило до ее понятия. Она пропускала их мимо. Она лежала, глядя перед собой невидящими глазами и чувствуя внутри себя горячую пустоту, и помнила, что она лежит тут только потому, что еще не успела умереть. Но больше ничего не держало ее здесь, никакая причина. Теперь оставалось потерпеть, пока душа, жившая все это время в ожидании и надежде, снова станет ясной и примирит старуху со случившейся потерей, облегчит ее от страданий и жалости, чтобы не оставить в себе ничего грешного – ничего, кроме себя. Она не хотела моментального освобождения, зная, что все выйдет так, как и должно быть, что ее судьба и без того уже прикатилась к своему месту, где ей осталось лишь остановиться.

Они говорили и говорили, думая, что матери стало легче и что это они помогли ей своими словами. Она не отвечала им, но частое упоминание Таньчоры, подталкивая старуху раз за разом, постепенно воротило ее оттуда, где она оставалась одна. Ее удивил электрический свет, но он напомнил ей о свете, в который не уложилась Таньчора и который уже не вернуть и не добыть никаким электричеством. И сразу же в ней ожила боль. Старуха встрепенулась и увидела их совсем рядом: вот Люся, вот Варвара, Илья, Михаил… Таньчоры не было. Ее и не могло тут быть.

– С ей чё-то стряслось, – казалось, старуха повторила за кем-то эти слова и только теперь, повторив, испугалась. С ей чё-то стряслось, – громче и настойчивей сказала она. Вы мне не говорите. Вы меня омманываете. Я знаю.

– Ты что это, мама?! – удивленно и обиженно поднялась с кровати Люся. – Ты что это?! Что мы должны тебе говорить?! В чем мы тебя обманываем?!

– Омманываете, омманываете. – Старуха тоже стала приподниматься, завозилась, и платок сполз с ее головы, открыв короткие и редкие седые волосы. – Я знаю, омманываете. Скрываете от меня, чтоб я не знала. Говорите: завтри, завтри, а боле все, боле не будет завтри. Вы думаете, я совсем из ума выжила, ничё не понимаю. – С растрепавшимися волосами и дрожащим лицом она и в самом деле походила на сумасшедшую. – Да Таньчора первая на крылах сюды к мине прилетела бы, когда бы с ей все было ладно. А я-то, как маленькая, как ребенок, жду, жду…

– Перестань, пожалуйста, мама! – прикрикнула Люся. – Ты хоть думаешь, что говоришь?! Никто тебя не обманывает – понимаешь ты или нет? Мы сами не знаем, где твоя Таньчора.

То, как сказала это Люся, ее голос, которому нельзя было не подчиниться, заставили замереть всех и остановили старуху: она испуганно умолкла, и ее открытый рот задрожал, губы старались и не могли сомкнуться.

– Когда с ей чё доспелось, мне ить и на том свете смерти не будет, – жалобно сказала она.

– Мы не знаем, доспелось с ней что-нибудь или не доспелось.

Старуха убрала из-под себя руку и тихонько опустилась на кровать, в свою лежню. Кровь торопливо отливала от ее лица, и лицо на глазах бледнело все больше и больше. В тишине хорошо было слышно, как с тяжелым присвистом дышит Варвара.

– А там, где она тепери живет, там война шла или нет? – Старуха боязливо покосилась на Люсю и сжалась, вдавливаясь в постель.

Ей ответил Илья:

– В Киеве? Киев немцы брали – ага. Это я точно помню.

– Ну дак и от, – с горькой убежденностью закивала себе старуха и запричитала:– Дак она пошто такая-то? Она пошто у людей-то не узнала? Я бы рази туды поехала? Она в кого такая беспутная-то? А я ее жду. Да рази оттуль тепери выберешься? Ну. Это ить она сама голову в петлю затолкала, сама. Это подумать надо.

– Подожди, мать, подожди, – перебил ее Илья. – Ты с луны, что ли, свалилась?! У нас война-то когда кончилась?

– Все равно.

– Что «все равно»?

– А где тогда она, где? Почему ее тут нету?

– Опять «где она». Сказка про белого бычка у нас с тобой, мать, получается – ага.

– Ладно, хватит. – Михаил пристукнул ладонью по столу и, качнувшись, поднялся. – Не приедет ваша Таньчора, и нечего ее ждать. Я ей телеграмму отбил, чтоб не приезжала.

Старуха вздрогнула.

– Чё он говорит? – не поверила она.

– Я говорю, что отбил ей телеграмму, чтоб не приезжала. Незачем ей сюда было ехать.

– Ой, что надела-а-ал? – ахнула Варвара.

– Когда это ты успел дать ей телеграмму? – быстро спросила Люся.

– Как мать проснулась, так и дал.

– Почему в таком случае ты до сих пор молчал?

– С этой пьянкой у меня из головы все вылетело. Забыл.

– А сейчас ты точно помнишь, что давал телеграмму?

– Точно помню.

– Может, тебе это тоже по пьянке, как ты выражаешься, приснилось?

– Нет, не приснилось. Отбивал – можете на почте проверить. Разговор сейчас об этом зашел, у меня и всплыло, что отбивал.

– Ну вот видишь, мать, ничего с твоей Таньчорой не стряслось, – обрадовался Илья. – Жива, здорова, чего и нам желает – ага. А ты тут сама по ней с ума сходишь и нас сводишь. Я же говорил: подождать надо, и все выяснится. Это всегда так. Главное – не торопиться, выждать.

Старуха не слышала его.

– Дак он пошто так сделал-то? – прошептала она, и лицо ее застыло в вопросительном отчаянии. – Он пошто так сделал-то? – спрашивала она и качала головой, как бы все еще не веря Михаилу и прося, умоляя его признаться, что он пошутил и никакой второй телеграммы Таньчоре не давал. – Ты пошто так сделал-то, Михаил?

– Пошто, пошто… Тебе лучше стало, думаю, что она зря поедет, будет тратиться.

– Дак ить я на ее поглядеть хотела. Ты пошто так-то? – Старуха закашлялась, обида перехватила ей горло. – Я хотела, чтобы она рядышком со мной посидела. Чтоб она мне чё-нить сказала. Я ей матерь родная, не кто-нить. Я собиралась проститься с ей, мне ее боле не видывать будет. Ты пошто такой-то?! Мне ничё от ее не надо, никаких подарков, ничё – только узнать ее, поглядеть под конец, какая она тепери стала. – Старуха не плакала, но голос ее перешел в жалобный, почти скулящий стон. – А ты чё натворил? Ты у меня последнюю радость отнял, последний свет загородил. Ты меня перед смертью без Таньчоры оставил. Не пожалел. Не посмотрел, что я, дожидаючись ее, саму себя перетерпела.

– В самом деле, какое ты, Михаил, имел право, не посоветовавшись с нами, брать все на себя? – Казалось, Люся уже не спрашивала, а допрашивала, и Михаил сжался. – Ты ведь как будто тогда еще был трезвый – значит, должен был понимать, что делаешь.

– Прямо ни стыда, ни совести у человека! – подхватила Варвара.

Вместе с поддержкой к старухе пришла злость.

– Он ить нарочно это сделал, – медленно, словно припоминая, сказала она и села. Ее открытые волосы опять растрепались, худые дрожащие руки хватались за кровать. – Ты нарочно это сделал, я знаю. Нарочно захотел мне досадить. Хошь перед смертью, да досадю, не отпущу со спокоем. От и завернул Таньчору, чтоб ишо поиздеваться надо мной.

– Не собирай ты, мать, всякую ерунду. Зачем бы я стал нарочно это делать – что ты выдумываешь?!

– Нарочно, нарочно. – Старуха задохнулась и, подхватив руками грудь, осторожно, чтобы успокоить, покачала ее. – Ты думаешь, я молчать буду? Не буду – мне боле бояться некого. Он давно уж мне смерть ищет, я, старуха, ему поперек горла стою. Чё с меня взять? А подавать мне надо – от он и злится, всяки фокусы надо мной строит.

– Опомнись, мать, что ты городишь?! – Михаил сделал шаг к старухиной кровати и остановился, потому что Варвара крикнула:

– Не подходи! Не подходи к нашей матушке! Ишь какой. Не имеешь права подходить.

– Городишь, говоришь? – с вызовом сказала старуха и помолчала, как бы заманивая Михаила спорить. Он, покачиваясь, стоял теперь посреди комнаты. – А не помнишь, как ты напужал меня?

– Ничего я не помню.

– Пришел от так же пьяный: «Лежишь, мать?» – «Лежу, смерть свою дожидаюсь». Он и говорит: «А ты знаешь, что у нас теперь только по семьдесят годов живут, боле не полагается?» – «Как не полагается? – всегда, покуль смерть не придет, жили, никто не прогонял». – «Жили, – говорит, – а тепери нельзя, я сам в газетке читал».

– Это средняя продолжительность жизни у нас в стране, – догадалась Люся. – Это он, наверное, о ней говорил.

– Как это?

– Ну как… Каждый живет, мама, сколько может. Один больше, другой меньше, а когда подсчитали, оказалось, что человек в нашей стране живет в среднем семьдесят лет. Вот ты, например, проживешь девяносто…

– Не надо мне твои девяносто – куда мне их?

– Я к примеру говорю. Ты проживешь девяносто, а кто-то другой только пятьдесят. Это и будет у вас на двоих по семьдесят. А у нас сейчас на всю страну в среднем приходится по семьдесят. Ты понимаешь меня?

– Дак я пошто не понимаю-то? Когда бы он мне так сказал, я бы не стала вам передавать. А то ить я и Мирониху-то с ума свела. Пересказала ей, она говорит: «Ты, старуня, не за-баивайся». А сама, вижу, напужалась. Напужалась, напужалась – чё там говореть. Сидим с ей и трясемся. Я говорю: «У тебя ноги ходят, ты сходи к Егорше, он в эти газетки тоже смотрит, моить, слыхал». Она пошла. Дак от Егорши рази чё путное добьешься? Он ей говорит: «Ты знаешь, Мирониха, что в магазине черного мыла нету?» – «Однако правда нету». – От. А тепери будет. Тепери приказ такой вышел: всех старух на черное мыло переводить, а то хозяйкам стирать нечем». Она говорит: «Ты, Егорша, надо мной зубы не мой, я не твоя Наталья, я терпеть не буду». Он ее ишо боле напужал. «Не веришь, – говорит, – не верь, вскорости сама увидишь. От в Ключах позавчерась уж всех старух на черное мыло передавили, на этих днях сюда приедут». Ну. Это ить подумать надо. Тоже похвалить нельзя – я бы пошто правду не сказала? Мы с Миронихой – две старухи – то ли живые, то ли мертвые, она уж и домой не идет. Кому охота на удавке болтаться? Мы ить крещеные, у нас бог есть.

– Ишь, чё творят, ишь чё творят! – всплеснула руками Варвара и всхлипнула: – Над матушкой нашей так издеваться – это чё ж такое на белом свете творится?

– Когда я тебе, мать, так говорил? – Михаил качнулся и вытер ладонью потное лицо. Он едва держался на ногах, даже со стороны видно было, что его мутит. Вся тошнота от вчерашней и сегодняшней водки подступила к горлу, и он судорожно сглатывал, пытаясь протолкнуть ее вниз. Сгорбившись, он переступал с ноги на ногу и уже не помнил, сам ли он поднялся из-за стола, за который можно было держаться, или его вывели сюда, на середину комнаты, силой. Мать, как привидение, то качалась перед его глазами, то вдруг пропадала, он никогда не видел старуху с распущенными волосами и боялся ее, но стоило ему перевести глаза на кого-нибудь из сестер, как комната, входя в свои пазы, испуганно замирала, и мать послушно опускалась на кровать, но потом снова куда-то исчезала, поднималась в воздух, а комната, поскрипывая в углах, начинала кружиться. Но то, что рассказала старуха, казалось, удивило его, и он, поглядев перед тем на Варвару и остановив кружение, спросил: – Когда я тебе, мать, так говорил?

– Он и не помнит. Ничё не помнит. Сказал и забыл. Ну. А я с ума сходи.

– Правда, не помню.

– Что это такое, Михаил? – Люся начала почти ласково, вкрадчиво и вдруг сразу подняла голос: – Что это такое! – я спрашиваю. Это уже выходит за всякие рамки. Я не знаю даже, как называть то, что ты позволяешь себе вытворять над мамой. Это же самодурство, самое настоящее самодурство! Даже хуже. Кто тебе дал право так издеваться над ней?! Кто? И почему ты, мама, это терпишь? Тебя что – защитить некому? Один он у тебя? А я живу, ничего не знаю, считаю, что у вас тут все хорошо, все мирно.

– Слушай, матушка, слушай, – теребила старуху Варвара. – Наша Люся правду говорит. Ишь, обнаглел до чего! Он чё думает – на него управа не найдется? Найдется, голубчик, найдется. Не на таких находилась.

– В конце концов, можно было с кем-нибудь сообщить, какое тут к тебе отношение, а не терпеть подобные выходки. Уж, наверное, ты заслужила себе спокойную старость, и издеваться над тобой мы не позволим никому, а тем более родному сыну. Если он не хочет, чтобы ты у него жила, ну и не надо – обойдемся.

– А что?! – Михаил вдруг вскипел. – А что – может, кто-нибудь из вас заберет ее к себе?! Мать нашу – может, кто-нибудь заберет ее, а? Давайте. Забирайте. Корову отдам тому, кто заберет. Ну? – Он протянул руку, показывая на старуху, и зло, едко засмеялся. – Что же вы? Корову отдаю. Кто из вас больше всех любит мать? Забирайте. Что вы раздумываете? Я негодяй, а вы тут все хорошие. Ну, кто из вас лучше всех? – Он повернулся к Люсе. – Ты, что ли? Ты повезешь к себе мать? Ты будешь за ней ходить? А корову продашь – деньги будут. Матери много не надо – видишь, она почти не ест. Ей коровы выше головы хватит. Ей твоя справедливость нужна. Ты же у нас самая справедливая, все знаешь. Знаешь, как содержать мать, чтобы ей было распрекрасно. Будешь ей чистые простынки подстилать, лекции читать. Забирай ее скорей, чтобы кто-нибудь не опередил, – что ты стоишь?!

– Ты с ума сошел! – задохнулась Люся. – Ты сумасшедший!

Откуда-то вывернулась Надя и бросилась к Михаилу:

– Перестань сейчас же, перестань! Не позорь нас. Уйди!

Он оттолкнул ее:

– Тебя здесь еще не хватало.

– Не слушайте его, не слушайте! – кричала Надя. – Не верьте ему.

Михаил опять засмеялся и почувствовал, как развеселилось в нем терзавшее его похмелье, как от радости оно взвыло и бросилось в пляс.

– Я с ума сошел – все ясно. А матери нельзя находиться с сумасшедшим. Тогда, может, ты ее заберешь? – весело спросил он у Варвары. – Уж тебе-то корова никак не помешает. А с твоей семьей мать не соскучится. Там ей будет куда как спокойней, с дочерью всегда лучше, дочь не напьется, не обидит. Ну? Соглашайся, соглашайся – что ты молчишь?

– Да у нас жить негде, – растерялась Варвара. – У нас Сонька сызнова прибавку ждет. Я бы взяла.

– Жить, говоришь, негде? И корову, значит, поставить тоже негде.

– Нет, корову есть где. В стайке.

– Корову есть где, а мать негде. Мать в стайку не поместишь – вон она, – он показал на Люсю, – лет через пять или десять приедет и скажет, что это выходит за всякие рамки. А я ей подвою. Да я и не позволю, чтобы мать в стайке жила. Мне тоже надо, чтобы она находилась по-человечески. – Он повернулся к Илье. – А ты, Илья, как ты на это смотришь? Может, тебе забрать нашу мать? Увезешь ее к своей бабе, та будет за ней ухаживать. А то ты все на работе да на работе, ей там не с кем ласковым словом перекинуться. А мать у нас, сам видишь, бессловесная, она для нее сгодится. После меня она там отдохнет у вас.

– Ты перепил, Михаил, – нервничая, сказал Илья. – Ты сам не помнишь, что делаешь, – ага. Поговорим об этом лучше завтра.

– Неужели ты не понимаешь, что маму сейчас нельзя никуда трогать? – крикнула Люся.

– Значит, никто не желает? – Михаил крутанулся на месте и еще раз обвел всех сумасшедшими глазами. – Никто. И корова никому не нужна. Тогда, может, без коровы? Тоже нет. Ясно. – Он набрал в легкие воздуха и прошипел: – Тогда идите вы все от меня, знаете куда… И не говорите мне, что я такой да сякой, не лайте на меня. А ты, мать, ложись и спи. Ложись, где лежала. Они так тебя больше любят, когда ты здесь лежишь. Понимать надо.

Он бросился в дверь.

Наступило жуткое, леденящее кровь молчание. И в этом молчании старуха взмолилась:

– Господи, отпусти меня, я пойду. Пошли к мине смерть мою, я готовая.

10

В эту же ночь, не откладывая, старуха решила умереть. Делать больше на этом свете ей было нечего и отодвигать смерть стало ни к чему. Пока ребята здесь, пускай похоронят, проводят, как заведено у людей, чтобы в другой раз не возвращаться им к этой заботе. Тогда, глядишь, приедет и Таньчора, придется Михаилу давать ей еще одну телеграмму, чтобы ехала, никуда от этого не денешься. Старуха подумала о ней уже без боли, зная, что все равно ей не увидать Таньчору. Зря надеялась, изводила себя и других. Теперь бы уж давно готовенькая лежала и забыла, что она была, жила – обо всем бы забыла, от всего освободилась. Конечно, дождись она Таньчору, и смерть была бы чище и радостней – на это старуха и рассчитывала. Ну да ладно – что теперь душу травить, ее не травить надо, а отпустить с покаянием, пускай себе летит. Пора.

Старуха лежала в кровати и ждала, когда затихнет изба, потому что знала: смерть у нее боязливая и на шум не пойдет. Улеглись в этот вечер рано, сразу же после позорища, которое учинил Михаил, но уснуть не могли – ворочались, вздыхали. Не так-то просто выкинуть из головы все, что он наговорил, и забыться – это не кнопка, которой включают и выключают электричество: нажал – светло, нажал – темно. Уснула, может, только Нинка, но и та что-то причмокивала во сне – или улеглась с конфеткой во рту, или за день до того натрудила свой язык сладким, что он еще и теперь не найдет себе места.

Старуха много раз думала о смерти и знала ее, как себя. За последние годы они стали подружками, старуха часто разговаривала с ней, а смерть, пристроившись где-нибудь в сторонке, слушала ее рассудительный шепот и понимающе вздыхала. Они договорились, что старуха отойдет ночью: сначала уснет, как все люди, чтобы не пугать смерть открытыми глазами, потом та тихонько прижмется, снимет с нее короткий мирской сон и даст ей вечный покой.

Это неправда, что на всех людей одна смерть – костлявая, как скелет, злая старуха с косой за плечами. Это кто-то придумал, чтобы пугать ребятишек да дураков. Старуха верила, что у каждого человека своя собственная смерть, созданная по его образу и подобию, точь-в-точь похожая на него. Они как двойняшки, сколько ему лет, столько и ей, они пришли в мир в один день и в один день сойдут обратно: смерть, дождавшись человека, примет его в себя, и они уже никому не отдадут друг друга. Как человек рождается для одной жизни, так и она для одной смерти, как он, не научившись жить раньше, сплошь и рядом живет как попало, не зная впереди себя каждый новый день, так и она, неопытная в своем деле, часто делает его плохо, ненароком обижая человека мучениями и страхом.

Но про себя старуха знала, что смерть у нее будет легкая. У них было время, чтобы насмотреться, как живут и умирают другие, и им под конец незачем мучить друг друга – да и сил для этого у них не осталось. Старуха не будет сопротивляться, а та, другая, не станет злиться на нее за то, что она так долго водила ее за собой: она делала это не нарочно и никогда не боялась смерти – разве только по молодости, по глупости, а так всегда почитала ее избавлением от мук и позора. И если она до поры не звала ее, то и гнать от себя тоже не гнала и больше других жить не собиралась – жила, как выходило. А теперь время звать. Хватит.

Старуха не понимала только, почему умирают маленькие. Она считала грехом, когда родителям приходится опускать в могилу своих детей, и грех этот готова была отдать богу. У маленького и смерть такая же маленькая, несмышленая, она заиграется с ним, забудется да по нечаянности и коснется его – и сама не поймет, что натворила.

А он-то, бог-то, где был, куда смотрел? Грех, грех, когда ребенок, только-только родившись и не успев разобрать, что с ним, почему он видит в глазах свет и чувствует в животе голод, принужден тут же и потерять себя, не имея за собой даже капли вины, чтобы с ним можно было так обходиться. Зачем тогда его обманывали – рожали? Зачем показали ему белый свет и дали человеческое понятие?

Она и сама похоронила пятерых и уложила их рядом друг с дружкой, чтобы они не тосковали по отдельности. Четверо хоть хворали, а пятый, мальчишечка, тот умер и совсем ни от чего. Еще с вечера был здоровенький, целенький, спокойно уснул, а среди ночи закричал, как все они кричат, когда им что-нибудь надо, и разбудил мать. Она подняла его из зыбки на руки, дала грудь, считая, что он проснулся от голода, и сама тоже задремала над ним. Потом услыхала, что он откинулся, но еще посидела, подержала его, чтобы он уснул крепче, а когда собралась подниматься, будто кто в бок ее толкнул: что это от него тепла нету? Хватилась – а он уж и зубки приоткрыл. Она думала, что сосать хочет, а он на руки к ней просился, чтоб возле матери умереть, не одному. А за что, за какие грехи? Какие у него там грехи, когда он даже ходить не умел и только смотрел, как ходят другие, когда он даже говорить не умел и только понимал, ласковое или нет ему говорят другие? Если он почти ничего из человеческого не умел – только есть да спать, но и этому научился не здесь и не сам, а еще раньше, когда не по своей охоте и не по своей молитве выправлялся в человечий росток.

Старухе не один раз за свою жизнь приходилось успокаивать себя: бог дал, бог взял. Но сюда эта поговорка не подходила. Как можно взять то, что, разобраться если, еще и не дал, а только посулил да показал? А больше того – как можно, едва надоумив маленького, что он есть, что он, засыпая, проснется и откроет глаза, чтобы научиться и понять больше, чем он знал и умел, и подрасти, больше, чем он был, – как можно после этого сорвать его с корешков, на которых он едва держался, и бросить в ноги? Грех, грех.

Еще троих старухе не пришлось хоронить – этих убила война. И то, что мать не видела их смертей и не знала их могил, заставляло ее терпеть другое наказание: ей все время казалось, что она потеряла их сама, по своему недосмотру. Что она должна была делать, чтобы сохранить их, она не понимала и теперь, но что-то, наверное, делать надо было, а не сидеть сложа руки и не ждать у моря погоды. Вот и дождалась – принесли три похоронных, на каждого по бумажке. Уезжали живые, здоровые ребята, один к одному, уже и не ребята, а мужики, а остались от них три бумажки: на одной синие чернила, на второй – красные, на третьей – черные.

Так что ей есть от кого уходить и есть к кому уходить. Кроме своих ребят, там у нее отец, мать, сестры, братья. Из большой отцовской семьи она одна задержалась здесь, последний брат скончался в позапрошлом году. Туда же в войну перебрался и ее старик, но ему в то лихолетье довелось умереть своей смертью: его взяли в трудармию, там он занемог и не перенес болезнь, но умер по тогдашней поре удачно: успел доехать до дому, стояло лето.

Старуха приняла кончину старика как судьбу – не больше и не меньше. К тому времени она уже привыкла обходиться в семье без него. Они жили друг с дружкой не сказать, что совсем плохо, потому что живут еще в тысячу раз хуже, но и не хорошо. Нет, он не пил, хотя, может, было бы лучше, если бы пил: человечью дурь, как накипь в котелке, тоже надо чем-то снимать, и водка, если ее не хлестать через край, для многих тут бывает лекарством: выпил, песни попел, почудил – и отмяк, варись дальше. В нем эта дурь не проходила месяцами, и тогда он не давал старухе никакого житья – и то ему не так, и это не по нему. Чтобы она ни сделала, все было неладно. Она сама себе диву давалась, откуда бралось в ней терпение переносить его попреки, которые сыпались и днем и ночью. Потом дурь вдруг поворачивалась на другой бок: он умолкал и мог не сказать ни слова хоть полгода. Хорошо еще, что дома он находился мало: то уходил на охоту, то уезжал на заработки, то на зиму устраивался возить из города в сельпо грузы, а тогда, до войны, их возили на конях, ездили подолгу.

В его кончине старуху больше всего поразило то, что ему, побывавшему где-то возле самой войны, где смерть поголовно перешла в смертоубийство, удалось воротиться домой и в тишине и покое принять свою собственную смерть. Она нашла в этом для себя тайный знак и сразу примирилась со стариком. «Господи, прости нам прегрешения наши…» – начала она молитву, когда увидела, что он отошел. Она не сказала: его прегрешения, она сказала: наши. И слезы ее, скорбь ее были настоящими. Как-никак он был отцом всех ее ребят – и мертвых, и убитых, и живых.

Что правда, то правда: ей есть к кому уходить и есть от кого уходить.

Она прислушалась: где-то за окном позванивало на скотине ботало, по избе, сталкиваясь волнами, ходило дыхание людей, а спят они или не спят, было не понять. Нет, еще рано, лучше не торопиться.

Старуха хорошо знала, как она умрет, так хорошо, словно ей приходилось испытывать смерть уже не один раз. Но в том-то и дело, что не приходилось, а все-таки почему-то знала, ясно видела всю картину перед глазами. Может быть, потом, перед самой кончиной, это открывается каждому человеку, чтобы он заранее, пока еще в памяти, досмотрел свою жизнь до последней точки. О начале ему рассказали, когда он подрос и стал понимать, что к чему, и было бы неправильно, несправедливо, если бы ему не явился конец.

Она уснет, но не так, как всегда, незаметно для себя, а памятно и светло-словно опускаясь по ступенькам куда-то вниз и на каждой ступеньке приостанавливаясь, чтобы осмотреться и различить, сколько ей еще осталось ступать. Когда она наконец сойдет на землю, покрытую сверху желтой соломой, и поймет, что теперь полностью уснула, навстречу ей с лестницы напротив спустится такая же, как она, худая старуха и протянет руку, в которую она должна будет вручить свою ладонь. Немея от страха и радости, которых она никогда не испытывала, старуха мелкими шажками начнет подвигаться к протянутой руке, и тогда вдруг справа откроется широкий и чистый, как после дождя, простор, залитый ясным немым светом. Душа в нетерпении поторопит старуху, и она пойдет скорее. Идти надо будет совсем немного, и старуха почти сразу же увидит, что пришла. В последний момент ей захочется отступить или обойти место, к которому несли ее ноги, но она не сможет ни того, ни другого и остановится как раз там, где надо, а потом, уже не владея собой, подаст руку, чтобы поздороваться, и почувствует, что рука свободно, как в рукавичку, входит в другую руку, полную легкой приятной силы, от которой оживет все ее немощное тело. И в это время справа, где простор, ударит звон.

Сначала он ударит громко, празднично, как в далекую старину, когда народ оповещали о рождении долгожданного наследника, потом лишний гром в нем уберется, и над старухиной головой поплывет, кружась, песенная перезвонница. В непонятном волнении старуха оглянется вокруг себя и увидит, что она одна: та, другая, старуха исчезла. И тогда, ничего не пугаясь, счастливо и преданно она пойдет вправо – туда, где звенят колокола. Она пойдет все дальше и дальше, а кто-то, оставшись на месте, ее глазами будет смотреть, как она уходит. Ее уведет за собой затихающий звон.

Как только она скроется из виду, глаза опадут и затеряются в соломе. Лестницы тоже исчезнут – до следующего раза. Земля сравняется, и наступит утро. Живое утро.

Нет, ей не страшно умереть, всему свое место. Хватит, нажилась, насмотрелась. Больше тратить в себе ей нечего, все истратила – пусто. Изжилась до самого донышка, выкипела до последней капельки. А что, спрашивается, видела она в своей жизни? Только одно и знала: ребятишки, которых надо было накормить, напоить, обстирать, загодя заготовить, чтобы было чем напоить, накормить их завтра. Восемьдесят годов, как видно, одному человеку все-таки много, если она поизносилась до того, что теперь только взять да выбросить, но, оглядываясь сейчас на них со своего смертного порога, она не находила между ними большой разницы – все они, подгоняя друг друга, прошли одинаково в спешке: по десять раз на дню старуха задирала в небо голову, чтобы посмотреть, где солнце, и спохватывалась – уже высоко, уже низко, а она все еще не управилась с делами. Всегда одно и то же: теребили с чем-нибудь ребятишки, кричала скотина, ждал огород, а еще работа в поле, в лесу, в колхозе – вечная круговерть, в которой ей некогда было вздохнуть и оглядеться по сторонам, задержать в глазах и в душе красоту земли и неба. «Скорей, скорей», – подгоняла она себя, набрасываясь то на одно дело, то на другое, а им, сколько ни делай, не видно было ни конца и ни края. Вот так и пролетела вся жизнь, по годам вроде долгая, разна – вон сколько меры старуха взяла на себя, а по памяти бедная: одно находило на одно, год на год, забота на заботу. Старуха еще захватила, как сидели при лучине, при ней перешли на керосиновые лампы, теперь давно уже чиркают электричеством – все это не так скоро делалось, как сказывается, но все это, одно слабей, другое ярче, подсвечивало ей в ее беготне, для которой не хватало белого дня. С большой семьей иначе и не бывает. И только когда слегла, когда одолела старость, поопнулись и годы, заскрипели над ее головой длинными сонными зимами – смотри, старуха, смотри и не говори, что год длиннее года, а у тебя их было довольно.

Но она не жаловалась на свою жизнь, ей никогда бы не пришло это в голову. Как можно жаловаться на то, что было твоим собственным, больше ничьим, и что выпало только тебе, больше никому? Как прошла, так и ладно, во второй раз не начнется. Потому-то и хватает человеку одной жизни, что она у него одна, – двух бы не хватило. А старуха жила не хитро: рожала, работала, ненадолго падала перед новым днем в постель, снова вскакивала, старела – и все это там же, где родилась, никуда не отлучаясь, как дерево в лесу, и справляя те же человеческие надобности, что и ее мать. Другие ездили, смотрели, учились новому – зато она их слушала, когда доводилось, удивлялась их рассказам, да и сама нарожала ребят, которые ездят не хуже других, но никогда ей не приходило в голову, что хорошо бы стать на чье-то место, чтобы, как он, больше увидеть или легче, как он, сделать. Из своей шкуры не выскочишь – не змея. И никогда никому она не завидовала, как бы удачно он ни жил и с каким бы красивым лицом ни ходил – для нее это было нисколько не лучше, чем хотеть себе в матери чужую мать или в дети чужого ребенка. Своя жизнь – своя краса. Случались и у нее светлые, дорогие радости, каких ни у кого не бывало, и случались дорогие печали, которые чем дальше, тем становились дороже, роднее и без которых она давно бы уж растеряла себя в суете и мельтешенье; после каждого несчастья она заново собирала себя из старых косточек, окропляла живой водой и подталкивала: ступай, живи, без тебя никто на твое место не заступит, без тебя никто тобой не станет. Пока не избылась – будь, иначе нельзя. Справлять свою жизнь для нее было то радостью, то мучением, она не знала, где они сходились и где расходились и что из них для нее было полезней, она принимала их в себя, для себя же, для своего продолжения, для того, чтобы озариться их потайным огнем.

Старуха лежала, слушала – слушала, с каким вниманием дышит в ночи изба, освещенная колдовским, томным светом звезд, слушала глухие невольные вздохи дремлющей земли, на которой стоит изба, и высокое яркое кружение неба над избой, и шорохи воздуха по сторонам – и все это помогало ей слышать и чувствовать себя, то, что навсегда выходило из нее в ночной простор, оставляя плоть в легкости и пустоте.

И своя жизнь вдруг показалась ей доброй, послушной, удачной. Удачной, как ни у кого. Надо ли жаловаться, что она всю ее отдала ребятам, если для того и приходит в мир человек, чтобы мир никогда не скудел без людей и не старел без детей.

Она вспомнила слова, которые сказал ей Михаил после рождения Володьки, своего первенца. Он не был пьян от вина, его опьянило удивление, что он, сам почти еще парнишка, стал отцом и принял первое участие в продолжении человеческого рода. Он сказал:

– Смотри, мать: я от тебя, он от меня, а от него еще кто-нибудь. – И добавил с затаенностью и горечью провидца: – Вот так оно все и идет.

Он только тогда понял, что вот так оно все идет, шло и будет идти во веки веков и до скончания мира, когда эта простая, никого не обходящая истина, не замкнувшись на нем, накинула на него новое кольцо в своей нескончаемой цепи. И тогда уже он как следует, по-взрослому и наедине сам с собой понял, что он смертен, как смертно в мире все, кроме земли и неба. И это заставило его пойти к матери и сказать ей то, что она знала давным-давно и думала, что он знает тоже.

В какой-то момент старухе почудилось, что она находится в старом, изношенном домишке с маленькими закрытыми изнутри окнами, а звездное завораживающее сияние проходит сквозь стены, сквозь крышу. Каждое из окошек – это воспоминание о ком-нибудь из ребят: здесь о Люсе, здесь о Варваре, а это об Илье, о Михаиле, о Таньчоре. Сверху еще один ряд совсем маленьких заколоченных окошек, которые трогать ни к чему, – это воспоминания о тех, кого уже нет в живых. Как лунатик, старуха бродит от окошка к окошку, не оставляя после себя тени, и не знает, какое из них ей открыть, куда посмотреть, кого выбрать.

Вся жизнь тут, в этих окошках. Растворяй их и гляди, чем ты, старуха, была богата, какие воспоминания, сохранившись, пошевелят после тебя податливые ягодные кусты на берегу реки, ветки березы на опушке леса или пахнут кому-то в лицо, вызвав в нем смутные и тревожные предчувствия, для которых в нем ничего не было. Только что с высокой ветки в лесу сонно, чуть не до земли, оборвалась птичка, но это еще не твоя жизнь, не твои воспоминания, перейдя в шорохи, в шепоты, в неясные распадающиеся звуки, потревожили ее сон, не твои – чужие.

Старуха пошевелилась, расправляя затекшее тело, и кто-то в той комнате, словно отзываясь ей, прося ее, чтобы она не забыла о нем, зашевелился тоже. Почему-то она подумала, что это ворочается Илья – он сегодня спал в избе.

Вот и Илья… Что ей выбрать о нем из вечной материнской памяти, на что взглянуть, чтобы не обидеть ни его, ни себя? Сегодня и воспоминания должны быть тихие, светлые, согласные; нехорошо, если хоть какая-нибудь горечь, какой-нибудь неверный крик, бывавшие прежде, потревожат эту последнюю прощальную ночь. Скоро, скоро время.

Вот и Илья… Илья рос заполошным: свой огород полным-полнехонек, а он лез в чужой, самим есть нечего, а он единственный кусок отдавал первому встречному. Никогда нельзя было знать, что он выкинет через минуту.

Но сейчас старухе вспомнилось другое. Илью тоже брали на войну, только уже под конец, и воевать ему не пришлось: пока его там чему-то обучали, война, слава богу, прекратилась. Провожая его, об этом, понятно, еще не знали.

Стоял сухой, ветреный перед зимой день; готовая подвода ждала в ограде, дорожный мешок был уложен, ворота распахнуты – осталось проститься; Илья – маленький, прибитый и одновременно возвышенный отъездом на войну, главный, уже наполовину чужой в эту последнюю минуту – подошел к матери. Она перекрестила его, и он принял ее благословение, не отказал, она хорошо помнит, что он не просто вытерпел его, жалея мать, а принял, согласился, это было у него в глазах, которые дрогнули и на миг засветились надеждой. И старухе сразу стало спокойней за него.

Воспоминание об одном отъезде потянуло за собой другой – они не были похожи, и все-таки, видно, в старухиной памяти всегда находились рядом.

Люся уезжала в город летом, по воде. На пристань пришли рано, задолго до парохода и табором расположились на берегу, разведя курево от мошки, которой тогда было – не продохнуть. Люсю окружили подружки, завидуя ей и жалея ее, возле них же крутилась Таньчора, а старуха одна сидела на низком, вросшем в землю бревне неподалеку от девчонок и тоскливо, покорно караулила, когда над островом покажется пароходный дым. Наконец он показался, но остроглазые девчонки увидели его раньше и сразу подняли гвалт, завскрикивали, теребя Люсю, что-то наказывая ей, перебивая друг дружку. Старуха сидела молча и подавленно.

Пароход пристал, и Люся торопливо стала совать подружкам руку, последней подала матери. Старуха пожала ее горячую, растерянную ладошку и подтолкнула за плечи – иди, и сама тоже отошла чуть в сторонку от толпы, где бы ее лучше было видно. Трап быстро убрали, пароход зашевелил колесами, оттолкнулся, и Люся вместе с ним отодвинулась от берега, поплыла. Она стояла у борта, за белой металлической решеткой, и махала рукой подружкам – мать она почему-то не видела, хоть старуха два или три раза крикнула ей, а потом, чтобы броситься дочери в глаза, начала, как блажная, подпрыгивать и выбрасывать вверх руки.

Уже с накренившегося борта, готового черпануть воду, пассажиров погнали на другую сторону, уже пошла Люся… Старуха готова была заплакать. И вдруг, оглянувшись в последний раз на берег, Люся оттолкнула парня в тельняшке, который выпроваживал ее со старухиных глаз, бросилась обратно и истово, отчаянно, горько замахала матери сорванным с головы платком. Лицо у нее было испуганное, белое, в глазах моментально вскипели слезы. Старуха кинулась ей навстречу, забрела по колено в воду, но пароход уже разогнался, зашлепал в полную силу, и вслед ему, слепя, подгоняя, превращая его в сияющую игрушку, ударило сзади солнце.

У старухи тогда было такое чувство, что они простились навсегда. Неожиданно, перебивая ее воспоминания о ребятах, перед ней высветился дальний-дальний день – и тоже с рекой.

Только что прошел дождь, короткий, буйный, окатный, из нечаянно подвернувшейся по-летнему единственной тучи, а уже опять солнце, поляны дымятся, с деревьев и кустов капает набрякшими, тяжелыми каплями, там и там по траве, как жучки, катятся росинки, в реке еще плавают пузыри, ходит пена – все чисто и азартно блестит, пахнет остро, свежо, звенит от птиц и стекающей воды. Земля, опьяненная дождем, раскрылась, распахнулась догола, дышит утомленно, с наслаждением, небо над ней снова глубокое, ясное, голубое.

Она не старуха – нет, она еще в девках, и все вокруг нее молодо, ярко, красиво. Она бредет вдоль берега по теплой, парной после дождя реке, загребая ногами воду и оставляя за собой волну, на которой качаются и лопаются пузырьки. Песок на берегу темный и ноздреватый, берег низкий, прямо напротив него остров, где-то там на мысу шумит вода.

Протока длинная, сильная и пустая, в ней хорошо видно течение, его широкую прямую струю.

Она все бредет и бредет, не спрашивая себя, куда, зачем, для какого удовольствия, потом все-таки выходит на берег, ставит свои упругие босые ноги в песок, выдавливая следы, и долго, с удивлением смотрит на них, уверяя себя, что она не знает, откуда они взялись. Длинная юбка на ней вымокла и липнет к телу, тогда она весело задирает ее, подтыкает низ за пояс и снова лезет в воду, тихонько смеясь и жалея, что никто ее сейчас не видит. И до того хорошо, счастливо ей жить в эту минуту на свете, смотреть своими глазами на его красоту, находиться среди бурного и радостного, согласного во всем действа вечной жизни, что у нее кружится голова и сладко, взволнованно ноет в груди.

Еще и теперь при воспоминании о том дне у старухи замерло сердце: было, и правда было, бог свидетель.

Она подумала: неужели эта красота еще и сейчас является людям, неужели за то время, которое она прожила на свете, красота совсем нисколько не увяла и не померкла? Можно ли, переплыв на противоположный от деревни берег, где она тогда была, застать ее там хоть раз в том же виде, в той же свежести и радости? Столько всяких на земле перемен – неужели одна она осталась прежней?

Ей стало обидно, грустно, но она тут же пристыдила себя: хороша бы она была, если бы хотела, чтобы все на свете старело и умирало вместе с ней.

Когда-то давно, когда Варвара была еще девчонкой, старуха нашла ее однажды в проулке, где Варька, стоя на коленках, щепкой раскапывала землю.

– Ты чё тут делаешь? – спросила ее мать.

– Рою.

– Зачем?

– Тут курица рыла, а собака прибежала и согнала ее. А я увидала. Ты меня не прогонишь?

– Нет, не прогоню.

– Тогда я посижу, порою.

Старуха посмеялась про себя и ушла. Когда Варька воротилась домой, мать поинтересовалась:

– Нашла ты чё-нить там, где копалась?

– А я ничё не искала, я так рыла. Только меня бык бодучий согнал. Иди прогони его и порой.

– Зачем?

– Так. Рой и все. И увидишь.

– Чё увидишь?

– Не знаю. Чё-нибудь увидишь. Интересно. Вот почему теперь, через много-много лет, к старухе пришло неожиданное желание сесть где-нибудь в поле на корточки и рыть по Барышному примеру землю, со вниманием и волнением рассматривая, какая она есть, и отыскивая то, что никто еще в ней не знает.

Смеются: старый да малый, имея в виду, что один выжил из ума, а второй его еще не нажил. Правильно, старый да малый – только они как следует и способны ежедневно и остро удивляться своему существованию, тому, что окружает их на каждом шагу.

Ночь настыла, сделалась тверже, ее ясное, холодное сияние, проникая сквозь окна, ворожило на стенах.

Старуха не забыла, как звенит и играет в эту пору небо, с какой призывной страстью и обещанием горят звезды и близко, царственно ходит молодой месяц. А на земле тихо, мертво, неподвижно – все убрано сном, все в его глубоком, колдовском оцепенении.

И старуха, содрогнувшись, решила: пора. Самое время, ночь перевалила на вторую половину, больше ждать нельзя. Сон сейчас крепкий, никто не услышит, не помешает. А ночь веселая – тоже хорошо, она и проводит.

Старуха собиралась спокойно, без суеты и страха. Тихонько освободила от одеяла грудь, чтобы было с чего начать, осторожно, не вызывая шума, покачала себя в кровати и нашла, что ничего лишнего в ней нет, все вышло. В ней успело шевельнуться и тут же погасло слабое удивление своей невесомостью, тем, насколько легко, как в воздухе, поддалось движению ее тело. Оно пока еще было тут, с ней, и она слышала, как сердце, обманывая, посылает ему свои токи. Ноги она вытянула и устроила удобней – вот и ноги скоро подравняются со всем телом и не будут больше страдать, что они отказали первые. Сколько раз она им говорила, что они не виноваты, она сама их надсадила беготней, да они не понимали. Теперь поймут, никуда не денутся.

Глаза у нее все еще были открыты, она по-прежнему держала в них мертвенно-бледный лунный свет – последнее, что осталось ей видеть. Пусть он плотнее накроет все, что бывало в глазах раньше, тогда сверху легче будет принять тьму. Старухе стало жутко и холодно от явившейся вдруг догадки, что она, прожив почти восемьдесят лет и всегда имея запас времени впереди, теперь повисла на волоске. В этот миг у нее уже не было ни капли будущего, только прошлое, вся жизнь сошла в одну сторону, а в следующий не будет ни того, ни другого. После нее останутся на свете ребята, а у самой старухи никого и ничего не останется, даже себя. Интересно, куда денется ее жизнь? Ведь она жила, она помнит, что жила, это было совсем недавно. Кому достанется ее жизнь, которую она, как работу, худо ли, хорошо ли довела до конца? Ну да, рукавички из нее не сошьешь – это правда. Помянут словом, кивнут в ее сторону, и все – была и быльем поросла. А потом и поминать забудут. Тоже правда. А что ей еще надо? Знать хотя бы, зачем и для чего она жила, топтала землю и скручивалась в веревку, вынося на себе любой груз? Зачем? Только для себя или для какой-то пользы еще? Кому, для какой забавы, для какого интереса она понадобилась? А оставила после себя другие жизни – хорошо это или плохо? Кто скажет? Кто просветит? Зачем?

Как невнятный, неразборчивый ответ, в дальнем темном углу скрипнуло, и старуха осеклась: это за ней.

И вдруг теперь, перед самым концом, ей показалось, что до теперешней своей человеческой жизни она была на свете еще раньше. Как, чем была, ползала, ходила или летала, она не помнила, не догадывалась, но что-то подсказывало ей, что она видела землю не в первый раз. Вон и птицы рождаются на свет дважды: сначала в яйце, потом из яйца, значит, такое чудо возможно и она не богохульствует. Это было давным-давно, и ночью над землей разразилась гроза – с молнией, с громом, с проливным дождем, вокруг все гремело и полыхало, разверзая небеса, с которых стеной падала вода.

Никогда больше в свете не случалось похожего страха: вполне может быть, что та гроза и убила ее, потому что больше она ничего не помнила, ни до, ни после, только грозу, но и это воспоминание мелькнуло перед ней отзвуком какой-то прежней, посторонней памяти.

Она осторожно перекрестилась: пусть простится ей, если что не так, она никого не хотела прогневить этим непрошеным воспоминанием, она не знает, откуда оно взялось и как оно к ней попало.

Только теперь старуха закрыла глаза – сразу, не сделав последнего прощального взгляда. Перед глазами в захлопнувшихся створках слева направо поплыли дымные извивающиеся колечки, словно кто-то тотчас принялся окуривать ее перед новым причастием. Она вытянулась и замерла, напрягшись в ожидании первого щекотливого прикосновения, от которого по телу начинает разливаться скорбная и усыпляющая благость. Вот и побыла она человеком, познала его царство. Аминь. Она чувствовала, как меркнет в ней сознание, немеют руки. Или ей это только казалось, этого хотелось? Налившись обещанным звоном, повисли над землей колокола.

Прошли минуты и еще минуты – ничего не изменилось.

Старуха по-прежнему помнила себя: кто такая, где, зачем. Смерть почему-то не торопилась принять ее, чего-то выжидала. Старуха прислушалась к себе внимательней. Похоже было, что все в ней на прежних местах продолжало исполнять свою службу. Не понимая, за чем остановка, она тихо, сдавленно простонала: тут я, тут. Может, смерть думает, что она еще не готова, – пусть знает.

Для верности она простонала еще раз, бередя жалобным и призывным звуком ночную тишину: не бойся, спускайся, я жду тебя.

Ей стало не по себе, ее охватило недоброе предчувствие. А ну как она умаяла свою смерть до того, что та теперь не в силах сюда добраться? Столько годов водила ее за собой, даже не водила, а, можно сказать, гоняла – мудрено ли запалить до полного изнеможения. Вдруг правда: смерть не в состоянии достать до старухи, а старуха не в состоянии подтянуться к ней ближе. Значит, ей теперь и смерти не выйдет? Нет-нет, так не бывает. Не умирает только тот, кто не рождается. Да и причина тут, наверно, все-таки другая. Уж со своим-то делом, для которого она существует на свете, смерть найдет как справиться.

Старуха дышала уже бестолково, тревожно. Только что уверовала, что очистилась от всего, чем живет человек, и вот на тебе, начинай все сначала.

Она одумалась: надо успокоиться, остыть. Что-то, собравшись умереть, она делала не так. Не смерть отступилась от нее, а, скорей всего, она сама помешала смерти и помешала тем, что хотела взять ее работу на себя. Кому это понравится?

Долгих восемьдесят годов та ждала своего единственного праздничного часа, на десять раз перебирала, что за чем пойдет, в каком порядке – у нее свои планы. Разве можно было в них вмешиваться? То-то и оно.

Она решила: надо уснуть. Для того и ночь, чтоб спали. А там, когда старуха не будет ни видеть и ни слышать, смерть подступит к ней смелее, уберет самые больные связи, которые держат старуху с людьми и миром, и тогда, может статься, разбудит, чтоб отойти ей в памяти. Ночи много, но еще не поздно, до утра нетрудно успеть.

Теперь старуха затаилась в постели для того, чтобы погрузить себя в обыкновенный человеческий сон, которым пользовалась в своей жизни тысячи и тысячи раз. Глаза она так и не открыла, только дала им послабление, чтобы они лежали легко, свободно и не помышляли о свете. Это им ни к чему.

Тихонько трогая спиной кровать, она стала укачивать себя, ее губы нашептывали невнятные, под песню, слова, которыми баюкают детей. Она была совсем близко от забытья, ей чудилось, что ее бережно оборачивают мягкие серые материи, в которых она тонет все больше и больше, с удовольствием отдаваясь их приятной мягкой толще и завораживающему шуршанию, но что-то вернуло ее обратно, а потом безжалостно возвращало снова и снова.

Сон не шел. Старуха догадывалась, в чем дело: он накреп, окаменел к этой поре настолько, что стал неподвижным и глухим, из него трудно сейчас выйти, но еще труднее в него войти. Из-за одного человека он не будет поворачивать обратно, и приставать к нему бесполезно. Надо как-то по-другому. Надо, видно, просто лежать, ничего не хотя, кроме лежания, ни на чем не настаивая, – тогда, быть может, от безделья само собой ее сморит, закружит и ненароком подобьет ко сну, он и знать не будет, кто она такая, и примет ее за свою. Вот хорошо бы.

Надо не торопиться и держаться так, будто времени у нее впереди сколько угодно и ночь только начинается.

Она стала подготавливать себя: ослабила дыхание и тело, смирила расходившуюся грудь и удобно переплела на ней руки. Как она и надеялась, ей повезло, ее почти сразу подхватила сладкая, упоительная волна, покачивая и вынося ее в блаженную тишь, до которой оставалось уже совсем немного, всего несколько мгновений – как вдруг бесстыдно, громко, заполошно где-то в деревне завопил петух. Это было так неожиданно, так некстати, что у старухи сам собой вырвался острый сдавленный стон и раскрылись глаза – она сейчас же захлопнула их, но уже поняла, что поздно, напрасно. Все пропало. Не спаслась. Если спасение даже и было рядом, теперь оно далеко.

Вслед за первым петухом заголосил второй, потом третий, четвертый – ночь трещала и рвалась по всем швам, и ничто на свете не могло вернуть ей покоя.

Все вышло зря. Больше старухе надеяться было не на что.

Уже понимая, что делает, она открыла глаза, и ее охватил стыд. Другого такого позора она не знала: распрощалась, сказала последние слова, утешила себя последними воспоминаниями, застелила глаза мраком и – обратно. Кто же так поступает? Нет, она не испугалась, она никогда этого не боялась, перед собой ей лукавить нечего.

Что до нее, то она умерла, и как, на чью жизнь, на чье дыхание будет пробавляться ее грешное трусливое тело, оставившее в себе способность шевелиться, ей неизвестно.

Ночь гасла, лунный свет ослаб, стал суше, беднее, и по нему было видно, куда развернулось небо. Петухи покричали и утихли, но после них в ночи что-то потрескивало, подрагивало – ночь, торопясь, шла под уклон. Звезды в такое время поднимаются выше и смотрят устало, тускло. Все это вошло в старуху само собой, без всякого ее желания или нежелания, как в пустую открытую посудину, забытую не на месте.

Она лежала потерянно и беспомощно, в полном оцепенении, и все на свете ей теперь было безразлично.

Она лежала так долго, до самого утра. А когда взошло утро и в старухину комнату набралось достаточно света, она очнулась и скинула с себя одеяло. Потом села. С отвращением глядя на свои ноги, она натянула на них чулки и сунула в шлепанцы. Все это старуха научилась делать еще вчера. Но сегодняшнее утро не походило на вчерашнее.

Вчера она радовалась наступающему дню, возлагала на него надежды, думала о Таньчоре. И ничего из загаданного не сбылось. Ночь и та отказала ей в спасении, оставила без сна – уж этого-то добра у ней всегда хватало на каждого. На старуху не хватило. Она опостылела всем, никому не нужна – зачем тогда и ей считаться с собой, если никто с ней не считается?

Ухватившись за спинку кровати, старуха попробовала подняться в рост. Ноги под ней подогнулись, но она не пожалела их: раз не захотели умереть, делайте, что вам велят, не прикидывайтесь бедненькими, все равно никто вам не поверит. Повиснув на руках, она выпрямила их и в отчаянном, нечеловеческом усилии заставила сдвинуться с места – идите. Если не умерли – идите, как ходят все живые ноги, и не вздумайте подломиться! И-ди-те! В них заскрипела, застонала каждая косточка, но и это ее не остановило. Скрипите, сколько вам надо, но двигайтесь. Хватит вас слушаться, слушайтесь теперь вы. Перебирая руками по заборке, она волочила ноги по полу.

Со стороны, верно, показалось бы, что старуха ползет по стене – она почти лежала на ней, раскинув руки, которые искали, за что бы ухватиться. Через порог она перелезла на четвереньках – иначе его было бы не взять.

У крыльца был еще один порог, пониже, но старуха уже не поднималась – так, на четырех подпорках, как собака, и вылезла на улицу, хоть лай или вой. Силы ее были на исходе, и она кое-как, с большим трудом усадила себя на верхнюю ступеньку.

Утро поднималось высокое, ясное, тугое. На небе, особенно в той стороне, которую могла видеть старуха, еще до солнца густо выступила синяя краска, и предутренняя муть утонула в ней. Было рано, но лес уже оправился ото сна, стоял легко и свежо, отличая дерево от дерева, даже поверху зелень не сливалась в одно, а вычерчивалась мягкими живыми линиями. С насеста за амбаром снимались курицы и, хлопая тяжелыми крыльями, слетали вниз, где торопливо отряхивались и сразу принимались целить в землю, двигаясь быстрыми, согревающими шагами. И впрямь было прохладно, свежо, с реки доносило настоявшейся за ночь сыростью, в огороде холодно поблескивала на листьях роса. Но утро менялось, двигалось в свою сторону: только что казалось застрявшим, ленивым, серым, а уже высветилось до дня, заиграло, заходило в нетерпеливом, детском ожидании, в небе узкими столбами встали радужные полосы – и правда, скоро после этого на глазах у старухи взошло солнце, и земля счастливо, преданно озарилась.

Старуха и сама не знала, зачем она вылезла на улицу. Может быть, надеялась, что где-нибудь по дороге, не выдержав нагрузки, оборвется сердце и дело тем самым можно будет еще поправить. Нет, не вышло и тут. Выбралась. Она сидела одиноко, стыло, безучастно, смотрела в огород, в лес – на что натыкались глаза – смотрела и ничего не видела, не находила. Она походила на свечку, которую вынесли на солнце, где она никому не нужна. Но солнцу старуха поддалась; она была в тонкой постельной рубахе и озябла до дрожи, даже скупое, чуть достающее тепло было ей кстати. Не полено – какой-никакой, а человек, тело, оказывается, еще узнает, что холод и что не холод. И все-таки этот день казался ей лишним, чужим, она с самого начала не хотела и боялась его: если не суждено было умереть ей ночью, значит, что-то предстоит еще вынести днем. Зря ничего не бывает. И она сидела, ждала.

В сенях зазвенел подойник – вышла Надя. Она никак не ожидала найти здесь старуху и с испугу подалась назад.

– Мама! – невестка звала ее мамой. – Ты как тут?

Старуха, обернувшись, услышала ее и кивнула: тут.

– Как ты сюда выбралась?! Ты же замерзла. Давай я тебя отведу обратно.

Отказываясь, старуха решительно покачала головой: нет.

– Но как же…

Надя бросилась в избу, но сначала заглянула в старухину кровать – она в самом деле была пустая, и только потом сняла с вешалки и вынесла старухе фуфайку.

– Как же это ты додумалась? – не могла опомниться она. – А все спят, не знают. Может, разбудить их?

– Не надо, – сказала старуха. – Ты иди, дои. Я посидю тут.

До двора Надя раза два или три оглянулась на свекровь – сидит!

Солнце уже оторвалось от леса, вышло в чистый, готовый для него простор, держась чуть справа, как вчера и позавчера, десять и двадцать лет назад.

Оно все еще было неяркое, четкое и не слепило глаза. Росы в огороде, казалось, даже прибавилось, горящими, заманчивыми искрами она блестела повсюду. Деревня просыпалась, над крышами поплыл дым, по улице тяжело и сыто, содрогая землю, брел скот, хлопали в избах тугие двери, раздавались первые, хорошо слышные поутру голоса.

И вот в это раннее, совсем не гостевое время перед старухой нежданно-негаданно, как из-под земли, явилась Мирониха.

По своей привычке смотреть себе под ноги, а не вперед, она чуть не столкнула старуху с крыльца и от удивления присела, всплеснула руками:

– Это, старуня, ты али не ты?

– Я, – сказала ей старуха. Она как будто не обрадовалась даже Миронихе, голос у нее был тусклый, слабый: ее спросили – она ответила.

– Вылезла?

– Вылезла.

– Дак ты, старуня, моить, за хребет сёдни со мной побежишь? Вдвоем нам с тобой все веселей будет в гору подыматься.

– Не. Я койни-как сюды-то выползла. Где на карачках, где как.

– А я бегу, думаю, узнаю у Нади, с чем моя старуня там сёдни лежит. А она со своей кровати уж он куды ухлестала, на волю.

– Не умерла, – сказала старуха.

– А просилася?

– Просилася.

– Выходит, не время.

– Какое ишо надо время? – в голосе старухи впервые сегодня послышалось выражение – оно было обиженным. – Ребяты тут, оне меня долго ждать не будут. Самое было время. Ан нет.

– Все мы, старуня, под богом ходим. Как он захочет, так и выйдет.

– А я не ходю, я ползаю под им. Думаю, выползу, покажусь матушке-смертыньке, а то она меня потеряла, не видит. Пускай заприметит.

– Не забаивайся.

Старуха не стала продолжать этот невеселый разговор; Миронихи ночью с ней не было, она не поймет, а разве можно объяснить, что чувствует человек в смертный час и что чувствует он потом, когда, приняв исповедь, смерть обманывает его. Поэтому старуха спросила:

– Ребяты-то твои ничё не пишут?

– Дак ты только вчерась у меня это спрашивала, – удивилась Мирониха.

– Вчерась было вчерась. Седни, моить, написали – откуль я знаю?

– Ага, всю ночь спать не укладывались, цельную газету для меня тамака исписали. Не знаю, как и читать буду. – Мирониха говорила без зла, но и без надежды, подсмеиваясь над одной собой. – Кака-така лихоманка на их напала – письмо мне отправлять?

– Раньше как бывало, – сказала старуха. – Кто где родился, там и пригодился. А тепери никак на месте не держатся. Ездют, ездют, а куды, зачем?

– Ничё мы, старуня, с тобой не понимаем.

– Моить, и не понимаем. Мы с тобой, однако, уж две последние старинные старухи на свете остались. Боле нету. После нас и старухи другие пойдут – грамотные, толковые, с понятием, чё к чему в мире деется. А мы с тобой заблудилися. Тепери другой век идет, не наш.

– Однако что так, старуня.

– А пошто не так? Так. От помяни мое слово.Они помолчали. Мирониха вздохнула и поднялась:

– Хорошо с тобой, старуня, да надо бежать.

– Посиди маненько.

– Корова у меня так и не пришла. Мужики говорят, за хребтом чьи-то две коровы живут. Делать нечего – надо туды бежать.

– Не дойдешь ты, девка, за хребет.

– Дойду, не дойду, а пойду. Кого я за себя отправлю?

– Упадешь ты там.

– Моить, и упаду. Кака разница, где лежать? Тамака одной и тутака одной. Слягу – и воды некому подать.

– Ты бы сама им написала.

– А чё им писать? То они не знают, что мне семьдесят пять годов стукнуло. Нет, старуня, пиши, не пиши… И грамота у нас с тобой одинака. А они, видно, хорошо живут, раз не едут, не пишут. Плохо жили бы, написали бы.

– Написали бы.

– То-то и оно.

Мирониха переступила с ноги на ногу, ей уже не стоялось на месте.

– Ну, сиди, старуня, побегу я. Сиди и ничё не выдумывай. А я как возвернусь, опеть к тебе. Посидим ишо, побормочем.

– Не упади там.

Прощаясь, старуха подала ей руку, и Мирониха вдруг дернулась, неловко клюнула головой и прижала старухину руку к своей щеке. У старухи из глаз брызнули слезы. Она хотела подняться, но Мирониха удержала ее и повернула к воротам. Она-то, наверно, считала, что идет ходко, не идет, а бежит, а на самом деле вся вытягивалась, когда переставляла ноги, видно было, с каким трудом дается ей каждый шаг.

Вытирая слезы, старуха подумала, что, быть может, оттого она и не умерла ночью, что не простилась с Миронихой, со своей единственной во всю жизнь подружкой, что не было у нее того, что есть теперь – чувства полной, ясной и светлой законченности и убранности этой давней и верной дружбы.

Старуха знала: больше они не увидятся.

11

Приходилось жить еще день – лишний, ненужный.

Обратно в избу старуху привела Надя – не привела, а, можно сказать, принесла на руках: ноги под старухой не держали совсем. Опять она лежала в постели, поглядывая перед собой печальными, виноватыми глазами и осторожно прислушиваясь к тому, что творилось вокруг; ей казалось, что ни на что на свете она не имеет больше права – ни смотреть, ни говорить, ни дышать – все было как ворованное. С утра, когда поднялись и Надя рассказала, что старуха самостоятельно выходила на улицу, над ней поохали, поахали, радуясь и удивляясь тому, что она поправляется не по дням, а по часам, потом постепенно разошлись, и старуха осталась одна. Заглядывали, правда, часто – то Люся, то Илья, то Надя, но только заглядывали и сразу обратно. Илья сказал, что теперь надо ждать, когда старуха пустится в пляс, чтобы похлопать ей в ладоши, и шутка эта понравилась, ей улыбнулась даже Люся, а Варвара понесла ее в деревню, вместе с последними сообщениями о том, что мать встала на ноги.

Илья к тому времени успел подогреть себя, голова его розово, жарко светилась, распространяя вокруг сияние, глаза вспыхивали внезапной, отчаянной веселостью. Ему не терпелось что-нибудь делать, в чем-нибудь участвовать, а делать совсем было нечего, поэтому он снова и снова шел к матери и повторял:

– Лежишь, мать? Ну, полежи, полежи, отдохни. А плясать вздумаешь, обязательно крикни нас. Посмотрим – ага. Мы знаем, мать, знаем, что ты собираешься плясать – не отказывайся.

Старуха отвечала ему испуганным, умоляющим взглядом.

Позже всех к ней зашел Михаил; старуха была одна. Он сел на то же самое место у стола, что и вчера перед скандалом, и закурил, делая быстрые, жадные затяжки. Лицо у него против обычного налилось нездоровой, горячей чернотой, глаза притухли. Он курил и, вздыхая, отдыхиваясь от наваливающейся тяжести, все время посматривал на мать, чего-то ждал, на что-то надеялся.

До старухи достал дым, и она, хватаясь руками за грудь, мучительно закашлялась: сухие, натужные звуки, казалось, раздирали ее горло. Михаил торопливо загасил папиросу и вышел. Они так и не сказали друг другу ни слова.

Но после, когда кашель утих и к старухе пришла Нинка, старуха сразу отозвалась ей. Подняв руку, она стала гладить девчонку по плечу, согреваясь от этого приятного прикосновения к родному детскому телу душевным теплом – будто гладили ее.

Она даже закрыла глаза – как в минуты особенного удовольствия.

Нинка вдруг ни с того ни с сего сказала:

– Твоя тетя Люся обещалкина, больше никто.

– Пошто так? – очнулась старуха.

– Ага. Она обещала мне конфет купить? Обещала. Все слыхали. А сама не купила. Вот и обещалкина.

– Дак ты ей и скажи, чтоб купила.

– Ага. Я ее боюсь. Ты сама скажи.

– Чё ее бояться? Она, подимте, не зверь, не укусит.

– Не укусит, а все равно. Она как посмотрит, так я сразу боюсь. Пускай она не смотрит, я не буду бояться.

– Не присбирывай, чё не следно.

– Давай, я ее позову, а ты ей скажешь, – добивалась Нинка.

– Не надо. Куды тебе ишо конфетки? Ты и так, однако что, вчерась весь рот ими спалила, с утра до вечера сосала.

Нинка обиженно дернулась, вырвалась от старухи.

– Ты сама ее боишься, – поддразнила она. – Если бы не боялась, сказала бы. Вояка ты, больше никто.

Старуха хотела улыбнуться, но улыбка не вышла, только чуть дрогнули без всякого выражения губы.

Видно, она все-таки задремала, потому что не слышала, когда появилась Люся. Открыла глаза. – Люся стоит, смотрит на нее, что-то в ней ищет. Встретившись взглядом с матерью, спросила:

– Как ты себя, мама, чувствуешь?

– Дак ничё, – сказала старуха. Она не знала, что отвечать, ей казалось, что она уже вышла за те пределы, когда чувствуют себя хорошо или плохо, да и раньше, при жизни, мало разбиралась в этом, различая больше здоровье и нездоровье, усталость и силу, мочь и немочь.

– Лучше, чем вчера? – все допытывалась Люся.

– Ты, Люся, помирись с Михаилом, – вдруг попросила старуха. – Помирись. Не надо вам меж собой ругаться. Это я виноватая: накинулась на его. А он не стерпел, его обида взяла. Он тепери сам переживает.

– Его, видите ли, обида взяла, а меня нет, – хмыкнула Люся. – Очень интересно. Он наговорил всем нам гадостей, а я теперь должна за это перед ним извиняться. Что ты выдумываешь, мама? И, пожалуйста, не защищай его, мне сейчас совсем не хочется об этом говорить.

Старуха растерялась.

– Я об ем ничё не говорю, – стала объяснять она. – Я его не оправдываю – не. Он один человек, ты другой. А чё тепери делать? Какой ни есть, а все равно он твой брат. Я какая ни есть, а все равно ваша мать – и твоя, и его. Мне охота, чтоб вы всегда ладили, а не так. Помирись, Люся, пожалей меня. От меж собой помиритесь, и я ослобонюсь. Меня тепери только это и держит.

– Не надоело тебе об этом, мама? Уже почти здоровый, нормальный человек, даже ходишь, а все о том же. Неужели больше ни о чем нельзя говорить?

Опять принесло Нинку – совсем некстати.

– Иди, погуляй, погуляй покуда, – стала отправлять ее старуха, подталкивая от себя. – Иди, потом придешь, я тебя ждать буду.

– Твоя тетя Люся обещалкина, больше никто, – упираясь, выпалила Нинка и скосила глаза на Люсю.

Старухе ничего не оставалось делать, как спросить:

– Пошто так?

– Ага. Она обещала мне конфет купить? Обещала. Все слыхали. А сама не купила, обманула.

– Это еще что такое?! – удивилась Люся. – Ты почему со мной так разговариваешь?

– Я не с тобой разговариваю, я с бабой, и ты не подслушивай.

– А кто это, интересно, тебе дал право называть меня на «ты»? Я тебе подружка, что ли? Ты разве не знаешь, что старших надо называть на «вы»? Никто тебе не объяснил?

– Покайся, – шепнула Нинке старуха.

– Ага, – сказала Нинка и захлюпала носом, готовясь зареветь.

– Не вздумай только плакать, – опередила ее Люся. – Никто в твои слезы не поверит. Какая, оказывается, невоспитанная девочка. Я не люблю невоспитанных. Я не люблю, когда со мной так разговаривают. Смотрите-ка, до чего уж дошло.

– Она боле не будет, – осторожно вставила старуха.

– Подожди, мама. Вот так вы ее и воспитали: боле не будет, и все. А почему она так поступает – пусть ответит. Она вам скоро еще не то покажет – вот увидите. – Люся повернулась к Нинке: – Если они тебе очень нужны, я, конечно, куплю конфет, – сказала она, – но только это будет уже не подарок, а вымогательство. Ты знаешь, что такое вымогательство?

Нинка торопливо кивнула, она своего добилась: купит.

Когда Люся вышла, Нинка выпорхнула следом. Наверно, решила караулить ее у ворот, а то побежала за ней в магазин, чтобы там, на людях, в самый удобный момент вынырнув из толпы, ткнуть пальцем в витрину:

– Тетя Люся, мне вот этих, я эти больше люблю.

Она нигде не пропадет, ни в мать, ни в отца – в лихого молодца.

Опять старуха забылась, растерялась сама с собой, а когда очнулась, полкомнаты было залито солнцем. Она стала следить за ним, боясь и хотя, чтобы оно скорей подобралось к кровати. Ей казалось, что сегодня, в этот день, в который она не имела права заступать, ей может открыться то, чего не знают при жизни; старуха во все глаза смотрела на солнце на полу, на его широкое горящее пятно, надеясь увидеть в нем рисунок или услышать голос, которые бы ей что-то разъяснили. Пока ничего не было, но солнце все ближе и ближе подступало к старухе, наползая на кровать справа, где оно выпрямлялось в окне. Старухе вдруг пришло в голову, что солнце может растопить ее, как какую-нибудь рыхлую, прикрытую тряпьем снежную фигуру. Она пригреется от него, приласкается, а сама, не замечая того, начнет все убывать, убывать и убывать, пока не исчезнет совсем. Придут люди, а в кровати никого нет. Они решат, что она опять полезла на улицу. Старуха так и подумала: люди, не делая разницы для своих и чужих.

Солнце наконец поднялось в кровать, и старуха подставила под него руку, набирая тепло для всего тела.

Ей показалось, что вместе с теплом в нее натекает слабость, но старуху она не испугала: слабость была мягкой, приятной. Старухе только не хотелось бы уснуть, пускай все происходит на памяти.

Где-то неподалеку заговорила с кем-то Варвара, и старухе вдруг пало на ум еще одно, что она совсем забыла.

Выдавливая из себя голос, старуха позвала Варвару, но никто ей не ответил: голос был слишком тихим и ушел недалеко. Старуха крикнула еще, на этот раз сильнее. Варвара услышала, пришла.

– Чё тебе, матушка?

– Сядь, – старуха глазами показала на кровать возле себя. Варвара села.

– Чё, матушка?

– Погоди. – Старуха собралась со словами. – Помру я…

– Не говори так, матушка, – запыхтела Варвара.

– Помру я, – повторила старуха и сказала: – Обвыть меня надо.

– Чё надо?

– Обвыть. Оне не будут. Тепери ни ребенка ко сну укачать, ни человека в могилу проводить – ничё не умеют. Одна надёжа на тебя. Я тебя научу, как. Плакать ты и сама можешь. Надо с причитаньем плакать.

Похоже, Варвара поняла, на лице ее выступил страх.

– От слушай. Я ишо мамку свою тем провожала, и ты меня проводи, не постыдись. Оне не будут. – Старуха вздохнула и прикрыла глаза, приводя в порядок давние, полузабытые слова, которыми теперь не пользуются, потом тонким, протяжным голосом начала: – «Ты, лебедушка моя, родима матушка…»

– Матушка-а-а! – качая головой, словно отказываясь участвовать в этой затее, взвыла Варвара.

– Да не реви ты, – остановила ее старуха. – Ты слушай покуль, учись. Не надо сичас реветь. Я ишо тут. Слезы на потом оставь, на завтрева. А то кто-нить придет и перебьет нас. Давай потихоньку.

Она подождала, пока Варвара утихнет, и начала снова:

– «Ты, лебедушка моя, родима матушка»…

– «Ты, лебедушка моя, родима матушка», – сквозь рыдания повторила за ней Варвара.

– «Куда же ты снарядилася, куда же ты сподобилася?»

– «Куда же ты снарядилася, куда же ты сподобилася?»

Старуха села в кровати и, успокаивая, обняла Варвару за плечи. Голос ее стал настойчивей, сильней:

Во котору дальнюю сторонушку?

По дороженьке проежжей,

По дубравушке зеленой,

К матушке божжей церкве,

Ко звону колокольному,

Ко читаньицу духовному,

А из матушки божжей церкви

В матушку сырую землю,

Ко своему роду-племеню.

День продолжался и продолжался солнечно, тепло, свободно, в воздухе стоял тот особый, с горчинкой, зной, который бывает в начале ясной осени.

Небо, по-прежнему синее, светло-синее сверху, только у самого края за рекой, где вечером заходить солнцу, чуть подернулось дымчатой, безобидной с виду пленкой, выше и левее, выплывая в небо, висела одинокая прозрачная тучка, слишком игрушечная, чтобы вызывать тревогу, словно нарочно выпущенная, чтобы ею можно было любоваться.

Весь остальной простор над головой оставался чистым, глубоким и выражал бесконечный покой, под которым, залитая солнцем, послушно и отрадно лежала земля.

Михаил давно уж томился на предамбарнике, подперев ладонью лицо, глушил одну за другой папиросы. К нему подсел Илья, поинтересовался:

– Не опохмелялся сегодня? Михаил покачал головой.

– А я немножко принял. Так, для настроения. Слыхал, мать-то у нас уж на ноги встала?

– Слыхал.

– Плясать скоро будет – ага. Вот и возьми ее. – Он засмеялся. – Может, выпьем помаленьку. Тут рядом, далеко ходить не надо.

– Нет, – отказался Михаил. – Хватит. Почудили вчера и хватит.

– Да, ты вчера здорово перебрал. Набрасываться стал на всех на нас. С матерью ругался.

– Я с ней не ругался.

– Она-то на тебя здорово рассердилась – ага. Особенно за Таньчору. Готова была отлупить тебя. Это точно. – Он опять засмеялся и вдруг спросил: – Слушай, а когда это ты отбил Таньчоре телеграмму, чтоб не приезжала? Я же с тобой все эти дни был, никуда от тебя. Когда ты успел?

Михаил щелчком стрельнул от себя окурок, к которому кинулись курицы, и посмотрел брату в глаза.

– А я не отбивал ей никакой телеграммы, – сказал он.

– Как не отбивал?

– Вот так.

– Ты же говорил, что отбивал? Вчера из-за этого весь сыр-бор и разгорелся. Не помнишь, что ли?

– Почему не помню? Помню. А если бы не говорил, ты знаешь, что бы с матерью было? Лучше обмануть, чтоб она не ждала ее.

– Но… Но где же тогда Таньчора?

– Откуда я знаю?

– Вот это да! Вот это фокус так фокус!

– Ты только не выдавай им меня, пусть думают, что отбивал, – торопливо сказал Михаил, потому что от ворот к ним шла Люся. Он опустил голову: сейчас начнется. Припомнит вчерашнее и позавчерашнее, все, что было и не было. Стыдить его сейчас бесполезно, он потом пристыдит себя сам, и это будет куда полезней, а выслушивать ее выговоры тошно – ну их! И без того хоть сбегай куда-нибудь.

– Илья! – начала Люся еще на ходу. Вид у нее был решительный и взволнованный, будто что-то случилось. Она сказала совсем не то, чего боялся Михаил. – Илья, ты знаешь, что сегодня «Ракета»? Скоро уж. А следующая будет только через три дня.

Илья растерянно поднялся:

– И что нам теперь делать?

– Смотри сам. А мне надо ехать. Мне больше оставаться здесь никак нельзя.

– Ехать надо, – кивнул Илья и посмотрел на Михаила. – Мать вроде поправилась.

– Подождали бы, – несмело сказал Михаил. Ему никто не ответил.

Они вошли в избу все вместе и в старухиной комнате вдруг застыли. Их не заметили. Варвара, склонясь над матерью, почти упав ей на грудь, всхлипывала, а старуха с закрытыми глазами тянула из себя какой-то жуткий, заунывный мотив. Лицо при этом у нее было высветленным, почти торжественным.

Они прислушались и различили слова – ласковые, безнадежные и в то же время как бы вывернутые наизнанку слова, имеющие обратный и единственный смысл:

Отходила ты у нас полы дубовые.

Отсидела лавочки брусчатые,

Отсмотрела окошечки стекольчаты,

Ты, лебедушка моя, родима матушка.

– Что это у вас тут происходит? – громко и насмешливо спросила Люся. – Что за концерт? Кого это вы хороните?

Варвара и старуха враз смолкли. Варвара вскочила, показала на мать:

– Вот, матушка…

– Видим, что не батюшка, – хохотнул Илья.

– Помру я, – жалобно, пытаясь что-то объяснить, пролепетала старуха.

– Мама, мне уже надоели эти разговоры о смерти. Честное слово. Одно и то же, одно и то же. Ты думаешь, нам это приятно? Всему должна быть мера. У тебя это превратилось в культ, в настоящий культ. Ты ни о чем больше не можешь говорить. Тебе еще жить да жить, а ты все что-то выдумываешь. Так же нельзя.

– До ста лет, мать, чтоб обязательно – ага, – подхватил Илья.

Старуха, уставившись куда-то в стену, молчала.

– Ты же сама понимаешь, мама, что ты почти полностью выздоровела. Ну и живи, радуйся жизни. Будь как все и не хорони себя без смерти. Ты живой, нормальный человек – вот им и будь. – Люся выдержала небольшую паузу и тем же ласковым голосом сказала: – А нам сегодня надо ехать. Так получается, мама.

– Да вы чё это?! – вскрикнула Варвара. Старуха, не веря, оторопело покачала головой.

– Надо, мама, – мягко, но настойчиво повторила Люся и улыбнулась. – Сегодня «Ракета». А следующая будет только через три дня. Так долго ждать мы не можем.

– Не, не, – простонала старуха.

– Нельзя сёдни от матушки уезжать, нельзя, – кипятилась Варвара. – Вы прямо как неродные. Никто вас не гонит. Сами подумайте. Нельзя.

– Еще хоть день-то подождали бы, – поддержал ее Михаил.

– Мы ведь, мама, не вольные люди: что хочу, то и делаю, – не отвечая им, говорила матери Люся. – Мы на работе. Я бы с удовольствием прожила здесь хоть неделю, ко тогда меня могут попросить с работы. Мы ведь не в отпуске. Пойми, пожалуйста. И не обижайся на нас. Так надо.

Старуха заплакала, поворачивая лицо то к Люсе, то к Илье, повторяла:

– Помру я, помру. От увидите. Сёдни же. Погодите чутельку, погодите. Мне ничё боле не надо. Люся! И ты, Илья! Погодите. Я говорю вам, что помру, и помру.

– Опять ты, мама, о том же. Мы тебе о жизни, ты нам о смерти. Не умрешь ты и не говори, пожалуйста, об этом. Ты у нас будешь жить еще очень долго. Я рада была повидать тебя, но теперь надо ехать. А летом мы опять приедем. Обязательно приедем, обещаем тебе. И тогда уж не наспех, как сейчас, а надолго.

– Что летом! – вмешался Илья. – Не летом, а раньше увидимся. Мать вот как следует на ноги встанет, и можно к нам в гости приехать. Приезжай, мать. В цирк сходим. Я рядом с цирком живу. Клоуны там. Обхохочешься.

– Одним днем раньше, одним позже, – пытался понять Михаил. – Какая разница?

Люся вспылила:

– Я не собираюсь обсуждать с тобой этот вопрос. Наверное, я лучше знаю, есть разница или нет. Или ты по-прежнему считаешь, что мы должны везти маму с собой и для этого обязаны подождать ее?

– Нет, не считаю.

– И на том спасибо.

Они стали собираться. Сборы были торопливые, неловкие. Старуха больше не плакала, она, казалось, оцепенела, лицо ее было безжизненно и покорно. Ей что-то говорили, она не отвечала. Только глаза забыто, потерянно следили за суматохой.

Прибежала Надя, хотела на прощанье накрыть на стол, но ее удержали.

Всем было не до еды. Илья шепнул Михаилу:

– Может, на дорожку выпьем? Посошок – ага.

– Нет, – отказался Михаил. – Не хочу. Хватит.

Варвара все-таки не забыла, вслух сказала Люсе:

– А платье-то?

– Что?

– Платье, которое ты здесь шила. Ты говорила, что отдашь.

Люся достала из сумки уже уложенное раньше платье, брезгливо кинула его Варваре в руки.

В самый последний момент Варвара вдруг заявила:

– Я, однако, тоже поеду. Раз все, то и я. Вместе-то веселей.

– Варвара, – чуть слышно простонала старуха.

– Я, матушка, боюсь, как бы там ребяты без меня избу не спалили. Их одних оставлять никак нельзя. Того и гляди, чё-нибудь без меня натворят.

– Езжай, – махнул рукой Михаил. – Езжайте все.

Стали прощаться. Люся чмокнула мать в щеку, Илья пожал ей руку. Варвара заплакала.

– Выздоравливай, мама. И не думай ни о какой смерти.

– Мать у нас – молодец.

– Я, матушка, скоро приеду. Может, на той неделе.

Михаил пошел их проводить. Старуха слышала, как прозвучали за окном шаги, как что-то сказал и засмеялся Илья. Потом все стихло, и старуха закрыла глаза.

Ее растолкала Нинка.

– Возьми, баба. – Нинка протягивала ей конфету. Старуха отвела ее руку.

– Они нехорошие, – сказала Нинка об отъезжающих.

Губы у старухи шевельнулись – то ли в улыбке, то ли в усмешке.

Потом вернулся Михаил и подсел к ней на кровать.

– Ничего, мать, – после долгого молчания сказал он и вздохнул. – Ничего. Переживем. Как жили, так и жить будем. Ты не сердись на меня. Я, конечно, плохой тебе сын, но уж какой есть. Переделываться теперь поздно. Лежи, мать, и не думай. Дурак я. Ох, какой я дурак! – простонал он и поднялся.

Старуха слушала, не отвечая, и уже не знала, могла она ответить или нет. Ей хотелось спать. Глаза у нее смыкались.

До вечера, до темноты, она их еще несколько раз открывала, но ненадолго, только чтобы вспомнить, где она была.

Ночью старуха умерла.

**К урокам 25-26.**

**Валентин Распутин. «Пожар».**

**Валентин РАСПУТИН**

**ПОЖАР**

*Повесть*

Горит село, горит родное...

*Из народной песни*

1

И прежде чувствовал Иван Петрович, что силы его на исходе, но никогда еще так: край, да и только. Он поставил машину в гараж, вышел через пустую проходную в улицу, и впервые дорога от гаража до дома, которую он двадцать лет не замечал, как не замечаешь в здоровье собственного дыхания, впервые пустячная эта дорога представилась ему по всей своей дотошной вытянутости, где каждый метр требовал шага и для каждого шага требовалось усилие. Нет, не несли больше ноги, даже и домой не несли.

И предстоящая неделя, последняя рабочая неделя, показалась теперь бесконечной – дольше жизни. Нельзя было вообразить, как, в каких потугах можно миновать ее, эту неделю, и уж совсем не поддавалось ни взгляду, ни мысли то существование, которое могло начаться вслед за нею. Там было что-то чужое, запретное – заслуженное, но и ненужное, и уж не дальше и не видимей самой смерти представлялось оно в эти горькие минуты.

И с чего так устал? Не надрывался сегодня, обошлось даже и без нервотрепки, без крика. Просто край открылся, край – дальше некуда. Еще вчера что-то оставалось наперед, сегодня кончилось. Как завтра подыматься, как заводить опять и выезжать – неизвестно. Но оно и в завтрашний день верилось с трудом, и какое-то недоброе удовольствие чувствовалось в том, что не верилось, пусть бы долго-долго, без меры и порядка ночь, чтоб одним отдохнуть, другим опамятоваться, третьим протрезветь… А там – новый свет и выздоровление. Вот бы хорошо.

Вечер был мякотный, тихий… Как растеплило днем, так и не поджало и вроде не собиралось поджимать. Мокрый снег и по твердой дороге продавливался под ногами, оставляя глубокие следы; продолжали булькать, скатываясь под уклон, ручейки. В загустевших чистой синью бархатных сумерках все кругом в это весеннее половодье казалось затопленным, плавающим беспорядочно в мокрени, и только Ангара, где снег был белее и чище, походила издали на твердый берег.

Иван Петрович добрался наконец до дому, не помня, останавливался, заговаривал с кем по дороге или нет, без обычной боли, – когда то ли обрывалась, то ли восставала душа, – прошел мимо разоренного палисадника перед избой и прикрыл за собой калитку. С заднего двора, от стайки, слышался голос Алены, ласково внушающий что-то месячной телочке. Иван Петрович скинул в сенцах грязные сапоги, заставил себя умыться и не выдержал, упал на лежанку в прихожей возле большого теплого бока русской печи. «Вот тут теперь и место мое», – подумал он, прислушиваясь, не идет ли Алена, и страдая оттого, что придется подниматься на ужин. Алена не отстанет, пока не накормит. А так не хотелось подниматься! Ничего не хотелось. Как в могиле.

Вошла Алена, удивилась, что он валяется, и забеспокоилась, не захворал ли. Нет, не захворал. Устал. Она, рассказывая что-то, во что он не вслушивался, принялась собирать на ужин. Иван Петрович попросил отсрочки. Он лежал и вяло и беспричинно, будто с чужой мысли, мусолил в себе непонятно чем соединившиеся слова «март» и «смерть». Было в них что-то общее и кроме звучания. Нет, надо одолеть март, из последних сил перемочь эту последнюю неделю.

Тут и настигли Ивана Петровича крики:

– Пожар! Склады горят!

До того было муторно и угарно на душе у Ивана Петровича, что почудилось, будто крики идут из него. Но подскочила Алена:

– Ты слышишь, Иван? Слышишь?! Ах ты! А ты и не поел.

2

Орсовские склады располагались буквой «Г», длинный конец которой тянулся вдоль Ангары, или, как теперь правильней говорят, вдоль воды, а короткий выходил с правой стороны в Нижнюю улицу, – словно эта увесистая буква не стояла, а лежала, если смотреть на нее сверху из поселка. Две другие стороны были, разумеется, обнесены глухим забором. В этот товарный острог вело с улицы два пути: широкие въездные ворота для машин и рядом проходная для полномочных людей. Справа от ворот, ближе к складам, стоял аккуратно встроенный и наполовину выходящий из линии забора, весело глядящий в улицу зеленой краской и большими окнами магазин с одним крыльцом на две половины – на продовольственную и промтоварную.

Нижняя улица и вправо и влево от складов застроена была густо: людей всегда тянет ближе к воде. И серьезный огонь, стало быть, мог пойти гулять по избам и в ту и в другую сторону, мог перекинуться и на верхний порядок. Почему-то об этом прежде всего подумал Иван Петрович, выскакивая из дому, а не о том, как отстоять склады. В таких случаях раньше прикидывается самое худшее, и уж потом и мысль, и дело начинают укорачивать размеры возможной беды.

С крыльца Иван Петрович кинул взгляд в сторону складов и не увидел огня. Но крики, которые слышались теперь отовсюду, доносились оттуда отчаянней и серьезней. Чтобы спрямить дорогу, Иван Петрович бросился через огород и там, выскочив на открытое место, убедился: горит. Мутное прерывистое зарево извивалось сбоку и словно бы далеко вправо от складов; Ивану Петровичу на миг показалось, что горят сухие огородные прясла и банька, стоящая на задах, но в ту же минуту зарево выпрямилось и выстрелило вверх, осветив под собой складские постройки. Снова послышались крики и треск отдираемого дерева. Иван Петрович опомнился: и что же, куда он с пустыми руками? Он бегом повернул назад, крича на ходу Алене, но ее уже не было, она, бросив избу, умчалась. Иван Петрович подхватил с поленницы топор и заметался по ограде, не помня, где может быть багор, и не вспомнил, перехваченный другой мыслью: что надо бы закрыть избу. Тут заплясали на стене всполохи огня, заторопили, и Иван Петрович, потеряв всякую память, кинулся тем же путем обратно.

На бегу он успел отметить, что зарево сдвинулось ближе к улице. История, значит, выходила серьезная. И столь серьезного пожара, с тех пор как стоит поселок еще не бывало.

Иван Петрович обежал забор и от широких, распахнутых сейчас настежь ворот медленно пошел внутрь двора, осматриваясь, что происходит.

3

Загорелось, по всему судя, с угла или где-то возле угла, от которого склады расходились на стороны: продовольственные – в длинный конец и промышленные – в короткий. И те и другие стояли каждая сторона под одной собственной связью. И построено было так, и занялось в таком месте, чтобы, загоревшись, сгореть без остатка. Что до постройки, до того, чтоб с самого начала подумать о возможности огня, – русский человек и всегда-то умен был задним умом, и всегда-то устраивался он так, чтоб удобно было жить и пользоваться, а не как способней и легче уберечься и спастись. А тут, когда ставился поселок наскоро, и тем более много не размышляли: спасаясь от воды, кто думает об огне? Но что касается угла, где загорелось, здесь кто-то или, уж верно, злой случай, если не кто-то, умен был умом далеко не задним.

Сразу на две стороны и запластало. В продовольственный край огонь пошел по крыше, да так скоро и с таким треском, будто там поверху насыпан был порох. Этот край не успели закрыть шифером, который привезли уже по осени и сложили вдоль забора, где он лежал и теперь. А промышленный край стоял под шифером уже года два – одно дело, когда мочит ящики с банками или какие-нибудь там галеты-конфеты, и совсем другое – если под дождь попадут те же японские тряпки, за которыми в эти места приезжают аж из Иркутска и которые имеют какую-то особую цену еще и помимо денег. Но не шифер, конечно, помешал огню и в эту сторону кинуться по крыше, а что-то иное. Тут самое пекло было внутри крайнего склада, отсюда, на здравый взгляд, и могла начаться вся история.

Под шифером же стоял еще один склад – дальний в продовольственном ряду возле забора, тот, в котором держали муку и крупы.

Когда Иван Петрович, как-то кособоко, зигзагами подвигаясь, не зная, куда кинуться, шел по озаренному двору, только в двух местах начали сколачиваться группы: одна скатывала с подтоварника близ правого огня мотоциклы, вторая, мужиков из четырех или пяти, в другом конце разбирала на середине длинного порядка крышу – чтобы прервать верховой огонь. Их уже припекало близким жаром – мужики яростно кричали и яростно отдирали и сталкивали на землю черные от времени, ломающиеся тесины. Иван Петрович вспомнил про топор в руках – с топором к ним ему и следовало на подмогу – и, подбежав, заплясал внизу, отскакивая от обрывающихся досок и не догадываясь, как, с какого боку взбираться наверх. Совсем отказала ему голова, совсем ничего не шло на ум. И только когда увидел он, как кто-то, широко расставляя на два ската ноги, торопливо шагает по крыше от левого забора – туда и побежал, уже и не ругая себя словами, тут не до слов было, а словно бы вдыхаемым отчаянием кляня и опаляя, под стать общему жару, себя за бестолковость. А ведь давно ли мужик как мужик был – одна шкура от мужика осталась.

Там, наверху, командовал Афоня Бронников. Иван Петрович, подбегая, услышал его голос, приказывающий кому-то спуститься поискать лом или, на худой конец, любую железяку под выдергу. И как-то легче сразу стало на душе у Ивана Петровича: хорошо, что Афоня здесь. Тут же был и еще один надежный человек – тракторист Семен Кольцов, мужик, правда, приезжий, но Ивану Петровичу приходилось с ним вместе работать, и он знал: человек надежный.

Афоня, увидев топор в руках у Ивана Петровича, обрадовался:

– Ну вот, хоть один умный человек нашелся! А то на пожар бегут как за стол – с пустыми руками.

Он поставил Ивана Петровича на край, выходящий во двор, и тот, недолго присматриваясь, принялся отбивать доски. С другого конца ската, от конька, стоя на чурке, соскакивая всякий раз с нее и передвигая колотушкой, как кувалдой, бил споднизу в крышу сам Афоня, посередине, и тоже топором, орудовал Семен Кольцов. Он успевал и здесь, и на другой стороне ската, обращенного к Ангаре, и, обычно малоразговорчивый, сдержанный, войдя в раж, круша и кроша доски и слева и справа, что-то дико и беспрестанно кричал. Как ни занят, как ни употреблен был в деле Иван Петрович, он успел подумать, что так вот, вынося, выкрикивая себя из себя, может человек только бросаясь в атаку, бросаясь убивать или вынужденный разрушать, как теперь они, и что не придет же человеку в голову ором орать по-звериному, когда он, к примеру, сеет хлеб или косит траву для скота. А мы еще считаем века, которые миновали от первобытности; века-то миновали, а в душе она совсем рядом.

Когда Иван Петрович подскочил, раскрыто было до него метра на четыре. Вместе с ним стали подвигаться быстрей – и успели: огонь, скорым тропинчатым жором пробежавший по внутреннему скату, запнулся о пустоту, вымахнул вверх, вынудив их от крутого близкого жара присесть, но перекинуться через провал он уже не смог и развернулся и пошел добирать оставшееся в спешке позади сухое и податливое тонье. Задымились стропила, но не вспыхнули, а там, где пробовали вспыхнуть, накинулся и забил телогрейкой Афоня.

И еще раз убедился Иван Петрович: отчаянная душа этот Афоня, свой, из старой дозатопной деревни парень, теперь уже не парень давно – мужик.

Снова принялись за дело, чаще и опасливей оглядываясь назад. Вернулся посланный за ломом парень и принес вместо лома новость: выкатили обгоревший «Урал». Мотоцикл «Урал» с коляской, за которым в леспромхозе гоняются больше, чем за «Жигулями». Парень был полузнакомый, теперь их много, понаехавших с разных сторон и поживших уже немало, но так и не ставших знакомыми. Возмущаясь, он вскрикивал:

– Ведь был же он, был, «Урал»-то! Для кого вот он был? Для кого его прятали?! Я у Качаева недавно спрашивал. Нету – говорит. А он уж тут стоял!

Афоня понужнул его:

– Ты лом искал – или что?!

– Нету. Ничего нету, – закричал парень. – Вы поглядите: бабы с ведрами понабежали, а водовозку найти не могут. С Ангары на коромысле таскают. На такой ад – на коромысле! Да это ж все одно, что встать в ряд и чихать на него. Ему это все одно.

И парень криком стал рассказывать, как он, прибежав одним из первых, пробовал пользоваться огнетушителями:

– Его ударишь, как надо, а из него один пшик. Пшик – и все. Ни пены, ни гангрены. Они то ли высохли, то ли выдохлись.

Он кричал из-за спин: Афоня заставил его держать позади все той же телогрейкой оборону. От этого прерывистого, прыгающего голоса среди этого без роздыху и разгиба дела было жутковато. Ивану Петровичу казалось, что он звучит и рвется не из человека рядом, давящегося дымом и жаром, а из самих стен. И после, в течение долгого и горячего вечера, перешедшего потом в ночь, когда слышал Иван Петрович голоса, что-то кричащие и сообщающие, чего-то требующие, все чудилось ему, что это стены, земля, небо и берега звучат человечьими словами – чтобы понятно было людям.

Выбив и столкнув вниз последнюю тесину, Иван Петрович оглянулся и огляделся. Пламя позади поднималось высоко, жарко, освещая двор и широкими взмахами отблесков прыгая по крышам ближних домов. По двору молча и ошалело носились ребятишки, у промтоварных складов метались и вскрикивали неузнаваемо озаренные, точно сквозящие фигуры, выплясывающие возле огня какой-то стройный танец. Там огонь тем был страшен, что он выфукивал из-под крыши длинными яркими языками, заставляя людей, и правда, как в танце, отступать и снова наступать: «А мы просо сеяли, сеяли… А мы просо вытопчем, вытопчем».

Но набегало уже и начальство. Рядом с начальником участка посреди двора размахивал руками и все тыкал ими куда-то в сторону поселка главный инженер леспромхоза Козельцов. Борис Тимофеевич, слушая и не слушая его, подавал кому-то знаки, которые могли означать только одно: еще, еще… И вдруг, увидев прущий во двор трактор, кинулся ему навстречу.

Народу было густо, сбежался едва не весь поселок, но не нашлось, похоже, пока никого, кто сумел бы организовать его в одну разумную твердую силу, способную остановить огонь.

Избы и дома поселка, далеко осиянные заревом, по которым оно ходило с пугающим смотром, боязливо вжимались в землю. Иван Петрович, примериваясь, далеко ли, отыскал глазами крышу своей избенки и вспомнил: багор, который мог бы здесь пригодиться, лежит на сенцах, он сам два дня назад, когда вытаял снег, затолкал его туда.

4

Неуютный и неопрятный, и не городского и не деревенского, а бивуачного типа был этот поселок, словно кочевали с места на место, остановились переждать непогоду и отдохнуть, да так и застряли. Но застряли в ожидании когда же последует команда двигаться дальше, и потому – не пуская глубоко корни, не охорашиваясь и не обустраиваясь с прицелом на детей и внуков, а лишь бы лето перелетовать, а потом и зиму перезимовать. Дети между тем рождались, вырастали и сами к этой поре заводили детей, рядом с живым становищем разрослось и другое, в которое откочевали навеки, а это – все как остановка, все как временное пристанище, откуда не сегодня завтра сниматься. И, слыша по ночам работу электростанции, круглосуточно постукивающей машины, чудилось Ивану Петровичу, что это поселок, не глуша мотора, держит себя в постоянной готовности.

В поссовете висела схема поселка: прямые улицы, детсад, школа, почта, контора леспромхоза и контора лесхоза, клуб, магазины, гараж, водокачка, пекарня – все, что полагается для нормальной жизни, все, как у людей. Улицы действительно были прямые и широкие, в свое время линию, по которой выстраивались избы, соблюдали строго. Но в том и остался весь порядок: эти широкие не по-деревенски улицы разбиты были тяжелой техникой до какого-то неземного беспорядка, летом лесовозы и трактора намешивали на них в ненастье грязь до черно-сметанной пены, которая тяжелыми волнами расходилась на стороны и волнами потом засыхала, превращаясь в каменные гряды, а для стариков – в неодолимые горы. Каждый год поссовет собирал по рублю со двора на тротуары, каждый год их настилали, но наступала весна, когда надо подвозить дрова, и от тротуаров, по которым волочили и на которые накатывали кряжи, оставались одни щепки. За лето наготовить новые не удосуживались, летом всем не до того, «тротуарная» бригада выходила под зиму, в девственно новом и редко тронутом чьим шагом виде лежали они три-четыре месяца под снегом до февраля, до марта – и опять бессмысленно гибли под гусеницами тракторов и тяжестью неразделанного леса. А часто на них, на остатках этих тротуарчиков в три доски, его и разделывали – и пилили, и кололи. И никакие ни указы, ни наказы не помогали.

И голо, вызывающе открыто, слепо и стыло стоял поселок: редко в каком палисаднике теплила душу и глаз березка или рябинка. Те же самые люди, которые в своих старых деревнях, откуда они сюда съехались, и жизни не могли представить себе без зелени под окнами, здесь и палисадники не выставляли. И улица ревела и смотрела в стекла без всякой запинки. И тоже никакие постановления об озеленении толку не давали. Или уж верно: вырубая каждый год сотни гектаров тайги, распахивая налево и направо огромные просторы, не с руки и не с души прикрываться кустом черемухи от сквозного ветра и сквозного вида. Чем живем…

Одно слово: леспромхоз – промышленные заготовки леса. Этим многое из непорядка и неурядства в устройстве и объяснялось. Лес вырубать – не хлеб сеять, когда одни и те же работы и заботы из сезона в сезон повторяются, и сколько ни живи, все будет для хлеборобного дела мало. А лес выбрали – до нового десятки и десятки лет. Выбирают же его при нынешней технике в годы. А потом что? А потом собирайся и кочуй. Оставив домишки, стайки и баньки, оставив могилы с отцами и матерями и собственные прожитые лета, на лесовозах и тракторах туда, где он еще остался. А там начинай все сызнова. Проплывая летом по воде и проезжая зимой по льду мимо Березовки, Иван Петрович всякий раз с невольной тоской и растерянностью смотрел в ее сторону, на заколоченные и оставленные избы: стоял вот так же леспромхоз, отработал и ушел – и ни одной живой души в покинутом поселке, лишь осатаневшие туристы, пуская дым в двери, разжигают в домах костры.

Та же судьба рано или поздно ждала и их. Ее, как могли, оттягивали, но не бесконечно же… Свою древесину – со своих наделов они сняли еще семь лет назад. Отвели участок за Ангарой. Через пять лет, что только можно было, выбрали и там. После этого вплотную встал вопрос: быть или не быть поселку? Решали в районе, в области, в управлении и вырешили – быть. Снова пошли по своим старым наделам, по вырубкам, но если прежде брали только деловую древесину, только сосну и лиственницу (было время – травили березу и осину ядохимикатами, чтоб не засоряли леса), то теперь вычищали под гребенку. И техника пошла такая, что никакого подроста после себя не оставит. Тот же самовал, чтобы подобраться к кубатуристой лесине, вытопчет и выдавит вокруг все подчистую.

И этой работы «под гребенку» хватит года на три, на четыре. А дальше? А дальше, говорят, как на отхожий промысел в старину, будут уезжать бригады за десятки километров на долгие смены и, отработав, наведываться домой на отдых. Производственную и домашнюю жизнь разделят на вахты: неделю ты принадлежишь леспромхозу и неделю – семье. Строго по графику. Никаких взаимопроникновений, как ныне, одной жизни в другую.

И быть тому.

Да и как не быть, если другого дела здесь нет. Поля и луга, которыми когда-то жил народ, со строительством гидростанции затопили – и остались леса.

И вот на схеме в поссовете клуб, а клуб этот уже двадцать лет размещается в общественной бане, вывезенной из одного из старых поселков. Надо бы строить новый, но как строить, если наперед до самого последнего времени ничего не было видно. На схеме – детсад, а он не действует: неизвестно было, стоит или не стоит его ремонтировать. И стало известно – не торопятся. За эти планы никто ни с кого не спрашивает.

И как тут выглядеть поселку красивым – да еще в зареве пожара?!

5

Иван Петрович спрыгнул вниз и побежал к тому месту, где он только что видел начальника участка. С Борисом Тимофеичем пять дней назад они разругались вдрызг, когда начальник участка отказался подписывать его заявление об увольнении, но Иван Петрович знал, что если и может кто сделать тут теперь что-то, так это лишь он, начальник участка. Ни главный инженер, взятый полгода назад из соседнего леспромхоза с должности инженера по технике безопасности, ни директор леспромхоза, окажись он здесь (но его не было, он уехал на совещание), ни его заместители – никто, кроме Бориса Тимофеича, иссволочившегося на этой работенке, горячего пожилого человека, считающего оставшиеся до пенсии дни. Мало с кем жил он в ладах, как и с ним мало кто ладил, бегал злой, мог без разбору накричать, без разбору же мог похвалить кого попадя, но все это было в нем как дымовая завеса, которая сбивала с толку лишь новичков, не знающих хорошо Бориса Тимофеича. А кто знал, тот на минутные несправедливости и крики его не очень обращал внимание, помня, что Борис Тимофеич Водников – мужик свой, внутри себя твердо разбирающийся, кто есть кто и что есть почем, и дело свое по возможности правящий как следует. С первого дня, только построился поселок, был он, не прибавляя и не убавляя в должности, начальником участка, и уже одно это о нем, человеке, далеко не высшего образования, говорит, что без него обойтись не могли. А управляться с центральным участком, на глазах леспромхозовского руководства, которое во все встревает и ни в чем себе не отказывает, ох как непросто!..

Иван Петрович видел, что, завернув трактор с нетрезвым трактористом, Борис Тимофеич пошел к куче посреди двора, куда стаскивали спасенное от огня добро из складов. Но теперь его там не было. Иван Петрович тупо смотрел на кучу: широко разбросанные валенки, словно второпях поскидывали их те, кто прибежал на пожар, школьные портфели и связанная тюками школьная форма, шерстяные платки, ватные брюки, коробки с чем-то, чуть поодаль – наваленные друг на друга мотоциклы «Ява» и действительно «Урал» с обгоревшей люлькой. Да, спросят мужики с начальника ОРСа за этот «Урал», крику будет. Что вообще будет с начальником ОРСа после пожара? И, ничуть не сомневаясь, Иван Петрович вскользь усмехнулся своей наивности: выкрутится. Эти нигде не пропадут, им любое море по колено.

– Иван! Иван! – услышал он вдруг голос Алены. Она подбежала с коробками в охапке, подбежала бегом, но коробки опустила на землю осторожно, выбирая, где почище и посуше. – Иван, это че ж делается-то, а?! – голос ее был возбужден и поднят до какой-то запальчивой веселости, неестественно округленные, ошалевшие глаза казались дикими. – Этак все сгорит! А там чего только нет! Мы почему, Иван, такие-то?!

И, не дожидаясь ответа, он и не нужен ей был, развернулась и, мелконько, немолодо переваливаясь с боку на бок, словно соступаясь с каждого шага и на каждом следующем шаге быстро подхватываясь, заторопилась обратно. Иван Петрович с минутным вниманием посмотрел ей вслед, но настолько все смешалось в голове, настолько шарики зашли в нем за ролики, что он чуть было не подумал: «Кто это? знакомая какая-то!» – но успел оборвать себя, заставил себя узнать Алену, заметить, что не надо бы бабе носиться как угорелой, и тут же забыл о ней.

Он увидел Бориса Тимофеича. Но прежде услышал, как тот кричит, и по крику отыскал его в освещенной и странно, почти неподвижно застывшей толпе возле первого от угла продовольственного склада. К подскакивающему то и дело голосу начальника привыкли, но это был крик сумасшедший и потому неразборчивый. По ответу, отчетливому, хоть и тоже на парах – всех разогрел огонь, – Иван Петрович понял, что перед начальником Валя-кладовщица.

– Не буду! – запальчиво отвечала она. – Тушите. А открывать не буду.

– Сгори-и-ит! – мать-перемать.

– Тушите. Я маленькая, что ли, не вижу, что ли, как тащат у Клавки! Все тащат. А у меня там больше чем на сто тысяч. Я где их потом брать буду?! Где?! Где?!

– Сгори-ит! – надрывался начальник.

– Тушите. А открывать, чтоб растащили, я не обязана. Тушите.

Она зарыдала.

Иван Петрович кинулся было к начальнику, но тот сам повернул к нему. Не к нему, а к вороху из промтоварных складов, возле которого по-прежнему кружил Иван Петрович. За начальником, предчувствуя приказание, держалось несколько фигур из архаровцев, как называли в поселке бригаду оргнабора. И верно, не дойдя до вороха шагов пять, Борис Тимофеич крикнул, не оборачиваясь, зная, что его услышат и поймут:

– Ломайте!

Архаровцы кинулись обратно: эта работенка была по ним.

– Где Качаев? – в сторону Ивана Петровича закричал Водников. – Какого черта-дьявола?! – мать-перемать. – Это его склады. Где его носит?!

Качаев – начальник ОРСа. Борис Тимофеич лучше любого другого знал, что Качаев два дня назад вместе с директором леспромхоза уехал в город на очередное заседание. Да, растерялся и он, Борис Тимофеич, иначе не кидался бы с горлом да с кулаками на тень. И растеряешься, себя не сыщешь, не то что Качаева: такого еще не бывало.

И, взглянув на его черное и сухое, как обожженное, лицо с сильно обострившимся носом и вжатыми внутрь щеками, Иван Петрович напрочь забыл, зачем ему нужен был начальник участка, для чего он его разыскивал, и сказал то, что требовалось сейчас прежде всего:

– Ты, Тимофеич, поставь дядю Мишу Хампо в воротах. И сторож пускай встанет, это его дело. Но Хампо обязательно. Он здесь. Я его только что вон там, справа, видал.

Водников кинулся в ту сторону, куда показал Иван Петрович, даже не обернувшись к нему, даже и не поняв, быть может, что действует он по совету, а не по собственному решению. Иван Петрович видел, как он отыскал Хампо и, на ходу объясняя, что от того требуется, торопливо повел его к воротам. Дядя Миша Хампо с высоким запрокидом и низким поклоном размашисто закивал в ответ крупной седой головой, уже вглядываясь в толпу возле огня и отмечая людей, за которыми потребуется особый надзор. Конечно, там дядя Миша будет на своем месте, на Хампо положиться можно. Валя-кладовщица знает, что говорит. А сейчас, когда откроют продовольственные склады…

И точно – со скрежетом загремели выдираемые засовы, отчаянно запричитала Валя, совершенно обезумевшая от свалившейся беды, не видящая спасения ни в чем – ни в том, разумеется, чтобы ее хозяйство сгорело под замками, ни в том, чтобы оно было вынесено. Открыли одни двери, другие, с третьих, где засов не поддавался, сбивали огромный замок топором. Архаровцы действовали быстро и ловко – будто всю жизнь только тем и занимались, что ломали запоры. Иван Петрович, подбегая, столкнулся в распахнутых дверях крайнего правого помещения с одним из них, с Сашкой Девятым (Девятый фамилия, а не прозвище, у архаровцев, у которых все вверх ногами, и людские фамилии через одну), и Сашка, веселый, вдохновенно распаренный, хлопнул его с хитрым подвертом по плечу, так что Ивана Петровича на ходу развернуло к нему, и лихо, почти дружелюбно прокричал прямо в лицо:

– Не сюда. Не сюда, гражданин законник. Сгоришь – кто нам будет права качать?!

Они, познавшие режимную жизнь или подражавшие тем, кто познал ее, звали его гражданином законником. Он и к этому привык. Время, что ли, такое: ко всякому приходится привыкать, о чем еще недавно нельзя было и помыслить.

К тому, например, что и сама земля уходит из-под ног. Как это в буквальном виде случилось у них и с ними.

6

Двадцать лет сошло, как переехали, двадцать да еще и с гаком, должно быть, сама земля успела накрениться в ту сторону, куда их протянуло, но и дня единого не проходило, чтобы не вспоминал Иван Петрович свою старую деревню. Вспоминал всякий раз, когда вольно или невольно бросал взгляд на воду, под которой осталось нагретое деревней за три столетия место. Вспоминал и мимолетно, кивнув, как поздоровавшись, на ходу в ее сторону, и в тяжелых и частых раздумьях вспоминал, пытаясь в сравненье понять, что это, что за жизнь была там и к чему пришли здесь.

Он и фамилию носил ту же, что была частью деревни и выносом из нее, Егоров. Егоров из Егоровки. Вернее, Егоров в Егоровке. Из деревни своей он выезжал надолго только однажды – в войну. Два года воевал и год еще после победы по холостяцкому своему положению держал оборону в той же Германии, куда завезла его в танке Т-34 судьба. Воротился домой осенью 46-го. До сих пор живо в нем чувство, с каким увидал он тогда после разлуки свою Егоровку: господи, да она же не стоит, она лежит! – до того невзрачной и обделенной она показалась. На что только не нагляделся за войну – и на несчастья, и на бедность, и на поруху, все кругом вопило от страданий и молило о помощи, много что было переворочено и обезображено, но даже в самых пугающих разрушениях просматривалась надежда: дайте время, дайте руки – оживет и отстроится, человек не потерпит разора. Здесь же все оставалось и словно навсегда остановилось без перемен. Ничего не убавилось, но ничего и не прибавилось, и как бы даже не положено, чтоб прибавлялось. Так оно впоследствии и вышло: и еще пятнадцать лет прожили после войны, но как была скроена Егоровка о сорока дворах, с тем и осталась, и ни баньки, ни стайки к разношенному больше не подшилось. Правда, и о затоплении знали загодя, а тут уж не до новостроек, тут уж ноги в руки и гляди, куда править, – то ли со своей избенкой на гору, где брали грибы, то ли вслед за дочерью или сыном в заманчивый город.

Тогда, после демобилизации, бравый сержант в шлеме танкиста, отмеченный наградами и повидавший виды, отгуляв встречу, помнится, затосковал. Родина-то родина, что и говорить, тут каждый камень еще до твоего рождения предчувствовал и ждал тебя и тут каждая травка по новой весне несет тебе что-то в остережение или поддержку от былых времен, тут везде и во всем за тобой тихий родовой догляд. Но как представишь: все то же, все то же, все то же… как представишь, да еще на первых порах, и будто пришел с войны помирать своей смертью.

Но в раздумьях и неуверенности он замешкался, а это значило сделать выбор в пользу Егоровки. Вскоре подоспел голод, спасаться от которого легче было все-таки здесь, возле Ангары и тайги, вскоре разглядел он в соседней деревне Алену, которая так неумело и бесхитростно таращила на него свои и без того огромные зенки и так испугалась, когда он впервые взял ее под руку, что он не стал больше никого искать. Вскоре получил колхоз новую машину, за которую и посадить оказалось некого, кроме него, вскоре в тяжелой и долгой немочи слегла мать, и уж сама судьбина встала поперек его выездной дороги. И пошло-поехало как у всех: дети, работа, медленный и осторожный сворот на жизнь полегче и повеселей.

Иван Петрович не то чтобы свыкся, но словно бы от лукавого, набранного на стороне и тянувшего, тянувшего куда-то под неясное обещание, словно бы освободился от него и вздохнул с облегчением. Везде хорошо, где нас нет. В жизни, быть может, самое важное: каждому на своем заданном месте держаться правильного направления, а не кривить без пути и не завязывать его в узлы неопределенно-искательными перебежками.

Так он считал. Он и теперь так считает, но что делать, если приходится на старости лет противу собственных убеждений и желаний все-таки приготовляться к отъезду. И «приходится» – не ради сильного словца, а так оно и есть.

Да, вот еще. Лукавый, от которого он в свою пору освободился, все же не ушел одинешенек из дому, а увлек за собой Гошку, младшего брата. Укатил Гошка на стройку и с больших денег вконец там спился.

Кто бы подсказал вовремя, где они, пути наши?!

Иван Петрович остался в Егоровке, ужился и успокоился, нисколько не страдая от глухомани, которая с годами помаленьку просветлялась: провели электричество, чаще стали притыкаться к егоровскому берегу белые пароходы, появился в восьми километрах выше по Ангаре, как навис над Егоровкой, сманивая молодежь, богатый леспромхоз – и тут жизнь, как и везде, из целого числа превращалась в дробь с числителем и знаменателем, где непросто разобраться, что над чертой и что под чертой, и тут бы потихоньку раскочегарилось, раз такое одно на всех нынче время… И когда грянула весть о затоплении, когда подошел срок переезжать… признаться, Иван Петрович расставался с Егоровкой тяжело, не без этого, как всякий человек, имеющий память и сердце, и в то же время с тайным удовлетворением, что не он решал, а за него решилось, перевозил и ставил на новом месте он свою избу: там было хорошо, а здесь с годами должно быть лучше. Своими силенками Егоровке на ноги, похоже, никогда бы не подняться.

Новый поселок, в который свезли шесть таких же, как Егоровка, горемык и где сразу утвердился леспромхоз, назвали по обширным лесам, а на теперешний взгляд, по сырью – Сосновкой.

7

Уж если срывать запоры, то срывать следовало раньше. Когда Иван Петрович заскочил в крайний справа продовольственный склад, там полыхало вовсю. Над щелястым потолком гудело страшно, одним мощным гудом, вобравшим в себя все подголоски: несколько потолочных плах возле угловой стены с одного конца сорвало, и в проем бешеными выхлопами обрывался огонь. Угловая стена горела сверху донизу, подступиться туда было невозможно, дымились и остальные стены; сквозь щели в потолке там, где он еще держался, огонь выметывался полосами и с треском искрил. Все накалилось донельзя и все могло вспыхнуть одним разом. Сквозь угар пахло жареным мясом и чем-то горьким и едким еще, чем-то из съестного, что не требовало такого разогрева.

Прежде Иван Петрович не бывал внутри и теперь остатками годного для удивления чувства успел поразиться изобилию. На полу немалой горой были навалены пельмени, рядом и тоже на грязном полу в грубых веревочных опоясках валялись толстые, уродливо раздутые колбасные круги, уже разметанные ворвавшимися людьми; в тяжелых кубах на невысоком помосте у задней стены плавилось, морща и втягивая в себя оберточную бумагу, масло, там же в нагроможденных друг на друга ящиках выглядывала красная рыба. Что-то было в деревянных бочках, что-то в картонных коробках, что-то в бумажных мешках. Было, значит, все-таки было! – и куда все это уходило? Неужели только в котлопункты на лесосеках? Расскажите кому-нибудь другому – будто не едал он на этих котлопунктах, не знает, что там водится и что видится лишь во сне! И усмехнулся Иван Петрович или подтолкнул себя обожженной мыслью, что надо в этом месте усмехнуться над своим неразумием: а машины из райцентра, оттуда, отсюда, каждый божий день подворачивающие к ОРСу и извлекающие из конторы Качаева! Зря, что ли, хлопочут об общих, централизованных складах для всех трех леспромхозов, которые должны находиться, конечно, в райцентре! И кивнул или подумал, что надо кивнуть, Иван Петрович: теперь, если сгорят эти, самые большие в самом большом леспромхозе, легче легкого будет добиться своего.

Сколько же на свете неробей и причиндалов! И как получилось, что сдались мы на их милость, как получилось?!

Запахиваясь телогрейкой и приплясывая от жара, Иван Петрович выбрасывал в двери слизисто-скользкие, начинающие скукоживаться круги колбасы. Там, во дворе, кто-то подхватывал их и куда-то относил, Иван Петрович видел только набегающие и отбегающие ноги в кирзовых сапогах. Рядом тоже были люди, но кто был, он не узнавал; время от времени они натыкались друг на друга и отшатывались – жар становился все нестерпимей, огонь по потолку и по стенам проворно подвигался влево, глаза слезились, в горле першило, казалось, горел даже дым, которым приходилось дышать. Что-то сильно, как на сковороде, шипело, что-то по-снарядному взрывалось; оборвалась сверху подгоревшим концом еще одна плаха; закачалась, помахивая огнем, и оборвалась другим. Пора было отступать. Колбасу, кажется, выбросали, ящики с рыбой вытаскали, но, взглянув на помост возле задней стены, где были ящики, Иван Петрович разглядел там масло и кинулся туда, охнув, что не колбасу следовало спасать, а масло. Он подхватил один из осевших кубов, и масло, обжигая руки, поползло, как тесто, у него на животе, стекая всей массой под ноги; он опустил его на пол, снова подхватил, наваливая на грудь и выгибаясь – и вынес, передал кому-то в руки. Руки были в верхонках, и Иван Петрович пожалел, что не догадался прихватить из дому верхонки, – как бы они пригодились! Он снова двинулся внутрь, все так же запахиваясь телогрейкой и выглядывая из-за нее, как из-за щита, направляясь опять к дальней стене, где оставалось масло, но на полдороге кто-то наскочил на него и, то ли прикрываясь им, то ли его прикрывая, поволок обратно. Иван Петрович не сопротивлялся, понимая, что да, хватит.

Этот кто-то на воздухе оказался Сашкой Девятым. Сашка оскалил зубы и прохрипел те же самые слова:

– Сгоришь, гражданин законник!.. Ой, сгоришь!..

И оттолкнул Ивана Петровича от себя.

8

Никто, похоже, больше не тушил – отступились, а только вытаскивали, что еще можно было вынести. Водовозка с опущенным шлангом, из которого сочилась вода, стояла с работающим мотором возле ворот; ярко озарен был весь двор, и Иван Петрович, как-то сразу увидев лужицу под шлангом, кинулся к ней, чувствуя, что без воды дальше не вытерпит. Он сполоснул лицо, которое засаднило еще сильней, и сделал из ладони несколько глотков, всего два или три глотка, и вода кончилась, в шланговой кишке зафыркало вхолостую, зашипело и смолкло. Он потряс еще кишку, подергал, подставляя руку, – пусто.

Нет, промтоварные склады было не отстоять: огонь там с сытым и мощным гулом дошел полным опоясом до середины и двигался дальше. Шифер на крыше от пекла крошился и стрелял этим крошевом, как стреляют и подпрыгивают орехи на раскаленной сковородке. Побрасывало и головешками. Находиться вблизи было опасно, кто-то из мужиков с криком гнал прочь ребятишек, под замахами рук те отскакивали и, обезумевшие, с вытаращенными глазами, как намагниченные на огонь, тянулись обратно. Иван Петрович высматривал среди мечущихся по двору, продолжающих вытаскивать и перетаскивать фигур, Алену – ее нигде не было. Ворох спасенного добра рос. Добрались до хозяйственного склада, звенели косы, кастрюли, посудная мелочь, бухало листовое железо. Господи, то ли надо спасать, то ли… Или правы люди, что без чайника и сковородки не обойтись, а без холодильника и телевизора можно.

Заскрежетал, ходуном заходил забор между складами и магазином и рухнул ближним звеном внутрь, открыв улицу и трелевочный трактор, который отступал и разворачивался для нового тарана. Это правильно, отметил Иван Петрович, склады не отбить, но магазин отстоять можно, до него от складов порядочно. Возле трактора суетился Козельцов, главный инженер: стало быть, это он сообразил свалить забор, который мог быть дорожкой для огня.

Да, плакали промтоварные склады, плакали японские кофточки и родные сковородки – разве столько в сравнении с вынесенным останется там, в этом пекле?! Но продовольственные склады, попустившись правым, еще и теперь можно бы спасти, будь машина и будь побольше порядка. Но «пожарку», единственную на весь леспромхоз, еще года два назад разнесли на запчасти, она только числится на вооружении…

Иван Петрович все еще осматривался торопливо, все еще хотел отыскать Алену, прежде чем снова нырять в огонь, когда его тронул за плечо дядя Миша Хампо.

– Хампо-о… хампо-о! – с усилием тянул он из себя, показывая левой, здоровой рукой в глубину двора. Там, в левом углу, освещенный заревом сбоку и сзади, изломанно-приподнятый, кажущийся огромным привидением, стоял человек и, как гранаты, метал через забор бутылки. Иван Петрович заторопился к нему, но еще раньше, выскочив откуда-то справа, к этому человеку подоспел Борис Тимофеич, наскочил на него с криком, дернул, едва не сбив с ног, снова рванулся наскочить… Тот, другой, замахнулся бутылкой. Он бы, может, и ударил, всякое в такую минуту могло случиться, если бы не набежавший Иван Петрович, успевший перехватить бутылку. Это был один из архаровцев, один из самых отпетых, которого звали почему-то бабьим именем Соня и с которым Иван Петрович уже схватывался. Соня выдернул из рук Ивана Петровича бутылку, откинул ее в сторону и принятым среди этого брата иноречием нараспев пригрозил, показывая через головы:

– Ох, как жарко гори-ит! Ох, горячо-о! О, больно-о! И вразвалочку зашагал туда, где горело.

– А ты где был? – не нашел ничего лучшего, как накинуться на Ивана Петровича, начальник. – Где вы все, черт бы вас побрал! Куда вы смотрите?!

– В баню ходил, – в тон ему ответил Иван Петрович. – Сходи и ты, ополоснись, а то кидаешься!.. Смотрел бы хоть, на кого кидаться!..

Огромная, всходила за горой луна. Выкатываясь из-за леса, она подвигалась вправо, и, как на экране, вплывали в нее и в холодном кипении сгорали в ней верхушки деревьев.

9

Теперь, пожалуй, не доискаться, как и с чего произошел сворот на нынешнее раздольное житье-бытье. Но не было же этого поначалу, уже и в новом поселке не было, чтоб люди так разошлись всяк по себе, так отвернулись и отбились от общего и слаженного существования, которое крепилось не вчера придуманными привычками и законами. А вспомнить, не ими ли, не этими ли законами, не этой ли грудью единой спасались и спаслись в старой деревне в войну и в лихие послевоенные годы, когда за десять колосков, не размениваясь и не мелочась, по десять же лет и приговаривали? Когда едва справлялись с налогами, когда у «нерадивых» обрезали огороды, чтоб обрезанное зарастало крапивой, и не позволяли до белых мук покосить на свою коровенку? Когда надо было не только держаться вместе, но вместе и исхитряться, чтоб выстоять? А ведь в деревне тоже всякие люди водились, и кой у кого зудело, поди, донести да навести, соблюсти законность и сослужить верную, запрашиваемую службу. Не без того, чтоб не зудело. Но знал он: в деревне после этого не живать, Егоровка ему этого не простит.

А теперь вот Ивану Петровичу приходится съезжать – и как все переменилось! Можно сказать, перевернулось с ног на голову, и то, за что держались еще недавно всем миром, что было общим написанным законом, твердью земной, превратилось в пережиток, в какую-то ненормальность и чуть ли не в предательство. И Сосновке все едино, ей, быть может, даже спокойней и удобней, если Иван Петрович уедет и перестанет мутить воду. Или наоборот, да, конечно, наоборот: не станет, как выживший из ума старик, помнивший из детства чистую воду, махать руками, чтоб она и поныне оставалась чистой, когда все вокруг замутилось. Уж если зашла речь о воде, то она, как известно, чиста не тогда, когда она действительно чиста, но когда ее хотят видеть чистой. А для этого вольно на глаза какую-нибудь хитрую оптику нацепить.

Нет, не сразу, как переехали, пошло боковым ходом. Конечно, новая работа сказалась: валить лес, только валить и валить, не заботясь, останется, вырастет что-нибудь тут после них или нет. Это теперь заставляют на вырубках делать посадки, да и то как заставляют: вроде и обязан, как обязан время от времени думать о смерти, чтоб чище жить, но можно и не думать о ней, жить, и все, а жизнь состоит в том, чтоб рубить. За невыполненный план по посадкам – пожурят, за план по вырубке – семь шкур сдерут. Вот и повелось и не сменилось с годами, что игрушками этими, лесовосполнением, должен заниматься лесхоз, а у того пять рук на пятнадцать разнарядок, и ни одно дело до конца довести он не в силах.

Попервости и строилась каждая деревня в Сосновке своей улицей, и жить собрались теми же общинами, что прежде. Вдовых баб, стариков ставили на ноги по заведенному обычаю всем «колхозом», помогая им переносить избенки и раздирать огороды. По этим огородам торились тропки, чтоб напрямую, не выходя в улицу, бегать друг к другу за всякой надобностью и без надобности, когда высвобождалась минутка для разговоров и чая. И раздавалось на закате солнышка на всю округу: «Дарья-а! Марья-а! Самовар поспел! Наталья-а! Ты к криволуцким не пойдешь?» – на ближнюю, значит, от горы улицу, которую заняла деревня Криволуцкая.

Потом все перемешалось. И не то плохо, что после смертей, свадеб, разделов и торгов одна деревня стала проникать в другую, жизнь невозможна без таких проникновений, а то пошло неладом, что взамен уехавших и унесенных принялись селиться люди легкие, не обзаводящиеся ни хозяйством, ни даже огородишком, знающие одну дорогу – в магазин, и чтоб поесть, и чтоб время от работы до работы скоротать. Сначала от работы до работы, а затем и работу прихватывая, заслоняя ее магазином, и чем дальше, тем больше, тем слаще и неудержимей. Работа этого, понятно, не любит – и нелады с ней, с работой, и уж общины другого толка, которых раньше не было и в помине. Водились, конечно, пьянчуги, где они на святой Руси не водились, но чтоб сбиваться в круг, разрастаться в нем в открытую, ничего не боящуюся и не стыдящуюся силу с атаманом и советом, правящим власть, такого нет, не бывало. Это уж наши собственные достижения.

Недавно директор школы Юрий Андреевич, учительствовавший еще в Егоровке, взялся подсчитать, сколько в шести деревнях, слившихся в Сосновку, погибло народу за войну и сколько его сгинуло не своей смертью за последние четыре года. Не своей смертью – это значит пьяная стрельба, поножовщина, утонувшие и замерзшие, задавленные на лесосеках по своему ли, по чужому ли недогляду. И разница вышла небольшая. Иван Петрович ахнул, когда услышал: вот те и мирное время! А ведь знал он обо всех этих случаях, переживал их, всегда что-то меняется и как бы смеркается в мире, когда уходит из жизни знакомый человек, и ослабевает в тебе что-то с его уходом, будь он хоть трижды непутевый, знал он о каждом отдельном случае и сокрушался, но сведенные вместе, в одно число, поставленное рядом с другим числом, оно подействовало на него оглушительно. Несколько дней он ходил сам не свой, пытаясь что-то понять и понимая только, что невозможно понять, ничего невозможно понять из того, что он пытается извлечь из этого страшного равенства. Тут что еще: погибший на фронте взывал к справедливости и добру, оставляя их вместе с душой и воспоминаниями, живущими среди родных, и оставлял для движения и исполнения; сами того не подозревая, мы, быть может, лет двадцать после войны держались этим наследством погибших, их единым заветом, который мы по человечьей своей природе не могли не исполнять. Это свыше нас и нас сильнее. Потратившийся же вот так, ни за понюх табаку, по дурости и слепому отчаянию – дурость, распущенность и отчаяние после себя и оставляет. Смерть – учитель властный, и чью сторону, доброго или худого, она при своем исполнении берет, той стороны прибавляется впятеро.

В первые годы и весь леспромхоз был – один этот участок. Потом открыли второй, потом третий, четвертый, и только по прямой береговой линии протянулось нынешнее порубочное хозяйство на сто с лишним километров. Теперь один участок выбирает в год больше ста тысяч кубов. Подскочил план, все мощней, все хитрей и сноровистей погнал технику, и своим народом стало не управиться. Поехали сезонники, шабашники, кто за лишним рублем, кто за лишним днем, который все равно, как и где прожить, лишь бы быть ему прожитому. Обозначился в последние годы особый сорт людей, не совсем бросовых, не потерянных окончательно, которые в своих бесконечных перемещениях не за деньгами гоняются и выпадающие им деньги тут же с легкостью спускают, а гонимы словно бы сектантским отвержением и безразличием ко всякому делу. Такой ни себе помощи не принимает, ни другому ее не подаст, процедуру жизни он исполняет в укороте, не имея ни семьи, ни друзей, ни привязанностей, и с тягостью, точно бы отбывая жизнь как наказание. Про такого раньше говорили: ушибленный мешком из-за угла, теперь можно сказать, что он всебятился, принял одиночество как присягу. И что в этих душах делается, кому принадлежат эти души – не распознать.

И вот по веснам, когда надо отправлять спущенный за зиму с гор лес, и по осеням, когда снова надо его срезать и спускать, приливают и отливают, приливают и отливают, не задерживаясь не из-за неудобств каких-то непереносимых, а просто не умея, не понимая, зачем и для чего задерживаться, понукаемые неясной и нестерпимой тревогой. А уезжают – горькая тоска в глазах: куда? зачем? Но уезжают, и оставшиеся вспоминают о них лишь по чудачествам и выкидонам, на которые они мастаки, вроде тех, что один артист зубами поднимал любой стол с закуской, другой делал на водке тюрю и не морщась выхлебывал ее ложкой, третий, пугая работающих на почте девчонок, любил отправлять телеграммы, похожие на шифровки: «Третий день дождь, что делать?» – или: «За ноябрем декабрь, не перепутай» – или: «Не жди меня, но я вернусь». Старая Егоровка за все триста лет допотопного ее существования не изведала и тысячной доли тех чудес и кудес, какие приняла Сосновка за двадцать. И, судя по всему, они не к концу идут.

Это, понятно, самое невинное, самое легкое из того, что можно вспомнить. А можно вспомнить еще, как было с лесничим Андреем Солодовым. Солодов данной ему властью два года назад оштрафовал леспромхоз за высокие, едва не в пояс, пни. По большому снегу, чтоб не расчищать, валили как легче, нарушая нормы, и Андрей, мужик в общем покладистый, после долгих уговариваний и угроз не вытерпел: вот вам, раз человеческого языка не понимаете. В пятницу кассирша поехала за зарплатой и вернулась ни с чем: банк под штраф леспромхозовские деньги арестовал. В субботу Андрей, как обычно, истопил баню, помылся и лег спать, а баня в ночь сгорела. По неосторожности, по недосмотру, надо думать, самого хозяина: топил ведь и мылся, а потом завалился и дрыхнул без задних ног. В понедельник кассирша снова отправилась в банк и снова воротилась с пустой сумкой. Снова было ждать до среды, пока вырешат, где взять деньги. А в среду сказали – до пятницы. В среду у Андрея Солодова потерялась лесхозовская кобыла, единственная на весь поселок трудяга, на которой вспахивали половину огородов и которая в лесном деле была незаменима. Только по весне вытаяли ее косточки в чащобе, рядом валялась догнивающая веревка.

Иван Петрович разговаривал с Андреем, и они сошлись, что без своих тут не обошлось. Смешно было бы грешить только на приезжих. Нет, и свои, с кем бок о бок жито и работано под завязку, научились косо смотреть на всякого, кто по старинке качает права и твердит о совести. И свои грозили Ивану Петровичу, когда, не умея молчать, содравший бы с себя потом семь шкур за молчанку, поднимался он на собрании и вслух объявлял все, что творилось на лесосеках, на нижнем складе, в гараже и магазинах. Говорил то, что знали все и что постепенно становилось обычаем, – и как без нужды и жалости рвут технику в лесу или гоняют ее по пьяному и трезвому делу за десятки километров по собственной надобности, и как среди бела дня тащат с лесопилки, и как по дороге в леспромхоз таинственно исчезают указанные в накладных товары, а вместо них для облегчения торговли сразу появляются деньги, и как в нарушение техники безопасности заставляют трактористов спускать на неокрепший лед лес, и как… Дошло до того, что сам Борис Тимофеевич наутро после получки вез втихаря в своей брезентовой сумке на лесосеку пару бутылок, чтоб остановить готовую сорваться бригаду. А они научились принимать это как положенное, как те же три пачки чая, выдаваемых бесплатно профсоюзом.

Иван Петрович исступленно размышлял: свет переворачивается не сразу, не одним махом, а вот так, как у нас: было не положено, не принято, стало положено и принято, было нельзя – стало можно, считалось за позор, за смертный грех – почитается за ловкость и доблесть. И до каких же пор мы будем сдавать то, на чем вечно держались? Откуда, из каких тылов и запасов придет желанная подмога?

– У тебя пошто глаза-то этак повернуты? – гудел Борис Тимофеич, но не было в его голосе ни нажима, ни вопроса, на который требовался ответ. – Пошто ты все одно к одному? Без плана, видишь, не живем…

Тут-то Иван Петрович и взрывался:

– План, говоришь? План?! Да лучше б мы без него жили!.. Лучше б мы другой план завели – не на одни только кубометры, а и на души! Чтоб учитывалось, сколько душ потеряно, к черту-дьяволу перешло, и сколько осталось!.. План!.. Ты вспомни, как было… ну, пускай хоть пять лет назад...

– А что пять лет назад? – Борис Тимофеич прикидывался непонятливым. Тогда не было ни самосвалов, ни челюстных погрузчиков. КрАЗа твоего не было, на который ты по тридцать кубов зараз грузишь.

– Опять двадцать пять! Ты тогда водку на гору за свои деньги не возил за-ради плана. Ты вот что вспомни. Наш план выполнять – дело нехитрое, ему агрономия не нужна.

– Нехитрое? – уж кто-кто, а он, съевший не одну собаку не одной породы на плане, жизнь свою отдавший плану, среди ночи просыпающийся, когда доводилось спать, от страха за план, как чумы, боящийся последних чисел месяца, когда в такой сложной технологии, какая и не снилась пшенице, вызревал план – уже он-то знал, что дело это не только хитрое, но и требующее много чего сверх всякой хитрости. Объяснить все это было нельзя, и он с тайной обидой говорил: – Тебя бы в мою шкуру.

– Не хочу. Мне и в своей тяжко.

Афоня Бронников, егоровский мужик, работающий на трелевочном тракторе, держался другого резона.

– Что ты, Иван Петрович, кипятишься? – с укоризненной улыбкой на широком и твердом кержацком лице увещевал он. – Кому ты что докажешь? Я так считаю: я работаю честно, живу честно, не ворую, не ловчу – и хватит. У кого глаза есть, тот видит, как я живу и как другие живут. Кто куда расположен, туда и пойдет. Наше дело – жить правильно, пример жизнью подавать, а не загонять палкой в свою отару. От палки толку не будет.

– Да ведь опоздали, опоздали с примером-то! Поздно!

– Ничего не поздно.

Но Иван Петрович был устроен по-другому, под ежедневным давлением в нем словно бы сжималась и сжималась какая-то пружина и доходила до такой упругости и закрученности, что выдерживать ее становилось невмоготу. И Иван Петрович, не однажды дававший зарок молчать, доказавший себе, что молчание это тоже метод действия и убеждения, Иван Петрович опять поднимался и, западая голосом, страшно нервничая и ненавидя себя, начинал говорить, понимая – напрасно.

Еще до архаровцев, сбившихся вокруг Сашки Девятого, еще до них было: пришел утром Иван Петрович в гараж, а на его КрАЗе соединительные тормозные шланги к прицепу изрублены. Накось, значит, выкуси, правдоискатель плюшевый. Это ему однажды было сказано: «Что ты, как мишка плюшевый, которому два слова ввинтили: хорошо – нехорошо, хорошо – нехорошо. Ты сам кумекай маленько».

Стало быть, и хорошо – нехорошо. Быть стало, и нехорошо – хорошо. Поневоле зарапортуешься, заблудишься в двух словах.

10

Из первого продовольственного склада огонь вытеснил полностью. Перешел во второй. Хорошо еще, что над ним, над вторым, была сбита крыша, это придержало огонь. Он вжигался от правого и дальнего верхнего угла и через потолочный настил. Когда Иван Петрович в первый раз заскочил сюда, тут тоже было накалено и дымно, но все-таки без огня сносно, помещение изнутри держалось еще о четырех стенах. Здесь оказалось на удивление людно, здесь весело кричали и перекликались, стоял сплошной звон и бряк. Иван Петрович не вдруг разглядел организованную цепочку, по которой передавались ящики с наиходовым товаром – с водкой. В цепочке стояли и свои, и архаровцы. Потоптавшись растерянно и прихватив один ящик, чтоб не с пустыми руками, Иван Петрович выбежал обратно, уверенный, что этому товару не дадут пропасть и без него. На воздухе его обдало каленым заревом сверху и донеслись откуда-то крики Вали-кладовщицы, требующей и умоляющей вынести растительное масло. Валя кричала, что его, растительного масла, до осени не полагается, выбрали все, и Иван Петрович, повороченный этими словами обратно, с дурной головы не мог припомнить, что теперь – зима или лето.

И выскакивал на одну секунду, а из правого угла уже пробивался огонь.

Пробивался с ревущим полыханьем огонь, еще веселей и отрывистей раздавались голоса из цепочки, густо позвякивали бутылки, но был и еще один повторяющийся звук в этом месиве звуков – будто что-то мелодично выщелкивало или сухо взбулькивало. Взбулькивало или выщелкивало с тоненькими подголосками. Иван Петрович приступом направился к раскаленной стене, откуда они раздавались, и возле ящиков с заграничным вином догадался, что это было: из бутылок выстреливало пробки. До подголосков он не стал доискиваться, решив, что происходят они, вероятней всего, от такого же салюта из посудинок с тройным одеколоном или от чего-нибудь в этом же роде. С некоторых пор тройной одеколон перешел в разряд продовольственных товаров, им сдабривали сухое венгерское или болгарское вино, которое в своем собственном вкусе отвергалось мужиками как чересчур кислое и незабористое.

Иван Петрович искал растительное масло в бутылках, а оно оказалось в железной бочке. Он с трудом, обжигая руки, повалил ее, огромную, с раздутыми боками, побывавшую не в одной переделке, но выкатить не мог, под его усилиями она только раскачивалась. Он заторопился к цепочке и, не вглядываясь и не выбирая, выхватил из нее первое попавшееся звено. Оно оборотилось тем самым парнем, вместе с которым сбивали крышу и который принес наверх известие о найденном мотоцикле «Урал». От парня пахнуло кипяченой водкой; ничего не понимая, но и не сопротивляясь, он запрыгал вслед за Иваном Петровичем. Вдвоем, где руками, где ногами, они выкатили бочку.

– Там еще одна! Иван Петрович, там еще одна есть! – закричала Валя-кладовщица и кинулась показывать. – Вон там она, вон там!

Иван Петрович придержал Валю и подтолкнул от двери наружу, ей тут с ее материальной заинтересованностью, которая могла оказаться сильнее здравого смысла, делать было нечего. Незачем ей видеть, что тут происходит. Иван Петрович в секунду потерял напарника, с которым выкатывали бочку, тот, конечно, не мешкая встал в строй. Пытаясь отыскать его, Иван Петрович заметил, что по цепи передаются не одни только ящики, но и раскупоренные бутылки, взблескивающие под огнем как электрические фонарики.

– Ходом! Ходом! – начинал один, с маху откидывая соседу ящик, и цепь подхватывала: – Ходом! Ходом!

– Ходом, ходом! – взмывала над запрокинутой головой бутылка. – Ходом! Ходом!

Но и огонь шел ходом: ворвавшись внутрь, он завладел половиной задней стены, перекинулся на потолок, откуда в каком-то своем ритме вымахивал вниз длинными ухающими языками. Все труднее становилось дышать, это было уже не дыхание и не воздух, которым дышат, а быстрое и беспорядочное хватание выгоревшей пустоты. Кто-то, и не разобрать было, мужик или баба, тревожно звал оголенным и рвущимся голосом:

– Петька! Петька! Ты здесь? Ты где?

– Мы твоим Петькой закусили! – крикнули из цепи; и этот голос показался обгоревшим, проволочным, протолкнувшим сквозь жар одни слова.

И опять Иван Петрович уронил бочку с маслом, более аккуратную, чем первая, и, казалось, послушную, опять пытался катить в одиночку. Кто-то помог ему. Уже когда выехали, Валя-кладовщица, встречавшая бочку, запричитала и ударилась в рев: бочка была без пробки. Иван Петрович оглушенно смотрел то на извивающийся из склада след масла, то на Валю, которая убивалась так, будто два-три литра пролитого масла самая большая для нее сегодня потеря.

Ивана Петровича подхватили сбоку – Афоня Бронников. Быстро шагая прочь от огня в левый угол двора и увлекая за собой Ивана Петровича, Афоня объяснял:

– Муку надо убирать, Иван Петрович, пока не поздно. Это все… – он сделал пренебрежительную отмашку назад, где горело. – А без муки останемся… Без муки нельзя.

Из третьего склада ребятишки и бабы выносили банки со сгущенным молоком, коробки с какими-то маленькими, совсем игрушечными, баночками, что-то в аккуратных, перетянутых металлическими лентами, коробках. За третьим складом в крайней к забору и низкой, без подтоварника, постройке и держали муку.

Широкие, как ворота, двери были распахнуты.

Тени от Ивана Петровича и от Афони, все удлиняясь и удлиняясь в уродливом изгибе, перемахнули через забор и вознеслись над поселком.

– Гори-и-им! – раздалось где-то в верхних улицах. Иван Петрович испуганно вскинулся и стал всматриваться на голос.

– Проснулся! – с веселой злостью отозвался Афоня. – Скоро уж сгорим, а ты только хватился. Давай, браток, подбегай, пока не поздно. Завтра шабаш, завтра не опохмелишься.

11

Одно дело – беспорядок вокруг, и совсем другое – беспорядок внутри тебя. Когда вокруг – при желании сколько угодно там можно отыскать виноватых, а иной раз и вовсе посторонние силы способны вступить в действие и сыграть, как говорится, роль. Словом, у того порядка или беспорядка много хозяев, им трудно бывает договориться, у них разное понимание мира устроенного, и что для одного разумное расположение вещей, для другого полный кавардак.

Во всем, что касается только тебя, ты, разумеется, сам себе господин. В находящемся в тебе хозяйстве взыскать больше не с кого. И даже если тебе кажется, что оно зависит от многих внешних причин и начал, эти причины и начала, прежде чем влиться в таинственные и заповедные твои пределы, не минуют твоей верховной власти. Стало быть, и в этом случае спрашивать приходится только с себя.

И нет ничего проще, как заблудиться в себе. Чувствительный человек это знает. Он смотрит на себя не как врач, который прежде всего видит органы, выполняющие определенные функции, а как могущественный и безвольный вседержитель чудом доставшегося ему от природы огромного и непонятного царства, требующего какой-то особой власти.

Тебе чудится, что ты знаешь, где находится в тебе совесть, где воля, где память где возникают желания и откуда берутся запреты и ограничения. Ты не знаешь места их расположения, но представляешь, по каким связям следует посылать сигналы, чтобы они отозвались. Совесть заговаривает в тебе не сама по себе, а по твоему призыву; быть может, она способна спросить и самостоятельно – конечно, способна, но не успевает: тебе верится, что ты обращаешься к ней раньше. Ты полагаешь, что так и должно быть в вверенных тебе границах: чтобы ты с опережением вмешивался в готовый ли раздаться ропот или ослабевающее согласие, чтобы ты выходил первым и заговаривал прежде, а не являлся по требованию.

Ты и они. Ты – властелин, несущий в теле своем, как в царстве, все его города и веси, все установления и связи, все пороки его и славу. И они, составляющие таинственную жизнь твоего мира. Это и одно целое и розное. Одно целое и неразрывное – когда правят мир и согласие, когда возникающие недоразумения, без которых никакая жизнь не обходится, существуют только до той поры, пока не рассудит разум. Именно так: недоразумение – до разума. И розное – когда наступает разлад и когда принадлежащие тебе владения отказываются тебе повиноваться. Только тогда приходит догадка, что они сильнее тебя. Потому что это они составляют твои поступки и мысли, направляют твои движения и добывают звуки из твоего голоса. Потому что в конце концов ты смертен, а они нет, они были в тебе по велению какой-то неясной могущественной силы, которую ты так и не смог соединить в образ. И это она, а не ты, была их властелином, а ты был лишь временной их обителью, слабой оболочкой всего того, что они вместе из себя представляли и откуда они искали согласия и соединения с миром. Ты не оправдал их надежд и не донес, не показал, что тебе было велено. А это значит, что ты не был собой. Кем угодно ты был, но только не собой, и не с тобой, а лишь с именем твоим, станут прощаться, возвращая тебя обратно.

Одно дело – беспорядок вокруг, и совсем другое – беспорядок внутри тебя. Страшное разорение чувствовал в себе Иван Петрович – будто прошла в нем иноземная рать и все вытоптала и выгадила, оставив едкий дым, оплавленные черепки и бесформенные острые куски от того, что было как-никак устоявшейся жизнью. Не сказать, что он и раньше жил в полном согласии с собой, во всяком даже и совсем удоволенном человеке всегда что-то выходит из повиновения и принимается то ли скулить, то ли требовать. Выходило и у него. Но это нуждалось, так сказать, в текущем ремонте. Иван Петрович знал, чем поправляется это нездоровье – работой или добрым делом. Он не делал доброе дело только ради того, чтобы, как снадобьем, смазать им ноющую рану, оно делалось само, и боль постепенно утихала. Она словно затем и возникала время от времени то в одном, то в другом месте, чтобы показать, что они не потеряли способности чувствовать и болеть.

И что же теперь стало? Как случилось, что все его с такой заботой отстроенное нутро вдруг взбунтовалось и озлобилось против него? Что бы он ни делал – все не так, куда бы ни пошел, за что бы ни брался, какая-то сила останавливает его и вышептывает с мстительной выправкой в голосе: а больше ты ничего не мог придумать? А больше он ничего действительно не мог придумать, у него опускались руки и пронизывающим пустодольем обносило все тело.

Он не помнит, с чего начался этот раздор с собой. С чего-то ведь он должен был начаться, когда-то впервые его душа не просто не согласилась с ним, а возроптала и отказалась его понимать. То, как он жил, было ей поперек. Но в том-то и штука, что он всегда старался жить по совести, всегда поступки свои примерял к справедливости и пользе, к общему, как казалось ему, благу. А разве душа и совесть не родные сестры, разве не совесть питает душу и разве есть между ними распря? Когда нужно было говорить, правду, он говорил; когда требовалось дело – делал. Да он только и делал, что не сворачивал с правды и дела. И разве не важно для них оставаться в границах, какими они были представлены человеку? Правда – это река, ложе которой выстелено твердым камнем и берега которой в отчетливых песчаной и каменистой линиях, река с чистой и устремленной вперед водой, а не подпертая масса с гуляющим уровнем гниющей жидкости, с хлябкими и подмытыми берегами. Правда проистекает из самой природы, ни общим мнением, ни указом поправить ее нельзя. Так почему же тогда он, живущий по несворачиваемой правде, вступил в войну не только с другими, кто ее не хочет или принимает лишь наполовину, но и с самим собой? Почему он уверен, что не годится жить, соглашаясь с правдой лишь наполовину или отказываясь от нее вовсе (уж лучше вовсе, чем наполовину), но в то же время не уверен в себе, кто стоит прямо на другом конце против тех, кто точно не прав? Они не правы, и, он, говорящий, что они не правы, держащийся правды как закона, – и он не прав. В чем дело?

Или совесть и правда, существующие сами по себе, меж собой сообщаясь и друг друга пополняя, или они не самостоятельны и склоняются перед чем-то более важным? Перед чем? Перед душой? А что душа, хлопочущая о примирении, готова служить и вашим и нашим? Но если и вашим тоже, если она ищет правду и совесть там, где они не ночевали, значит, и правда не правда и совесть не совесть, а только ищущая и страдающая душа. И как быть ей, если совесть и правда скособочены по ее милости? В чем найти ей поддержку? Ладно, можно допустить, что душа не любит прямолинейности, не терпит прямосудия, что так она устроена, что ей любо отыскивать жемчужные зерна в отвалах, да ведь пока она там будет рыться, на своей стороне ничего не останется. Ну, а что такое своя сторона, не своя, кто проводил между ними границу, и почему так тянет человека за эту границу, не есть ли в этом его общий удел – уйти со своей стороны на чужую?

И, додолбившись в бесконечных этих «как» и «почему», не державших ответа, соскальзывающих с ответа, как с отвесной стенки, додолбившись до глухого тупика, до какого-то остростенного безжизненного узика – отступал Иван Петрович: ничего не понять.

12

В последнем, мучном складе не одна только была мука и не с одними только крупами, хранили еще и сахар. Средь муки и крупы он держался по-барски: они, сваленные как попало в мешках на пол, оплыли серой пылью, для сахара же с левой стороны устроили настил и подстелили брезент. И кули, в каких он был, отличались чистотой и доброшивом, и уложены они были аккуратно. Будто не свои же мужики таскали и укладывали, а вызывали бригаду из-за границы. По привычке хвататься прежде за тяжелое, ноги понесли Ивана Петровича к сахару. Но Афоня Бронников придержал:

– Давай, Иван Петрович, за муку. Это все... – и он опять, как в том складу, отмахнулся.

Здесь хоть не припекало. Но торопиться следовало и здесь, до огня оставалась одна неполная постройка. Огромная и бесформенная куча не куча, штабель не штабель из муки возвышалась в полтора-два человеческих роста. Для двоих здесь таски до следующего пожара. Иван Петрович не позволил себе испугаться работы, не тот это был случай, чтобы раскидывать и подсчитывать, а взвалил первый попавшийся, отбитый в сторонку мешок, не подумав, что ради его отставили, и с головой ухнул в муку. Мешок по шву разошелся, раззявленным боком вскинул его на себя Иван Петрович и – как взорвался белым, мука залепила рот, набилась за воротник. Афоня, не выдержав, могуче загрохотал-захохотал:

– Теперь, Иван Петрович, в Ангару, опосле под огонь – и пирог готовый.

Отряхиваясь и отплевываясь, Иван Петрович не сдержал досады. Но это было и разумно, что он сказал:

– Ты, чем гоготать, прикинул бы, что мы с тобой тут с гулькин хвост не вытаскаем. На выпечку не хватит. Где народ-то?

– Начальник хотел собрать...

– Да он уже забыл, твой начальник!.. Его отхватили куда – и с концом! Он без головы сегодня.

Встав на изготовку, которая показывала, что он сейчас начнет хватать любого за шкирку и метать сюда, Афоня пошел.

Иван Петрович с мешком на загорбке в дверях остановился. Куда? До ворот далеко, и таскать в ворота – это торить дорогу, которая никому не нужна. Рядом забор, но забор на ногах, он держит оборону против охотников до всего этого разбросанного по снегу и грязи добра. И все-таки надо валить забор. И вдруг Ивана Петровича ожгло: а где же топор? Где топор, который он прихватил из дому и которым сбивал крышу? Где он его бросил? Иван Петрович кинулся было на огонь, но спохватился, что б последнем складу, откуда он выкатывал масло, делать ему с топором было нечего, он оставил его где-то раньше. И топор сгорел. Сгорел топор, который нужен сейчас для забора больше рук. Взял из дому вещь и погубил.

Он вспомнил опять об Алене, и тревожным был этот высверк о жене: не подлезла бы, дурная голова, под беду. Почему-то показалось, что между ними сейчас огромная даль. Рядом, а далеко. Потому что расстояние это меряется другими, незнаемыми шагами, которыми он еще не ходил.

До того, как кинуться куда-то, взглянул еще Иван Петрович на склад, откуда его выхватил Афоня: в дверной проем там уже не ныряли и не выныривали, а метали из него сквозь шторой наплывающий рисунчатый огонь последние банки и склянки. Это до чего же надо быть отчаянной башкой, до чего ошалеть от геройства, чтобы держаться там неизвестно на чем! А перед дверью кто-то в белой заячьей шапке, в прыжках и бросках перехватывая на лету выбрасываемое, выделывал такие коленца, какие не снились и циркачу. Перехватывал и, не глядя, откидывал за спину. Неподалеку в ярком озарении стоял и смотрел на него Борис Тимофеевич. Выхлестнуло над серединой промтоварных складов высоко пламя и крутым светом высветило весь двор, в котором все, казалось, стояло неподвижно и любовалось ловкостью парня в белой заячьей шапке. И стоял и любовался Борис Тимофеич. Пламя опало, и начальник сорвался с места, сорвалось опять и все остальное.

За короткий тот миг, когда разом высветило весь двор, успел заметить Иван Петрович вдоль по забору прислоненную к столбу колотушку, которой Афоня орудовал наверху, и теперь как нарочно оставленную там, где она могла понадобиться. Иван Петрович на бегу подхватил ее и ухнул рядом со столбом по верхней и тут же по нижней поперечинам. Забор отвалился, открыв вид через вдавленную дорогу на огород и баню однорукого Савелия из коренных ангарских мужиков. Иван Петрович отбил второй конец связи, она упала, и здесь к нему подоспел помощник. Ничему в эту ночь не следовало удивляться, и все-таки Иван Петрович не мог сдержать удивления. Помощником был не кто иной, как Сашка Девятый из архаровцев. Вдвоем они приподняли сваленное звено и спустили по откосу на дорогу. Специально гадай лучше не выгадаешь: вышел помост – чтоб муку не на землю.

– Давай еще одну, Иван Петрович, – весело и араписто скомандовал Сашка. Знал он, оказывается, и по имени-отчеству, а не одно лишь «гражданин законник».

Они оторвали вторую связь и постелили ее рядом с первой. И только поднялись – с тяжким стоном осел, брызнув искрами, первый на изгибе промтоварный склад. Искры из него все сыпали и сыпали, заглушая крики и забивая свет. Сашка помчался туда. Иван Петрович видел, как мужики, которых вел Афоня, метнулись обратно. И он не вытерпел: надо было отыскать Алену.

Алена стояла в пяти шагах от вороха с добром, куда она что-то принесла и опустила с бряком, и только бряк этот и подтвердил, что она прибежала не с пустыми руками. Теперь, остановленная до взапяток плеснувшей раскаленной волной провалившегося склада, она не помнила, откуда прибежала и что принесла и потеряла, куда бежать. Кругом, повернутые в одну сторону, где все еще трещало и искрило, кричали и размахивали руками, но и крики были сухими, и размахи с подпрыгами и наклонами – будто в заведенной игре. Во всем том, как вели себя люди – как они выстраивали цепи, чтобы передавать из рук в руки пакеты и связки, как бегали по двору, отворачивая друг от друга и сталкиваясь, как дразнили огонь, рискуя собой до последнего, как заводились то в лад, то не в лад кричать, – во всем этом было что-то ненастоящее, дурашливое, делающееся в азарте и беспорядочной страсти. Настоящим был только огонь, сосредоточенно и беззатейно перемалывающий все, что подворачивалось на его пути.

Искрить безостановочно и взрывчато наконец перестало, и снизу, на обвалившемся, опять наладился огонь. На оборванных углах он светил вытянутыми и склоненными факелами. Соседний промтоварный склад под высоким венцовым пламенем, казалось, раскачивается и скрипит, пытаясь оторваться, и не может оторваться, притянутый с другой стороны общей стеной к следующей постройке. Кстати или некстати Алена вспомнила, как рассказывали, что под Усть-Илимом вниз по Ангаре поднимало со дна и носило по воде затопленные с лесом острова, которые потом бомбили с самолетов. В ближнем продовольственном складе под каким-то сладостным продуктом не горело, а сияло – как при электричестве. Ясно виделось теперь, что нет, ни одного склада не отбить.

Алена достояла до момента, пока на нее не наткнулся Иван Петрович. Испуганный ее неподвижностью, когда все кругом бежало и кричало, он подкрался последними шагами и зашел к ней спереди.

– Ой, Иван, ты погляди! – встрепенулась она, не зная, что сказать. Смотреть тут же нашлось на что. – Ты погляди! – она показала на извивающуюся справа в отдалении и все равно освещенную фигуру, которая, скинув шубейку, что-то торопливо на себя натягивала. Кто-то это был из архаровцев, Иван Петрович различал их по коротким и дерганым движениям.

– Что же это делается-то, Иван?! Что делается?! Все тащат! Клавка Стригунова полные карманы набила маленькими коробочками. А в них, поди, не утюги, в них, поди, че-то такое!.. В голяшки наталкивают, за пазуху!.. А бутылки эти, бутылки!..

– Не вздумай ты что взять, – он и слова-то эти сказал, чтобы только вытолкнуть из себя скопившийся внутри угарный комок.

Да, тут никакой дядя Миша Хампо не поможет. Хампо караулит, чтобы не вынесли что большое, заметное, а тут вон как…

– Да ты что, Иван! Ты что?! – без возмущения, видя, что он не всерьез, зачастила Алена. – Мне-то зачем? Много я тебе натаскала, покуль живем? Шибко много?

Дьявол с ними, пускай подавятся.

Он не пошел одергивать ту архаровскую фигуру.

13

Два года назад справлено было тридцать кругов, как Иван Петрович жил с Аленой. А справлено было так: взяли в одно время отпуска и проехались по выросшим детям, которые все до единого ушли из родного дома. Но их и всех-то – две дочери и сын. Двигались от ближнего к дальнему: сначала к дочери в райцентр, где она учительствовала в младших классах, потом ко второй, к старшей, дочери в Иркутск, где чуть было не споткнулись, только там, в Иркутске, узнав, что дочь в больнице. Дали ее семье квартиру в девятиэтажном доме на самой верхотуре, а лифт не пустили, и вот, таская при переезде совсем тяжелое и не совсем тяжелое, надсадилась она до того, что сразу после новоселья загуляла в больницу. В мать – та тоже не знает удержу. Конечно, неловко было уезжать при этаком раскладе, но Таня, городская дочь, настояла, чтоб ехали. До чего Иван Петрович, привыкший ко всякому и не разморенный мужик, а и он, сделав десяток ходок на девятый этаж, заплетаясь на последних пролетах ногами и руками, заметно почернел вырывающимся словом и рад был уехать подальше от этих вызверяющих граждан городских удобств.

А лифт там, пишет дочь, и по сю пору на приколе, в его шахте через выломанную дверь уже кто-то разбился. Что в иных местах нельзя, в Иркутске можно.

И только у сына, к которому летели на самолете, Иван Петрович вошел опять в душу. Сын Борька встретил их в Хабаровске – рослый, как все они нынче на сытых хлебах, сильно повзрослевший, в форме, выделяющей его мужскую стать и подбирающей материнскую скуластость. Уже и не Борька, а Борис Иваныч. После авиационного училища он работал техником в небольшом аэропорту, и, к покою Алены, работа его делалась на земле. В тот же день на другом, на маленьком самолете они прибыли на это место – красивый и богатый поселок, весь в зелени и уборе. Правда, и время выпало хорошее – сухой сентябрь. Борис жил своим домом, который отдали молодым тесть с тещей, построившиеся посолидней отдельно через улицу, а при доме был сад с разной ягодой и самделишной яблокой. Обо всем этом Борис и рассказывал и писал, но, пока не видел глазами Иван Петрович, как к писаному и относился. А потеребил яблоко с живого дерева, обошел поселок, поглядел в людские лица, не испорченные через одно пьянством, съездил на рыбалку, подивившись, что рыбы в невеликой речке больше, чем в Ангаре, и порадовался за Борьку. Везде, сказывают, хорошо, где нас нет, но тут и верно было не худо. Дело не в яблоке и не в тепле, свой климат он и есть свой, а жизнь здесь чувствовалась не надрывная, порядка здесь просматривалось больше, и держался этот порядок не на окрике и штрафе, а на издавна заведенном междоусобном общинном законе. Вот в чем дело. И даже если и преувеличивал Иван Петрович, а казалось ему, что ничуть он не преувеличивал, то и тогда несравнимо с Сосновкой.

Сын с невесткой пристали: переезжайте. Им подпели Борисовы тесть с тещей, которым Иван Петрович с Аленой приглянулись, видать, бесхитростностью и подладом. Присмотрим неторопко дом, сторгуемся, здесь большой совхоз, работа найдется. Будете при нас, а мы при вас, все равно надо к кому-то притуляться. Никто вас в Сосновке за хвост не держит.

Никто за хвост не держит, а Сосновка сама? А земля, которой отдана жизнь? И жизнь всего позаднего, прежнего рода. Неужели оставить все это архаровцам, которые, идучи с работы, по дороге сворачивают на кладбище оправляться, с чем прихватил их однажды Иван Петрович? Кому-то надо или не надо держать оборону? Проть чужого врага стояли и выстоим, свой враг, как и свой вор, пострашнее

С тем и примирился Иван Петрович, воротившись от сына и впрягшись опять в невеселый хомут сосновской жизни. Но знал он теперь, что не всюду живут одинаково и что есть куда оборачиваться за поддержкой. С тем и работал, продолжая тянуть лямку победителя соревнования, хотя никакого соревнования не было и в помине, а было – или работник ты, или нет, или природный пахарь, или неотставной болтун. И встревал, и лез на рожон, и сердце надрывал снова и снова – с тем же: не везде трын-трава. И выходил из отчаяния, и других наставлял, кто готов был из него не выбираться, соорудив из отчаяния стену, за которой… гори оно все синим пламенем.

Все с тем же.

Однако в последнем году стало совсем невмочь – с тех пор как прибыла и утвердилась теперешняя бригада архаровцев. Раньше этих бригад перебывало не счесть. Поживут, погудят, покажут местному народу товар лицом – и восвояси, дальше пытать неприкаянную свою судьбу. И уж на кладбище до десятка могил их них, кто ненароком отыскал ее и причалил навеки. Всякие наезжали, но таких, как нынешние, не было. Эти явились сразу как организованная в одно сила со своими законами и старшинством. Пробовал разбить их – не получилось. Пытались отправить на лесосеку за Ангару – нет. Остались на нижнем складе рядом с поселком на разделке и откатке, где нужны сноровистые руки. А у них сноровка по другим делам. И пошло-поехало. Лесом все кругом завалено впереплет, так что не подъехать, кубатура вместе с обрезью, в огне горят и вершинник и хлысты. Стоишь с машиной по полчаса, пока сам не поможешь растаскать завал. Не удержишься, накричишь, а с них взятки гладки, они только похохатывают да подкусывают, накричишь потом на Бориса Тимофеича, а он на тебя. На работу стал выезжать как на каторгу.

И в поселке. В клубе бильярд на деньги, в магазине для всех очередь, для них – посторонись. А скажи – оборвут так, что недели не хватит, чтоб собрать себя по кусочкам. Люди, столкнувшись с какой-то невиданной сплоткой, держащейся не на лучшем, а словно бы на худшем в человеке, растерялись и старались держаться от архаровцев подальше. Сотни народу в поселке, а десяток захватил власть – вот чего не мог понять Иван Петрович. Но, раздумывая об этом, догадывался он, что люди разбрелись всяк по себе еще раньше и что архаровцы лишь подобрали то, что валялось без употребления. Он допускал и верил даже, что при большой общей беде архаровцы могли показать себя людьми – не совсем же пропащее это племя, но при развезени, когда ни шатко ни валко, их собирает вместе и возносит в расхристанности неурядье, которое они чуют, слетаясь к нему, по-звериному обострившимся чутьем. Не зря прижились они в Сосновке; в Сырниках, где теперь сын, не прижились бы. А здесь за год съехало только двое. Один кавказского вида, державший попервости верх в команде, был, по-видимому, скинут и уволен своими же, после чего утвердился Сашка Девятый; другой, покалеченный в пьяной драке, обратно из больницы не вернулся. И еще один, по фамилии Сомов, отбился от своих и ушел в семью к Наде Почиваловой, мужик у которой утонул.

В декабре выруливал Иван Петрович с нижнего склада в поселок после работы, и на полдороге остановил его Сашка Девятый, шагавший с кем-то из своих. Иван Петрович притормозил. Сашка сел, а тот, другой, остался, хотя место в кабине было. Красивый парень этот Сашка – высокий, ладно сбитый, со светящимся белобрысым лицом, но красота как бы подточена чем-то. Сразу и не понять, в чем штука. Будто подсыхает она изнутри, морщится, будто поверху только и осталась.

До самого поселка ехали молча. Но, сходя у общежития, сказал Сашка с неряшливой улыбкой:

– Ты вот что поимей, гражданин законник, герой борьбы и труда… Ни нам до тебя дела нет, ни тебе до нас. А будешь к нам за делом ходить, и мы к тебе придем.

А вскоре кончилось в магазине питье. Кончилось и кончилось – ни справа по Ангаре нет, ни слева. И архаровцы, оголодав, снарядили с рюкзачком брата своего, Соню, в город. Неделю, пока летал да сидел он по непогодью в аэропортах, работали они за «того парня», скрывая, что его среди них нет. А тут лес, тут годовой план, день и ночь на нервах. Каждые руки на вес золота. А по прибытии Сони с продуктом архаровцы поредели вдвое. Иван Петрович привез директора и показал: смотрите, что творится. Тот снял бригаду с нижнего склада. Потом Борис Тимофеич вернул ее, работать в конце концов кому-то надо было, а на запущенное архаровское место, опасное еще и тем, что оно архаровское, никто идти не хотел.

В январе, в ветреный со снегом день, когда в двух шагах ни холеры не видать, подъехал Иван Петрович на нижний склад и встал под разгрузку. Подошел разгрузчик, подцепил крюком лес и свалил на поката. За один раз не вывалить, снова зацепил остатки и снова потащил на себя. Не теряя времени, Иван Петрович стал поднимать стойки. В каждой из них вес нешуточный, сдуру не вымахнешь. Задрал наверх первую и замешкался, чтобы перевести дух. И только сделал шаг, только вынес из-под нее голову, тяжеленная металлическая подпора вдруг оборвалась. Взяла и оборвалась, хотя, установленная и наклоненная внутрь, не должна была пойти назад и никогда не ходила. С той стороны, куда вывалился лес, суетились архаровцы – двое. Иван Петрович постоял возле них, посмотрел, подумал и ничего не сказал. А что скажешь? И поехал, размышляя над судьбой.

На собрании, где подводились итоги года, Ивана Петровича премировали талоном на ковер. Он поднялся и, портя заведенную обедню, отказался от талона: ковер ему был не нужен. Ни премии, ни почести ему были не нужны, а нужна была такая работа, которую с другого конца не подпирают, чтобы ее остановить, и такая жизнь, которая обошлась бы без подножек. Он так и сказал. Но сказал нервно, чуть не на слезе, допытываясь, почему делается вид, что все хорошо и даже прекрасно, если выполняем план, и до каких пор план станет прикрывать и оправдывать все, что творится внутри плана? Обида Ивана Петровича была не на архаровцев – что с них взять?! – а на своих, притерпевшихся и покосившихся, поверивших, что всякая перемена только во благо. Иван Петрович, разгорячась, захлебнулся тем же, что упирало его в спину и при ночных раздумьях: да неужели только он один это видит и понимает, а никто больше не видит и не понимает? И если он один, то зачем? Зачем видеть и понимать? Есть ли это истинное видение и понимание? Не покривился ли он сам тем именно, что слишком упирается, чтобы удержаться в прямизне?

Палисадник перед избой разворотили совсем недавно, уже после того, как Иван Петрович написал заявление об увольнении. Скорей всего, подцепил с пьяных глаз кто-то из своих. Если поспрашивать, нетрудно и доискаться, чья это работа. Но спрашивать не хотелось. И Алена молчала, а уж ей-то обязательно донесли. Обида с людей, правых и виноватых, сошла в нем в злость только на самого себя.

Спасение было одно: уехать.

14

С некоторых пор Иван Петрович невольно стал присматриваться к Алене внимательней. Даже и не присматриваться, а как бы прислушиваться к тому месту, которое она занимала с ним рядом. Каждый мужик, наверно, держит перед собой два образа жены – какая она есть и какой бы он хотел ее видеть. Они то совпадают, то расходятся, то заговорят одним голосом, то на разные. У них словно бы и лицо с отличниками, и меж собой они не обязательно ладят. Мужик, понятное дело, безошибочно слышит, когда подходит к нему одна и когда другая, но и она сама знает, где в ней какая, и она чувствует несоединенность в себе человека и жены. Конечно, то же самое можно сказать и о мужике, но сейчас не о нем речь.

И вот Алена его, неизвестно с какого времени, сошлась в одно целое. Больше всего озадачило Ивана Петровича, что он не заметил, когда это произошло, когда он перестал делить ее на Алену для себя самой и Алену для него. Проживши тридцать да еще с гаком годочков, ясно, что они немало перелились друг в друга и тем уже стали роднее, что в каждом из них прибавилось плоти другого, которая не может не проникать к своему изначальному крову. Все это так, и все то должно бы относиться ко всем, десятки лет ложившимся в общую постель. Однако у Алены было что-то еще и особое. У нее изменился голос. Словно это не она говорит, а через нее говорит единая женщина, матерь всех мирских женщин. Голос сделался глубже, сочней и шел серединой звучания, не прибиваясь к сухим берегам. И частить она стала меньше, и слово стало добычливей: раньше она изводила великое множество слов, пока извлекала то, самое главное, ради которого заводила разговор, теперь же оно находилось быстрей, без артподготовки, как любил он подшучивать, и оказывалось точней.

Алена незаметно заняла место, на которое ее в молодости не хватало и которое можно определить так: женская сыта. Это значит, что Алены было ровно столько, сколько нужно, – не больше и не меньше. Быть может, чуть больше, но маленький перебор всегда исправим. Находился ли он дома или уходил, он постоянно чувствовал в себе Алену, продолжавшую свою неустанную службу. Она, когда требовалось, добавляла или убавляла его характеру, находила в нем терпение и вела домой. В долгих рейсах у себя в машине он нередко разговаривал с ней, зная, чем она станет отвечать, и, поговорив, посоветовавшись, приходил к какому-нибудь решению. Опрятный и мягчительный тот мир, который был Аленой, с годами не только не выстыл, но еще и пораздался в понимании и тепле. Мужик, в котором не звучит голос жены: погоди, Ваня или Степа, скоренько выпрастывается из жизни и, даже живя, ходит в ней как в малахае с чужого плеча.

Маленькая, подбористая, с девчоночьей фигурой, она не передвигалась, а взмывала и летала. И так до сих пор, хотя надо бы уже поубавиться прыти. Глядя на нее, не раз Иван Петрович обрывал себя на страшной и, быть может, вещей мысли, что такие люди, как Алена, такие порывистые и заведенные, срезаются мгновенно, без жалоб и постепенного остыва. В свое время, когда, наломавшись вдоволь и нормировщицей и учетчицей, наслушавшись матюков и нахолодавшись на вольном воздухе, спросила-сказала она, что собирается пойти в библиотекари, Иван Петрович засмеялся: «И что ты там станешь делать? В окошки, как бабочка, биться?», не представляя ее сидящей, как того требовала работа с книгами. А она и не сидела. Она даже карточки выписывала на ногах, чуть склонившись над столом или подоконником. И по участкам, по участкам, подсовывая книжки даже тем, кто не знал, с какого конца они раскрываются. А сколько он, Иван Петрович, книг перечинил – до сотни! – сначала какие читал, потом остальные, и не одной починкой, а она все подкладывала и подкладывала.

Теперь, значит, и ей сходить с работы, которую она любила.

Не принято ныне хвалить жен, но что делать, если нечего представить Ивану Петровичу даже и для бога самого об Алене худого. И как вспомнит он: вот она бежит, вот бежит повечеру в дом, нетерпеливая и утолокшаяся, чтоб скорей увидать мужика, вот на бегу еще выкрикивает что-то виноватое и прерывистое – и сразу мирью растягивается душа. Вот они сидят вдвоем за чаем, он молчит, она говорит за него и за себя, и он не знает, где чьи слова, а знает только что наговорились они с пользой и всласть.

Жена – это что-то отдельное. Дозволенное для общей жизни, но отдельное. Иные весь век притираются друг к другу и не могут притереться. Алена для Ивана Петровича была больше чем жена. В этой маленькой расторопной фигуре, как во всеединой троице, сошлось все, чем может быть женщина. Обычно таких, кто всю жизнь изо дня в день выстилается и выплескивается, не ценят, принимая как должное, как воздух и воду, эти старания и добиваясь чего-то, неизвестно чего, еще. Русский мужик не привык жить с бабой в одну душу. А у Алены все это было без надсады и жертвы, а исходило из натуры ее и души, и она засохла бы на корню, если бы не над кем было ей хлопотать и кружить. Все до капельки выносила она в общую жизнь, ничего для себя не оставляя, и, опростанная, полегчавшая и с лица и с тела опавшая, столь счастливо и блаженно улыбалась, укладываясь спать, чтобы запастись за ночь новыми силами, что никаким хитрым сомнением нельзя было усомниться, будто это не так.

Каждый, поди, мужик держит в своей памяти какой-то один случай, способный скачать об его жене все. Давным-давно, еще жили в Егоровке, возился как-то Иван Петрович под машиной с невыключенным раскрытым мотором. Машина была старая, ЗИС-150. Он только после отыскал, где подтекало, а до того и не знал– мотор вдруг вспыхнул. Распластанный на земле и растерявшийся, Иван Петрович обмер. И выскочил он, когда на него чем-то сыпануло. В углу на предамбарнике стоял короб с песком, приготовленным для зимы, Алена одним махом подхватила его и ухнула на огонь. Потом, когда короб снова наполнили, Иван Петрович с великим трудом едва отодрал его от земли. Алене нечего было и пытаться.

– Это не я и была, – простодушно решила она. – Это кто-то, чтоб спасти тебя, мои руки подхватил да свою силу подставил. А я ниче и не помню. И тяжели вроде никакой не было.

И сколько такого случалось, что кто-то ее руками подымал и подымал непосильные тяжели.

Когда пришел Иван Петрович и сказал, что все, конец, решил он подавать заявление, она согласилась:

– Ну так че, Иван… конечно, к Борьке охота... Он научился слышать и то, что она недоговаривала. К Борьке охота, но не так бы, не так...

15

Теперь только таскай и таскай. Иван Петрович подставлял плечо, стягивал на него с верхних рядов навала мешок, движением плеча укладывал его ловчей и разворачивался в сторону наскакивающих в двери беснующихся огненных сполохов. И, торя один ход, спускался к дороге. Дело знакомое, за жизнь свою потаскал, и, если бы не огонь, не беда, было бы в этой работе даже приятное, как не умственное, а физическое воспоминание о молодости, когда всей деревней нянькались с хлебом. И сколько потом за лесную свою жизнь, где только выпадал случай, брал Иван Петрович в щепоть мучицу, мял в пальцах и ждал, когда вслед за горчащей виной, как за побудкой, в поте, пыли и солнце не подступят картины хлебных работ.

Было их поначалу, выносивших муку, человек десять. И так славно подвинулось в азарте и общем подстеге, когда двое-трое набрасывают, остальные таскают, что за короткий аврал сняли всю верхотуру. Иван Петрович примеривался уже и к сахару: вот-вот браться и за него, а он, купчина, сладок на языке, да горек на горбке. Однако, не подымающему почти глаз и ничего не видящему, кроме мешков да дороги, все реже стали попадаться Ивану Петровичу встречные фигуры и все хуже подаваться из складского запаса. Иван Петрович распрямился – осталось их четверо: он, да Афоня, да однорукий Савелий, усадьба которого была рядом, да какой-то покачивающийся, раздетый до рубахи, полузнакомый парень.

– Афоня! – крикнул Иван Петрович. – Че ж это такое опять? Где они?

– Там интереснее, Иван Петрович, – ответил тот, пробегая. – Интереснее там, понимаешь?

На себя. На себе. С себя. Недолгая пробежка, чтобы едва-едва вернуть прыгающее сердце на место, и снова: на себя, на себе, с себя. А уж не молоденький. И все глубже присядки на ходу, все чаще заплетаются ноги, и сердце не успевает отыскать свое гнездо. Даже Афоня, здоровый этот бугай, наваливавший поначалу крест-накрест по два мешка, и под одним бегал теперь с опущенной головой.

Появился Борис Тимофеич и тоже подстроился таскать, отдав власть само собой происходящим событиям. Но Афоня и Иван Петрович в голос потребовали, чтоб не пыжился он, а гнал сюда мужиков. Водников ушел, затем опять появился, приведя с собой нескольких, и один из этих нескольких, полупьяный архаровец, взялся организовывать цепочку – чтоб не тащить полным ходом, а передавать мешки из рук в руки. Афоня послал его вместе с цепочкой подальше, что тот и не замедлил исполнить, так что больше его и не видывали. Из нового привода прибавилось двое надежных – Семен Кольцов и слесарь из гаража Тепляков. Мелькнул, посветив раза три удалым лицом, Сашка Девятый и исчез.

Где больше – на вынутом, вынесенном на дорогу, или в складе – не разобрать.

Иван Петрович отметил, что Тепляков взялся за крупу. Правильно, наверно: надо бы и ее хоть сколько-нибудь отбить. Надо бы все отбить, но огонь в ближнем складу нажимал, похрустывала, подготавливаясь, и заметно нагревалась общая стена, к которой приваливалась крупа. В помощь Теплякову Иван Петрович решил брать поочередно: раз мука, раз крупа. Внутри потускнело и помертвело, густо ходила мучная пыль, всполохи из дверей попригасли и мелькали только на сахаре. И все больше и больше наносило справа, когда вбегали, и слева, когда выбегали, напористым горячедуем.

Под мешками ничего не видел и не слышал Иван Петрович. Бухало сердце, и все остальные звуки глохли или казались слабыми подголосками в этом раздирающем грудь прибое. Перед глазами все смешалось – пожар изнутри и пожар настоящий, те и другие огни наплывали и кипели одновременно. Иван Петрович запалился. Скинув мешок, он вслед за мешком повалился на деревянный настил и ухватился, как привязался, взглядом за подвернувшуюся постройку, чтобы не потерять сознание. Этой постройкой оказалась баня, из которой вдруг появился человек, по виду хозяин ее, однорукий Савелий, и, угадывая в следы, спустился к дороге. Широко округ было озарено, но темно было в глазах у Ивана Петровича, и он не мог сказать, действительно ли кто выходил из бани или ему померещилось.

И еще померещилось ему: ходит старуха в короткой шубейке с поднятым воротником и рвет обочь дороги цветы. Идет-идет, высматривая, наклонится, торопливо сорвет и в сумку. И на другой сугробный наклон. Иван Петрович узнал ее, когда обернулась она, и пожалел, что узнал, потому что тут же и догадался, что это были за цветы, что за подснежники. Старуха, за которой ничего похожего никогда не водилось, подбирала выбросанные со двора бутылки – и уж конечно не пустые. Да ведь и истории такой до сегодняшней ночи тоже не водилось.

Из-за угла от Ангары вымахнул огонь – и это над последним, над мучным складом. Иван Петрович вскочил. Вот почему никто после него не спустил ни мешка: теперь только выносили и сбрасывали в пяти шагах от дверей, времени на полный перенос не осталось.

На другом конце огня, где промтоварные склады и где пылало сплошной мощью, как жаром, качало неровный людской строй. И слышался оттуда резкий голос Бориса Тимофеича, перекрывающий разнобой всех других криков. Люди стояли там – чтобы не пустить огонь к магазину. Уцелеет магазин – поверится, что почти победили, что чуть-чуть и победили бы полностью.

Посреди двора, размахивая здоровой рукой, прыгал кособоко вокруг вороха со спасенным добром дядя Миша Хампо. Издали смотреть, казалось, что заворачивает он разбегающихся от курицы цыплят.

Стоять в воротах ему было незачем, все теперь было растворено.

Дядя Миша Хампо, этот дух егоровский, парализован был с детства и плетью таскал правую руку, которая едва годилась для нехитрого подтыка или прихвата, и говорил с таким трудом, что постороннему человеку понять его было невозможно. «Хампо-о! Хампо-о-о!» – долго-долго возил он, извлекая из оцепеневших глубин нужное слово, и, если удавалось его извлечь, торопливо подтыкал это слово находившимся где-то неподалеку «ага» и озарялся счастливой улыбкой. Кто знал дядю Мишу Хампо, торопился помочь ему подставить следующее слово, и тогда он, сияя крупным темнокорым лицом, только кивал и агакал. «Хампо-о!» – начинал он, переступая через порог, и хозяин или хозяйка, не затрудняясь ничуть, отвечали: «Здравствуй, здравствуй, проходи. Был, говоришь, в магазине? Очередь? И обед уж сварил? Ну, когда так, садись чаевничать с нами».

Чтобы понимать друг друга, много слов не надо. Много надо – чтобы не понимать.

Жил дядя Миша один. Жену свою, из военных переселенок, он похоронил давно, племянник, которого они воспитали, после армии завербовался на Север и, золоторукий, сметливый, всему сызмальства обученный, получал там большие деньги и не слал ни копейки. Дядя Миша и обстирывал, и обстраивал себя, выкармливая поросенка, и в свои семьдесят лет нанимался еще колоть людям дрова. Силы он был могучей и одной, левой рукой привык делать все, что угодно. Но это раньше он был силы могучей, теперь она, конечно, поизносилась, и, возясь с дровами, все чаще втыкал он колун в чурку и подолгу и неотрывно смотрел на замерзшую, на открытую ли Ангару.

Иногда порывался он сказать что-то об Ангаре, а вероятней всего, об Егоровке, ушедшей под воду, показывал в ее сторону рукой, давился «хампо», но тут уж люди, кроме названия старой деревни, подсказать ему ничего не могли. Дядя Миша огорчался и уходил.

А ведь что-то тужился он сказать важное.

Хампо был прирожденный сторож, сторож-самостав. Не из-за уродства своего, нет – делал он любую работу и переделал ее безотказно во множестве. Так он выкроился, такой из сотен и сотен уставов, недоступных его голове, вынес первый устав: чужого не трожь. Все неудобства мира и неустройство его он, быть может, с одним только и связывал: трогают. С великой охотой шел дядя Миша на любую охранную службу: караулил при колхозе егоровский горох, объезжая из году в год верхом на кобыленке поля, ночи проводил на зернотоках, днем в свободную минуту вышагивал досматривать в коровнике и конюховке. И за зоркое свое око плату никогда не спрашивал, считая, что общественный оберег, который он творит, на него возложен рождением. И в новом поселке, когда перевозились и строились, дядя Миша поначалу сошел бы за коменданта: за всем присматривал и во все, требующее охраны, встревал. К этому привыкли, и никому из своих в голову бы не пришло одергивать дядю Мишу, что лезет он не в свое дело. Но в первые годы и кражи случались редко. А если случались, дядя Миша переживал страшно. Не существовало для него в установленном житейском порядке большего несчастья и большего урона, чем воровство. «Что ж ты, дядя Миша, куда ты смотрел?» – спрашивали его не шибко чуткие к чужой боли люди, хорошо зная, что за этим последует.

Следовало всегда одно: дядя Миша, безуспешно пытаясь что-то выговорить, в чем-то оправдаться, принимался рыдать. «Хампо-о! Хампо-о!» – на куски рвало его душу, крупное тело сотрясалось, по лицу катились слезы, правая рука норовила подняться и что-то указать.

Со временем воровство утвердилось, и дядя Миша долго не протянул бы, если бы с таким надрывом отзывался на всякую кражу. Пришлось и ему привыкать. При слухах о пропаже он уже больше не вздрагивал, как от удара, и не убегал в свою избенку, чтобы не показать слабость больного, лишь лицо его деревенело, выражая какую-то огромную, забирающую всю жизнь, сосредоточенность, и немало требовалось времени, чтобы на нем опять появилась виноватая улыбка.

Но он и вор-то ныне переродился один дьявол знает во что. То взрослые ребята, чтобы угодить на праздник молоденьким учительницам, заберутся в чужой курятник и поотрывают петухам головы, то при полном сыт-одет и нос в табаке разорят старушонку, с великой натугой собравшую магазинское угощение для работников, согласившихся распилить дрова. И прежде бывало… Но не бывало такого, чтоб один из озорников, доставивших для потрошенья птицу, приходился родным братом учительнице, у которой справляли праздник, и чтоб другие озорники, проверявшие у старушонки кладовку, теми как раз и оказались работниками, которым готовилось угощение и которые, угостившись, работниками быть отказались.

Не воры – пакостники.

16

Все чаще и дотошней, решившись на переезд, стал раздумывать Иван Петрович: что надо человеку, чтобы жить спокойно? Если есть у него работа, на которую он не смотрит как на каторгу, и семья, к которой его тянет, – что требуется еще, чтобы, проснувшись ненароком ночью, не чаял он дождаться утра для желанной подвижки?

Начать с достатка… Достаток – да, он надобен, без него человек начинает хлябать, как отошедшая от мяса кость. Но достаток – это не только запас в себя, на себя и за себя, не только то, что требуется сегодня и потребуется завтра для удовлетворения живота, а также для удовлетворения самому выйти и другим нос утереть. Когда бы так, до чего бы все было просто. Но боров в теплом закутке не может не знать, что его откармливают на мясо, потому что хоть маленькие и заплывшие да есть у него глаза, способные видеть, что работа у тех, кого не на мясо, не только жрать, а жизнь – не одно лишь ожидание жратвы. Человек, окруживший себя целой оравой подспорья, вырабатывающего достаток, обязан иметь внутри этого достатка что-то особое, происходящее из себя, а не из одного лишь хвать-похвать, что-то причинное и контролирующее, заставляющее достаток стыдиться вопреки себе полной своей коробушки.

Ну ладно, о достатке потом.

Не только во имя его превосходительства брюха делается работа. Сколько их, неработающих или едва работающих, набивают брюхо ничуть не хуже, сейчас это легко.

Работа – это то, что остается после тебя. Тебя нет, ты уже и сам становишься работой для других, а она долго-долго еще будет напоминать о тебе живущим вслед за тобой. Так говорят. Так оно и есть, тем более, если работа твоя вливается в полезную реку. Есть две реки – с полезным и бесполезным течениями, и какое из них мощней, туда и сдвигается общая жизнь. Но это опять-таки в общем, в каких-то огромных, надчеловеческих понятиях, а что должен испытывать он, чуть свет выезжающий завтра за двадцать и тридцать километров, чтобы привезти за смену свои кубометры древесины? Конечно, уже сам язык: километры, кубометры, древесина – вроде бы должен определять чувства, наталкивая их на рубли. Но это не так. Не совсем так. Не рубли его подстегивают, заставляя перегружать КрАЗ и выкраивать лишний рейс, а сама работа, берущая единым охватом сотни людей. В работе он не помнит что это километры, кубометры и рубли, он возносился над ними в какую-то иную высь, где нет никакой бухгалтерии, а есть лишь движение, ритм и празднество. Там он постоянно двигается попутно, а потому двигаться легко. Чему попутно, он не мог бы сказать, похоже, попутно душе, ее изначальному наклону; там он весь превращается в ответ на чей-то стремительный зов, душа его выструнивается и начинает раскрыто и вольно звучать.

Да, он работник, он за собой это знает, и с той высоты, на которую он взмывает в работе, жизнь видится надежней всего.

Четыре подпорки у человека в жизни: дом с семьей, работа, люди, с кем вместе правишь праздники и будни, и земля, на которой стоит твой дом. И все четыре одна важней другой. Захромает какая – весь свет внаклон. Это только в детских глазах мир выглядит как чудесный подарок, сияющий солнцем и наполненный людским доброжелательством. Чем дальше от рождения, тем больше поднимающееся солнце высвечивает его расстроенность и разнобой. В младых летах Иван Петровичу казалось, что это недостроенность, незаконченность в долгой и тяжелой работе, требующей продолжения, но затем стало видно, что, не будучи достроенным, он расшатался и на старых основаниях, а люди торопливо возводят все новые и новые, раскачивающиеся на незакрепленных низах.

Ни в какие времена люди не приближались, вероятно, к подавляющей добросклонности, и всегда на одного склонного приходилось двое-трое уклонных. Но добро и зло отличались, имели собственный четкий образ. Не говорили: зло – это обратная сторона добра с тем же самым лицом, косящим не вправо, а влево, а считалось, что зло – это еще не обращенная, вроде язычества, в лучшую нравственную религию сила, делающая дурно от своей неразвитой звериной натуры, которая не понимает, что она делает дурно. Если бы удалось между добром и злом провести черту, то вышло бы, что часть людей эту черту переступила, а часть еще нет, но все направлены в одну сторону – к добру. И с каждым поколением число переступивших увеличивается.

Что затем произошло, понять нельзя. Кто напугал их, уже переступивших черту и вкусивших добра, почему они повернули назад? Не сразу и не валом, но повернули. Движение через черту делалось двусторонним, люди принялись прогуливаться туда и обратно, по-приятельски пристраиваясь то к одной компании, то к другой, и растерли, затоптали разделяющую границу. Добро и зло перемешались. Добро в чистом виде превратилось в слабость, зло – в силу.

Что такое теперь хороший или плохой человек? А ничего. Устаревшие слова, оставшиеся в языке как воспоминание о дедовских временах, когда с простотой и наивностью человека оценивали по его душевным жестам, по способности или неспособности чувствовать, как свое собственное, чужое страдание. В житейской же практике уже тот ныне хороший человек, кто не делает зла, кто без спросу ни во что не вмешивается и ничему не мешает. Не естественная склонность к добру стала мерилом хорошего человека, а избранное удобное положение между добром и злом, постоянная и уравновешенная температура души. «Хата с краю» с окнами на две стороны перебралась в центр.

Что прежде творилось по неразумению, сделалось искусом просвещенного ума. От чего веками уходили, к тому и пришли. Не пришли, а скоренько подъехали на моторе, объявив величайшей победой человека то именно, что уходили пешком, а подъехали на моторе.

Так вот, о достатке. Есть достаток, и даже не маленький, а все не живется человеку с уверенностью ни в сегодняшнем, ни в завтрашнем дне, все словно бы бьет его озноб, и озирается он беспокойно по сторонам. Не весь, стало быть, достаток, чего-то недостает. Себя, что ли, недостает – каким мог он быть при лучшем исходе, и эта разница между тем, чем стал человек и чем мог он быть, взыскивает с него за каждый шаг отклонения.

В долгих и обрывистых раздумьях перебирая жизнь во всем ее распахе и обороте, пришел Иван Петрович к одному итогу. Чтобы человеку чувствовать себя в жизни сносно, нужно быть дома. Вот: дома. Поперед всего – дома, а не на постое, в себе, в своем собственном внутреннем хозяйстве, где все имеет определенное, издавна заведенное место и службу. Затем дома – в избе, на квартире, откуда с одной стороны уходишь на работу, и с другой – в себя. И дома – на родной земле.

И нигде не получалось у него быть дома. На земле – что не затоплено, то опорожнено лесозаготовками, и ни заботы этой земле, ни привета. В себе полный тарарам, как на разбитом и переворошенном возу. А коль нет приюта ни там, ни там, не будет его, как ни старайся, и посредине.

– Уезжаешь, значит? – спросил Афоня, вместе с которым вышли после работы из гаража. Слух уж прошел, что подал Иван Петрович заявление.

– Уезжаю.

– И что там, куда едешь?

– Хлебушко. Пашут, сеют, а уж после убирают. Помнишь, как в Егоровке было?

– А заработки как?

– Поменьше, наверно. Но мне теперь много не надо. Не то спрашивал Афоня и не то отвечал ему Иван Петрович. Не то. Пока не сказал Афоня:

– Ты уедешь, я уеду – кто останется?

– Кто-нибудь останется.

– Кто? Кто – кто-нибудь, Иван Петрович? – на последнем голосовом дожиме не сказал – простонал Афоня. – Эх!.. Неужто так и бросим?! Обчистим до ниточки и бросим! И нате – берите, кому не лень!

– Устал я, Афоня. Исстервозился. Сам видишь, никакого от меня толку.

– А Егоровка?

– Что Егоровка?

Думал, скажет Афоня: в нас она, в нас. Думал, начнет говорить, что уедем мы отсюда – и будто не было ее, Егоровки нашей, никогда, а пока здесь – и память о ней живет. Потому что и сам так же рассуждал. Но сказал Афоня:

– Найдешь ты место на воде, где стояла Егоровка?

– Не знаю. Прикину – найду.

– А я вот хочу нонешним летом знак какой поставить на этом месте. Что стояла тут Егоровка, работницей была не последней, на матушку-Россию работала.

– Как же ты поставишь? Кто тебе позволит?

– А кто мне запретит? Нету такого запрета, Иван Петрович. Не слыхал, чтоб такой запрет был. Никогда не слыхал. Если на земле можно, почему на воде нельзя?

Иван Петрович опомнился:

– Игрушки все это. Маленький ты, что ли, такими игрушками играть? Кому от них легче?

– Эх, Иван Петрович, – как-то свободно, но не облегченно, от горькой души, рассмеялся Афоня. – Прикинь-ка: столько игрушек кругом… может, моя не лишняя будет?

Ему надо было сворачивать в свой заулок – он свернул.

17

Так оно и водится: пока без огня, тужились они с Афоней вдвоем, а налетел огонь – сбежались и люди. И густо их теперь кипело, как в котле, в последнем складу, откуда выплескивало беловатой накипью – летели без разбору мешки с мукой, с крупой и с сахаром. И все норовили туда, под жар и накал. Оно бы и не худо, хлеб же, не что иное спасают, да промелькивали среди спасателей пьяные. Одного – парня, с которым сбивали крышу, а после выкатывали масло, – Иван Петрович выхватил из пекла, когда уж он ничего не соображал. Выхватил и спустил под дорогу, где тот и пристроился с ночевой на муке. Другого, архаровца в подгоревшей телогрейке, кто-то выпихнул изнутри как мешок, и, пока валялся он среди мешков, возясь и устанавливаясь на ноги, заметил Иван Петрович на нем новые, неразношенные валенки.

Выбрасывали мешки сразу за дверь, выбрасывали лишь бы выбросить, выхватить из огня. И здесь, в двух шагах от склада, было для них не спасение. Рухнет крыша, и там же, под огнем, все и останется. Иван Петрович взялся оттаскивать к забору. Он уже и не взваливал на плечи, а натягивал на жидкий живот и с неловким подбегом сбрасывал под уклон. Там опять кто-то подхватывал и выносил на дорогу. И по тому, как подхватывал, косолапо загребая под бок, Иван Петрович определил, что то был однорукий Савелий.

Здоровый мужик однорукий Савелий, неизработанный и цепкий, не глядя на годы. И сегодня он ворочал и ворочал, несуетно и споро, и сильная его рука, как клешня, не срывалась, когда ухватывал он мешок.

Кто-то пьяным голосом звал Ивана Петровича. Если доходил голос, значит, не из огня, значит, не горит человек, – и не оборачивается Иван Петрович. Счет теперь пошел на последние минуты.

Зачем-то ему понадобилось: что сейчас – ночь или утро? Понадобилось больше желания упасть и отдышаться. Он вскинул глаза к горе, откуда выходит рассвет, и там, показалось ему, темь как бы сыреет, берется мутноватой влагой. Стало быть, близко к утру. С завороченными глазами он запнулся и едва не упал.

И странно: то вдруг все вокруг умолкало, и Иван Петрович оставался в полной тишине и безлюдье, то опять налетали звуки и начинали рядом метаться люди. И тогда оборванно отдавался в нем каждый крик – будто в него он и метил и в нем оседал, и тогда, не глядя, видел он весь двор с горящими теперь уже полным охватом складами, раззявленными на месте заборов сторонами и беспорядочной круговертью внутри.

В углу, где загорелось, догорало низовым жаром. Там, казалось, и было поддувало, оттуда выносило огонь на два плеча широким и загнутым коромыслом, на концах которого сквозь пламя еще протемнивали, как подвеси, крайние склады. Тот, что был на пути к магазину, мужики наполовину растаскали, там опять командовал голос Козельцова. Они наскакивали и отскакивали, наскакивали и отскакивали, их отметало раскалом как комаров.

Не гуд, не свист и не вой был тем основным звуком, с которым буйствовал огонь, а треск, могучий треск – словно выламывалось пламя из дерева и, взметываясь, распарывало небо.

И все кричали и кричали во дворе.

Валя-кладовщица требовала у Водникова комиссию, чтоб, не откладывая, сделать опись спасенного. Борис Тимофеич сорванным голосом выкашливал:

– Какая комиссия?! Очумела ты? Какая счас комиссия! Ты погляди!

– Нет, это ты погляди! – Валя выбрасывала руки и разводила их по кругу. – Тут че осталось, ты погляди! Ящики считанные были, – она показывала на штабеля из ящиков с водкой. – Шестьдесят восемь ящиков было сосчитано где они, шестьдесят восемь?!

– Пропади они пропадом, твои ящики! Кто их вытаскивал? Я не давал распоряжения, чтоб их вытаскивали! Пускай горят.

– Нет, это пропади они пропадом, твои работники! Эти ящики у меня на шее сидят!

И как плеснуло на нее, что еще сидит у нее на шее, да как сдавило каленым обручем эту тонкую шею, зарыдала опять Валя. А когда отняла она от лица руки, Водникова рядом уже не было, а топтался рядом дядя Миша Хампо, порывающийся как-нибудь пожалеть беднягу.

– Ты смотри, дядя Миша, смотри, – в десятый раз сквозь слезы попросила она и принялась подтаскивать, ей помогал дядя Миша, разваленное и разбросанное к одному табору.

В мучном складу стали покрикивать громче и дурней – без крику, без того, чтобы не понуждать и не рвануть себя, не получалось. И все чаще, выбрасывая мешки, стали задерживаться мужики – чтоб хватануть воздуха. Иван Петрович по-прежнему стоял на перевале. Ни рук и ни ног он не чуял под собой, и в загонистом темпе потерялось и не взбрыкивало больше сердце. Одно лишь помнил: взвалить, удержать и свалить, и три этих нехитрых приема, повторенные без счету, на три дыха и делили его пробежки.

Выпуская из рук мешок, в общем движущемся беспорядке он почувствовал какой-то особый вывих. И верно, как бы не увидел, а почувствовал неладное и только потом посмотрел. И опять чья-то фигура ушла дальше, чем требовал беспорядок, и уходила она к бане, уходила туда и уносила мешок. Иван Петрович спустился к дороге. На обратном ходу фигура дернулась, заметив, что ее ждут, и прибавила шагу. Не из тех был Савелий, чтобы растеряться.

– Что ж ты делаешь? – встретил его Иван Петрович. – Оголодал?

– А ты видел?

– Видел.

– Ни хрена ты не видел. Ты заявление написал. Ты теперь туда смотри, куда написал. Понял?

И опустил свою единственную, тяжелую руку на плечо Ивану Петровичу.

Почему это, когда хотят внушить что-то недоброе, хлопают по плечу.

Успели. В последнем складу подобрали все и вывалились наружу – орущие, запаленные и бешеные. Кричал диким ревом и Афоня Бронников, всегда спокойный и уравновешенный мужик, похожий сейчас на матерого дьявола: в муке, в саже и расхлобыст. Иван Петрович смотрел на них удивленно и виновато, будто он здесь стоял руки в брюки. Бухнуло чем-то внутри опорожненного склада и завыло и вырвало огонь наверх, соединяя последним прихватом весь продовольственный ряд в одно высокое ревущее горение.

Кто-то окончательно угорев, с отчаянным хрипом вырывал из себя:

Вра-гу не сда-ет-ся наш гор-дый «Ва-ряг»!По-ща-ды ник-то не же-ла-ет!

Дядя Миша Хампо, на всякое в этой жаркой суматохе наглядевшийся, все же протер для верности глаза: двое играли в мяч. Разбитый и разлохмаченный, похожий на большой рыхлый сверток, он отлетал от ноги одного к другому, отлетал от другого и так, под пинками и бросками, зигзагами подвигался к сваленному забору. Дядя Миша оглянулся, чтобы показать, и никого поблизости не случилось. Мяч тем временем плюхнулся на забор, из него что-то вывалилось. Не раздумывая больше, Хампо кинулся к игрокам. Один их них подхватил мяч руками, перекинул в улицу и прыгнул сам. Дядя Миша прыгнул за ним. И когда тот нагнулся, чтобы поднять, дядя Миша настиг его, опустив на воротник здоровую руку, оторвал, как ребенка, от земли и успел рассмотреть, что мячом действительно был сверток с выглядывающими веером цветными тряпками. А тот, кто подымал его, был Соня.

Хампо только-только сумел рассмотреть, кто это и что, как сбоку на него обрушился удар. Он успел перебрать руку, огрести Соню за шею и притянуть к себе. Тот завизжал по-поросячьи, норовя подпрыгами поддеть дядю Мишу на калган. И снова и снова ударили его чем-то тяжелым – не руками. Дядя Миша тянул голову, чтобы увидеть, кто бьет, но никак не мог поднять ее и только выставлял правую, не подвластную ему руку, пытаясь защититься. И все били и били его, все били и били…

Так потом и увидел их Иван Петрович: лежат на истоптанном снегу в обнимку – маленький, скрюченный в три погибели Соня и навалившийся на него с вывернутой головой дядя Миша Хампо. А в пяти шагах валяется колотушка.

18

Всему приходит конец. Отошла и эта страшная ночь, встало утро, и при белом свете опустился огонь вниз и приутих, устало добирая остатки. Утро встало теплое и сырое, и едкий дым, не подымаясь, обволок поселок и не сходил с него. И по берегу, и по льду темнели и чадили головешки, расквашенный грязный двор, резко очерченный с двух сторон широкой и дымящей полосой пожарища, представлял из себя что-то до жути окончательное и безнадежное. И уцелевший зелененький магазинчик ничуть не успокаивал, а добавлял, напротив, выбивающимся своим видом и горечи, и боли, и угара.

Под огромным новым брезентом так и лежало посреди двора спасенное орсовское добро. И под брезентом же лежали до сей поры не разлученные дядя Миша Хампо и Соня. И там и там стояла над брезентами охрана, никого не подпуская и не вступая в разговоры.

Ждали милиционера и следователя. Ждали комиссию – и одну, и вторую, и третью, которым теперь не будет конца… Ждали собственное начальство и высокое приездное. С первым рабочим часом во все адреса посланы были телеграммы. Оставили всякие труды, тихо было в гараже и на улицах, и ни звука не доносилось с нижнего склада. Ждали.

Ждали: что будет дальше?

...Иван Петрович, воротившись с пожара, не прилег. Печь топилась, когда он пришел, Алена и под бомбежкой не забыла бы обиходить дом, и сразу подано было на скорую, руку на стол. А подав, Алена горько-горько зарыдала и упала в кровать.

Иван Петрович посидел, посидел, не притронувшись к еде, потом переобулся, посмотрел в окно, как несет с берега дым, и вышел. Он пошел к Афоне, чтобы успеть до того, как Афоня свалится в сон. Но и Афоня не собирался ложиться. Дочь промывала и смазывала ему чем-то две глубокие, как раны, запекшиеся кровью ссадины на лбу и подбородке. Когда дочь отнимала руки, он прихлебывал из огромной металлической кружки чай.

Спросил Иван Петрович:

– Что будем делать, Афанасий? Ты знаешь, что теперь делать, нет?

– Жить будем, – морщась то ли от потревоженных ран, то ли от потревоженной души, сказал Афоня. – Тяжелое это дело, Иван Петрович, – жить на свете, а все равно… все равно надо жить.

И тоже спросил, отхлебнув из кружки:

– А ты что решил делать?

– Будем жить, – только и переставив те же самые слова другим порядком, ответил Иван Петрович.

19

Тихая, печальная и притаенная, будто и она страдала от ночного несчастья, лежала в рыхлом снегу земля. От горы открытым полем она полого соскальзывала вниз и за редкими сосенками переходила в лед. По горе стоял лес, из него выдвигались в поле две темные пустошки, лес чернел и впереди, куда шел от поселка Иван Петрович, но там и совсем редью, за которой начинался залив. На притыке к первой пустошке, тесня ее от дороги, положено было кладбище, куда отдавать на днях отстрадовавшегося егоровского мужика и потерявшего имя безвестного горемыку. Они, люди живые, отрядят, кого куда опустить, но ей, земле, решать, ей, вынашивающей правых и виноватых, своих и чужих, собственным поставом судить, что потом из кого выйдет.

Тихо-тихо кругом – как в отстое, в котором набирается новое движение. Не достигал сюда дым из поселка, в обеднявшем приглушенном свету виделось далеко и чисто.

Отяжелевшее, несвежей белизны небо, такое же, как подтаявшее под ним поле, длинным уклоном уходило за Ангару, где садится солнце. И там темнел лес, и там неплотно.

Но уже натягивались отзывчиво, поддаваясь первому отогреву, сосенки на берегу и пригарчивал воздух, уже вязко проседал под ногами снег и отмякал дальний речной раствор. Весна отыскала и эту землю – и просыпалась земля. Устраивать ей теперь переклик, что уцелело и что отмерло, что прибавилось от людей и что убавилось, собирать уцелевшее и неотмершее в одну живу и приготавливать к выносу. Разогреется солнышко – и опять, как и каждую весну, вынесет она все свое хозяйство в зелени и цвету и представит для уговорных трудов. И не вспомнит, что не держит того уговора человек.

Никакая земля не бывает безродной.

Иван Петрович все шел и шел, уходя из поселка и, как казалось ему, из себя, все дальше и дальше вдавливаясь-вступая в обретенное одиночество. И не потому только это ощущалось одиночеством, что не было рядом с ним никого из людей, но и потому еще, что и в себе он чувствовал пустоту и однозвучность. Согласие это было или усталость, недолгая завороженность или начавшееся затвердение – как знать! – но легко, освобожденно и ровно шагалось ему, будто случайно отыскал он и шаг свой и вздох, будто вынесло его наконец на верную дорогу. Пахло смолью, но не человек в нем чуял этот запах, а что-то иное, что-то слившееся воедино со смоляным духом; стучал дятел по сухой лесине, но не дятел это стучал, а благодарно и торопливо отзывалось чему-то сердце. Издали-далеко видел он себя: идет по весенней земле маленький заблудившийся человек, отчаявшийся найти свой дом, и вот зайдет он сейчас за перелесок и скроется навсегда.

Молчит, не то встречая, не то провожая его, земля.

Молчит земля.

Что ты есть, молчаливая наша земля, доколе молчишь ты?

И разве молчишь ты?

**К уроку 27.**

**Борис Лапин. «Клавдюшка».**

**Борис ЛАПИН**

**КЛАВДЮШКА**

*Рассказ*

1

Клавдия вернулась домой словно с того света.

Уезжала в больницу помирать, с домом попрощалась, с детишками, а вот не взяла земля, обратно вернула, в чужую избу, в чужую семью. Пока помирала да снова поправлялась, многое изменилось на свете. Все изменилось, все перевернулось.

Почти полгода пролежала Клавдия в больнице. Сестра, что в городе живет, через день ее навещала, и Степан наезжал по воскресеньям, гостинцы привозил, ласковый был, только все вроде бы мимо глядел да торопился, и думала она, об ребятишках Степан беспокоится. Так они ничего и не сказали Клавдии, видно, надеялись, что еще помрет и само обойдется.

Но не померла Клавдия, а поправилась.

Привез ее домой Степан, молчал всю дорогу, голову опустив. Думала она, что в избе все заброшено, грязно и не стирано, что детишки не ухожены, и уже, улыбаясь тайком, собиралась не лежать месяц, как доктор наказывал, а сразу, через несколько деньков уже, встать и за дела, изрядно позапущенные, приняться. И так ей мечталось поскорее засучить рукава, и мыть, и скрести, и стирать, и ребятишек купать в корыте, что глазам жарко делалось и ладони словно бы щекотала мыльная пена.

А переступила порог – и радостно удивилась: все в избе блестело. И полы помыты, и печка подбелена, и занавесочки свежие на окнах. Даже цветок ее любимый не засох, разросся еще пышнее. И на столе новая клееночка, давно собиралась купить клееночку, да руки не доходили, а Степа молодец, купил вот к ее приезду. Детишки встретили ее сдержанно, понятно, отвыкли. Выросли детишки, вытянулись, изменились, верно, уж и забывать начали мать-то Чистые, причесанные гладко, костюмчики на всех трех новые, и не худенькие вроде, а только очень уж присмиревшие да серьезные. И не насторожилась Клавдия, увидев в избе порядок и процветание, а даже порадовалась.

Перецеловала она детей, разделась, прошла к печи, села в свой теплый, годами насиженный уголок, и тут только заметила, что Степан все еще у порога стоит, шапку в руках мнет.

– Что же ты, Степа? Или не рад? – спросила.

– Рад, Клава, что ты, – ответил Степан, отвернувшись, чтобы повесить полушубок. – И дети рады. Рады, пострелята, что мамка вернулась? – спросил их Степан.

Двое старшеньких испуганно попятились, только трехлетняя Нюрка, исподлобья глядя на мать, ответила звонко:

– Рады, папаня.

Клавдия еще раз оглядела кухню и в дверях горницы увидела Маришку Головатых, младшую дочку Парфеныча. Маришка стояла, вдавив в колоду тугое плечо, и покусывала губы – испуганная, вроде ожидающая чего-то, настороженная.

– Здравствуй, Мариша, – сказала Клавдия ласково. – Небось ты тут у меня блеск-то навела?

Клавдия так решила, что Степан пригласил Маришку к ее возвращению избу прибрать да за детишками доглядеть. Уж и раньше бывало, как ездили они со Степаном вместе в город, детишек всегда к Парфенычу отдавали. Но едва придумала ответить что-то Маришка, едва рот раскрыла, Степан ее перебил:

– Собирай на стол, Мариша, чего стоишь-то?

– Я бы и сама, – несмело предложила Клавдия.

– Уж ты сиди лучше, доктор-то что велел!

И глядя, как уверенно захозяйничала Маришка, собирая на стол, как ловко доставала чугуны из печи, ею же поставленные, как все знала, где что стоит на кухне, впервые Клавдия дрогнула в душе, но и сразу же все прочь отмела, решив, что это обычное бабье, которое было у нее и раньше не раз и никогда на поверку не подтверждалось.

И все же за столом она настороженно следила за всеми, и приметила, что Маришка расцвела и раздобрела (хотя ведь чего ж тут странного – целых полгода прошло), и вспомнила, как всегда торопился от нее из больницы Степан, и как неуклюже на другое переводила разговор сестра, едва спрашивала ее Клавдия, как там дома дела, и многое еще другое, что увидели ее глаза, да не разглядели.

Степан достал поллитровку, себе, Маришке налил и Клавдии чуток плеснул в стакан.

– Нельзя мне, Степа, – сказала она.

– Ну, с возвращением-то? – несмело предложил он.

– Может, брусничкой закрасить? – глядя в тарелку, глухо отозвалась Маришка. Это были первые ее слова.

– Нет, не буду пока, погожу, – решила Клавдия. – В другой уж раз.

– С возвращением, – повторил Степан, и они выпили.

Старшенькие ели тихо, степенно, как никогда не ели раньше, жевали старательно и ложками не стукали. Только Нюрка все из хлеба кораблики лепила и в борщ пускала.

– Опять ты балуешь! – прикрикнула на нее Маришка. Это «опять» больно кольнуло Клавдию, и теперь она уже явственно почувствовала что-то неладное. Маришка, одернув Нюрку, тут же смешалась, покосилась в сторону Клавдии и принужденно пригласила: – Да вы кушайте, кушайте, Клавдя Михаловна, вам поправляться надо.

«Чего это она расхозяйничалась? – раздражаясь, подумала Клавдия. – Будто я у нее в гостях». И уж ничего почти не ела, кусок не лез в горло.

**2**

После обеда Клавдия прилегла на диван, а Маришка в кухне загремела посудой. Степан выпроводил детишек гулять и ходил поминутно из кухни в горницу, то Маришке несколько слов скажет, то Клавдии предложит одеться потеплее, спросит, не надо ли чего, может, кваску испить, и опять на кухню, и опять в горницу, одеть потеплее предлагает, и все сесть не решался – ни тут, ни там.

Клавдия лежала и глядела в потолок, и прислушивалась, как потихоньку, чуть-чуть, все еще ноет у нее нутро, видно, заживает постепенно, и вспоминала больницу и шумного, толстого доктора грузина, которого поначалу боялась, а после привыкла и была ему благодарна до слез, когда он сказал, что теперь она и его, доктора, переживет, и радовалась, что вот она живая и наконец-то дома, что у нее трое таких славных детишек и муж заботливый, и ни о чем таком плохом даже и не думала, но уже наверняка знала про себя, что произошло. Знала, что Степан слюбился с младшей Парфенычевой дочкой, что Маришка без нее все хозяйство вела и за детишками ходила, и Клавдия уже готова была простить Степана, потому что как бы он тут жил один, без хозяйки, с тремя-то хвостами, да еще каждый день опасаясь, что она и вовсе помрет. И даже пожалела Маришку, что не сложилась ее судьба и теперь здесь ей замуж никак не выйти, а придется непременно уезжать в другое место, и надо как-то помочь ей на первых порах, но это все потом, а пока бы лежать спокойно и ни о чем таком не думать, чтобы нутро еще пуще не разболелось и чтобы обратно в больницу не угодить. Теперь, когда смерть ее не взяла и она снова у себя дома, Клавдии особенно хотелось жить и быть хозяйкой в доме, матерью детям и хорошей женой Степану, и это было теперь самое главное, а все остальное – мелочи и обойдется.

А Степан ходил из кухни в горницу, из горницы в кухню, метался меж ею и Маришкой и не мог сесть ни здесь, ни там и решиться на что-нибудь.

– Степа, – позвала Клавдия, и голос ее оказался слабый-слабый. – Сядь-ка со мной.

На мгновение грохот посуды в кухне смолк, и она представила, как выжидающе напружинилась Маришка, но потом снова зазвенели тарелки и ложки, и Степан сел. Клавдия взяла его большую твердую руку, погладила своими иссохшими пальцами, как бывало раньше, когда пробегала между ними кошка. И Степан первый раз прямо поглядел ей в глаза.

– Прости меня, Клава, – сказал глухо, – так уж получилось. Не хотел я такого... – И скупая слезинка выкатилась из его глаза. Степан неловко смазал ее пальцем и высморкался. – Правда, ей-богу, правда, любил я тебя и никогда не обманывал. А тут, сама посуди... Все ведь знали, что ты помрешь, и сама ты знала, да и доктор говорил. Я ведь не сразу, не вдруг, ой ведь сколько подумавши. А изба не прибранная, не приготовлено, уж я сам пробовал шти варить, да их и есть никто не стал, даже поросенок. А детишек жалко, голодные они, неприкаянные, одни весь день, ни учебы никакой, ничего, баловство одно. Вот ведь как, а не сразу я, Клава, нужда заставила. Уж я думал, овдовел я, на всю жизнь овдовел, да и все говорили. А ты вот поправилась, ну и слава богу. И слава богу...

Он опять высморкался и умолк, трудно нахмурив лоб, а Клавдия все гладила его руку и думала про себя, что чего уж он так переживает, все еще поправимо и другой бы на его месте не терзался так. И она оправдывала и одобряла его, и все еще была почти спокойна, и уже решилась было раскрыть ему свой хитрый план, как Маришку в город отправить, вроде бы в техникум учиться, а там парней много, бог даст, устроится, молодая, только помочь ей придется. Но не успела, заговорил Степан:

– И слава богу. Только как же теперь быть, не знаю. Как же с Маришкой-то? Коли бы раньше знать... А теперь у нее детёнок будет...

И ничего не случилось, не умерла Клавдия, не провалилась на этом самом месте, только внутри что-то ухнуло и оборвалось, да сердце захолодело. Но она лежала все так же молча, и гладила его руку, и жалела его, и не могла на него наглядеться, потому что был он все такой нее, как раньше, и ласковый такой же, и такой же неловкий, и жесткий чуб так же топорщился надо лбом, но был это уже не ее Степа.

Клавдия плакала беззвучно, легко, слезы катились по щекам, забегали за уши, и она не вытирала их, только глядела на Степана во все глаза и чувствовала, что она тоже не виновата, что не померла, уж лучше бы доктор на операции легонько задел ножичком чего-нибудь лишнее, и ей бы не больно, и всем ладно, но уж коли не задел доктор и она живая, так пока это самое главное для нее, а все остальное как-нибудь да уладится.

А потом на кухне тоже послышались всхлипыванья, Степан растерянно поглядел на Клавдию, и Маришка стала в двери, задыхаясь от рыданий, и впервые заметила Клавдия, что лицо ее помягчело и живот вроде бы округлился. Заголосила Маришка в голос, упала на колени у дивана, запричитала:

– Пожалей ты меня, Клавдя Михаловна, родименькая, не гони. Глупая я, глупая, чисто дура. И худа тебе никогда не желала, Клавдя Михаловна, думала, как лучше, а вышло вон оно как. И хоть люблю я Степу, а видит бог, ушла бы, сейчас же ушла бы. Да только будет у меня ребеночек, куда же я с ним?..

Долго плакала Маришка, а Клавдия молча гладила ее волосы и руку Степана и, как могла, успокаивала обоих, но никто никого не слушал, а все само собой затихло, потому что устали все и Клавдия уснула.

Проснулась – Степан так же рядом сидит, а Маришки нету.

– Боюсь я за нее, не наделала б чего, – тихо сказал Степан.

Клавдия представила очень явственно, как привязывает Маришка к пыльной потолочной балке в сарае белую бельевую веревку, как пробует, крепко ли привязала, – но не испугалась нисколько, а вслух сказала:

– Чего уж там, Степа. Я еще больная, ничего-то не способная, пущай до поры все так остается. А поправлюсь совсем – там посмотрим. Я-то ведь тоже не могу никуда... от детишек.

Степан беспокойно поцеловал ее в лоб и сунулся было к окну – глянуть, что там с Маришкой, но Клавдия попридержала его руку, робко загадала: ну-ка, посмотрим, куда его сильнее потянет.

– Погодь, Степа, посиди чуток, чтой-то лихо мне, так и колошматит внутри.

Он послушно опустился рядом, но все косил глазами во двор. А Клавдия не спешила отпускать: все-таки и минута – большое время, а уж десять минут – вовсе большое, и взвесить все успеет, и решить без повороту. Не могло же разом память отшибить на все хорошее, что у них было. И даже когда Степан окончательно поднялся, еще минуточку выгадала, попросила лекарство подать. Все ж таки выскочил из дому Степан, метнулся в сарай, донеслись оттуда оживленные их голоса. Ясное дело, и не собиралась Маришка веревку привязывать, только пужала. Вздохнув, Клавдия подытожила: видно, так тому и быть, да и рассчитывать иначе не следовало.

Она лежала, прислушивалась, как ноет внутри, то успокаиваясь, то снова вздымаясь, боль, и думала о том, что ведь действительно безвыходное положение у Маришки, попалась девка, ой, попалась! И надо не сразу, не вдруг, чтоб не наделать беды, а как-то постепенно, исподволь, и вот она еще не поправилась, никаких сил для решительных действий не накопила, а уж станет на ноги, тогда...

Клавдия думала, что все это временно, и даже представить не могла, чтобы так было всегда. Как же – ведь она Степану законная жена, и дом ее со Степаном, и ребятишки ее, и сам-то Степан ее. И она все-таки больше радовалась, что жива и дома, чем огорчалась.

И только вечером, когда, уложив детей и постелив ей на диване, квасу поставив на ночь, даже спички положив у изголовья на всякий случай, ушла Маришка со Степаном в спаленку, которую хранила Клавдия как святыню и посторонних, бывало, не любила туда пускать,– ужаснулась Клавдия, как же это допустила она до такого, не пресекла сразу? И смертельно обиделась, что хотя бы на первое время не догадались они ради нее лечь порознь. Хотя бы порознь все трое.

**3**

Совсем уж поправилась Клавдия, на ноги встала, про боль внутри и думать забыла, даже работать нетяжелую работу могла, а все ничего не менялось в доме.

Маришка стала настоящей хозяйкой, все делала Маришка, всем распоряжалась Маришка, иногда только вежливо, как чужую, просила Клавдию:

– Вы бы почистили картошку, Клавдя Михаловна.

– Детей покормили бы...

Едва поправилась Клавдия, выбрала как-то минутку, когда никого дома не было, села перед зеркальцем. Прежде и смотреть на себя боялась, знала – вылитая смерть, только теперь решилась. А глянула – и сама испугалась, шарахнулась в сторону, лицо рукой заслонила. Смотрела на нее из стекла черная востроносая старуха с запавшими глазницами и седыми космами. Неужто это она? В тридцать-то пять лет? Да намного ли она старше Маришки? Всего-то на десяток с небольшим годков. Но бог мой, какая же разница! И тут вдруг так получилось, что взглянула она на себя глазами Степана. На себя и на Маришку. И поняла, что не на что уж ей больше надеяться.

Да и то, какая она жена Степану? Степан как был молодой да сильный, таким и остался. А она старуха, ведьма, кожа да кости. И уж детишек у нее никогда не будет. Нет, не на что ей надеяться, не на что, и растравлять себя понапрасну не стоит...

Маришка ходила счастливая и уже не опускала перед Клавдией глаза, счастья своего не прятала. Да и чего ради прятать? Степан любил Маришку, так же нежно и заботливо любил, как прежде ее, и знала Клавдия, это у него крепко – ни силой, ни лаской не перешибешь. Было ей больно это, было обидно, но еще больнее и обиднее были разные пустяки, совсем уж ничего не значащие, например, когда он говорил Маришке те самые нежные слова, которые раньше говорил Клавдии, будто новых не мог придумать, уж если не специально для Маришки, то хотя, чтобы Клавдию не обидеть. Или уж забыл про все с молодой-то!?

Оба они, и Маришка, и Степан, жалели ее, говорили с ней уважительно, работой не нагружали, не попрекали ничем. Если за что тяжелое бралась Клавдия,

Степан грубовато, но ласково отстранял ее, а когда видел, что притомилась она, звал Маришку и говорил:

– Сделай это сама, Мариша.

И следил, чтобы не простудилась Клавдия, чтобы ела хорошо, валенки ей новые справил и шерстяной платок купил в городе. И Маришка всегда лучший кусок в ее миску подкладывала да угощала:

– Кушайте, Клавдя Михаловна, вам поправляться надо...

А у Клавдии от ее угощений ложка опускалась. Вот уж, право, ежели в самом деле считает, что поправляться надо, молчала бы лучше, а не хозяйничала за чужим столом. И чего это они ее откармливают, чего жалеют, ровно не знают, что ей ихняя жалость – серпом по горлу? Или знают– да нарочно?

Эх, не были бы они такими хорошими, особенно она, Маришка... Хоть бы задела чем, обидела бы, накричала, что ли... Уж тогда бы Клавдия дала себе волю, перелилась бы ее обида в гнев и указала бы она грозным своим перстом:

– Вон из моего дома, паскуда!

И Степан не посмел бы вступиться. Молча, давясь слезами, собрала бы Маришка свои тряпки в узелок...

А на деле ласковая была Маришка, ровная, улыбчивая и работящая. И не то, чтобы опасалась прогневить Клавдию, а так, по характеру. На детишек не кричала, не корила без причины. И только на одно не хватало у нее деликатности: чтобы не выказывать при Клавдии своего счастья со Степаном. Да было бы это, верно, свыше человеческих сил.

Клавдия же, как нарочно, как назло себе, иной раз взгляда от нее оторвать не могла. Ревностно ощупывала глазами ее статное пригожее тело – и завидовала, жгуче, жаляще завидовала, что и в лучшие свои годы не бывала такою. А по утрам исподволь пытала Маришкины глаза, губы, походку: в той ли еще силе Степан, не сник ли? А может, лучше, чтоб сник, заболел? Меньше бы хоть шептались по ночам, а то ей через этот шепот вовсе сна не стало.

Нет, нет, тут же себя останавливала, ни к чему это. Лучше бы она, подколодная, хоть малость подурнела, а то ведь каждое утро весенним цветиком цветет. Есть же на свете присуха, порча, дурной глаз – стоит к бабке сходить! Да нет, и этого не надобно, пусть бы только телом опала, чтоб мослы повыступили, и лицом почернела, и чтоб волос иссекся и попадал...

Но едва представила, как будет изводиться Степан, случись что с его ненаглядной, – не только не пошла никуда, мысли дурные отогнала со страхом: чур нас, чур, ничего не надо, пусть остается, как есть. Пусть себе пошепчутся, не навек же это, бабье счастье короткое. И не желает она ничего дурного Маришке. Лишь бы только разок, один-единственный разок приласкал ее Степан, просто приласкал, вспомнил бы, что она тоже баба.

Вот так – все бы да бы. Помечтать – и то полегче становилась ее постылая жизнь. Ее благополучная жизнь...

И дети росли ничего себе, только вовсе уж отдалились от матери и стали больно смирные, серьезные не по годам да большеглазые, как сироты. Особенно старшенький, Павлушка, очень уж взрослым стал в свои десять лет. Понимала Клавдия, что за нее мальчонка переживает, все помнит, все понимает. Когда не было никого, прижимался Павлушка к ее груди, по-взрослому молча плакал, ласкал ее, и уж тогда отпускала себя Клавдия и, тоже молча, без единого словечка, выплакивала обиды со своим первенцем. Но при Маришке, при Степане и Павлушка был как все.

Шло время – и ничего Клавдия не предпринимала, никаких решительных шагов. Наверное, сразу, в первые же дни, еще можно было взбунтоваться и все пресечь, да она уши поразвесила, Маришку пожалела. Ей бы бельевую веревку сграбастать да в сарае запереться, ей, а не Маришке, – авось образумился бы Степан. И в лесопилку пожаловаться могла, пущай бы на собрании разбирали, и в газетку написать, как другие пишут чуть чего, – люди заступились бы, потому что ее правда. Да только как жаловаться на Степана – все равно что на себя саму жаловаться. Нет, коли сразу не настояла на своем, теперь уж поздно. И ничего не предпринимала Клавдия, боялась потерять даже то, что у нее оставалось: жить дома, быть рядом с детишками, заботиться о них и хотя бы одним глазком видеть ненаглядного своего Степу...

**4**

Дела на лесопилке шли туго, лес поступал с перебоями, и не столько работали рамы, сколько останавливались на профилактику. И зарплаты Степан приносил всего ничего. А тут Маришку обратно заприглашали на кирпичики, где она состояла браковщицей до того, как уволилась, чтобы за Клавдиными детишками смотреть. Посовещались все вместе – Клавдия тоже в том совете слово имела – и порешили, идти Маришке на работу. Хоть и невелик от ее зарплаты прок, а все будет ощутимо, если вперед заглянуть: декретный-то отпуск на производстве оплачивается. А по дому доглядеть Клавдия могла.

И пошла Маришка на кирпичики. А там тоже новые порядки вводились: новая технология, новые нормы, ГОСТы и требования. И почти сразу, с места в галоп, толкнули ее в соседний районный городок на десятидневный кустовой семинар.

Попереживал Степан, укладывая ее в дорогу, натуральный инструктаж устроил: в рюмку не заглядывать, на танцульки там разные не бегать и вообще блюсти себя строго, чтоб ребеночка не потревожить. Но Клавдия, слушая тот инструктаж, только усмехалась у себя за перегородкой. Сказал бы уж прямо: от мужиков да от парней держись, мол, подальше.

Неделю шла жизнь обычным своим чередом, что с Маришкой, что без Маришки. А в воскресенье под вечер пришел Степан от дружков выпивши, сел напротив Клавдии за стол, подбородок упер в кулачище – и вдруг словно забыл о Маришкином существовании. Как прежде, еще в добрые времена, прорвало его, молчуна, и два часа кряду выкладывал он Клавдии, какие на лесопилке новости, кто под кого копает и кто на чье место метит. Уж наперед знала Клавдия всю эту многолетнюю историю, а все ж таки слушала с удовольствием. Слушала – и вспоминала под рокот его речи, что всегда казался он ей в такие вот вечера слабым, усталым, обидчивым, и жалела она его, от обид успокаивала, и всегда потом с особенной нежностью ласкала.

Вечером Клавдия, разбудораженная воспоминаниями, долго не могла уснуть, и Степан тоже все ворочался у себя в спаленке. А едва задремала, померещилось, будто гладит ее Степан по голове шершавой рукой, приговаривает:

– Клавденька, рыбочка, золотко мое, силов нет на тебя глядеть, нутро так и разрывается.

Проснулась – он рядом лежит. Вот, дождалась, приласкал! – сердце застукало. Но виду не подала, дышала ровно. Однако не затем Степан. прилез, чтобы добрые слова говорить, не затем.

– Что ты, Степа? – она села в постели, отстранила его от себя. – Чего тут позабыл-то? Иди-ка лучше к себе подобру-поздорову.

Но Степан не слушал, лез напропалую, насильно и грубо, точно к чужой. Попробовала оттолкнуть его, да куда там, силы в руках никакой не осталось.

– Уходи, – сказала задыхаясь. – Закричу.

– Закричишь! – рассмеялся он. – Уж будто закричишь. Ты же законная мне жена.

Тут ее и взорвало.

– Ах, я тебе законная!? Вона когда вспомнил! Пошел отседа, кобель поганый! – И действительно закричала – дико, пронзительно, по-звериному, как в соседней палате кричала от болей безнадежная умирающая.

Степан вскочил в испуге, свет зажег. Взъерошенный Павлушка прибежал, непонимающие глаза вылупил.

– Чего уставился? – цыкнул на него отец. – Тащи скорей лекарство, не видишь, мамке плохо?

Назавтра утром, пока старшенькие были в школе, собрала Клавдия чемоданчик, Нюрку одела потеплее и, не сказавшись никому, все еще до глубин души разобиженная, укатила к сестре в город. Вот как обернулась для нее давно жданная мужняя ласка.

Дурным сном промелькнули эта десять дней в городе у чужих людей, в чужом доме. Не то чтобы худо встретила сестра или ее муж – невмоготу было чувствовать себя неприкаянной, ненужной, лишней, сидеть не у дел, не зная, чем себя занять. И когда кормила Нюрку и ела сама, и когда помогала кой-чего по хозяйству, и когда стелилась вечером на полу в уголку, все мнилось: за каждым ее движением следят неодобрительные глаза, И думалось, думалось: как там, дома? Издалека и Маришка казалась роднее родной сестры. Извелась Клавдия, истосковалась, и едва получила письмо, подписанное грамотным Маришкиным почерком, сразу засобиралась домой.

В письме Степан описывал домашние дела и пенял, что де долго загостилась она у сестры, обещала, дескать, скоро обернуться, а уж неделя на исходе. Намек она поняла, тут же решила, что знать Маришке про настоящую причину ее отъезда ни к чему, уж и без того Степан, верно, напереживался и вперед поумнеет. Между прочим, в конце письма приписано было Маришкиной рукой: «Приежайте скорея Клавдея Михаловна родименькая, во всем перед вами веноватая Мария».

И вернулась Клавдия к себе домой, в свой запечный закуток. Обрадовались ей все – и дети, и Степан, и особенно почему-то Маришка. В тот же вечер доверчиво нашептала она Клавдии, как колотится детёнок ножкой в живот и даже дала пощупать с затаенной гордостью впервые носящей.

Ночью Клавдия всплакнула от радости и полноты жизни и пожалела, что так скоропалительно и необдуманно бежала из дому. Напрасно это, могла бы и мысленно прочувствовать, как бы она уехала, а Степан тут без нее горевал и терзался. Представила же, будто навела на Маришку порчу, – и лучше нет, и ей полегчало, и Маришке безопасно. Так и надо впредь – сколько разных вариантов накручивается вокруг каждого мысленного шага– уму непостижимо. Скажем, не рубани тогда смаху Степан насчет законной жены – да наверняка не оттолкнула бы. А что за тем последовало бы? Может, и вовсе вернулся бы к ней Степа от Маришки. Или прознай как-то стороной Маришка, почему истинно она уехала, – опять сто вариантов, думать не передумать. А сделано – как отрублено, один ход, один исход, и помечтать не о чем.

**5**

Что ни дальше, то больше смирялась Клавдия с такой жизнью. Вот уж истинно: притерпелось – слюбилось. Последний раз, помнится, взбунтовалась (она, когда повез Степан Маришку в родилку. И что это нашло? Едва он вывел лошадь со двора, едва ворота скрипнули, схватила она голик и, сама себе ужасаясь, помела сор к порогу. Мало ль чего может статься, родилка тебе не спаленка чужая, там небось не сладко. И в последний раз чуть-чуть забрезжило Клавдии вечернее ее солнышко.

Да не сбылась черная примета, и слава богу, потому что, кто его знает, как бы еще все сложилось. А тут родила Маришка сыночка, забот в доме прибавилось, по хозяйству больше на Клавдию легло, и свои дети, да и Маришкиного малыша часто приходилось нянчить, так что и времени-то на обиды не осталось. Клавдия, как и Маришка, радовалась малышу, любовалась им, потому что хоть и не ее был сыночек, да все же Степана.

С Маришкой она уж и вовсе сжилась, привыкла, даже полюбила по-своему. Нравилось ей, что во всем слушается ее Маришка: как ребеночка пеленать, как кормить или купать. А коли хворал, Клавдия все брала в свои руки, и больше, чем себе, доверяла ей Маришка. Казалось иногда Клавдии, когда нянчила она малыша, что это ее внучонок.

Стала Клавдия в своем доме вроде как бабушкой. По дому не спеша хлопотала, баюкала «внучонка», а чаще все сидела в теплом своем уголке и вязала ребятишкам носки да варежки, и думала бесконечную, как нитка, думу, по-старушечьи поджав губы. И звать ее стали Клавдюшкой, как других старух в поселке, – и Степан, и Маришка, и соседи, даже собственные дети. Точно забыли люди, что она жена Степану. Клавдия не обижалась, привыкла. Только иногда Павлушка отчаянно, порывисто прижимался к ней, когда никто не видел, и шептал:

– Мамка, мамка...

Ей уж и этого было довольно, и это боялась она потерять. А младшенькие и вовсе, казалось, забыли, что она мать им, спасибо, Маришку матерью не называли.

Да и какая она мать! Она старуха. Бабушка. Клавдюшка...

Она и чувствовала себя старухой, у которой все позади. Уж в мыслях не было ни бунтовать, ни добиваться того, что принадлежит ей по праву, по закону. Да разве плохо ей жилось, разве обижали ее, обходили в чем? Так нечего и бога гневить!

Только иногда поднимался в ней протест: это неправда, неправда! Неправда, что она бабушка, что Степан ее сын, а Маришка сноха, что собственные дети – ее внуки! Это неправда! Ее обманули! Обманули и заставили молчать!

Но и в этот момент никто ничего такого не смог бы прочесть ни на лице Клавдюшки, ни в согбенной ее фигуре.

Годы шли, и еще один «внук» появился в семье. А она все так же спала на стареньком диване в горнице, ходила за детишками, помогала по хозяйству и вязала, вязала, поджав старушечьи губы и спрятав седые волосы под черный платочек. И никто за все время не услышал от нее ни жалобы, ни упрека.

Так она и жила.

**6**

Но это была не вся жизнь Клавдии.

Она все думала, думала, и вспоминала, и прикидывала, а что было бы, коли так, и что коли этак, и мечтала, и грезила прошлым, как будущим, – ив этом была ее главная жизнь.

Но чтобы рассказать о том, что передумала и пережила она за эти годы, не хватило бы самой толстой книги.

**К урокам 28-30.**

**Иван Комлев. «У порога».**

**Иван КОМЛЕВ**

**У ПОРОГА**

*Повесть*

**Глава 1**

Апрель управился со снегами, но земля ещё была стылая: под лучами солнца она оттаивала, а за ночь подмерзала вновь. Но с каждым днём солнце пробиралось всё глубже и глубже, и хотя холод ещё крепко держал землю, чувствовалось: она пробуждается.

Тимофей Несторович был плох.

Вот уже три дня не ест, не пьёт и с постели не поднимается, очнувшись, ждёт, когда Поля, Полина Филипповна, подойдёт к нему. Тогда его глаза оживают и в них – мольба. Баба Поля, как называют её все знакомые – и малые, и старые, – делает вид, что не замечает этой молчаливой просьбы, не помнит о ней, сама спрашивает: «Поешь, может, а, Тимофей? Я тебе свежего бульончика приготовила, Тёпленького... Не будешь? А то бы поел. Немножко. Ну, скажи, чего тебе хочется – я сготовлю».

Тимофей Несторович не отвечает, но баба Поля знает, что он понял её – скажи она что-нибудь другое, тогда, может, и не понял бы, а это – понял и занят мыслью: «Не даст...»

После такой беседы он обычно закрывает глаза и погружается в забытьё, но в этот раз надежда в его взгляде не гаснет. Он подтягивает руку, лежащую поверх одеяла, ближе к своему лицу, складывает большой и указательный пальцы вместе – так, чтобы кончик указательного чуть-чуть выступал из-за большого, ждёт.

«Граммульку всего и просит... Господи, за что мука такая? Ведь всё равно умрёт...» Баба Поля пугается этой мысли. Боится уступить – врач сказал: «Нельзя!» Боится не дать – умрёт её Тимофей Несторович, а она не уважила его, не исполнила последнего желания. «Нельзя!» Самое последнее... Казнили раньше преступников и то, сказывают, всегда исполняли их последнюю волю. Чать, не преступник Тимофей Несторович, самый, может быть, мирный и добрый человек, какой был на свете. Как же не дать?

Старик не дождался ответа и на сей раз, прикрыл глаза, задремал; рука со сложенными пальцами так и осталась лежать на груди – напоминанием о неутолённой жажде гаснущей души.

Белые пальцы впервые за всю их долгую жизнь так спокойны и чисты. Тимофей Несторович, сколько знала его Полина Филипповна, сколько помнил он себя сам, трудился, и руки его, загрубевшие, в царапинах, трещинах, были черны от въевшейся в них земли, копоти, мазута и ржавчины и, натруженные, в такт пульсу мелко вздрагивали. Даже ночью, во сне. Теперь вот, когда он отлежал в больнице почти два месяца и немногим меньше дома, руки, наконец, очистились от копоти, перестали дрожать, успокоились.

Баба Поля присаживается у кровати и ждёт. Скоро должен прийти врач. Он всегда в это время приходит. Посмотрит, положит свою длинную ладонь с ухоженными пальцами на широкое запястье Тимофея, послушает пульс, бодренько скажет: «Всё хорошо», – заголив руку умирающего выше локтя, сделает «укольчик» и – до свидания.

Ходить эти дни и ставить укол врачу приходится потому, что медсестра, которая ему помогает, последнее время хворая. Может, у него есть и свой интерес: для лучшего уразумения болезни ходит, то ли забота берёт...

Когда Тимофея Несторовича выписали из больницы, баба Поля поняла: умрёт. Сказывают, что худо врачам приходится, когда кто-нибудь помрёт в больнице. Дома – совсем не тот спрос. А другим больным каково? Потому и выписывают.

Почувствовала она и другое. Тимофей тоже имел своё понятие о выписке, хоть виду и не подавал. Подумать, так оно, пожалуй, лучше: не ездить ей каждый день в больницу, весь день Тимофей на глазах – и на душе спокойней.

С тех пор, как его выписали из больницы, Тимофей Несторович большую часть времени проводил на старом, без спинки, диване, что стоял у печи, вставал только по надобности да по привычке – к столу. Ел мало, так мало, что и вовсе ничего: погреет ладони на горячем стакане – и на покой. К ночи раздевался, ложился в кровать.

Разговаривал охотно. И с ней, бабой Полей, а чаще – с Серёжкой. Серёжку родители приводят на день – на время работы. Серёжке всего полтора года, и в садик его пока не сумели устроить.

Баба Поля согласилась водиться не из жадности, но расчёт всё-таки был. Тут уж никуда не денешься – вся жизнь её учила бережливости. Нужды было много, а денег не было. То есть, они были, в тот день, когда Тимофей приносил зарплату. Брали из этих денег только на самое необходимое, остальные она рассчитывала так, чтобы хватило на хлеб, соль, крупу – как раз до следующей получки. В войну, да и в первые годы после войны, деньги ничего не стоили – как ни рассчитывай – на хлеб не хватало.

Ртов-то было четверо. Четверо ребятишек, и у всех волчий аппетит. Не то что у нынешних – всё есть: и хлеб белый, и масло, и молоко, и колбаса, и сласти разные – не едят. Почто так?

Баба Поля вздыхает. Выросли дети Тимофея Несторовича. Разъехались. Сами уж давно пообзавелись детишками. В нужде, а выросли. Хорошими людьми стали – и баба Поля гордится ими.

Теперь нет ни нужды, ни ребят в доме. Она да Тимофей. Тимофей собрался уходить...

Останется одна. Как тогда, в сорок четвёртом. Вот и подкапливает деньжат. Чтобы не быть никому в обузу. Конечно, можно к ребятам. Васенька, последний из всех, любимчик Тимофея, зовёт каждый год к себе жить. Возьмёт и одну, когда отца не станет.

И Алёша возьмёт. Он добрый, славный. Только сам уж в деды метит. Как выйдет в отставку, так, считай, дед. Рано у них, у военных, пенсия. Алёша в отца – добрый, как он только в армии служит? Мухи даром не обидит – разве такие должны быть командиры?

Верка – вот командир. Бритва! Парнишкой ей бы родиться. Бесстрашная. Как мать.

Баба Поля вздрагивает, отрывается от своих мыслей, осторожно кладёт ладонь на трудную Тимофееву руку – пальцы его всё в той же немой просьбе: «Чуть-чуть...»

«Господи. Скорей бы уж врач пришёл». Она старается направить ход мыслей по новому руслу, но Марья – мать детей Тимофея – неотступно требует своё: «А я?»

То-то и оно. Посоветоваться не с кем, а самой не решить. Сообщать ли, звать ли её на похороны. Поди скоро уж... Дать бы телеграммы – приехали бы, у них бы и спросить. У детей. Им лучше знать. Опять и тут без врача не обойдёшься: заверенные должны быть телеграммы. Что-то долго он не идёт, врач-то.

...Марья в любой момент может приехать. Тут недалеко – час на электричке. Ежели сообщить, конечно, приедет. И как тогда быть?

Эта забота – сообщать ли Марье о смерти её бывшего мужа и как быть, когда она войдёт в этот дом, – неотступно следует за бабой Полей с той минуты, как она поняла, что Тимофей, Тимофей Несторович своё отжил.

Не за себя забота, за детей. Худо им и без того будет, а тут ещё она, Марья. Эти, младшие-то, Васятка да Вера, вроде ничего. «Не нужна такая мать» – и всё. И горя мало. А вот старшие, Алёша и Аня, шибко переживали. И то: почти выросли при родной матери, сколько горя вместе хлебнули... А души-то у них ласковые, отзывчивые на всякую боль. Им бы в самый раз подошло врачевать людей. Алёша почему-то в военные пошёл, Аня – в химию. Верка, Вера – в медсёстры определилась. Вот и узнай их...

По скольку же им тогда было?..

На дворе лениво гавкнул пёс, загремел цепью.

– Ох ты, господи! Пришёл, – баба Поля заспешила через кухню к входной двери.

На пороге выросли двое. Баба Поля враз узнала и второго: тоже врач, старшой среди них, Иван Васильевич.

– Здравствуйте, Полина Филипповна, – в полный голос приветствует её Иван Васильевич. – Долгих лет вам. Как дела, как Тимофей Несторович?

– Здравствуйте, Иван Васильевич. Здравствуйте, Пётр Афанасьевич.

Баба Поля смотрит встревоженно: сам главный приехал – к худу, наверное.

– Подвёз вот молодого коллегу: опаздывал. Не успевает молодёжь, – успокоил её Иван Васильевич.

Баба Поля согласно кивает головой, пропускает Петра Афанасьевича в комнату, где лежит Тимофей Несторович, сама задерживается у двери, негромко жалуется:

– Худо, ой худо дело, Иван Васильевич. Плох мой старик.

В жалобе её таится крохотная надежда: а вдруг этот пожилой и мудрый человек, врач, ещё раз посмотрит Тимошу и скажет... Что он скажет, она представить не может. Ну, так на то он и самый старший среди врачей. Не зря ведь.

Иван Васильевич не отводит своего взгляда, и она понимает: сказать нечего и надеяться не на что. Но он, тоже негромко, говорит:

– Да, Полина Филипповна... Что же делать? Мне Тимофей Несторович ещё там, в больнице, как-то сказал: «Износился я, не почините», – Иван Васильевич вздохнул. – Было бы что чинить... Да, вы понимаете.

– Никогда не хворал, не жаловался... Скоро уж? – беззвучно шевелит губами баба Поля.

– Идёмте-ка посмотрим, как там Пётр Афанасьевич управляется.

Баба Поля ведёт Ивана Васильевича в горницу – к стулу, сама становится в сторонку, так, чтобы было видно и молодого врача, колдующего у постели, и лицо Тимофея Несторовича, и Ивана Васильевича. Делится негромко своей печалью:

– Ведь он не ест у меня совсем. Всё просит рюмашечку, ну, хоть с напёрсток.

– Да? Нельзя: рюмка водки ему... – Иван Васильевич не досказал, только рукой повёл.

– Вот и Пётр Афанасьевич то ж самое говорит. А мне-то каково? – у бабы Поли навёртывается слеза. – Он ведь больше ничего не просит. Я не дам, а может...

Баба Поля смотрит на Тимофея Несторовича, угадывает, что сейчас можно говорить всё: он не внемлет разговору.

Иван Васильевич тоже смотрит на умирающего, потом на бабу Полю, говорит отошедшему от кровати коллеге:

– Если напёрсток сухого... Ты как, Пётр Афанасьевич?

Тот пожимает плечами, глазами показывает на бабу Полю.

– Э-э... Чего уж там – говори, – Иван Васильевич идёт к двери. – Она знает, как дело обстоит. И вообще они, брат, больше нашего понимают. Мы лечим, спасаем им жизнь, а они возьмут и отдадут её по доброй воле. За идею. За нас с вами. А кто и неизвестно за что. И попробуй докажи, что они – неправы. Разве не так? – он смотрит на бабу Полю ласково-сочувственно, уважение, которое слышалось в голосе, светится и во взгляде. – Бывает, что и чужими жизнями распоряжаются. А нам этого не дано.

– Бывает… – баба Поля холодеет: перед глазами у неё стоит Марья.

– Ну, напёрсток хорошего виноградного вина найдётся? Но – не больше!

– Спасибо, родненькие вы мои. Есть у меня всякое. Постойте, я же вас чайком угощу с вареньицем. У меня его много, с осени стоит, есть некому.

Иван Васильевич секунду колеблется, смотрит на часы, с сожалением разводит руками:

– Хорошо бы горяченького, но времени не осталось. Меня уже ждут. Спасибо, но не могу.

– А я что хотела ещё спросить...

– Да?

– Телеграммы мне отправлять? Детям.

– Отправьте.

– Так ведь заверенные надо. Могут с работы не отпустить. Алексея Тимофеевича и вовсе: он военный.

– Как, Пётр Афанасьевич?

– Я сделаю. Вы сможете завтра до обеда с телеграммами зайти в больницу? Заверим. Написать знаете как?

– «Шибко хворый» – чего ж не знать? Напишут мне. Я попрошу. Завтра, стало быть. Вот и ладно, вот и хорошо. Ребятки наши приедут. Спасибо вам.

С души у бабы Поли свалилась тяжкая ноша. Ещё бы с Марьей...

Едва ушли доктора, заявилась соседка. У неё нерабочий день. Видела она, что были двое, любопытно ей.

– Здравствуйте, баба Поля.

– Здравствуй, Галя. Заходи-тко на кухню, чайку попьём.

У Гали безобидный интерес.

– А Тимофей Несторович не будет?

– Третий день не встаёт.

– Что говорят? Этот седой – кто?

– Главный у них. Плох Тимофей мой Несторович. Завтра телеграммки буду отбивать, – баба Поля прикусила дрогнувшую губу, налила чай.

Галя пробует мягкие булочки, варенье, хвалит:

– Вкусно вы стряпаете, баба Поля. И варенье – как свежее.

– Нравится? Ты бери больше, не стесняйся, – баба Поля придвигает вазу с вареньем ближе к соседке. «Вот и на поминки надо будет ватрушек и булочек изготовить...» – думает она, глядя, как вкусно, с неподдельным удовольствием Галя ест булочку. – Я что хочу тебя попросить. Ты мяса можешь принести? Ежли что...

– Ладно. Можно и фарш. Сколько надо?

– А и сама не знаю пока. Сколь будет народу. Приедут ребятки – видно будет. Деньги дать?

– Нет-нет. Потом.

Галя допивает чай, благодарит и торопится нести новость.

Баба Поля идёт в горницу к своему Тимофею. Большая комната кажется пустой. Когда-то в ней помещалась вся семья, а теперь – двое; и мебели на двоих: две кровати, диван-лежанка у печи, стол и шкаф. Стульев тоже немного – четыре. Новенькие – в позапрошлом годе купленные. Те, довоенные, да табуретки, что Тимофей сам делал, как семья прибывала, стали уж негодны, и баба Поля снесла их в сарай. Был среди них и Марьин стул. Из приданного.

«О, господи! Опять Марья...»

Как же Тимофей, неужто не вспоминает совсем?

Тимофей Несторович что-то шепчет. Она подходит ближе, но только успевает разобрать:

– ...эту рубаху!

– Что? Рубашку сменить хошь?

Он открывает глаза, узнаёт её, шепчет:

– Это ты, Поля, – взгляд его теплеет, в нём даже появляется лукавинка.

«Сейчас попросит, – догадывается баба Поля, – а я дам. Напёрсточек». Ей становится радостно и легко. Она улыбается.

Он действительно просит:

– А? Поля...

Она согласно прикрывает глаза:

– Доктор малехонько, а – разрешил.

Он потаённо улыбается: он знал, что когда-нибудь так будет.

– Счас я, счас, – баба Поля торопится на кухню. Там, в шкафчике под ключом, у неё целый арсенал, как сказал бы Алёша.

Ждали с Тимофеем сынков к мартовскому празднику, набрали по лучшему вкусу, а они вот не приехали. И Аня обещалась. Верочка только не могла, у неё экзамены. Сколь лет проработала, а потом начала учиться. Может, так оно и лучше: узнай сперва работу, а потом – учись? Чтоб не зазря.

Пасха минувшим воскресеньем прошла. И пасху не праздновали. Не только потому, что Тимофей Несторович болен – веры в того Бога давно не стало, с войны: разве допустил бы всемогущий такой разбой? Он бы тех гитлеров ещё в чреве материнском распознал и на белый свет не допустил явиться. Ежели и есть где-нибудь тот, имя которому Бог, то не достоин он этого звания, потому– пустой звук, пустое место, без души. Душа должна быть в Боге, как в человеке, есть она – есть Бог, есть человек; нет её – тогда ни Бога, ни человека.

Но сдобного баба Поля настряпала и яиц накрасила, в луковичной шелухе сварила. На радость ребятишкам. Как увидят – глазёнки заблестят: эко диво – яичко крашеное! Серёжка, маленький, так сразу в рот его потащил, необлупленное...

Напекла, накрасила. В этом нет худого – так было заведено раньше, от родителей унаследовано. Душа радуется, когда достаток, когда белый хлеб на столе. И, опять же, как узелок в памяти: живи, радуйся, но не забывай, что так было не всегда...

«Эта крепкая, – баба Поля убирает в сторону две бутылки с коньяком. – Водочку – нельзя. А это какое же?»

Баба Поля рассматривает бутылку с нерусскими буквами и яркой картинкой, но названия не может вспомнить или не знает вовсе. «Ах ты, господи! Хорошее, поди, а боязно, когда не знаешь. Тимофей заждался...» Она уже начинает тревожиться, ей кажется, что прошло много времени, пока она перебирает десяток бутылок, но вот знакомая наклейка и по-русски – «Хемус».

«Вот это подойдёт», – решает баба Поля. Бутылка закупорена пробкой намертво. Баба Поля находит в кухонном столе штопор, ввинчивает его, тянет на себя, но – безрезультатно. Переведя дух, берётся снова.

– Чтоб тебя… – шёпотом ругается баба Поля. Пробка нехотя поддаётся. – Прости меня, грешницу...

Осторожно, как валерьянку, накапывает вино в рюмку.

– Счас, Тимоша, счас, – шепчет баба Поля, следя как медленно-медленно прибывает на дне, дрогнула рука – и враз, плеснувшись, вино наполняет рюмку более чем на треть.

– Ох ты! Не много ль будет? – несёт Тимофею Несторовичу.

Он лежит недвижимый, и баба Поля пугается: «Что это?!»

Но Тимофей Несторович жив, только ему страсть как плохо, на нём, видится ему, опять та проклятая рубаха, она жжёт его, как огнём; он не может сбросить её сам и лежит, стараясь совсем не дышать. Но... шаги! Куда деваться?!

Тимофей Несторович открывает глаза, видит Полю, вспоминает, что между ним и рубахой – тридцать лет... Но грудь горит. «Это не старость, не болезнь, – знает Тимофей Несторович, – это жжёт позором... Поля спасёт. Она принесла...»

Баба Поля помогает Тимофею приподнять голову, придерживает его руку:

– Хемус я тебе, Тимоша. Водка – она злая. Нельзя водку-то.

Тимофей Несторович не воспринимает её слов. Он вслушивается в то, как жидкость продвигается к огню: вот подойдёт и потушит... Странно: в горле стало теплее, а в груди полыхнуло – и жар стал спадать. Странно и хорошо.

Баба Поля говорит что-то ещё – он согласно прикрывает глаза.

И вовсе не страшно. Всё прошло давно. Тогда его оглушило потому, что он ничего не знал. И в мыслях не было. Даже когда Сашка, сын убитой соседки, выдавил из себя: «Дядя Т-тимофей, на т-тебе б-батина рубаха!» – и тогда он не понял.

Соседку перед тем, примерно за полгода раньше, кто-то пристукнул топором. Никто толком не мог понять: за что. Безвредная была старушонка. Да если б кто имел злобу, всё равно не стал бы грех на душу брать: Пелагея – так её звали – дышала на ладан. Была она при всех болезнях, какие положены в её возрасте, а тут ещё горе придавило: пришла похоронка на старшего сына. Потом другое: старик её не выдержал – сковырнулся. Известное дело: беда в одиночку не ходит.

Осталась Пелагея без поддержки, слегла. Сашка, второй сын, хоть и был рядом, а не то. Слишком велика была разница в годах: по этой разнице он годился Пелагее во внуки, а не в сыновья.

Как схоронили отца, Сашка перестал почти совсем дома появляться. Дневал и ночевал на заводе. Делу учился так, будто от этого зависело – жить или умереть. Тимофею Несторовичу в свободную минуту роздыху не давал: «Покажи, научи». Этим и прирос к сердцу, как свой; будто стал самым старшим его сыном. Когда приходил домой – долго не задерживался. Сделает что надо: дров наколет, воды принесёт, полы вымоет – и к Тимофею Несторовичу. Здесь весело: два парнишки и две девчонки.

У Тимофея Несторовича даже такая мысль росток дала: «Аня подрастёт – лучшего жениха не сыскать». Потом дело повернулось так, что зачах этот росток, подрубленный на корню...

Когда убили Пелагею, оба – Сашка и Тимофей Несторович – были на заводе. Пришли вдвоём. В доме – милиция, на дворе и в дверях– народ. Бабы и ребятишки. Неслыханное дело: беспомощную старуху зарубить, если взять что хотели – она не помеха. Жуть!

Было ли что взято, Сашка сказать не мог. Брать, в общем-то, было нечего.

Марья – ох, Марья! – смотреть не пришла. «Не могу», – сказала, и в лице – ни кровиночки.

Милиция к ней сама приходила. Марья часто помогала Пелагее по дому – вот у неё и спрашивали: «Кто бы мог? Не видала ль кого? Когда была в последний раз в доме у Пелагеи?»

Марья ничего не сказала. В тот же день, когда убили, и была. Можно было и не спрашивать – каждое утро заходила. Как управится с делами у себя, так сразу – к соседке.

Печь протопить, если Сашки не было дома, прибрать маленько, если самой Пелагее невмочь, а главное – живым словом перемолвиться. Для Пелагеи это было главным подспорьем, единственным лекарством.

«Ах, Марья, Марья... Змея подколодная! Пятнадцать лет вместе прожили, а не знал её».

Снова огонь занимается в груди Тимофея Несторовича, пробивается наружу. Нет, это не огонь. Это опять рубаха на нём. Жжёт и давит.

«Снять!»

Тимофей Несторович от напряжения приходит в себя, открывает глаза, видит пустую комнату, немного успокаивается: «Это не рубаха, это смерть за мной пришла».

Тогда тоже готов был умереть или сквозь землю провалиться...

Работа была адова. Без счёта сил. Без времени. Без передышки. Казалось: взвалил однажды на себя непомерную тяжесть, такую, что вот-вот жилы лопнут, да так с ней через годы войны и шёл. Тащил шаг за шагом, не позволяя себе остановиться на миг, расслабиться. Иначе вновь не поднять.

Тут Марья и ударила со всего размаха.

Сорок четвёртый год тогда на зиму повернул. Немцев на фронте били, гнали; земля очищалась от скверны; всё чаще звучали по радио торжественные сообщения об освобождении городов, сёл и деревень.

Но от этого только на душе легче становилось. Работать же приходилось ещё больше.

И похоронки шли и шли.

Тогда же и Полина Филипповна получила свою. Крепкая она была женщина – виду старалась не подавать, да ведь такое горе не утаишь.

Зашла Полина Филипповна к ним вечером на Октябрьский праздник за какой-то надобностью, а скорее всего, надобность была в людях. Тяжко в одиночестве, особенно когда горе горькое, как рана свежая, болит и кровоточит и не отпускает ни на шаг ни днём, ни ночью.

Не осталось у Полины Филипповны к тому времени близких: родители умерли, брат не вернулся с финской; не было детей – бесплодной оказалась её женская стать. Похоронка отняла мужа, оборвала последнюю нить.

Тимофей Несторович помнит ясно тот вечер. Врезался он в память и живёт, когда всё другое отболело и погасло.

Всей семьёй они сидели за столом. В чугунке, стоявшем на столе, дымилась паром картошка. Возле каждого на столе – по ломтику хлеба. Марья позаботилась.

А перед тем она, Марья, достала из сундука и подала ему, Тимофею, рубаху. Совсем новую, только слева, чуть пониже воротничка, было небольшое чернильное пятнышко. Не очень заметное на сером, в тёмную клетку, фоне.

Тимофей Несторович, признаться, обрадовался подарку. С тех пор как шла война, из одежды ничего не покупалось. Наоборот, что было лишнего – обменивалось по великой нужде на продукты. Только лишнего быстро не стало: нужда как вошла однажды в дом, так в нём и осталась – вечным поселенцем; дети подрастали – и что можно было, то переделывалось для них.

Обносился к тому дню Тимофей Несторович – дальше некуда. Снял он свою единственную рубаху, не рубаху, а решето – на неё даже заплату посадить уже невозможно было, – снял, положил в уголок у порога, а новую – надел.

«Вот куда, наверное, ушла её шаль весной. Хоть старая, но шаль. Самой на улицу выйти не в чем...» – подумал Тимофей Несторович.

– Спасибо, Марьюшка, – сказал он, – как ты только умудряешься и кормить, и поить нас, да ещё и обновку припасти?

Марья не ответила, не улыбнулась даже. Она вообще с тех пор, как похоронили соседку, была какая-то странная, вроде как не в себе. Так оно и было: не в себе. Иначе ни за что не показала бы никому эту рубаху.

В этой-то рубахе и сидел за столом Тимофей Несторович, когда зашла Поля. Пригласили её за стол. Она отказывалась, но потом всё-таки села. К хлебу не притронулась, а горячую картофелину с солью съела. После пили чай. Без сахара, но пахучий, заваренный сушёными смородиновыми листьями.

Зашёл Сашка, сын убитой соседки Пелагеи. Посадили его выпить чайку, нашлась ему и картофелина, остывшая уже. Марья оставила.

Потом слушали радио. Сашка – он сидел напротив Тимофея Несторовича – вдруг, запинаясь, сказал: «Д-дядя Т-тимофей, на тебе б-батина рубаха!»

Позже Тимофей Несторович всё понял, всё узнал, а чего не узнал – представил... Всё, как было.

А тогда он недоумённо посмотрел на рубаху – в то место, куда впились Сашкины глаза – под воротничок с левой стороны, потом перед ним промелькнули напуганные лица детей, ладонь Полины, прикрывшая в беззвучном крике рот, и усталое, почти равнодушное лицо Марьи.

– Какого бати? – не понял Тимофей Несторович. – Твоего? Что? Как это?

Сашка поднялся, медленно, боком, пошёл к двери.

Только тогда догадка, страшная, невероятная, обожгла мозг Тимофея Несторовича, вонзилась ножом в грудь, сдавила петлёй горло...

Марья молча сидела на стуле, безучастная, отрешённая...

Баба Поля вышла за калитку посидеть на лавочке. Не просто посидеть, как бывало раньше, а увидеть кого-нибудь из знакомых, кто написал бы телеграммы и снёс их заверить в больницу.

Скорее всего это будет Саша, Александр Григорьевич, уважаемый человек на том самом заводе, где работал когда-то и Тимофей Несторович.

...После того страшного дня, когда узнал отцову рубаху, долго не заходил Саша в дом Тимофея Несторовича. Армию уж отслужил – потом зашёл. Поначалу то хмурился, то смотрел виновато...

Говорят, строгий из него начальник вышел, но он, Саша, простой. С телеграммами не откажет, сделает как нельзя лучше. Строгость у него – от заботы. Понапрасну он даже своего шофёра не тревожит: на работу и с работы домой едет не на машине, а в автобусе. Остановка рядом, чего не ездить?

Живёт он, конечно, не в том домике, где когда-то жил с Пелагеей, с матерью, а потом, сирота, один. Переехал в новый дом, в квартиру хорошую, с туалетом тёплым, с водой – и горячей, и холодной, да много чего в том доме есть. Вот стоит – через улицу только перейти.

Когда-то пустое место было, а теперь понастроили и домов, и столовую, и магазинов два. Почти до самого леса добрались. До кладбища почти...

Снесут Тимофея на кладбище, зароют в сыру землю, и останется она одна-одинёшенька...

Никуда не поедет, будет доживать свой век здесь. А потом рядом с ним и ляжет.

Как быстро жизнь пролетела – будто день! Тридцать годков бок о бок с Тимофеем, рука об руку. Боязно тогда было решиться, ох боязно. Что она была против Марьи? Сухое дерево против берёзы кудрявой... Но если б только это. Ведь подумать – так и знать-то его не знала. Видела мельком, когда шёл на работу или с работы домой, а то ещё во дворе, когда с дровами возился.

По-соседски надобность какая возникнет, то – к Марье. Да и с ней, с Марьей, разговоров душевных не водили. Разные уж очень были, да и жизнь разная: у Марьи четверо и муж, а она одна как перст; о себе забота, себе радость – когда весточку от мужа получить доводилось. Потом и вестей ждать стало неоткуда...

Почти не знала его. Да. Но и это – не главное...

Постучал к ней Тимофей поздненько – открыла дверь. Ветром снег захлёстывало через порог в сени, враз прохватило холодом до самой души... Какой же это день был? Забыла. Но сорок пятый ещё не наступил. Недели две, однако, оставалось. Провела его в дом, спросила: «Ай опять что стряслось?»

Он сел на скамейку у стола, повернулся всем телом к печи – оттуда исходило тепло, ничего не ответил. Вздохнул только и смотрел горестно в тёмный угол.

И она поняла.

Чего ж не понять? Четверо в доме, а отец на работе.

После всего, что случилось... Конечно, Алёшка уж большой был – четырнадцатый шёл, и Аня могла без матери управляться – двенадцатый год ей доходил. А Верочке с Васяткой всего одиннадцать на двоих. Погодки, как грибки лесные, – один за другим. И всё уже понимали про мать. Убивицу.

Старшим – в школу, а эти – одни дома. Каково им? За малыми глаз нужен.

Потому и пошла. Оттого и боязно было.

Сперва только день проводила у них, а потом пришлось совсем перейти. Что оставалось делать? Работу бросила. Как объяснишь – почему? Соседу помогать детей воспитывать? Другое дело – замуж вышла. За многодетного. Да и ребята, она видела, тревожились, когда Тимофей Несторович не приходил домой и им одним ночевать приходилось. Вот и перебралась...

Ох, жизнь! Не разобрать: где грех, а где – святое.

Детей жалела, но виду не показывала. К себе не старалась привязать. Мать, какая ни есть, она – мать. Не на век отлучена, пройдёт срок – вернётся к детям. Об этом помнила Полина Филипповна, когда шла в чужой дом. Помнила, когда случилось взаправду стать женой Тимофея Несторовича.

Первое-то время так, по нужде пришлось: в тесном доме одна кровать им причиталась с Тимофеем; хоть и широкая, да не чисто поле, не разминёшься. Тимоша...

Как потом полюбила... Вспомнишь – сердце замирает. В молодости первого мужа своего так не ласкала.

Баба Поля стряхивает с себя наваждение, пытается следить за людьми, выходящими из автобуса: рабочий день должен бы уже закончиться – вот-вот пойдут нужные люди.

Но пока нет. Больше идут незнакомые или знакомые, но из тех, кому до её забот дела нет. Поздороваются – и спешат дальше.

Выпал из задней двери автобуса пьяный мужичонка под ноги людям. Понатужился, встал, покачался, как ковыль на ветру, угадал дорогу и – двинулся. «Эк угораздило! Уработался за день, сердешный. Когда успел только?» – баба Поля с презрением и одновременно с состраданием видит, как пьяный, сделав несколько торопливых шажков под улетающее тело, стелется на тротуар, лицом на шершавый асфальт, лежит некоторое время, раскинув руки, как подбитая птица, потом встаёт, роняя красные капли с изодранного лица на руки, одежду... Потом всё повторяется: короткая пробежка, полёт, приземление...

Медленно, трудно даётся дорога к дому, но человечек неукротим в своей цели: достичь.

«Тимофей тоже под конец шибко её любил, клятую, – вздыхая, думает баба Поля, – а вот эдак-то не напивался. Меру соблюдал».

Как он там? С винца-то вроде полегче ему стало. Счас, дождусь вот только, пойду погляжу: не надо ли чего».

Ему не надо. Никогда ничего не просил, не жаловался. Вот только эти дни – выпить капельку. Потому и отказать трудно. Грех.

Тимофей Несторович лежит умиротворённый. Поля – молодец. Дала винца – облегчила душу. Избавила от наваждения. От рубахи избавила. Теперь он помнит, что не рубаха его жжёт, а болезнь, смертушка за ним пришла. Пришла, ну и ничего. Ладно. Подождёт.

Он её ещё тогда ждал, тридцать лет тому назад. Нет, не хотел, чтобы пришла, но почему-то думал, что она недалеко. Придёт и покарает его.

Но, оказывается, легко хотел отделаться.

Жизнь оказалась куда большим наказанием. Оно виделось ему в глазах испуганных детей, осиротевших при живой матери; в убегающем виноватом взгляде Саши – Саша, рассказывая, откуда взялось на рубахе его отца чернильное пятнышко, избегает смотреть в полупустой зал, где на первом ряду – он, Тимофей; в понурой, безучастной фигуре Марьи.

Потом Марья рассказывает. Монотонно и безразлично к себе, к тому, что её ожидает. Не говорит – камни кладёт на душу своему Тимофею, могильные плиты на его тело. Того и гляди раздавят.

Говорит о том, как плохо было весной у них в доме. Картошка, что накопали осенью в огороде, кончилась. Ничего не осталось у них, что можно было сменять на продукты. Говорит, что продуктов, выдаваемых по карточкам, хватало только на то, чтобы не умереть; что страшно было ей было думать по ночам о голодных детях, но ещё страшней стало, когда однажды она обнаружила, что утеряла карточки за целую неделю. Несколько дней она держалась, давала детям те крохи, что умудрилась выменять на старую свою шаль, тянула, как могла. Хорошо ещё, муж в те дни дома не появлялся, ночевал на заводе.

Все эти дни она бывала у соседки, Пелагеи. Помогала ей приготовить еду, убирала в комнате. Заглянула однажды в ларь, стоявший в кладовке, а там, на дне его, – кринка, закрытая камешком, и две баночки. В кринке – почти наполовину– просо. Одна банка пустая, а в другой, прикрытой блюдцем, на дне – жир. Не жир – выжирки от сала. Давнишние, но годные.

Берегла Пелагея, стало быть, на самый чёрный день.

А у Марьи – вот он, этот день, наступил, чернее некуда. Давит детей голодом, грозит унести в могилу. Почти три года продержались, война на конец поворачивать стала. Неужто отдать на погибель? Помутилось в голове у Марьи. Подумала: всё равно Пелагее мало жить осталось. И боялась, что Пелагея может добрести как-нибудь в кладовку и заглянуть в ларь, но кринку и банку унесла.

Только что эти крохи для такой семьи? Решилась посмотреть у Пелагеи в сундуке – может, найдётся что-нибудь для обмена.

От кровати до сундука – руку протянуть – близко. Но, бывало, дрова об пол загремят, а у Пелагеи и веко не дрогнет. То ли спит крепко, то ли так не слышит.

Замок на сундуке для порядка висел, открывался без ключа. Сняла потихоньку его, а крышка плотной оказалась – в руках слабость – не поддаётся. Принесла топор, лезвием в щелку – открыла. Сумрачно было, к вечеру, но разглядеть смогла: в сундуке среди негодного старья кусочек ситца нашла и рубаху.

Вдруг, как ударил кто, оглянулась – глаза!

Топор в руке – сама не поняла, как это случилось... Пелагея звука не издала и не шевельнулась.

Марья вздрагивает, в ужасе оборачивается, будто вновь взглядом в затылок ей – Пелагея. От резкого движения летит на пол гребёнка, небрежно забранный узел волос раскручивается, и они накрывают ей плечи и спину. Рукой к груди – сердце остановилось. Серое лицо становится мраморно-белым, мертвеет. Только бровей излом чёрен да расширенные глаза. Затем кровь приливает к лицу, и впервые за много месяцев оно обретает живой цвет.

«Красивая Марья!» – обожгло полузабытое...

На ожившем лице её – то решимость, то боль, то отчаяние. Острой жалостью к жене, к детям рвёт сердце Тимофея.

Она улавливает это состояние его души, подаётся к нему, осмеливается взглянуть в лицо: «Спаси! Помоги... Дети же пропадут!» «Почему ты этого не сказала тогда, Марья?!» – молчаливый упрёк Тимофея суров, наткнувшись на него, она опускает взгляд. Опадают руки, Марья никнет.

Вновь как во сне отвечает Марья на вопросы.

Ситец потом на ведёрко картошки сменяла, а рубаху – сберегла. Ничего не думала. Рубаха вроде новая была, а Тимофей Несторович обносился совсем. Сперва боялась, а потом забыла как-то, что может сын Пелагеи, Сашка, о рубахе знать. Пятнышко это она и не заметила вовсе.

Сашка в стороне сидит. Закусив ладонь, горестно смотрит в тёмный угол, брови сведены, поперёк бровей – борозда.

Холодно. Холодно в зале. Или это вопросы леденят душу? Марья всё так же монотонно говорит про свою болезнь, а Тимофей Несторович осознаёт, что не те, последние, неудачные, роды, а другая, в тысячу раз хуже Марьиной хвори, болезнь поразила её.

«Где ж ты был, Тимофей? Почему не уберёг?»

Этот вопрос – сам себе судья – задаёт себе Тимофей Несторович.

«А если бы вы попросили вашу соседку, Пелагею, – поделилась бы она с вами крупой?»

«Зачем он спрашивает? – думает Тимофей Несторович. – Разве это что-нибудь меняет?»

Марья молчит. «Не знаю», – наконец роняет она.

Она действительно не знает.

И ещё вопрос. И ещё...

...Кладёт, кладёт Марья камни. Уж и дышать тяжело. Но это ничего. Это хорошо. Пора. Помирать пора. На лице Тимофея Несторовича не боль, не страдание, а светлое ясное выражение. Надежда на избавление, на скорое окончание пути.

Баба Поля видит, как из автобуса выходит Валентина, Серёжкина мама, того самого Серёжки, с которым Тимофей и она, баба Поля, нянчились. На руках у неё – Серёжа, собственной персоной.

Увидев бабу Полю, Валентина подходит к ней, опускает сына на землю.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

Женщины приветствуют друг друга.

– Дла-те, – говорит и Серёжа.

– Давай твою рученьку, маленький, – баба Поля берёт мягкую ласковую ладошку в свою высохшую и жёсткую ладонь, наклоняется, целует ручонку с обеих сторон, садит мальчика к себе на колени. – Как ваши дела, хорошие мои?

– Идём, наконец, в садик, – отвечает Валентина. – Ох, канители! На полмесяца мороки. Анализы, справки. А у вас как?

– Да вот: жду Сашу. Александра Григорьевича. Сколь счас, уже больше пяти?

– Нет, ровно. Я же не с работы, а из консультации. Зачем вам Александр Григорьевич?

– Телеграммы попрошу отправить.

– Что? – пугается Валентина.

– Плохой Тимофей мой Несторович. Пущай ребятки приедут. Всё одно уж...

Валентина молча сочувственно покачивает головой, забирает сына.

– Надо нам идти. Извините, проголодался он. Есть хочешь?

– Хо-чу, – чётко выговаривает Серёжа и машет ручкой бабе Поле.

Она тоже поднимает руку им вслед, улыбается светло и печально, смахивает выбежавшую невесть зачем слезу.

Вот ведь, на склоне лет только узнала, что такое есть малое дитя. Тимофеевых приняла уж большенькими, да ещё после такого горя. Дитя должно быть в радости, тогда и родители будут счастливы.

Маленького – не довелось воспитывать бабе Поле.

Однажды показалось ей: будет у неё свой ребёночек, думала: совсем породнятся с Тимофеем. Надеждой своей она не стала делиться с Тимофеем Несторовичем прежде времени. Ходила, прислушивалась к себе, радостно-затаённая, ждала.

И жизнь стала поворачивать к тому времени на лад. Война отходила в прошлое. Что ж не родить?

Возраст, правда, уже был не малый. Для первого ребёнка так и вовсе. Но – не судьба.

Как раз в тот день, когда поняла, что обманулась, что надеждам не суждено сбыться, вернулась Марья.

Все были дома – будто нарочно подгадала.

День был радостный: Алёша приехал на побывку – он уже два года учился на офицера, Аня поступила в институт, на химию; ребятам помладше – Верочке и Васятке – обновки к школе купили: Васятке ранец, взамен полотняной сумки, а Верочке – юбку и фартучек.

Марья тихо вошла, без стука. Никто и не заметил, все разговаривали и смеялись. И вдруг враз почувствовали, что есть среди них чужой, смолкли и обратились к двери.

Вечернее солнце протянулось через всю комнату и оконной рамой висело на стене у двери, а Марья стояла рядом, в тёмном демисезонном пальто, в таком же тёмном платке; бледное от волнения лицо чётко выделялось на этом фоне, нижняя губа её шевелилась и мелко вздрагивала, у ног стоял фанерный чемоданчик. Если б не бледность лица и эта подрагивающая губа, можно было бы подумать, что она просто уезжала на время и вот – вернулась.

Замер Алёша; Васятка, который висел на брате, тихо сполз на пол и опустил голову, как нашкодивший ученик; Верочка едва заметным движением подалась к сидевшей рядом с ней маме Поле, в лице её почти не было волнения, но грудь – маленькие рожки уже прорезались под платьицем – грудь заходила часто, как после шумной возни с братом; Аня побледнела и опустилась на стул; только Тимофей Несторович, сидевший боком к вошедшей Марье, не изменился в лице, не повернул головы и вообще не подал виду, что увидел её.

Он – Полина Филипповна почувствовала это – увидел Марью раньше всех, ещё до того, как она замерла на своём месте, у порога.

Марья обвела взглядом комнату, детей, выросших, незнакомых, настороженно-ждущих, что будет дальше, Полину Филипповну – взгляд замутнённый, отрешённо пустой, словно она смотрела сквозь людей и предметы куда-то далеко, где можно было видеть прошлое и рядом с ним будущее, – остановился на лице мужа.

«Вот и вышел твой срок, Полина. Ступай...» – подумала Полина Филипповна и поднялась со своего места.

Тимофей Несторович поднял голову:

– Ты куда?

Она растерянно посмотрела ему в глаза, выдавила из себя:

– П-пойду тут...

– Останься.

Она села.

Молчание повисло в воздухе. Солнечный луч медленно уползал по стене от Марьи. В нём серебрилась пыль.

– Проходи, Марья, – нарушил тягостную тишину Тимофей Несторович. Как знакомую пригласил.

Марья шевельнулась, но осталась на месте, подвигала закаменевшими губами, сказала осевшим голосом:

– В-вот, значит... В-вернулась... В-вы...

Тихо. Слышно, как за окном шумят проходящие по улице машины. Все отводят взгляды в сторону, скоро они оказываются обращёнными к отцу. Только Полина Филипповна смотрит, с того мгновения, как села обратно на стул, мимо всех, в стену.

Она понимает вдруг, что возврата Марье нет, что Тимофей Несторович решил это давно, может быть, в тот час и минуту, когда снимал с себя рубаху, ту страшную обновку, подаренную женой в сорок четвёртом.

От этой догадки страшно становится Полине Филипповне и сладко, как от боли, когда она достигает своего предела, за которым либо смерть, либо начало избавления от болезни. И совестно: её выздоровление – это Марьина погибель, такая обнажилась грань.

Тихо-тихо.

– Ну, что ж, – будто вздохнул Тимофей Несторович, – как дети...

«За что ребят-то?!» – обрывается сердце Полины Филипповны, так, словно Тимофей отдаёт их на пытку; протестует молча, продолжает в своей окаменелости смотреть всё в ту же стену.

Молчание.

– Алексей, ты старший.

Алексей кусает губы, опускает голову:

– Я... Вот, – он трогает рукой пуговицу гимнастёрки, – я же не здесь. Вам жить.

– Та-ак, – Тимофей Несторович медленно переводит взгляд на Аню – она закрывает лицо ладонями, плечи её вздрагивают от рыданий.

Тимофей Несторович уже не смотрит на младших, сейчас он скажет...

Но Марья оживает, протягивает руки вперёд:

– Дети! Мои дети! – её бьёт мелкая дрожь, слёзы бегут по щекам. – Я ж для вас... Я вас спас-с...

Верочка смотрит на мать, глаза её широко раскрыты, губы шевелятся:

– Зачем?

Надежда, слабая, как гаснущая свеча, ещё жива в Марье, голос дочери, обращённый к ней, придаёт сил:

– Я ж вас... Вы ж – мои дети! Вы... жить...

– Зачем?! – голос Верочки звучит, как туго натянутая струна – вот-вот лопнет. – Чтобы знать, что мать – преступница? Жить вместо Сашиной мамы? Да?!

– Я не... Она бы всё равно умерла! Я не п-п... Закон снял с меня. Простил...

– Закон?! Нет. Нет! – в глазах дочери ужас. Что она видит в этот миг? – Не-ет! – Вера вдруг захлёбывается в крике и запрокидывается на спину.

– Вера! Вера, что с тобой? – Тимофей Несторович ловит её у самого пола, держит крепко за плечи. – Успокойся...

– Воды!

Алёша бежит на кухню мимо посторонившейся Марьи, несёт воду; ковш постукивает о зубы – вода льётся за воротник платья...

– Это ничего. Холодненькое – это хорошо, – приговаривает Полина Филипповна, вытирая полотенцем, которое она мигом достала из комода, шею девочки, расстёгивает пуговицу и бережно проводит влажным полотенцем по груди, и от этого прикосновения ей становится трепетно и спокойно – она забывает о себе, о Марье: под рукой бьётся сердечко будущей женщины и маленькие бугорки служат напоминанием об этом.

...Тимофей не простил, младшие – с ним заодно. И старшие не смотрят. Марья взяла свой чемоданчик и вышла. Никто не удерживал её: может быть, как в первый раз, просто не заметили...

Вскоре после этого дня Тимофей Несторович оформил расторжение брака с первой женой и расписался вновь: с Полиной Филипповной.

Баба Поля начинает тревожиться: как там Тимофей? Пора бы сходить проведать его; и дождаться надо Сашу. Что-то он задержался. Она поднимается с лавочки, решает: «Схожу потом к нему домой».

В это время сзади тормозит повернувшая из-за угла «Волга». Баба Поля оборачивается. Из машины выходит Саша, приветствует её. Она рада, зовёт его в дом:

– Я что хотела попросить. Телеграммки отправишь завтра, а? Пущай приедут ребятки. Я всё автобус ждала, выглядывала тебя, а ты на легковушке прикатил.

– Надо встретить одного товарища – прилетает через час.

– Твой товарищ? Кто ж это?

– Да нет. На завод к нам приезжает.

– Из начальства, поди? Спешишь? Ужинать приехал? Счас я адресы тебе дам. У меня всё на кухне теперь хранится – чтобы лишний раз не беспокоить, – а ты зайди к Тимофею-то Несторовичу. Он – обрадуется.

Баба Поля проходит на кухню, достаёт из шкафчика, где стоят стаканы и прочая посудная мелочь, конверты. Редко и скупо писали о своей жизни дети Тимофея, но годы шли, и постепенно из писем сложилась пухлая пачка.

– Это вот Алёшин, это – Анечка присылала письмо... Ага! Вот Верочкин адрес. А Васин где? – она пугается, перебирает пачку ещё раз. – Заехал на свой Север – писем от него не дождёшься! Был же – недавно видела...

Нужный конверт наконец находится, и она торопится в комнату. Сразу за дверью натыкается на широкую грудь Саши.

– Вот – тут все есть.

Он машинально берёт конверты из её рук, отодвигается в сторону.

Баба Поля мельком ловит его растерянный взгляд, сердце её обмирает от тревожного предчувствия. Она со страхом смотрит туда, где должен быть её Тимофей. Он – на месте. В своей обычной позе. Это несколько успокаивает её, она спешит к кровати, не отрывая взгляда от его лица. На лице – затаилась улыбка, оно спокойно и... безжизненно.

«Всё!»

Баба Поля привычно опускается на стул, недоумённо смотрит на лицо покойного, трогает его холодную руку.

– Тимофей... А, Тимофей! Как же это? Почто не сказал? Я бы не уходила. Ты разрешил...

Саша подходит и становится сбоку, с минуту молчит, потом говорит негромко ей:

– Я уже простился. Я позову соседей и сделаю всё, что надо.

Она кивает головой, слизывает что-то солёное с губ и замирает, словно прислушивается: если вправду смерть пришла – её должно быть слышно.

**Глава 2**

Сколько людей – столь и смертей. На каждого своя припасена, а как приходит в дом – оторопь берёт. Жданная ли, нежданная – всё одно.

Баба Поля, казалось, была готова к тому, что придётся хоронить Тимофея Несторовича – всё обдумала: что нужно будет сделать, кому что поручить, но когда пришло время, ослабла вся, будто и в ней жизни не стало, замерла душой и почти перестала воспринимать окружающее, говорила и двигалась, как во сне.

В первую ночь к ней пришла ночевать соседка, Галина мать, чтобы не страшно было. Баба Поля помнила: так надо, но страха у неё и не было – только тоска и боль, и такая ясность, что она могла, как наяву, разглядеть каждый свой прожитый день. Она просидела всю ночь рядом с Тимофеем, передумала все свои думы, вспомнила всю свою жизнь – трудную, горькую, но, оказывается, счастливую. И главное в этом счастье – Тимофей и его дети. Горчило от сознания, что не было её у постели в последнюю его минуту. Может, воля у него какая была, может, сказать напоследок что хотел, а – некому. Как она скажет детям, каким он был при последнем своём дыхании?

Тимофей Несторович лежал принаряженный и потому казался строгим и торжественным, затаённая улыбка на его лице не портила значительности происшедшего.

Костюм из доброго чёрного сукна и белая рубашка с галстуком – в таком виде Тимофей Несторович не ходил при жизни. И костюм этот надевал всего несколько раз, когда кто-нибудь из детей приезжал в гости. Да и то надевал лишь после долгих и настойчивых уговоров Полины Филипповны; походит чуть и норовит снять. Стеснялся, говорил, что жмёт, что непривычно ему в такой упряжке.

Теперь не жмёт. На усохшем теле пиджак свободным стал, отлетела душа – вот и уменьшился, душа у человека – не пустое место.

Два костюма покупали Тимофею Несторовичу за их совместную жизнь. Первый – в сорок пятом году. Скольких трудов стоило купить тот костюм – не приведи господь! А не купить было нельзя. Сказали, что награждать медалью будут, кто в войну на работе отличился. Списки на заводе составили, фотографировали...

Костюм купили, а не понадобился: вычеркнули Тимофея из списка, потому как у него жена осуждённая оказалась. И через двадцать лет Тимофея миновала награда: юбилейную медаль выдавали лишь тем, у кого была та, первая.

Когда Матвеев, товарищ Тимофея по заводу, по этому случаю загоревал, Тимофей Несторович сказал ему:

– Ты скажи: заломали мы фрица?

– Само собой, – отвечал Матвеев.

– Жизнь при мне – какую ещё надо медаль?

...Костюм тот – одно название по нонешним временам, что костюм, – понадобился: надел его Тимофей один раз, когда повёл Полину Филипповну в загс; она отказывалась идти: она и с первым-то мужем не расписывалась, но Тимофей Несторович так на неё посмотрел...

Потом тот костюм, и не дорос ещё, Васятка на себя пристроил...

Баба Поля почти не участвовала в приготовлениях к похоронам, всё шло своим чередом. Помыли и переодели Тимофея Несторовича, изготовили ложе, на котором лежал он, ожидая последнего своего земного пути; разослали телеграммы в четыре конца, заказали гроб, оградку и могилу, выправили документ о смерти. Все хлопоты и расходы взял на себя завод.

На летней кухне всё вымыли и стали готовить что необходимо к поминкам; летней кухни оказалось мало, и готовили ещё в доме у Гали.

У смерти – свои права, дел земных она не признаёт. Бросив всё, на следующий день, к вечеру прилетели трое: Алексей, Аня и Вера. Прилетели почти враз: из-за плохой погоды – будто нарочно после смерти Тимофея Несторовича всю ночь и утро валил густыми хлопьями снег– аэропорт не принимал самолёты, а потом они садились один за другим; у стоянки такси образовалась очередь – в ней и нашли друг друга дети Тимофея Несторовича.

С их приездом баба Поля почти очнулась от забытья, она и поплакала – в первый раз с той минуты, как до её сознания дошло, что Тимофей Несторович умер, погоревала вместе и с каждым поврозь; надвинулись на неё заботы; ночь и следующий день надо было прожить за двоих, за себя и за Тимофея Несторовича. Прожить достойно. Это и держало Полину Филипповну, иначе б слегла.

Не было самого меньшего – Васи. К исходу вторых суток он прислал телеграмму: приехать не сможет – пурга, самолёты не летают. Север крепко держал своих пленников, со смертью и то не считался.

Баба Поля загоревала. А тут ещё одна печаль не отпускает ни на шаг – Марья.

Когда баба Поля ждала детей, ей казалось просто: спросить у них о Марье – и всё. Пусть решат. Но вот приехали и неизвестно: надо ли спрашивать? Робость взяла бабу Полю: не обидеть бы ненароком. Сами, может, скажут ей, как быть. Такие взрослые, что будто чужие стали. Опять. Так и не спросила.

Как подошла минута, когда покойного нужно было из дома выносить, опять худо стало бабе Поле. Слабость взяла, и в глазах то ли дым, то ли горький туман. Её поддерживали.

Сквозь туман она видела, как вынесли гроб и поставили на табуретки во дворе, как прощались все, склонив обнажённые головы, как незнакомый мужчина зачем-то чикал фотоаппаратом, как потом пронесли гроб немного по улице, а затем поставили на открытую машину и повезли. Подняли вместе с Тимофеем Несторовичем в машину и её.

И люди ехали в машинах, в автобусах, а кто шёл пешком – кладбище было недалеко. И она как в чаду: прощалась, ехала, шла...

Народу оказалось много, так, что баба Поля не могла понять: если ещё кого-то хоронят, то почему все собрались у Тимофеевой могилы? И что они хотят узнать у Саши, Александра Григорьевича? Он держит шляпу в руках, прижимая её к груди, и говорит.

Слова не доходят до неё, но она понимает и его, и других, незнакомых ей людей. Они знали Тимофея Несторовича в иной жизни, на работе. Знали о нём своё, неведомое ей. Делились горем, общим на всех, кто пришёл сюда. В печали их слов для неё таится надежда, будто не в землю уходит Тимофей Несторович, а остаётся на ней невидимым светом, который возьмут себе и сохранят эти люди. И когда они, свершив свой путь на земле, лягут в неё, опять не погаснет свет – так будет всегда, из поколения в поколение, из сердца в сердце: растворится свет, но не погаснет, умножится.

Они дарят ей и детям утешение, которое почти не доходит до сознания сейчас, но воспримется потом, когда поутихнет боль.

Опять прощание. Она наклоняется и трогает губами его немой и холодный лоб. «Это не Тимофей. Это кто-то чужой, незнакомый».

Гроб закрывают крышкой и начинают поспешно заколачивать гвозди. «Почему они торопятся?» Гроб уплывает вниз, кто-то всхлипывает. Алёша придерживает её под руку, помогая взять в горсть землю. Она берёт влажную глину свободной рукой и сыплет вниз. И все начинают бросать горстями землю. Потом появляются лопаты, все отступают от могилы, земля летит вниз и гулко бухает о крышку гроба. В онемевшем теле Полины Филипповны нет сил, лишь в голове шевелятся редкие и вялые мысли: «Опять торопятся».

Земля плохая, с мёрзлыми комьями, и в груди отдаётся болью, как если бы тело Тимофея Несторовича было незащищено от летящих в могилу камней. «Нехорошо это».

Подъезжает машина, самосвал, и в яму сыплется рыхлая земля. Быстро и просто. Вырастает холмик. Его выравнивают, обрезают лопатами. Деловито и споро. Потом устанавливают металлическую пирамидку со звездой и фотографией и, наконец, оградку.

Всё.

Работали дружно, споро – будто наперегонки. От этой торопливости – обида у бабы Поли. Она старается забыть её, но горько! Умереть бы. Но последний день Тимофея – её день – ещё не кончился. Надо вернуться в дом, напоить и накормить всех.

Сознание своего долга перед умершим, перед его детьми и перед знакомыми и незнакомыми людьми заставляет её найти в себе силы.

Баба Поля, поддерживаемая Алёшей и Верой, идёт к машине, останавливается, оборачивается. Почти у самой могилы, свесив голые прутья ветвей с набухшими почками, стоят три берёзы. Они словно растут из одного корня – так близко выходят из земли их стволы, – но потом, над землёй, им становится тесно, и они, поднимаясь вверх, расходятся в стороны.

«Под берёзками схоронили». Баба Поля ещё с минуту смотрит на берёзы, на оградку, выкрашенную синей краской, на аккуратный холмик рыжей земли... закрывает лицо платком и садится в машину.

Они приотстали и выехали за ворота позже остальных. Скользкая земля кидает «Волгу» из стороны в сторону, и они чуть не сталкиваются с такой же, спешащей навстречу, машиной.

– Куда прёшь? – водитель зачем-то останавливается, открывает дверку машины. Встречная – такси – тоже замерла, съехав в кювет, из неё торопливо выходит человек в унтах, мохнатой шапке и... Баба Поля не узнаёт его, но что-то подсказывает ей:

– Вася! Васенька приехал… – слёзы заливают ей глаза, она больше ничего не видит, но пытается выйти. Чувствует: её выносят сильные руки, бережно ставят на дорогу, обнимают.

– Мама!

Теперь все. Алёша и Аня, Вера и Вася. Слезами промыло глаза, унесло туман.

– Мои дети! – баба Поля готова обнять всех враз, всех пожалеть. – А папка ваш...

Вася прижимает её голову к своей груди:

– Я, мама, дойду до... папы и вернусь. А вы поезжайте. Там... ждут.

Баба Поля согласно кивает головой, но потом говорит:

– Я провожу. А вы, Алёша, поезжайте.

Они идут вдвоём через ворота к могиле под тремя берёзками тихие, близкие и не сразу замечают у оградки небольшую фигуру в тёмном одеянии. Видимо, они помешали: фигурка дрогнула и стала удаляться. Можно было узнать в ней старую женщину и, хоть лица её не было видно, баба Поля поняла, кто это был. И Васятка догадался. Но оба сделали вид, что никого не было...

Они входят за оградку и останавливаются. Ветер шевелит волосы на непокрытой голове Василия, словно хочет пересчитать – сколько среди них драгоценных, с серебром.

Баба Поля заметила, когда Василий снял свою лохматую рыжую шапку, что голова самого младшего густо помечена сединой. Сердце её сжалось: нелёгкие, видно, и у детей дороги...

Василий стоит молча. Баба Поля беззвучно просит: «Ты не серчай на него. Ладно? Он бы приехал раньше, когда б погодка... Да ты сам знаешь... Простились? Вот и ладно. А я никуда не уеду, буду приходить к тебе. Навещать. Оставайся покуда...»

Молча и уходили.

Уже у самых ворот баба Поля озаботилась:

– Ты шапку-то одень, Вася, – остудишь голову. – Потом обронила – будто самой себе: – Может, позвать надо было? Пусть бы помянула.

Василий надел шапку, вопросительно посмотрел на бабу Полю, потом обернулся. Никого не видно.

Марья ушла. Меж могильными улицами и переулками – в свой, только ей ведомый мир, в своё одиночество.

– Ничего, мама, – он придерживает бабу Полю за плечи. – Ничего.

В доме всё вымыли, по комнате – сколько хватило места – расставили столы, соорудили скамейки из оструганных досок, положенных на табуретки, подавали на стол: водку, закуску, горячее и сладкое.

Баба Поля стояла возле столов у самой двери, рядом – соседка, Галина мать. Абрамовна, так уж сложилось, была главным распорядителем на похоронах, если умирал кто в округе. Она негромко, но твёрдо руководила застольем: рассаживала людей, уплотняла, указывала подручным, какое блюдо куда поставить, что принести, а что оставить на потом. Поднаторела в своём деле. Баба Поля смутно воспринимала происходящее, иногда повторяла:

– Проходите, садитесь. Помянем... кушайте, – и получалось будто всё, что говорила и делала Абрамовна, исходило от бабы Поли.

Сгорбленный многолетней работой поднялся со стаканом в руке старик Матвеев:

– Я вот скажу. С Тимофеем вместе в город пришли, вместе – на завод. Скажу: не было другого, значит, специалиста, как Тимофей. Значит, любое дело – его, на любом станке – хоть на токарном, хоть на фрезерном. Модельщиком. Да. В литейку, значит, тож. Вот – люди подтвердят. Было ему дадено. Одно слово – мастер. Других научал нашему рабочему делу. А теперь, – Матвеев горестно провёл заскорузлой ладонью по лицу сверху вниз, утёр слезу, – упокой душу его... Помянем Тимофея нашего.

Выпили. Ели молча.

Алексей, подчинённый общему движению, слушал, выпивал, закусывал. Справа от него – брат, дальше – Аня и Вера. Вася и Вера тоже следовали принятому порядку, вместе со всеми поднимали рюмки, что-то ели. Только Аня выпадала из этого строя: отрешённо глядя неподвижным взором сквозь окно, не реагировала ни на что.

Александр сидел слева от Алексея, иногда смотрел долгим взглядом по ряду. Многие, особенно женщины, раскраснелись – водка ударила в кровь, погнала её быстрее.

– Скажи, Александр Григорьевич, – негромко обратилась к нему Абрамовна.

Её услышали. За столом прекратили есть, потянулись к рюмкам и стаканам, ждали. Александр поднялся, нагнул голову, прогоняя ком в горле:

– Мне не забыть, – начал хрипло и тяжело, как в крутую гору с грузом пошёл, – того времени, когда шла война. Война убивала и калечила не только на фронте. Здесь... До смерти...– он задохнулся, остановился на миг, дёрнул головой, ловя воздух, продолжил негромко в раскалившейся вдруг тишине. – Самое страшное – ломала, калечила души людей.

Александр невидяще обвёл взглядом комнату, обронил совсем тихо, точно в забытьи:

– Война до сих пор ходит тенью... по земле.

Взгляд, полный ужаса, заставил его очнуться. Баба Поля в дверном проёме, почти в обморочном состоянии, ухватясь рукой за косяк, беззвучно открывала и закрывала рот; другая её рука двигалась по груди, будто она творила молитву, взывая к милосердию.

– Я бы, наверное, тоже сломался. Тимофей Несторович был для нас... – голос его вдруг осип, просел и на мгновение потерялся. – На таких людях держалось всё. Какую тяжесть вынесли! Пусть земля ему будет пухом.

Всех враз разместить не удалось. Управились лишь в три захода. Каждому подали всего вдоволь: и поесть, и выпить по своей мере, и сладкого отведать. Спасибо добрым людям. Помогли горе нести, помянули Тимофея Несторовича словом сердечным. Спасибо женщинам, соседям и тем, с завода, что столько дел переделали по доброй воле, из сострадания, из сочувствия своего.

У Полины Филипповны достало сил выстоять этот день. Был в ней невидимый стержень, который держал её, не давал надломиться в горе, как не дал согнуться раньше, при известии о гибели первого мужа.

Утихло. Всё убрано. Все разошлись. В доме только баба Поля с детьми. Налили ещё по рюмке. Помянули отца в своём кругу. Вон они какие все большие, с виду ладные, умные. Алёша-то, Алёша. Вылитый отец. И лицом схож, и так же ходит, и слова лишний раз не обронит. Васятка с Верочкой – говоруны. И всё, бывало, друг дружке поперёк. Даже сейчас будто спорят, сестру с братом заденут и опять между собой...

Баба Поля не вслушивается в отдельные слова, голоса детей, которые так долго жили только в памяти её, теперь звучат наяву.

А тогда маленькие были, когда она пришла к ним в дом, и – больше – молчком. Волосёнки длинные – заросли все четверо, ручки худенькие, синие. Смотрят строго, как старички, – и молчат. Потом, обвыкли когда, зазвенели колокольчиками...

Матерью не сразу стали её называть. И она сперва думала: ни к чему. У самого малого, Васи, у первого сорвалось. Уж в школу ходить начал, когда обмолвился, а до тех пор, как и старшие, говорил ей: «вы». Да только, видно, нельзя ребёнку без того жить, чтобы никому не говорить: «Мама». Коль не говорить, стало быть, оставаться сиротой, будь мачеха хоть того распрекрасней.

Пятёрку ему за палочки учительша поставила. Ровненько так нарисовал. С тетрадкой, с радостью – к ней: «Посмотри, мам!»

И не заметил бы, что обмолвился, да Верочка изумилась, остановила глаза на нём, потом – хлоп ресничками – на мачеху: что она? У Полины Филипповны сердце на миг замлело, остановилось, ан тут Тимофей Несторович на ту минуту рядом случился, только перед тем с работы пришёл, услышал – легонько тяжёлую ладонь свою сверху к Васиной головушке прислонил, мимоходом, идучи к умывальнику. Приласкал, вроде и не понять за что, будто за учение хорошее, а только Васино сыновнее слово, что жило тайно в нём, с тех пор всё чаще въявь говориться стало. Вслед за ним и Верочка потянулась. Привыкли постепенно. О родной матери память временем запорошило или детской душе от страшного заслониться надо было – бог весть. Полина Филипповна рядом с добром и сочувствием – вот и прилепилось сперва одно сердечко, потом другое...

Алексей с Аней стали называть её матерью после того, как выросли, выучились и своими семьями пообзавелись. Где-то там, в других краях, появились женщины: у Алёши – тёща, у Ани – свекровь, для которых впервые после стольких лет выговорилось заветное слово.

Привелось и ей услышать. Ничего, что после тех матерей. Ничего, что у Алёши теперь оно вообще, оказывается, для всякой пожилой женщины, к которой он обращается, предназначено. «Мать, – говорит он ласково-снисходительно, когда, случается, в людном месте какая-нибудь старушенция не даёт ему пройти, – посторонись-ка!»

Аня кого попало матерью не зовёт. Но Полина Филипповна чувствует, что у старшей дочери достало бы сил назвать матерью Марью. Почему же она ни разу не попыталась повидать её – раньше и теперь?

Мысль о Марье, колыхнув память, обожгла сердце. «Дети, сирые вы мои, – думает Полина Филипповна, – отца схоронили, а кто будет хоронить родную мать?» Может, потому и об отце почти не говорят, что тогда и матери, Марьи, в разговоре не миновать? И в мыслях, знать, обходят, как опасный край обрывистого берега.

Баба Поля подсаживается к столу, опирается подбородком на ладонь, смотрит на детей Тимофея Несторовича, стараясь проникнуть в их чувства, сердцем понять их боль, перенять на себя хотя бы часть их горя. Сейчас она должна быть сильнее их. Какое-то время ей кажется, что отец их не умирал и сидит, невидимо, где-то рядом и тоже смотрит: в кои-то годы все вместе собрались!

– Ма, скажи ты ей, – Вася заглядывает в глаза.

– Ай? – она видит в его опустошённом взгляде, что он устал не только от дальней дороги, устал от горя и чувства виноватости самим ещё не понятой виной, тяготится этим и ждёт от неё, как бывало в детстве, сочувствия и помощи. Они понимают друг друга без слов. «Болит?» – «Болит. И совестно, мать». – «Отчего?» – «Не знаю». – «Всем плохо сейчас». – «Да. Прости, если можешь, мать. И за отца». – «Бог простит. Потерпи».

– Я говорю ей, что не от мужика зависит – сколько детей в семье, а от женщины.

Слова, которые он произносит, значения не имеют, едва тлеющий огонёк разговора, как дальний костёр среди ночи, должен указать путникам дорогу, что соберёт их вместе. Разнесло всех по разным краям – не дозваться, не услыхать. Как в лесу. У каждого – свои заботы, своя жизнь. Всё выше, всё глуше и темнее лес, который их разделяет, и уже нет слова, которое сквозь этот лес пробьётся, которое эту стену порушит.

– Ну, твоя правда: мужик-от не родит. Иль ты как хошь – чтоб она сама определила?

– Вот-вот, – Вера движется на огонёк несмело, будто раздумывая: идти ли? Но в споре не привычна уступать, – они, мужья наши, хотели бы кучу детей, только чтобы жена сама их кормила, одевала, учила, а заодно и муженька своего, как ребёночка, ублажала.

Баба Поля вздыхает:

– И то верно. У мужиков вся сила – от бабы. Приласкает она его – он и здоров, обнадёжится им – он готов всё, что хошь сделать. Это так. Только почто у вас по одному? А хвалились: хорошо живёте. Промеж себя ладу нет али как?

– Всё есть, мама. Всё, – Вася до боли знакомым жестом прячет в ладонях стакан с чаем, будто греет их. Чаю Вася попросил наладить густого, почти чёрного, привык, говорит. – Желания нет нянчиться, с детьми возиться. Хлопотно и не прибыльно. Лучше, как Аня: защитила диссертацию – почёт и уважение. И полная свобода: вдвое больше мужа получает, а потому и распоряжается. Домом, детьми, заодно – мужем и деньгами, что он приносит. Ведь так?

Аня пытается улыбнуться. Печальная получается улыбка:

– В основном – так.

– И у Алёши жена – домашний командир. Он майор, она – полковник. А?

– Будет тебе. Вечно всех задираешь. Почто, скажи, у тебя голова побелела?

– Север, мама, выбеливает. Не любит чёрного, вот и переделывает под свой цвет.

– Ехал бы сюда. Работы, что ль, не найдётся?

– Найдётся. Только лучше давай ты ко мне. Квартира благоустроенная – ни печь топить, ни воду носить. А? Риту ты знаешь – не обидит.

– Не обидит. Это так.

– Будешь внучку на путь истинный направлять. Такой возраст... Север увидишь.

– Вот краснобай! – Алексей, очнувшись от своих дум, удивлённо качнул головой. – Знаю я твой Север: как посидишь в зиму месяц-другой без солнца – волком взвоешь. Ко мне, мать, надо перебираться. У нас тепло почти весь год, фрукты: яблоки, груши. Я, если выйду в отставку, дачу куплю – будем вместе овощи-фрукты разводить. Мигом и перевезу. Завтра же.

– Дом как же? – защищается баба Поля.

Заговорили. Ещё чуть-чуть и – сгинет стена, найдётся родное, заветное слово, соединит сердца, откроет души для сочувствия, для любви.

– Этот курятник? Да брось ты его, мать, – подсказывает Василий, – всё равно снесут когда-нибудь.

– Жалко. Отец его отремонтировал позапрошлым летом. Мебель вон купили...

Глаза у бабы Поли заволакивает слезой, она почти не слышит уже, как Алёша, извиняясь за Васин «курятник», говорит что-то ещё о доме, о тепле...

И Верочка говорит о доме и тоже зовёт...

Надо же так: никуда не собиралась трогаться из своего гнезда до самой смерти баба Поля, но ждала, чтобы её пригласили дети Тимофея Несторовича и уговаривали. Не из каприза старушечьего ждала. Хотела узнать, почувствовать: позовут ли сами, пригласят – так от души ли? Своя она им или чужая – теперь, когда все выросли давно, стали самостоятельными людьми? Нужна ли? И вот оказывается, что напрасны её страхи и сомнения: не безродная – есть у неё дети!

Они ещё ничего не решили ни между собой, ни каждый для себя: как быть с мачехой, но готовы взять её в семью, если выяснится, что Полина Филипповна этого желает и если этого не сделает никто другой.

На какое-то время бабе Поле кажется, что она и в самом деле всем нужна, возьмёт и поедет к кому-нибудь – в незнакомые края. Она представляет себе то Север – большое-большое поле, а на нём, сугробами, снег; то тёплый край – мягкая, поросшая травой дорожка, а по обеим сторонам её стоят деревья: с одной стороны яблони, а с другой – груши; то эти картины сливаются в одну – деревья, наполовину занесённые снегом, с ветвей которых, как на новогодней ёлке, свисают крупные и яркие плоды. Сердце замирает на миг от такой картины. Боязно и хорошо.

– Поедем ко мне, мама, – Аня подходит сзади, тёплая, обнимает за плечи; чувствуется, что не душевный порыв в ней говорит, а всё она обдумала. – Ну, что ты у них будешь делать?

Баба Поля ощущает, как Аню бьёт мелкая дрожь, она будто ищет спасения от чего-то, защиты от ещё какой-то пока одной лишь ей ведомой беды. Баба Поля кладёт свою ладонь поверх Аниной, гладит, успокаивая её, но не может не думать и о своём: правда, что она будет делать? Баба Поля силится представить себе это, но ничего, кроме бесконечного высиживания на стуле в комнате с каменными стенами, не видит.

– У меня Люба-то вот-вот замуж выскочит. Родит, а нянчиться кто будет? Бабушка, – Аня недоумённо улыбается. – Какая ж из меня бабушка? Мне иногда кажется, что Люба – сестрёнка моя младшая, и она так же чувствует: на танцы идёт и меня приглашает!

– Отказываешься? Зря! – Василий пытается шутить – очень уж тягостно чувство утраты, но только вздыхает: – У нас бы за тобой – толпа.

Аня не отзывается.

Баба Поля чувствует дыхание Ани, не видит, но ясно представляет её лицо. Аня уже старше той Марьи, но как похожа!

– Нет, правда: мне же до пенсии почти полтора десятка лет ещё, а она меня через год, честное слово, бабкой сделает! Не бросать же работу. А самой ей не управиться: ещё четыре года учиться – первый курс только заканчивает.

– Всё, мама, решено: поедешь к Аннушке.

Баба Поля готова поверить этому. Она видит этакого голопузого парнишку, лежащего на спине, чувствует, как он крепко хватает её за уши, за нос, за глаза своими цепкими ручонками, как гулит – «гу-гу-у...», и сердце её замирает радостно и тревожно... Парнишка этот, как две капли воды, похож на Серёжку, каким она увидела его в первый раз – год назад.

Она уже готова согласиться, как вдруг осознаёт ясно и отрезвляюще, что всё это– невозможно. Или возможно только здесь, в этом старом доме, где прожила она ровно полжизни, где проводила в последний путь своего Тимофея, где суждено ей умереть самой. Только здесь. Жить где-нибудь ещё она не сможет: с болезнью и смертью Тимофея Несторовича натянулась вновь, как струна, невидимая нить, что связывает её с Марьей. Одна у них судьба, переломленная войной на две части, одна любовь – Тимофей, одни дети. Только Богу ведомо, за что Полине Филипповне досталась большая половина. Как же уехать? Марья одинока, знать и ей суждена такая доля.

Да и не нужна она им, если б они подумали хорошенько. С тех пор как стали покидать один за другим отчий дом, все вместе не собирались ни разу. Они плохо знали жизнь друг друга: жизнь разнесла их в разные стороны и переделывала, перестраивала незаметно и потому необратимо. Оторванные от дома и друг от друга потеряли чувство родства, которое заставляет думать о близких, переживать за них, радоваться их радостями, печалиться их печалями.

Это смерть всех вместе собрала, отворила души, повернула лучшей стороной. Потому и зовут.

Не хочет она быть обузой. Им ещё шагать по жизни быстро и широко, а она – стара. У неё дорога теперь одна – к Тимофею...

Непрестанно меняется душевный строй бабы Поли: то тоскливо и темно, как под тучей грозовой, когда всё полнится тревогой и предчувствием несчастья, то будто ласково-тёплый лучик солнышка проглянет на миг и тут же вновь закроется, и тогда захолонет душа, сердце всхлипнет и замрёт от горечи невозвратимой утраты.

– Спасибо, милые вы мои. За доброту, за ласку. Только не знаете вы старых людей. Не зря говорят, что старый, как малый. Только старый-то – хуже. Малого, ежли он не так делает, выучить можно, а старому сколь ни говори, а он – всё своё. Не по злобе, а так, по привычке. Никакого терпения не хватит, – баба Поля вздыхает. – Терпение-то от любви, а любовь молодому суждена, не трухлявому пню.

– Ты не права, мама, – возражает Аня, – любовь всем нужна: и старым, и детям. И ты мне нужна.

За словами Ани бабе Поле чудится не только забота о маленьком, который может явиться на свет стараниями Аниной дочери, но и ещё какая-то тайная нужда-тревога; баба Поля пытается прогнать эту тревогу, улыбается грустно и чуть снисходительно:

– Большие какие, а всё –дети. Где ж вы видели, чтобы пень пересаживали?

Она вздыхает, гладит красивые Анины руки, от шелковистой нежной кожи – по сердцу ласка, жалобно просит:

– Не уговаривайте, а? Соглашусь – и буду маяться. Отца не хочу оставлять... Я ему обещала.

И они отступились.

– Ещё чайку – али спать будете? – баба Поля видит притомлённые лица, покрасневшие глаза. «Поди как телеграммы получили, так и не спали вовсе». – Я счас принесу постелить.

Кровати и диван внесены были сразу, как только разобрали столы, и баба Поля идёт за простынями и наволочками: шкаф с бельём у неё пока на кухне.

От счастья видеть детей в отчем доме, от горя, что их никогда уж не увидит отец, от тревоги за позабытую Марью, от выпитого, наконец, сердце бабы Поли обмякло, слёзы бегут по лицу, она их сушит полотенцем и, прислонясь к стене, смотрит сквозь дверной проём на родные и в то же время незнакомые лица. Вновь, как в час приезда, узнаёт и не узнаёт их.

В комнате четверо наедине со своими мыслями и тишиной. Они действительно очень устали. Напряжение спало, и теперь, казалось, только сон мог восстановить силы, вернуть способность страдать, печалиться, радоваться.

– А я Марью видел, – сказал негромко Василий, наткнувшись на неожиданное воспоминание. Ему не ответили, но – он почувствовал – ошарашил всех: ни разу с тех пор, как мать увели из дома, вслух её имя не произносилось; ждали, что последует дальше. – Там. Она стояла у могилы, но увидела нас, повернулась и ушла.

Снова никто не проронил ни звука, не пошевелился. Только Аня, вздрогнув, как от удара, побледнела, закрыла лицо ладонями и медленно склонила голову на стол. Плечи её вздрагивали.

– Аня, ты что? Аня! – Василий поднялся со стула, качнувшись, шагнул к сестре. – Зря я сказал, да? Прости, я...

Баба Поля вошла с простынями в руках и остановилась. Что-то произошло за время её отсутствия. Аня плакала, уронив голову на стол, рядом стоял Василий с виноватым лицом и поглаживал её, как маленькую, по голове; Алексей сидел на стуле, положив руки на колени и глядя в пол.

– Ничего. Что вы так?! Мать её тоже видела. По-моему, она... не удивилась

Баба Поля растерялась: уйти назад, на кухню, или остаться? Так и стояла с простынями у порога. На том самом месте, где когда-то с чемоданчиком стояла Марья.

– Ну, Ань, ты что?

Аня подняла заплаканное лицо, отрицательно качнула головой, глубоко вздохнула:

– Это я...

– Что – ты?

– Я потеряла карточки.

Василий недоумённо посмотрел на Веру, на Алексея.

– Как это? Она же сама.

– Я потеряла. Я, я! Мы с ней тогда вместе ходили, а потом она мне отдала. Мы долго стояли, ей надо было идти. Сказала: «Береги!» Я их в кулаке всё держала. Рукавицы дырявые – руки замёрзли. Не почувствовала. Потом она пришла, стала мне руки греть, сняла с меня рукавицы, а в руке ничего нет. Только пальцы согнуты. Через дырку они, наверное, выпали. Искали. Она запретила рассказывать. Ни вам, ни папе. Никому...

Тихо. Бабу Полю увидели, но или не обратили внимания, или приняли как должное, что она здесь.

– Ладно ты, – хмуро сказал Василий, – назад не вернёшь. Мы её давно похоронили – не воскресить.

– Да, похоронили, – тихо произносит Аня, вздыхает, сдерживая подступающие рыдания, но тут же её лицо морщится, как от боли. – Пшённую кашу – помните? – я есть не могла. Я же догадывалась!

– Перестань! – Вера подходит и встряхивает за плечи сестру. – Ты ещё скажи, что вместе с ней эту крупу добывать ходила!

– Нет! Ты что? – Аня с ужасом отстраняется от Веры. – Какая ты... жестокая.

«Вот оно что... – выплывает в памяти у бабы Поли, – вот почему она тогда болела. Все соседи говорили: дочка старшая у Марьи – не жилец. Не ест совсем». Всё лето пролежала, а как только чуть одыбала – Марью-то и забрали. Вот какая это была хворь...»

Наплывают на бабу Полю из прошлого большие глаза на бледном лице, горе, безысходная тоска в них без конца и края... И нет им спасения. Больше всего баба Поля боялась тогда за эти девчоночьи глаза, за хрупкую, едва трепетавшую в худеньком тельце душу. Не знала, но догадывалась, пробудившимся материнским чувством поняла тогда: сильнее всех ударило несчастье её, Аню.

– Расплакалась: «Виновата!» Я помню ту кашу. Потому что... Но я бы лучше умерла, чем... Такой ценой! Ты её жалеешь, а я – нет! Иначе всё можно оправдать. Умная ты! В науке ты, может, понимаешь, а в жизни...

– Верочка! – охнула баба Поля.

– Ничего, – Вера отходит от ошеломлённой сестры, оборачивается: – Ты это брось! Забудь!

Аня смотрит на лицо Веры – непримиримое, отчуждённое, видит, как жестокая решимость в нём постепенно сменяется выражением досады и вины: Вера сама готова разреветься и, сдерживая себя, кусает губы.

– Прости, Аня, – Вера сдерживает вздох, – но... Прости, что я так грубо. Нервы... не лучше твоего.

– Боже мой! – Аня, прикрыв глаза, тихо покачивается на стуле. – Я же знаю, знаю, что каждый отвечает только за свою вину, но разве могу забыть... Если б не я – всё было бы иначе. Иначе...

Баба Поля подходит, кладёт бельё на свободный край стола, обнимает голову плачущей Ани, привлекает к своей высохшей груди:

– Твоя правда, – голос её вздрагивает, – любовь всем нужна... А ты поплачь. Нам можно. Поплачь – полегчает. Мужикам-то хуже: невыплаканное горе, как червь, душу точит. Потому, может, и мрут раньше нас...

Аня постепенно успокаивается. аз

Вера порывается что-то сказать, но удерживает себя; баба Поля знает её мысли: жалеть не согласна и вспоминать Марью не хочет, тем более – плакать о ней.

Что сделаешь? Так уж вышло: на третий после смерти Тимофея Несторовича день, сразу после того, как от Васи телеграммку принесли, что он не сможет приехать на похороны, повстречала баба Поля давнюю свою знакомую, Аксинью.

Жила Аксинья ещё в войну, в те годы, когда Тимофей Несторович Марью потерял, неподалёку, знала его горе, знала и то, как пришла в его дом Полина Филипповна, как сумела стать матерью детям Тимофея Несторовича. А потом Аксинья уехала жить в соседний городишко – к дочери своей уехала внучат нянчить. Лишь изредка навещала она свой дом, где остался жить её сын – выпивоха, блудная головушка.

Случалось видеться в такой приезд с бабой Полей – разговаривали. О детях разговаривали, делились горем и радостью. Выходило – у Аксиньи, родной матери своих детей, хорошего было меньше... Марью не поминали. Раз только обмолвилась Аксинья, что живёт Марья в том же городе, что и она, Аксинья, на одной с ней улице, через два дома – как когда-то.

Поняла баба Поля, что о жизни своих детей Марья, в основном, знала. Но к тому времени все уж повырастали и скрывать что-нибудь, утаивать от Аксиньи она не старалась. Да и в другие годы скрывать бы не стала – жили трудно и просто, как все, у всех на виду...

В этот раз Аксинья главную новость – что умер Тимофей Несторович – уже слышала от людей. Поговорили накоротке, попечалились, и баба Поля сказала Аксинье день и час, когда будут хоронить Тимофея Несторовича. Подумала тогда: «Есть всё же Бог на свете». Сжалился, снял тяжкую, как грех, думу: «Как быть с Марьей?» Суд осудил её по закону, а покарали – дети. Обрекли на одиночество. Баба Поля им не судья. Ни детям, ни Тимофею Несторовичу, ни Марье. Марья несла свой крест безропотно – ни разу не попыталась вмешаться в их жизнь или напомнить о своём существовании. Неужто за это великое терпение не заслужила она хотя бы – не прощения, нет – хотя бы дозволения проводить Тимофея Несторовича, бывшего своего мужа, отца её детей, после того как он перешагнул свой смертный порог?

Баба Поля так не могла, и Бог послал ей Аксинью. Узнает Марья, а как решит – её воля.

Да вот неладно вышло: Вася видел её и, стало быть, брату и сёстрам обмолвился – как оно обернулось...

Ничего этого не сказала детям баба Поля – успокоились, так ни к чему бередить ещё раз души-то.

Был ещё день. Трудный день. Тягостно было видеть бабе Поле, что не восстанавливается разорванный семейный круг. И тяжко было от того, что со смертью Тимофея в душе её что-то окаменело, будто часть её самой умерла; эту омертвевшую половину ни отринуть, ни схоронить – носить, пока достанет сил...

Завтракали молча, лишь Полина Филипповна, потчуя детей, предлагала то одному, то другому отведать разных блюд, оставшихся после поминок в большом количестве. Ей казалось, что после внезапного тяжёлого известия, дальней дороги, потрясения от вида исчезающего в могильной яме гроба с телом отца, им нужно укрепиться: поесть, выпить как следует, чтобы расслабла душа, расправилась, выпустив горе наружу – слезой ли или облегчающим душу разговором.

Они выпили, а ели вяло. И молчали. Будто со смертью отца и признанием Ани окончательно распалось невидимое звено, объединявшее их, и все слова стали мелки и пусты, потеряли смысл и значение.

Очень уж разными они были. Ещё в детстве разделила их беда: старшие сразу повзрослели, полной мерой осознали постигшее их несчастье. И боль, и стыд, и жалость, и страх, и желание исчезнуть, скрыться от этой напасти – всё пришлось им пережить, всё изведать. Младшие плохо понимали происходящее. До сознания Веры, видимо, дошло, что её мать плохая; душа её восстала, озлобилась, и зло обратилось против матери: она её отвергла враз и необратимо. С подозрением стала она относиться к окружающим, особенно к взрослым. Испуганная не только тем, что произошло в доме, а этим своим недетским чувством – судить старших, она замкнулась, не допускала в свой обособленный мир никого, ни близких, ни посторонних: легко раздражалась, огрызалась, как зверёк, на самую малую обиду. А Васятка чувствовал гнетущую атмосферу беды и всеобщего разора, не понимал вынужденности случившейся перемены и потому чаще других плакал и смеялся. И всем нужны были доброе слово и ласка...

Отец их не баловал раньше, не переменился и после того, как увели Марью, общался с ними мало, лишь по делу, когда нужно было выполнить какую-нибудь работу по дому или на огороде. Ласки и наказания оставлял на долю матери, позже – мачехи. Никого не выделял, разве только самый младший, Вася, чувствуя тайное его расположение, вытворял иногда такие штуки, о которых старшие и думать не могли. Детей Тимофей Несторович любил по-своему, и они знали это, видели по тому, как он внимательно прислушивался к разговорам их с матерью, и хоть отношения своего не высказывал – шла ли речь об учёбе в школе или о драке на улице, – они всегда точно угадывали, доволен он или нет. У каждого, по возрасту и характеру своему, сложилось своё отношение к отцу и особое, когда касалось матери и мачехи, не для других.

– Ребяты, – сказала баба Поля после завтрака, – может, сходите на улицу погуляете? А то после придут ещё поминать, тогда уж нельзя будет не посидеть с имя. Сходите посмотрите, какой у нас тут стал город, али знакомых кого повидайте.

Её послушали. Алексей с Аней, не сговариваясь, помедлили: он, надев шинель, в сенях тщательно чистил сапоги от налипшей на них глины, она долго искала шарфик, который оказался у неё в сумочке; вышли на улицу, когда младшие брат с сестрой, постояв у калитки, ушли по улице вниз, в сторону школы.

Алексей за воротами остановился и недоумённо посмотрел по сторонам: идти некуда и незачем. И дома, и улицы стали незнакомыми; давние друзья не ждут; да и не нужны ему встречи: душа закрыта для всего постороннего. Аня, взяв его под руку, прислонилась к нему, испытывая, видимо, такое же чувство отрешённости от всех людей.

– Всё-таки надо куда-нибудь пойти, – сказала она немного погодя, – не будем торчать под окном, ей тоже несладко.

– Да, – отозвался Алексей, отметив про себя, что сестра никак не назвала Полину Филипповну, – надо.

И они пошли потихоньку по улице в гору.

– Отделились, – вздохнула Аня, – обидятся.

– Прости, – сказал Алексей, – я твой адрес потерял, всё собирался написать отцу, спросить, да так и не собрался.

– Вот как. А я думала – ты ленишься. Сама такая: всё некогда, какие-то дела, заботы... Разобраться – так просто: зачерствели в своей суете, самим хорошо – и довольны.

Тротуар вывел их на край города и кончился. Осталась лишь дорога к кладбищу с разбитым асфальтом на ней; за кюветами, петляя между голыми деревьями, туда же вели широкие, вытоптанные тысячами ног тропы. Не думая о том, куда она приведёт, свернули на тропу. Земля была укрыта влажными прошлогодними листьями и, проминаясь под ногами, скрадывала звуки шагов; кое-где под кустами оставался ещё снег, при взгляде на него становилось зябко. Неслышно, как шаги, явилась новая, неясная тревога. Аня взглянула сбоку на брата:

– Алёша!

Он уловил напряжённость в её голосе, посмотрел вопросительно. Аня вдруг смешалась под его взглядом:

– Я – это... ничего.

– Говори, – в юности они были самыми близкими друг другу людьми, она доверяла ему свои тайны. Так же, дрогнув, звучал её голос, но тогда, и запинаясь, и рдея от смущения, она не останавливалась на полуслове, спрашивала совета, не отводя глаз.

– Алёша, ты можешь сказать мне... – он ждал, – почему ты пошёл в училище?

По тому, как она волновалась, было ясно, что вопрос для неё очень важен. Алексей замедлил шаг, потом остановился. Задумался, нахмурился.

– Хотел стать военным.

В глубине её глаз появилось сомнение.

– Ты думаешь иначе?

– Н-нет, – не очень уверенно ответила она, чувствовалось, что вопрос у неё потому и возник, что ответ на него она ждала другой.

Он посмотрел вдаль, в голубое небо, словно там, среди редкой дымки облаков, можно было разглядеть и понять себя самого, каким он был в те первые послевоенные годы. И, как всегда, когда вопрос поставлен чётко и ясно, сам собою явился беспощадный в своей прямоте ответ; он повернулся к ней:

– Я – сбежал!

Помолчал, подумал, добавил сурово, как о ком-то другом:

– Струсил. Боялся той минуты, когда мать вернётся.

Низко наклонив голову, Аня пошла дальше.

– По-моему, они специально тянут: не хотят идти с нами, – сказал Василий. – Пойдём?

– Да. Несчастная Анька, всю жизнь носить такую тяжесть на душе! И молчала... Свихнуться можно.

– Я совсем не помню, какая она была, – после вчерашнего вечера у Василия не повернулся язык назвать мать Марьей. Обычно шумный и с виду безалаберный Василий говорил теперь негромко и чуть растерянно, словно пытаясь понять, как это вышло, что родная мать оказалась совсем ненужной ему, посторонней женщиной. – Из детства осталось только чувство беды и боязни. Ну, что может что-то произойти, когда она вернётся. И то это было не моё чувство, я ощущал такой страх у тебя, у вас, старших.

– Так и я её почти не помню. Помню только: всё время казалось мне, что люди смотрят мне в спину и думают... Нет! Не хочу! Вся жизнь отравлена! Когда спрашивают у меня о матери – хотя бы в анкете, – я чувствую на себе кровь! Горшками, которые ношу из-под больных, не очиститься!

– Ну, зачем так? Если б не война... В том, что была война, ничьей вины нет. И за неё, – он опять не посмел сказать: «за мать», – с нас какой спрос?

– Не надо оправданий! За родителей не отвечают? Все отвечают друг за друга! И дети, чаще всего, расплачиваются за грехи родителей! Только мы этого не понимаем или не хотим, боимся признать. А я не хочу, не могу!

– Тише, не кричи на всю улицу, а то на нас уже смотрят.

– Пусть!

– Напился бы я сейчас... до поросячьего визга!

– Привет! – дорогу им заступил невысокий упитанный мужчина. – Я думаю: кто это тут воюет? Оказывается: свои.

В разодетом и раздобревшем встречном они с трудом узнали бывшего одноклассника Василия Юрку Морозова.

– Черти, гуляют по улице, а в гости не заходят. А ну, пошли!

Василий с Верой переглянулись.

– Ну, други! Увидите, как я живу, с супругой познакомлю. Вот – рядом.

Квартира у Морозова была как на показ – просторная, солнечная, ухоженная, с полным набором вещей, которые уважающий себя горожанин считает нужным приобрести: импортная мебель с баром, ковры на полу и на стенах, цветной телевизор и японская аппаратура со стереофоническими колонками, хрусталь и чешское стекло, приборы из серебра и золота.

Хозяйка была под стать квартире: нарядная, гладкая, холёная.

– Знакомьтесь: жена Эльвира, без пяти минут кандидат наук, биолог.

Пригласив проходить, не стесняться, Эльвира предложила гостям тапочки, сказала снисходительно о муже:

– Хвастунишка.

Усадила неожиданных гостей на диван, окинула мгновенным цепким взглядом Веру, оценила её женские достоинства, отметила большие карие глаза под тонкими дугами нещипаных бровей; определила – по тому, как угрюмо смотрели эти глаза на мир, – что гостья её семейному благополучию не угрожает и – «с вашего позволения» – скрылась на кухне.

– Так, – вздохнул Василий, пересаживаясь в кресло, – хорошо живёшь, как король, или — по-нашему – как куркуль. Кем работаешь?

– Угадай, – Морозов, довольный и весёлый, наслаждался тем, что квартира произвела впечатление на друга детства.

– Завбазой какой-нибудь, – сказал мрачно, не в тон Морозову Василий, – или, на худой конец, директор столовой. Жулик, в общем.

Юрий засмеялся:

– Шофёром наворачиваю, брат, на КРАЗе!

Он открыл бар, явив взорам строй разнообразных бутылок.

– За встречу – надо! Мужчинам – что покрепче, женщины пусть сами себе выберут. Элочка, закусь скоро?

– Несу, – Эльвира появилась с подносом в правой руке, на котором стояли тарелки с нарезанной колбасой, сыром, паюсной икрой; в другой руке у неё была ваза со свежими помидорами!

– Да-а! – крякнул Василий. Даже в лучшую, осеннюю пору, у себя на Севере о красных помидорах он мог только мечтать.

Морозов наслаждался произведённым эффектом, а Эльвира пропела:

– Всё могут короли, – скромно улыбнулась: – Юра достаёт где-то, а меня не посвящает.

– Как у деда Мороза, – сказал с изумлением Василий.

– Вдвоём живёте? – спросила Вера.

– Игорь у нас в восьмом учится, сегодня у них уроков почему-то не было, ушёл к друзьям.

– Взял маг и рассекает, – с нескрываемым довольством добавил Юрий.

– Одним сыном ограничились?

– Как видишь. А у тебя?

– Дочь, – и предупреждая вопрос к Вере, кивнул в её сторону. – У всех штучное производство.

– Ну и правильно: штучное дороже ценится! – Юрий подмигнул: – Давайте – за встречу!

Тропа кончилась – перед Алексеем и Аней вдруг оказались распахнутые кладбищенские ворота; остановились в некотором замешательстве: они не собирались идти сюда, но и повернуть назад уже было нельзя; посмотрели друг на друга и несмело, не говоря ни слова, пошли к могиле.

За сутки земля на могильном холмике подсохла, тёмная и тяжёлая глина стала с виду светлее и легче. Оградка, выкрашенная синей краской, казалась весёлой и нелепо нарядной под белоствольными берёзами, из набухших почек которых проклюнулись крохотные зелёные язычки, готовые распуститься листиками – навстречу солнцу и вопреки царившей вокруг смерти.

День набирал силу: становилось тепло, как летом, лишь изредка лёгким дыханием ветра доносило из недалёкого распадка сырой и холодный воздух: там, у ручья, в тени елей и густого кустарника ещё лежал снег.

Они были не одни на кладбище. В разных концах его можно было видеть людей – в одиночку или группами, тех, кто пришел поправить могилки накануне родительского дня. Двое кладбищенских рабочих устраивались неподалёку – выпить и закусить. На широкой доске, лежавшей на земле, на газете, крупными ломтями были уже нарезаны хлеб и сало и стояла початая бутылка водки.

Мужики готовили могильные ямы для усопших, которых будут хоронить в этот или на следующий день. Ямы были заготовлены давно – вырыты ковшом экскаватора, теперь требовалось подчистить их, подровнять края, придать надлежащий вид. Дело важное, не терпящее суеты, и мужики готовились к нему основательно: удобно сели на потрёпанные свои телогрейки, свесив ноги в яму, протёрли белой тряпицей стаканы, налили в них до половины, положили по ломтю сала на хлеб, вздохнули: «Ну, давай». Выпили не торопясь и медленно, вдумчиво, словно впереди у них была целая вечность, стали закусывать.

Не было для них ничего в мире, ни скорби, ни боли, ни стоявших неподалёку людей; только хлеб, сдобренный водкой и салом, две лопаты с киркой и работа – в завершение всех судеб – единственная в своем роде работа.

Алексею тоже доводилось рыть землю – курсантом и в первые годы службы. Чернозём, камни, песок и глина; окопы, траншеи, блиндажи; учился и учил зарывать в землю технику, с помощью техники и вручную, лопатой. Хрустел, сопротивляясь, дёрн; осыпался песок; труден был камень; чаще всего встречалась глина, глина – тяжела...

Учился и учил воевать Алексей, но при этом не думал о смерти. Воображаемые враги, которых надо было окружить и уничтожить, были абстрактными, бестелесными, плоскими, словно мишени на стрельбище, не представляли опасности и не вызывали никаких чувств: ни жалости, ни ненависти, ни страха.

А теперь земля – та самая глина – укрыла навеки отца, и будто не рыжий холмику ног, а граница передовой, на которую – настал черёд – он ступил и не будет хода назад; за неведомой чертой не учебный бой – неслышно и неотвратимо близится рубеж, которым отмерена жизнь, его, а не чья-то другая.

Могилы рядами, через равные интервалы, будто пришли строем и полегли – повзводно, ротами и батальонами – те, что шли впереди. Ради чего жили, что защищали: лишь свой окоп, не помня о других, или всю линию фронта во всю её ширину и глубину? Как распоряжались единожды дарованной жизнью? Кто осознал и исполнил своё назначение на земле – тот счастлив; страшной несправедливостью покажется смерть тому, кто растратил жизнь впустую, в стремлении взять из неё только лакомые куски. Без горького не прожить, как нельзя явить на свет человека из одной любви, без боли и страданий. С болью и страданиями провожаем близких и в мир иной. Запоздало чувствуем сыновнюю любовь.

На фотографии – живой отец, почти молодой, совсем не похожий на того старого измождённого человека, которого схоронили. Пройдёт время, фотография выцветет и поблёкнет, и на ней отец умрёт тоже.

В раскаянии ли душа плачет, ищет ли прощения за то, что мало думал и заботился о живом отце? Или оробела она близ предельной грани, за которой ничего уже нет?

– Вы закусывайте, не стесняйтесь, – Эльвира – само радушие. – Скучновато? Юра, включи музыку.

– Не надо, – попросила Вера.

– О, балбес! Забыл. У вас отец, я слышал, сильно болеет? – Морозов включил и тут же выключил магнитофон.

– Уже не болеет, – Василий угрюмо уставился в пустой фужер.

– Так вы приехали...

– Да. Вчера похоронили.

Морозовы сочувственно вздохнули, лица их приняли соответствующие моменту выражения. С минуту помолчали.

– Да, – нарушил тишину Юрий, – такое дело. Мои старики тоже едва-едва дышат. Ну, что же – давайте в память о вашем отце, – он встретил взгляд Веры, и бутылка в его руке слегка дрогнула.

Вера краем глаза видит, как насторожилась Эльвира. До чего же чуткое создание – жена!

Но зря волнуется. Ничего ведь не было. Так, детское. Дружил Юрий с братом, потому и с Верой был знаком ближе, чем с другими девчонками в школе. Замечала, что смотрел на неё с любопытством иногда; ну, так все мальчишки начинают внимательнее смотреть на девчонок, когда они из неловких гадких утят в белых лебедей начинают превращаться. Некоторые норовят ухватить за грудь, будто нечаянно. Но с Верой они этого не позволяли – строгая была, к тому же – у неё брат, хоть и классом младше, но заступник.

Случилось так, что и Юрка стал её защитником.

Когда училась в седьмом, появилась у них в классе новенькая, Зойкой звали, старше всех года на два – не раз, видно, была второгодницей, вполне зрелая девица, хоть замуж отдавай. Рослая и сильная, как парень, она и вела себя бесцеремонно. Училась плохо, но любопытная была сверх всякой меры. Кто-то «по секрету» рассказал ей про мать Веры. И стала Зойка встречать Веру – на улице, на перемене, и допытываться:

– Скажи, правда, что твоя мать старуху убила?

Вера убегала от неё, как от прокажённой. Но однажды в тихом углу школьного коридора попалась – Зойка прижала её к стене своими ручищами и стала пытать:

– Скажи. Не отпущу, пока не расскажешь!

Вера билась с отчаянием затравленного зверька, пыталась укусить злодейку, не выдержала, закричала:

– Пусти, поганая! Гадина, пусти! Она мне не мать!

Отреклась во всеуслышание.

Юрка откуда-то взялся тут, налетел сбоку, ударил Зойку. Потом брат подоспел, стали бить вдвоём. Зойка отшвыривала их, как кули с картошкой. Но против ярости никакая сила не устоит, да и драться мальчишкам – привычное дело.

Выгнали бы обоих из школы, да Зойка не призналась учительнице, кто её так изукрасил.

– Упала, – твердила своё.

Видно, что-то поняла.

Брат на этом успокоился, а Юрка с того дня словно ошалел, стал преследовать Зойку, норовил пнуть при встрече, а то камнем запустит. Тут уж вся школа узнала, кто Зойку бьёт.

Учился Юрка средне, как большинство мальчишек, поведения был обыкновенного, но в долгой войне растерял репутацию, стал в глазах учителей хулиганом, а потом и двоечником. Вера пыталась его урезонить:

– Выгонят из школы.

– Ничего, – отвечал Юрка, – зато проучу заразу. Я же всё равно шофёром пойду, на шофёра шесть классов хватит.

После семилетки Вера уехала к тётке, дальней отцовской родственнице, там и на работу в больницу пошла, няней.

Вот и вся Юркина любовь. Но жизнь его, видимо, тогда и определилась – стал шофёром. Интересно: вот этот сытый и довольный мужчина теперь бы в драку за кого-нибудь полез?

Друзья, осушив бутылку водки, принялись за другую. Василий мрачнел всё больше, оглядывая вновь комнату, почти с ненавистью цедил сквозь зубы:

– Ну, ты хват. Окопался, буржуй. Фифочку учёную выкармливаешь.

У Морозова ноздри побледнели и глаз стал дёргаться...

Вера повела брата домой, их не удерживали.

Глаза у Ани покраснели, она шла, низко опустив голову; Алексей – рядом, чувствовал себя в чём-то виноватым. За воротами кладбища они остановились, пропуская встречную похоронную процессию. Рыдал оркестр; выверенно, в такт медленному шагу, лил скорбь на поникшие плечи, на оголённые деревья, на разбитую дорогу. Ещё один земной странник успокоился и направлялся к месту вечного поселения.

Неподалёку от дома Аня остановилась, умоляюще посмотрела брату в лицо.

– Алёша, когда-нибудь это кончится?

В лице её мука, он не знает, что ей ответить, как ей помочь.

– Иногда я думаю, – взгляд Ани стал отрешённым, она будто смотрит сквозь него, – все смертны, и я тоже когда-нибудь умру. Спокойно думаю, как о посторонней. Но стоит мне вспомнить, что у меня есть Люба, что с ней может что-то случиться: нелепая случайность, болезнь, или – самое страшное – война, всё во мне тогда кричит и рвётся на части. Тогда я, кажется, готова на всё, лишь бы уберечь её, спасти!

Аня всхлипнула:

– Нет, всё не так: я бы не смогла...

– Не надо.

– Вот голод... – она словно не слышит его. – Когда-то я думала: стану химиком, научусь делать продукты из угля или нефти, и если опять война, то я спасу... Нет, не спасти. Даже если бы мы научились, сумели бы избавить людей от призрака голодной смерти, то от ваших бомб спасения никому не будет. Никому.

В детстве в доме у них плакать было не принято, а после того, как увели мать, никто и вовсе не осмеливался пролить слезу; теперь же Аня плакала на глазах у брата второй раз, словно скопились все непролитые слёзы и хлынули через край. Алексей растерялся. Привлёк сестру к себе:

– Ну, будет.

Она отстранилась.

– Нет, ты пойми: атомную бомбу изобрели настоящие учёные, не мне чета, они-то что думали? Они же диалектику должны знать: если разом взорвать много таких бомб, то результат не будет равен сумме отдельно взятых, а многократно – в сто, в тысячу раз окажется страшнее! Всё разрушится, все погибнут! Вы – военные и политики – неужели не соображаете?!

Аня упрекала брата и требовала от него немедленного решения, словно от его желания и воли зависело: быть войне или не быть, зависела жизнь на земле. Он молчал.

– Я не за себя боюсь, – пожаловалась она, – я видела людей, страдающих от лучевой болезни...

Аня содрогнулась:

– Бедная Люба! Моя девочка... Когда ей первый раз укол ставили – она ещё совсем крошечная была! – я так ревела, так мне её жалко было!

Прохожие обходили их стороной, некоторые оглядывались, желая понять, что происходит. Алексей взял Аню под руку.

– Пойдём.

Она подчинилась, сделала с ним несколько шагов, потом, вздрогнув, остановилась, в глазах ужас:

– ...Я ждала её, думала о прощении, а когда увидела её, поняла, что возврата нет, что отец её не принимает, и все... Особенно Верка: сколько в ней было ненависти! Тогда я поняла: быть мне всю жизнь виноватой не только перед матерью, а с ней заодно!

Алексей силой повёл её к дому. Аня обмякла, всхлипывает и бормочет, как в бреду:

– И эта... Поехала бы ко мне... Может, легче бы стало...

Ударила дверь, захлопнулась. Баба Поля некоторое время сидит недвижимо, видит, как за окном разошлись в разные стороны старшие и младшие. Парами пошли поврозь. Стало быть, не по пути им.

Что ж, одинаковых путей-дорог не бывает. Даже если люди идут вместе, бок о бок, как они с Тимофеем тридцать лет, и тогда нет единого конца; и обернись и тоже увидишь, что и в прошлом ничего одинаково не сложилось. Только говорится так, что судьба одна, когда сплетутся две судьбы вместе, накрепко, люди думают и говорят, что одна, ан нет – разные: каждый со своей, как с родимым пятном, является на свет и уж никогда с ней расстаться не может. Бывает, что и три судьбы перехлестнутся так, что не разобрать где чья.

Баба Поля поднимается, преодолевая ломоту в теле, идёт на кухню проверить, сколько чего осталось после поминок; она приглашала людей ещё приходить; совсем посторонние не придут, а кто ближе – будут, и надо их встретить как подобает. Потом она идёт на летнюю кухню; у будки – пёс, голову положил на вытянутые лапы и смотрит печально. Всё понимает. У бабы Поли на глазах появляются слёзы, и она забывает, зачем пришла в пристрой, садится на первый попавший табурет и замирает, даже не пытаясь собрать мысли в порядок.

Очнулась, когда услышала на крыльце стук – Абрамовна явилась в помощь. Абрамовна прошла по пустой избе, нигде не увидела бабу Полю, в испуге появилась на крыльце.

– Полина, ты где?

Баба Поля замёрзла в остылой за ночь избушке, на зов поднимается неохотно: хорошо было бы сидеть в ней, пока совсем не околеешь. Она молча выходит к Абрамовне. Та вмиг меняет настрой, будто и не теряла бабу Полю, спрашивает:

– Сегодня на кухне будем ставить?

Баба Поля шевелит приветствие посинелыми губами, согласно кивает головой. С крыльца видит, что за калиткой прошёл мужик, вошла в дом – увидела в окно, что он пошёл в другую сторону; потом опять.

– Позови, – говорит баба Поля Абрамовне, – там уже пришёл один.

– Гнать его надо, окаянного! – противится Абрамовна. – Это тот, вчерашний.

И баба Поля вспомнила. Был на поминках никому не знакомый, приблудный, мужичонко. В первый заход за стол не осмелился сесть, а потчевался во вторую очередь. Но, конечно, принял к тому времени – всем подавали, значит, и его не обнесли. Из-за стола вылез со своей партией, а потом с третьими снова потихоньку пристроился. Нагрузился так, что позабыл, где он есть, потянуло его на песню. Кышнули на него бабы, мужики под локотки на двор выставили и побили бы, если бы баба Поля не углядела их.

– Не смейте, – сказала, – грех!

Как же не грех обидеть человека, который на поминки пришёл?

Мужику до сознания что-то дошло: отпустили его – косым ходом ушёл со двора. А теперь вот похмельем мается.

– Позови, – повторила баба Поля.

Абрамовна повиновалась. И водки горемычному налила: подала, но не удержалась, молчком и незаметно от бабы Поли ткнула сухим кулаком питуха в загривок. Он всё принял с благодарностью – и наказание, и питиё: «В помин души».

К обеду собрался народ, не много пришло людей, только знакомые, да и то не все – кто смог.

К тому часу дети Тимофея Несторовича уже вернулись. Нагулялись. Но что-то прогулка не пошла им на пользу: смурные явились пуще прежнего, а Васенька так и пьян. Ещё водки выпил, загоревал совсем. Сычом смотрит на всех и слово непотребное нет-нет да и выкинет. Вера его одёргивает, но без толку, переморщится младшой и опять за своё:

– Стервецы!

Когда разошлись люди, Алёша обронил слово:

– Ты бы не пил больше.

– Родственнички! – Вася сдерживался при посторонних, когда же в доме остались только свои, загремел полным голосом: – Я вас уважаю! А мой школьный друг – скотина! Но и от вас дерьмом прёт!

– Не греши, Васенька.

Бабу Полю раньше все слушались, она и старается урезонить младшего, но в этот раз Васю не удержать.

– Боженька накажет? Ха! Ты же неверующая, мать! Ты говорила, что Бога нет – я это запомнил!

– Нет, – соглашается баба Поля, – а всё одно: грех!

– Ты ханжа, мать. Мы – сучьи дети, а воспитаны ханжой! – с горечью говорит брату и сёстрам Василий.

– Окстись, Вася!

– Куда ж он девался, твой Бог?

– Война убила, Васенька. Бога убили, а вера осталась: нельзя без веры.

– Какая же вера без Бога? – издевается Василий.

– Какая-нибудь должна быть.

– Прекрати! – жёстко говорит Алексей брату.

Словно маслом в огонь плеснул.

– Чего-о? Ты, наполовину деревянный, командуй своими молокососами!

– Ах ты, Господи, – баба Поля всплеснула руками. – Лишку выпили. Не ссорьтесь, ребяты!

– Не квохчи, мать, пьяных нет: наше горькое этим не перешибёшь!

– Васька!! – в высоком голосе Веры, натянутом как струна, слышится отчаяние: она побледнела, дышала часто и, кажется, готова была упасть.

И все оцепенели; бабе Поле даже показалось, что за порогом, как много лет назад, стоит Марья –то ли войдёт сейчас, то ли уже уходит. И Тимофей Несторович сидит на своём обычном месте. Только в лице его на этот раз нет той непримиримости к первой своей жене, что тогда выгнала её из дома, заставила навсегда уйти от своих детей.

Вера не упала, опустилась на кровать, расслабла, будто в крик ушла вся её сила, к лицу её вновь прилила кровь, оно порозовело.

– Какой ужас... – глядя в пол, тихо сказала она. – Ах, почему я не была совсем маленькой? Не знала бы ничего, только сказочку, которую сочинили бы для меня взрослые.

Братья сконфуженно посмотрели друг на друга и отвернулись. Гнев их прошёл – знать, им тоже припомнился отец... Вася шарил по карманам, искал сигареты, тогда как пачка давно уже была у него в руке; Алексей насупился, сказал бабе Поле:

– Извиняй, мать.

Немного помолчал, добавил сумрачно:

– Все мы хороши, все немного сволочи.

Аня смотрела на происходящее спокойно, почти равнодушно, отрешённо смотрела, как посторонняя.

**Глава 3**

Простились. Улетели соколики-лебёдушки. Денёк ещё только и побыли. Оставляла погостить, а – некогда им. Занятые они люди. Нет никакой возможности остаться. Просто удивительно, что приехать сумели.

У Анечки, значит, что-то там подоспело, на работе, химия какая-то. Оно, конечно, понятно. Всякому делу – свой срок. Вон простая штука: квочку на яйца посадить, а когда вздумается – не посадишь. В своё время только. Опять же цыплятки – тоже к своему дню вылупляться начнут. Без присмотра нельзя. Так и у неё: подоспело – будь на месте. Хорошо хоть с похоронами не совпало – тогда бы как?

У Верочки своя забота: экзамены сдала, а теперь какой-то ещё один, самый главный, предстоит. Сколько проработала в сёстрах, а теперь вот врачом станет. Тоже удачно подгодило: те экзамены кончились, а этот ещё не начинался. В самый промежуток сумел Тимофей Несторович... Конечно, трудно ей будет с похорон – на экзамены, но она сможет. Характерная.

Васятка должен был с экспедицией лететь. И так на самом краю земли живёт, куда ещё дальше-то? Очень спешил на свой Север Вася – и повезло ему: улетел с каким-то специальным самолётом. Говорил, что ежли улетят там без него, потом не доберёшься. Куда в такую рань? Говорил же, что зима ещё вовсю лютует. Дождались бы тепла – и поезжай себе.

Думала, что Алёше спешить некуда. Ничего не сказывал, какие у него дела, но засобирался вместе со всеми. Вася-то и скажи:

– Оставляй, мать, старшего брата. Ему что спешить? Солдат спит – служба идёт.

Алёша глянул искоса:

– Мне бы ваши заботы. У меня – смотр. Майские праздники на носу, а я здесь прохлаждаться буду?

И то верно: в армии должно быть строго. Без командира – нельзя!

Улетели.

Аня, Вася; Алёша с Верой – после них, зато вместе, одним самолётом. Попутно им. Командир и врач. Теперь, считай, уж врач.

Может, так и должно: врачу сильная душа в помощники, а военному – доброта?

Баба Поля первый раз была в аэропорту. Целый день. Устала. От народа: больно много людей – так перед глазами и кружат. От шума: ревут самолёты – страсть! Трудно им, таким большим и тяжёлым, от земли-матушки оторваться. От ожидания и волнения измучилась.

Вернулась в дом. Пусто. Тихо. Одна. Что делать-то? Кому нужна теперь? Самой себе... Это как же так?

В гости приглашали – коль не едет насовсем. Какой с неё гость. Помеха одна. У них – дела.

Посидела у окошка, отдохнула, пошла в кухню – перекусила немного, не от голода, от нечего делать пожевала хлеба с луковицей. Тоска. Совсем лишняя, ненужная жизнь. Это раньше, в молодости, можно было чего-то ждать, надеяться, а теперь – чего дожидаться? Смерти? Надеяться, что похоронят как положено, когда подойдёт её черёд?

Ну, конечно, похоронят. Это так.

Походила по комнате. Куда ни повернётся – везде, кажется, Тимофей стоит. И – исчезнет. Ох, как плохо... «Марья-то сколь годов одна! – опять вспоминается ей. – Как можно?»

Баба Поля выходит на улицу, садится на лавочку, следит за людьми, проходящими мимо. Люди все незнакомые, торопливые; бегут не посмотрят, а кто взглянет – думается бабе Поле, – тому видится вся её никчёмность. Ненужная старуха, только свет застит.

Невмоготу сидеть на людях. Баба Поля идёт во двор. Из конуры вылазит пёс, опустив хвост, виновато и просительно смотрит ей в глаза.

– Есть хошь? Забыла я про тебя. Счас принесу.

Она заходит в дом, на кухне достаёт из супа кость с мясом, несёт собаке, вздыхает:

– На, Бобик. Ешь, помяни хозяина нашего, Тимофея Несторовича. Может, и нас когда-нибудь помянут...

Пёс ложится на землю, прикрывает кость лапой, слушает хозяйку – в незнакомых нотах её голоса нет запрета, – начинает есть.

– Старые мы с тобой. Никому не нужные. Вот и будем жить вдвоём.

В дом идти не хочется, и баба Поля снова идёт за калитку. «Умру – плохо Бобику станет. Кому нужна такая старая собака? Будет скитаться по улицам, пока не пропадёт... Ладно, может, ещё не скоро». Она садится на лавочку и опять смотрит на людей. Можно было бы перейти улицу – там, во дворе большого дома, полно старух. Сидят себе на скамейке, на солнышке, перебирают новости, перемывают косточки своим домашним, жалуются на свои обиды, на болезни, бессонницу.

...Будут сочувствовать бабе Поле, вздыхать, жалеть. Устала она от всего этого.

Из двора напротив, тяжело опираясь на клюку, выползла Дарья, остановилась на обычном своём месте, на пригорке, подставила согбенную спину под заходящие солнечные лучи. Дарья обыкновенно занимает свой пост, чтобы руководить внучкой, когда та, возвращаясь из школы, появляется у перекрёстка. Дарья остерегает внучку, кричит через дорогу:

– Куды лезешь? Торопыга. Ужо смотри мне!

Дарья думает, что руководит. На самом деле Ленка на бабкины слова столько же внимания обращает, сколько на лай брехливой собачонки, что постоянно крутится на их улице.

Дарья, конечно, видит бабу Полю на лавочке, приветствует её кивком головы, но не подходит, стоит, опершись руками на трость, как изваяние. Ноги у неё не слабы, трость нужна, чтобы спину не гнуло дальше к земле. В другой раз Дарья перебралась бы через улицу, села бы рядом с бабой Полей, погрела б на солнце лицо и руки, но сейчас она каким-то чутьём угадывает, что Полине Филипповне всякий разговор будет неприятен, и потому не идёт.

Девять дней скоро отмечать надо Тимофею Несторовичу, а там – сорок набегут. Могилку навещать надо – заботы есть. Но – всё не то. Человек живёт – пока он кому-то нужен.

– Ох, устала! – рядом на лавочку села Валентина, вытянула натруженные ноги, поздоровалась. Заглянула в опустевшие бабы Полины глаза, спросила: – Плохо вам?

– Нет, чего же? Всё ладом – жаловаться грех. Одна вот осталась – непривычно. Серёжка-то где? В садике?

– Нет. Оставила с бабушкой. Там, у нас во дворе. Пропали наши анализы: садик– на карантин, со вчерашнего дня. Хотела вас попросить...

– Ну?! Дак я повожусь – ты веди его ко мне!

– Вот спасибо! Тётя Феня – у неё сейчас Серёжка – на один день только согласилась. И то еле уговорила её. Я на вас и надеялась, думала: «Баба Поля не откажет», – но в голосе Валентины уверенности меньше, чем в словах, похоже, что она больше сомневалась, чем надеялась.

Горе меняет человека, не узнаешь, что ему сперва нужнее: люди ли, чтобы прогнать тоску, или, наоборот, покой и одиночество.

Увидев, что Валентина села рядом с Полиной Филипповной и разговаривает с ней, Дарья не утерпела, перебралась через дорогу, стала возле. Смерть – привилегия старых, их тянет туда, где недавно прошла костлявая: надо ведь узнать, что тебя ожидает и, по возможности, приготовиться.

– Неизвестно: сколько опять придётся ждать – месяц, а то и больше. Пока карантин кончится; опять анализы. Ну, деньги – я потом. Как обычно, да?

– Деньги? – радость бабы Поли тускнеет. Это как же так? Серёжа ей сейчас нужнее, чем она ему, и вдруг, оказывается, ей же ещё платить будут. Нет у неё, что ли, своих денег? – Деньги у меня есть... Много ль мне надо? Пенсию, как иждивенка, за Тимофея Несторовича получать буду. На жизнь-то хватит. А помру – на похороны у меня есть. Ребята – тоже оставили... У самих сколь расходов было: дорога не близкая, на похороны давали, и вот – мне... Жизнь не ранешняя – на что копить лишнее?

Она спохватывается, прерывает свои мысли вслух, Валентина, похоже, засомневалась: с чего это вдруг баба Поля вздумала отказываться от денег? Ведь и раньше у неё нужда не больше была. «Ещё – чего доброго – раздумает, найдёт Серёжке другую старуху, – пугается баба Поля. – Пусть несёт: сгодятся ещё небось. А Серёжке игрушек куплю...»

– Нет, ты не слушай меня – это я так. Плати: как тебе удобнее. Серёжу – веди. Мы ж друг дружку любим. Я к нему привыкла, и он ко мне... Прямо счас и веди.

Валентина облегчённо вздыхает:

– Теперь-то уж что – день закончился. Завтра, с утра.

– Ну, завтра. Завтра. Приходите всегда, когда вам нужно будет. Мне что? Мне не трудно. А? Вдвоём-то...

Валентина легко поднялась, словно только что и не жаловалась на усталость, простилась и пошла, вызывая у старух восхищение и лёгкую зависть своей молодостью и ладной упругой фигурой.

– Денег, значит, дали? – спрашивает Дарья, усаживаясь на освободившуюся часть лавки.

Бабе Поле такой зачин разговора не нравится: в нём слышится намёк, неясный пока, на что-то нехорошее, обидное, но она не даёт воли возникшему вдруг чувству раздражения, кивает согласно:

– Дали.

С минуту старухи молчат. Потом Дарья опять спрашивает, как бы между прочим:

– Не уезжаешь никуда?

– Тут буду помирать.

Дарья вздыхает при упоминании смерти, соображает дальше:

– Не захотела, стало быть.

Баба Поля молчит. Думает.

Осталась. Что сделаешь? Не она одна; много их, бездомных старух: дом ведь не крыша над головой, дом – это сперва родные, семья; после – всё остальное. Знать, так обернулось, что старые с молодыми должны жить врозь. Пробовали некоторые старухи лепиться к детям, ан нет, не клеится, уезжали и возвращались обратно. Хорошо, когда догадливая оказывалась мать: свой угол не продавала, когда ехала к детям – было куда вернуться. А то бы хоть «матушку-репушку» пой.

Вот Семёновна ездила. Пустила в свой домишко двух студенток, да к сыну. Насовсем поехала. «Приживусь, – говорит, – на новом месте, эту развалюху не жалко. А нет – так свой угол не помешает». Как в воду глядела. Полгода у сына пожила, перебралась к дочери. И у той полгода, а ещё к одной уж и не заглянула. Живёт с тех пор со студентками, пускает каждый год двоих на лучшую половину дома, а толком объяснить, почему с родными не ужилась, не может. И место ей там было и хлеба вдоволь. Обижали? Тоже нет.

– Лишняя я им, – говорит.

– Не работала, что ль? – спрашивали старухи.

– Без дела – как же? – отвечала Семёновна. – Водилась с внуками, и по дому убирала, и в магазин ходила.

– Не разговаривали с тобой? – допытывались соседки.

– Ну, нет. Хорошо разговаривали, – Семёновна вспоминает всё без утайки. – Могли б и не разговаривать.

– Так чего тебе надо было?

– А не знаю. Пресно как-то у них.

Старухи её на смех подняли:

– Надо, чтобы было кисло? Или горько? Чудишь, старая.

– Чудю, – согласилась Семёновна, – только тепла там нет.

– Во-на: без печки жить не можешь! Так и скажи.

Баба Поля тогда тоже не понимала Семёновну, а вот теперь, кажется, стала догадываться.

В каменных домах разучаются люди друг дружку понимать: каждый в своей клетке, в комнате, по отдельности сидит; до того сам всяк по себе живут, что на улице родственников признать не могут. Ей-ей. Давно ли Дарьин зять отмочил штуку? Сама видела.

Вышел вечером дочку из школы встретить. Дарья в тот день прихворала, а Лена с подружками уж тут была, возле дома развлекалась. Снежок тогда выпал и подморозило. Шалили девчушки: с пригорка на сумках катались; шапками поменялись и хохочут:

– Я Лена!

– А я Маришка!

Отец когда из подъезда вышел Лену домой звать, они обе перед ним стали кривляться. Так он Маришку за руку ухватил: шапку, стало быть, признал, а кто в шапке – ему невдомёк. Бесенятам и вовсе радость – визжат, хохочут: Маришка-то сперва за ним пошла, а потом упираться стала – он ничего понять не может, сердится. Еле уразумел, в чём дело. Оконфузился мужик и – поделом. Дарья до сих пор, как выйдет к старухам, зятя костерит: «Срамота!»

То-то и есть... В домах каменных люди холоднее становятся.

Да. Старость – не болезнь, со временем не проходит.

Тимофей умер, дети готовы были взять с собой бабу Полю, предложили ей кров и посильные хлопоты. Только нужна ли им эта маета? Не уверена баба Поля, что дети Тимофея Несторовича будут с ней нянчиться, когда она окажется немощной. Мало радости. Совсем, конечно, не бросят, но не хочет баба Поля быть обузой.

...Поехала бы, когда бы внуки её лучше знали, она в гостях не была, и они у неё не бывали; не породнились, душа не приросла, вот и не тянется за ними. А уж они-то за ней и подавно.

Лишняя. Хоть приглашали её без обмана...

Пока баба Поля размышляет, что же главное в её отказе поехать жить к детям, Дарья делает свой вывод:

– Откупились, стало быть.

Будто клюкой ткнула в сердце – так больно стало.

Баба Поля ждёт минуту-другую, пока полегчает, поднимается, почти с ненавистью смотрит на горб, торчащий выше Дарьиной головы, поворачивается и, не простясь, уходит к себе во двор...

Опять одна баба Поля на скамейке со своей болью и тоской, но и заботы Валентины остаются с ней, незаметно овладевают мыслями.

Насколько лучше жизнь стала – не сравнить, а всё неустроенности много. Взять Валентину. Муж по экспедициям ездит и нынче уж отбыл. Она, стало быть, должна управляться одна. Ну, хозяйства-то, конечно, никакого. Не то что раньше было: и свиньи, и гуси, и куры, и огород. Работа да Серёжа. И то: работе день отдать надо, а сына куда девать? Дитё неразумное – одного дома не бросишь. В ясельки-садик, конечно, устроит: теперь с этим не так трудно, вроде на всех хватает; похлопотать придётся – как иначе?

Только несуразно садики дают. Живёт Валентина здесь, садик, куда устраивает Серёжу, в другом краю, на автобусе ехать надо. Работа – в третьем месте. А хоть бы и недалеко от садика работа была – всё равно не дело ребёнка через полгорода поутру таскать; и после работы. Рядом с домом садики должны быть; насколь удобнее матери, и дитё бы в автобусах не мучилось. У кого дед-бабка есть, тоже хорошо: могли бы днём внучика или внучку попроведовать, а то и помощь какую в садике оказать. «К Серёже – я могла бы приходить...»

Вон ведь: школы везде есть, а почто для малых детей нельзя так-то? Школа и – рядом – садик.

Помыкается бабёнка с одним, а второго уж рожать и не соберётся. Раньше было: жена – всё для детей и для мужа. О себе недосуг подумать. А у нынешних свой интерес к жизни имеется. Так незаметно и разменяют: детей, каких могли бы родить, на удовольствия да на работу... Детей меньше – любви меньше. Может, оттого молодые скандалят ныне и разводятся чаще?

У них с Тимофеем, слава Богу, все дети по одному разу женаты.

Внуков – мало...

Опять же: захочет какая женщина много ребятишек иметь – народит их, работу бросит, а за это ей – как бабе Поле – на старости лет своя пенсия не положена. Стаж не выработан. То, что дети, когда вырастут, всё наверстают и за мать, куда как больше наработают, чем одна, самая лютая к работе бабёнка – это почему-то в счёт не берётся...

Конечно, при хороших детях своя пенсия будто бы и не нужна. Прокормят. Только для души обидно: вроде выходит, что дети, которых мать вырастила, ценность меньшую, чем её работа, имеют...

Ну, конечно, не всё сразу. Сколь всего за её только жизнь к лучшему переменилось... Образуется и это.

Баба Поля сидит у калитки до сумерек. Пора в дом, но шевелиться неохота. По всему телу тяжесть и ломота. Тимофей Несторович хворал, у самой будто ничего не болело. Осталась одна – всё заныло, старые кости покоя просят...

Наискось через улицу – старушечий кашель. Пошевелилась у забора согнутая фигура в чёрном и затихла. Замерла, словно растворилась в тени, только бледное пятно виднеется, но лица – не разобрать. Бабе Поле кажется, что она чувствует сквозь мрак взгляд, направленный на неё, и напряжённо всматривается навстречу. Тело выструнилось, усталости – словно не бывало!

Подошёл дед к той старухе, и они вместе двинулись к остановке, негромко разговаривая. Близ новых домов – свет из окон – баба Поля разглядела их. «Незнакомые...»

Опять навалилась усталость. Она идёт во двор, запирает калитку на задвижку, дверь в сенях– на засов. Ждать некого.

Уличная тьма вошла в дверь раньше её. Баба Поля включила свет – тьма съёжилась, попряталась по углам, заползла под шкаф, под кровать, но не покинула дом. Раньше не замечала тёмного. Жутковато, будто там притаился кто-то. Привычные стены и вещи стали хмурыми, отчуждёнными. Пусто. Зябко. Одиноко. И чуточку страшновато, словно должен появиться неизвестно кто, а не идёт.

Одна.

Неужто, когда одна, всё время будет так? И завтра, и через месяц, и до конца дней...

Скорее бы ночь миновала, а там – Серёжу приведут...

Дети редко ездили, когда они жили вдвоём с Тимофеем Несторовичем, а теперь и вовсе не дождаться их. «Не приедут, – провидит баба Поля завтрашний день, – и не напишут, поди. Разве я им плохого что-нибудь сделала?»

Не такую бы ей судьбу. Может, была другая написана на роду и сбылась бы, кабы не война. Война спалила и переломала все судьбы. И не только тех покалечила, кто прошёл через её ад и кого накрыла она своим чёрным крылом, но и других достаёт, кто и родился-то после. Она, как болезнь, рак будто. Видное, опухоль самую, уничтожили – и рады, успокоились, а невидимые глазу корни её остались; зла в людях ещё много, дети переболеют и внукам достанется. Хорошо, ежели новой не допустят. Не приведи, Господь...

Обнажённая костлявая рука тянется к столу; бабе Поле невыносимо видеть эту вздрагивающую руку, она говорит костенеющим от страха языком:

– Погоди. Чего тебе надо, я сама дам.

И подаёт белую пышную булочку, потом жирные блины, прямо с тарелкой; всё это куда-то исчезает, а рука по-прежнему тянется к чёрной недоеденной корке хлеба...

Баба Поля обмирает, дыхание у неё прерывается; вперив взгляд во тьму, не видит никого, только всё ту же худую голодную руку.

Много продуктов осталось после поминок – Галя с Абрамовной вёдрами домой уносили, курам и поросёнку. Подумать только, до какого счастья дожили: такой хлеб свиньям; такой хлеб в былую пору даже в праздничных снах увидеть не могли, а теперь и выбросили бы, ничего особенного.

Туда бы его – сквозь годы унести, сколь жизней было бы спасено...

Теперь, сказывают, подсчитали, будто двадцать наших миллионов война убила – уму и сердцу непостижимо! А кто знает, сколько людей вдалеке от фронта не своей смертью умерло? От голода, от болезней, от непосильных работ.

Пелагею в тот счёт миллионов не взяли...

И Марью в поминальный список не занесут...

Дети делают вид, будто её нет...

Среди ночи длинной, бесконечной, как дорога, короткое прерывистое забытьё.

Костлявая рука исчезла, вместо неё неотступно следует за бабой Полей чей-то безжалостный указующий перст. Невидимый кто-то, таящийся во тьме, держит её под прицелом. То ли казнить намерен, то ли заставить в чём-то покаяться.

В детстве своём видела Полина Филипповна, как смотрит смерть. Не помнит уж теперь, кто кого стрелить хотел: белый красного или красный белого, – она тогда не шибко-то понимала, что вокруг происходит, а те были оба в мужицкой одежде. Один убегал, а второй, что оказался с Полиной рядом, целил в него ружьём. И поворачивался вслед бегущему. На какой-то миг чёрный зрак ружейного ствола оказался против её лица, и жутко стало: в самое нутро заглянул.

Стрелил убивец и – попал. Упал несчастный боком в дорожную пыль и сразу будто пристыл головой к земле, а ногами всё ещё перебирал быстро-быстро: смерть уже догнала его, а он не хотел её – продолжал убегать.

Страх у неё постепенно прошёл и со временем почти забылся, как дурной сон утонул где-то на самом дне души, но всплыл, вспомнился после – в самую неурочную минуту. Когда в первый раз первого мужа своего обнимала, подумала о маленьком и представила: лежит на спинке голенький сынок и ножками сучит, радуется. Ножками перебирает и на глазах растёт, и вот уже лежит её большой сын в дорожной пыли с простреленной головой, а ногами всё так же быстро-быстро...

Может, потому и не родился сынок, что испугался: кому захочется явиться на свет, если ему преждевременная гибель суждена? Убили маленького загодя...

Куда в прошлое ни посмотри – всюду горе, везде мука. Нужна ли такая жизнь? Кто её выдумал, за какие грехи послал людям? Или сами они такую её творят?

Все виноватые, не одна Марья...

Навалилась тьма, как наказание. Наказанию быть, знает баба Поля. Оно неизбежно; она примет его, но боится; помолилась бы, но не знает, не может понять своей вины; поймёт, когда пройдёт, как Марья, через одиночество и подступит к последней своей черте.

Но судный час ещё не настал...

Может, выйдет ей оправдание?

Матвеев, когда с Тимофеем Несторовичем прощаться приходил, одну свою юбилейную награду прямо в коробочке в гроб положил, подсунул в изголовье, чтобы не заметно её было. Полина Филипповна увидела, не поняла: что и для чего товарищ Тимофея делает. Матвеев на её молчаливый вопрос пояснил:

– Вот, значит, нам, которые не убитые оказались, награды в оправдание дают. Нельзя Тимофею туда без документа; значит вот: за его жизнь полагается.

Заботился Матвеев, что мёртвые плохо примут Тимофея за то, что долго жил на свете и без уважительной причины.

А что она, какой в её жизни резон?

Сна нет долго.

Душа, придавленная печальными мыслями, все эти дни влекла, будто в гору, груз памяти – воз, набитый прожитым до краёв; горькое, солёное и сладкое перемешалось в нём, образовало ту смесь печали и тоски, что разъедает, как ржа, сердце, наполняет его безысходным чувством утери всего, невозможности переменить хоть малую толику того, что прожито. В этом прожитом память хранит и нужное, и ненужное – столько всего, что кажется: всё, что тебе отпущено, уже сбылось и на будущее – ничего не осталось. Кроме, разве, смерти. Но свою смерть, к счастью, никто не вспомнит...

Не помнить – нельзя, но и жить только прошлым – тоже нельзя. Как подарок, как продление жизни принесла Валентина ей свою заботу, и баба Поля совсем не чувствует себя неловко оттого, что она, выходит, рада чужой неустроенности. Всё образуется, какие их годы...

Баба Поля просыпается рано, вместе с солнцем, и начинает ждать. Утром мысли светлее и проще: «Погляжу на жизнь, какая она будет дальше. Ишь, чего удумала: помереть скорей хотела. Не нужная никому. Совсем из ума выжила. Валентине вон – нужная. Серёжке нужная. Да мало ли ещё каким людям на доброе дело сгожусь».

Баба Поля поднимается с постели, наводит в квартире порядок, затапливает печь, готовит завтрак... Стрелка часов наконец переползает цифру семь.

«Скоро уж...»

Баба Поля идёт, отпирает дверь, проходит к калитке, отодвигает задвижку, выглядывает на улицу.

Там, у забора, никого нет. Лишь весенний ветер, шаля, гоняется за прошлогодней листвой, да пробежит тень, неотступно следуя за сверкающим на солнце автомобилем.

Баба Поля возвращается в дом, садится у окна, выходящего на улицу. Ждёт.